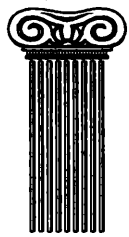
ДЖОН ДОС ПАССОС

Всемирная Литература



ДЖОН ДОС ПАССОС

Собрание сочинений
в трех томах

МОСКВА
Литература
2000

ДЖОН ДОС ПАССОС

Избранные сочинения
том первый

ТРИ СОЛДАТА

роман

МАНХЭТТЕН

роман

МОСКВА

2000

ББК 84 (7 США)
Д70

Дос Пассос Дж.

Д 70 Собрание сочинений: В 3 т. Т. 1: Три солдата; Манхэттен: Романы / Пер. с англ.; Вступ. ст. Е. Салмановой; Коммент. Б. Акимова и Е. Салмановой.— М.: «Литература», 2000.— 752 с. (Всемирная литература).

ISBN 5-7842-0120-4 (т. 1)
ISBN 5-7842-0128-X

Джон Дос Пассос (1896—1970) — один из крупнейших писателей США. Оригинальные литературные эксперименты, своеобразный творческий почерк, поиск новых романных форм снискали ему славу художника-экспериментатора, а созданные им романы сделали Дос Пассоса прижизненным классиком американской литературы.

В данный том Собрания сочинений, впервые издаваемого на русском языке, вошли его ранние романы: «Три солдата» и «Манхэттен».

ББК 84 (7 США)

ISBN 5-7842-0120-4 (т. 1)
ISBN 5-7842-0128-X

© Состав, оформление.
Издательство «Литература», 2000

РОМАНЫ ДЖОНА ДОС ПАССОСА

Расцвет литературного дарования Джона Дос Пассоса (1896—1970) и его литературная слава пришлись на конец 20-х, начало и середину 30-х годов нашего века. В этот период были опубликованы четыре лучшие его романа: «Манхэттен» и образовавшие впоследствии трилогию «США»: «42-я параллель», «1919» и «Большие деньги». В это время Дос Пассос был не менее знаком американским и европейским читателям, чем Хемингуэй и Фицджеральд — два хорошо известных автора, с которыми он долгое время был дружен, с кем делился своими литературными планами, к чьим советам прислушивался и кому советовал сам. Его «Манхэттен», изданный в 1925 г. в Нью-Йорке, даже отвлек внимание от хемингуэевского сборника рассказов «В наше время» и «Великого Гэтсби» Фицджеральда, появившихся тогда же и блеснувших на литературной арене.

Несмотря на ранний успех, Дос Пассоса ожидала нелегкая литературная судьба. После публикации в 1936 г. трилогии «США» он уже не создаст ничего более значительного, хотя по-прежнему будет много писать и издаваться. Ему придется пережить свою литературную славу, а после смерти утерять и известность. Дос Пассоса сейчас мало читают, и в этом история преподносит пример очевидной близорукости по отношению к писателю, сумевшему выразить нечто, чрезвычайно существенное во все времена: идею неизмеримой ценности отдельного человека со всеми его надеждами и разочарованиями, падениями и взлетами, идею индивидуальной неповторимости каждого среди всего остального мира. Дос Пассос — писатель, который необыкновенно остро чувствовал давление, оказываемое обществом, со всеми его политическими, социальными установлениями и принятыми законами морали,— на человеческую личность, стремление подогнать ее под общую мерку, лишив внутренней самостоятельности и свободы, попытку унизить ее нищетой и

безысходностью. Взаимодействие общества и человека, их нераздельность и противостояние — главный предмет романов Дос Пассоса; сострадание, сочувствие человеку, утверждение его личной индивидуальности — их главная тема и цель.

Возможно, чтение Дос Пассоса сейчас затрудняет обилие исторического материала — газетных отрывков, реклам, намеков на реальные события американской жизни 1920—1930-х гг., куплетов из популярных тогда песенок, во множестве включенных в его книги и мало что говорящих современному читателю. Время откатывалось назад, увлекая за собой войны, моды, политические лозунги и вместе с ними книги Дос Пассоса, пропитанные насквозь приметами уходивших дней. Но есть нечто универсальное, вневременное, связывающее сменяющие друг друга эпохи: трагизм существования личности во враждебном мире, ее одиночество, отчаяние, неутомимая жажда счастья, человеческие страсти, толкающие людей на преступления против себе подобных, столкновения групп, классов и целых народов. Ощущение этой связи становится у Дос Пассоса настойчивым и немного грустным предупреждением тем, кто в поисках ответов на сегодняшние вопросы забывает оглянуться назад.

Лучшим книгам Дос Пассоса свойственны небывалые ранее в американской литературе панорамность и масштабность, выделявшие их среди произведений современников. Замыслы писателя трудно было реализовать обычными, традиционными средствами. Дос Пассос экспериментировал со словом, с целыми словарными массивами, рвал последовательную сюжетную композицию, заменяя реалистическую логику логикой художественной. Это тоже не облегчает чтения его романов, но дарит рискнувшему окунуться в них читателю страницы прекрасно сделанной прозы, иногда сдержанно лаконичной, иногда лиричной и мягкой.

Читательскому восприятию Дос Пассоса часто мешают и многочисленные дискуссии, связанные с его политическими взглядами. Вовлеченность Дос Пассоса в политику и социальную жизнь своей страны оказалась накрепко связанной с его писательской судьбой: романы Дос Пассоса не раз трактовались критикой как политические декларации. Основания для этого при желании можно было найти: вплоть до конца 1930-х гг. Дос Пассос стоял весьма близко к социалистическому движению (чему не раз ошибочно приписывали успех его романов этого периода), никогда, впрочем, не видя в нем панацеи от всех общественных бед. Поиски и перемены во взглядах отражались в его романах, давая повод политически ориентированной критике искать в них подтверждение желаемой концепции его творчества, клеймить его как врага или приветствовать как друга той или иной политической группировки.

Но Дос Пассос никогда не был членом ни одной партии. Все, что он писал и делал, спасая Сакко и Ванцетти, участвуя в самом левом американском ежемесячнике «Массы», подписы-

вая петиции в защиту политзаключенных или покидая Испанию в 1937 г., было делом его совести, плодом его опыта и размышлений. Дос Пассос шел своим собственным путем, и его лучшие книги — это прежде всего хорошо написанная проза, о которой следует судить по литературным законам, а не по правилам политических игр.

Внук португальского иммигранта, Джон Родриго Дос Пассос принадлежал к числу американских писателей, вышедших из верхних слоев общества,— отец его, Джон Рэндольф, был преуспевающим нью-йоркским адвокатом, хорошо известным в деловых кругах города. Отсутствие религиозных традиций в семье, сложная история взаимоотношений отца и матери делали их дом не похожим на остальные. Необычная семейная обстановка и слабое зрение, не позволявшее Джону Родриго участвовать в играх наравне со сверстниками, с детства обрекали его на одиночество, заставляя искать свой собственный независимый мир. Страсть к чтению обнаружилась в мальчике очень рано — он читал о путешественниках, о героях и, забывая обо всем на свете, старался вникнуть в неясное содержание книг, тайком взятых из кабинета отца.

В сентябре 1912 г. Дос Пассос стал студентом элитарного Гарвардского университета. Спустя некоторое время он вошел в университетскую литературную среду и начал писать сам. Экзотический эстетский хлам, основанный на мертвых идеях,— так впоследствии определил он свои первые литературные опыты.

Вскоре, однако, Дос Пассос пришел к убеждению, что тепличная атмосфера Гарварда лишает его доступа к настоящей жизни, которую он внезапно открыл для себя во всей ее осязаемой реальности. При Гарвардском университете существовало учреждение, известное под именем «Союза», которое было основано с целью организации демократических собраний студентов университета. Здесь, в одной из небольших аудиторий, произошла единственная встреча Дос Пассоса с бывшим воспитанником Гарварда Джоном Ридом, приехавшим навестить свою alma mater. «Когда он кончил говорить,— вспоминал Дос Пассос годы спустя,— сам воздух студенческого мира, в котором я жил, показался мне тоскливо разреженным. В то время как прочная скала привычной жизни миллионов людей раздроблялась войнами и восстаниями, мы, студенты, жили под стеклянным колпаком, вскормленные отвратительной жижицей древних культур... Рид выбрался из-под стеклянного колпака... А если он выбрался, то значит и другие могли выбраться».

Джон Рид на многие годы стал героем Дос Пассоса, человеком, которым он восхищался и которому подражал. Впоследствии он напишет о нем как о символе целого поколения: «Его жизнь явилась как бы символом, образом восстания целого поколения американской молодежи против ограничений устаревшей пуританской морали и против религии денег, навязан-

ной ему огромным экономическим давлением, характерным для существующего в Америке капиталистического строя».

Идеи революции, ставшие близкими Дос Пассосу под влиянием личности Рида, со студенческих лет свяжутся у писателя с романтическим преодолением отживших понятий и норм, очищением общества от пошлости и несправедливых законов, с обновлением его культуры и искусства. Пройдет почти четверть века, прежде чем понятия революции и справедливости сделаются полярными в его представлении.

Первая мировая война шла уже два года, когда Дос Пассос окончил Гарвард. Писатель вступает в добровольческие ряды международного Красного Креста, что явилось неким компромиссом между его пацифистскими настроениями и настоятельной потребностью «выбраться из-под колпака». Война, казалось, способна была вполне удовлетворить потребность Дос Пассоса в романтизме и живой деятельности. Множество его сверстников мыслили точно так же: впоследствии они сформируют знаменитое «потерянное поколение», по удачному выражению Гертруды Стайн.

В 1917 г. Дос Пассос был недалеко от Вердена, осенью того же года воевал в Италии. Весной 1918 г. Объединенный разведывательный отдел усмотрел в его письмах ряд весьма прозрачных намеков на грязь и мерзость всего «великого противостояния»: Дос Пассос был отчислен из Красного Креста и переведен в Медицинскую службу американской армии.

Война подвела окончательный итог его юношеским размышлениям. «Радикалом меня сделала война,— писал он в своей автобиографии.— До этого времени я вообще сомневался, были ли у меня какие-нибудь политические взгляды». Общество, позволившее втянуть себя в войну, и власть, толкнувшая его в мировую бойню, нуждались в глубоких и основательных переменах. Теперь это стало очевидно. Дос Пассос видел страдание невинных, не причастных к мировому раздору людей, которые лишь хотели жить в покое, предаваясь своим нехитрым радостям, но были бессильны что-либо изменить. Война врывалась в жизнь разлуками и смертями и откровенно демонстрировала пороки общественной системы, вылившиеся в эту небывалую по размаху трагедию.

Политический аспект происшедшего и разочарование в американском правительстве Дос Пассос переживал острее и глубже, чем большинство современных ему писателей, воспринимавших события 1914—1919 гг. только как личную драму. Известный критик и друг Дос Пассоса Эдмунд Уилсон напишет впоследствии: «Большинство первоклассных писателей того же возраста, что и Дос Пассос,— Хемингуэй, Уайлдер, Фицджеральд — культивировали свои собственные уголки, избегая сталкиваться с системой в целом. Только Дос Пассос пытался ей противостоять».

Он начинает интересоваться социалистической теорией как возможностью исправления изъянов общественного механиз-

ма. Его привлекают идеи братства, уничтожения собственности, свободы развития личности в государстве нового типа, где людям будет предоставлено право самим решать свою собственную судьбу. Его первая книга о войне — повесть «Посвящение молодого человека — 1917» уже полна идеями будущего социального переустройства. «Нам нужно, чтобы жизнь стала организованной, причем эту организованность должны создать массы,— убеждает герой повести Мартин Хау собравшихся вокруг него солдат.— Социализм должен возникнуть из естественного стремления людей помогать друг другу, а не из желания правящих классов крепче сковать нас цепями... Мы должны встать на защиту попранной свободы и достоинства человека... Мы слишком молоды, слишком нужны миру, и поэтому мы победим. Мы должны отыскать пути, сделать первый шаг к освобождению, или вся жизнь — только пустая насмешка».

Первая книга Дос Пассоса представляла собой ряд почти не связанных сюжетно отрывков, напоминающих скорее эскиз, зарисовку, нежели законченное литературное произведение. Множество людей проходили мимо Мартина, санитара полевого госпиталя, умирали у него на руках, их сменяли другие, госпиталь перемещался с позиции на позицию, и всюду были кровь, и грязь, и одуряющая бессмыслица происходящего. Читатель видел, что молодой автор пытается охватить картину в целом, понять причины покорности шедших на смерть людей, понять, почему другие люди обрекли их на это, найти возможность исправить чинимое зло. Впрочем, читателей было мало. Издателям удалось продать всего 60 экземпляров: художественная слабость «Посвящения» сыграла свою роль.

Следующей попыткой отыскать ответы на мучившие писателя вопросы явились «Три солдата», вышедшие годом позднее и принесшие Дос Пассосу первую известность. Дос Пассос работал над романом в Испании, куда отправился сразу же после войны и где оставался около года, изучая памятники древнего зодчества и часто проводя целые дни в картинных галереях. Эта его увлеченность отразилась в архитектурной стройности композиции нового романа, которая отличалась четким соотношением частей, продуманными комбинациями сюжетных отрывков. Строгий судья, очевидно, нашел бы в книге немало погрешностей; но то, что автор ее обладал незаурядным чувством формы, композиции и живописной пластики, было теперь очевидно. Роман упрямо претендовал на панорамность охвата: на этот раз героями стали музыкант, фермер и продавец линз — люди из разных социальных слоев, с различными взглядами и понятиями, жившие в разных концах страны и объединенные страшными армейскими буднями. Каждый из них так или иначе восставал против своего удела, против насильственной смерти, бесправия и унижений, против подавления индивидуальной воли мощной армейской машиной. И каждый терпел поражение: в одиночку нам с этим не справиться, констатировал молодой автор всем ходом своего повествования.

Но роман говорил и о большем. Его герои оказывались неотделимы от общества в целом; в их лице страдало целое поколение. Трагическое «я», звучавшее со страниц книг современников Дос Пассоса, оборачивалось у писателя трагическим «мы». Это новое видение во многом определило мгновенный успех «Трех солдат» у самой широкой читательской аудитории.

В том же 1921 г. приятель Дос Пассоса Пэкстон Хиббен, работавший в организации «Помощь Ближнему Востоку» при Красном Кресте, предложил молодому автору совершить поездку на занятый большевиками и сотрясаемый голодом, холерой и арестами Кавказ вместе со специальной инспекционной комиссией. Большой любитель рискованных поездок, Дос Пассос сразу же согласился. Ему предстояло самостоятельно добраться до Стамбула, чтобы потом, присоединившись к остальной группе, сесть на итальянский пароход «Авентино», который должен был доставить членов комиссии в Батум.

Дос Пассос стал свидетелем пестрой неразберихи, царившей в послевоенном Стамбуле, столице недавно рухнувшей Оттоманской империи, и впервые реально прикоснулся к последствиям революции в России, к тем ее опустошительным волнам, которые докатились до черноморского побережья. Дорожные записи этого путешествия легли в основу очерка «Восточный экспресс», который Дос Пассос опубликовал в Нью-Йорке несколькими годами позже и который затем вошел в известную книгу Дос Пассоса «Путешествия между войнами», вышедшую в 1938 г. Очерк полон ярких, выразительных описаний, метафоричность, приподнятость стиля выдают в авторе романтика, захваченного азиатской экзотикой и масштабами переживаемых востоком перемен. Сюжеты, составившие «Восточный экспресс», объединяет все то же пристальное внимание к судьбам отдельных людей и готовность писателя склонить голову перед любой попыткой человека отстоять собственное достоинство.

В то время революция на Кавказе представлялась ему очистительной силой, энтузиазм свершивших ее людей вызывал уважение; за всеми приносимыми революции жертвами молодому писателю виделась возможность лучшего будущего для огромной страны.

Вернувшись, Дос Пассос много работал, писал рецензии и критические обзоры для литературных журналов. Но чаще всего его заметки и эссе появлялись в «Массах» — издании коммунистического направления, объединившем вокруг себя левое крыло нью-йоркской интеллигенции. Дос Пассос писал о бесчисленных примерах социальной несправедливости, которые видел вокруг. Отношение его к радикальным организациям, с которыми он к этому времени уже вошел в контакт, было тем не менее неоднозначным. Соглашаясь с коммунистами в их целях, он не мог принять пропагандируемую ими идею революционного переворота — за свою жизнь он видел уже слишком много насилия и крови. Кроме того, коммунистические и

социалистические союзы не вызывали у него доверия: за фасадом ярких лозунгов и обещаний он слишком часто угадывал лишь амбициозные претензии их лидеров.

Историческая сцена менялась: 1920-е гг. вступали в свои права. С лихорадочным весельем в кофейнях и барах отчаянно прожигалась жизнь, стоившая, как оказалось, так мало, и заглушались шампанским мрачные призраки фронта. Но за алкогольными парами и дымом бесчисленных сигарет поднималась реальность, жестокая и трезвая, в которой складывались мощные промышленные союзы, заключались невиданные по масштабам сделки, и политические махинации сопровождались шуршанием банковских чеков; реальность, в которой росла нищета и все меньше и меньше оставалось места человеку, не сумевшему приспособиться к надвигавшейся механистической жизни.

В 1923 г. Дос Пассос уже начал набрасывать свой третий роман, который должен был во всей полноте вобрать в себя предыдущий опыт писателя, все, что ему удалось пережить и понять за время детского одиночества, учебы и войны; роман должен был также отразить картину, открывавшуюся его взгляду сейчас.

Вернувшись из очередного путешествия по Европе осенью 1923 г., Дос Пассос поселился в одном из тихих пригородов Нью-Йорка. Он снял маленькую меблированную комнату с видом на пляж, пустынный в это время года. Здесь он мог быть один и работать над книгой, которая «будет буквально фантастической и нью-йоркской», как он выразился в одном из своих писем того времени. Он уже знал, что озаглавит книгу «Манхэттен» — по названию острова, с которого исторически начинался Нью-Йорк и который стал теперь его центром.

Манхэттен — сердцевина огромного города, где в многочисленных конторах и офисах сосредоточилась его деловая жизнь, где на кварталы протянулись шикарные магазины и рестораны, где потоком неслись по улицам автомобили, сливая свои нетерпеливые гудки с протяжными голосами океанских пароходов, идущих к манхэттенским докам. Манхэттен был достойным предметом для романа. Он концентрировал в себе жизнь всего города так же, как город становился концентратом и отражением общественной жизни вообще, со всеми ее характерными чертами, проблемами, пороками и достоинствами. Манхэттен был местом, где трущобы особенно бросались в глаза, так как соседствовали с мраморными дворцами; где разнообразие языков и наречий было особенно заметно, так как сюда, пройдя иммиграционный контроль, высаживались прибывшие иностранцы; где деловые костюмы бизнесменов с Уолл-стрит контрастировали с вольной одеждой художников из Гринич-Виллидж, где проходили рабочие демонстрации и где одиночество и заброшенность человека в людском море преодолеть было труднее, чем где-либо еще.

Нью-Йорк и Манхэттен, Город и его Сердце, стали для Дос Пассоса символическими образами жизни американского общества, его временным и пространственным выражением, где в сложном лабиринте переплелись воедино судьбы, улицы и желания, трущобы, площади и рухнувшие надежды. «Манхэттен», по замыслу автора, должен был вобрать под свою обложку жизнь Нью-Йорка на протяжении почти тридцати лет — с конца девятнадцатого века до начала третьего десятилетия века двадцатого.

В дни работы над книгой слабое зрение доставляло Дос Пассосу особенно много хлопот. Ежедневное многочасовое напряжение вызывало сильные головные боли. Чтобы избавиться от них, он проделывал глазные упражнения по специальной системе; одно из них заключалось в чтении без очков мелкого шрифта. Достав карманную Библию, уткнувшись в нее носом и немилосердно щурясь, он читал каждый день несколько абзацев из нее.

Его намеренные прогулки без очков были небезопасны — он шел, натыкаясь на предметы, задевая прохожих и переходя перекрестки среди расплывчатого тумана зданий и редких силуэтов скользивших мимо машин. Фантастичность улиц передавалась его Манхэттену — остров в короне высотных зданий вставал над обрамлявшими его реками и океаном величественной и опасной громадой со стертыми границами берегов и мостов, дня и ночи, преступлений и подвигов.

Дос Пассос вернулся в Нью-Йорк под Рождество, которое провел с друзьями — Скоттом и Зельдой Фицджеральд и Эдмундом Уилсоном. Он поселился в Бруклине, районе Нью-Йорка, отделенном от Манхэттена Восточной рекой — Ист-ривер, в комнате, выходящей окнами на Бруклинский мост. Здесь хорошо работалось, а в перерывах можно было выйти из дома и прогуляться в порт, откуда открывался замечательный вид на остров, о котором он писал. Он подолгу курил, сидя на деревянных пирсах и разговаривая с портовыми бродягами. Все, что составляло жизнь улиц — объявления и рекламы, плакаты и лозунги,— постепенно заполняло его записную книжку, так же как и обрывки случайно услышанных разговоров и вырезки из газет. Он собирался построить повествование на отдельных равнозначных эпизодах из жизни своих персонажей, жителей Нью-Йорка, скрепляя их, как цементом, тем городским материалом, который ему удалось накопить. Но чем дальше он продвигался в своей работе, тем менее различимы становились характеры и «цементирующий» материал: из сплава рождался Город — центральное действующее лицо.

Дос Пассос был так увлечен работой, что даже прекратил писать для журналов. Это повлекло за собой финансовые затруднения: «У меня уже с пару месяцев не было пятидолларовой бумажки в кармане»,— сообщал он друзьям в начале 1924 г.

В мае рукопись была практически готова. В это же время острый приступ ревматической лихорадки уложил писателя в постель практически до конца июля. В начале августа он отнес

книгу в издательство Харперов. После небольших споров, касающихся языка (издатели находили его местами излишне нелитературным), рукопись приняли к публикации.

1925 г. был признан впоследствии одним из самых выдающихся периодов в истории американской литературы. В этом году появились «Великий Гэтсби» Фицджеральда, «Эроусмит» Льюиса, драйзеровская «Американская трагедия», «В наше время» Хемингуэя; 12 ноября вышел из типографии «Манхэттен» Дос Пассоса. Многочисленные рецензии, последовавшие за публикацией книги, часто противоречивые в оценках, в один голос утверждали, тем не менее, что роман занимает совершенно особенное место во всем потоке только что изданной литературы.

Никогда еще столь многочисленные ракурсы жизни огромного города не соединялись под одной книжной обложкой. Никогда еще они не изображались с подобной точностью, которая порой переходила в откровенный натурализм. И никогда еще будничная жизнь Нью-Йорка не выглядела так драматично.

«Манхэттен» выделялся необычностью композиционного построения, переплетением временных пластов, огромным количеством второстепенных персонажей и необычным смешением типов повествования, где реалистическое письмо перебивалось лихорадочным пунктиром «потока сознания», а поэтические отрывки перемежались со скупым, почти лишенным эпитетов изложением. Страницы посвященных роману обзоров пестрели словами «экспрессионистский», «супернатуралистический», «неореалистический», «архитектурный», «панорамный», «калейдоскопический», «фрагментарный». Некоторые критики указывали на чрезмерное увлечение автора французским импрессионизмом, многие связывали роман со знаменитым «Улиссом» Джойса. В одной из рецензий «Манхэттен» сравнивался с ужасающим взрывом в выгребной яме. В другой — с исследовательской лабораторией.

Наибольшее впечатление на читающую публику произвело развернутое эссе Синклера Льюиса в «Субботнем литературном обозрении» «Наконец-то Манхэттен!» — эссе, которое и сейчас читается с увлечением благодаря свежести восприятия и точности суждений его автора. Льюис, в середине 1920-х гг. наиболее авторитетный писатель Америки, называл «Манхэттен» книгой первостепенного значения, закладывающей основы для совершенно новой писательской школы. Он выражал восхищение виртуозной техникой романа, но еще более его потрясала «зачарованность автора красотой жизненного водоворота» и то, как он отразил это в своей книге. В конце статьи Льюис писал о том, что считает «Манхэттен» по всех смыслах более значительным, чем все, созданное Гертрудой Стайн, Марселем Прустом или даже Джойсом. Такое утверждение шокировало читателей и подогревало и без того немалый интерес к роману Дос Пассоса — первые четыре тысячи экземпляров разошлись практически моментально.

Роман, вызвавший столь бурную реакцию, состоит из трех разделов, в каждый из которых входят несколько глав, предваряемых небольшими эпиграфами, напоминающими стихотворения в прозе. Эти выразительные эпиграфы звучат некими вступительными аккордами, определяя тональность следующего за ними повествования:

Нью-йоркский порт, безногий юноша со своей тележкой у подножия вздыбившегося над ним небоскреба, плавящийся асфальт летних улиц, жаркое марево над раскаленным потоком автомобилей, старик, всхлипывающий на углу («Я не могу, не могу, не могу!»), и толпа людей, равнодушно спешащая мимо. В случайных уличных сценах проявляются бесчисленные лики Нью-Йорка, каждый из которых по-своему значителен и символичен. Эпиграфы придают прозе объемность, стереоскопичность, заставляя воспринимать отдельные сюжетные линии как часть целого — города, истории, человеческой жизни вообще.

Страницы «Манхэттена» населены чрезвычайно плотно. Перед глазами читателя мелькает множество людей — одни возникают, чтобы сразу же исчезнуть навсегда, поглощаемые Городом, другие остаются в поле зрения на какой-то промежуток времени, разговаривают, отправляются на поиски работы, ссорятся, танцуют в ресторанах, влюбляются, предают и затем так же растворяются в толпе. Лишь несколько человек продолжают последовательно появляться на протяжении всего действия романа.

«Манхэттен» отличает фрагментарность повествования, свойственная более кинематографу, чем литературе. Тридцатилетний отрезок времени предстает перед читателем как ряд отрывочных картин, иногда даже не имеющих между собой видимой связи. Соединенные одна с другой в тонко продуманной последовательности, они образуют особый логический сюжет точно рассчитанного эмоционального воздействия. При этом сам автор практически устраняется, предоставляя читателю самому судить об увиденном.

Интересно, что «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна, знаменитый своими монтажными приемами, демонстрировался в Нью-Йорке в том же 1925 году. «Потемкин» не имел индивидуального героя-человека: отдельные его персонажи лишь иллюстрировали состояние всего коллектива. Но и их роль была значительна. Для создания нужного эмоционального эффекта Эйзенштейн показывал не просто сотни убитых: отдельным крупным планом на экране представали лица тех, кто пробуждал в зрителях сострадание, кому конкретно зритель сопереживал, — и эффект усиливался в геометрической прогрессии.

То же самое высвечивание отдельных судеб на фоне общего трагического сумбура бытия читатель находит в «Манхэттене». Разница состоит в том, что в повествовании Дос Пассоса немое кино того времени соединяется со звуком — живой многоязычной речью, всей массой городского шума, льющегося со страниц романа.

Среди немногих персонажей, проходивших через всю книгу, отчетливо выделялись трое — актриса Эллен Тэтчер, журналист Джим Херф и адвокат Джордж Болдуин. Джим и Джордж противоположны, как два полюса, по своим нравственным качествам и по тому, что судьба уготовила каждому из них: Болдуину — удачную карьеру, ценой конформизма и серии предательств, Херфу — нищету и неясные перспективы ценой сохранения своей индивидуальности и отказа идти на компромисс с обществом. Между этими полюсами мечется женщина, красавица Эллен. Уступая в конце концов Болдуину и тому миру, который он представляет, Эллен погибает, оставляя вместо себя миру раскрашенный манекен, изящную механическую игрушку. Джим Херф — персонаж, наделенный Дос Пассосом многими автобиографическими чертами. В детстве он — начитан и одинок, рано сталкивается со сложными семейными проблемами. Так же, как и Дос Пассос, он связывает свою жизнь с литературным поприщем, и так же, как он, проходит через опыт первой мировой войны. Он же — единственный из героев романа, которому удается выстоять в схватке с Манхэттеном.

Манхэттен Дос Пассоса — это навязанные конформистские нормы, политические игры и нечистоплотность власти, продажность лидеров рабочих организаций, это нищета, толкающая людей на преступления, это унижение вынужденной лжи и притворства, это власть денег и полная зависимость от них, это бриллиантовые миражи и царство расхожих стандартов. Манхэттен не выносит одиночек, пытающихся идти против течения,— он топит их в своих водоворотах, потому что они опасны его отлаженному механизму, его силе. Джим Херф — такой одиночка. Манхэттен лишает его карьеры, денег, уюта семейного очага. Но Херфу удается преодолеть магнетическое притяжение Манхэттена и бежать, спасая свое человеческое «я» и свободу следовать избранным нравственным принципам. Осознав опасность Манхэттена, он находит в себе силы вырваться из замкнутого круга его разрушительного воздействия.

Все остальные персонажи романа продолжают существовать в этом кругу: бродяги, нищие, политики, коммерсанты, продавцы, руководители рабочих партий, актеры, газетчики, домохозяйки, банкиры, налетчики, аферисты. Очерчивая с чрезвычайной точностью маршруты их передвижения по Манхэттену, Дос Пассос говорит о неразрывной связи людей и Города: то, по каким улицам они ходят, где обедают, куда ездят развлекаться, определяет их жизненный статус, их нравственность и почти судьбу. Переход с одной улицы на другую, переезд из района в район означают возвышения и падения, характеризуют мечты и надежды. Манхэттен поделен сеткой продольных и поперечных улиц (авеню и стрит), как шахматная доска, и Дос Пассос маневрирует многочисленными фигурами своей игры, перемещая их с клетки на клетку. Нью-Йорк — и сцена, и враг, и питательная среда. Он живет и дышит, разрастаясь в высоту и ширину, захватывая новые территории и сметая все на своем

пути. Его движения завораживают своей мощью и странной механистической красотой. Люди пытаются удержаться, карабкаясь по лестницам в свои квартиры, кидаясь в такси, цепляясь за столики в кафе, в одном отчаянном жесте соединяя жажду жизни, надежду, страх и бессилие. «В Нью-Йорке ничто не имеет значения, кроме денег!» — плачет Алиса Шеффилд. «Из вас ничего не выйдет, пока вы не поймете, что не вы хозяин в этом городе!» — кричит безымянный босс на своего служащего. «Ночью, когда ничего не разобрать, он хорош. Но в нем нет художественности, нет красивых зданий, нет духа старины — вот в чем ужас»,— вздыхает антрепренер Гарри Голдвейзер. «По-моему, в этом городе живут легионы людей, жаждущих непостижимых вещей...» — мечтательно произносит Эллен Тэтчер. «Я знаю одно: больше всего я хочу выбраться из этого города, предварительно положив бомбу под какой-нибудь небоскреб»,— признается Джимми Херф своему приятелю Стэну Эмери. «Как ни тошнит от Нью-Йорка, а уйти от него некуда. И это самое ужасное... Нью-Йорк — вершина мира. Нам остается только крутиться и крутиться, как белка в колесе»,— заключает Болдуин. Ни один из них не счастлив; несчастливы и нищие, выпрашивающие подаяние, и богатые, у которых расшатаны нервы от вечного страха потерять нажитое, от вечных забот, как нажить еще, не оступиться, не проиграть и не упустить. В этом городе нет счастливых людей, утверждает Дос Пассос.

Хемингуэй в предисловии к европейскому изданию «Манхэттена» писал: «В Европе «Манхэттен», переведенный на многие языки, стал духовным Бедекером по Нью-Йорку. Дос Пассос — единственный из американских писателей, оказавшийся способным показать европейцам реальную Америку, которую они найдут, приехав туда. Даже перевод сохраняет его энергичность, его наблюдательность, его благородство и увлеченность. Ему свойственна честность — единственная добродетель наших туповатых литераторов,— но он обладает и гораздо большей культурой, чем многие наши доморощенные гуманисты, соединенной с силой и изобретательностью истинного художника».

Друг писателя Эдмунд Уилсон возразит, однако, впоследствии, что жизнь среднего класса Америки даже при капитализме и даже в таком городе, как Нью-Йорк, отнюдь не так отвратительна, как ее изображает Дос Пассос. В статье «Дос Пассос и социальная революция» Уилсон пишет: «Читая роман, временами обнаруживаешь, что готов броситься защищать даже американские уборные, даже фордовские автомобили, которые, в конце концов, начинаешь ты рассуждать, сделали не меньше, чтобы спасти нас от беспомощности, заброшенности и грязи, чем все пророки революции».

И все же роман не пропагандировал революционных идей. Дос Пассос не предлагал какого-либо конкретного решения проблем, накопившихся в человеческом обществе капиталистической Америки. Более того, прежние его сомнения в способности социалистических союзов повлиять на общественную

систему в лучшую сторону были выражены в книге достаточно откровенно. По существу, роман предлагал лишь один выход — бегство. Куда бежит из Манхэттена Джимми Херф, сказано тем не менее не было: читатель мог разглядеть лишь дорогу под колесами подобравшего его грузовика, дорогу, уходящую в предутренний туман. Но то, что Херф осознал опасность Манхэттена и нашел в себе силы бежать от него, уже очень много и очень важно для Дос Пассоса. Если существует один человек, которого Манхэттену не удается убить, то, может быть, где-нибудь окажутся и другие.

Уилсон, возможно, был прав, возражая против чрезмерного пессимизма романа. Однако проблемы, стоящие перед обществом, были выражены Дос Пассосом с глубокой достоверностью. По-прежнему заинтересованный коммунистической теорией, Дос Пассос тем не менее понимает, что и она во многом несовершенна. «О Господи, как все гнусно! Если бы я мог все свалить на капитализм, как Мартин»,— восклицает он устами Джима Херфа. Общественные проблемы видятся писателю гораздо более сложными, выходящими за рамки изъянов капиталистического строя. Он еще сомневается в их источнике и не может пока указать пути их решения. Одно только Дос Пассос считает несомненным: необходимо как-то излечить человеческое общество, чтобы ни его стадные инстинкты, ни его безразличие, ни продажность властей не могли погубить на корню, растлить и распять человеческую душу со всеми таящимися в ней запасами доброты и милосердия. Необходимо помочь человеку спастись от Манхэттена.

Конец 20-х — начало 30-х гг. считается периодом наибольшей «левизны» в убеждениях Дос Пассоса. В 1926 г. он путешествует по Мексике, где знакомится с журналистами, с художниками авангардно-революционной ориентации. Их огромные настенные панно в центре Мехико впечатляют его своим бунтарством и страстной потребностью авторов образно объяснить смысл революционной покорности народу, в большинстве безграмотному. Статьи Дос Пассоса о Мексике, которые он писал для «Масс», полны сочувствия к мексиканским крестьянам и рабочим, разобщенным, не понимающим смысла политических поединков и интриг, устало и на голодный желудок укладывающимся спать каждый вечер на полу своих убогих домов. Однако желание облегчить их участь снова наталкивалось на неразрешимость вопроса — как это сделать: со времени написания «Манхэттена» Дос Пассос мало продвинулся в поиске приемлемых средств.

Репутацию Дос Пассоса как писателя революционного сильно укрепило его участие в судьбе Сакко и Ванцетти, двух итальянских анархистов, бездоказательно осужденных властями на смерть в 1927 г. Дос Пассос стоял в пикетах, организованных в их поддержку у Бостонского правительственного здания; он подписывал петиции в их защиту. Вместе с группой других демонстрантов он даже попал под арест (не слишком,

впрочем, серьезный), а после казни анархистов во всеуслышанье объявил о своем полном разочаровании в американской политической системе.

Но несмотря на это писатель по-прежнему держится в стороне от политических организаций. На вопрос журналиста — «верите ли вы, что если писатель — коммунист, то его работа лучше отражает действительность?» — он ответил: «Я не представляю, как романист или историк при современных условиях может быть членом какой-либо партии».

Он всегда немного замкнут в себе и сдержан, он вглядывается в происходящее вокруг с холодноватой отстраненностью художника, стремящегося к максимальной объективности картины. Он не любит участвовать в спорах, но при необходимости неуступчиво отстаивает свое мнение. Обычно он старается говорить быстро и негромко, чтобы как-то скрыть заикание, которым страдает с детства.

В 1928 г. Дос Пассос побывал в России, проведя несколько месяцев в Москве и Ленинграде и проехав на пароходе по Волге. Он живо интересуется новейшим советским искусством, особенно последними открытиями Эйзенштейна в кинематографе и Мейерхольда в театре. Советский театр восхищает его, несмотря на то, что незнание языка мешает следовать сюжету спектаклей: авангардное оформление сцены, неожиданные артистические решения во многом отвечают его собственным художественным принципам.

Находясь в России, Дос Пассос пытается оценить социализм в действии, снова взвесить все «за» и «против». Не имея практической возможности увидеть все стороны социалистического строительства, он высказывает свою симпатию к происходящим в стране процессам, к энтузиазму и увлеченности людей, к масштабам задуманных перемен. Однако на вопрос «с нами вы или против нас?», задаваемый ему повсюду, он так и не может ответить. Его смущают жесткость коммунистической доктрины и ставка на коллективизм.

В 1936 г. была напечатана целиком трилогия «США», которую Дос Пассос писал в течение нескольких лет, начав работу сразу по возвращении из России. Трилогия — одно из самых масштабных произведений американской литературы — представляла собой невиданную до сих пор по широте и всеохватности панораму жизни Соединенных Штатов на протяжении первых тридцати лет 20-го столетия. Это был все тот же взгляд «с высоты птичьего полета», вызвавший почти безоговорочные теперь аплодисменты критики — отточенная техника, яркая даже на фоне многочисленных формальных новаций в литературе, живописи и кино того времени; огромный объем информации исторического и социального характера, выдававший глубокую образованность автора. И за всей этой исторической массой, за сплетениями диалогов, биографий политических деятелей, отрывочными сюжетными линиями и множеством анонимных персонажей снова угадывалась фигура одиноко

стоящего человека, растерявшегося в этом хаотическом и равнодушном мире, нуждающегося в помощи и поддержке. Это был еще один рассказ о Манхэттене, но Манхэттене, раскинувшемся по всему американскому континенту.

Поездка в Испанию в 1937 г. оказалась тем поворотным пунктом, после которого позиции Дос Пассоса были объявлены радикальной критикой «воинствующе консервативными» и заклеймены как предательство. В Испании, куда Дос Пассос и Хемингуэй отправились на съемки фильма о гражданской войне, был арестован Хозе Роблес, близкий друг Дос Пассоса. Сочувствовавший коммунистам, Роблес был схвачен тем не менее как немецкий шпион и казнен без суда и следствия. Дело Роблеса долго оставалось в секрете: попытки Дос Пассоса узнать что-либо конкретное о друге и помочь ему окончились ничем. Дос Пассос покинул страну с чувством опустошенности и невосполнимой потери. «Проклятие на оба ваши дома» — такова была его окончательная реакция.

В течение следующего года Дос Пассос работал над новой книгой «Приключения молодого человека». Вышедшая в 1939 г., она со всей отчетливостью заявляла о новой, категоричной позиции ее автора. «Приключения» заканчивались гибелью героя, Глена Спотсвуда, преданного коммунистами и посланного ими на смерть от фашистских винтовок. «Глен Спотсвуд был воспитан в традициях американского идеализма,— писал Дос Пассос о своем новом герое.— Он страдает от врожденного чувства добра и зла. Он одинок в мире 20—30-х годов».

Критика холодно встретила новую книгу Дос Пассоса. И дело было не в том, что многие литераторы в штыки приняли его окончательный разрыв с коммунизмом,— в книге отсутствовала та новизна и свежесть технических приемов, которыми были отмечены «Манхэттен» и «США»; попытка же автора рассказать о злоключениях Спотсвуда в сатирическом ключе оказалась неудачной. Литературная репутация Дос Пассоса начала падать.

С этих пор писатель целиком обратил свои надежды к Соединенным Штатам. Он снова и снова вчитывается в исторические труды и как никогда много ездит по стране. После серьезных размышлений он наконец приходит к выводу, что именно Америка, страна и государство, должна дать ему ответ на вопросы, мучившие его еще с гарвардских времен; что в самой системе американской демократии, пусть во многом несовершенной, кроются возможности изменения общественного устройства в лучшую сторону. Дос Пассосу пришлось проделать долгий путь, чтобы это увидеть.

Во время второй мировой войны он все так же много путешествует, посылая в журналы репортаж за репортажем об Америке военного времени. Категорически высказываясь против коммунизма, Дос Пассос с недоверием теперь относится к сближению Америки и России: «Кто обедает с дьяволом, должен иметь длинную ложку,— записывает он в своем дневнике.— Диктатура и демократия вряд ли могут договориться».

За Дос Пассосом утверждается репутация одного из самых консервативных писателей. Написанные им в последние годы романы, литературные достоинства которых часто оставляют желать лучшего, расходятся плохо. Казалось, он израсходовал все свои силы в поиске решения мучивших его проблем и, когда долгожданный ответ был наконец найден, в нем не осталось уже ни былой энергии, ни творческого воображения. Тем не менее благодаря, возможно, отсвету прежних дней в 1946 г. его избирают членом Американской академии искусства и литературы. Его кандидатуру поддерживают Синклер Льюис, Эдна Сент Винсент Миллей, Карл Сандберг, Юджин О'Нил.

В 1957 г. Национальный институт искусства и литературы наградил Дос Пассоса Золотой медалью. Медаль вручал Уильям Фолкнер. Перед началом церемонии он и Дос Пассос имели непродолжительный разговор. Биографы умалчивают о том, что было сказано во время этой беседы. Известно лишь, что когда пришло время торжественно преподнести медаль, Фолкнер отказался от официальной речи, выразив свое отношение к происходящему одной простой фразой: «Никто не заслужил ее более и никто не ждал ее дольше».

Несмотря на то, что времена славы Дос Пассоса безвозвратно ушли, годы не состарили то лучшее, что было написано им. Его «Манхэттен» останется актуальным до тех пор, пока существуют огромные города с миллионами живущих в них людей, как бы ни меняло время их облик. Потому что в каждом таком городе есть свой опасный Манхэттен, в котором человек часто бывает беззащитен и одинок и так нуждается в уважении, сочувствия и поддержке. Это сочувствие — не обязательно герою, не обязательно праведнику, но человеку заблуждающемуся и грешному — будет всегда живо в лучших романах Дос Пассоса, хотя собранные им когда-то газетные вырезки пожелтели, обрывки услышанных разговоров растаяли в воздухе, многие здания в нью-йоркском Манхэттене были снесены и многие, еще более грандиозные, воздвигнуты.

Екатерина Салманова

ТРИ СОЛДАТА

роман

Часть первая

ОТЛИВАЕТСЯ ФОРМА

I

Рота стояла, выстроившись во фронт. Каждый человек смотрел прямо перед собой вдоль пустого учебного плаца, на котором вечер обливал багрянцем кучи угольного шлака. В ветре, пахнувшем бараками и дезинфекцией, уже слегка чувствовался жирный запах готовившейся еды. На другом конце просторного плаца длинные ряды людей медленно вливались в узкий деревянный барак, служивший столовой. Опустив подбородки, выпятив грудь, с подергивающимися от усталости после дневных занятий ногами, рота стояла во фронт. Каждый человек смотрел прямо перед собой: одни тупо и покорно, другие изучая, ради развлечения, до мелочей каждый предмет, попадавший в их поле зрения,— кучи мусора, длинные цепи бараков и столовых, у которых толпились люди, плевавшие и курившие, прислонившись к дощатым стенам. Было так тихо, что некоторые из стоявших в строю различали тиканье часов в своих карманах.

Кто-то сделал движение, и ноги его заскрипели на покрытой шлаком земле. Голос сержанта прорычал:

— Подтянись! Не елозить в строю!

Солдаты, стоявшие рядом с провинившимся, покосились на него.

Два офицера направлялись к ним из самой глубины плаца. По их жестам и по тому, как они шли, стоявшие в строю солдаты догадывались, что они говорят о чем-то, живо их интересующем. Один из офицеров по-мальчишески рассмеялся, повернулся и медленно пошел назад через поле. Другой, лейтенант, улыбаясь направился к ним. Когда он подошел к роте, улыбка исчезла с его лица;

он выпятил подбородок и зашагал тяжелыми размеренными шагами.

— Можете распустить роту, сержант! — Голос лейтенанта звучал отрывисто и резко.

Рука сержанта взметнулась вверх, к фуражке, точно крыло семафора.

— Рота, во-ольно! — прокричал он.

Ровная линия одетых в хаки людей превратилась в толпу отдельных индивидуумов в запыленных сапогах, с пыльными лицами. Десять минут спустя они выстроились и промаршировали колонной по четыре в ряд к котлу. Раскаленные волокна нескольких электрических ламп мутно освещали коричневатую мглу барака. Длинные столы, скамьи и дощатые полы издавали слабый запах кухонных отбросов, смешанный с запахом дезинфекции, которой вытирали столы после каждой еды.

Держа перед собой свои овальные манерки*, солдаты проходили гуськом мимо больших котлов, из которых обливающиеся потом дежурные по кухне, в синих халатах, выплескивали в каждую манерку порцию мяса с картофелем.

— Сегодня как будто недурно,— сказал Фюзелли; он засучил рукава над кистями и наклонился над своей дымящейся порцией. Это был крепкий малый с кудрявыми волосами и толстыми, мясистыми губами; он жадно чмокал ими во время еды.

— Как будто,— отозвался сидевший против него розовый юноша с льняными волосами, не без ухарства сдвинув набок свою широкополую шляпу.

— Я сегодня получил увольнительный,— сказал Фюзелли, гордо подняв голову.

— Небось, к девочкам пойдешь?

— Голова!.. У меня дома, в Фриско*, есть невеста... Славная девчурка!

— И прав, что не связываешься с здешними девчонками. Все они грязнули, в этом проклятом городишке. Да! Уж если собираешься за океан, так держись крепче...— Юнец с льняными волосами с серьезным видом перегнулся через стол.

— Пойти взять, что ли, еще жратвы? Подождешь меня? — сказал Фюзелли.

— А что ты будешь делать в городе? — спросил белобрысый юнец, когда Фюзелли вернулся.

— Не знаю. Пошатаюсь немного, заверну в кино,— ответил тот, набивая рот картошкой.

— Черт побери, сейчас пробьют зорю*,— услышал он голос за собой.

Фюзелли набил рот как только мог полнее и скрепя сердце выбросил остатки в бак для отбросов.

Через несколько минут он стоял уже, вытянувшись во фронт в ряду одетых в хаки людей, ничем не отличаясь от сотни других одетых в хаки людей, которые заполнили теперь весь плац. Где-то на другом конце, у флагштока, заиграл горнист. Фюзелли почему-то вспомнил чиновника, сидевшего за письменным столом в рекрутском бюро. Передавая ему бумаги, отсылавшие его в лагерь, чиновник сказал: «Я хотел бы отправиться с вами» — и протянул ему белую костлявую руку. Фюзелли после минутного колебания пожал ее своей грубой и загорелой рукой. Чиновник прибавил с чувством: «Это должно быть великолепно, именно великолепно — чувствовать постоянную опасность, сознавать, что каждую минуту можешь погибнуть. Желаю счастья, юноша, желаю счастья!» Фюзелли с неудовольствием вспомнил его белое, как бумага, лицо и зеленоватый оттенок его лысого черепа; но слова эти все же заставили его выйти из бюро большими шагами, и он свирепо растолкал на ходу кучку людей, столпившихся в дверях. Даже теперь воспоминание об этом, смешиваясь со звуками национального гимна, наполняло его сознанием собственной значительности и силы.

— Правое плечо вперед, марш! — раздалась команда.

Песок захрустел под ногами. Роты возвращались в свои бараки. Фюзелли хотелось улыбнуться, но он не осмеливался. Ему хотелось улыбаться, потому что у него был отпуск до полуночи, потому что через десять минут он будет уже за воротами, по ту сторону зеленого забора, часовых и переплета из колючей проволоки.

— Кр... кр... кр...— скрипит песок.

Как медленно они ползут! Он теряет время, драгоценные свободные минуты. «Правой, правой!» — покрикивал сержант, когда кто-нибудь сбивался с ноги; глаза его сверкали, как у раздраженного бульдога.

Рота снова выстроилась в темноте. Фюзелли от нетерпения кусал губы. Минуты ползли невыносимо медленно.

Наконец, как бы нехотя, сержант прокричал:

— Во-ольно!

Фюзелли ринулся к воротам, с буйной бесцеремонностью прокладывая себе дорогу. Он почувствовал под собой асфальт улицы; перед ним тянулся длинный ряд палисадников; там, вдали, фиолетовые дуговые фонари, по-

виснув на своих железных стержнях над молодыми недавно посаженными деревцами, окаймлявшими аллею, уже соперничали с бледными отблесками зари. Он остановился на углу, прислонившись к телеграфному столбу; лагерный забор, по верху которого тянулась в три ряда колючая проволока, был за его спиной. Куда бы направиться? Паршивый город! А он-то думал — вот попутешествую, увижу свет! «То-то сладко покажется дома после всего этого»,— пробормотал он.

Спускаясь по длинной улице к центру города, где находился кинематограф, он думал о своем доме, о темной квартире в самом низу семиэтажного дома, где жила его тетка. «И мастерица же она стряпать»,— пробормотал он с сожалением.

В такой вот теплый вечер, как этот, можно было бы постоять на углу, где аптека, болтая с знакомыми парнями и задевая прогуливающихся под ручку парочками да по три штуки девушек — они-то делают вид, что не замечают преследующих их взглядов. А еще можно было бы отправиться с Элом (который работал в том же магазине оптических приборов, что и он) побродить по залитым огнями улицам той части города, где находятся театры и рестораны. Или забраться с порт! Они уселись бы, покуривая, и смотрели бы на темно-пурпуровую гавань с ее мигающими огнями и движущимися паромами, отбрасывающими на воду из своих квадратных огненно-красных иллюминаторов колеблющиеся отражения. Если бы им повезло, они увидели бы, как через Золотые Ворота* входит большой трансокеанский пароход, постепенно превращаясь из светлого пятна в огромное движущееся сияние; словно огромный, залитый огнями театр вырос на барже; слышен вдруг шум винта, слышно, как разбегается, журча, вода перед корабельным носом, разрезающим тихие воды бухты, или вдруг звуки духового оркестра долетают, попеременно — то тихие, то громкие. «Когда я разбогатею,— говорил обыкновенно Фюзелли, обращаясь к Элу,— непременно прокачусь на таком вот пароходе».

— Твой папаша, кажется, тоже приехал из Старого Света на таком? — спрашивает Эл.

— Ну, он приехал на эмигрантском. Я бы уж лучше остался дома, чем ехать на палубе. Мне, брат, подавай первый класс и каюту-люкс, когда я разбогатею.

А теперь он очутился на востоке, в этом городе, где он никого не знает и где некуда даже пойти, кроме как в кинематограф.

— Хелло, приятель,— раздался позади него голос.

Высокий юнец, сидевший против него за обедом, нагонял его.

— В кино?

— А то куда же?

— Вот новичок. Только сегодня утром попал в лагерь,— сказал высокий юноша, мотнув головой в сторону человека, стоявшего рядом с ним.

— Ничего, привыкнешь! Не так уж плохо, как кажется с первого раза,— ободряюще сказал Фюзелли.

— Я как раз говорил ему,— сказал юноша.— Главное, держи ухо востро и не вляпайся. Стоит раз оплошать в этой треклятой армии — и полетишь к черту!

— Да уж это как в аптеке... Так тебя подкинули в нашу роту? Ну что ж, у нас не худо. Сержант — приличный парень, но дело, конечно, спрашивает. Вот лейтенант, тот, действительно, вонючка... Ты откуда?

— Из Нью-Йорка,— сказал новобранец, маленький человечек лет тридцати, с пепельно-серым лицом и блестящим еврейским носом.— Я портной. Меня вообще должны были освободить! Это безобразие! Я чахоточный! — Он выкрикивал эти слова слабым пискливым голосом.

— Уж они приведут тебя в порядок, можешь не беспокоиться,— сказал высокий юноша.— Так поправят, черт возьми, что сам себя не узнаешь! Мать — и та не узнает, когда ты вернешься домой... Тебе везет!

— Как так?

— Да так, что ты из Нью-Йорка. Капрал Тим Сандис тоже оттуда, и всем нью-йоркским ребятам с ним лафа.

— Какие папиросы ты куришь? — спросил высокий юнец.

— Я не курю вовсе.

— Лучше бы курил. Капрал не прочь выкурить иногда хорошую папиросу и сержант тоже... Никогда не мешает угостить хорошей папиросочкой... для поддержания отношений.

— Ни черта не стоит,— сказал Фюзелли,— все дело в счастье. А на всякий случай держи себя в чистоте да в аккурате и улыбайся пошире — пойдет как по маслу. Ну, а захотят на тебе ездить, становись на дыбы. Надо здоровую шкуру иметь, чтобы добиться чего-нибудь на военной службе.

— Верно! Ей-ей, верно! — сказал высокий юноша.— Главное, не давай им оседлать себя. Как тебя зовут, новичок?

— Эйзенштейн.

— Этого товарища зовут Поуэрс, Билл Поуэрс. Меня — Фюзелли... Пойдешь в кинематограф, Эйзенштейн?

— Нет, я лучше поищу девочку.— Маленький человечек бледно подмигнул.— Рад был познакомиться.

— Вишь, какой,— сказал Поуэрс, когда Эйзенштейн отошел и направился по боковой улице, обсаженной, как и аллея, молодыми деревцами. Их чахлые листья шелестели при слабом ветерке, пахнувшем фабриками и угольной пылью.

— Что ж, евреи народ ничего,— сказал Фюзелли.— У меня есть один большой друг, тоже еврей.

Они выходили из кинематографа в потоке людей, среди которых преобладали темные костюмы фабричных.

— Я чуть было не разревелся, когда парень в картине прощался со своей девушкой, чтобы отправиться на войну,— сказал Фюзелли.

— В самом деле?

— Это было точка в точку, как со мной. Бывал ты когда-нибудь в Фриско, Поуэрс?

Высокий юнец покачал головой. Он снял широкополую шляпу и взъерошил пальцами свою лохматую голову.

— Ну и жарища же там была, черт побери,— пробормотал он.

— Так вот, видишь ли,— продолжал Фюзелли.— В Окленд нужно переправиться на пароме. Моя тетка... Ведь ты знаешь, что у меня нет матери, я живу с детства у тетки. Моя тетка, невестка и Мэб... Мэб — это мой предмет. Словом, они все переправились вместе на пароме, хотя я и заявил им, что не желаю этого. А Мэб и говорит мне, что она страсть как на меня обозлилась, потому что прочитала письмо, которое я написал Джорджине Слаттер. Штучка была там одна, жила тоже на нашей улице. Я ей ерундовские записки писал. Ну, я стал уверять Мэб, что сделал это просто так, черт его знает зачем, дурачился просто, и ничего тут нет серьезного. А она все твердит, что никогда не простит мне. А я и говорю, что, может, меня убьют и она никогда не увидит меня. И тут мы все как заревем! Ну и история была...

— Чертовски неприятно расставаться с девушками,— сказал Поуэрс сочувственно.— Вконец расстраиваешься. Уж лучше, по-моему, иметь дело с девками. С ними-то хоть прощаться не приходится.

— А имел ты дела с девками?

— Собственно, не очень...— признался высокий юноша; его розовое лицо так сильно покраснело, что это

можно было заметить даже при бледном свете дуговых фонарей.

— Я с ними повозился,— заявил Фюзелли с некоторой гордостью.— Как-то раз я путался с одной девкой-португалкой. Ну и перец же была! Конечно, я все это бросил после помолвки, хотя... Да, так я тебе начал рассказывать. Ну, наконец мы помирились, я поцеловал ее, и Мэб сказала, что никогда не выйдет ни за кого, кроме меня. Как-то мы гуляли по улице, и я высмотрел в окне магазина шелковый военный флажок, настоящая мечта. Со звездой и весь разукрашенный, хоть кому бы понравился. Я сказал себе: это я подарю Мэб. Побежал и купил его. Наплевать мне было, сколько он стоит. И вот, когда мы все целовались и ревели при прощании, я сунул его ей в руку и сказал: «Береги это, девочка, и не забывай меня». И что бы ты думал она сделала? Вытащила пятифунтовую коробку леденцов из-за спины и говорит: «Только, смотри, не объешься, Дэн!» И ведь она все время держала ее при себе, коробку-то, а я и не заметил. Ну не умницы ли эти девочки?

— Да-а,— неопределенно сказал высокий юноша.

Когда Фюзелли вернулся в бараки, вдоль рядов коек шли взволнованные разговоры.

— Вот так штука, черт возьми! Кто-то удрал из тюрьмы.

— Как?

— Да будь я проклят, если я знаю!

— Сержант сказывал, что он скрутил веревку из одеял.

— Из какой он роты?

— Не знаю.

— А как звать его?

— Не знаю. Какой-то молодчик, был под следствием за неповиновение. Заехал офицеру кулаком в рыло.

— Хотел бы я посмотреть на это!

— Как бы то ни было, но на этот раз он влип!

— Да уж, черт меня побери!

— Замолчите вы когда-нибудь, ребята! — прогремел сержант, читавший газету за маленьким столиком у дверей барака при слабом свете тщательно завешенной лампочки.— Вот накличете на свою голову дежурного офицера!

Фюзелли завернулся с головой и приготовился заснуть. Уютно закутавшись в одеяло на своей узкой койке, он чувствовал себя укрытым от громового голоса сержанта и от блеска холодных глаз офицера. Ему было уютно и радостно, как бывало в своей постели дома, когда он был еще совсем малышом. На минуту он представил

себе того другого человека — человека, ударившего офицера кулаком по лицу,— одетого, как и он, быть может, тоже девятнадцатилетнего, и у которого, вероятно, была девушка вроде Мэб, поджидавшая его где-нибудь дома. Как холодно и страшно, должно быть, очутиться вне лагеря и знать, что тебя разыскивают.

Ему представилось, что он сам бежит, задыхаясь, вдоль длинной улицы, а за ним по пятам гонится вооруженный отряд; глаза офицеров сверкают жестоким блеском, как заостренные концы пуль... Он плотнее закутал голову одеялом, наслаждаясь теплотой и мягкостью шерсти у своей щеки. Нужно во что бы то ни стало не забыть улыбнуться сержанту, когда встретишь его вне службы. Кто-то говорил, что скоро будут производства. Ах, как бы ему хотелось получить повышение! То-то здорово было бы, если бы он мог написать Мэб, чтобы она теперь адресовала свои письма капралу Дэну Фюзелли. Он должен быть очень осторожен, чтобы чем-нибудь не испортить дела, а главное, надо стараться при всяком случае показать им, какой он дельный малый. «О, когда нас отправят за океан, уж я покажу им себя»,— подумал он с жаром и начал засыпать, рисуя себе длинные кинематографические ленты героизма.

Резкий голос у его койки заставил его привскочить.

— Эй, вы, вставайте!

Белый луч карманного потайного фонарика был направлен прямо в лицо его соседа по койке.

«Дежурный офицер»,— сказал себе Фюзелли.

— Эй, вы, вставайте! — раздался снова резкий голос.

Человек на соседней койке зашевелился и открыл глаза.

— Встать!

— Слушаюсь, сэр,— пробормотал тот, сонно мигая от ослепительного света. Он вскочил с кровати и неуверенно вытянулся во фронт.

— Ничего не придумали умнее, как спать в дневной рубахе? Снимите ее!

— Слушаюсь, сэр!

— Ваша фамилия?

Человек поднял глаза, мигая, слишком ошеломленный, чтобы ответить.

— Не знаете собственного имени? — сказал офицер, свирепо глядя на него. Его резкий голос резал точно удар хлыста.— Живо снять рубаху и штаны и марш в постель!

Дежурный офицер двинулся дальше в полуночный обход, направляя свой фонарик то в одну, то в другую сто-

рону. Снова сгущенная темнота, глубокое дыхание и храп спящих людей. Засыпая, Фюзелли слышал, как его сосед монотонно ругался ровным шепотом, останавливаясь время от времени, чтобы придумать новую комбинацию слов, отводя в брани свою бессильную ярость и убаюкивая самого себя однообразным повторением проклятий.

Немного позднее Фюзелли проснулся со сдавленным криком от кошмара. Ему приснилось, что он ударил дежурного офицера по щеке и убежал из тюрьмы. Он бежал, задыхаясь, спотыкаясь, падая, а за ним по проспекту, обсаженному маленькими засохшими деревцами, по пятам, настигая его, гнался отряд караульных, и голоса офицеров, отдавая команду, звенели, как щелканье ружейных курков. Он был уверен, что его поймают, что он будет убит. Он содрогнулся, стряхивая кошмар, как собака стряхивает с себя воду, и заснул снова, плотно закутавшись в свои одеяла.

II

Джон Эндрюс стоял голый на середине большой пустой комнаты, потолок, стены и пол которой были сколочены из неотесанных сосновых досок. Воздух был тяжелый от парового отопления. На столике в одном углу судорожно щелкала пишущая машинка.

— Скажите, молодой человек, как пишется «кретинизм»? Через «е» или через «и»?

Джон Эндрюс подошел к столу, ответил и прибавил:

— Вы собираетесь экзаменовать меня?

Человек не отвечая принялся снова писать на машинке. Джон Эндрюс стоял посреди комнаты, сложив руки, полузаинтересованный, полураздраженный, переминаясь с ноги на ногу, и невольно прислушивался к стуку машинки и голосу человека, читавшего вслух каждое слово рапорта, который он переписывал.

— Представляется к увольнению от военной службы...— Клик-клик.— Чертова машинка... рядовой Кой Элберт. Чтоб их черт побрал, эти паршивые армейские машинки! Причина — кри... кретинизм... История болезни...

В этот момент сержант, принимавший новобранцев, вернулся обратно.

— Послушайте, Билл, если вы через десять минут не кончите переписывать этот рапорт, капитан Артур взбе-

сится, как черт. Ради самого Бога, поторопитесь! Он и так уже говорит, что, если вы не умеете работать, нужно будет подыскать кого-нибудь порасторопнее. Ведь вам не улыбается потерять место? Хелло! — Глаза сержанта остановились на Джоне Эндрюсе.— Я и позабыл о вас. Побегайте немного по комнате... легче, легче... чтобы я мог проверить ваше сердце. Господи, до чего эти новички жирные!

Безропотно позволяя ощупывать и измерять себя, точно лошадь, которую оценивают на ярмарке, Джон Эндрюс прислушивался к человеку за машинкой.

— Половой из... о черт, эта резинка никуда не годится! ...вращенности и склонности к пьянству не замечено, детство провел нормально, на ферме. Внешний вид нормальный; хотя замечается дефективное... Скажите, сколько «ф» в слове «дефективное»?

— Ладно, одевайтесь,— сказал сержант.— Живо! Не могу же я терять из-за вас целый день. Почему, черт возьми, они прислали вас сюда одного?

— Мои бумаги были не в порядке.

— Чув... муст... ум...— продолжал голос человека за машинкой.— У-м-с-т-в-е-н-н-ы-е способности восьмилетнего ребенка. Кажется неспособным ни к... Черт бы побрал каракули этого человека! Как я могу переписывать, когда он сам не дописывает слов!

— Хорошо! Я думаю, что вы подходите. Теперь нужно еще выполнить некоторые формальности. Пройдите сюда!

Эндрюс перешел за сержантом к конторке, стоявшей в дальнем углу комнаты, куда уже едва долетало щелканье машинки и сердитое ворчание пишущего.

— Забывает исполнять приказания... не поддается никаким внушениям... памяти никакой...

— Ладно! Возьмите это с собой в барак Б. Четвертое строение направо. Только поживее! — сказал сержант.

Выйдя из околотка, Эндрюс набрал полные легкие живительного воздуха. Минуту он простоял в нерешительности на деревянных ступенях строения, глядя вдоль ряда наспех выстроенных бараков. Некоторые были выкрашены в зеленый цвет, другие сохраняли цвет досок, а третьи все еще оставались только скелетами. Над головой его по необъятному простору неба медленно плыли большие груды окрашенных в розовое облаков. Взгляд Эндрюса соскользнул с неба на высокие деревья за пределами лагеря, горевшие яркой желтизной осени, а оттуда — на конец длинной улицы бараков, где виднелся час-

токол и часовой, шагавший взад и вперед, взад и вперед. Его брови на минуту сдвинулись, затем с некоторой нерешительностью он направился к четвертому строению направо.

Джон Эндрюс мыл окна. Он стоял, в грязной синей куртке, на верхушке лестницы и натирал мыльной тряпкой мелкие стекла барачных окон. Его ноздри были полны запаха пыли и смешанного с песком мыла. Маленький человечек с серовато-красной щекой, набитой изнутри табачной жвачкой, следовал за ним, тоже на лестнице, протирая стекла сухой тряпкой, пока они не начинали блестеть, отражая пятнистое облачное небо. Ноги у Эндрюса устали от лазания вверх и вниз по лестнице, руки саднило от скверного мыла. Во время работы он без всякой мысли смотрел вниз на ряды коек с одинаково сложенными одеялами, на которых кое-где валялись солдаты в позах, говоривших о полном изнеможении. Его уже не раз за это время поражало то, что он ни о чем не думал. В последние несколько дней его ум, казалось, превратился в грубую, твердую массу.

— Долго нам еще корпеть над этим? — спросил он человека, работавшего с ним. Тот продолжал жевать, так что Эндрюс подумал, что он совсем не собирается ответить ему. Он только хотел заговорить снова, когда человек, задумчиво покачиваясь на верхушке лестницы, выдавил из себя:

— Четыре часа.

— Значит, нам не кончить сегодня?

Человек покачал головой и сплюнул, сморщив лицо в необыкновенную гримасу.

— Давно здесь?

— Не очень.

— Сколько?

— Три месяца... Не так уж много.— Человек снова сплюнул и, спустившись со своей лестницы, ждал, прислонившись к стене, когда Эндрюс кончит намыливать окно.

— Я с ума сойду, если проторчу здесь три месяца. Я здесь неделю,— пробормотал Эндрюс сквозь зубы, слезая вниз и передвигая лестницу к следующему окну.

Они снова молча взобрались наверх.

— Как это вы попали в уборщики? — снова спросил Эндрюс.

— Легких нет.

— Почему же вас не освобождают?

— Да, должно быть, скоро и освободят.

Они довольно долго продолжали работать молча. Эндрюс начал с верхнего угла направо и намыливал по очереди каждое стекло. Затем он спустился вниз, передвинул лестницу и полез на следующее окно. По временам он для разнообразия начинал с середины окна. По мере того как он работал, какая-то мелодия начинала прокладывать себе путь в твердой сердцевине его мозга, вызывая в нем брожение, размягчая его. В ней отражалась вся безмерная пыльная тоска этой жизни: люди, застывшие в строю на учении, вытянувшиеся во фронт; однообразный мерный топот ног, пыль, поднимавшаяся от батальонов, марширующих взад и вперед по пыльным учебным плацам. Он чувствовал, как мелодия заполняет все его тело от ноющих рук до ног, уставших от маршировки взад и вперед, от необходимости вытягиваться в одну и ту же линию с миллионами других ног. Его ум начал бессознательно, по привычке разрабатывать мелодию, инструментировать ее. Он чувствовал в себе огромный оркестр, заполняющий его целиком. Сердце его билось быстрее. Он должен обратить это в музыку, он должен запечатлеть это в себе, чтобы воплотить в симфонию и записать, чтобы оркестры могли играть ее, чтобы несметные толпы восприняли ее и содрогнулись до мозга костей.

Он работал не переставая весь бесконечный день, карабкаясь вверх и вниз по лестнице, натирая окна барака мыльной тряпкой. Одна глупая фраза, застрявшая в его мозгу, вытеснила оттуда поток музыки: Arbeit und Rhythmus[1]. Он без конца повторял ее про себя: «Arbeit und Rhythmus». Он попробовал было изгнать из своего сознания эти слова и снова погрузиться в ритм музыки осенившей его симфонии, выражавшей пыльную тоску, насильственное втискивание теплых, полных движений, своеобразия и стремления тел в неподвижные формы, напоминавшие те формы, в которые выливают оловянных солдат. Но кто-то, казалось, грубо кричал ему в уши все те же слова: «Arbeit und Rhythmus!» Этот голос заглушал все остальное, истязая его мозг, иссушая его и снова превращая в твердую засохшую массу.

Вдруг он громко рассмеялся. Да ведь это же были немецкие слова.. Его готовили к тому, чтобы убивать лю-

[1] Работа и ритм! (*нем.*)

дей, говоривших таким образом: если бы кто-нибудь произнес это, он убил бы его. Они будут убивать всякого, кто говорит на этом языке, он и все остальные,— те, которые маршировали сейчас по учебному полю, чьи ноги вытягивались на плацу в одну и ту же линию.

III

Было субботнее утро. Три солдата в синих блузах подметали листья на улице между рядами бараков, под командой капрала, кривоногого итальянца, умудрявшегося даже при солдатском столе распространять вокруг себя легкий запах чеснока.

— Тянетесь, точно слюни! Пошевеливайтесь, ребята... через двадцать пять минут инспекция! — повторял он.

Солдаты продолжали работать не обращая на него внимания.

— Ни черта не стараетесь! Если увидит инспекция, мне нагорит, не вам. Поживее, пожалуйста. Эй, вы там, подберите эти окаянные окурки!

Эндрюс сделал гримасу и начал собирать маленькие серые, грязные кончики выкуренных папирос. Когда он нагнулся, глаза его встретились с темно-карими глазами солдата, который работал возле него. Глаза были сужены от злобы, а мальчишеское лицо пылало под загаром.

— Не для того я полез в эту чертову армию, чтобы всякий проклятый идиот командовал мной,— негромко ворчал он.

— Собственно, не так уж важно, кто тобой командует,— командовать будут все равно,— сказал Эндрюс.

— Ты откуда будешь, товарищ?

— Из Нью-Йорка! Моя семья из Виргинии,— сказал Эндрюс.

— А я из Индианы... Делай вид, что работаешь, а то эта проклятая обезьяна опять ползет из-за угла.

— Да не ворошите вы их на месте, а выметайте вон! — закричал капрал.

Эндрюс и парень из Индианы обошли место перед бараками с метлой и лопатой, собирая жеваную табачную жвачку, папиросные окурки и клочья грязной бумаги.

— Как тебя звать? Мое имя Крисфилд. Ребята зовут меня Крис.

— Меня Эндрюс, Джон Эндрюс.

— У моего папаши там, дома, был работник, тоже Энди. Заболел и помер прошлым летом. Как ты думаешь, не скоро еще нас переправят через океан?

— Не знаю.

— Хотелось бы мне поглядеть на те края.

— Эй, ребята, что же вы тут торчите! Ступайте-ка, опорожните мусорные ящики. Живее! — кричал капрал, с важным видом расхаживая на своих кривых ногах. Он не отрывал глаз от улицы, тянувшейся вдоль бараков, и бормотал себе под нос: — Проклятье... вот уже время инспекции... черт... никогда они не опаздывали...

Внезапно лицо его застыло в почтительной неподвижности. Он поднес руку к околышу фуражки. Группа офицеров прошла мимо него в ближайшее строение.

Джон Эндрюс, возвращаясь после чистки мусорных ящиков, вошел через заднюю дверь в свой барак.

— Смирно! — раздался окрик с другого конца.

Он, насколько мог, сделал неподвижными шею и руки. В тишине бараков раздавалось резкое постукивание каблуков инспектирующих офицеров. Желтое лицо с впалыми глазами и тяжелой квадратной челюстью приблизилось к глазам Эндрюса. Он смотрел прямо перед собой, разглядывая несколько рыжеватых волосков на кадыке офицера и новые нашивки по обеим сторонам его воротника.

— Сержант, кто этот человек? — раздалось из бледного лица.

— Не могу знать, сэр, новобранец, сэр. Капрал Валери, кто этот человек?

— Его имя Эндрюс, сержант,— сказал капрал-итальянец с подобострастной дрожью в голосе.

Офицер обратился прямо к Эндрюсу, быстро и громко отчеканивая слова:

— Сколько времени вы служите в армии?

— Неделю, сэр!

— Вам не известно, что вы должны быть каждую субботу начисто выбриты, умыты и готовы к осмотру в девять часов?

— Я чистил бараки, сэр!

— Не возражать, когда к вам обращается офицер! — Офицер тщательно отчеканивал слова, подчеркивая их. Делая замечание Эндрюсу, он покосился украдкой на своего начальника и заметил, что майор хмурится. Его тон тотчас же слегка изменился.— Если это случится еще раз, вы будете подвергнуты дисциплинарному взыска-

нию... Смирно там! — Кто-то шевельнулся на другом конце барака.

В абсолютной тишине снова раздалось щелканье офицерских каблуков. Осмотр продолжался.

— Ну, ребята, теперь все вместе! — закричал христианский юноша*, стоявший, широко растопырив руки, перед экраном кинематографа.

Фортепьяно загремело, и толпа солдат, набившаяся в комнату, проревела в один голос:

Ура! Ура! Команда в сборе!
Мы против кайзера идем!
Мы против кайзера идем!

Балки загудели от их сильных голосов. Картина началась. Джон Эндрюс исподтишка наблюдал вокруг себя. Рядом с ним сидел парень из Индианы, прикованный к экрану, а кругом повсюду возвышались над одетыми в хаки телами низко остриженные головы; изредка в белом мигающем свете экрана поблескивала чья-нибудь пара глаз. Волны смеха и легких восклицаний то и дело пробегали над ними. Они были так одинаковы, что минутами казались одним существом. Вот чего он искал, когда поступал в армию, сказал он себе. Тут он укроется от охватившего его ужаса перед миром. Возмущение, беспокойные мысли, собственная индивидуальность, которую он, точно знамя, высоко поднимал над мятежом, измучили его вконец. Так было гораздо лучше: предоставить жизни идти своим чередом, истребить в себе эту сводящую с ума жажду музыки, втоптать себя в тину общего рабства. Мрачная злоба все еще поднималась в нем при воспоминании о голосе офицера в это утро: «Сержант, кто этот человек?» Офицер смотрел ему в лицо, как смотрят на мебель.

— Ну и картина! — Крисфилд обернулся к Эндрюсу с улыбкой, которая прогнала его раздражение и вызвала приятное чувство товарищества.

— Сейчас вот самая интересная часть. Я видел уже это в Фриско,— сказал человек по другую сторону Эндрюса.

— Черт, после нее просто возненавидишь этих гуннов!

Человек, сидевший у рояля, громко забарабанил в перерыве между двумя частями фильма. Парень из Индианы обнял Эндрюса за плечи и нагнулся вперед, обращаясь к его соседу с другой стороны:

— Из Фриско?

— Да!

— Вот штука-то, черт возьми! Вы с Тихого океана, этот парень из Нью-Йорка, а я из старой Индианы — как раз посередине...

— Из какой роты?

— Да не из какой пока... Мы с этим парнем в уборщиках.

— Чертовское место... Меня зовут Фюзелли.

— Меня Крисфилд.

— Меня Эндрюс.

— А долго приходится торчать в этом лагере до отправки?

— Не знаю! Одни ребята говорят три недели, а другие — шесть месяцев. Послушайте, да не сунут ли вас в нашу роту? На днях они переправили кучу народа, и капрал сказал, что нам дадут вместо них новичков.

— Черт бы их побрал! Поскорее бы за океан!

— Что и говорить, хорошие места,— сказал Фюзелли.— Все там ну просто как на картине. Живописно, как говорится. И люди носят крестьянские платья... У меня дядька был оттуда, так рассказывал, как там все. Из-под Турина он был.

— А это где будет?

— Почем я знаю? Где-то в Италии!

— Скажи-ка, а много времени нужно, чтобы переправиться через океан?

— О, неделю-две,— сказал Эндрюс.

— Так долго!

Но кинематограф заработал снова. На ленте замелькали солдаты в заостренных шлемах, вступающие в бельгийские города, где то и дело попадались запряженные собаками тележки с молоком и старые женщины в крестьянских костюмах. Когда на картине показывался германский флаг, в зале поднимались свист и гиканье, а когда лента изображала, как немцы закалывают мирных граждан в широких голландских штанах и старых женщин в накрахмаленных чепцах, солдаты, набившиеся в барак ХАМЛ, посылали им громкие проклятья. Эндрюс чувствовал, как слепая ненависть в сидевших около него парнях нарастала, точно это было нечто, имеющее самостоятельное бытие. Она заражала его и увлекала, точно он находился среди охваченного паникой стада. Ужас, подобно хищным рукам, сжимал его горло. Он посмотрел на лица окружающих — они все были полны напряжен-

ного внимания, разгорячены и блестели от пота в жаркой комнате.

Выходя из барака, стиснутый в плотном потоке солдат, двигающихся к выходу, Эндрюс услышал, как кто-то сказал:

— Я никогда в жизни не обижал женщины, но клянусь Богом, что теперь я это сделаю! Ничего бы не пожалел, чтобы изнасиловать какую-нибудь проклятую немку!

— Я их тоже не перевариваю,— раздался другой голос,— мужчин, женщин, детей и даже... и даже не родившихся ребят. Они или круглые идиоты, или такие же бандиты, как их правители, если позволяют этой шайке генералов командовать над собой.

— Вот если попадется мне в плен германский офицер, я его сначала заставлю сапоги чистить, а потом пристрелю, как собаку,— сказал Крис Эндрюсу, когда они возвращались по длинной улице в свой барак.

— Правда?

— Да! Только сейчас мне хотелось бы подстрелить кое-кого другого! — с жаром продолжал Крис.— Недалеко искать придется; уж я сделаю это, если он не перестанет приставать ко мне!

— Кто это?

— А этот большой балбес Андерсон, правофланговый. Он, кажется, вбил себе в голову, что если я ниже его ростом, то уж он может издеваться надо мной как хочет.

Эндрюс круто обернулся и посмотрел в лицо своему спутнику. Что-то в мрачном голосе парня поразило его. Для него все это было необычно. Он считал себя горячим человеком, но никогда в жизни не чувствовал желания убить кого-нибудь.

— Ты в самом деле хочешь убить его?

— Пока еще нет, но он меня доводит до черта своим приставанием. Вчера я замахнулся на него ножом. Тебя тогда не было. Разве ты не заметил, что я был немного не в себе на учении?

— Да... но сколько тебе лет, Крис?

— Двадцать. Ты ведь постарше меня будешь, правда?

— Мне двадцать два.— Они стояли прислонившись к стене своего барака и смотрели вверх, в сияющую звездную ночь,

— Скажи-ка, что там, за океаном, такие же звезды, как здесь?

— Должно быть, такие же,— ответил Эндрюс смеясь.— Хотя я никогда не бывал там и не видел их!

— Мне не пришлось много учиться,— продолжал Крис.— Я вышел из школы, когда мне было двенадцать, потому что толку от этого было мало, а отец сильно пил — так я понадобился на ферму для работы.

— Что у вас там сеют в Индиане?

— Больше всего маис*, потом еще пшеницу и табак, а главное, скота много разводят. Так вот я как раз хотел рассказать тебе, как я раз чуть не уложил одного молодца.

— Расскажи-ка!

— Я в то время здорово пил. Бедовая была у нас тогда компания. Работали мы, бывало, только покуда не наберем достаточно монет, чтобы покутить с девочками. В картишки тоже дулись и виски лакали здорово. Случилось это как раз во время жатвы. Черт, я уже и забыл даже, из-за чего все вышло, только поссорился я с одним парнем, с которым мы до того были настоящими друзьями. Он замахнулся и ударил меня по щеке. Не помню, что я тут сделал, только прежде чем я успел что-нибудь сообразить, у меня в руке очутился рабочий нож, и я занес его над парнем. Такой нож... если всадить в человека — тут ему и конец. Потребовалось четверо молодцов, чтобы удержать меня и вырвать нож. А все-таки я успел ему здорово раскроить грудь. Я был просто до чертиков пьян тогда. Эх, брат, и вид же у меня был, когда я возвращался домой: половина платья содрана, рубаха в клочья... Свалился я в канаву и проспал там до самого утра, все волосы в грязи вывалял... А теперь я редко когда и каплю в рот возьму.

— Так тебе тоже хочется поскорее за океан, Крис? — сказал Эндрюс после долгой паузы.

— Я спихну этого гуся Андерсона в море, если нас отправят на одном пароходе,— сказал Крис смеясь, но после паузы прибавил: — Скверно было бы все-таки, если бы я уложил тогда этого парня. Вот уж, по совести говорю, не хотел я этого.

— Да, брат, скрипач — это дело прибыльное,— сказал кто-то.

— Вовсе нет,— раздался меланхолический, тягучий голос из тощего человека, который сидел согнувшись вдвое, положив свое длинное лицо на руку и уперев локти в колени.— Только-только кормит.

Несколько человек толпились в глубине барака. Длинный ряд коек, освещенный случайными слабыми отсветами электрических ламп, тянулся от них к маленькому

столику сержанта около дверей. Некоторые уже спали, другие торопливо раздевались.

— Увольняешься, не так ли? — спросил человек с сильным ирландским акцентом и красным лицом веселой гориллы, выдававшим в нем содержателя бара.

— Да, Фланнаган, увольняюсь,— уныло произнес тощий человек.

— Вот уж не везет парню,— раздался голос из толпы.

— Да, не везет, братец,— сказал тощий человек, рассматривая впалыми глазами лица столпившихся вокруг него солдат.— Я должен был бы зарабатывать сорок долларов в неделю, а здесь я едва выколачиваю семь, да к тому же еще служу в армии.

— Да я не про то. Не везет, говорю, что из этой проклятой армии увольняют.

— «Армия, армия, демократическая армия!» — запел кто-то шепотом.

— Ну а я, черт возьми, хочу отправиться за океан гуннов посмотреть,— сказал Фланнаган, ухитрявшийся с необычайным искусством соединять ирландский акцент с говором лондонца.

— За океан,— подхватил тощий человек.— Если бы мне только удалось поехать поучиться за океан, я зарабатывал бы не меньше Кубелика*. У меня задатки хорошего скрипача.

— Почему же ты не поедешь? — спросил Эндрюс, стоящий с краю вместе с Фюзелли и Крисом.

— Посмотрите на меня — туберкулез,— сказал тощий человек.

— Просто дождаться не могу, чтобы они переправили меня туда,— сказал Фланнаган.

— Забавно, должно быть, не понимать, что народ кругом говорит. Мне один парень сказывал, что они говорят там «вуй» вместо «да».

— Можно знаками объясняться,— сказал Фланнаган,— ну да ирландца всюду поймут. Зато уж с гуннами беседовать не придется. Черт побери! Как только доберусь туда, сейчас же открою ресторанчик. Что вы на это скажете?

Все рассмеялись.

— Недурно будет, а? Вот увидите, открою в Берлине ирландский ресторан. И будь я проклят, если сам английский король не приедет ко мне и не заставит проклятущего кайзера поставить всем выпивку.

— К тому времени кайзера вздернут на телеграфном столбе. Тебе нечего беспокоиться, Фланнаган!

— Его нужно бы замучить до смерти, как негров, когда их линчуют на юге.

Где-то далеко на учебном плацу проиграл горнист, и все молча разошлись по своим койкам. Джон Эндрюс завернулся в одеяло, обещая себе спокойно подумать некоторое время перед сном. Для него сделалось необходимостью лежать таким образом по ночам без сна, чтобы не совсем оборвать нить своей личной жизни — жизни, которую он начнет снова, если сможет пережить все это. Он отогнал мысль о смерти. Она не занимала его и была ему безразлична. Но когда-нибудь в нем снова проснется желание играть на рояле, писать музыку. Он не должен позволять себе слишком глубоко проникаться беспомощной психикой солдата. Ему необходимо сохранить свою волю.

Нет, он не об этом хотел думать сегодня. Он так устал уже от самого себя. Ему нужно во что бы то ни стало забыть о себе. С первого года своего учения в колледже, он, казалось, только и делал, что думал о себе, говорил о себе. Здесь, на дне, в глубочайшем унижении рабства, он сможет, по крайней мере, найти забвение и начать заново возводить здание своей жизни, на этот раз из прочного материала: работы, дружбы и презрения. Презрение — вот чего ему недоставало. В каком грубом фантастическом мире очутился он вдруг! Вся его жизнь до этой недели казалась ему главой, вычитанной из романа, картиной, которую он увидел в витрине магазина — так мало походила она на окружающую его действительность. Полно, да разве могло все это происходить в одном и том же мире? Он, должно быть, умер, сам не зная этого, и родился опять в новом, жалком аду...

Свое детство он провел в разрушенной усадьбе, стоявшей среди старых дубов и каштанов у дороги, по которой лишь изредка проезжали одноколки и запряженные быками телеги, нарушая однообразие песчаных полей, тянувшихся в узорчатой тени. Он так любил мечтать в то время; в длинные виргинские дни, лежа под миртовым кустом на краю запущенного сада, он предавался под сонное жужжание кружившихся на солнце оводов мечтам о мире, в котором он будет жить, когда вырастет. Как много завидных поприщ рисовалось ему! Он будет полководцем, как Цезарь, покорит мир и погибнет от руки убийцы в величественном мраморном зале; или странствующим менестрелем — обойдет с песнями чужие земли, участвуя в бесконечных сложных приключениях;

или сделается великим музыкантом: будет сидеть за роялем, как Шопен на гравюре, прекрасные женщины будут рыдать, слушая его, а мужчины с длинными вьющимися волосами закроют руками лица. Одного только рабства он не представлял себе — его раса властвовала для этого слишком много веков. И все же мир покоился на различных видах рабства.

Джон Эндрюс лежал на спине на своей койке, тогда как вокруг него в темном бараке все спали и храпели. Какой-то страх охватил его. В одну неделю величественное здание его романтического мира, с его бесконечным богатством красок и гармонии, пережившее и школу, и колледж, и удары, полученные в борьбе за существование в Нью-Йорке, распалось в прах вокруг него. Он очутился в полной пустоте. «Как глупо,— подумал он,— ведь это тот мир, которым живет большая часть человечества — нижняя половина пирамиды».

Он подумал о своих друзьях, о Фюзелли и Крисфилде, и об этом забавном маленьком человечке, Эйзенштейне. Они чувствовали себя как дома в этой армейской жизни; их, казалось, нисколько не пугала потеря свободы. Но ведь они никогда не жили в другом, сияющем мире. Однако он не мог презирать их за это, как хотел бы. Он представил себе их поющими под управлением христианского юноши:

Ура, ура, все мы в сборе здесь!
Мы кайзера в плен захватим,
Мы кайзера в плен захватим,
Мы кайзера в плен захватим
Разом!

Он вспомнил, как подбирал с Крисфилдом окурки и беспрерывное «топ-топ-топ» на учебном плацу. В чем была связь между всем этим? Не одно ли тут безумие? Ведь эти спящие вокруг люди собрались сюда из таких различных миров, чтобы слиться в этом дне. Что они думали об этом, все эти спящие? Разве и они не мечтали, как он, когда были мальчиками? Или предшествовавшие поколения подготовили их только к этому? Он вспомнил, как лежал, бывало, под миртовым кустом в знойный, ленивый полдень, следя за тем, как бледные звезды цветов ложатся узором на сухую траву, и снова чувствовал, закутанный в свое теплое одеяло среди всей этой массы спящих, как напрягаются его ноги от жгучего желания

понестись, не чувствуя на себе пут, по свежему вольному воздуху. Внезапно тьма заволокла его сознание.

Он проснулся. Снаружи играл горнист.

— Вставай веселее! — кричал сержант.

Еще один день.

IV

Звезды горели очень ярко, когда Фюзелли со слипающимися от сна глазами спотыкаясь вышел из барака. Они трепетали как куски блестящего студня на бархатном фоне неба, точь-в-точь так же, как что-то внутри его трепетало от возбуждения.

— Знает кто-нибудь, где зажигается электричество? — спросил сержант добродушным голосом.

Свет над дверьми барака вспыхнул, осветив маленького веселого человечка с желтыми усиками и незажженной папиросой, болтавшейся в углу рта. Столпившиеся вокруг него солдаты, в шинелях и шляпах, опустили свои ранцы на колени.

— Ну, стройтесь, ребята!

Когда Фюзелли выстроился вместе с остальными, на него со всех сторон устремились любопытные взоры. Он был переведен в роту только в прошлую ночь.

— Смирно! — закричал сержант, затем прищурил глаза и стал сосредоточенно рассматривать клочок бумаги, который держал в руке, в то время как солдаты его роты сочувственно следили за ним.

— Откликайтесь, когда услышите свое имя. Аллан!

— Здесь! — раздался пронзительный голос с конца шеренги.

— Анспах!

— Здесь!

В то же время перед бараками других рот происходили переклички. Откуда-то с конца улицы доносились радостные крики.

— Ну, теперь я могу объявить вам, ребята,— сказал со своим обычным видом спокойного всеведения сержант, назвав последнее имя.— Нас отправляют за океан!

Все возликовали.

— Заткнитесь! Уж не хотите ли вы, чтобы гунны услышали нас?

Солдаты расхохотались, а на круглом лице сержанта расплылась широкая усмешка.

Вдруг в полосе света появился лейтенант. Это был мальчик с розовым лицом; его новая защитного цвета шинель была слишком широка и не сгибаясь оттопыривалась при ходьбе.

— Все в порядке, сержант? Все готово? — спросил он несколько раз, переминаясь с ноги на ногу.

— Все готово к посадке, сэр,— с чувством сказал сержант.

— Очень хорошо! Я передам вам через минуту приказ о выступлении.

У Фюзелли стучало в ушах от необычайного волнения. Эти слова — «посадка», «приказ выступать» — звучали чем-то необыкновенным, серьезным, деловым. Он вдруг попытался представить себе ощущение, которое испытываешь под обстрелом. В его голове замелькали воспоминания о кинематографических лентах.

— Господи, ну и рад же я выбраться из этой чертовой дыры,— сказал он своему соседу.

— Смотри, как бы следующая не оказалась еще почище, брат,— сказал сержант, прохаживаясь взад и вперед своей внушительной, самоуверенной походкой.

Все засмеялись.

— Что за молодчина этот наш сержант,— сказал ближайший к Фюзелли человек,— ума палата, что и говорить!

— Вольно! — сказал сержант.— Только если кто-нибудь отлучится из этого барака, я засажу его на кухню до тех пор, пока он не научится чистить картошку во сне!

Рота снова расхохоталась. Фюзелли с неудовольствием заметил, что высокий человек с резким голосом, имя которого было вызвано первым при перекличке, не смеялся, а презрительно сплевывал углом рта. «Что ж, в семье не без урода!» — подумал Фюзелли.

Серые тени, постепенно светлея, ложились вокруг, предвещая зарю. Ноги Фюзелли устали от долгого стояния. Вдоль улицы, насколько хватал глаз, извилистой линией тянулись перед бараком ряды ожидающих солдат.

Взошло горячее солнце, день был безоблачный. Несколько воробьев чирикали на оцинкованной крыше барака.

— Черт, сегодня уж мы не двинемся!

— Почему? — спросил кто-то порывисто.

— Войска всегда выступают ночью.

— Черт бы их побрал!

— Вот идет сержант.

Все вытянули шеи в указанном направлении; сержант подошел с таинственной улыбкой на лице.

— Складывайте шинели и доставайте котелки!

Котелки забренчали и заблестели в косящих лучах солнца. Солдаты промаршировали в столовую и, вернувшись обратно, снова выстроились с ранцами за спиной и стали ждать.

Все начали понемногу уставать и брюзжали. Фюзелли думал о том, где теперь его старые друзья из другой роты. Славные ребята, Крис и тот ученый малый, Эндрюс. Жаль, что не пришлось отправиться вместе.

Солнце поднималось все выше. Люди один за другим заползали в бараки и ложились на голые койки.

— Кто хочет пари, что мы еще неделю проторчим здесь? — спросил кто-то.

В полдень они снова выстроились, чтобы идти к котлу, и угрюмо, торопливо проглотили обед. Когда Фюзелли выходил из столовой, выбивая двумя грязными ногтями зорю на своем котелке, капрал обратился к нему тихим голосом:

— Вымойте-ка хорошенько свой котелок, братец! У нас, может быть, будет осмотр ранцев.— Капрал был худой, желтолицый человек. Лицо его, несмотря на молодость, было все в морщинах, а рот, изогнутый в дугу, открывался и закрывался, как те рты, которые дети вырезают из бумаги.

— Слушаюсь, капрал! — весело ответил Фюзелли; ему хотелось произвести хорошее впечатление. «Скоро ребята станут и мне говорить «слушаюсь, капрал!»,— подумал он. В голове его мелькала мысль, которую он напрасно старался отогнать. У капрала болезненный вид, он недолго протянет за океаном. И Фюзелли представлял себе, как Мэб пишет на конверте: «капралу Дэну Фюзелли».

К концу дня вдруг появился офицер; лицо его горело от волнения, а защитная шинель торчала еще больше, чем обыкновенно.

— Ну, сержант, выстройте своих молодцов,— сказал он задыхающимся голосом.

Вдоль всей улицы строились роты. Они выступали одна за другой колоннами по четыре человека в ряд с ранцами на плечах. День уже окрашивался янтарем заката. Протрубили зорю. Мозг Фюзелли вдруг деятельно заработал. Звуки трубы и оркестра, игравшего национальный гимн, просеивались в его сознании сквозь грезы о том, что ждет его там. Он видел себя в каком-то месте, где

толпились старики и женщины в крестьянских костюмах. Люди в остроконечных касках, похожие на пожарных, беспрерывно стреляли, напоминая ку-клукс-клановцев в кинематографе. Они соскакивали с лошадей, поджигали здания и накалывали младенцев на свои длинные штыки со странными чуждыми движениями. Это были гунны. Тут же развевались по ветру знамена и гремели звуки оркестра, игравшего «Янки подходят». Все это потонуло в кинематографической картине, на которой одетые в хаки полки быстро маршировали по экрану. Воспоминание о радостных криках, всегда сопровождавших ее, затмило картину.

— Воображаю, какую трескотню поднимают, однако, эти гунны,— прибавил он в виде заключения. .

— Смирно! Вперед, марш!

Длинная улица лагеря наполнилась топотом ног. Солдаты двинулись. Когда они проходили через ворота, Фюзелли заметил Криса, который стоял, обнявшись с Эндрюсом. Оба они махали руками, скалили зубы и выпячивали грудь. Все-таки это были только новички. А он отправлялся за океан.

Тяжесть ранца оттягивала ему плечи и делала ноги тяжелыми, точно они были налиты свинцом. Пот скатывался из-под походной фуражки с его низко остриженной головы, заливал глаза и стекал по обеим сторонам носа. Сквозь топот ног до него смутно доносились с тротуара восторженные крики. Затылки и покачивающиеся ранцы перед ним все уменьшались ряд за рядом вверх по улице. Над ними из окон свешивались флаги, лениво колебавшиеся в сумерках. Но тяжесть ранца заставила его нагнуть голову и вытянуть ее вперед. Подошвы сапог, обернутые обмотками икры и нижний ремень ранца на человеке, шедшем перед ним,— вот все, что он мог видеть. Ранец был так тяжел, что мог, казалось, заставить его провалиться сквозь асфальт мостовой. А вокруг раздавалось лишь легкое звяканье амуниции и топот ног. Фюзелли обливался потом и смутно чувствовал испарения, поднимавшиеся от рядов напрягающихся вокруг него тел. Но постепенно он забыл обо всем, кроме ранца, давившего на плечи и оттягивавшего вниз бедра, колени и ноги, и однообразного ритма собственных ног, отбивавших шаг по мостовой, и других беспрерывно скрипевших ног — впереди него, позади него, около него. Кр... кр... кр...

Поезд был пропитан запахом новой амуниции, на которой высох пот, и дымом дешевых папирос. Фюзелли проснулся точно от толчка. Он спал, положив голову на плечо Билли Грея. Был уже полный день. Поезд медленно трясся по пересекающимся путям в каком-то унылом предместье, среди длинных закопченных товарных складов и бесконечных цепей товарных вагонов, за которыми мелькали коричневые болота и грифельно-серые полосы воды.

— Господи! Никак это Атлантический океан! — воскликнул взволнованно Фюзелли.

— В первый раз видишь, что ли? Это река Перс,— презрительно сказал Билли Грей.

— Откуда же я мог видеть! Я из Калифорнии!

Они высунули вместе головы из окна, так что щеки их соприкасались.

— Черт возьми, да тут есть девочки,— сказал Билли Грей.

Поезд дернул и остановился. Две неряшливые рыжеволосые девицы стояли около полотна, махая руками.

— Поцелуйте нас! — закричал Билли Грей.

— С удовольствием,— ответила одна из девушек.— Для таких молодцов нам ничего не жаль.

Она поднялась на цыпочки, а Грей высунулся из окна и с трудом ухитрился коснуться губами лба девушки.

Фюзелли почувствовал, как волна желания охватила его.

— Подержи-ка меня за пояс, я поцелую ее как следует!

Он высунулся далеко вперед и, обхватив руками розовые ситцевые плечи девушки, поднял ее над землей и стал яростно целовать в губы.

— Пустите, пустите! — кричала девушка.

Люди, высунувшиеся из окон вагонов, гоготали и кричали.

Фюзелли поцеловал ее еще раз и опустил на землю.

— Уж слишком много вы себе позволяете, черт возьми! — сердито сказала девушка.

Солдат в одном из окон заорал:

— Маме скажу!

Все расхохотались.

Поезд тронулся. Фюзелли гордо оглянулся кругом. На минуту перед ним встал образ Мэб, протягивающей ему пятифунтовую коробку леденцов.

— Никакого тут нет греха, так, баловство одно. Пустяк! — произнес он вслух.

— Нам бы только до Франции добраться! Уж там-то мы пофигуряем с мадимерзелями! А что, приятель? — сказал Билли Грей, шлепая Фюзелли по колену.

Красотка Кэтти,
Ки-ки-ки-Кэтти,
Ты всех других девиц ми-ми-милей!
Когда лу-лу-луна
Взойдет над хлевом,
Я буду ждать тебя у ку-ку-кухонных дверей.

Когда грохот колес на рельсах участился, все запели хором. Фюзелли с самодовольным видом оглянулся на товарищей, растянувшихся на своих узлах и шинелях в дымном вагоне.

— Важная штука быть солдатом,— сказал он Билли Грею.— Что в голову взбрело, то и валяй, черт возьми!

— Это,— сказал капрал, когда рота гуськом вошла в барак, в точности похожий на тот, который они оставили два дня назад,— это лагерь для посадки на суда. Но я хотел бы, черт побери, знать, на что нас будут сажать? — Он скривил свое лицо в улыбку, а затем с мрачным выражением скомандовал: — За едой!

В этой части лагеря было темно, хоть глаз выколи. Электричество горело жидким красноватым светом. Фюзелли напрягал зрение, ожидая увидеть в конце каждого прохода пристань и мачты пароходов. Солдаты продефилировали в мрачную столовую, где им налили в котелки жидкое варево. За кухонной перегородкой жизнерадостный старший сержант, второй мрачный сержант, похожий на пастора, и капрал с морщинистым лицом ели котлеты. Легкий запах жарящихся котлет распространялся по столовой, и от него жидкая остывшая похлебка казалась окончательно безвкусной.

Фюзелли с завистью поглядывал в сторону кухни, мечтая о том дне, когда он также будет в чинах. «Нужно будет поработать»,— серьезно сказал он себе. За океаном, под огнем, ему легко будет найти случай, чтобы показать себя. И он представлял себе, как геройски выносит из огня раненого капитана, а за ним гонятся люди с развевающимися бакенбардами и в заостренных шлемах, напоминающих каски пожарных.

Бренчанье гитары странно прозвучало на темной лагерной улице.

— Здорово зажаривает малый,— сказал Билли Грей, который плелся рядом с Фюзелли, засунув руки в карма-

ны. Они заглянули в дверь одного из бараков. Куча солдат сидела кольцом вокруг двух высоких негров. Их темные лица и груди блестели при слабом освещении, как черный янтарь.

— Ну-ка, Чарли, шпарь другую,— сказал кто-то.

Один из негров начал петь, в то время как другой небрежно подыгрывал на гитаре.

— Вали лучше «Титаника»!

Гитара затренькала унылый регтайм*. Голос негра вступил вдруг с очень высокой ноты:

Это песня о том, как «Титаник»
Вышел в море.

Гитара продолжала тренькать. В голосе негра слышалось что-то, заставившее смолкнуть все разговоры. Солдаты с любопытством смотрели на него.

Как «Титаник» столкнулся с горой ледяной,
Как «Титаник» столкнулся с горой ледяной
В открытом море.

Голос негра звучал уверенно и мягко, а гитара вторила ему, наигрывая тот же рыдающий регтайм. С каждым куплетом голос певца делался громче, а треньканье быстрее.

Опустился «Титаник» в синюю глубь,
Опустился в синюю глубь,
Опустился в море.
И все женщины и дети, плавая в воде,
И все женщины и дети, плавая в воде
Вокруг горы ледяной,
Пели: «Господи, идем к тебе!»
Пели: «Господи, идем к тебе,
Идем к тебе!»

Гитара играла мелодию гимна. Негр пел. Каждая струна в его гортани дрожала от напряжения. Он почти рыдал.

Человек рядом с Фюзелли тщательно прицелился и сплюнул в кадку с опилками, стоявшую в середине круга неподвижных солдат.

Гитара снова сыграла напев, быстро, почти насмешливо. Негр пел глубоким, искренним голосом. Он не успел кончить, когда вдалеке раздались звуки трубы. Все рассыпались.

Фюзелли и Билли Грей молча вернулись в свои бараки.

— Ужасная штука, должно быть, утонуть в море,— сказал Грей, закутываясь в одеяло.— Стоит только какой-нибудь из этих проклятых подводных лодок...

— Плевать я хотел на них! — сказал решительно Фюзелли.

Но когда он лежал уже на койке, уставившись в темноту, его сковал вдруг холодный ужас. Он подумал одну минуту о том, чтобы дезертировать, притвориться больным, все что угодно, только бы избежать переезда на транспорте.

Он чувствовал, как погружается в ледяную воду.

— Этакая подлость, черт возьми! Пересылать туда людей, чтобы топить их по дороге,— сказал он себе, и ему вспомнились холмистые улицы Сан-Франциско, зарево заката над гаванью и пароходы, входящие через Золотые Ворота. Сознание его постепенно затуманилось, и он заснул.

Колонна растянулась по дороге, покрывая ее, насколько хватал глаз, точно ковром защитного цвета. В роте Фюзелли люди переминались с ноги на ногу и ворчали: «Какого черта они еще ждут там!» Билли Грей, ближайший сосед Фюзелли по ряду, стоял согнувшись вдвое, чтобы облегчить плечи от тяжести своего ранца. Они стояли на перекрестке, на открытом возвышенном месте, откуда можно было видеть длинные навесы и бараки лагеря, тянувшиеся во всех направлениях, ряд за рядом, изредка прерываемые серыми учебными плацами. Перед ними до последнего поворота дороги тянулась колонна; она терялась на холме, среди горчично-желтых домов пригорода. Фюзелли был взволнован — он не переставал думать о прошедшей ночи. Когда помогал сержанту раздавать добавочные пайки и переносил ящики с сухарями, он тщательно вел им счет и ни разу не ошибся. Фюзелли был полон желания действовать, показать, на что он способен. «Черт побери,— сказал он себе,— славная штука эта война для меня. Я мог бы проторчать пять лет в лавке и ни черта не выдвинуться. А здесь, в армии, у меня есть возможность добиться чего угодно!»

Далеко впереди по дороге зашевелилась колонна. Голоса, выкрикивавшие приказания, резко звенели в утреннем воздухе. Сердце Фюзелли колотилось. Он гордился собой и ротой — лучшая рота во всей армии, черт побери! Рота впереди них двинулась; теперь был их черед.

— Вперед! Марш!

Они погрузились в однообразный топот ног. Пыль высоко поднималась над дорогой, по которой, точно темно-коричневый червяк, ползла колонна.

Тошнотворный, незнакомый запах ударил им в нос.

— Чего ради они загоняют нас сюда, вниз?

— Будь я проклят, если знаю!

Они спускались шеренгой по лестницам в пароходный трюм, казавшийся им страшной пропастью. У каждого в руке была синяя карточка с номером. В темном помещении, похожем на пустой товарный склад, они остановились.

— Должно быть, это и есть наша нора! — крикнул сержант.— Надо будет постараться устроиться тут получше.— Затем он исчез.

Фюзелли огляделся вокруг. Он сидел на самой низкой из скамеек, грубо сколоченных в три яруса из новых сосновых досок. Электричество, горевшее кое-где, освещало трюм слабым красноватым блеском. Только на лестницах были сильные лампы, дававшие яркий белый свет. Бесконечные шеренги солдат, вливавшиеся по лестницам, наполняли помещение топотом ног и стуком ранцев, сбрасываемых с нар. Где-то в проходе офицер пронзительным голосом кричал своим людям: «Пошевеливайтесь там, пошевеливайтесь!» Фюзелли, ошеломленный и подавленный, сидел на своей койке, следя за ужасающей суматохой, царившей вокруг. Сколько дней придется им пробыть в этой темной яме? Он вдруг почувствовал озлобление. Какое право они имеют так обращаться с людьми? Ведь он человек, а не ворох сена, которым можно распоряжаться как угодно.

— А ежели нас проткнет подводная лодка, нечего сказать, приятно будет здесь, внизу,— сказал он вслух.

— Тут везде наставлены часовые, чтобы мы не могли выбраться наверх, на палубу,— заметил кто-то.

— Будь они прокляты! Обращаются с людьми, точно это скотина, которую отправляют на убой!

— А ты что думал? Так и есть — говядина для гуннов!

Это сказал маленький человечек, лежащий на одной из верхних коек; при этом он скорчил свое желтое лицо в забавную гримасу, как будто слова вырывались из него против воли.

Все злобно посмотрели на него.

— Проклятый жид Эйзенштейн! — пробормотал кто-то.

— Отчего его не привязали снаружи! — добродушно крикнул Билли Грей.

— Дурачье,— проворчал Эйзенштейн, переворачиваясь на другой бок и закрывая лицо руками.

— Черт, хотел бы я знать, отчего это здесь так странно пахнет внизу? — сказал Фюзелли.

Фюзелли лежал, вытянувшись на спине на палубе, положив голову на скрещенные руки. Когда он смотрел прямо вверх, он видел над собой свинцового цвета мачту, колебавшуюся из стороны в сторону на фоне неба, затянутого светло-серыми, серебристыми и темными, серо-багровыми облаками с желтоватыми отблесками по краям; а когда он наклонял голову немного в сторону, он встречал тяжелое бесцветное лицо Билли Грея, темную щетину его небритого подбородка и слегка скошенный влево рот, из которого свисала потухшая папироса. Дальше были головы и туловища, перемешанные в одну сплошную массу с защитными шинелями и спасательными кругами. Когда же волна накреняла палубу, перед ними вставали движущиеся зеленые волны, какой-нибудь пароход, выкрашенный серыми и белыми полосами, и горизонт — темная, твердо изогнутая линия, прерываемая тут и там гребнями волн.

— О Господи, до чего мне тошно! — сказал Билли Грей, вынимая изо рта папиросу и злобно рассматривая ее.

— Все бы ничего, если бы не эта вонища! А уж столовая... Так наизнанку и выворачивает, только подумаешь о ней! — Фюзелли говорил ноющим голосом.

Верхушка мачты двигалась взад и вперед по пятнистым облакам, словно карандаш по бумаге.

— Что, брат, опять брюхо подвело? — произнес смуглый человек с круглым, как луна, лицом по другую сторону Фюзелли. У него были густые черные брови и изрезанный множеством поперечных морщин лоб, вокруг которого круто вились волосы.

— Убирайся к черту!

— Нездоровится, сынок? — раздался снова низкий голос, и темные брови сочувственно нахмурились.— Чудно! Если бы ты дома этак послал меня к черту, сынок, я бы давно уже вытащил свой шестизарядник.

— Будешь тут здоров, когда приходится дежурить на кухне! — сказал раздраженно Фюзелли.

— Я уже три дня не хожу обедать. Собственно говоря, человек, который жил в степи, вроде меня, должен был

бы чувствовать себя на море как утка, а вот мне оно что-то не по нутру.

— Господи, до чего несчастный вид у ребят, которым мне приходится раздавать похлебку,— сказал Фюзелли веселее.— Просто не понимаю, как их так развезло! Вот у нас в роте дело другое. У наших молодцов такой вид, будто они боятся, что кто-то их сейчас поколотит!.. Приметил ты это, Мэдвилл?

— Чего же ждать от ребят, которые всю жизнь жили в городе? Небось дула от приклада не отличат, а уж насчет верховой езды... Самое большее, если на ручке от метлы катались! Вы на то только и годитесь, чтобы овцами в стаде ходить. Не диво, что они тут пасут вас, как телят.

Мэдвилл встал на ноги и нетвердой походкой направился к перилам, прокладывая себе дорогу по покрытой людьми нижней палубе транспорта и все еще сохраняя в своей ковбойской, кривоногой походке что-то молодеческое.

— Я знаю, почему люди начинают хлопать от страха глазами, когда спускаются вниз за этой гнилой жратвой,— раздался гнусавый голос.

Фюзелли обернулся — Эйзенштейн сидел на месте, с которого только что встал Мэдвилл.

— Правда? Знаешь?

— Это входит в их систему. Прежде чем заставить людей действовать как скотов, нужно превратить их в скотину. Читал ты когда-нибудь Толстого?

— Нет! Послушай-ка, тебе не мешало бы быть поосторожнее, когда ты начинаешь этак разговаривать! — Фюзелли таинственно понизил голос.— Я слыхал, что одного вот такого расстреляли в Кэмп-Мэрите за такую болтовню.

— Э, наплевать! Я отчаянный человек,— сказал Эйзенштейн.

— Тебя не тошнит? Черт, а меня... Ты никак облегчился немного, Мэдвилл?

— И что бы им, черт возьми, устроить свою паршивую войну в таком месте, куда человек мог бы добраться на лошади! Послушай-ка, это мое место!

— Место было свободно, и я его занял,— ответил Эйзенштейн, мрачно опуская голову.

— Если ты в два счета не уберешься...— сказал Мэдвилл, расправляя свои широкие плечи.

— Ты сильнее меня,— сказал Эйзенштейн, отходя в сторону.

— Господи, что это за наказание не иметь ружья,— пробормотал Мэдвилл, снова устроившись на палубе.— Знаешь, сынок, я чуть было не завыл, когда узнал, что меня запихнули в этот проклятый санитарный отряд. Я завербовался ради танков. Первый раз в жизни я без оружия. Я так думаю, что у меня и в колыбели уже было ружье.

— Чудак,— сказал Фюзелли.

Вдруг в середине группы появился сержант. Лицо его было красно.

— Послушайте, ребята,— сказал он шепотом,— валите что есть духу вниз и приведите в порядок нары. Только живо, черт побери! Сейчас инспекция! Чтоб им провалиться!

Все бросились вниз по дощатым сходням в отвратительно пахнущий трюм, освещенный, как всегда, одним только красноватым светом электрических ламп. Они едва успели добраться до своих нар, когда кто-то скомандовал: «Смирно!»

Три офицера прошагали мимо своей обычной, твердой, полной значительности походкой, которую несколько нарушала качка парохода. Они вытягивали головы и осматривали с обеих сторон нары жестокими, хищными и ищущими взглядами курицы, высматривающей червяков.

— Фюзелли,— сказал старший сержант,— принесите мне ротную книгу в мою каюту — номер двести тринадцать, на нижней палубе.

— Слушаю, сержант! — с живостью ответил Фюзелли.

Он восторгался старшим сержантом и старался подражать его веселому повелительному тону. Ему в первый раз пришлось побывать в верхней части парохода. Это был совсем другой мир. Длинные коридоры, покрытые красными коврами; белый лак и золоченая лепка на перегородках; офицеры, свободно разгуливающие взад и вперед,— все это напоминало ему те большие пароходы, за которыми он так любил следить, когда они проходили через Золотые Ворота,— пароходы, на которых он мечтал съездить в Европу, когда разбогатеет. О, если бы ему только дослужиться до сержанта первого разряда! Весь этот комфорт и великолепие были бы к его услугам. Он нашел номер и постучал в дверь. Из каюты доносились громкие голоса и смех.

— Подождите минуту,— раздался незнакомый голос.

— Здесь сержант Ольстер?

— А, это из моей команды,— раздался голос сержанта.— Впустите его! Он не сфискалит!

Дверь отворилась, и он увидел сержанта Ольстера и двух других молодых людей, которые сидели, свесив ноги вдоль красных лакированных бортов коек. Они весело болтали со стаканами в руках.

— Да уж и город этот Париж, доложу я вам,— говорил один.— Говорят, барышни там просто вешаются военным на шею... ей-ей... среди улицы!

— Вот книга, сержант,— отчеканил Фюзелли со своей лучшей военной выправкой.

— О, спасибо, больше ничего,— сказал сержант, и голос его показался Фюзелли еще веселее обыкновенного.— Смотрите, не свалитесь через борт, как вчера один молодчик.

Фюзелли засмеялся, закрывая за собой дверь, но внезапно сделался серьезным, вспомнив, что у одного из молодых людей в каюте были золотые нашивки младшего лейтенанта. «Черт! — сказал он себе.— Нужно было отдать честь». Он постоял минуту за закрытой дверью, прислушиваясь к разговорам и смеху. Чего бы он не отдал в эту минуту, чтобы принадлежать к этой веселой компании, разговаривающей о парижских женщинах. Он начал размышлять. Как только они переправятся через океан, его, несомненно, произведут в рядовые первого разряда. Затем, через несколько месяцев, он может сделаться капралом. Если они увидят его усердие, он будет быстро двигаться вперед после первого чина.

— Только бы как-нибудь не сплоховать, только бы не сплоховать,— твердил он себе, спускаясь по лестнице в трюм. Но все это потонуло в приступе морской болезни, вернувшейся снова, как только он вдохнул зловонный воздух.

Палуба перед ним то ныряла вниз, то поднималась вверх, так что ему приходилось идти в гору. При каждом движении парохода грязная вода перекатывалась с одной стороны судна на другую. Свистящий вой ветра, прорывавшийся сквозь щели и замок, заставил Фюзелли долго в нерешительности простоять у дверей, держась за ручку. В тот момент, когда он повернул ее, дверь распахнулась, и бурный порыв ветра чуть не свалил его с ног. Палуба была пуста. Натянутые вдоль нее мокрые канаты уныло вздрагивали под ветром. Каждую минуту с наветренной стороны налетал столб пены, вырастая точно белое развесистое дерево, хлеща его по лицу, словно град.

Не закрывая дверей, он пополз по палубе, изо всех сил цепляясь за обледеневшие канаты. За пеной он видел огромные, зеленые, мраморные волны, беспрерывно вздымавшиеся одна за другой из тумана. Рев ветра в ушах оглушал и пугал его. Ему казалось, что прошла целая вечность, пока он добрался до дверей лазарета.

Дверь открылась в коридор. Там было душно и пахло лекарствами. Люди стояли в тесной очереди, чтобы попасть в приемный покой, натыкаясь друг на друга при качке. Рев ветра едва доносился туда; только изредка слышался глухой удар волны об нос.

— Болен? — обратился к Фюзелли один солдат.

— Нет, здоров. Меня сержант послал раздобыть чего-нибудь для наших ребят — их так развезло, что с места не двинуться.

— Ужасно много больных на этом пароходе.

— Сегодня утром двое ребят кончились в этой вот комнате,— сказал другой солдат, торжественно указывая большим пальцем через плечо.— Еще не хоронили, слишком бурно.

— А от чего это они умерли? — с жаром спросил Фюзелли.

— Спинной... как его...

— Менингит,— вмешался человек с другого конца очереди.

— Говорят, страшно прилипчивая штука, правда?

— Да, уж должно быть!

— А куда она ударяет? — спросил Фюзелли.

— Сначала затылок распухнет, а потом весь точно одеревенеешь,— раздался голос из конца очереди.

Наступило молчание. Из лазарета вышел человек с пакетом в руках и начал прокладывать себе дорогу к двери.

— Много там народу? — спросил, понизив голос, Фюзелли, когда человек задел его, проходя мимо.

— Хватит...— остальные слова его были унесены пронзительным воем ветра, ворвавшимся в открытую дверь.

Когда дверь снова закрылась, стоявшего рядом с Фюзелли человека, широкоплечего, с тяжелыми черными бровями, прорвало, словно он давно уже удерживался, чтобы не заговорить:

— Никак нельзя, чтобы эта болезнь меня одолела... никак нельзя! У меня есть девушка, которая дожидается меня дома. Вот уже два года, как я ни к одной женщине

пальцем не прикасался, все ради нее. Это уже даже против природы, чтобы парень так долго держался.

— Чего же ты не женился на ней перед отъездом? — спросил кто-то насмешливо.

— Да не захотела солдаткой сделаться. Я, говорит, уж лучше так подожду.

Несколько человек рассмеялись.

— Никак нельзя, чтобы я заболел и помер от этой болезни, после того как я сберег себя в чистоте для своей девушки... это будет несправедливо,— бормотал человек, обращаясь к Фюзелли.

Фюзелли представил себе, как он лежит на койке с распухшей шеей, а ноги и руки его все немеют и немеют.

Краснолицый человек на середине коридора заговорил:

— Стоит мне только подумать о том, как я нужен дома своим, сразу страх как рукой снимет. Сам не знаю почему. Просто не могу я сейчас платить по счету. Вот и все! — Он весело засмеялся.

Никто не присоединился к его смеху.

— А очень это заразно? — спросил Фюзелли своего соседа.

— Самая прилипчивая штука, какая только может быть,— мрачно ответил тот.

— Хуже всего то,— заговорил пронзительным истеричным голосом другой солдат,— что тебя выбросят на съедение акулам. Черти! Они не имеют права поступать так даже в военное время! Они не имеют права обращаться с христианином, будто это околевшая собака!

— Держи карман! Они имеют право делать все, что им, черт побери, заблагорассудится. Хотел бы я видеть, кто им помешает! — воскликнул краснолицый солдат.

— Если бы он был офицером, его бы не выбросили так! — раздался снова пронзительный истерический голос.

— Брось ты это,— сказал кто-то другой.— Охота из-за болтовни неприятности наживать.

— А как вы думаете, не опасно дожидаться здесь, около того места, где лежат эти больные? — прошептал Фюзелли соседу.

— Да уж само собой, что опасно,— уныло ответил тот.

Фюзелли вздрогнул и стал пробираться к дверям.

— Пропустите-ка, ребята, меня сейчас рвать будет,— сказал он, думая про себя: «Черта с два! Скажу им, что было закрыто. Они и не подумают проверять».

Открывая дверь, Фюзелли представлял себе, как он подползает к своей койке: шея его пухнет, ладони горят от лихорадки, а руки и ноги коченеют, покуда все не изглаживается во мраке смерти. Рев ветра на палубе и плещущая пена отогнали все другие мысли.

Фюзелли вместе с другими солдатами потащил переливающийся через край бак с отбросами по лестнице, ведшей из столовой наверх. От бака несло прогорклым жиром и кофейной гущей; жирная жижа стекала по их пальцам, когда они, напрягаясь, поднимали его вверх. Они, шатаясь, добрались до перил и опорожнили бак в темноту. Плеск падающей массы затерялся в шуме волн и пенящейся воды, бежавшей вдоль бортов парохода. Фюзелли нагнулся над перилами и стал смотреть вниз на слабое фосфоресцирование. Это был единственный источник света в черной бездне. Он никогда прежде не видал такой тьмы. Он крепко уцепился обеими руками за перила, чувствуя себя затерянным, подавленным темнотой, воем ветра и шумом пенящейся воды, бежавшей за кормой. Он мог сменить это только на зловоние нижней палубы.

— Я сам снесу вниз бак, не беспокойся,— сказал Фюзелли товарищу, ткнув ногой бак, который издал звенящий звук.

Он напрягал зрение, чтобы разглядеть что-нибудь. Темнота, казалось, давила на его глазные яблоки, ослепляя его. Вдруг он услыхал вблизи голоса.

— Мне никогда раньше не приходилось видеть море. Я не думал, что оно такое.

— Мы теперь в опасной зоне.

— Это значит, что мы можем потонуть каждую минуту?

— Правильно.

— Господи Иисусе, вот так тьма! Ужасно будет утонуть в такой темноте.

— Это живо делается.

— Скажи-ка, Фред, бывало ли тебе когда-нибудь так страшно, что...

— А тебе страшно?

— Тронь мою руку, Фред... Нет, вот она! Что за дьявольская темнота — собственной руки не найти!

— Холодная. Почему ты так дрожишь? Хорошо бы теперь рюмочку опрокинуть.

— Я никогда прежде не видал моря, я не знал...

Фюзелли отчетливо слышал в темноте, как стучат зубы солдата.

— Подтянись, дружище, нельзя же так трусить.

— О Господи!

Наступила длинная пауза. Фюзелли не слышал ничего, кроме плеска пенящейся воды, бежавшей вдоль бортов парохода, и рева ветра в ушах.

— Я никогда до сих пор не видал моря, Фред, а тут еще все эти болезни. Мне просто все нутро перевернуло. Вчера только троих за борт выбросили.

— Плюнь, брат, не думай об этом.

— Скажи, Фред, если я... если я... если ты спасешься, Фред, а я нет, ты напишешь моим близким?

— Конечно, напишу. Только я уверен, что тогда уж мы оба потонем вместе.

— Не говори так. И не забудь написать той девушке... помнишь, я еще тебе ее адрес давал.

— Ты сделаешь то же самое для меня.

— О нет, Фред, я никогда не увижу земли... э, да что... А я чувствую себя таким молодым, таким крепким. Я не хочу умирать... я не могу так умереть!

— Если бы только не было так чертовски темно!

Часть вторая

СПЛАВ ОСТЫВАЕТ

I

За окном были пурпурные сумерки. Дождь лил беспрерывно, оставляя длинные блестящие полосы на потрескавшихся стеклах и выбивая сухую монотонную дробь по оцинкованной крыше над головой. Фюзелли сбросил свой мокрый дождевик и остановился перед окном, угрюмо глядя на дождь. Позади него топилась дымящая печь, в которую один из солдат подсовывал дрова, а дальше сидели, развалившись на сломанных складных стульях, солдаты, в позах, выражавших крайнюю скуку. За прилавком в глубине комнаты христианский юноша с неподвижной улыбкой наливал подходившим по очереди солдатам шоколад.

— Черт, изволь тут из-за всякой ерунды становиться в очередь! — проворчал Фюзелли.

— Да больше, пожалуй, и делать-то нечего в этой чертовой дыре,— сказал человек рядом с ним. Он указал большим пальцем на окно и заговорил снова: — Видишь ты этот дождь? Так вот я уже три недели в лагере, а он еще не переставал. Хорошенькое местечко, нечего сказать!

— Уж конечно, не то, что дома,— сказал Фюзелли.— Пойду получать шоколад.

— Дрянь отчаянная!

— Нужно попробовать разок.— Фюзелли стал в конце хвоста и стал ждать своей очереди.

Он думал о крутых улицах Сан-Франциско, о гавани, залитой желтыми огнями цвета янтаря, когда он возвращался в голубых сумерках домой с работы. Он вспомнил Мэб, протягивающую ему пятифунтовую коробку леден-

цов, как вдруг внимание его привлек разговор солдат в очереди позади него. Человек, стоявший ближе к Фюзелли, говорил с суетливыми нервными интонациями. Фюзелли чувствовал на своем затылке его дыхание.

— Черт возьми,— говорил человек,— ты тоже там был? Куда же тебе угодило?

— В ногу; теперь уже почитай что прошло.

— А у меня нет. Я никогда не поправлюсь. Доктор говорит, что я уже здоров, но я знаю, что это брехня. Лгун паршивый!

— Уж и времечко было!

— Пусть меня разразят на месте, если я еще раз проделаю это. Я спать не могу по ночам. Все мне мерещатся эти шлемы, которые на фрицах надеты. Тебе не приходило в голову, что в них что-то есть такое, в этих проклятых шлемах, в их форме?

— Разве они не обычного образца? — спросил Фюзелли полуоборачиваясь.— Я видел их в кинематографе.— Он засмеялся, как бы извиняясь.

— Послушай-ка новенького, Тоб! Он их видел в кинематографе! — сказал человек с нервной дрожью в голосе и засмеялся мелким, хриплым смешком.— Сколько времени ты здесь?

— Всего два дня.

— Ну а мы здесь как раз два месяца, так, что ли, Тоб?

Христианский юноша обратил свою однообразную улыбку к Фюзелли и наполнил его жестяную кружку шоколадом.

— Сколько?

— Франк. Похожи на наши четвертаки*, правда? — сказал христианский юноша. Его сытый голос был полон дружелюбной снисходительности.

— Чертовски дорого за кружку шоколада,— сказал Фюзелли.

— Вы на войне, молодой человек, не забывайте этого,— строго заметил христианский юноша.— Ваше счастье, что вы вообще можете получить здесь шоколад.

Холодная дрожь пробежала по спине Фюзелли, когда он вернулся к печке, чтобы выпить шоколад. Конечно, ему не следует брюзжать. Ведь он теперь на войне. Если бы сержант услышал, как он ворчит, это могло бы погубить его шансы на капральство. Он должен быть осторожен. Надо ходить на цыпочках, если хочешь получить повышение.

— А почему это нет больше шоколада, хотел бы я знать! — Нервный голос человека, стоявшего в очереди за Фюзелли, внезапно возвысился до крика.

Все оглянулись. Христианский юноша с взволнованным видом мотал головой из стороны в сторону, повторяя крикливым тоненьким голоском:

— Я сказал вам, что шоколада больше нет! Уходите!

— Какое вы имеете право гнать меня? Вы обязаны дать мне шоколад. Вы и на фронте-то никогда не были, мозгляк несчастный! — Человек кричал изо всех сил.

Он уцепился обеими руками за стойку и раскачивался из стороны в сторону. Его приятель старался увести его.

— Послушайте, бросьте эти штуки! Я подам на вас рапорт,— сказал христианский юноша.— Есть тут какой-нибудь офицер в бараке?

— Валяй, доноси! Мне не могут сделать ничего хуже того, что уже сделали! — Голос человека превратился в сплошной вопль ярости.

— Есть тут, в комнате, офицер?

Христианский юноша беспокойно искал по сторонам взглядом. Его маленькие глазки глядели жестоко и мстительно, а губы были сжаты в тонкую прямую линию.

— Успокойтесь, я уведу его,— сказал другой солдат тихим голосом.— Разве вы не видите, что он...

Непонятный ужас охватил Фюзелли. Он совсем не так представлял себе все это, когда смотрел, бывало, в кинематографе, в учебном лагере, как веселые солдаты в хаки входили маршем в города, преследовали убегавших в панике гуннов по засеянным картофелем полям и спасали бельгийских молочниц среди живописной природы.

— Много их возвращается в таком виде? — спросил он стоявшего рядом солдата.

— Порядочно! Это лагерь для выздоравливающих.

Больной солдат и его товарищ стояли рядом около печи, тихо разговаривая между собой.

— Возьми себя в руки, дружище,— говорил приятель.

— Ладно, Тоб, теперь уже все прошло. Этот мозгляк вывел меня из себя — вот и все.

Фюзелли смотрел на него с любопытством. У него было желтое пергаментное лицо и высокий худой лоб, уходивший вверх до редких вьющихся каштановых волос. Когда глаза их встретились, Фюзелли заметил, что у солдата они были точно стеклянные.

Тот дружелюбно улыбнулся ему.

— А, это тот парнишка, который видел шлемы фрицев в киношке! Пойдем, братец, выпьем пива в английском кабачке!

— Ты можешь достать пива?

— Еще бы, сколько угодно, там, в английском лагере!

Они пошли под косым дождем. Было почти темно. Небо, окрашенное в багрово-красный свет, бросало отблески на косые полы палаток и на ряды барачных крыш, терявшихся по всем направлениям в сетке дождя. Несколько огней горели яркой сверкающей желтизной. Они пошли по дощатым мосткам, сгибавшимся под их тяжелыми сапогами, разбрызгивая грязь.

В одном месте они наткнулись на мокрую полу палатки и отдали честь, когда мимо прошел офицер, весело помахивая тросточкой.

— А сколько времени обыкновенно держат ребят в этих лагерях для выздоравливающих? — спросил Фюзелли.

— Зависит от того, что делается там,— сказал Тоб, неопределенно указывая поверх палаток.— Ты кто такой?

— Санитарная команда.

— Так ты санитар! Ну, эти ребята недолго продержались в Шато, правда, Тоб?

— Да, недолго!

Что-то внутри Фюзелли протестовало: «А я продержусь, продержусь несмотря ни на что!»

— Помнишь, как эти молодцы отправились за бедным старичком капралом Джонсоном, Тоб? Будь я проклят, если кто-нибудь когда-нибудь нашел хоть пуговицу от их штанов! — Он засмеялся своим скрипучим смешком.— Они набрели на фугасы.

«Мокрый» кабачок* был полон дыма и приятного запаха пива. Он был набит краснолицыми людьми с блестящими медными пуговицами на формах цвета хаки; среди них было немало худощавых американцев.

«Все «томми»*,— сказал себе Фюзелли.

Постояв немного в очереди, Фюзелли получил из-за стойки кружку пенящегося пива.

— Хелло, Фюзелли! — Мэдвилл хлопнул его по плечу.— Ты, черт возьми, быстро пронюхал, где тут мокро!

Фюзелли расхохотался.

— Можно мне присоединиться к вам, ребята?

— Конечно, присаживайся,— гордо ответил Фюзелли,— эти молодцы были на фронте!

— Правда? — спросил Мэдвилл.— Говорят, гунны мастера драться! Скажите-ка, много там приходится действовать винтовкой или все больше пушки работают?

— Да уж! Целые месяцы меня морочили, обучали обращаться с винтовкой, а будь я проклят, если хоть раз пустил ее в ход. Я в отряде бомбометчиков.

Кто-то в глубине комнаты затянул песню:

Ах, мадермезель из Армантира,
Парле ву?[1]

Человек с нервным голосом продолжал говорить в то время, как вокруг них гудела песня.

— Ни одной ночи не проходит, чтобы мне не лезли в голову эти забавные чудные шлемы, которые носят фрицы. А вам никогда не казалось, что в них есть что-то чертовски забавное?

— Брось ты эти шлемы,— сказал его приятель.— Ты нам уже все про них рассказал.

— А разве я говорил вам, почему я не могу забыть их? Ведь нет?

Немчура офицер через Рейн шагнул,
Парле ву?
Немчура офицер через Рейн шагнул,
Любил он вино, и девиц, и разгул,
Парле ву?

— Вот послушайте, ребята,— сказал человек своим прерывающимся нервным голосом, пристально глядя прямо в глаза Фюзелли.— Однажды мы сделали маленькую атаку, чтобы чуточку выпрямить нашу линию траншеи... как раз перед тем, как меня ранили. Наши орудия обстреляли кусок фрицевых траншей, и мы побежали вперед (дело было как раз перед рассветом) и заняли их. Будь я проклят, если это не было сделано так же спокойно, как в воскресное утро дома.

— Верно,— подтвердил его приятель.

— При мне была куча ручных гранат. Вдруг подбегает ко мне один парень и шепчет: «Там, в окопах, сидят несколько фрицев, дуются в карты. Они, как видно, не знают, что окружены. Захватим-ка их в плен!» — «К черту пленных,— говорю я,— мы от них мокрого места не оставим!» Вот мы поползли вперед и заглянули в окоп...

Ах, мадермезель из Армантира,
Парле ву?

[1] Что вы говорите? (*фр.*)

Их каски дьявольски напоминали грибы-поганки; я чуть было не расхохотался. Они сидели вокруг лампы; один сдавал — важно этак, медленно. Ну точь-в-точь как немцы всегда сдают — я видал дома, в биргалке...

Нашим янки чертовски круто пришлось,
Парле ву?

Я долго лежал этак, глядя на них, потом вытащил гранату, тихонечко спустил ее вниз по ступенькам, и все эти забавные каски, похожие на поганки, вдруг подскочили в воздух; кто-то взвыл, свет погас, и проклятая граната взорвалась. Я оставил их собирать свои потроха, а сам ушел, потому что один из них все еще как будто стонал. Вот в это-то время они открыли артиллерийскую пальбу, и меня ранило.

Янки любит быть в трактире,
Парле ву?

И первое, о чем я подумал, когда проснулся, были эти проклятые шлемы. Просто свихнуться можно, парень, если думать о таких вещах.— Его голос перешел в всхлипывание и напоминал прерывающийся голос ребенка, которого побили.

— Тебе нужно взять себя в руки, дружище,— сказал его товарищ.

— Я и сам знаю, что нужно, Тоб! Женщина — вот что мне нужно!

— А ты знаешь, где достать ее? — спросил Мэдвилл.— Я бы и сам не прочь раздобыть себе славную французскую дамочку в этакую дождливую ночь.

— В город-то теперь, должно быть, чертовски тяжелая дорога, да к тому же там, говорят, так и кишит военной полицией,— сказал Фюзелли.

— Я знаю одну дорогу,— сказал человек с нервным голосом.— Пойдем, Тоб!

— Нет, с меня довольно этих лягушатниц проклятых!

Они вышли все вместе из кабачка.

Когда оба товарища отделились и направились вниз по улице, Фюзелли услышал сквозь металлическую дробь дождя нервный прерывающийся голос:

— Не знаю, что и придумать, чтобы забыть, как забавно выглядели каски этих молодцов вокруг лампы... Просто придумать не могу!

Билли Грей и Фюзелли соединили свои одеяла и улеглись рядом. Они лежали на твердом полу палатки, тесно прижавшись друг к другу, и прислушивались к дождю, беспрерывно барабанившему по промокшей парусине, натянутой вкось над их головами.

— Черт побери, Билли, у меня, кажется, начинается воспаление легких,— сказал Фюзелли, прочищая нос,

— Я единственно только и боюсь во всей этой проклятой истории, как бы не подохнуть от болезни. А говорят, еще одного парня скрутило от этого, как его... менингита.

— Это то, что у Штейна было?

— Капрал не желает говорить.

— Старина капрал сам не очень-то здоров с виду,— сказал Фюзелли.

— Все этот климат гнилой,— прошептал Билли Грей среди приступа кашля.

— Тысяча чертей, кончите вы когда-нибудь с вашим кашлем?! Уснуть человеку не дадут,— раздался голос с другого конца палатки.

— Пойди возьми себе комнату в гостинице, если он тебе мешает!

— Верно, Билли, так его!

— Если не перестанете галдеть, ребята, я всех завтра на кухню засажу,— раздался добродушный голос сержанта.— Не знаете вы разве, что уже протрубили зорю?

В палатке воцарилась тишина, нарушаемая только дробью дождя и кашлем Билли Грея.

— У меня от этого сержанта живот подводит,— плаксиво сказал Билли Грей, сворачиваясь под одеялам, когда его кашель успокоился.

Немного погодя Фюзелли тихо прошептал — так, чтобы никто, кроме приятеля, не мог услышать:

— Послушай-ка, Билли, ведь правда, что все это ни капли не похоже на то, что мы ожидали?

— Верно!

— Я хочу сказать, что ребята и не помышляют о том, чтобы задать перцу гуннам. Только и знают, что ворчат на все.

— Это, брат, тем, которые повыше, полагается думать,— заявил Грей.

— Черт, а я-то думал, что от этой войны дух будет захватывать, как на картинах.

— По-моему, все это одна болтовня была.

— Может быть!

Засыпая на жестком полу, Фюзелли чувствовал у своего бока приятную теплоту тела Билли и слышал над головой бесконечную, однообразную дробь дождя по промокшей парусине. Он старался не заснуть сразу, чтобы вспомнить, как выглядела Мэб, но сон неожиданно одолел его.

Труба выжила Фюзелли из-под одеяла до того, как начало светать. Дождя не было. Воздух был резок. Густой белый туман казался холодным, как снег, при прикосновении к их лицам, еще теплым от сна. Капрал сделал перекличку, зажигая спички, чтобы прочесть список. Когда он распустил часть, из палатки раздался голос сержанта, все еще продолжавшего лежать завернувшись в одеяло:

— Эй, капрал! Скажите-ка Фюзелли, чтобы он отправился ровно в восемь часов убрать помещение лейтенанта Стенфорда, офицерский барак, номер четыре.

— Слышали, Фюзелли?

— Ладно,— сказал Фюзелли.

Вся кровь в нем внезапно закипела. Ему в первый раз приходилось исполнять работу прислуги. Не для того он поступил в армию, чтобы быть рабом какого-то проклятого лейтенантишки. А потом это против военного устава. Он пойдет сейчас к сержанту и поставит его на место. Он не намерен превращаться в лакея! Фюзелли направился к дверям палатки, обдумывая по дороге, что сказать сержанту. Но тут он заметил, что капрал кашляет в платок с выражением страдания на лице. Он повернулся и побрел в другую сторону. Если он начнет лягаться таким образом, все его дело полетит к черту. Уж лучше заткнуть глотку и перенести все. Бедняга капрал долго не протянет в таком состоянии. Нет, глупо будет испортить дело.

В восемь Фюзелли с метлой в руке, чувствуя, как внутри его волнуется и кипит глухая ярость, постучался в некрашеную дощатую дверь.

— Кто там?

— Убирать комнату, сэр,— сказал Фюзелли.

— Приходите минут через двадцать,— раздался голос лейтенанта.

— Слушаю, сэр!

Фюзелли прислонился к задней стене барака и закурил папиросу. Воздух щипал его руки, как будто их скребли теркой для орехов. Двадцать минут тянулись медленно. Отчаяние охватило его. Как одинок он был здесь, вдали от всех своих близких, затерянный в огромной машине. Он говорил себе, что никогда ничего не

добьется, никогда не попадет туда, где сможет показать, на что он годен. Он чувствовал себя точно на каторге. День за днем будет одно и то же. Та же рутина, та же беспомощность. Он посмотрел на часы. Прошло двадцать пять минут. Фюзелли поднял свою метлу и направился кругом в комнату лейтенанта.

— Войдите,— небрежно сказал лейтенант.

Он был в рубашке и брился. Приятный запах мыла наполнял темную дощатую комнату, всю обстановку которой составляли три койки и несколько офицерских сундуков. Это был краснолицый молодой человек с дряблыми щеками и прямыми темными бровями. Он принял командование над ротой всего день или два назад.

«Приличный малый как будто»,— подумал Фюзелли.

— Как вас зовут? — спросил лейтенант, проводя вкось по горлу своей безопасной бритвой и обращаясь к маленькому никелевому зеркальцу. Он немного заикался. Фюзелли показалось, что у него английский выговор.

— Фюзелли!

— Из итальянцев, должно быть?

— Да,— мрачно ответил Фюзелли, отодвигая от стены одну из коек.

— Parla italiano?

— Вы спрашиваете, говорю ли я по-итальянски? Нет, сэр,— сказал Фюзелли решительно,— я родился в Фриско.

— В самом деле? Принесите мне, пожалуйста, еще воды.

Вернувшись с водой, Фюзелли зажал между коленями щетку и принялся дуть на свои руки, онемевшие от холодного ветра. Лейтенант был уже одет и тщательно застегивал верхний крючок своей тужурки. На его розовой шее выступила от воротника красная полоска.

— Прекрасно! Когда вы справитесь, доложите в роте.

Лейтенант вышел, с самодовольным и значительным видом натягивая перчатки.

Фюзелли медленно пошел обратно в палатку, в которой стояли солдаты, глазея по сторонам на окутанные туманом длинные ряды тощих бараков, с которых капала вода; на большие жестяные навесы походной кухни, где суетились среди пара от готовящейся еды дежурные и кашевары в засаленных синих передниках.

В мозгу Фюзелли почему-то запечатлелся жест, которым лейтенант натягивал перчатки. Такие движения ему приходилось видеть только в кинематографе у важных, толстых господ во фраках; да еще у председателя общества, которому принадлежала оптическая мастерская, где

он работал на родине, в Фриско, были, пожалуй, тоже манеры в этом духе.

И он представлял себе, как сам натягивает таким манером пару перчаток, важно, палец за пальцем, и чувствует легкий прилив самодовольства, когда операция закончена. Нужно во что бы то ни стало добиться капральства!

Вьется и вьется тропинка
Во Франции по пустырям.

Рота бодро распевала, шлепая по грязи. Серая дорога тянулась между высокими заборами, обтянутыми колючей проволокой, над которой высились крыши товарных складов и трубы фабрик.

Лейтенант и старый сержант шли рядом, болтая, и время от времени со снисходительным видом подтягивали. Капрал пел с увлечением, и глаза его сверкали от наслаждения. Даже мрачный сержант, который редко с кем-либо разговаривал, и тот подтягивал. Рота маршировала. Ее девяносто шесть ног бодро шлепали по глубоким лужам. Ранцы болтались из стороны в сторону, как будто шагали не ноги, а они.

О ясень, и дуб, и плакучая ива,
И Божьей страны колосистая нива!..

Наконец-то они шли куда-то! Они отделились от кадра, с которым приехали из Америки. Теперь они были совсем одни. Наконец-то они увидят дело. Лейтенант шагал с важным видом. Сержант шагал с важным видом. Капрал шагал с важным видом, Правофланговый выступал еще величественнее. Сознание собственной значительности, чего-то чудовищного, что предстояло совершить, возбуждало солдат, как вино, уменьшало, казалось, тяжесть ранцев и поясов, делало более гибкими их плечи и затылки, онемевшие от давления тяжести, и заставляло все девяносто шесть ног бодро шагать, несмотря на топкую грязь и глубокие грязные рытвины.

Под темным навесом товарной станции, где им пришлось ждать поезда, было холодно. Несколько газовых фонарей бледно мигали наверху среди стропил, освещая прозрачным светом белые груды ящиков с амуницией и бесконечные ряды снарядов, тонувшие в темноте. Холодный воздух был пропитан угольным дымом и запахом свежевыструганных досок. Капитан и старший сержант

исчезли. Люди рассеялись вокруг, расположившись кучками, как можно глубже заползая в свои шинели и притоптывая окоченевшими мокрыми ногами по покрытому грязью цементному полу. Выдвижные двери были заперты; из-за них доносился однообразный стук вагонов, переходящих на запасные пути, грохот сталкивающихся буферов и по временам свистки паровоза,

— Ну уж эти французские железные дороги! Ни к черту не годятся!

— А ты почем знаешь? — проскрипел Эйзенштейн, сидевший на ящике в стороне от других; он подпер свое худое лицо руками и уставился на покрытые грязью сапоги.

— А вот смотри! — Билли Грей ткнул по направлению к потолку.— Газ! Даже электричества нет.

— Их поезда ходят быстрее наших,— сказал Эйзенштейн.

— Черта с два! Один парень там, в лагере для выздоравливающих, говорил мне, что меньше чем в четыре или пять дней никуда не доберешься.

— Просто он тебе очки втирал,— сказал Эйзенштейн.— У них самые скорые поезда в мире, во Франции.

— Ну уж, до «Двадцатого века»* им далеко! Черт побери, я сам железнодорожник, тоже кое-что смыслю.

— Мне нужны в помощь пять человек, чтобы распределить продовольствие,— сказал сержант, вынырнув вдруг из темноты.— Фюзелли, Грей, Эйзенштейн, Мэдвилл, Вильямс! Так, идемте.

— Послушайте, сержант, этот парень говорит, что у лягушатников поезда ходят быстрее наших. Что вы на это скажете?

Сержант напялил на свое лицо комическое выражение. Все приготовились расхохотаться.

— Что ж, если он предпочитает пульмановский вагон, в который нас погрузят сегодня вечером, «Западному экспрессу» — милости просим!

Все засмеялись. Старший сержант приветливо обернулся к пяти солдатам, вошедшим за ним в маленькую ярко освещенную комнату, похожую на товарное отделение.

— Нам нужно разобрать жратву, ребята. Видите эти ящики? Здесь ваш трехдневный паек. Нужно разделить его на три части, по одной для каждого вагона.

Фюзелли вскрыл один из ящиков. Банки с мясными консервами покатились под его пальцами. Он не переставал исподтишка наблюдать за Эйзенштейном, кото-

рый работал очень ловко, с небрежным видом. Старший сержант стоял тут же, широко расставив ноги, и наблюдал за ним. Раз он сказал что-то шепотом капралу. Фюзелли показалось, что он уловил слова «рядовые первого разряда»,— и его сердце сильно забилось.

В несколько минут дело было окончено, и все выпрямились, закуривая папироски.

— Молодчики! — сказал сержант Джонс, мрачный человек, который редко говорил.— Я не предполагал, конечно, в то время, когда говорил проповеди и заведовал воскресной школой, что мне придется когда-нибудь употреблять крепкие слова, но все же я должен сказать, что у нас чертовски славная рота.

— О, мы еще не то от вас услышим, когда доберемся до фронта и треклятые немецкие аэропланы станут забрасывать нас бомбами,— сказал старший сержант, хлопая его по спине.— Еще крепче станете выражаться. А теперь вы, пятеро, будете заведовать продовольствием.

Грудь у Фюзелли выпятилась.

— Рота останется на ночь под командой капрала. Мы с сержантом Джонсом должны быть при лейтенанте, поняли?

Они вернулись все вместе в мрачную комнату, где ожидала, закутавшись в свои шинели, остальная часть роты; они старались, чтобы их превосходство не сказывалось слишком явно в их походке.

«Ну, теперь я двинулся вперед по-настоящему,— подумал про себя Фюзелли.— Теперь-то уж по-настоящему».

Товарный вагон монотонно стучал и громыхал по рельсам. Резкий, холодный ветер задувал в щели грязных, растрескавшихся досок пола. Люди забивались в углы вагонов, прижимаясь друг к другу, точно щенята в ящике. Было темно, как в колодце. Фюзелли лежал в полудремоте, голова его была полна странных отрывочных снов. Сквозь забытье он чувствовал мучительный холод, беспрерывный грохот колес и давление закутанных в шинели и одеяла тел, рук и ног, прижавшихся к нему. Вдруг он проснулся. Зубы его стучали. Резкий стук колес, казалось, переместился в голову, и голова волочилась по земле, ударяясь о холодные железные рельсы. Кто-то зажег спичку. Черные колеблющиеся стены товарного вагона, ранцы, сваленные в кучу посередине пола, груды тел по углам, кое-где, случайно светлеющее среди массы

хаки бледное лицо или пара глаз — все на минуту ясно выступило и снова исчезло в полной темноте. Фюзелли положил голову на чью-то руку и постарался заснуть, но скрип и громыханье колес мешали ему; он лежал с открытыми глазами, уставившись в темноту и стараясь защитить свое тело от порывов холодного ветра, который прорывался сквозь щели пола. Когда в вагоне забрезжил первый сероватый свет, они все поднялись и начали топать, колотить друг друга и бороться, чтобы как-нибудь согреться.

Было уже почти светло, когда поезд остановился и они открыли раздвижные двери. Они стояли на станции, имевшей необычный для них вид: стены были обклеены незнакомыми глазу плакатами. «V-e-r-s-a-i-l-l-e-s»,— прочел по буквам Фюзелли.

— Версаль,— сказал Эйзенштейн,— тут жили французские короли.

Поезд тронулся снова, медленно развивая скорость. На платформе стоял старший сержант.

— Ну, как спали? — закричал он, когда вагон прошел мимо.— Эй, Фюзелли, начните-ка раздавать пайки!

— Слушаюсь, сержант,— сказал Фюзелли.

Сержант побежал обратно к передней части вагона и вскочил в него.

С восхитительным чувством облеченного властью человека Фюзелли роздал хлеб, мясные консервы и сыр. Затем он уселся на свой ранец и, весело насвистывая, принялся за сухой хлеб и безвкусное мясо, в то время как поезд, громыхая и постукивая, мчался по незнакомой туманно-зеленой местности. Он весело посвистывал, потому что отправлялся на фронт, где его ждали слава и почет; потому что он чувствовал, что начинает пробиваться в этом мире в первые ряды.

Был полдень. Бледное маленькое солнце, точно игрушечный мяч, низко висело на красновато-сером небе. Поезд остановился на разъезде среди рыжевато-бурой равнины. Желтые тополя, легкие как дымка, стройно подымались к небу вдоль берега черной блестящей реки, бурлившей около полотна. В серой дали слабо вырисовывались очертания колокольни и несколько красных крыш.

Люди толпились около поезда, балансируя то на одной, то на другой ноге, притоптывая, чтобы согреться. На другом берегу реки стоял старик с запряженной волами телегой и с грустью смотрел на поезд.

— Эй, послушайте! Где тут фронт? — крикнул ему кто-то.

Все подхватили крик:

— Эй, послушайте, где фронт?

Старик махнул рукой, покачал головой и прикрикнул на волов. Животные снова двинулись своим спокойным, мерным шагом. Старик пошел впереди, опустив глаза в землю.

— Оглохли, что ли, эти лягушатники?

— Послушай, Дэн,— сказал Билли Грей, отходя от кучки людей, с которыми он разговаривал,— эти молодцы говорят, что мы отправляемся в третью армию.

— Куда это?

— В Орегонские леса*,— отважился кто-то.

— Это на фронте, что ли?

В это время мимо прошел лейтенант. Длинный шарф защитного цвета был небрежно обмотан у него вокруг шеи и спускался вдоль спины.

— Ребята,— сказал он строго,— приказано не выходить из вагонов!

Солдаты мрачно полезли обратно в вагоны. Мимо прошел санитарный поезд, медленно постукивая по перекрещивающимся путям. Фюзелли напряженно смотрел на темные загадочные окна, на красные кресты и одетых в белое санитаров, которые высовывались из дверей, махая им руками. Кто-то заметил царапины на свежей зеленой краске последнего вагона.

— Должно быть, гунны обстреляли.

— Эй, ребята, слыхали? Гунны обстреляли этот санитарный поезд.

Фюзелли вспомнил памфлет «Немецкие зверства», который он прочел как-то вечером в газете ХАМЛ. В его воображении внезапно замелькали дети с отрубленными руками, проколотые штыками грудные младенцы, женщины, привязанные к столу ремнями и насилуемые одним солдатом за другим. Он подумал о Мэб. Как бы ему хотелось быть в боевой части, чтобы драться, драться по-настоящему. Он представлял себе, как он убивает десятки людей в зеленых формах, а Мэб читает об этом в газетах. Нужно будет во что бы то ни стало попытаться перейти в боевую часть. Он не в силах оставаться нестроевым.

Поезд тронулся снова. Туманные рыжеватые поля скользили мимо, а темные массы деревьев кружили мед-

ленно колеблющимися ветвями, убранными желтой и коричневой листвой, выплетая черные кружева на красновато-сером небе. Фюзелли взвешивал свои шансы на производство в капралы.

Ночь. Тускло освещенная станционная платформа. Рота расположилась в два ряда, каждый солдат на своем ранце. На противоположной платформе виднелась толпа людей небольшого роста, в синих формах, с усами, в длинных запачканных шинелях, которые спускались почти до пят. Они кричали и пели. Фюзелли наблюдал за ними с легким презрением.

— Черт, и чудные же у них шлемы!

— Это лучшие воины в мире,— сказал Эйзенштейн,— хотя это, пожалуй, и не великое достоинство в человеке.

— Послушай-ка, вон там военный полицейский,— сказал Билли Грей, схватив Фюзелли за руку.— Пойдем-ка, спросим его, далеко ли до фронта. Мне послышалась только что пушка.

— Да ну? На этот раз мы, кажется, попадем.

— Скажи-ка, братец, далеко отсюда фронт?

— Фронт? — сказал полицейский, краснолицый ирландец с перебитым носом.— Как раз в другой стороне; вы посередине Франции.— Полицейский с презрением сплюнул.— Вы, ребята, никогда не попадете на фронт, не беспокойтесь.

— Черт,— сказал Фюзелли.

— Будь я проклят, если не проберусь туда как-нибудь,— сказал Билли Грей, выпячивая челюсть.

Мелкий дождь падал на незащищенную платформу. На другой стороне маленькие человечки в синем пели песню, которую Фюзелли не понимал, и потягивали из своих неуклюжих на вид манерок.

Фюзелли объявил новость роте. Все столпились с руганью вокруг него. Но чувство собственного превосходства, вызванного его осведомленностью, не могло заглушить другого чувства, говорившего ему, что машина затирает его, что он беспомощен, как овца в стаде.

Часы проходили. В ожидании приказания солдаты то начинали притоптывать на платформе, то усаживались в ряд на свои ранцы. За деревьями протянулась серая лента. Платформа мало-помалу засеребрилась мягким светом. Они сидели в ряд на своих ранцах и ждали.

II

Рота стояла, вытянувшись во фронт перед бараками, длинными деревянными строениями, крытыми просмоленным картоном. Перед ними тянулся ряд растрепанных платанов, белые стволы которых казались в бледных красноватых лучах солнца точно вырезанными из слоновой кости. Дальше шла изрытая рытвинами дорога, вдоль которой тянулась длинная вереница французских грузовиков с горбатыми серыми кузовами, похожими на слонов. За ними опять платаны и новый ряд крытых просмоленным картоном бараков, перед которыми были выстроены другие роты.

Далеко вдали играла труба.

Лейтенант стоял, молодцевато вытянувшись во фронт. Глаза Фюзелли перебегали от изгибов его ослепительно начищенных кожаных обмоток вверх, к нашивкам на рукавах.

— Вольно! — скомандовал лейтенант глухим голосом.

Руки и ноги задвигались одновременно.

Фюзелли думал о городе. После вечерней зори можно было спуститься по неправильным, вымощенным булыжником улицам со старой ярмарочной площади (где помещался лагерь) в маленький садик с серым каменным фонтаном и маленьким ресторанчиком. Там можно было присесть за дубовый столик и получить пиво, яйца и вареный картофель, поданный краснощекой девушкой с пухлыми, белыми, аппетитными руками.

— Смирно!

Руки и ноги задвигались в унисон. Звуки трубы так слабо доносились издали, что они едва различали их.

— Ребята, я должен объявить вам несколько производств,— сказал лейтенант, повернувшись лицом к роте и переходя на легкий разговорный тон: — Вольно! Вы хорошо поработали здесь на складах, ребята. Я очень рад, что у меня такая прилежная команда, и я, конечно, надеюсь, что нам удастся провести столько производств, сколько только возможно.

Руки у Фюзелли были холодны как лед, и сердце его с такой стремительностью накачивало кровь к ушам, что он с трудом разбирал слова.

— Следующие рядовые — в рядовых первого разряда,— прочел лейтенант официальным голосом.— Грей, Эплтон, Вильямс, Эйзенштейн, Портер. Эйзенштейн будет ротным писарем.

Фюзелли был почти готов заплакать. Его имени не было в списке.

После длинной паузы раздался мягкий, как бархат, голос сержанта:

— Вы упустили Фюзелли, сэр.

— О, в самом деле! — лейтенант рассмеялся сухим смешком.— И Фюзелли.

«Черт! Нужно будет написать Мэб сегодня вечером,— говорил себе Фюзелли.— То-то она будет гордиться, когда получит письмо».

— Рота, вольно! — весело крикнул сержант.

Ах, мадермезель из Армантира,
Парле ву? —

затянул сержант своим сладким голосом.

Передняя комната кафе была полна солдат. Их хаки закрывали стертые дубовые скамьи, края квадратных столиков и красные черепицы пола. Они теснились вокруг столов, на которых тускло поблескивали сквозь табачный дым бутылки и стаканы, они толпились перед стойкой и пили из бутылок, смеясь и шаркая по полу ногами. Полная девушка с румяными щеками и пухлыми, белыми руками весело сновала между ними, уносила пустые бутылки, приносила полные и передавала деньги безобразной старухе с серым лицом и похожими на осколки черного янтаря глазами. Она тщательно рассматривала каждую монету, ощупывала ее своими серыми руками и неохотно опускала в ящик с деньгами. В углу сидели сержант Ольстер с разгоряченным лицом, капрал и еще один сержант, большой человек с черными волосами и черными усами. Около них с выражением восторженной почтительности на лицах жались Фюзелли, Билли Грей, ковбой Мэдвилл и Эрл Вильямс, голубоглазый и желтоволосый аптекарский приказчик.

Янки не выходит из трактира,
Парле ву?

Они стучали по столу бутылками в такт песне.

— Это славное местечко, ребята,— сказал старший сержант, внезапно прерывая песню.— Можете не беспокоиться, уж я позаботился, чтобы нам досталось хорошее местечко, а насчет фронта не стоит очень огорчаться. Мы еще успеем побывать там. Я слыхал, что эта война протянется десять лет.

— Должно быть, мы все будем к тому времени генералами, сержант, э? — сказал Вильямс.— А все-таки хотел бы я, братец, быть теперь дома и разливать содовую воду.

— Война — великое дело, если не падать духом,— автоматически пробормотал Фюзелли.

— А я вот начинаю падать духом,— сказал Вильямс.— У меня тоска по дому. Я прямо говорю. Мне все равно, пусть слышат. Уж скорее бы попасть на фронт и отделаться от этой истории.

— Слушай, тебе надо подтянуться... Выпей, брат,— сказал старший сержант, стуча кулаком по столу.— Послушайте, мамзель, дайте нам еще «мэм шоуз»...[1]

— Я не знал, что вы говорите по-французски, сержант,— сказал Фюзелли.

— Кой черт по-французски! — ответил старший сержант.— Вот Вильямс — тот мастер по этой части. «Вуле ву куше авек муа?»[2] — вот все, что я знаю.

Все рассмеялись.

— Эй, мамзель! — закричал старший сержант.— Вуле ву куше авек муа? Вуле ву куше авек муа? Уй! Уй! Шампань!

Все корчились от смеха.

Девица добродушно хлопнула сержанта по голове.

В эту минуту в кафе шумно ввалился высокий, широкоплечий человек в расстегнутой английской шинели. Он шел нетвердо, колеблющейся походкой, от которой зазвенели стаканы на столах, и мурлыкал себе под нос. На его широком лице сияла улыбка. Он подошел к девушке и сделал вид, что хочет поцеловать ее, а она смеялась и фамильярно болтала с ним по-французски.

— А вот и Дикий Дэн Коуэн,— сказал черноволосый сержант.— Эй, Дэн, Дэн!

— Здесь, ваше благородие!

— Иди-ка сюда. Мы будем пить шипучку.

— Никогда не отказываюсь.

Они очистили для него место на скамье.

— А я под арестом,— сказал Дэн Коуэн,— посмотрите-ка на меня.— Он засмеялся и резким забавным движением откинул голову набок.— Компри?[3]

— А не боишься ты, что они накроют тебя? — сказал Фюзелли.

---

[1] То же самое (*фр.*).

[2] «Не переспишь со мной?» (*фр.*)

[3] Понятно? (*фр.*)

— Накроют меня, черт возьми! Они ничего не могут мне сделать. Меня уже три раза отдавали под суд и теперь собираются притянуть в четвертый.

Дэн Коуэн откинул голову набок и засмеялся.

— У меня тут друг есть, мой прежний патрон. Он теперь капитан. Уж он устроит это дело. Компри?

Появилось шампанское, и Дэн Коуэн ловкими красными пальцами выпустил пробку в потолок.

— А я как раз гадал, кто-то меня сегодня выпивкой угостит,— сказал он.— Жалованье я и в глаза не видал с той поры, как Христос служил капралом. Забыл даже, на что оно похоже.

Шампанское запенилось в пивных бокалах.

— Вот это жизнь,— сказал Фюзелли.

— Ты чертовски прав, братец! Главное, не позволяй им оседлать тебя.

— За что тебя притягивают теперь, Дэн?

— Убийство.

— Убийство? Черт, как же это?

— Да очень просто, если этот болван умрет.

— Черт, что ты мелешь?

— Все вышло из-за этой проклятой командировки, когда нас послали в Нант, Билла Риза и меня... Хэй, Мари, анкор шампань, боку![1] Я числился тогда на санитарной службе: сам черт не разберет, на какой службе я числюсь теперь. Наш отряд был на отдыхе, и они послали несколько человек наших ребят в Нант, чтобы забрать оттуда обоз грузовиков и доставить их в Сандрекур. Мы отправились, как настоящие гонщики, на одних только шасси. Савэй ву?[2] Мы с Билли были, черт побери, в хвосте отряда, а лейтенант у нас был болван набитый, сена от соломы не отличит.

— А где этот самый Нант, черт возьми? — спросил старший сержант, как будто этот вопрос только что мелькнул у него в голове.

— На берегу,— ответил Фюзелли.— Я видел его на карте.

— Нант провалился к черту, больше и духу его нет,— сказал Дикий Дэн. Он набрал в рот шампанского и подержал его немного, двигая челюстями, как корова, жующая жвачку.— И так как мы с Биллом были в хвосте, а по дороге, куда ни плюнь, все кафе да кабачки, так мы с

---

[1] Еще шампанского, и побольше! (*фр.*)

[2] Знаете ли? (*фр.*)

Биллом и задерживались иногда, чтобы пропустить рюмочку-другую, сказать девочке «бонжур»[1] и покалякать с людьми. А потом уж мы летели во всю прыть, точно пуля из пекла, чтобы догнать их. Ладно, не знаю уж, слишком ли быстро мы ехали, или они сбились с дороги, или что еще тут вышло, только больше мы этого проклятого обоза в глаза не видели с той минуты, как выехали из Нанта. Тут уж мы решили осмотреть заодно местность, компри? Так мы и сделали, черт возьми! Словом, мы приперли прямо в Орлеан, пьяные как черти, без капли бензина в баке и с полевым полицейским, уцепившимся за задок.

— Что же, вас посадили?

— Как бы не так,— сказал Дикий Дэн, откидывая голову набок.— Они дали нам бензину, выдали паек и амуницию и велели отправляться на следующее утро. Дело в том, что мы здорово втерли им очки, компри? Так вот отправились мы в шикарный ресторан. Понимаешь, на нас была английская форма, которую они нам выдали, и военная полиция не могла раскусить, что мы, собственно, за птицы. Так вот отправились мы, заказали настоящий обед, море этого vin blanc и vin rouge[2], опрокинули по нескольку стаканов коньяку, и не успели мы опомниться, как мы уже заседали в тесной компании с двумя капитанами и одним сержантом. Один из капитанов был самым отчаянным пьяницей, какого я в жизни видел! В общем, теплые ребята! Когда мы пообедали, Билл Риз и говорит: «А не устроить ли нам этакую увеселительную прогулочку?» А капитан и говорит: «Чудно!» И сержант сказал бы «чудно», да только он был на таком взводе, что уж и говорить не мог. Ну, мы и отправились... Послушайте, ребята, у меня все нутро пересохло, прикажите еще бутылку.

— Конечно,— сказали все в один голос.

Бон суар, ма шери!
Коман алле ву?[3]

— Анкор шампань, Мари, жантиль![4]

— Так вот,— продолжал он,— полетели это мы как черти... Хорошая шоссейная дорога... И все было ладно, пока один из капитанов не решил, что нам следовало бы

[1] Привет (*фр.*).
[2] Белое вино и красное вино (*фр.*).
[3] Добрый вечер, моя дорогая!
Как поживаешь? (*фр.*)
[4] Мари, будь любезна, еще шампанского! (*фр.*)

ускорить гонку. Ну, гонка так гонка. Компри? Все шло гладко, только мы так увлеклись гонкой, что совсем забыли о сержанте. Он вывалился, а никто и не спохватился. Наконец застопорили это мы перед каким-то кабаком, один из капитанов и говорит: «Где же сержант?» А другой капитан спорит, что никакого сержанта с нами и не было. Ну, мы все тут по этому случаю выпили. А капитан все продолжает твердить: «Это одно воображение! Никакого сержанта не было. Стал бы я связываться с каким-нибудь сержантом? Не правда ли, лейтенант?» Он все время называл меня лейтенантом... Они потом, черти, сделали из этого новое обвинение против меня: будто я выдавал себя!.. Кто-то подобрал сержанта на дороге, у него приключилось сотрясение мозга. Изволь расплачиваться теперь, черт побери! А если бедняга окочурится — мне крышка. Компри? К тому времени капитаны собрались как раз в Париж — ну, мы, значит, вызвались их подвезти. Перелили мы весь бензин в мой мотор, взгромоздились вчетвером на это проклятое шасси и помчались, как пуля из пекла. Все было хорошо, если бы у меня в глазах не двоилось. Минуты этак через две мы наткнулись на одну из этих симпатичных каменных кучек, с краю шоссе, да так и остались там. Однако мы все поднялись на ноги, только один из капитанов сломал себе руку. Это было уж похуже, чем потерять сержанта. Отправились мы дальше по дороге пешком. Я даже не помню, как подошло время к рассвету. Мы добрались до какого-то проклятого городишки, а там нас уж поджидали два военных полицейских... Компри? Ну, тут уж мы не стали больше возиться с капитанами, сиганули поскорее в боковую улицу, забрались в маленькое кафе, утвердились там в задней комнате и напились в свое удовольствие горячего кафэ-о-лэй. Это нас как будто немного подправило, и я сказал Биллу: «Билл, нам нужно пробраться в штаб и доложить, прежде чем военная полиция примется за дело, что мы вследствие несчастного случая раскваСили нашу машину».— «Правильно, черт возьми!» — говорит Билл. И вот в эту самую минуту вижу я через щель в дверях, как в кафе входит военный полицейский. Мы прошмыгнули в сад и взяли курс на забор. Нам удалось перемахнуть, хотя добрая часть моих штанов осталась там на битом стекле. Но самое скверное было то, что полицейские перемахнули за нами, а при них к тому же были револьверы. С Билли Ризом тут случилась такая штука. Там, в саду, была огромная толстая женщина в

розовом платье, которая стирала белье в большой лоханке, и вот бедный старичина Билли Риз бросается головой прямо ей в живот, и оба они попадают в лоханку. Полицейский и извлек его оттуда, а тем временем я улизнул. Когда я в последний раз видел Билли Риза, он барахтался в лохани, как будто плавал, а толстая женщина сидела на земле и грозила ему кулаком. Лучшего товарища, чем Билл Риз, у меня в жизни не было.

Он замолчал, вылил остатки шампанского в свой стакан и вытер с лица пот.

— Ты это не пули нам отливаешь, а? — спросил Фюзелли.

— Спросите только лейтенанта Уайтхеда, который защищает меня в военном суде, заливаю я или нет? Я был боксером, и ты можешь прозакладывать свой последний доллар, что человек, бывший боксером, врать не станет.

— Валяй дальше, Дэн,— сказал сержант.

— С тех пор я ни звука не слыхал о Билли Ризе. Я думаю, они послали его в окопы и живо там обработали.— Дэн Коуэн замолчал и зажег папиросу.— Ну так вот, один из этих полицейских бежит за мной и начинает стрелять. Уж можете представить себе, как я улепетывал. Черт, у меня душа в пятки ушла! Но мне подвезло. Какой-то француз как раз трогался на своем грузовике; я вскочил на него и сказал, что за мной гонятся жандармы. Он весь так и побелел, лягушатник-то. И как запалил! Как пуля из пекла! На шоссе как раз было чертовское движение — в то время на фронте как раз шло какое-то дурацкое наступление или еще что-то. Так я и добрался до Парижа. И тут все сошло бы гладко, если бы я не встретился с Джейн. При мне было еще почти пятьсот франков, и мы с ней здорово повеселились. Только однажды отправились мы обедать в Кафе-де-Пари — оба мы были уже немного того, подшофе,— и у нас не хватило денег, чтобы заплатить по счету. Джейн побежала доставать деньги, но пока она ходила, полицейский застукал меня, и тут уж вышла чертовская история... Компри? Они посадили меня в Бастилию, теплое местечко... Затем отослали меня в какой-то проклятый лагерь, ткнули мне ружье, заставили неделю учиться, а в конце концов набили целый поезд все такими ребятами, вроде меня, и отправили на фронт. Бедняжке Дэниелу чуть не пришел тут конец. Но когда мы стояли в Витри-ле-Франсуа, я выбросил свою винтовку в одно окно, сам выскочил в другое, поймал парижский поезд, приехал и

доложил в штабе, как я сломал машину, попал в Бастилию и все, что было дальше. Они чертовски обозлились на полицию и послали меня в мою часть. Все шло хорошо, пока меня не вызвали обратно и не откомандировали в этот проклятый лагерь. А теперь я не знаю, что они со мной сделают.

— Черт возьми!

— Это великая война, сержант, говорю вам. Это великая война! Я не жалею, что участвую в ней.

Кто-то распевал на всю комнату:

Бон суар, ма шери,
Коман алле ву?
Вуле ву
Куше авек муа?

— Ну, я должен убираться отсюда,— сказал Дикий Дэн через минуту.— Меня ждет здесь одна цыпочка. Свидание. Компри? — Он встал и пошел, пошатываясь и напевая.

Народу стало меньше. Мадам отложила свое вязание, и Мари с пухлыми, белыми руками села рядом с ней, откинув голову назад и опираясь на бутылки, которые поднимались ярусами за ее спиной.

Фюзелли не отрывался от одной из дверей в конце стойки. Посетители кафе то и дело открывали ее, заглядывали и закрывали снова с каким-то особенным выражением на лицах. Время от времени кто-нибудь улыбаясь открывал ее и проходил в следующую комнату, обтирая ноги и тщательно закрывая за собой дверь.

— Послушайте, что это у них там? — сказал старший сержант, пристально смотревший на дверь.— Необходимо расследовать, необходимо расследовать,— прибавил он пьяным голосом.

— Не знаю,— сказал Фюзелли. Шампанское шумело у него в голове, как муха у оконного стекла. Он чувствовал себя очень смелым и сильным.

Старший сержант нетвердо поднялся на ноги.

— Капрал, посмотрите за порядком,— сказал он и направился к двери. Он немного приоткрыл ее, заглянул, многозначительно подмигнул своим друзьям и проскользнул туда.

Капрал последовал за ним. Он воскликнул: «Ах, провались я на этом месте!» — и вошел, оставив дверь открытой настежь. Через минуту ее закрыли изнутри.

— Пойдем, Билли, посмотрим, какого черта они там нашли,— сказал Фюзелли.

— Ладно, старина,— сказал Билли Грей.

Они подошли вдвоем к двери. Фюзелли открыл ее, заглянул внутрь и с легким свистом пропустил дыхание сквозь зубы.

— Ну и черт! Входи, Билли! — сказал он, хихикая.

Маленькая комната была почти целиком занята обеденным столом, покрытым красной скатертью. На каменной доске над пустым очагом стояли подсвечники; болтающиеся хрустальные подвески сверкали красными, желтыми и пурпурными огнями при свете лампы, горевшей перед треснувшим зеркалом, которое можно было принять за окно в другую, более темную комнату. Бумага отставала от сырых стен. Воздух в комнате был пропитан могильным запахом сырой штукатурки, которого не могли заглушить даже испарения пива и табака.

— Взгляни-ка на нее, Билли, разве не тонкая штучка? — прошептал Фюзелли.

Билли Грей что-то буркнул.

— Послушай, как ты думаешь, та Джейн, с которой этот малый кутил в Париже, была вроде этой?

В конце стола, опираясь на локти, сидела женщина с вьющимися черными волосами, которые торчали во все стороны на ее голове. У нее были темные глаза и красные, немного припухшие губы. Она с некоторым вызовом смотрела на мужчин, стоявших у стен и сидевших за столом.

Мужчины молча смотрели на нее. Большой человек с рыжими волосами и тяжелой челюстью, сидевший рядом с ней, старался придвинуться поближе. Кто-то так сильно стукнул по столу, что бутылка и рюмки, собранные на середине, зазвенели.

— Неряха она, вот что. У нее стриженые волосы,— сказал человек, сидевший рядом с Фюзелли.

Женщина сказала что-то по-французски. Только один человек понял это. Его смех глухо прозвучал в тихой комнате и внезапно оборвался. Женщина с минуту внимательно рассматривала окружавшие ее лица, потом пожала плечами и начала разглаживать ленту шляпы, которую она держала на коленях.

— Как она попала сюда, черт побери? Я думал, что военная полиция выжила их из города, как только появилась здесь,— сказал один человек.

Женщина продолжала дергать свою шляпу.

— Ву вонэй Пари?[1] — сказал парень с мягким голосом, сидевший рядом с ней. У него были голубые глаза и слегка тронутый загаром молочный цвет лица, странно выделявшийся на фоне огрубелых красных и коричневых лиц.

— Oui, de Paris[2],— сказала она после паузы, неожиданно взглядывая в лицо парня.

— Все врет, уж поверьте мне,— сказал рыжеволосый человек, который к этому времени успел придвинуть свой стул очень близко к стулу женщины.

— Вы сказали ему, что приехали из Марселя, а тому — что из Лиона,— сказал парень с молочным цветом лица, весело улыбаясь.— Правда, откуда вы приехали?

— Я приехала отовсюду,— сказала она, откидывая волосы с лица.

— Много путешествовали? — снова спросил парень.

— Один приятель рассказывал мне,— сказал Фюзелли Билли Грею,— что ему пришлось говорить раз с одной такой вот девицей, которая побывала в Турции и в Египте. Бьюсь об заклад, что эта девочка тоже видала виды.

Вдруг женщина вскочила на ноги, вскрикнув от злости. Человек с рыжими волосами испуганно отодвинулся. Затем он поднял свою широкую грязную руку вверх.

— Камарад[3],— сказал он.

Никто не засмеялся. В комнате царило молчание, нарушаемое только случайным шарканьем ног по полу. Она надела шляпку и, вынув из сумки маленькую коробочку, начала пудриться, гримасничая перед зеркалом, которое держала в ладони.

Мужчины не спускали с нее глаз.

— Сдается мне, что она Бог весть что о себе воображает,— сказал один человек, поднимаясь на ноги. Он перегнулся через стол и плюнул в камин.— Я иду домой в бараки.— Он повернулся спиной к женщине и закричал полным ненависти голосом: — Бон суар![4]

Женщина вкладывала пуховку обратно в свой стеклярусный мешочек. Она не подняла глаз; дверь резко захлопнулась.

— Пойдем,— сказала вдруг женщина, откидывая назад голову,— пойдем. Кто идет со мной?

---

[1] Вы из Парижа? (*фр.*)
[2] Да, из Парижа (*фр.*).
[3] Друг (*фр.*).
[4] Хорошего вечера! (*фр.*)

Никто не отозвался. Мужчины молча смотрели на нее. Не слышно было ни одного звука, кроме шарканья ног по полу.

III

Овсяная каша тяжело шлепнулась в котелок. Глаза Фюзелли все еще слипались от сна. Он уселся на темной засаленной скамье и глотнул горячий кофе, слегка отдававший посудными тряпками. Это немного разогнало сон. В кухонном бараке было мало разговоров. Солдаты, которых зоря вытащила из-под одеяла всего каких-нибудь пятнадцать минут назад, сидели в ряд, мрачно ели, щурясь друг на друга сквозь дымную мглу. Слышалось только шарканье ног по усыпанному золой полу и звяканье котелков об столы или изредка чей-нибудь кашель. У стойки, где раздавали пищу, один из кашеваров не переставая бранился плаксивым, однотонным голосом.

— Черт возьми, Билли, ну и голова у меня сегодня,— сказал Фюзелли.

— Поделом тебе,— проворчал Билли Грей.— Мне пришлось силой тащить тебя в барак. Ты все твердил, что хочешь вернуться назад, чтобы целоваться с этой девицей.

— В самом деле? — сказал Фюзелли, хихикая.

— Мне чертовски трудно было протащить тебя мимо караула.

— Это все коньяк... Теперь у меня похмелье,— сказал Фюзелли.

— Будь я проклят, если смогу еще долго тянуть это.

— Что?

Они мыли свои обеденные котелки в чане с теплой водой, загустевшей от жира сотен вымытых в ней котелков. Электричество слабо освещало поверхность воды, где плавала овсянка и кофейная гуща, кадки для мусора с табличками «Сухой мусор», «Мокрый мусор», солдат, стоявших в очереди к чану.

— Эту чертову жизнь! — свирепо сказал Билли Грей.

— Да о чем ты?

— Только и дело, что упаковывать перевязочные материалы в ящики и вытаскивать их оттуда. Этак с ума сойти можно! Хотел напиться, так от этого не легче.

— Черт, ну и голова у меня сегодня,— повторил Фюзелли.

Когда они зашагали по направлению к баракам, Билли Грей обнял своей тяжелой, мускулистой рукой Фюзелли за плечи

— Послушай, Дэн, я собираюсь на фронт.

— Не делай этого, Билли. Черт! Подумай о том, сколько у нас шансов получить капрала, если мы не напортим себе сами.

— Яйца выеденного я за все это не дам... Почему я, по-твоему, пошел в эту проклятую армию? Потому что мне форма, что ли, к лицу? — Билли Грей засунул руки в карманы и решительно плюнул перед собой.

— Но, Билли, ведь не хочешь же ты остаться вонючим рядовым?

— Я хочу попасть на фронт, я не желаю торчать здесь, пока не угожу в карцер за какое-нибудь безобразие или не попаду под суд. Послушай, Дэн, хочешь отправиться со мной?

— Тысяча чертей! Ты не поедешь, Билли. Ты просто дурачишь меня? Мы и так попадем на фронт довольно скоро. Я хочу сделаться капралом.— Он слегка выпятил грудь.— Прежде чем отправиться на фронт, я хочу показать, каков я человек. Понимаешь, Билли?

Заиграла труба.

— А я еще свою койку не убрал.

— Я тоже. Ничего не будет, Дэн... Не позволяй им оседлать себя.

Они выстроились на темной дороге, чувствуя, как грязь хлюпает у них под ногами. Выбоины были полны черной воды, в которой мерцали отражения далеких электрических фонарей.

— Сегодня все работают в складе А,— сказал сержант (тот, который был раньше проповедником) своим печальным, тягучим голосом.— Лейтенант приказал, чтобы все было кончено к полудню. Груз сегодня отправляется на фронт.

Кто-то свистнул от удивления.

— Кто это здесь свистит?

Никто не отозвался.

— Вольно! — сердито выпалил сержант.

Они побрели в темноте по направлению к одному из освещенных зданий; ноги их то и дело погружались в лужи.

Фюзелли подошел к часовому у ворот лагеря, задумчиво ковыряя в зубах лучинкой от сосновой доски.

— Послушай, Фил, одолжи мне полдоллара! — Фюзелли остановился, засунул руки в карманы и посмотрел на часового, не вынимая лучинки изо рта.

— Очень сожалею, Дэн,— ответил тот.— У меня в кармане чисто. С самого нового года цента в глаза не видал.

— Почему они, черт возьми, не платят жалованья?

— А ваши ребята подписали уже платежную ведомость?

— Конечно, давно уже.

Фюзелли отправился вниз, к городу, по темной дороге, на которой грязь замерзала, образуя глубокие колеи. Он все еще не мог привыкнуть к этому городу. Его маленькие домики с потрескавшейся штукатуркой, по которой сырость расползалась серыми и зелеными пятнами, пестрота красных черепичных крыш, узкие, вымощенные булыжником улицы, извивавшиеся зигзагами то внутрь, то наружу между высоких облепленных балконами стен,— все казалось ему чужим и странным. Ночью, когда царила полная темнота и на мокрую улицу лишь кое-где падало золотистое отражение горевшей в окне лампы или проливался поток света из магазина или кафе, город казался почти до жути нереальным. Фюзелли пошел в сквер, где раздавалось журчанье фонтана. Дойдя до середины, он остановился в нерешительности. Шинель его была расстегнута, а руки засунуты до самого дна карманов, в которых они не могли, однако, нащупать ничего, кроме сукна. Он долго прислушивался к бульканью фонтана и шуму сцепляемых поездов, доносившемуся издалека с товарной станции. «И это война? — подумал он.— Просто курам на смех! Тут по ночам спокойнее, чем дома». На улице за сквером показался белый свет — пытливый фонарь штабного мотора. Оба глаза автомобиля уставились прямо в глаза Фюзелли, ослепляя его, затем повернули в сторону, оставляя за собой легкий запах бензина и отзвуки голосов. Фюзелли смотрел на фасады домов, которые автомобиль осветил, выезжая на главную дорогу. Затем город снова погрузился в темноту и тишину.

Он прошел через сквер по направлению к Cheval Blanc, большому кафе, где собирались офицеры.

— Застегните шинель! — раздался грубый голос.

Он увидел на углу высокую фигуру и очертания кобуры, которая висела, точно маленький окорок, на бедре человека. Военный полицейский! Он торопливо застегнул шинель и быстро зашагал дальше.

Фюзелли остановился перед заманчивым на вид кафе, на окне которого было выведено белой краской: «Ветчина и яйца». Кто-то сзади закрыл ему глаза двумя большими ладонями. Он высвободил голову.

— Хелло, Дэн,— сказал он.— Как ты вырвался из каталажки?

— Меня, брат, не удержишь,— сказал Дэн Коуэн.— Монета есть?

— Ни цента, черт побери!

— У меня тоже. Все равно, идем. Уж я устроюсь с Мари.

Фюзелли в нерешительности последовал за ним. Он немного боялся Дэна Коуэна и вспомнил к тому же, как на прошлой неделе одного солдата предали военному суду за то, что он хотел улизнуть из кафе, не заплатив за выпитое.

Он уселся за столик поближе к дверям. Дэн исчез в задней комнате. Фюзелли чувствовал тоску по дому. Давно уж что-то не приходило писем от Мэб. «Верно, завела уже другого парня!» — свирепо сказал он себе. Он постарался вспомнить ее лицо, но ему пришлось вынуть свои часы и заглянуть под крышку, прежде чем он мог решить, прямой или вздернутый у нее нос. Он поднял глаза, пряча часы в карман. Мари с белыми руками выходила смеясь из внутренней комнаты. Ее большие крепкие груди, обтянутые тесно облегающей блузкой, слегка колыхались при смехе. Ее щеки были очень красны. Вдоль шеи свисала выбившаяся прядь каштановых волос. Она поспешно подбирала ее, подкалывая шпилькой и держа руки за головой, и медленно выходила на середину комнаты. Вслед за ней в комнату вошел Дэн Коуэн с широкой усмешкой на лице.

— Ну, дружище,— промолвил он.— Я сказал ей, что ты заплатишь, когда приедет из Америки Дядя Сэм. Пил ты когда-нибудь кюммель?[1]

— А что это за штука?

— Увидишь.

Они уселись в углу за столиком перед блюдом яичницы. Это был излюбленный столик, за который часто присаживалась поболтать сама Мари в те минуты, когда на нее не устремлялся взор строгой мадам.

Несколько человек пододвинули свои стулья — Дикий Дэн всегда собирал аудиторию.

---

[1] Анисовая настойка (*нем.*).

— Похоже, что на Верден готовится новая атака,— сказал Дэн.

Кто-то неуверенно хмыкнул.

— Смешно, до чего мы мало знаем о том, что там творится,— сказал один солдат.— Я больше знал о войне, когда был дома в Миннеаполисе, чем теперь.

— Должно быть, мы им здорово накладываем,— сказал Фюзелли патриотическим тоном.

— Черт, в это время года, во всяком случае, ничего сделать нельзя,— сказал Коуэн. Улыбка расползлась по его красному лицу.— Последний раз, когда я был на фронте, боши устроили coup de main[1] и захватили в плен целую линию окопов.

— Чьих?

— Да американских, наших.

— Что ты мелешь?

— Это дьявольская брехня! — закричал черноволосый малый с плохо выбритым подбородком, который только что вошел в кафе.— Ни одного американца никогда не забирали в плен и не заберут.

— А сколько времени ты был на фронте, братец? — спросил Коуэн холодно.— Ты, чай, и в Берлине успел побывать, а?

— Я говорю, что всякий, кто утверждает, будто американец позволит вонючему гунну взять себя в плен,— лгун,— сказал человек с плохо выбритым подбородком, усаживаясь с мрачным видом.

— Ну, ты бы, пожалуй, лучше не говорил мне этого,— сказал со смехом Коуэн, многозначительно поглядывая на один из своих красных кулаков.

На лице Мари мелькнула догадка. Она посмотрела на кулак Коуэна, пожала плечами и рассмеялась.

В эту минуту в кафе ввалилась новая толпа.

— Да никак это Дикий Дэн? Хелло, старина! Как делишки?

Маленький человечек, шинель которого выглядела почти как офицерская благодаря хорошему покрою, горячо пожимал руку Коуэну. На нем были капральские нашивки и фуражка английского летчика. Коуэн очистил для него место на скамье.

— Что ты делаешь в этой дыре, Дак?

Тот скривил рот, так что его изящные черные усики перекосились.

---

[1] Смелая вылазка, налет (*фр.*).

— Чинюсь,— сказал он.— А ты?

Дэн Коуэн проглотил полстакана красного вина, причмокнул своими толстыми губами и начал повествовательным тоном:

— Наша дивизия только что выступила на Брасскую дорогу из Вердена, где мы просидели три недели точно в пекле. Нам приходилось то и дело взбираться там на одну маленькую высоту и рыть окопы. Грязища была такая, что ног не вытащить, а вонь подымалась невыносимая. Особенно когда снаряды разрывали землю, полную трупов. У тебя есть деньги?

— Есть немного,— отвечал Дак без восторга.

— Здесь чертовски вкусное шампанское. Я здесь компаньон в этом кабаке — тебе подадут со скидкой.

— Ладно.

Дэн Коуэн обернулся и прошептал что-то Мари. Она рассмеялась и скрылась за занавеской.

— Но под Шамфором было еще почище. Все мы вроде как бы нервничали, потому что немцы сбросили нам предупреждение, что дают три дня на эвакуацию госпиталя, а после этого снесут все к черту.

— Немцы это сделали? Брось врать-то,— сказал Фюзелли.

— Они сделали то же самое и в Сульи,— сказал Дак.

— Черт, да... Забавная там вышла штука. Госпиталь помещался в огромном запутанном доме, вроде американского отеля. Мы обыкновенно загоняли свой мотор во двор и спали в нем. Нам пришлось подобрать много контуженных молодчиков, которые орали как сумасшедшие и дрожали с головы до ног, а некоторые были вроде как бы парализованные. Во флигеле, как раз против того места, где мы обыкновенно спали, был один человек, который не переставал смеяться. Билли Риз спал со мной вместе в моторе; мы лежали с ним, растянувшись на своих одеялах, и не проходило минуты, чтобы кто-нибудь из нас не перевернулся и не прошептал: «Ну не сущий ли это ад, братец?» — потому что тот парень все продолжал смеяться, как будто он только что услышал шутку, такую смешную, что никак не мог остановиться. Это был совсем не такой смех, как бывает обыкновенно у сумасшедших. Когда я первый раз услыхал его, мне показалось, что человек и вправду веселится, и я, кажется, сам засмеялся, но он не останавливался... Мы с Билли Ризом лежали в автомобиле и дрожали. Вдали идет перестрелка, то и дело лопаются бомбы с аэропланов, а тут этот ма-

лый смеется и смеется, словно ему анекдоты рассказывают.— Коуэн выпил глоток шампанского и откинул голову набок.— И этот проклятый смех продолжался почти до полудня следующего дня, пока санитары не задушили парня. Вышли из себя, видно.

Фюзелли смотрел на другой конец комнаты, откуда доносился ропот справедливого негодования, исходивший от темноволосого человека с небритым подбородком и его товарищей. Фюзелли соображал, что будет, пожалуй, лучше, если его не увидят с таким парнем, как Коуэн, который рассказывает, будто немцы предупреждают госпитали перед обстрелом, а к тому же еще и сам находится под судом. Это может повредить ему. Он выскользнул из кафе в темноту. Влажный ветер носился по кривым улицам, подергивая рябью отраженный в лужах свет и беспрерывно колотя где-то ставнем. Фюзелли снова прошел в сквер, бросив завистливый взгляд в окно Cheval Blanc, где в ярко освещенной комнате, покрытой белым лаком и позолотой, играли на бильярде офицеры, а за стойкой надменно восседала белокурая девица в малиновой блузе. Он вспомнил военного полицейского и бессознательно ускорил шаги. В узкой улице по другую сторону сквера он остановился перед окном маленькой мелочной лавочки, тщательно избегая продолговатого пятна света, слабо освещавшего поросший травой булыжник и зеленовато-серые стены на другой стороне улицы. Внутри, за прилавком, сидела девушка с вязаньем, скромно поставив свои маленькие черные ножки рядышком на край ящика, полного красной свеклы. Она была очень мила и стройна. Лампа освещала гладко причесанные черные волосы. Лицо ее оставалось в тени. Несколько солдат стояли, неуклюже прислонившись к прилавку и косяку двери, и следили взглядом за каждым ее движением, как собаки следят за блюдом с мясом, которое передвигают на кухне.

Немного погодя девушка сложила свое вязанье и вскочила на ноги; она показала свое лицо — овальное белое личико с длинными темными ресницами и вызывающим ртом. Она постояла немного, глядя на солдат, толпившихся вокруг нее, затем скривила рот в гримасу и исчезла во внутренней комнате.

Фюзелли дошел до конца улицы, где был мост через маленькую речку. Он нагнулся над холодными каменными перилами и посмотрел на булькавшую между полыньями во льду воду, которую едва можно было разглядеть.

— Проклятая жизнь! — пробормотал он, вздрагивая от холодного ветра, но остался на месте, наклонившись над водой.

Вдали беспрерывно грохотали поезда, вызывая в нем представление об огромных унылых расстояниях. Часы на станции пробили восемь. В их бое звучала мягкая нота, похожая на басовую струну гитары. В темноте Фюзелли казалось, что он видит перед собой лицо девушки, гримасничающей своими полными вызывающими губами. Он подумал о темных бараках и людях, уныло сидящих у изголовья своих коек. Черт, он не в состоянии вернуться сейчас обратно! Все существо его жадно стремилось к нежности, теплоте и покою. Он поплелся обратно по узкой улице, злобно и монотонно ругаясь. Перед мелочной лавкой он остановился. Солдат уже не было. Он вошел, лихо сдвинув свою фуражку немного на сторону, так что вьющаяся прядь густых белокурых волос упала ему на лоб. Маленький колокольчик зазвонил в дверях.

Девушка вышла из внутренней комнаты и равнодушно подала ему руку.

— Как поживаете, Ивонна? Хорошо?

Его ломаный французский язык заставил ее показать в улыбке свои маленькие жемчужные зубки.

— Хорошо,— ответила она по-английски.

Они расхохотались, как дети.

— Послушайте, хотите быть моей милой, Ивонна?

Она посмотрела ему в глаза и рассмеялась.

— Non compris[1],— сказала она.

— Yes, yes, хотите быть мой девушка?

Она вскрикнула, смеясь, и сильно хлопнула его по щеке.

— Venez![2] — сказала она, смеясь.

Он пошел за ней. Во внутренней комнате стоял большой дубовый стол, окруженный стульями. На конце его сидели Эйзенштейн и французский солдат, оживленно беседовавшие о чем-то. Они были так увлечены разговором, что не заметили, как в комнату вошел Фюзелли с девушкой. Ивонна взяла французского солдата за волосы, оттянула его голову назад и повторила ему, все еще смеясь, то, что сказал Фюзелли. Он засмеялся.

— Вы не должны так говорить,— сказал он по-английски, обращаясь к Фюзелли.

---

[1] Не понимаю (*фр.*).

[2] Пойдем! (*фр.*)

Фюзелли надулся и мрачно уселся на другом конце стола, не спуская глаз с Ивонны. Она вытащила из кармана своего передника вязанье и, забавно держа его между двумя пальцами, бросила взгляд на темный конец комнаты, где в кресле дремала старушка, с кружевным чепчиком на голове. Потом она, дурачась, упала на стул.

— Бум! — сказала она.

Фюзелли смеялся до тех пор, пока на глазах его не выступили слезы. Она рассмеялась тоже. Они довольно долго сидели, поглядывая друг на друга и хихикая, в то время как Эйзенштейн и француз продолжали разговаривать. Вдруг Фюзелли уловил фразу, которая поразила его.

— Что бы вы, американцы, стали делать, если бы во Франции вспыхнула революция?

— Мы сделали бы то, что нам приказали бы,— ответил Эйзенштейн с горечью.— Мы рабы.

Фюзелли заметил, что обычно желтое, отекшее лицо Эйзенштейна теперь раскраснелось, а в глазах появился блеск, которого он никогда не замечал у него раньше.

— Как это революция? — спросил Фюзелли, сбитый с толку.

Француз испытующе перевел на него свои черные глаза.

— Я хочу сказать: прекращение бойни — свержение капиталистического правительства, социальная революция...

— Но ведь у вас же республика! Разве нет?

— Такая же, как и у вас.

— Вы рассуждаете как социалист,— сказал Фюзелли.— Я слыхал, что в Америке за такие разговоры расстреливают.

— Видите,— сказал Эйзенштейн французу.

— Все они такие.

— За исключением очень немногих. Это безнадежно,— сказал Эйзенштейн, закрывая лицо руками.— Я часто думаю о том, чтобы застрелиться.

— Уж лучше застрелите кого-нибудь другого,— сказал француз,— это будет полезнее.

Фюзелли беспокойно ерзал на стуле.

— И с чего вы все это выдумали, ребята? — спросил он. Про себя он подумал: «Еврей и лягушатник, нечего сказать — теплая компания».

Его глаза поймали взгляд Ивонны, и они оба расхохотались. Ивонна перебросила ему свой клубок. Он покатился вниз под стол, и они начали ползать кругом и искать его под стульями.

— Два раза мне казалось, что это должно произойти,— сказал француз.

— Когда это?

— Да вот недавно одна дивизия двинулась на Париж... И когда я был в Вердене... О, революция будет! Франция — страна революций.

— Мы всегда будем тут, чтобы подавить ее,— сказал Эйзенштейн.

— Подождите, пусть ваши ребята повоюют немного. Одна зима в траншеях подготовит к революция любую армию.

— Но у нас нет возможности узнать правду. А дисциплина превращает человека в животное, в колесо механизма. Не забывайте, что вы свободнее нас. Мы хуже русских.

— Это удивительно... Но должна же у вас быть какая-то сознательность, привитая цивилизацией. Я всегда слышал, что американцы свободолюбивы и независимы. Неужели они без конца позволят таскать себя на убой?

— О, не знаю! — Эйзенштейн поднялся на ноги.— Пора уже в бараки. Идешь, Фюзелли? — сказал он.

— Конечно,— равнодушно ответил Фюзелли, не вставая со стула.

Эйзенштейн и француз вышли в лавку.

— Бон суар,— сказал Фюзелли нежно, перегибаясь через стол.— Ну, девчурка?

Он лег животом на широкий стол, обнял ее за шею и поцеловал, чувствуя, что все вокруг темнеет в пламени желания. Она спокойно оттолкнула его крепкими маленькими ручками.

— Будет,— сказала она и кивнула головой в сторону старушки, спавшей в кресле в темном углу комнаты. Они стояли, прислушиваясь к ее легкому свистящему храпу.

Он обнял ее и долго целовал в губы.

— Завтра,— сказал он.

Она кивнула головой.

Фюзелли быстро зашагал по темной улице к лагерю. Кровь радостно стучала в его жилах. Он нагнал Эйзенштейна.

— Послушай-ка, Эйзенштейн,— сказал он дружеским тоном,— не думаю, чтобы тебе следовало всюду болтать таким образом. Ты можешь этак засыпаться в один прекрасный день.

— Мне все равно.

— Но, черт побери, не собираешься же ты в самом деле лезть в петлю? Они расстреливают ребят и не за такие штуки.

— Пусть.

— Господи Иисусе, ну можно ли строить из себя такого дурака! — возразил Фюзелли.

— Сколько тебе лет, Фюзелли?

— Мне уже двадцать.

— А мне уже тридцать. Я больше жил, дружище, и знаю, что хорошо и что плохо. Эта бойня угнетает меня.

— Господи, я понимаю. Это дьявольская каша. Но кто же заварил ее? Вот если бы кто-нибудь пристрелил этого кайзера...

Эйзенштейн горько рассмеялся. Фюзелли немного замешкался у входа в лагерь, следя за тем, как маленькая фигурка Эйзенштейна исчезала в темноте своей забавной ковыляющей походкой.

«Нужно быть впредь чертовски осторожным и поглядывать, когда идешь с ним в бараки. Этот проклятый жид, может быть, немецкий шпион или офицер секретной службы». Холодная дрожь ужаса пробежала по Фюзелли, рассеивая радостное чувство довольства собой. Его ноги шлепали по лужам и проваливались сквозь тонкий лед, когда он шел по дороге в барак. Ему казалось в темноте, будто за ним отовсюду следят, будто какая-то гигантская фигура ведет его вперед сквозь мрак, держа над ним кулак, готовый каждую минуту размозжить ему голову.

Завернувшись в свои одеяла на койке рядом с Билли Греем, он прошептал:

— Знаешь, Билл, я, кажется, нашел себе девочку в городе.

— Кого?

— Ивонну. Не говори никому.

Билли Грей слегка свистнул.

— Ты высоко летаешь, Дэн.

Фюзелли фыркнул.

— Черт возьми, дружище, лучшие из них для меня еще недостаточно хороши.

— Ну а я собираюсь покинуть тебя,— сказал Билли Грей.

— Когда?

— Скоро, черт побери! Я не в силах выносить эту жизнь. Не понимаю, как ты можешь!

Фюзелли не ответил. Он тепло укрылся одеялом, думая об Ивонне и капральстве.

Фюзелли рассматривал свой пропуск при свете единственной мигающей лампы, отбрасывавшей на станционную платформу колеблющийся красноватый круг. От утренней зори 4 февраля до утренней зори 5-го он был свободным человеком. Его глаза чесались от сна, когда он прогуливался взад и вперед по холодной платформе. Целых двадцать четыре часа ему не придется выслушивать ничьих приказаний. Несмотря на скучную перспективу езды в поезде по чужой стороне в такую ночь, Фюзелли был счастлив. Он позвякивал в кармане деньгами.

На полотне вдали, быстро приближаясь, появился красный глаз. Он мог расслышать уже тяжелое все нарастающее пыхтение паровоза. Яркое пламя блеснуло ему в глаза, когда паровоз с ревом медленно прополз мимо него. Человек с голыми руками, черными от угольной пыли, высунулся из кочегарки, освещенный сзади желтовато-красным пламенем. Теперь мимо проходили вагоны: платформы с пушками, обмотанными, точно морды у охотничьих собак, товарные вагоны, из которых тут и там просовывались человеческие головы. Поезд почти остановился. Вагоны стучали, наталкиваясь друг на друга. Глаза Фюзелли встретились с парой глаз, блестевших в свете ламп. Чья-то рука протянулась к нему.

— До свиданья, дружище,— сказал мальчишеский голос.— Я не знаю, черт побери, кто ты. Ну, все равно. До свиданья!

— До свиданья,— пробормотал Фюзелли.— На фронт?

— Правильно, черт возьми! — ответил другой голос.

Поезд снова начал набирать скорость. Стук вагонов друг о друга прекратился, и через мгновенье они быстро покатились перед глазами Фюзелли. На станции снова стало темно и пусто. Фюзелли следил за тем, как красный огонь делался все меньше и бледнее, по мере того как поезд с грохотом исчезал в темноте.

Золотистые, зеленые и алые шелка и сложные рисунки переплетающихся розовых тел купидонов беспорядочно смешивались в мозгу Фюзелли, когда он спустился, полный восторженного удивления, по лестнице дворца и вышел на улицу, освещенную слабым румянцем вечереющего дня. Несколько имен и названий — Наполеон, Жозефина, Империя,— которые никогда прежде не занимали места в его воображении, загорелись теперь великолепным царственным блеском, точно живая картина в театре.

— И денег же у них было, видно, пропасть,— сказал бывший с ним солдат-летчик.— Пойдем-ка выпьем.

Фюзелли молчал, погруженный в свои мысли. Он чувствовал здесь что-то, дополнявшее его грезы о богатстве и славе, которыми он любил делиться с Элом, сидя в гавани Сан-Франциско и следя за большими, залитыми огнями пароходами, проходившими через Золотые Ворота.

— Не очень-то они стеснялись насчет того, чтобы рисовать кругом голых женщин, не правда ли? — сказал летчик, угрюмый маленький человек, у которого скверно пахло изо рта.

— Ты осуждаешь их?

— Нет, не то, что осуждаю... Но думаю, что они были все-таки здорово безнравственные, эти типы,— продолжал он неуверенно.

Они бродили по улицам Фонтенбло, рассеянно заглядывая в окна магазинов, пяля глаза на женщин и присаживаясь на скамьях в парке, где сквозь кружево веток, багряных, алых и желтых, отбрасывавших сложные зеленовато-серые тени на асфальт, пробивался бледный солнечный свет.

— Пойдем-ка опрокинем еще,— сказал летчик.

Фюзелли посмотрел на часы: до поезда оставалась еще бездна времени. Девушка в распущенной грязной блузе вытерла стол.

— Vin blanc,— сказал летчик.

— Мэм шоуз,— сказал Фюзелли.

Голова его была полна золотой и зеленой лепки, шелка, алого бархата и сложных картин, на которых непристойно извивались голые розовые тела купидонов. Когда-нибудь, говорил он себе, он наколотит чертовскую кучу денег и поселится в таком же доме с Мэб... нет, с Ивонной или с какой-нибудь другой девочкой.

— Да, уж эти типы здорово, должно быть, были безнравственны! — повторил летчик, искоса поглядывая на девицу в грязной блузе.

Фюзелли вспомнил пир из «Quo vadis»*, который он видел в кинематографе,— людей, танцующих в купальных халатах с большими чашками в руках, и перевернутые столы с яствами.

— Коньяк! Боку! — сказал летчик.

— Мэм шоуз,— сказал Фюзелли.

Кафе наполнилось зеленым и золотистым шелком и огромными парчовыми кроватями с тяжелой резьбой наверху,— кроватями, в которых извивались розовые и соблазнительные тела купидонов.

Кто-то произнес:

— Хелло, Фюзелли!

Он был в поезде; в ушах у него гудело, а голову стягивал железный обруч. В вагоне, освещенном маленькой лампочкой, мигавшей на потолке, было темно. На минуту он принял мерцавший вверху свет за золотую рыбку в чаше.

— Хелло, Фюзелли,— сказал Эйзенштейн,— здоров?

— Конечно,— сказал Фюзелли осипшим голосом,— почему же мне быть больным?

— Как тебе понравился дворец? — спросил Эйзенштейн серьезно.

— Черт, не знаю,— пробормотал Фюзелли,— я спать хочу.

Все смешалось в его голове. Ему чудились огромные залы, полные зеленого и золотого шелка, и огромные постели с коронами наверху, где спали Наполеон и Жозефина. Кто они были? Ах да, Империя! Потом там были изображения цветов, фруктов и купидонов, золоченые и темные коридоры и лестница, пахнувшая плесенью, где они с летчиком растянулись. Он еще помнил ощущение, когда нос его проехал по жесткому красному плюшевому ковру лестницы. Потом там были женщины в открытых платьях... или это были картины на стенах? И еще там была постель, вся окруженная зеркалами. Он открыл глаза. Эйзенштейн говорил с ним. Он, должно быть, уже давно обращался к нему.

— Я так смотрю на это,— говорил он.— Каждому молодцу необходимо встряхнуться иногда, чтобы быть здоровым. А если он воздержан и осторожен...

Фюзелли заснул. Он снова проснулся и вспомнил вдруг: нужно будет непременно достать эту маленькую синюю книжечку — военные уставы. Не мешает познакомиться с ними на всякий случай. Капрала отправили в госпиталь. У него туберкулез, как сказал сержант Оскер. Им, во всяком случае, придется назначить заместителя. Он уставился на маленькую мигающую лампочку на потолке.

— Как тебе удалось получить отпуск? — спрашивал Эйзенштейн.

— О, мне это устроил сержант,— ответил Фюзелли с таинственным видом.

— Ты, кажется, очень хорош с ним? — сказал Эйзенштейн.

Фюзелли снисходительно улыбнулся.

— Скажи-ка, ты знаешь этого малого, Стоктона?

— Белолицего маленького парнишку, который писарем на другом конце бараков?

— Он самый,— сказал Эйзенштейн.— Я хотел бы чем-нибудь помочь этому малому. Он просто не в состоянии вынести дисциплины. Нужно тебе видеть, как он дрожит, когда тамошний рыжий сержант орет на него. Малый чахнет день ото дня.

— Что ж, у него хорошая, легкая работа: писарь,— сказал Фюзелли.

— Ты думаешь, легкая? Я проработал двенадцать часов позавчера, составляя донесения! — сказал с негодованием Эйзенштейн.— Они прямо верхом ездят на малом. Просто смотреть тяжело. Ему нужно быть дома, в школе.

— Что ж, приходится и лекарство принимать,— сказал Фюзелли.

— Подожди, подожди, вот когда тебя сгноят в траншеях, посмотрим, как тебе понравится лекарство,— сказал Эйзенштейн.

— Дурак проклятый,— проворчал Фюзелли, настраиваясь на новый сон.

Зоря вытащила Фюзелли полумертвым от сна.

— Знаешь, Билли, не могу понять, что у меня в голове.

Ответа не было. Только тут он заметил, что соседняя койка пуста. Одеяла были аккуратно сложены в ногах. Внезапный страх охватил его. Он не может обойтись без Билли Грея, говорил он себе. С кем же он будет гулять теперь? Он пристально смотрел на пустую койку.

— Смирно!

Рота выстроилась в темноте. Ноги солдат тонули в грязных рытвинах дороги. Лейтенант вышагивал взад-вперед перед ними с оттопырившейся сзади нижней полой походной шинели. У него был карманный электрический фонарик, который он то и дело направлял на сухие стволы деревьев, на лица солдат, себе под ноги, в лужи на дороге.

— Если кому-нибудь из вас известно местопребывание рядового первого разряда Вильяма Грея, потрудитесь немедленно донести, так как иначе нам придется признать его дезертиром. Вы знаете, что это значит?

Лейтенант говорил короткими, резкими фразами, отрубая, точно топором, концы слов.

Все молчали.

— Мне нужно еще кое-что объявить вам, ребята,— сказал лейтенант уже естественным голосом.— Я назначаю Фюзелли, рядового первого разряда, исполняющим должность капрала.

Колени Фюзелли ослабели. Он готов был кричать и танцевать от радости. Он был рад, что в темноте никто не мог заметить, как он возбужден.

— Рота, вольно! — весело прокричал сержант.

Разбившись на группы и взволнованно обсуждая охрипшим голосом события, люди побрели через грязные лужи к кухонному бараку.

IV

Ивонна перевернула омлет, подбросив его в воздух. Он, шипя, снова упал на сковородку, и она вышла вперед к свету, держа сковородку перед собой. За ней была темная плита, над которой сквозь синеватую мглу поблескивал ряд медных кастрюль. Ивонна переложила омлет со сковородки на белое блюдо, стоявшее посередине стола прямо под желтым светом лампы.

— Tiens[1],— сказала она, отбрасывая со лба несколько отделившихся волосков тыльной стороной руки.

— Вы мастерица стряпать,— сказал Фюзелли, поднимаясь на ноги. Он сидел, развалившись в кресле, на другом конце кухни и следил, как стройная фигурка Ивонны, в обтягивающем черном платье и синем переднике, то входила, то выходила из полосы света, приготовляя обед. В кухне носился запах поджаренного масла с легким привкусом перца; от этого запаха рот Фюзелли наполнялся слюной.

— Вот это хорошо,— говорил он себе,— как дома.

Он встал и, глубоко засунув руки в карманы и откинув голову, смотрел, как она режет хлеб, прижимая буханку к груди и двигая ножом по направлению к себе. Она отряхнула с платья несколько крошек тонкой белой рукой.

— Ты моя девочка, Ивонна, не правда ли? — Фюзелли обнял ее.

— Sale bête![2] — сказала она, смеясь и отталкивая его.

---

[1] Это тебе (*фр.*).

[2] Грязная скотина! (*фр.*)

Снаружи раздались быстрые шаги, и в кухню вошла другая девушка, тоненькая, желтолицая, с острым носом и длинными зубами.

— Моя кузина... Мой маленький американец.

Девушки рассмеялись. Фюзелли покраснел, пожимая руку девушки.

— Хорош, а? — сказала грубовато Ивонна.

— Но он чудесный, твой американец.

Они снова рассмеялись. Фюзелли, который не понял из их разговора ни слова, рассмеялся тоже, думая про себя: «Если они скоро не усядутся, обед остынет».

— Приведите maman, Дэн,— сказала Ивонна.

Фюзелли вошел в лавку, пройдя через комнату с длинным дубовым столом. При тусклом свете, проникавшем из кухни, он увидел белый чепец старухи. Лицо ее было в тени, но в маленьких похожих на бусинки глазах светился слабый огонек.

— Ужинать, мадам! — закричал он.

Старушка поплелась за ним, ворча своим тоненьким, скрипучим голоском.

Пар, позолоченный светом лампы, столбами поднимался к потолку над большой миской супа.

Стол был накрыт белой скатертью, а на краю его лежала буханка хлеба. Тарелки с бордюром из маленьких розочек представлялись Фюзелли после армейских котелков самыми прекрасными предметами, какие ему приходилось видеть когда-либо в жизни. Бутылка с вином казалась черной рядом с суповой миской, а вино в стаканах отбрасывало темные пурпуровые пятна на скатерть.

Фюзелли молча ел свой суп; он очень мало понимал по-французски, на котором обе девушки тараторили между собой. Старушка говорила мало, а если ей и случалось вставить слово, какая-нибудь из девушек торопливо бросала ей в ответ замечание, почти не прерывавшее их болтовни.

Фюзелли думал о других солдатах, выстроившихся перед темными кухонными бараками, и представлял себе звук, который производило месиво, шлепаясь в котелки. В голове его мелькнула мысль, что недурно будет привести сюда сержанта и познакомить его с Ивонной. Они могли бы угостить его обедом. «Это поможет мне быть с ним в ладах...» На минуту он забеспокоился насчет капральства: он исполнял должность капрала, но не был еще утвержден в чине.

Омлет таял во рту.

— Чертовски bon[1],— сказал он Ивонне с полным ртом.

Она пристально посмотрела на него.

— Bon, bon,— сказал он опять.

— Вы сами, Дэн, bon,— сказала она и засмеялась.

Кузина завистливо переводила глаза с одного на другого; ее верхняя губа поднялась в улыбке над зубами. Старушка молчаливо и озабоченно пережевывала свой хлеб.

— Там кто-то есть, в лавке,— сказал Фюзелли после долгой паузы.— Же ире[2].— Он отложил свою салфетку и вышел, вытирая рот рукой. В лавке были Эйзенштейн и юноша с белым как мел лицом.

— Хелло! Ты что, хозяйство ведешь здесь? — спросил Эйзенштейн.

— Как видишь,— ответил Фюзелли натянуто.

— Есть у вас шоколад? — спросил юноша с бледным лицом тоненьким, бескровным голосом.

Фюзелли поискал на полках и бросил на прилавок плитку шоколада.

— Еще чего-нибудь?

— Ничего, спасибо, капрал. Сколько с меня?

Фюзелли, насвистывая, прошел обратно во внутреннюю комнату.

— Сколько шоколад? — спросил он.

Получив деньги, он уселся на свое место за столом, важно улыбаясь. Он должен обо всем написать Элу, решил он, и задумался над тем, мобилизован ли уже Эл.

После обеда женщины долго сидели, болтая за своим кофе, в то время как Фюзелли беспокойно ерзал на стуле, то и дело поглядывая на часы. У него был отпуск до двенадцати. Время подходило уже к десяти. Он старался поймать взгляд Ивонны, но она ходила по кухне, приводя все в порядок на ночь, и, казалось, едва замечала его присутствие. Наконец старушка поплелась в лавку, и оттуда донесся звук ключа, с трудом поворачивающегося в замке наружной двери. Когда она вернулась, Фюзелли пожелал всем спокойной ночи и вышел через заднюю дверь на двор. Там он с надутым видом прислонился к стене и стал ждать в темноте, прислушиваясь к звукам, доносившимся из дома. Он видел тени, пересекавшие оранжевый четырехугольник света, который окно отбра-

[1] Хорошо (*фр.*).

[2] Я посмотрю (*фр.*).

сывало на булыжник двора. В верхнем окне появился свет, слабо освещая неровные черепицы крыши противоположного сарая. Дверь отворилась, и Ивонна со своей кузиной остановились, болтая, на широком каменном пороге. Фюзелли притаился за большой бочкой, приятно пахнувшей старым деревом, пропитанным кислым вином. Наконец головы теней на булыжниках на минуту соединились, и кузина, стуча каблуками по двору, вышла на пустую улицу. Ее быстрые шаги замерли вдали. Тень Ивонны все еще оставалась в дверях.

— Дэн! — позвала она нежно.

Фюзелли вышел из-за бочки. Все его тело горело от восторга. Ивонна показала на его сапоги. Он снял их и оставил за дверью. Он посмотрел на часы. Было четверть одиннадцатого.

— Viens,— сказала она.

Он пошел за ней; колени его дрожали от возбуждения, когда он поднимался по крутым ступенькам.

Городские часы только что начали отбивать полночь глухим надтреснутым звоном, когда Фюзелли торопливо прошел через ворота лагеря. Он весело протянул свой пропуск караульному и зашагал по направлению к бараку. В длинном бараке было совершенно темно. Повсюду слышалось глубокое дыхание, кое-где храп. В воздухе стоял густой запах суконного платья, на котором высох пот. Фюзелли разделся не торопясь, сладостно вытягивая руки. Он завернулся в одеяло и заснул с улыбкой самодовольства на губах.

Роты, выстроенные для вечерней зори, стояли, вытянувшись неподвижно перед своими бараками, точно ряды оловянных солдатиков. Вечер был почти теплый. Легкий, игривый, пахнущий весной ветерок играл набухшими почками платанов. Небо было темно-сиреневое, и кровь обжигала и жалила, пробегая по онемевшим конечностям вытянувшихся во фронт солдат. Голоса сержантов особенно резко и звонко раздавались в этот вечер. Шли слухи, что ожидается генерал. Команды выкрикивались с остервенением.

Фюзелли стоял с краю своей роты, до такой степени выпятив грудь, что пуговицам его куртки грозила серьезная опасность отлететь. Сапоги его блестели на славу, а новая пара обмоток до боли туго сжимала ноги.

Наконец по затихшему лагерю пронесся звук трубы.

— Вольно! — закричал сержант.

Голова Фюзелли была полна воинским уставом, который он усердно изучал последнюю неделю. Он представлял себе воображаемый экзамен на капральство, который он, конечно, выдержит блестяще.

После команды он развязно подошел к сержанту.

— Послушайте, сержант, что вы делаете вечером?

— Что, черт возьми, может делать человек, когда у него ни шиша? — сказал старший сержант.

— Ну так мы отправимся с вами в город. Я хочу познакомить вас кое с кем.

— Идет.

— Скажите, сержант, отправили они уже представление на производство?

— Нет еще, Фюзелли,— сказал сержант.— Но это все уже улажено,— прибавил он многообещающим тоном.

Они направились молча к городу. Вечер был серебристо-сиреневый. Редкие освещенные окна в старых серозеленых домах горели оранжевыми пятнами.

— Значит, я буду утвержден, так, что ли?

Штабной автомобиль промчался мимо, обрызгав их грязью. Они успели мельком разглядеть фигуры офицеров, откинувшихся на глубокие подушки.

— Будьте спокойны,— сказал сержант добродушно.

Они дошли до сквера, и оба вытянулись во фронт, когда два офицера задели их, проходя мимо.

— Какие правила существуют на тот случай, если кто-нибудь из ребят захочет жениться на француженке? — неожиданно спросил Фюзелли.

— Вы что же, собираетесь окрутиться?

— Нет, черт возьми.— Фюзелли сделался малиновым.— Я хотел только... того... узнать.

— Разрешение от штаба — вот все, что я знаю.

Они остановились перед мелочной лавкой. Фюзелли заглянул в окно. Лавка была полна солдат, слонявшихся вокруг прилавка и жавшихся около стен. Посреди них с неприступным видом вязала Ивонна.

— Пойдем выпьем, а потом вернемся назад,— предложил Фюзелли.

Они отправились в кафе, где царила Мари с белыми руками. Фюзелли заплатил за два горячих ромовых пунша.

— Видите ли, дело обстоит так, сержант,— сказал он конфиденциально.— Я написал своим домашним, что произведен в капралы, и будет чертовски неприятно, если меня опять понизят.

Старший сержант маленькими глотками пил свой горячий напиток. Он широко улыбнулся и по-отечески положил руку на колено Фюзелли.

— Право, вам нечего беспокоиться, дружище. Я все наладил относительно вас как нельзя лучше,— сказал он. Затем весело прибавил: — Ну а теперь пойдем-ка посмотрим на вашу девочку.

Они вышли на темную улицу, где в ветре, несмотря на запах бензина и лагерей, уже чувствовалась какая-то сладость, напоминавшая запах грибов,— аромат весны.

Ивонна сидела в лавке под лампой, поставив ноги на ящик с консервами, и уныло зевала. Позади нее на прилавке стоял стеклянный ящик, полный желтых и зеленовато-белых сыров. Над прилавком в коричневатой полутьме лавки до потолка тянулись полки, на которых слабо поблескивали аккуратно выстроенные рядами большие и маленькие банки консервов. В углу, около стеклянной завешенной двери, которая вела во внутренние комнаты, висели гроздья колбас, больших и маленьких, красных, желтых и пестрых Ивонна вскочила, когда Фюзелли и сержант открыли дверь.

— Как хорошо, что вы пришли,— сказала она.— Я умирала от скуки.

— Это сержант, Ивонна,— сказал Фюзелли.

— Oui, oui, je sais[1],— сказала Ивонна, улыбаясь старшему сержанту.

Они уселись в маленькой комнате за лавкой, потягивая вино, и принялись как умели болтать с Ивонной, очень мило выглядевшей в своем черном платье и голубом переднике. Она сидела на краешке стула, крепко прижав одну к другой свои тонкие ножки в тонких башмаках и поглядывая время от времени на сложные вышивки на рукаве старшего сержанта.

Фюзелли развязно прошел, насвистывая, через мелочную лавку и открыл настежь дверь во внутреннюю комнату. Его свист оборвался на середине такта.

— Хелло! — сказал он раздосадованным голосом.

— Хелло, капрал! — сказал Эйзенштейн.

Эйзенштейн, его приятель — французский солдат, тощий человек с редкой черной бородкой и горящими черными глазами,— и Стоктон, юноша с белым как мел лицом, сидели за столом, дружески и весело беседуя с

[1] Да-да, я знаю (*фр.*).

Ивонной, которая стояла, прислонившись к желтой стене около француза, и показывала, смеясь, все свои маленькие жемчужные зубки. Посреди загромождавшего комнату темного дубового стола стоял горшок гиацинтов и несколько стаканов, в которых, по-видимому, побывало вино. Запах гиацинтов висел в воздухе, смешиваясь с еле уловимым, теплым запахом кухни.

После минутного колебания Фюзелли уселся ждать, пока остальные не разойдутся. После выдачи жалованья прошло уже много времени и карманы его были пусты, поэтому он не мог никуда отправиться.

— Как они обращаются с тобой теперь? — спросил Эйзенштейн у Стоктона после паузы.

— Как всегда,— сказал Стоктон своим тоненьким голоском, слегка запинаясь,— иногда я хотел бы быть уже мертвым.

— Гм,— сказал Эйзенштейн со странным сочувственным выражением на лице.— Когда-нибудь мы снова сделаемся штатскими.

— Я — нет,— сказал Стоктон.

— Черт,— сказал Эйзенштейн,— тебе нужно взять себя в руки, Стоктон. Мне тоже казалось, что я умираю, когда нас перевозили сюда на этом транспорте. А когда я был еще совсем маленьким и переезжал с эмигрантами из Польши, я тоже был уверен, что умираю. Человек может вытерпеть гораздо больше, чем воображает... Я никогда не думал, что смогу вынести существование в армии, это рабство и все остальное, а вот живу же. Нет, ты проживешь долго и будешь еще счастлив.— Он положил руку на плечо Стоктона.

Юноша вздрогнул и отодвинул свой стул.

— Зачем ты это? Я не собираюсь обижать тебя,— сказал Эйзенштейн.

Фюзелли с презрительным любопытством следил за обоими.

— Я посоветую тебе кое-что, приятель,— сказал он снисходительно.— Переводись-ка в нашу роту. Наша рота первый сорт, ей-ей! Не правда ли, Эйзенштейн? У нас симпатичный лейтенант, симпатичный старший и чертовски симпатичные ребята.

— Наш старший только что был здесь,— сказал Эйзенштейн.

— «Здесь»? — переспросил Фюзелли.— Куда же он пошел?

— Почем я знаю, черт побери!

Ивонна и французский солдат тихо разговаривали между собой, по временам слегка посмеиваясь. Фюзелли откинулся в своем кресле и смотрел на них, смутно догадываясь о чем-то. В эту минуту он страстно желал бы знать по-французски настолько, чтобы понять, о чем они говорят. Он сердито шаркал по полу ногами. Глаза его остановились на белых гиацинтах. Они напомнили ему окна цветочных магазинов в пасхальное время, шум и толкотню на улицах Сан-Франциско.

— Господи, до чего мне опротивела эта гнилая дыра,— пробормотал он. Он подумал о Мэб и причмокнул губами. Черт возьми, она была бы теперь уже замужем. Если бы только он мог заполучить Ивонну для себя одного; жить с ней где-нибудь далеко, в стороне от людей, от ее старой матери и от этого проклятого лягушатника. Он представил себе, как он отправляется с Ивонной в театр. Когда он будет сержантом, он сможет позволять себе такого рода вещи. Он сосчитал месяцы. Стоял март. Вот уже пять месяцев, как он в Европе, и он все еще не больше, как капрал, да и то не совсем. Он сжал кулаки от нетерпения.—Только бы получить капрала, а там уж дело пойдет быстрее,— сказал он себе успокаивающе. Он перегнулся через стол и громко потянул носом запах гиацинтов.— Хорошо пахнут,— сказал он.— Что ви сказаль, Ивонна?

Ивонна посмотрела на него, как будто успела забыть, что он находится в комнате. Глаза ее смотрели прямо в его зрачки; вдруг она расхохоталась. Этот взгляд согрел Фюзелли до глубины. Он снова отодвинулся на своем стуле с приятным чувством собственника, любуясь ее стройным телом, так мило вырисовывавшимся в черном платье, и маленькой головкой с гладко причесанными волосами.

— Ивонна, пойдите сюда,— сказал он, делая знак головой.

Она вызывающе перевела глаза с него на француза, затем подошла и остановилась за ним.

— Что вы хотите?

Фюзелли взглянул на Эйзенштейна. Он и Стоктон снова углубились в оживленную беседу с французом, Фюзелли услышал неприятное слово «революция», которое всегда действовало на него раздражающе — он сам не знал почему.

— Ивонна,— сказал он так, что только она одна могла его слышать,— что бы вы сказали, если бы мы с вами поженились?

— Поженились... я и ты? — спросила Ивонна, пораженная

— Уй! Уй!

Она минуту смотрела ему в глаза, затем откинула назад голову в припадке истерического смеха.

Фюзелли побагровел, вскочил на ноги и вышел, с такой силой захлопнув за собою дверь, что стекла зазвенели. Он торопливо зашагал обратно в лагерь. По главной улице медленно пыхтела, обдавая его грязью, длинная вереница серых грузовиков. У каждого из них впереди был прикреплен желтый газовый фонарь, слабо освещавший заднюю стенку переднего грузовика. Фюзелли уселся за конторку сержанта и начал сердито переворачивать страницы маленькой голубой книжки воинского устава.

Луна отражалась в фонтане на конце главного сквера города. Была теплая темная ночь; луна бледно сияла сквозь легкие облака, точно просвечивая через тонкий шелковый занавес.

Фюзелли стоял у фонтана с папиросой в зубах и не отрывался от желтых окон Cheval Blanc на другом конце сквера, откуда доносились звуки голосов и щелканье бильярдных шаров.

Он стоял спокойно, выпуская едкий дым папиросы через ноздри; в ушах его раздавался серебристый плеск воды в фонтане. В ветерке, порывисто дувшем с запада, чередовались маленькие струйки теплого и свежего воздуха. Фюзелли ждал. Время от времени он вынимал часы и напрягал зрение, чтобы что-нибудь увидеть, но темнота мешала разглядеть время. Наконец раздался низкий надтреснутый звон колокола на церковной башне: пробило один раз. Должно быть, была половина десятого.

Он медленно пошел по направлению к улице, где помещалась мелочная лавка Ивонны. Слабый свет луны озарял серые дома, закрытые ставнями окна и беспорядочные красные крыши с множеством маленьких слуховых и чердачных окон. Фюзелли чувствовал в себе восхитительное довольство окружающим миром. Он почти осязал тело Ивонны в своих объятиях и улыбался, вспоминая гримаски, которые она ему делала. Он крадучись прошел мимо закрытого ставнями окна лавки и нырнул в темноту под арку, которая вела во двор. Он шел осторожно, на цыпочках, держась близко к поросшей мхом стене, потому что слышал во дворе голоса. Он заглянул за угол дома и увидел несколько человек, которые стояли

разговаривая на пороге кухни. Он отдернул голову обратно в темноту. За кухонной дверью он успел заметить темную круглую форму бочки. Если бы только ему удалось проскользнуть за нее, как делал это обыкновенно, он мог бы подождать там, пока люди не разойдутся.

Тщательно придерживаясь тени вдоль забора, окружавшего двор, он проскользнул на другую сторону и готовился уже броситься за бочку, как вдруг заметил, что там уже кто-то есть.

Он задержал дыхание и замер с сильно бьющимся сердцем. Фигура обернулась, и в темноте он узнал круглое лицо старшего сержанта.

— Не можете ли вы потише? — ворчливо прошептал старший сержант.

Фюзелли стоял тихо, сжав кулаки. Кровь горячей волной стучала так сильно в его голове, что череп звенел.

«Все-таки старший сержант — это старший сержант,— мелькнула у него мысль.— Никак нельзя с ним ссориться».

Ноги Фюзелли механически отвели его назад в угол двора, где он прислонился к сырой стене, глядя горящими глазами на двух женщин, болтавших перед кухней, и на темную тень за бочкой. Наконец после нескольких скучных поцелуев женщины разошлись, и двери кухни закрылись. Колокол на церковной башне пробил одиннадцать медленным погребальным звоном. Когда часы кончили бить, Фюзелли услышал осторожный стук и увидел у дверей тень старшего сержанта. Сержант проскользнул внутрь, и Фюзелли услышал его добродушный голос, говоривший громким театральным шепотом, и придушенный смех Ивонны. Дверь закрылась, и свет погас, погружая двор в темноту. Только в небе теплилось бледное перламутровое сияние.

Фюзелли вышел, стараясь как можно громче стучать каблуками по камням. Улицы города, озаренные бледной луной, были безмолвны. В сквере звонко и отчетливо бил фонтан. Фюзелли отдал свой пропуск часовому и угрюмо направился в бараки. У дверей он встретил человека с ранцем на спине.

— Хелло, Фюзелли,— сказал знакомый голос,— что, моя старая койка еще здесь?

— Почем я знаю, черт возьми,— сказал Фюзелли,— я думал, что они отправили вас домой.

Капрал разразился приступом кашля.

— Кой черт,— сказал он.— Они морили меня в этом проклятом госпитале, пока не убедились, что я еще не так-то скоро собираюсь умирать; а тогда они приказали мне вернуться к своей части. Вот я и тут.

— Они не отставили вас? — с внезапной горячностью спросил Фюзелли.

— Черт возьми, нет! А зачем надо было бы меня отставлять? Ведь новый капрал еще не назначен, не правда ли?

— Нет... не совсем,— сказал Фюзелли.

V

Мэдвилл стоял у ворот лагеря, глядя на грузовики, проезжавшие мимо по главной дороге. Серые, неуклюжие, покрытые грязью, они ныряли вверх и вниз в грязные выбоины испорченной дороги бесконечной вереницей, тянувшейся насколько хватит глаз по направлению к городу и вверх по дороге. Мэдвилл стоял, широко расставив ноги, и плевал на середину дороги. Немного погодя он обернулся к капралу и сказал:

— Будь я проклят, если все это чем-то не пахнет.

— Да, дьявольская суматоха,— сказал капрал, качая головой.— Видал ты этого малого, Даниэльса, который был на фронте?

— Нет.

— Так он говорит, что там разразился сущий ад.

— Что случилось, черт побери? Пожалуй, придется поработать по-настоящему,— сказал Мэдвилл, усмехаясь.— Бог свидетель, я отдал бы лучшего жеребца на своем ранчо, чтобы понюхать пороху.

— У тебя есть ранчо? — спросил капрал.

Грузовики продолжали монотонно громыхать мимо. Их шоферы были так забрызганы грязью, что трудно было разглядеть, какая на них форма.

— А ты что думал? — спросил Мэдвилл.— Что я в лавке торгую, что ли?

Мимо них прошел Фюзелли, направляясь в город.

— Эй, Фюзелли! — закричал Мэдвилл.— Капрал говорит, что там началось пекло. Нам, может быть, еще придется понюхать пороху.

Фюзелли остановился и присоединился к ним.

— Думается мне, что бедный старичина Билли Грей уже всласть нанюхался его за это время,— сказал он.

— Хотел бы я быть с ним,— сказал Мэдвилл.— Если мы скоро не зашевелимся, я и сам попробую выкинуть этот маленький фокус теперь, когда погода установилась.

— Слишком опасно, черт возьми!

— Послушайте этого парня! В окопах опасно!.. Да ты что ж, собираешься валяться в лагере на перинах?

— Совсем нет, черт возьми, я сам хочу на фронт. Мне вовсе не улыбается торчать в этой дыре.

— Ну?

— Но не стоит нарываться на неприятности... Всякому ведь хочется выдвинуться в этой армии.

— А какой в этом толк? — спросил капрал.— Домой от этого ни на минуту скорее не попадешь.

— Черт возьми, однако ведь вы капрал?

Новая вереница грузовиков проехала мимо, заглушая разговор.

Фюзелли работал, укладывая медицинские принадлежности в огромном темном складе, полном упаковочных ящиков. Лучи солнца, проникавшие через железные подвижные двери, едва пробивались сквозь пыльный воздух. Работая, он прислушивался к болтовне Даниэльса и Мэдвилла, трудившихся рядом с ним.

— А уж газ этот, скажу тебе, самая проклятущая штука, о какой только мне приходилось когда-либо слышать. Я встречал ребят, у которых руки от него распухли вдвое против обыкновенного, совсем как пузыри. Они называют его горчичным газом.

— А отчего ты попал в госпиталь?

— Воспаление легких,— сказал Даниэльс,— а у меня был приятель, которого разорвало прямо надвое осколком гранаты. Он стоял около меня, ну вот как ты, и тихонько насвистывал «Типерери», как вдруг кровь у него забила ключом, и он так и повалился на месте. Грудь надвое, а голова висит на ниточке.

Мэдвилл переложил свою табачную жвачку за другую щеку и сплюнул на опилки пола. Солдаты, работавшие вокруг, остановились и восторженно смотрели на Даниэльса.

— Ну а как, по-твоему, что теперь творится на фронте? — спросил Мэдвилл.

— Будь я проклят, если знаю что-нибудь. Проклятый госпиталь в Орлеане был так набит, что солдатам приходилось дожидаться целые дни очереди на мостовой, прежде чем попасть туда. Я знаю это... Ребята там говорили,

что дело разыграется скоро по-настоящему. Я так думаю, что фрицы начали наступать.

Мэдвилл посмотрел на него недоверчиво.

— Эти-то вонючки? — сказал Фюзелли.— Да разве они могут наступать? Они подыхают с голоду.

— Как бы не так,— сказал Даниэльс.— Ты, кажется, веришь всякой газетной брехне?

Ряд глаз гневно сверкнул на Даниэльса. Все снова молча взялись за работу. Вдруг в склад с необычайно возбужденным видом вошел лейтенант, оставив за собой открытой железную дверь.

— Может кто-нибудь сказать мне, где сержант Окстер?

— Он был здесь несколько минут назад,— сказал Фюзелли.

— Ну а где же он теперь? — сердито выпалил лейтенант.

— Не знаю, сэр,— пробормотал Фюзелли, краснея.

— Пойдите поищите-ка его!

Фюзелли направился на другой конец склада. За дверью он остановился и лениво закурил папиросу. Кровь мрачно бурлила в нем. Откуда, черт возьми, он может знать, где сержант? Что он, чужие мысли читает, по их мнению, что ли? И весь поток горечи, скопившийся в глубине его сознания, закипел в его сердце. Они обращались с ним не так, как следовало. Безнадежная ненависть поднималась в нем против этой огромной тюрьмы, в которой он был теперь закован. Бесконечная вереница дней, совершенно одинаковых, заполненных подчинением чужим приказам и безмерным однообразием учений и строя, прошла перед его взором. Он чувствовал, что не может больше жить так, и, однако, понимал, что должен и будет влачить это существование, что остановка невозможна, что ноги его будут продолжать двигаться в такт с движением машины.

Он заметил сержанта, который шел по направлению к складу по молодой зеленой траве, примятой колесами грузовиков.

— Сержант! — позвал он. Затем подошел к нему с таинственным видом: — Лейтенант хочет видеть вас сию же минуту в складе Б.

Он поплелся обратно к своей работе и пришел как раз вовремя, чтобы услышать, как лейтенант строгим голосом говорил сержанту:

— Сержант, вы знаете, как составляется отношение в военно-полевой суд?

— Да, сэр,— удивленно ответил сержант; он вышел из склада вслед за лейтенантом.

Фюзелли пережил минуту панического ужаса. Он продолжал, однако, методически работать, хотя руки его дрожали. Он рылся в памяти, соображая, не нарушил ли он чем-нибудь устава и не могут ли его предать за что-нибудь суду. Страх прошел так же быстро, как и возник. Конечно, у него не было никаких оснований беспокоиться. Он тихо засмеялся про себя. Как глупо было так пугаться. Он проработал весь однообразный, длинный день со всей быстротой и тщательностью, на какую был способен.

В этот вечер почти вся рота собралась в конце барака. Обоих сержантов не было. Капрал сказал, что ничего не знает, и угрюмо улегся в постель, завернувшись в одеяло; его то и дело потрясали приступы кашля.

Наконец кто-то сказал:

— Бьюсь об заклад, что Эйзенштейн оказался шпионом.

— Я тоже.

— Он ведь из эмигрантов? Откуда-то из Польши или из другого, черт его знает какого, места?

— Вечно он болтал вкривь и вкось.

— Я всегда был уверен,— сказал Фюзелли,— что он попадет в беду со своей болтовней.

— Что же он говорил? — спросил Даниэльс.

— Да говорил вот, что война несправедлива, и вообще нес всякую чертовщину за немцев.

— А знаете, как расправлялись за это на фронте? — сказал Даниэльс.— Во второй дивизии они заставили двух молодцов вырыть себе собственные могилы и потом расстреляли их, а все за то, что они говорили, будто война несправедливая.

— Черт! В самом деле?

— Да, уж можете мне поверить. Говорю вам, ребята: в этой армии с огнем играть не приходится.

— Заткнитесь вы там, Христа ради. Уже пробили зорю. Мэдвилл, потуши свет! — сказал сердито капрал.

Барак погрузился в темноту и наполнился шорохом, который производили солдаты, раздеваясь на своих нарах и продолжая разговаривать шепотом.

Рота выстроилась для завтрака. Солнце только что взошло и просвечивало розоватым светом сквозь нежные облака, затянувшие небо. На платановом проспекте

шумно возились воробьи. Их громкое чириканье покрывало треск заведенных моторов, доносившийся из сарая против столового барака.

Вдруг появился сержант; он прошел мимо, выпрямив по-военному плечи, так что все поняли сразу, что совершается что-то серьезное.

— Смирно, ребята, одну минуту! — сказал он.

Котелки зазвенели; все обернулись.

— После еды вы отправитесь немедленно в бараки и соберете ваши ранцы. И пусть каждый останется у своих вещей до приказа.

Рота заликовала, и котелки зазвенели, как цимбалы.

— Вольно! — крикнул весело старший сержант.

Клейкая овсянка и жирная грудинка были живо проглочены, и все с бьющимися сердцами бросились в барак, чтобы связать свои ранцы. Солдаты испытывали гордость под завистливыми взглядами завтракавших в конце барака товарищей из другой роты, не получившей никаких приказаний.

Собрав вещи, они расселись на пустых нарах, барабаня ногами по доскам, и стали ждать.

— Мы, должно быть, не двинемся отсюда, пока ад не вымерзнет,— сказал Мэдвилл, завязывая последний ремешок на своем ранце.

— Всегда уж так... ломаешь себе шею, чтоб исполнить приказание, а...

— Выходи! — крикнул сержант, просовывая голову в дверь.— Стройся, смирно!

Лейтенант в новой походной шинели и новой паре обмоток стоял с торжественным видом, обернувшись лицом к роте.

— Ребята,— сказал он, откусывая каждое слово, точно это был кусок твердой палочки леденца,— один из вас предается военно-полевому суду за недопустимые изменнические взгляды, найденные в письме, которое он послал на родину своим друзьям. Я был крайне огорчен, обнаружив нечто подобное в одной из своих рот. Не думаю, чтобы среди вас нашелся еще один человек... достаточно подлый, чтобы держаться... питать... такие идеи...

Все выпятили грудь, давая внутренний обет не иметь лучше никаких идей, лишь бы, упаси Боже, не вызвать такого осуждения из уст лейтенанта.

Лейтенант продолжал:

— Я могу сказать только одно: если в роте имеется еще такой человек, пусть он держит язык за зубами и

будет, черт возьми, поосторожнее, когда пишет домой. Вольно!

Он свирепо выкрикнул команду, точно это было приказание казнить виновного.

— Вот уж подлая гадина этот Эйзенштейн! — сказал кто-то.

Лейтенант, уходя, расслышал это.

— Ну, сержант,— сказал он развязно,— я уверен, что остальные — надежные ребята.

Солдаты снова вернулись в барак и стали ждать.

В приемной полкового врача оглушительно щелкали пишущие машинки и стояла невыносимая жара от черной печки посреди комнаты, выпускавшей время от времени из щели в трубе маленькие клубы дыма.

Доктор был маленьким человечком со свежим мальчишеским лицом и тягучим голосом. Он сидел, развалившись, за большой пишущей машинкой и читал журнал, лежащий у него на коленях.

Фюзелли проскользнул за машинку и остановился с фуражкой в руках около стула доктора.

— Ну, что вам нужно? — грубовато спросил его доктор.

— Один товарищ говорил мне, доктор, что вы ищете человека, знакомого с оптическим делом.— Голос Фюзелли был мягок, как бархат.

— Ну?

— Я три года работал в оптическом магазине у себя дома, в Фриско.

— Ваше имя, чин, рота?

— Дэниел Фюзелли, рядовой первого разряда, рота В, склад медицинских принадлежностей.

— Хорошо, я вытребую вас.

— Но, доктор...

— Ну, выкладывайте, что там еще, живо! — доктор нетерпеливо перелистывал страницы журнала.

— Моя рота выступает. Отправка состоится сегодня.

— Почему же, черт возьми, вы не являлись раньше? Стивенс, заготовьте-ка бумажку — требование — и дайте подписать старшему врачу, когда он будет проходить. Вот так всегда! — воскликнул он, трагически откидываясь назад на своем вертящемся стуле.— Вечно они сваливаются все на мою голову в последнюю минуту!

— Благодарю вас, сэр,— сказал Фюзелли, улыбаясь.

Доктор провел рукой по волосам и снова, ворча, принялся за свой журнал.

Фюзелли торопливо направился в барак, где рота все еще ожидала приказаний. Несколько человек уселись на корточках в кружок и играли в карты. Остальные валялись на своих голых нарах или возились с ранцами. Снаружи стал накрапывать дождь, и запах мокрой прорастающей земли проник сквозь открытую дверь. Фюзелли сидел на полу около своих нар и бросал вниз нож, стараясь, чтобы он вонзился в доски между его коленями. Он тихонько насвистывал про себя. День проходил. Несколько раз он слышал вдали бой городских часов.

Наконец в барак, стряхивая воду со своего плаща, вошел старший сержант с серьезным, многозначительным выражением лица.

— Осмотр санитарных поясов! — закричал он.— Пусть все снимут свои пояса и положат их в ноги на нары, а сами станут во фронт с левой стороны.

Вдруг на другом конце барака появились лейтенант и доктор. Они медленно стали обходить нары и вытаскивать из поясов маленькие пакеты. Люди следили за ними уголками глаз. Осматривая пояса, офицеры непринужденно болтали, как будто были одни.

— Да,— сказал доктор,— на этот раз мы попались. Это проклятое наступление...

— Ну, зато уж мы покажем им себя,— сказал лейтенант, смеясь.— До сих пор у нас не было возможности сделать это.

— Гм, отложите-ка лучше этот пояс, лейтенант, и велите переменить его. Бывали вы уже на фронте?

— Нет, сэр.

— Гм, ладно. Вы иначе будете смотреть на вещи, когда побываете там,— сказал доктор.

Лейтенант нахмурился.

— В общем, лейтенант, ваша часть в отличном порядке. Вольно, ребята!

Доктор и лейтенант постояли минуту в дверях, поднимая воротники своих шинелей; затем они нырнули под дождь.

Через несколько минут вышел сержант.

— Ну, надевайте свои дождевики и стройтесь!

Они довольно долго простояли, выстроившись на дожде. День был свинцовый. Сплошные облака были чуть тронуты медью. Дождь хлестал им в лицо, заставляя щурить глаза. Фюзелли с беспокойством смотрел на сержанта. Наконец показался лейтенант.

— Смирно! — скомандовал сержант.

Сделали перекличку, и новый солдат пристроился на конце ряда, высокий человек с большими выпуклыми, телячьими глазами.

— Рядовой первого разряда Дэниел Фюзелли отчисляется и переводится в другую часть.

Фюзелли заметил удивление, появившееся на лицах солдат. Он бледно улыбнулся Мэдвиллу.

— Сержант, отведите людей на станцию!

— Правое плечо вперед! — закричал сержант.— Марш!

Рота замаршировала под проливным дождем. Фюзелли вернулся в барак, снял ранец и дождевик и вытер воду с лица.

Рельсы отливали золотом под ранним утренним солнцем, выступая над темно-пурпурным шлаком железнодорожного полотна. Глаза Фюзелли следили за колеей до того места, где она загибалась в выемку и где в ясном сиянии утра ярким оранжевым пятном горела мокрая глина.

Станционная платформа, на которой лужи от ночного дождя блестели, когда ветер подергивал их рябью, была пуста. Фюзелли начал шагать взад и вперед, засунув руки в карманы. Он был послан сюда, чтобы выгрузить припасы, прибывавшие с утренним поездом. Он чувствовал себя свободным и счастливым с тех пор, как переменил часть.

— Наконец-то,— говорил он себе,— у меня дело, на котором я смогу показать себя.— Он прогуливался взад и вперед, пронзительно насвистывая.

Поезд медленно подошел к станции. Паровоз остановился, чтобы набрать воды, буфера загремели вдоль цепи вагонов. Платформа вдруг наполнилась людьми в хаки, которые топали ногами, кричали и бегали взад и вперед.

— Куда отправляетесь, ребята? — спрашивал Фюзелли.

— На Ривьеру купаться! Разве не видишь? — прорычал кто-то.

Но Фюзелли заметил знакомое лицо. Он пожал руки двум загорелым молодцам, лица которых были перепачканы от долгой езды в товарных вагонах.

— Хелло, Крис! Хелло, Эндрюс! — воскликнул он.— Когда вы перебрались сюда?

— О, уже четыре месяца будет,— сказал Крис, черные глаза которого испытующе глядели на Фюзелли.— Я помню тебя — ты Фюзелли. Мы вместе были в учебном лагере. Помнишь его, Энди?

— Еще бы,— ответил Эндрюс.

— Как живешь?

— Недурно,— сказал Фюзелли.— Я здесь в оптическом отделении.

— Где это, к черту, будет?

— А вот тут как раз.— Фюзелли неопределенно указал на станцию.

— Мы около четырех месяцев обучались под Бордо,— сказал Эндрюс,— а теперь собираемся понюхать, чем там пахнет.

Просвистел свисток, и поезд тронулся, тяжело пыхтя. Облака белого пара окутали станционную платформу, по которой бежали солдаты, догоняя свои вагоны.

— Счастливо! — сказал Фюзелли.

Но Эндрюс и Крисфилд уже исчезли. Он увидел их еще раз, когда поезд прошел мимо,— два смуглых, запачканных грязью лица среди множества других таких же коричневых, перепачканных грязью лиц. Дым улетел, желтея в сияющем утреннем воздухе, и скоро последний вагон поезда исчез за изгибом поворота.

Пыль густо поднималась вокруг истрепанной метлы. Утро было темное, и в комнату, загроможденную белыми упаковочными ящиками, где подметал Фюзелли, проникало очень мало света. Время от времени он останавливался и опирался на свою метлу. Издали доносился шум сцепляемых поездов, крики и топот ног, маршировавших на учебном плацу. В здании, где работал Фюзелли, стояла тишина. Он продолжал мести, вспоминая свою роту, шагавшую под проливным дождем, и тех парней, с которыми он познакомился в учебном лагере в Америке, Эндрюса и Крисфилда, трясшихся теперь в товарном вагоне на фронт, туда, где приятелю Даниэльса разорвало надвое грудь осколком гранаты. А он-то писал домой, что произведен в капралы! Что теперь делать, когда придут письма, адресованные капралу Дэну Фюзелли? Отложив метлу, он вытер пыль с желтого стула и покрытого приказами стола, которые стояли посреди груд упаковочных ящиков. Где-то внизу хлопнула дверь, и на лестнице, ведущей в верхний этаж склада, раздались шаги. Маленький человечек с обезьяньим серовато-коричневым лицом, в очках, появился в комнате и выскочил из своей шинели, точно крошечная горошина из большого стручка.

Нашивки сержанта казались необыкновенно широкими и внушительными на его тоненькой руке. Он завор-

чал на Фюзелли, уселся за письменный стол и начал разбираться в приказах.

— Есть что-нибудь в почтовом ящике сегодня? — спросил он Фюзелли хриплым голосом.

— Все тут, сержант,— ответил Фюзелли.

Сержант снова стал рыться на столе.

— Вам нужно будет вымыть это окно,— сказал он после паузы,— доктор может приехать сюда каждую минуту. Нужно было еще вчера сделать это.

— Слушаюсь,— тупо ответил Фюзелли.

Он лениво направился через комнату, взял метлу и начал сметать сор вниз по лестнице. Пыль столбом поднималась вокруг, вызывая у него кашель. Он остановился и облокотился на метлу. Он думал о всех тех днях, которые протекли с того времени, как он в последний раз видел этих парней — Эндрюса и Крисфилда — в учебном лагере в Америке, и о всех днях, которые протекут еще в будущем. Он снова принялся мести, сметая пыль со ступеньки на ступеньку.

Фюзелли сидел в ногах своей койки. Он только что побрился. Было воскресное утро, и он собирался освободиться на этот день. Он вытер лицо о простыни и встал на ноги. Снаружи широкими серебристыми полосами лил дождь, оглушительно барабаня по просмоленному картону, из которого была сделана крыша барака.

На противоположном конце длинного ряда коек Фюзелли заметил кучку людей, которые, казалось, все смотрели на один и тот же предмет. Он направился туда, накинув куртку на одно плечо, чтобы посмотреть, в чем дело. Сквозь стук дождя он услышал тонкий голос:

— Все равно, сержант, я болен. Я не могу встать.

— Парень помешался,— сказал кто-то рядом с Фюзелли, отходя.

— Вставайте сию минуту! — орал сержант.

Он стоял над койкой, на которой из-под вороха одеял выглядывало белое как мел лицо Стоктона. Зубы у юноши были стиснуты, а глаза округлились и выкатились, точно от страха.

— Сию минуту вылезайте из постели! — прорычал сержант.

Юноша молчал; его бледные щеки тряслись.

— Что за черт с ним?

— Почему вы просто не вытащите его сами, сержант?

— Эй вы, вылезайте из постели сию минуту! — снова закричал сержант, не обращая внимания на замечания.

Люди, собравшиеся вокруг, разошлись. Фюзелли, точно прикованный, наблюдал издали.

— Ладно, тогда я позову лейтенанта. За такое неповиновение — под суд! Мартон и Морисон, караульте этого человека.

Юноша тихо лежал под своим одеялом. Он закрыл глаза. По тому, как одеяло поднималось и опускалось на его груди, было видно, что он тяжело дышит.

— Послушай, Стоктон, почему ты не встаешь, дурень этакий? — спросил Фюзелли.— Ведь не можешь же ты идти против всей армии.

Юноша не отвечал.

Фюзелли отошел.

— Свихнулся малый,— пробормотал он.

Лейтенант, плотный краснолицый человек, вошел, отдуваясь, в сопровождении высокого сержанта. Он остановился и стряхнул воду со своей походной фуражки. Дождь не прекращал своей оглушительной дроби по крыше.

— Послушайте, вы больны? Если больны, так доложите,— сказал лейтенант деланно ласковым голосом.

Юноша тупо посмотрел на него и не ответил.

— Вы должны стать во фронт, когда с вами говорит офицер.

— Я не встану,— раздался тонкий голос.

Красное лицо офицера сделалось багровым.

— Сержант, что с этим человеком? — спросил он свирепым голосом.

— Я ничего не могу поделать с ним, лейтенант! Думаю, что он помешался.

— Безобразие... неповиновение начальству... Вы арестованы, слышите? — закричал офицер по направлению к койке.

Ответа не было. Дождь отчаянно стучал по крыше.

— Отправьте его на гауптвахту, хотя бы пришлось употребить силу! — выпалил лейтенант; он зашагал к двери.— И составьте немедленно донесение в военно-полевой суд.

Дверь захлопнулась за ним.

— Теперь вам придется поднять его,— сказал сержант караульным.

Фюзелли отошел.

— Бывают же дураки на свете,— сказал он, отойдя в другой конец барака.

Он остановился перед окном, глядя на широкие полосы дождя.

— Ну же, поднимите его! — приказал сержант.

Парень лежал с закрытыми глазами; его белое как мел лицо было наполовину закрыто одеялом. Он был очень спокоен.

— Ну, хотите вы встать и отправиться на гауптвахту или нам придется отнести вас туда? — крикнул сержант.

Караульные осторожно подхватили Стоктона и заставили его принять сидячее положение.

— Ну, тащите его вон из постели!

Хрупкая фигура, в защитного цвета рубахе и серовато-тых штанах, продержалась с минуту между обоими караульными, затем вялой грудой упала на пол.

— Послушайте, сержант, у него обморок.

— Черт возьми, действительно! Морисон, позовите-ка сюда санитара из лазарета.

— Он не в обмороке... Парень кончился,— сказал другой человек.— Помогите-ка мне.

Сержант помог снова положить тело на койку.

— Черт бы побрал эту проклятую историю,— сказал он.

Глаза у мертвеца открылись. Солдаты накрыли его голову одеялом.

Часть третья

МАШИНЫ

I

Поля и затянутые дымкой сине-зеленые леса медленно скользили мимо, в то время как товарный вагон, стуча и погромыхивая, катился по рельсам.

Поезд то останавливался на целые часы среди лугов, где царила тишина и где беспорядочный шум солдатских голосов не мог покрыть пения лугового жаворонка, то снова, часто постукивая, мчался через мосты или вдоль зеленых, как нефрит, берегов реки, на которых только что начинали распускаться стройные тополя; иногда из воды выскакивала рыба. Люди толпились в дверях вагонов, грязные и утомленные, опираясь друг на друга, и смотрели на плывшие мимо пашни и луга, где пестрела лютиками золотисто-зеленая трава, и на беспорядочно скученные красные крыши деревень, потонувших в бледной зелени распускающихся деревьев и в волнах персикового цвета. Сквозь смешанные запахи пара, угольного дыма и немытых солдатских тел пробивались ароматы влажных полей: навоза со свежезасеянных полос, коров и пастбищ, только что начавших цвести.

— Славные места... Не то, что проклятый Полиньяк, а, Энди? — сказал Крисфилд.

— Ну, они так здорово манежили нас там на учении, что трава не успевала вырасти.

— Правильно, черт побери, где уж тут было успеть.

— Хотел бы я пожить чуточку в этих краях,— сказал Крисфилд.

— Давай попросим, чтобы они высадили нас тут.

— Не может быть, чтобы фронт был такой,— сказал Джедкинс, просовывая голову между головами Эндрюса

и Крисфилда, так что щетина его небритого подбородка потерлась о щеку Крисфилда. Это была большая четырехугольная голова, с низко остриженными светлыми волосами и фарфоровыми голубыми глазами. На красном, обожженном солнцем лице веки казались белыми, а квадратный подбородок серым — от отрастающей бороды.

— Послушай, Эндрюс, сколько к черту времени мы уже трясемся в этом проклятом поезде? Я уже со счету сбился...

— Что с тобой, Крис? Старость, что ли, одолела? — спросил, смеясь, Джедкинс.

— Мы в поезде четыре дня и пять ночей, а теперь у нас остался еще паек на полдня: должно быть, скоро куда-нибудь приедем,— сказал Эндрюс.

— Не может быть, чтобы фронт был такой.

— Да ведь там тоже весна, как и здесь,— сказал Эндрюс.

Пушистые лиловые облака плыли по небу, то темнея до глубокой синевы — там, где над холмами проносился ливень, то светлея, когда ясное солнце показывалось на небе, рисуя голубые тени тополей и золотя дым паровоза, с трудом пыхтевшего впереди длинного поезда.

— Чудно, до чего тут все малюсенькое,— сказал Крисфилд.— В Индиане мы бы и смотреть не захотели на такое поле. А все-таки мне это почему-то напоминает, как, бывало, дома весной выйдешь...

— Хотелось бы мне увидать Индиану весной,— сказал Эндрюс.

— Что ж, приезжай, когда война кончится и нас отпустят по домам... Приедешь, Энди?

— Конечно!

Поезд входил в предместье города. Вдоль полотна тянулись группами и в одиночку маленькие кирпичные и оштукатуренные домики. С неба, залитого янтарем и сиреневыми огнями, стал накрапывать дождь. Аспидные крыши и розовато-серые улицы города весело заблестели под ним. Маленькие лоскутки садов горели зеленью изумруда. Дальше над мокрыми аспидными крышами, отражавшими сияющее небо, замелькали ряд за рядом красные колпаки дымоходов. Вдали выросла пурпурно-серая колокольня церкви и неправильные очертания старинных зданий. Они проехали через вокзал.

— «Дижон»,— прочел Эндрюс.

На платформе стояли французские солдаты в голубых шинелях вперемежку с порядочным количеством штатских.

— Черт, это как будто первые настоящие штатские с тех пор, как мы за океаном,— сказал Джедкинс.— Эта проклятая деревенщина там, в Полиньяке, ни с какого боку не была похожа на настоящих штатских. Тут народ будет вроде как в Нью-Йорке.

Они миновали станцию и медленно покатились мимо бесконечной цепи товарных вагонов. Наконец поезд перешел на запасный путь.

Раздался свисток.

— Пусть никто не выходит! — закричал сержант из переднего вагона.

— Черт, держат тут людей в этих проклятых вагонах, точно мы преступники какие-нибудь,— ворчал Крисфилд.— Хотел бы я погулять по Дижону.

— В самом деле?

— Я бы прямехонько в кафе и хорошего кофе со сливками,— сказал Джедкинс.

— Держи карман! Найдешь кофе со сливками у этих проклятых лягушатников. Кроме vin blanc, небось, ничего и не достанешь в этом проклятом городишке.

— Я хочу спать,— сказал Крисфилд; он растянулся на груде амуниции в конце вагона.

Эндрюс уселся около него и, ероша длинной, такой же коричневой, как и у Крисфилда, рукой свои светлые, коротко остриженные волосы, уставился на свои облепленные затвердевшей грязью сапоги.

Крисфилд, лежа, разглядывал сквозь полуопущенные веки очертания худого лица Эндрюса против света, и чувствовал внутри что-то вроде теплой улыбки, когда повторял про себя: «Чертовски славный малый!» Затем он стал думать о весне на равнинах Индианы и об американском дрозде, распевавшем при луне в цветущих акациях за домом. Ему казалось, что он вдыхает тяжелую сладость цветов акации, как вдыхал ее, бывало, сидя после ужина на ступеньках крыльца, утомленный длинным днем полевых работ, рассеянно прислушиваясь к доносившейся из кухни хозяйственной суете матери. Он не хотел бы быть там теперь, но все-таки приятно было вспомнить иногда, как выглядела желтая ферма, красное гумно (ворота которого отец его никак не мог удосужиться выкрасить) и развалившаяся крыша коровьего хлева, из которой постоянно вылезали драницы. Он сонно старался представить себе, каково будет там, на фронте. Не может быть, чтобы там было так же зелено и приятно, как в этой стороне. Ребята все в один голос

твердили, что там сущее пекло. Впрочем, наплевать ему на это. Он заснул.

Он просыпался постепенно. Теплая прелесть сна медленно уступала место чувству онемелости, вызванному неудобным положением, большими гвоздями сапог и задней стороной ранца, впивавшегося в его плечо. Эндрюс сидел все в том же положении, глубоко задумавшись. Остальные толпились у открытых дверей или валялись на своей амуниции.

Крисфилд встал, потянулся, зевнул и подошел к двери, чтобы выглянуть наружу. На песке около вагона послышались тяжелые шаги. Широкий человек с черными бровями, сходившимися на переносице, и с очень черной бородой прошел мимо вагона. На его рукаве были нашивки сержанта.

— Эй, Энди! — крикнул Крис.— Этот ублюдок, оказывается, сержант!

— Про кого это ты? — спросил Эндрюс, с улыбкой поднимаясь на ноги. Его голубые глаза ласково глядели прямо в черные глаза Крисфилда.

— Ты знаешь, о ком я думаю.

Круглые щеки Крисфилда пылали под густым загаром. Глаза сверкали под длинными черными ресницами. Кулаки были сжаты.

— О, знаю, Крис! Только я не думал, что он в этом полку.

— Будь он проклят,— пробормотал Крис тихим голосом, бросаясь снова на свой мешок.

— Не шебарши, Крис,— сказал Эндрюс,— нам всем, может, скоро придется расплачиваться по счетам... Не стоит волноваться из-за пустяков.

— Плевать, если придется!

— И мне тоже теперь плевать.— Эндрюс опять уселся около Крисфилда.

Немного погодя поезд снова тронулся. Колеса грохотали и стучали по рельсам, и комья грязи подпрыгивали на расщепленных досках пола. Крисфилд оперся на руку и снова заснул, все еще терзаясь от прилива ярости.

Эндрюс смотрел на покачивающиеся черные вагоны, на растянувшихся вокруг на полу людей, головы которых подпрыгивали при каждом толчке, на лилово-серые облака и кусочки сверкающего синего неба, мелькавшие за силуэтами голов и плеч солдат, теснившихся в дверях. Колеса скрипели без устали.

Вагон остановился с сильным толчком, от которого проснулись все спавшие, а один человек свалился на пол. Снаружи пронзительно засвистел свисток.

— Все из вагонов, выгружайся, выгружайся! — вопил сержант.

Люди неуклюже толпились, передавая из рук в руки свою амуницию, пока перед вагонами не выросли смешанные груды мешков и винтовок. Вдоль всего поезда перед каждой дверью виднелись беспорядочные кучи амуниции и теснились люди.

— Вываливайся, стройся! — вопил сержант.

Люди медленно выстраивались со своими ранцами и винтовками. Лейтенанты сновали около выравнивающихся рядов в туго стянутых поясами топорных шинелях защитного цвета, карабкаясь вверх и вниз по угольным кучам запасного пути Солдатам скомандовали «вольно». Они стояли, опираясь на свои винтовки, и разглядывали зеленую цистерну для воды на трех деревянных ногах, покрытую большим куском разорванной серой клеенки. Когда беспорядочный топот ног затих, они услышали вдалеке шум, как будто кто-то лениво потряхивал тяжелым куском листового железа. Небо было полно маленьких красных, пурпурных и желтых брызг, и на всем горел багряный свет заката.

Раздался приказ двинуться. Они зашагали по изрытой выбоинами дороге; ямы были так глубоки, что им приходилось постоянно расстраивать ряды, чтобы обходить их. С одной стороны дороги в маленьком сосновом лесу стояли цепи громоздких грузовиков и военные фуры. Вокруг походной кухни, где готовился ужин, теснились шоферы в своих широких с капюшонами плащах. Миновав лес, колонна свернула в поле, обойдя маленькую группу каменных, оштукатуренных домов со снесенными крышами. В поле они остановились. Трава сверкала изумрудом, а лес и дальние холмы казались тенями чистой глубокой синевы. Клочья бледно-голубого тумана тянулись через поле. В мураве тут и там попадались маленькие отчетливые выемки, которые могли быть сделаны каким-нибудь незнакомым животным. Люди с любопытством рассматривали их.

— Не зажигать света! Помните, что мы в поле зрения неприятеля. Спичка может погубить целую часть,— драматически объявил лейтенант, отдав приказание разбить палатки.

Когда палатки были готовы, люди столпились вокруг них в холодном, белом, все более густевшем тумане, уничтожая свои холодные пайки. Повсюду раздавались ропщущие, ворчливые голоса.

— Пойдем-ка внутрь, Крис, пока кости не вымерзли окончательно,— сказал Эндрюс.

Часовые деловитым шагом ходили взад и вперед, время от времени подозрительно заглядывая в лесок, где стояли грузовики.

Крисфилд и Эндрюс поползли в свою маленькую палатку и завернулись в одеяла, изо всех сил прижимаясь друг к другу. Вначале им было очень холодно и твердо, и они беспокойно вертелись, но постепенно теплота их тел согрела тонкие одеяла, и мускулы начали отходить. Эндрюс заснул первым, а Крисфилд еще долго лежал, прислушиваясь к его глубокому дыханию. Лицо его хмурилось. Он думал о человеке, который прошел мимо поезда в Дижоне. Последний раз он видел Андерсона в учебном лагере. Тогда он был еще только капралом. Крисфилд хорошо помнил день, когда Андерсон получил повышение. Это случилось вскоре после того, как Крисфилд замахнулся на него ножом раз ночью в бараках. Какой-то парень как раз вовремя удержал его за руку. Андерсон немного побледнел тогда и отошел. Но с тех пор он никогда не говорил с Крисфилдом ни слова. Лежа с закрытыми глазами, тесно прижавшись к обмякшему, сонному телу Эндрюса, Крисфилд ясно видел перед собой лицо этого человека, брови, сходящиеся на переносице, и челюсть, всегда черноватую от густой бороды или синюю после бритья. Наконец, напряжение его мозга ослабело; минуту он еще думал о женщинах — о белокурой девушке, которую видел из поезда,— но внезапно навалившийся сон одолел его, и все погрузилось в теплую, мягкую черноту; он засыпал, чувствуя только холод с одного бока и теплоту от тела товарища с другого.

Среди ночи он проснулся и выполз из палатки. Эндрюс вышел за ним. Их зубы стучали, и они старались размять свои онемевшие ноги. Было холодно, но туман исчез. Звезды ярко горели. Они отошли в поле подальше от кучи палаток.

Из лагеря доносился шорох и громкое дыхание спящего полка, точно там спало стадо животных. Где-то резко булькал ручей. Они напрягали слух, но не могли раз-

личить пушек. Они стояли рядом, глядя вверх на множество звезд.

— Это Орион,— сказал Эндрюс.

— Что?

— Эта куча звезд вон там называется Орионом. Видишь? Говорят, что они похожи на человека с луком, а мне они всегда напоминают молодца, шагающего через небо.

— Ну и звезд же сегодня, правда! Черт, что это?

За темными холмами поднялось и опустилось зарево, напоминающее пламя кузницы.

— Там, должно быть, и есть фронт,— сказал Эндрюс, вздрагивая.

— Уж завтра узнаем.

— Да, завтра вечером мы уже будем кое-что знать о нем,— сказал Эндрюс.

Они стояли некоторое время молча, прислушиваясь к шуму ручья.

— Господи, тишина-то какая! Не может быть, чтобы это был фронт. Понюхай-ка!

— Что это?

— Да как будто яблочным цветом откуда-то потянуло... Черт, давай-ка полезем обратно, пока одеяла не простыли.

Эндрюс все еще смотрел на созвездие, которое он называл Орионом.

Крисфилд потянул его за руку. Они снова поползли в свою палатку, завернулись вместе и немедленно заснули тяжелым сном.

Перед Крисфилдом, насколько хватал глаз, виднелись под разнообразными углами ранцы и головы в фуражках, покачивающиеся в такт быстрого марша. Мелкий теплый дождь смешивался с потом, катившимся по лицам. Колонна давно уже двигалась по прямой дороге, взрытой тяжелыми грузовиками. Поля и изгороди, покрытые массой желтых цветов, уступили место обсаженному тополями шоссе. Светлые мокрые стволы и негнущиеся зеленые ветки тянулись мимо так же бесконечно, как бесконечен был беспорядочный топот ног и звяканье амуниции, отдававшиеся в ушах.

— Послушай, к фронту мы идем, что ли?

— Разрази меня на месте, если я знаю!

— Никакого фронта тут и в помине нет! — Замечания коротко вырывались сквозь тяжелое дыхание.

Колонна отклонилась к краю дороги, чтобы пропустить вереницу грузовиков, ехавших навстречу. Крисфилд чувствовал, как тяжелая грязь обдавала его, когда грузовики один за другим с грохотом проезжали мимо. Он пробовал стереть ее с лица мокрой рукой, но песок оцарапал ему кожу, смягчившуюся от дождя. Он долго и плаксиво бранился вполголоса. Винтовка казалась ему тяжелой, как железный брус.

Они вошли в деревню из оштукатуренных деревянных домов. Через открытые двери виднелись уютные кухни, в которых блестели медные кастрюли, и полы, выложенные чистым красивым кирпичом. Перед некоторыми домам цвели маленькие садики, полные крокусов, гиацинтов и буковых кустов, блестевших темной зеленью на дожде. Они прошли через площадь, вымощенную маленькими желтыми закругленными булыжниками, мимо серой церкви со стрельчатой аркой над папертью и кафе с выведенными над дверьми их названиями. Мужчины и женщины выглядывали из дверей и окон. Колонна заметно замедлила шаг, но продолжала двигаться, а когда дома поредели и стали попадаться по дороге все дальше и дальше друг от друга, надежда солдат на остановку исчезла. Беспорядочный топот ног по вымощенной камнем дороге оглушал их. Ноги казались свинцовыми, как будто вся тяжесть ранца переместилась с них. Плечи, натертые до мозолей, начинали размягчаться и зудеть от непросыхающего пота. Головы поникли. Глаза каждого были прикованы к каблукам шедшего впереди него человека, поднимавшимся и опускавшимся до бесконечности. Маршировка превратилась для каждого солдата в личную борьбу со своим ранцем, который, казалось, ожил и обратился в какое-то жестокое и сильное существо, стремившееся уничтожить человека.

Дождь прекратился, и небо немного прояснилось; оно начало окрашиваться в бледный желтоватый тон, как будто облака, скрывавшие солнце, сделались прозрачнее.

Колонна остановилась у группы ферм, разбросанных вдоль дороги. Люди растянулись во всех направлениях по краям дороги, закрывая яркую, зеленую траву грязным цветом своего обмундирования.

Крисфилд лежал в поле, возле дороги, погрузив свое разгоряченное лицо в мокрые побеги клевера. Кровь стучала у него в ушах. Казалось, будто руки и ноги его вросли в землю, и он никогда не будет снова в состоянии двигать ими. Он закрыл глаза. Постепенно по его телу

начала прокрадываться холодная дрожь. Он сел и высвободил руки из ремней своего ранца. Кто-то протянул ему папиросу, и он втянул в себя немного едкого приятного дыму.

Эндрюс лежал рядом с ним, положив голову на ранец, и курил. Голубые глаза его странно выделялись на пылающем, красном, обрызганном грязью лице.

— Я почти что выдохся,— сказал Эндрюс.

Крисфилд заворчал. Он жадно накинулся на папиросу. Раздался свисток.

Люди медленно поднимались с земли и строились, сгибаясь под тяжестью своей амуниции. Роты двинулись поодиночке. Крисфилд услышал, как лейтенант говорил сержанту:

— Черт бы побрал эту дурацкую историю! Почему, черт возьми, они не могли послать нас сюда сразу?

— Так мы, значит, не отправляемся на фронт, в конце концов? — сказал сержант.

— Какой там к черту фронт! — ответил лейтенант.

Это был маленький человечек, похожий на жокея, с грубым, красным лицом, которое теперь, когда он сердился, было почти багровым.

— Кажется, они собираются расквартировать нас тут,— сказал кто-то.

Все начали немедленно повторять: «Нас расквартируют тут».

Они долго стояли в строю, ожидая приказаний. Ранцы врезались в их спины и плечи.

Наконец сержант крикнул:

— Ну, тащите свои пожитки наверх!

Наступая друг другу на каблуки, они вскарабкались на темный сеновал, где воздух был густо насыщен ароматом сена и едким запахом коровьего навоза, поднимавшимся снизу, из хлева. По углам лежало немного соломы, и те, кому удалось забраться первыми, разостлали на ней свои одеяла.

Крисфилд и Эндрюс забрались вместе в угол, из которого можно было смотреть вниз, на двор, через дыру, образовавшуюся в том месте, где из крыши выпали черепицы. На пороге дома стояла женщина средних лет, недоверчиво поглядывая на шеренги одетых в хаки солдат, медленно вливавшиеся через все входы в гумно.

К ней подошел офицер с маленькой красной книжкой в руке. Объяснение между ними продвигалось, по-видимому, туго. Офицер сделался очень красным. Эндрюс

отдернул голову и расхохотался, с наслаждением перекатываясь по соломе с одного бока на другой. Крисфилд тоже рассмеялся, плохо соображая почему. Над головами они слышали царапанье голубиных лапок по крыше и беспрерывно-тягучее рокотание.

Сквозь запах фермы начал пробиваться жирный запах еды, готовившейся в походной кухне.

— Хоть бы вкусного чего-нибудь дали,— сказал Крисфилд.— Я голоден как волк!

— Я тоже,— сказал Эндрюс.

— Послушай, Энди, ты ведь умеешь немножко болтать по-ихнему, правда?

Эндрюс неопределенно кивнул головой.

— Может быть, нам удастся выпросить яиц или чего-нибудь еще там у этой леди, которая во дворе? Не попробуешь ли ты после обеда?

— Ладно!

Они улеглись на соломе и закрыли глаза. Щеки их все еще горели от дождя. Все вокруг казалось необычайно спокойным. Люди растянулись на полу, беседуя ленивыми, тихими голосами. Начался снова ливень, и капли мягко зашлепали по черепицам крыши. Крисфилду казалось, что ему никогда в жизни не было еще так удобно, хотя промокшие сапоги сжимали его холодные ноги, а колени были мокрые. Он заснул под убаюкивающий шум дождя и голосов, спокойно разговаривавших вокруг него.

Ему приснилось, что он дома, в Индиане, но вместо матери в кухне у плиты стряпала та самая француженка, которую он видел в дверях фермы, а возле нее стоял лейтенант с маленькой красной книжкой в руке. Он, Крисфилд, ел из разбитой тарелки маисовую лепешку с сиропом. Лепешка была славная, с хорошо прожаренной корочкой, хрустящая и горячая, и масло на ней казалось холодным и сладким на вкус. Вдруг он перестал есть и начал ругаться, крича во все горло. «Будьте вы прокляты!..» — начал он, но, казалось, не мог больше ничего придумать. «Будьте вы прокляты!..» — начал он опять. Лейтенант посмотрел на него, хмуря свои черные брови, сходившиеся на переносице. Это был сержант Андерсон. Крисфилд вытащил нож и бросился на него, но нож вонзился в Энди, его друга. Он обхватил руками тело Энди, плача горькими слезами.

Крисфилд проснулся. В темном, набитом людьми сеновале со всех сторон раздавалось звяканье котелков. Люди начинали уже, тесня друг друга, спускаться по лестнице.

Жаворонки звенели в пропитанном ароматом винограда воздухе несмолкаемым звоном маленьких колокольчиков. Крисфилд и Эндрюс шагали через поле белого клевера, покрывавшего вершину холма. Внизу, в долине, виднелись красные крыши фермы и белая лента дороги, по которой, точно тараканы, ползли длинные вереницы грузовиков. Солнце только что село за синими холмами по другую сторону неглубокой долины. Воздух был насыщен ароматом клевера и боярышника, расцветшего на живых изгородях. Они пересекали поле, дыша полной грудью.

— Приятно уйти от этой орды,— сказал Эндрюс.

Крисфилд шел молча, волоча ноги через спутанный клевер. Свинцовое оцепенение давило его, точно какое-то теплое обволакивающее одеяло; оно сковывало его, так что приходилось, казалось, делать усилие, чтобы двигаться; усилие, чтобы заговорить. Однако мускулы его были напряжены и дрожали, как это случалось с ним, когда ему хотелось драться или любить девушку.

— Почему они, черт побери, не пускают нас туда? — сказал он вдруг.

— Да, все было бы лучше, чем это... ждать, ждать!

Они продолжали идти, прислушиваясь к несмолкаемым трелям жаворонка, шуршанию собственных ног в клевере и слабому звяканью нескольких монет в кармане Крисфилда. Издали доносился неровный храп мотора аэроплана. По дороге Эндрюс нагибался время от времени и срывал белые цветы клевера.

Аэроплан внезапно снизился и сделал широкий круг над полем, заглушая все звуки ревом своего мотора. Они успели разглядеть фигуру пилота и наблюдателя, прежде чем аппарат поднялся снова, исчезая среди разорванных пурпуровых облаков в небе. Наблюдатель, пролетая, махнул им рукой. Они стояли неподвижно на темневшем поле, глядя вверх на небо, где несколько жаворонков все еще продолжали распевать.

— Хотел бы я быть одним из этих парней,— сказал Крис.

— В самом деле?

— Будь она проклята, эта чертова пехота! Я на все готов, только бы выбраться из нее. Что это за жизнь для человека, когда с ним обращаются, как с негром.

— Да, для человека это не жизнь...

— Отправили бы уж нас лучше на фронт, дали бы подраться, да и прикончили бы все это. А то мы только и знаем, что учение да метание гранат, снова учение, потом упражнения со штыком и опять учение. Просто свихнуться можно!

— Что толку говорить об этом, Крис. Нам не может быть хуже, чем сейчас.— Эндрюс засмеялся.— Вот опять этот аэроплан!

— Где?

— Вон там спускается, как раз за этим лесом. Должно быть, там их поле.

— Бьюсь об заклад, что этим ребятам не худо живется. Я подавал прошение о переводе в авиацию, так никакого ответа. А что я теперь? Хуже навоза в хлеву!

— Как здесь, на холме, чудесно сегодня,— сказал Эндрюс, мечтательно глядя на бледно-оранжевые полосы света в том месте, где село солнце.— Спустимся вниз и выпьем бутылочку винца!

— Вот теперь ты дело говоришь! Хотел бы я знать, будет ли там сегодня эта девушка?

— Антуанетта?

— Гм... Знаешь, я бы не прочь провести с ней ночку!

Они ускорили шаг и вышли на поросшую травой дорогу, которая вела мимо высоких живых изгородей в деревню, лежащую у склона холма. Было почти темно под тенью кустов, поднимавшихся с обеих сторон. Над головой пурпурные облака заливал бледный желтоватый свет, постепенно переходивший в серый. Птицы возились и щебетали среди молодой листвы. Эндрюс положил руку на плечо Крисфилду.

— Пойдем медленнее,— сказал он,— тут так хорошо.

Он небрежно задевал на ходу маленькие кисти цветов боярышника и как бы нехотя отстранял колючие ветки, цеплявшиеся за его шинель и слабо натянутые обмотки.

— Черт возьми, человече,— сказал Крисфилл,— мы не успеем набить брюхо. Должно быть, уже поздно.

Они снова ускорили шаги и через минуту добрались до первых деревенских домиков с плотно закрытыми ставнями.

На середине дороги стоял военный полицейский с красным лицом, широко расставив ноги и небрежно помахивая своей дубинкой. Глаза его были устремлены на верхнее окно одного из домов, сквозь ставни которого пробивалось немного желтого света. Его губы были соб-

раны как бы для свиста. Он нерешительно покачивался из стороны в сторону. Вдруг из маленькой зеленой двери дома, перед которым маячил полицейский, вышел офицер. Полицейский стремительно соединил каблуки и отдал честь, долго не отнимая руки от козырька. Офицер торопливо поднес руку к фуражке, на минуту вынув сигару изо рта. Когда шаги офицера затихли на дороге, полицейский снова постепенно принял прежнюю позу.

Крисфилд и Эндрюс проскользнули мимо него на другую сторону и вошли в дверь маленького ветхого домика, окна которого были закрыты тяжелыми деревянными ставнями.

— Ручаюсь, что этих ублюдков немного найдется на фронте,— сказал Крис.

— Не больше, чем других ублюдков,— сказал Эндрюс, смеясь, когда они закрывали за собой дверь.

Они находились в комнате, служившей, должно быть, когда-то гостиной на ферме. Об этом свидетельствовали канделябры с хрустальными подвесками и померанцевые цветы на куске пыльного красного бархата, под стеклянным колпаком на камине. Мебель была вынесена и заменена четырьмя квадратными дубовыми столами, загромождавшими комнату. За одним из столиков сидели три американца, а за другим, согнувшись над столом и уныло глядя в стакан вина, очень молодой французский солдат с оливковой кожей.

В комнату вошла девушка в полинялом красном платье, обрисовывавшем сильные формы ее плеч и груди. Она держала руки в карманах своего синего передника, на фоне которого кожа их выделялась золотисто-коричневым пятном. Лицо ее, под массой темно-русых волос, было покрыто таким же золотистым загаром. Увидев обоих солдат, она улыбнулась, поднимая свои тонкие губы над уродливыми желтыми зубами.

— Дела ничего, Антуанетта? — спросил Эндрюс.

— Ничего,— сказала она, глядя поверх их голов на французского солдата, сидевшего на другом конце маленькой комнаты.

— Бутылку красного, да живее! — сказал Крисфилд.

— Нечего торопиться сегодня, Крис,— сказал один из солдат за другим столом.

— Почему?

— Да сегодня не будет переклички. Мне сам капрал говорил. Лейтенант уехал.

— Верно,— подтвердил другой,— сегодня мы можем не возвращаться до тех пор, пока, черт побери, сами не захотим.

— В деревне новый военный полицейский,— сказал Крисфилд,— я его сам видел. И ты тоже, правда, Энди?

Эндрюс кивнул головой. Он смотрел на француза, который держал лицо в тени, прикрыв глаза черными ресницами. Пурпурный румянец залил оливковую кожу на его скулах.

— Знаешь, брат,— сказал Крисфилд,— это старое вино здорово отдает в ноги... Послушайте, Антуанетта, есть у вас коньяк?

— Я хочу еще вина,— сказал Эндрюс.

— Валяй, Энди, пей, чего душа просит! А я хочу чего-нибудь, чтобы согреть себе кишки.

Антуанетта принесла бутылку коньяку, два маленьких стаканчика и уселась на пустой стул, скрестив на переднике свои красные руки. Глаза ее то и дело перебегали с Крисфилда на француза.

Крисфилд слегка обернулся на своем стуле и посмотрел на француза, почувствовав на минуту в своих зрачках взгляд его желтовато-карих глаз.

Эндрюс откинулся назад, прислонившись к стене, и медленно потягивал свое темное вино, сонно уставившись слипающимися глазами на тень канделябра, которую свет дешевой масляной лампы с жестяным рефлектором отбрасывал на облупленную штукатурку противоположной стены.

Крисфилд толкнул его.

— Проснись, Энди! Ты спишь?

— Нет,— сказал Энди, улыбаясь.

— Выпей-ка еще коньяку!

Крисфилд неуверенно налил еще два стакана. Глаза его снова остановились на Антуанетте. Полинявшее красное платье застегивалось у ворота. Первые три крючка были расстегнуты и открывали треугольник золотисто-коричневой кожи и беловатую полоску белья.

— Послушай, Энди,— сказал он, обнимая своего друга за шею и шепча ему на ухо.— Поговори-ка с ней за меня, а, Энди? Я не хочу, чтобы она досталась этому противному лягушатнику, черт возьми! Поговори с ней за меня, Энди!

Эндрюс засмеялся.

— Попробую,— сказал он.

— Антуанетта, у меня есть друг,— начал Эндрюс, делая длинной грязной рукой жест в сторону Крисфилда.

Антуанетта показала в улыбке свои скверные зубы.

— Красивый парнишка,— сказал Эндрюс.

Лицо Антуанетты снова стало бесстрастным и прекрасным. Крисфилд откинулся на спинку стула, держа в руке пустой стакан, и с восхищением следил за своим другом.

— Антуанетта, мой друг вас... обожает,— сказал Эндрюс галантно.

В дверь просунулась голова женщины. У нее были те же лицо и волосы, что у Антуанетты, но только она была на десять лет старше, и кожа ее, вместо того чтобы быть смуглой и золотистой, была желтой и морщинистой.

— Поди сюда! — сказала женщина резким голосом.

Антуанетта встала, сильно задела, проходя, ногу Крисфилда и исчезла. Француз прошел через комнату, с достоинством отдал честь и вышел.

Крисфилд вскочил на ноги. Комната ходила перед ним ходуном.

— Этот лягушатник пошел за ней! — закричал он.

— Нет, Крис,— крякнул кто-то с соседнего стола.— Сиди крепко, старина, мы держим за тебя!

— Да, сядь и выпей, Крис,— сказал Энди.— Нам, по-моему, надо выпить еще чего-нибудь. Не могу же я лакать весь вечер одно и то же.

Он усадил его обратно на стул. Крисфилд попытался снова встать. Эндрюс повис на нем, опрокинул при этом стул, и оба они растянулись на красных черепицах пола.

— Вот так история! — сказал чей-то голос.

Крисфилд увидел Джедкинса, стоявшего над ним с усмешкой на своем широком, красном лице. Он встал на ноги и угрюмо уселся снова на стул. Эндрюс уже сидел против него со своим обычным спокойным выражением.

Теперь столы были заполнены. Кто-то пел тягучим голосом.

— Старая Индиана,— закричал Крис,— единственная хорошая страна на земле, вот что!

Он вдруг почувствовал, что может рассказать Энди все: про дом, про маисовые поля, сверкающие и шумящие под июльским солнцем, про ручьи с красными, глинистыми берегами, в которых он обыкновенно плавал. Все это стало теперь перед ним точно наяву: опьяняющий запах амбара, где хранился зерновой хлеб, коровы с вечно жующими, слегка запачканными зеленью ртами,

ожидающие, чтобы их пропустили через ворота к водопою. Желтая пыль и рев молотьбы и тихий вечерний ветерок, освежавший ему горло и шею, когда он, проработав весь день под палящим солнцем, укладывался на копне сена. Но ему удалось сказать только одно:

— Индиана чудесная страна, правда, Энди?

— О, у Бога их столько,— пробормотал Энди.

— Я видел дома градину девяти дюймов в окружности, вот как Бог свят, видел!

— Должно быть, бьет как снаряд.

— Хотел бы я посмотреть, какой это проклятый снаряд наделает столько бед, как наша буря с громом и молнией! — закричал Крис.

— Сдается мне, что мы так и не увидим других снарядов, кроме наших учебных гранат.

— Не беспокойся, братец,— сказал кто-то через комнату.— Еще насмотришься достаточно. Эта война, должно быть, протянется чертовски долго...

— Уж я бы задал перцу сегодня ночью этим гуннам, вот как Бог свят, Энди,— пробормотал Крисфилд тихим голосом.

Он чувствовал, что мускулы его напрягаются от бешеной ярости. Он смотрел сквозь полузакрытые глаза на сидевших в комнате солдат, и они плясали перед ним в беспорядочных белых огнях и красных тенях. Ему представилось, что он бросает гранаты в толпу людей. Потом перед ним встало лицо Андерсона, надменное белое лицо с бровями, сходящимися на переносице, и синеватым бритым подбородком.

— Где он теперь, Энди? Я пойду расправлюсь с ним!

Эндрюс понял, о ком он говорит.

— Сядь-ка и выпей, Крис,— сказал он.

— Нет, если мне не удастся расправиться с этим проклятущим...— Голос его перешел в невнятное бормотание ругательств.

Крисфилд увидел около стола женщину, которая стояла, повернувшись к нему спиной. Энди расплачивался с ней.

— Антуанетта,— сказал Крисфилд.

Он встал на ноги и обнял ее за плечи. Быстрым движением локтей она оттолкнула его обратно на стул. Она обернулась... Он увидел желтое лицо и тощую грудь старшей сестры. Она с удивлением смотрела ему в глаза. Он пьяно ухмылялся. Выходя из комнаты, она сделала ему знак следовать за ней. Он встал и, пошатываясь, пошел к двери, таща за собой Эндрюса.

Во внутренней комнате находилась большая кровать с занавесками, на которой спали женщины, и очаг, где они стряпали. В комнате было темно, и лишь в углу, где стояли Крисфилд и Эндрюс, горела на столе свеча. Оттуда им была видна только большая занавешенная постель с красным покрывалом и красноватые тени.

В темноте голос француза что-то повторил несколько раз.

— Немецкие аэропланы... шш!

Они стояли, не шевелясь. Сверху доносился шум аэропланов, то усиливающийся, то ослабевающий, как жужжание мухи у оконного стекла.

Они с удивлением переглядывались. Антуанетта с бесстрастным лицом стояла, прислонившись к кровати. Ее тяжелые волосы были распущены и падали дымчатыми золотистыми волнами по плечам. Старшая женщина хихикала.

— Пойдем-ка, Крис, посмотрим, что там делается,— сказал Эндрюс.

Они вышли на темную деревенскую улицу.

— К черту женщин, Крис, это война! — воскликнул Эндрюс громким пьяным голосом, когда они, пошатываясь, шли, обнявшись, по улице.

— Верно, что война... Уж я задам...

Крисфилд почувствовал, как рука друга зажала ему рот. Он сообразил, что его толкают к краю дороги, и поддался без сопротивления. Где-то в темноте он услышал голос офицера:

— Приведите-ка ко мне этих молодцов!

— Слушаюсь, сэр,— раздался другой голос.

На дороге послышались медленные, тяжелые шаги, направлявшиеся к ним. Эндрюс продолжал толкать его все дальше вдоль стены дома, пока оба они внезапно не свалились, барахтаясь, в яму с навозом.

— Лежи тихо, ради Бога,— пробормотал Эндрюс, перебрасывая одну руку через грудь Крисфилда.

Густой запах сухого навоза наполнял им ноздри. Они услышали, как шаги приблизились, нерешительно помялись вокруг и опять удалились в том направлении, откуда пришли. Между тем жужжание аэропланов над головой становилось все громче и громче.

— Ну? — раздался голос офицера.

— Не смог найти их, сэр,— промямлил другой голос.

— Что за вздор! Эти люди были пьяны,— донесся голос офицера.

— Да, сэр,— смиренно прозвучал ответ.

Крисфилд начал хихикать. Он чувствовал, что захохочет сейчас во все горло.

Ближайший аэроплан прекратил свой однотонный рев, и ночь, казалось, погрузилась вдруг в мертвую тишину.

Эндрюс вскочил на ноги.

Воздух прервал чей-то крик, сопровождаемый страшным оглушительным взрывом. Они увидели, как стена над их ямой осветилась на мгновение красным пламенем.

Крисфилд вскочил на ноги, ожидая увидеть пылающие развалины. Деревенская улица имела обычный вид. Вокруг было темно. Только луна, все еще не показывавшаяся из-за горизонта, слабо освещала небо бледным сиянием. В противоположном доме ярким желтым пятном горело окно, в котором ясно выделялись темные очертания офицерской фуражки и формы.

На улице несколько дальше стояла небольшая группа людей.

— Что случилось? — кричала решительным голосом фигура из окна.

— Немецкий аэроплан только что сбросил бомбу, майор,— раздался шепотом ответ.

— Почему, черт возьми, он не закрывает окна? — ворчал все время чей-то голос.— Великолепная мишень для прицела... мишень для прицела...

— Есть повреждения? — спросил майор.

В тишине раздавалось отвратительное жужжание моторов, кружившихся где-то над головами, точно гигантские москиты.

— Я слышу как будто еще,— сказал майор тягучим голосом.

— О да, да, сэр, их множество,— ответил нетерпеливый голос.

— Ради Бога, лейтенант, скажите ему, чтобы он закрыл окно! — пробормотал другой голос.

— Как я могу сказать ему? Черт возьми, говорите сами.

— Нас всех уложат, этим кончится!

— Здесь нет ни прикрытий, ни окопов; это вина штаба,— тянул майор из окна.

— Тут есть погреб! — снова закричал порывистый голос.

— О,— сказал майор.

Три грохочущих взрыва, последовавшие один за другим, залили все вокруг красным заревом. Улица вдруг наполнилась бегущей толпой крестьян, спешивших укрыться.

— Послушай, Энди, они могут устроить перекличку,— сказал Крисфилд.

— Давай-ка дернем домой через деревню,— сказал Эндрюс.

Они осторожно выкарабкались из своей навозной ямы. Крисфилд удивился, почувствовав, что дрожит. Он с трудом удерживался, чтобы не застучать зубами.

— Ну, теперь мы будем вонять целую неделю!

— Только бы выбраться! — бормотал Крис.— О, эта проклятая деревушка!

Они перебежали через фруктовый сад, прорвались сквозь изгородь и вскарабкались на холм по открытым полям.

На шоссе начала стрелять зенитная батарея, и все небо засверкало от разрывающихся шрапнелей. «Пут-пут-пут!» — залопотал где-то пулемет.

Крисфилд шагал вверх по холму в ногу с товарищем. Позади них одна бомба следовала за другой, а над головами воздух, казалось, кишел разрывающимися шрапнелями и гудящими аэропланами. Коньяк все еще немного бродил у них в крови. Иногда они натыкались друг на друга. На вершине холма они обернулись и посмотрели назад. Крисфилд чувствовал потрясающее волнение, стучавшее в его жилах сильнее коньяка. Он бессознательно обнял руками плечи своего товарища. Казалось, они были единственными живыми существами в этом колеблющемся мире.

Внизу, в долине, ярко пылал дом. Со всех сторон раздавался рев зенитных пушек, а над головой не смолкало ленивое монотонное гудение аэропланов.

Вдруг Крисфилд расхохотался.

— Клянусь Богом, Энди, со мной случается всегда что-нибудь забавное, когда я гуляю с тобой,— сказал он.

Они повернулись и поспешили вниз по другому склону холма к ферме, где была расквартирована их рота.

II

Перед Крисфилдом, насколько хватал глаз, тянулись во всех направлениях серые стволы берез, с ярко-зелеными пятнами мха с одной стороны. Земля была густо покрыта прошлогодними листьями, которые неистово шуршали при каждом шаге. Глаза его следили за другими пятнами темно-оливкового цвета, двигавшимися впереди

между стволами деревьев. Над головой, сквозь пятнистый просвет и темную зелень листьев, мелькал время от времени кусок тяжелого серого неба, еще более серого, чем серебристые стволы, скользившие мимо, когда он продвигался вперед. Он напрягал зрение, всматриваясь в каждый просвет, пока у него не зарябило в глазах от бесконечного чередования зеленого и серого. Иногда шорох впереди него прекращался, и темно-зеленые пятна останавливались. Тогда он различал за шумом крови в ушах доносившиеся издали «понг-понг-понг» батареи, и трепет леса, звеневшего точно под градом, когда мимо проносилась тяжелая граната, задевая верхушки деревьев, чтобы разразиться глухим грохотом где-то за милю.

Крисфилд весь вымок от пота, но не чувствовал ни рук, ни ног: вся жизнь его в эту минуту сосредоточивалась в глазах, в ушах и в сознании того, что у него в руках винтовка. Он то и дело прицеливался мысленно в какую-то серую, движущуюся точку и стрелял в нее. Его указательный палец сам собой тянулся к курку.

— Нужно будет как следует прицелиться,— говорил он себе.

Он представлял, как из-за ствола деревьев появляется серый комок; резкий выстрел винтовки — и серый комок валится на прошлогодние листья.

Ветка сорвала с головы Крисфилда шлем; он покатился к его ногам и ударился со слабым металлическим звуком о корни дерева.

Крисфилд замер от охватившего его внезапно ужаса. Сердце его, казалось, перекатывалось в груди с одной стороны на другую. Минуту он простоял неподвижно, точно парализованный, потом нагнулся и поднял шлем. Во рту у него был странный привкус крови.

— Ну и рассчитаюсь же я с ними за это,— пробормотал он сквозь стиснутые зубы.

Пальцы его все еще дрожали после того, как он поднял шлем. Он снова тщательно надвинул его, укрепив ремешками под подбородком.

Его охватила бешеная ярость.

Темно-оливковые пятна впереди снова двинулись дальше. Он пошел за ними, нетерпеливо поглядывая вправо и влево и моля Бога что-нибудь увидеть. По всем направлениям тянулись серебристые стволы берез с яркими, зелеными пятнами на одной стороне. При каждом шаге красноватые прошлогодние листья громко и неистово шуршали под ногами.

Почти за полем его зрения среди движущихся стволов деревьев он заметил какое-то бревно. Нет, это было не бревно, а куча серо-зеленой материи. Не задумываясь Крисфилд подошел к ней. Серебристые стволы берез окружали его, махая сучковатыми руками. Это был немец, растянувшийся во весь рост на листьях.

Крисфилд почувствовал бешеную радость; кровь злобно застучала в его жилах.

Он видел пуговицы на спине длинной шинели немца и красный околыш его фуражки.

Крисфилд ткнул немца ногой. Сквозь кожу своего сапога он чувствовал под носком его ребра. Он несколько раз лягнул его изо всех сил. Немец тяжело перевернулся. У него не было лица. Крисфилд почувствовал, как ненависть в нем внезапно иссякла. На месте лица была губчатая маска чего-то багрового, желтого, красного, половина которой прилипла к красноватым листьям, когда тело перевернулось. Большие мухи с яркими блестящими тельцами кружились над ним. В загорелой, запачканной длинной руке был револьвер.

Крисфилд почувствовал, что у него холодеет спина; немец застрелился сам.

Он вдруг бросился, тяжело дыша, бежать, чтобы догнать остальную часть отряда разведчиков. Молчаливые березы плясали вокруг него, покачивая над его головой узловатые сучья. Немец застрелился! Вот почему у него не было лица.

Крисфилд присоединился в хвосте к остальным. Капрал поджидал его.

— Заметил ты что-нибудь? — спросил он.

— Ни черта,— пробормотал Крисфилд почти неслышно.

Капрал пошел вперед — к голове отряда. Крисфилд был снова один. Листья неистово громко шуршали под ногами.

III

Глаза Крисфилда были устремлены на верхушки орешников, четко выделявшиеся, точно выгравированные, на ясном бескрасочном небе и опушенные золотой бахромой там, где в них ударяло солнце. Он стоял, застывший и неподвижный, вытянувшись во фронт. Он чувствовал острую боль в левой лодыжке, которая, казалось, распухла настолько, что могла прорвать сапог. По-

зади себя и рядом он ощущал присутствие других людей. Казалось, будто эта оцепеневшая темно-оливковая линия людей, которая стояла, вытянувшись во фронт, без конца ожидая, чтобы кто-нибудь освободил ее из этого стоячего паралича, тянется вокруг всего мира. Он опустил глаза на примятую траву поля, где был выстроен полк. Где-то позади себя он слышал звяканье шпор на офицерских каблуках. Затем на дороге раздался шум автомобиля, шаги, идущие вдоль линии солдат, и несколько офицеров торопливо прошли мимо деловитой походкой, как будто они всю жизнь не делали ничего другого. Крисфилд различил орлов на обтянутых плечах цвета хаки, потом одиночную звезду и двойную звезду, над которой торчало красное ухо и клок седых волос. Генерал прошел слишком быстро, чтобы он мог разглядеть его лицо. Крисфилд слегка выругался про себя, потому что лодыжка причиняла ему сильную боль. Глаза его снова устремились на бахрому деревьев, выделявшуюся на ясном небе. Так вот что он получил за эти недели, проведенные в окопах; за то, что он столько раз растягивался в грязи на животе; за пули, которые он выпустил в неизвестность — по серым пятнам, двигавшимся в серой грязи. Что-то ползло у него по спине. Он не мог разобрать, вошь это или ему только кажется. Раздалась команда. Автоматически он изменил свое положение. Где-то далеко вдоль длинных темных рядов шагал маленький человечек. Поднялся ветер, шурша хрупкими листьями в ореховой роще. Голос выкрикивал что-то, покрывая шелест леса. Но Крисфилд не мог разобрать, что он говорит. Ветер сильно шумел в деревьях, напоминая Крисфилду шум воды у бортов транспорта, на котором его везли за океан. Золотые искры и оливковые тени плясали в зубчатых гроздьях листьев, которые двигались из стороны в сторону, точно сметая что-то с ясного неба. Крисфилду пришла в голову мысль: а что, если бы листья начали вдруг описывать все большие и большие круги, пока не достигли бы земли и не принялись бы мести, мести, покуда не вымели бы все это — и боль, и вшей, и форму, и офицеров с кленовыми листьями, с орлами, ординарными звездами, или двойными звездами, или тройными звездами на плечах. Он вдруг увидел себя лежащим на копне сена под горячим солнцем Индианы, в своей прежней удобной одежде, с открытой грудью, которую ветер ласкал, словно девушка, игриво дуя на нее. «Странно, что мне вспомнилось это»,— сказал про себя. До знакомства с Энди ему нико-

гда не пришло бы в голову что-либо подобное. Что это нашло на него вдруг?

Полк маршировал колонной по четыре человека в ряд. Лодыжка Крисфилда причиняла ему жгучую острую боль на каждом шагу. Тужурка на нем была чересчур узка, и пот щекотал ему спину. Вокруг виднелись потные, раздраженные лица; шерстяные куртки с высокими воротниками напоминали смирительные рубашки в этот жаркий день. Крисфилд маршировал со сжатыми кулаками; ему хотелось подраться с кем-нибудь, всадить свой штык в человеческое тело, как он всаживал его на учении в чучело; ему хотелось содрать с себя все догола, хотелось сжимать девичьи руки, пока жертва не закричит от боли.

Его рота проходила мимо другой роты, выстроившейся перед разрушенным гумном, крыша которого осела посередине, как спина старой коровы. Впереди роты, скрестив руки, стоял сержант, критически оглядывая проходивших мимо солдат. У него было тяжелое белое лицо и черные брови, сходившиеся на переносье. Крисфилд не отрывался от него, пока не прошел мимо, но сержант Андерсон, казалось, не узнал его. Это вызвало в нем глухую ярость, как будто его оскорбил лучший друг.

В одно мгновение рота превратилась в кучу людей, расстегивающих свои рубахи и куртки перед маленькой дощатой хижиной, которая была отведена им для постоя. Хижина эта была выстроена французами во времена Марны*, несколько лет назад, как объяснил Энди один солдат.

— Ты что, об Индиане замечтался? — сказал Джедкинс, весело толкнув Крисфилда под ребро.

Крисфилд стиснул кулак и замахнулся, готовый нанести ему сокрушительный удар по челюсти. Джедкинс, однако, успел вовремя отразить его.

Лицо Джедкинса побагровело. Он замахнулся длинной согнутой рукой.

— Что вы взбесились, черт возьми! — закричал кто-то.

— А за что он меня бить хотел? — задыхаясь, выпалил Джедкинс.

Их разняли.

— Дайте мне разделаться с ним!

— Заткнись ты, дуралей,— сказал Энди, оттаскивая Крисфилда в сторону.

Рота угрюмо рассыпалась. Некоторые из солдат улеглись в высокую некошеную траву в тени развалин соседнего дома, на одну из стен которого опиралась хижина.

Эндрюс и Крисфилд молча зашагали по дороге, погружая ноги в глубокую пыль. Крисфилд прихрамывал. По обеим сторонам тянулись поля пшеницы, золотившейся под солнцем. Вдали поднимались высокие зеленые холмы, переходившие в синеву, местами бледно-желтые в полосах спелого хлеба. Тут и там густая заросль деревьев или стена тополей нарушала однообразие длинных пологих холмов. В живых изгородях пестрели синие васильки и маки всех оттенков, от карминного до оранжевого, плясавшие под ветром на своих как бы проволочных стеблях. За поворотом дороги шум отряда перестал доноситься до них. Теперь они прислушивались к жужжанию пчел в больших темно-пурпурных цветках клевера и золотых сердцевинах маргариток.

— Ты дикий человек, Крис! Что это наскочило на тебя, черт возьми! Почему ты решил вдруг раздробить бедному Джедки челюсть? Ведь он, во всяком случае, поколотил бы тебя — он двоих таких уложит!

Крисфилд продолжал идти молча.

— Господи, я думал, что с тебя уже достаточно таких историй... Я думал, что тебе опротивело желание причинять людям страдание. Ведь ты сам не любишь боли, правда? — Эндрюс говорил порывисто, с горечью, опустив глаза в землю.

— Я, кажется, вывихнул себе ступню, когда скатился с грузовика вчера.

— Сходи-ка лучше на перевязочный пункт. Знаешь, Крис, с меня довольно всего этого. Уж лучше застрелиться, чем продолжать так жить дальше!

— Ты, кажется, ударился в мерехлюндию, Энди? Знаешь, пойдем-ка искупаемся. Там, на дороге, подальше, есть пруд.

— У меня, кстати, с собой мыло в кармане! Смоем заодно немного вшей.

— Не иди так чертовски быстро... Энди, ты больше учился, чем я. Ты должен был бы растолковать мне, отчего это человек вдруг делается точно бешеный. Во мне как будто черт сидит.

Эндрюс гладил свои щеки мягким шелком маковых лепестков.

— Интересно, что бы со мной было, если бы я съел несколько головок мака? — сказал он.

— Почему?

— Говорят, что, если улечься на маковом поле, непременно заснешь. Хотел бы ты, Крис, так вот заснуть и не

просыпаться до тех пор, пока не кончится война и ты снова сможешь сделаться человеком?

Эндрюс прокусил зеленую чашечку с семенами. Наружу выступил молочный сок.

— Горько... должно быть, это и есть опиум,— сказал он.

— Что это такое?

— Снадобье, которое усыпляет и дает человеку чудные сны. В Китае...

— Сны! — перебил Крисфилд.— Мне прошлой ночью снился сон. Приснился мне один малый, который застрелился; я видел его раз на разведке в лесу.

— Как же это?

— Да так, просто фриц один застрелился.

— Это получше опиума,— сказал Эндрюс задрожавшим от внезапного волнения голосом.

— Мне снилось, что мухи, которые жужжали вокруг него, были не мухи, а аэропланы... Помнишь последнюю стоянку в деревне и майора, который не хотел закрывать окно?

— Как не помнить!

Они улеглись на покрытом травой берегу, спускавшемся от дороги к пруду. Высокий тростник, в котором ласково болтал ветерок, закрывал от них дорогу. Над головой, в зеленоватом небе, медленно меняя очертания, плыли точно распустившие паруса сказочные корабли. Отражение облаков в серебристой глади пруда дробилось зарослями трав и плавучих растений. Прежде чем начать раздеваться, они полежали некоторое время на спине, глядя на небо, казавшееся безграничным и просторным, как океан, даже еще безграничнее и просторнее океана.

— Сержант говорит, что скоро сюда привезут эти штуки для уничтожения вшей.

— Они нам здорово нужны, Крис.

Эндрюс медленно снимал свою одежду.

— Как чудесно чувствовать на своем теле солнце и ветер, правда, Крис?

Эндрюс направился к пруду и растянулся на животе на тонкой мягкой траве у края воды.

— Хорошо так вот чувствовать все свое тело,— сказал он сонным голосом.— Кожа такая мягкая, упругая, а чувствительнее мускулов нет ничего на свете. Черт, не знаю, что бы я стал делать без своего тела!

Крисфилд рассмеялся.

— Посмотри, как мою лодыжку разнесло! Нашел вшей? — спросил он.

— Да уж постараюсь найти их побольше и утопить,— сказал Эндрюс.— Слушай, Крис, уходи-ка ты подальше от этой вонючей формы. Сразу почувствуешь себя человеком с солнцем на теле, а не вшивым солдатам.

— Хелло, ребята! — раздался неожиданно визгливый голос.

Христианский юноша с острым носом и подбородком подошел к ним сзади.

— Хелло,— мрачно ответил Крисфилд, ковыляя к воде.

— Хочешь мыла? — спросил Эндрюс.

— Выкупаться собрались, ребята? — спросил христианский юноша. Затем прибавил наставительно: — Дело хорошее!

— Лезьте тоже,— сказал Эндрюс.

— Спасибо, спасибо... Послушайте, не обижайтесь на меня, только почему вы, ребята, не нырнете в воду? Видите — там две французских девицы смотрят на вас с дороги.

Христианский юноша слабо захихикал.

— Они и внимания не обращают на нас,— сказал Эндрюс, энергично намыливаясь.

— А я так полагаю, что им это приятно,— сказал Крис.

— Я знаю, что они вообще безнравственны, но все-таки...

— А почему бы им и не посмотреть на нас? Может быть, не всякому представится такой случай.

— Что вы хотите сказать?

— А вы видели когда-нибудь, что маленький осколок гранаты может сделать с телом парня? — спросил свирепо Эндрюс; он бросился в мелкую воду и поплыл на середину пруда.

— Пригласите-ка их лучше сюда, чтобы они помогли нам вшей искать,— сказал Крисфилд, следуя за Эндрюсом.

Доплыв до середины, он улегся на песчаной мели в теплой мелкой воде и посмотрел на христианского юношу, который все еще стоял на берегу. За ним, раздеваясь, толпились уже другие солдаты, и вскоре травянистый склон покрылся голыми людьми и желтовато-серым бельем, а в воде запрыгало множество темных голов и блестящих спин. Выйдя из воды, Крисфилд увидел Эндрюса, который сидел, скрестив ноги, около своей одежды.

— Я никак не мог решиться напялить на себя эту проклятую дрянь,— сказал Эндрюс тихо, как бы обращаясь к самому себе.— Я чувствую себя таким чистым и свободным! Все равно что по доброй воле вернуться в грязь и рабство. Пойти бы этак голым через поле!

— Вы называете служение родине рабством, мой друг,— сказал христианский юноша, бродивший между купающимися, и уселся около Эндрюса на траву. Его опрятная форма и хорошо вычищенные сапоги выделялись рядом с покрытым грязью и пропитанным потом платьем остальных солдат.

— Верно, черт возьми, называю!

— Вы попадете в беду, мой милый, если будете так разговаривать,— сказал христианский юноша предостерегающим тоном.

— Ну а что же такое рабство, по-вашему?

— Вы не должны забывать, что добровольно пошли защищать дело демократии... Вы боретесь за то, чтобы ваши дети могли жить в мире.

— Случалось вам когда-нибудь убить человека?

— Нет... конечно, нет... Я бы записался добровольцем, несомненно, записался бы, только у меня слабое зрение.

— Да уж я вижу,— произнес шепотом Эндрюс.

— Помните, что ваши женщины, ваши сестры, возлюбленные и матери молятся за вас в эту минуту.

— Хотел бы я, чтобы кто-нибудь вымолил мне чистую рубаху,— сказал Эндрюс, начиная одеваться.— Сколько времени вы здесь?

— Ровно три месяца! — Худое лицо молодого человека, его заостренный нос и подбородок сияли.— Но, ребята, эти три месяца стоили всех лет моего свящ...— Он спохватился: —...моей жизни! Я слышал, как билось великое сердце Америки! О, ребята, никогда не забывайте, что вы принимаете участие в великом христианском деле!

— Пойдем, Крис, будет!

Они оставили христианского юношу и начали пробираться между солдатами по берегу пруда, которому отражение зеленовато-серебристого неба и больших скученных белых облаков сообщало всю необъятность пространства. С дороги они все еще слышали высокий, пискливый голос.

— Такие вот переживут нас с тобой,— сказал Эндрюс.

— Послушай, Энди, ты здорово умеешь разговаривать с этими молодцами,— с восхищением произнес Крис.

— Что толку от разговоров! Посмотри-ка, тут еще осталось немного медовой сыти в цветке. Разве это не пахнет для тебя домом?

— Послушай-ка, сколько они платят этим молодцам из ХАМЛ, Энди?

— Провались я, если знаю.

Они пришли как раз вовремя, чтобы выстроиться к котлу. В строю все смеялись и болтали, оживленные запахом пищи и звяканьем котелков. Около полевой кухни Крисфилд увидел сержанта Андерсона, разговаривающего с Хиггинсом, сержантом его роты. Оба смеялись. Крисфилд слышал, как громкий голос Андерсона весело говорил:

— До сих пор продержались, Хиггинс... Надеюсь, что не пропадем и дальше!

Оба сержанта посмотрели друг на друга, бросили отечески снисходительный взгляд на своих солдат и громко рассмеялись.

Крисфилд чувствовал себя бессильным, как бык под ярмом. Ему оставалось только работать, напрягаться и становиться во фронт, в то время как белолицый Андерсон мог слоняться с таким видом, как будто земля была его собственностью, и важно хохотать, вот как сейчас. Он протянул свой котелок. Кашевар выплеснул в него мясо и подливку. Крисфилд прислонился к стене барака и принялся за еду, мрачно поглядывая на двух сержантов, смеявшихся и болтавших с видом полной непринужденности, в то время как солдаты их рот торопливо, как собаки, глотали свои порции.

Крисфилд взглянул вдруг на Эндрюса, который сидел на траве позади дома, глядя вдаль на поля пшеницы; дым от его папиросы подымался спиралями около его лица и белокурых волос. Он казался спокойным, почти счастливым. Крисфилд сжал кулаки и почувствовал, как ненависть к тому, другому человеку мучительно заволновалась в нем.

«Не иначе, как во мне дьявол сидит»,— подумал он.

Окна были расположены так близко к траве, что бледный свет, проникавший через них в хижину, где стояла рота, принимал зеленоватый оттенок. Когда солдаты лежали на своих нарах, сделанных из проволоки, натянутой на заплесневелые балки, лица их, несмотря на загар, имели болезненный вид. На хребте крыши ласточки свили себе гнездо, и их помет пестрел белыми пятна-

ми и бугорками на досках пола в проходе между нарами и среди пучков желтой травы, которые солдаты не успели еще окончательно вытоптать. Теперь, когда в хижине никого не было, чирикание птенцов, возившихся в своем слепленном из грязи гнезде, ясно долетало до Крисфилда. Он спокойно сидел на краю нар и смотрел через открытую дверь на голубые тени, начинавшие удлиняться на траве луга. Его руки, цвета терракоты, лениво висели между колен. Он слегка насвистывал. Глаза его под длинными черными ресницами были устремлены вдаль, хотя он ни о чем не думал. Невыразимо приятное чувство довольства охватило его. Как хорошо было побыть одному в бараках, вот как сейчас, в то время как другие были на учении. Сюда уж наверное никто не придет отдавать приказания.

Теплая дремота охватила Крисфилда. Из полевой кухни раздавалось пение человека. Молодые ласточки слабо чирикали над головой в своих слепленных из грязи гнездах. Время от времени раздавался шум крыльев, и по бараку проскальзывала большая ласточка. Щеки Крисфилда начали понемногу мягко гореть. Голова его склонилась на грудь, и он заснул. Он проснулся внезапно. В хижине было почти темно. В светлом прямоугольнике двери черным пятном выделялась высокая человеческая фигура.

— Что вы здесь делаете? — спросил низкий, раскатистый голос.

Глаза Крисфилда мигали. Он машинально поднялся на ноги — это мог быть офицер. Вдруг глаза его напряглись. Между ним и светом было лицо Андерсона. В зеленоватой полутьме лицо его казалось белым как мел. На нем особенно резко выделялись черные густые брови, сходившиеся на переносице, и темная щетина на подбородке.

— Почему вы не на учении с ротой?

— Я караульный при бараке,— пробормотал Крисфилд; он чувствовал, как кровь билась в кистях его рук и в висках, точно огнем обжигая ему глаза. Он смотрел в пол перед ногами Андерсона.

— Был приказ, чтобы вся рота выходила на учение, не оставляя никаких караульных.

— А!..

— Мы разберем это, когда вернется сержант Хиггинс. Помещение в порядке?

— По-вашему, выходит, значит, что я лгун, так, что ли? — Крисфилд вдруг почувствовал себя спокойным и

веселым. Ему казалось, что он стоит как-то в стороне от себя и следит за тем, как сам приходит в ярость.

— Нужно убрать это помещение... Генерал может вернуться, чтобы осмотреть квартиры,— холодно продолжал Андерсон.

— Вы назвали меня лгуном,— повторил опять Крисфилд, вкладывая в интонацию всю дерзость, какую способен был передать его голос.— Вы, кажется, меня не помните!

— Помню. Вы тот молодчик, который пытался раз всадить в меня нож,— холодно сказал Андерсон, выпрямляя плечи.— Надеюсь, что вас немного приучили к дисциплине за это время. Во всяком случае, вам нужно будет вычистить это помещение. Господи, да они тут даже птичьих гнезд не сбили! Ну и рота! — сказал Андерсон, посмеиваясь.

— Я и не собираюсь делать это для вас!

— Извольте исполнять приказание, а не то худо будет! — закричал сержант своим низким, скрипучим голосом.

— Если я когда-нибудь выйду из армии, уж обязательно пристрелю вас! Довольно вы надо мной поиздевались!

Крисфилд говорил медленно, так же холодно, как и Андерсон.

— Хорошо, посмотрим, что скажет на это военный суд.

— Плевать я хотел на вас!

Сержант Андерсон повернулся на каблуках и удалился, теребя большими пальцами пуговицу на своей куртке. Послышался звук топающих ног и команда «вольно». Люди набились в барак, болтая и смеясь. Крисфилд тихо сидел на конце нар, не спуская глаз со светлого прямоугольника двери. Снаружи он видел Андерсона, разговаривавшего с сержантом Хиггинсом. Они пожали друг другу руки, и Андерсон исчез.

Сержант Хиггинс вошел в хижину, подошел к Крисфилду и произнес сухим, официальным тоном:

— Вы арестованы... Смолл, караульте этого человека; возьмите его ружье и пояс с патронами. Я сменю вас, чтобы вы могли пообедать.

Он вышел. Все глаза с любопытством устремились на Крисфилда. Смолл, краснолицый человек с длинным носом, свисавшим на верхнюю губу, смущенно поплелся к своему месту у койки Крисфилда и с шумом уронил приклад ружья на пол. Кто-то засмеялся. Эндрюс подошел к Крисфилду с тревожным выражением в голубых глазах и очертаниях худых, загорелых щек.

— Что случилось, Крис? — спросил он тихо.

— Да вот сказал тому ублюдку, что мне плевать на него,— ответил Крисфилд прерывающимся голосом.

— Послушай, Энди, я, кажется, не должен никому позволять разговаривать с ним? — сказал Смолл виноватым голосом.— Не знаю, почему сержант всегда сваливает на меня всякую грязную работу.

Эндрюс отошел не отвечая.

— Плюнь, Крис, они ничего тебе не сделают,— сказал Джедкинс, добродушно улыбаясь ему из-за двери.

— Плевать я хотел на то, что они сделают,— снова сказал Крисфилд.

Он лег на свою койку и уставился в потолок. Барак наполнился суетой уборки. Джедкинс подметал пол веником, связанным из сухих веток. Другой солдат сбивал штыком гнезда ласточек. Слепленные из грязи гнезда покатились и упали на пол и за нары, наполняя воздух летающими перьями и запахом птичьего клея. Маленькие, голые тельца с оранжевыми клювами мягко шлепнулись, ударившись о доски пола, и остались лежать там, издавая слабый задыхающийся писк, в то время как большие ласточки с короткими, пронзительными криками летали взад и вперед по хижине, то и дело ударяясь о низкую крышу.

— Послушай, подними-ка их, трудно тебе, что ли? — сказал Смолл, обращаясь к Джедкинсу, который выметал маленьких разевающих клювы птенцов вместе с пылью и грязью.

Плотный человек нагнулся и поднял птенцов одного за другим, с нежным выражением поджимая губы. Из его ладоней, сложенных в форме гнезда, вытягивались длинные шеи и разинутые оранжевые рты.

Эндрюс, стоявший в дверях, подбежал к нему.

— Хелло, Папаша,— сказал он,— что это?

— Да вот поднял их!

— Неужели они не могли оставить в покое этих бедняжек? Клянусь Богом, они, кажется, обезумели и готовы причинять страдание всем — птице, животному, человеку!

— Война, брат, это тебе не пикник,— сказал Джедкинс.

— Ладно, будь она проклята, но разве это не причина, чтобы перестать беситься и причинять лишние страдания?

В дверях появилось лицо с заостренным носом и подбородком, обтянутое пергаментной кожей.

— Хелло, ребята,— сказал христианский юноша,— хочу сообщить вам, что завтра я открываю лавочку в последнем домике на Бокурской дороге. Там будут шоколад, сигары, мыло и всякая всячина.

Все заликовали. Христианский юноша сиял. Глаза его остановились на птенцах, лежавших в руках Папаши.

— Как вы могли? — сказал он.— Американский солдат и вдруг такая бессмысленная жестокость! Никогда не поверил бы!

— Придется тебе поучиться кое-чему,— пробормотал Папаша, ковыляя наружу на своих кривых ногах.

Крисфилд наблюдал сцену у дверей невидящими глазами. Он старался подавить ужасную нервозность, охватившую его, и не переставал твердить себе, что ему наплевать, но это не помогало. Его пугала перспектива очутиться вдруг одному перед всеми этими офицерами, отвечать на перекрестные вопросы, задаваемые отрывистыми голосами. Уж лучше бы его просто высекли. «Что я им скажу?» — беспрерывно спрашивал он себя. Он собьется; или скажет то, чего не думает; или вообще не сможет выдавить из себя ни слова. Если бы только Энди мог пойти с ним! Энди образованный не хуже офицеров. Он ученее, чем вся эта компания с нашивками, вместе взятая. Он сумел бы защититься сам и выгородить к тому же своих друзей.

— Я чувствовал себя точь-в-точь как эти птички, когда они обстреливали нас в траншеях под Ботикуром,— сказал Джедкинс, смеясь.

Крисфилд прислушивался к разговорам вокруг него, точно они доносились из другого мира. Теперь он был уже отрезан от своей роты. Он исчезнет, и они никогда не узнают, что с ним сталось, да и не подумают об этом.

Раздался сигнал к обеду, и люди вышли один за другим. До него долетали с улицы их разговоры и лязг котелков, когда они открывали их. Он лежал на своих нарах, вглядываясь в темноту. С улицы все еще проникал бледный голубоватый свет, придавая странный багровый оттенок красному лицу Смолла и его длинному, свисающему носу, на конце которого колебалась блестящая капля влаги.

Крисфилд застал Эндрюса за стиркой рубахи у ручья, пробегавшего через развалины деревни против строений, в которых стоял отряд. Голубое небо с розовато-белыми облаками бросало на сверкающую воду синие, голубова-

тые и белые отблески. На дне можно было разглядеть пробитые шлемы и куски амуниции и жестяных банок, в которых когда-то было мясо. Эндрюс повернул голову — на носу у него был мазок грязи, на подбородке мыльная пена.

— Хелло, Крис! — сказал он, глядя ему в глаза своими блестящими голубыми глазами.— Как дела? — На его лбу появилась легкая тревожная морщинка.

— Две трети месячного жалованья и лишение отпусков! — сказал весело Крисфилд.

— Ну, дешево отделался!

— Гм, они сказали, что я хороший стрелок и все такое, так что на этот раз они меня отпускают.

Эндрюс снова начал скрести свою рубаху.

— Эта рубаха так загрязнилась, что я, кажется, никогда ее не отстираю,— сказал он.

— Проваливай-ка, Энди! Я выстираю ее. Ты на это не годишься.

— Черт возьми, нет, я хочу сам.

— Проваливай, говорят тебе.

— Ну, спасибо!

Эндрюс встал на ноги и вытер голой рукой грязь с носа.

— Не я буду, если не подстрелю этого ублюдка,— сказал Крисфилд, трудясь над рубахой.

— Не будь ослом, Крис.

— Вот тебе Бог, застрелю.

— Что за охота напрасно будоражить себя. История кончена. Ты, наверное, никогда больше и не увидишь его.

— Вовсе я не будоражусь... Я сделаю это непременно! — Он тщательно выжал рубаху и шлепнул ею Эндрюса по лицу.— Вот, получай! — сказал он.

— Ты славный парень, Крис, хотя ты и осел!

— Я слыхал, что нас отправят на позиции через день-другой.

— Тут, по дороге, до черта артиллерии прошло: французской, английской, всякой.

— Говорят, в Аргоннских лесах дым стоит коромыслом.

Они медленно пошли через дорогу. Мимо них со свистом промчался мотоциклист службы связи.

— Вот этим молодцам весело живется.

— Не думаю, чтобы кому-нибудь тут жилось весело.

— А офицерам?

— Ну, те слишком озабочены собственной важностью, чтобы веселиться по-настоящему.

Колючий, холодный дождь, точно хлыст, бил его по лицу. Вокруг было совершенно темно и тихо. Слышалось только шипение дождя в траве. Он напрягал зрение, чтобы разглядеть что-нибудь в темноте, пока перед глазами не заплясали красные и желтые круги. Он шел очень медленно и осторожно, бережно придерживая что-то под дождевым плащом. Он чувствовал себя полным странной, сдержанной ярости. Ему казалось, что он идет позади самого себя, шпионя за своими собственными поступками; и то, что он видел, наполняло его необычайной радостью, от которой ему хотелось петь.

Он повернулся так, что дождь стал хлестать его по щеке. Его волосы под шлемом были мокры от пота, который скатывался вниз вместе с дождем по его пылающему лицу. Пальцы его бережно сжимали гладкий предмет, который он держал в руке.

Он остановился и закрыл на минуту глаза. Сквозь свист дождя до него донесся звук человеческих голосов, разговаривавших в одной из хижин. Когда он закрыл глаза, перед ним встало белое лицо Андерсона с его небритым подбородком и бровями, сходившимися на переносице.

Вдруг он почувствовал перед собой стену дома. Он вытянул руку. Рука отдернулась назад, прикоснувшись к мокрой, просмоленной бумаге, точно дотронулась до чего-то мертвого. Осторожно ступая, он пошел вдоль стены. Он чувствовал себя так же, как на разведке в лесу. Ему приходили в голову те же фразы, что и тогда. Совершенно бессознательно в голове его всплыли слова: «обеспечьте демократии мир». Они действовали очень ободряюще. Он снова и снова повторял их про себя. В то же время его свободная рука очень осторожно возилась с засовом, который придерживал деревянный ставень за окном. Ставень чуть-чуть приоткрылся, громким скрипом заглушив на мгновение стук дождя по крыше хижины. Поток воды лился с крыши ему на лицо.

Вдруг луч света преобразил все, разрезав надвое темноту. Дождь заблестел, как бисерный занавес. Крисфилд заглянул в маленькую комнату, в которой горела лампа. За столом, покрытым печатными бланками разных размеров, сидел капрал, за ним была койка и груда амуниции. Капрал читал журнал. Крисфилд долго смотрел на него; пальцы его крепко сжимались вокруг гладкого предмета. В комнате больше никого не было.

Непонятный страх овладел Крисфилдом. Он шумно отошел от окна и распахнул дверь барака.

— Где сержант Андерсон? — спросил он, задыхаясь, у первого попавшегося ему солдата.

— Капрал тут, если у вас есть что-нибудь важное,— сказал солдат.— Андерсон уехал позавчера.

Крисфилд снова шел под дождем. Он хлестал его прямо по лицу, так что глаза его были полны воды. Крисфилд дрожал. Его охватил вдруг панический ужас. Гладкий предмет обжигал ему руки. Он напрягал слух, ожидая каждую минуту услышать взрыв. Он шел все быстрее и быстрее, шагая прямо по дороге, точно старался убежать от взрыва. Он споткнулся о кучу камня, машинально вытащил шнур из гранаты и отбросил ее далеко от себя.

Наступила минутная пауза.

Среди пшеничного поля вспыхнуло красное пламя. Он почувствовал на своих барабанных перепонках резкий разрыв. Крисфилд быстро зашагал под дождем. Позади себя в дверях хижины он слышал взволнованные голоса. Он продолжал идти, не обращая внимания. Дождь ослеплял его. Когда он вышел наконец в полосу света, то был так ошеломлен, что не мог разобрать, кто находится в винной лавке.

— Ах, будь я проклят, это Крис! — сказал голос Эндрюса.

Крисфилд, мигая, смахнул воду с ресниц. Эндрюс сидел за столом и писал; перед ними была куча бумаг и бутылка шампанского. Крисфилду казалось, что голос Эндрюса успокаивает его нервы. Ему хотелось, чтобы тот продолжал говорить не останавливаясь.

— Право, ты самый большой дуралей на свете,— продолжал Эндрюс тихим голосом. Он взял Крисфилда за руку и повел его в маленькую заднюю комнату, где стояла высокая кровать с коричневым покрывалом и большой кухонный стол, на котором виднелись остатки еды.

— В чем дело? Рука у тебя чертовски дрожит. Вот почему... Oh, pardon[1], Кремпетт. Это мой друг... Ты знаком с Кремпетт, правда?

Он указал на молодую женщину, которая как раз вышла из-за кровати. У нее было вялое розовое лицо и под глазами лиловые круги, похожие на синяки от побоев. Волосы ее были растрепаны, грязное серое кисейное

[1] О, прости (*фр.*).

платье, наполовину расстегнутое, слабо сдерживало ее большую грудь и лишенную упругости фигуру. Крисфилд жадно смотрел на нее, чувствуя, как вся его ярость вспыхивает огнем желания.

— Что с тобой, Крис? Ты с ума сошел? Разве можно таким образом убегать из казарм?

— Послушай, Энди, отвяжись от меня. Я не твоей породы... Отвяжись!

— Ты дикий человек. Я не спорю. Но и я и все мы скоро сделаемся такими же... Выпьем?

— После.

Эндрюс уселся у своей бутылки и бумаг и отодвинул от себя полные застоявшейся еды разбитые тарелки, чтобы очистить место на засаленном столе. Он хлебнул из бутылки и закашлялся; потом сунул кончик карандаша в рот и задумчиво уставился на бумагу.

— Нет, я твоей породы, Крис,— сказал он через плечо,— только они приручили меня. О Боже, до чего они меня приручили!

Крисфилд не слушал его. Он стоял перед женщиной, глядя ей прямо в лицо. Она тупо, со страхом смотрела на него. Он нащупал в кармане деньги. Ему только что выдали жалованье, и у него был еще билет в пятьдесят франков. Он бережно расправил его перед ней. Глаза ее заблестели, и зрачки, казалось, сократились, приковавшись к куску красиво раскрашенной бумаги.

Некоторое время спустя Крисфилд уселся перед Эндрюсом. На нем все еще был его мокрый дождевик.

— Ты, наверное, считаешь меня свиньей,— сказал он своим нормальным голосом.— Пожалуй, что ты и прав.

— Нет, не считаю,— сказал Эндрюс.

Что-то заставило его положить руку на руку Крисфилда, лежавшую на столе. Рука Крисфилда давала ощущение здорового спокойствия.

— Послушай, почему ты так дрожал, когда вошел сюда? Теперь ты как будто вполне оправился.

— О, не знаю,— сказал Крисфилд мягким, звонким голосом.

Они долго молчали. За спиной они слышали шаги женщины, ходившей по комнате взад и вперед.

— Пойдем-ка домой,— сказал Крисфилд.

— Ладно... Всего хорошего, Кремпетт!

Дождя уже не было. Бурный ветер разорвал тучи в клочья. Кое-где проглядывали звезды.

Они весело шлепали по лужам, в которых кое-где поблескивали отражения звезд, когда ветер не подергивал их рябью.

— Господи Иисусе, хотелось бы мне быть таким, как ты, Эндрюс,— сказал Крисфилд.

— Вот уж не стоит, Крис. Я совсем не человек. Я ручной. О, ты представить себе не можешь, как я чертовски приручен!

— Ученье здорово помогает пробиваться на свете.

— Да, но что толку пробиваться, когда у тебя нет мира, в котором стоило бы пробиваться, Крис? Я принадлежу к толпе, которая только подтасовывает знание. Я думаю, что для нас лучше всего быть убитыми в этой бойне. Мы прирученное поколение. Вот тебя жалко убивать.

— Я ни на что не годен. Да мне и наплевать на это... До чего спать хочется!

Когда они проскользнули в дверь своего барака, сержант испытующе посмотрел на Крисфилда. Эндрюс тотчас же заговорил с ним.

— Там говорили в уборной, сержант,— ребята из тридцать второй говорили,— что мы выступим на позиции во вторник.

— Много они знают.

— Последнее издание новостей отхожего места!

— Да уж, черт возьми! Ну, если вам так хочется узнать кое-что, Эндрюс, так это будет раньше вторника, или я круглый дурак! — Сержант Хиггинс принял чрезвычайно таинственный вид.

Крисфилд пошел к своей койке, спокойно разделся и полез под одеяло. Он сладострастно вытянул несколько раз руки и заснул под разговор Эндрюса с сержантом.

IV

Луна лежала на горизонте среди облаков, точно большая красная тыква на своих листьях. Крисфилд щурился на нее сквозь ветви отягощенных плодами яблонь, насыщавших хрустальный воздух ароматом вина. Он сидел на земле, бессильно вытянув перед собой ноги и прислонившись к жесткому стволу яблони. Против него у другого дерева виднелась четырехугольная фигура, над которой возвышались широкая физиономия и длинная челюсть Джедкинса. Между ними лежали две пустые бутылки от коньяка. Вокруг шелестел фруктовый сад; сучковатые

ветви деревьев терлись, потрескивая, друг о дружку под порывами осеннего ветра, насыщенного запахом лесной сырости, гниющих плодов и всех ферментов перезрелых полей. Крисфилд чувствовал, как шевелятся влажные волосы на его лбу, и сквозь обволакивающий туман коньяка различал стук падающих яблок, сопровождавший каждый порыв ветра, стрекотание ночных насекомых и бесконечный грохот пушек вдали, напоминающий ритм, выбиваемый на тамтаме.

— Слыхал, что полковник говорил? — спросил Джедкинс голосом, охрипшим от чересчур обильных возлияний.

Крисфилд рыгнул и неопределенно кивнул головой. Он вспомнил бешеную ярость Эндрюса, когда роту распустили после смотра. Эндрюс уселся тогда на бревне у полевой кухни и уставился на кусок земли, растирая его в грязь носками своих сапог.

— Значит,— продолжал Джедкинс, стараясь подражать торжественно-внушительному голосу полковника,— по вопросу о пленных...— Он икнул и сделал легкое движение рукой.— Так вот, я предоставляю это вам, но только не забывайте... только не забывайте, что гунны сделали в Бельгии! Я бы мог прибавить еще, что нам и так едва хватает продовольствия и что чем больше вы возьмете пленных, тем меньше, ребята, вам придется есть самим!

— Да, так он и сказал, Джедкинс, так и сказал.

— И чем больше вы возьмете пленных, тем меньше вам придется есть самим,— повторил Джедкинс, делая торжественный жест рукой,

Крисфилд потянулся за бутылкой. Она была пуста; он помахал ею минуту в воздухе и швырнул ее в противоположное дерево. Дождь маленьких яблок посыпался на Джедкинса. Он нетвердо поднялся на ноги.

— Говорю вам, ребята, война не пикник!

Крисфилд встал, сорвал яблоко и впился в него зубами.

— Сладко,— сказал он.

— Ничего не сладко,— бормотал Джедкинс.— Война — это вам не пикник. Говорю тебе, брат: если ты попробуешь брать пленных,— он икнул,— после того, что сказал полковник, я на тебе живого места не оставлю... вот как Бог свят, не оставлю. Выпусти им кишки, вот и все, как чучелам. Выпусти им кишки! — В его голосе вдруг послышался детский испуг.— Черт, Крис, меня тошнит,— прошептал он.

— Убирайся ты,— сказал Крисфилд, отталкивая его.

Джедкинс прислонился к дереву. Его начало рвать.

Полная луна взошла среди облаков и залила яблочный сад холодным золотистым светом. Фантастические тени переплетающихся ветвей и сучьев легли на усыпанную яблоками обнаженную землю. Шум пушек приблизился. Это был громкий, резкий грохот, соединенный с беспрерывным ревом, как будто где-то в кегельбане изо всей силы катали шары и потрясали при этом железными листами.

— И жарко же там, должно быть,— сказал Крисфилд.

— Мне лучше,— сказал Джедкинс.— Пойдем-ка, раздобудем еще коньяку.

— Я голоден,— сказал Крисфилд,— лучше попросим, чтобы старуха приготовила нам яиц, что ли.

— К черту, слишком поздно,— проворчал Джедкинс.

— Который час?

— Не знаю, я продал часы.

Они пошли через сад наудачу и вышли в поле, покрытое большими тыквами, которые блестели при луне, отбрасывая черные, как дыры, тени. Вдали виднелись лесистые холмы.

Крисфилд сорвал тыкву средней величины и подбросил ее вверх, в воздух. Она с шумом упала на землю, расколовшись на три части; влажные желтые семена рассыпались вокруг.

— Ну и силища у тебя,— сказал Джедкинс, подбрасывая вверх еще бóльшую.

— Послушай, вон там ферма; может быть, нам удастся достать яиц из курятника?

— К черту всех куриц!..

В эту минуту над безмолвными полями пронеслось пение петуха. Они побежали по направлению пения к темным строениям фермы.

— Смотри, там могут быть офицеры на постое.

Они осторожно обошли вокруг четырехугольной группы темных строений. Огня не было. Большие деревянные ворота двора легко раскрылись без скрипа. На крыше гумна вырисовывалась темным силуэтом на лунном диске голубятня. Теплый запах конюшни пахнул им в лицо, когда они прокрались в устланный навозом двор фермы. Под одним из навесов стоял стол, на котором было разложено для дозревания множество груш. Крисфилд вонзил в одну из них свои зубы. По его подбородку

полился обильный сладкий сок. Он быстро и жадно съел грушу и взялся за вторую.

— Набей карманы,— прошептал Джедкинс.

— Они могут накрыть нас!

— Черта с два накроют! Через день-другой мы пойдем в наступление.

— Мне бы яичек раздобыть.

Крисфилд раскрыл двери одного из сараев. Занах густого молока и сыров наполнил его ноздри.

— Иди-ка сюда,— прошептал он,— сыру хочешь?

Сыры, уставленные в ряд на доске, засеребрились в лунном свете, проникшем через раскрытую дверь.

— Черт, не могу я есть,— сказал Джедкинс, погружая свой тяжелый кулак в один из мягких молодых сыров.

— Не делай этого.

— А разве мы не спасли их от гуннов?

— Но, черт...

— Война, брат, это тебе не пикник, вот что,— сказал Джедкинс.

За следующей дверью они нашли кур на насесте в маленькой, устланной соломой комнате. Цыплята пыжились и издавали слабый писк.

Вдруг поднялся громкий крик кур, и все цыплята разом заклохтали.

— Бежим! — пробормотал Джедкинс и бросился к воротам.

В доме послышались пронзительные голоса женщин. Одна из них кричала: «Это боши! Это боши!», покрывая кудахтанье цыплят и вопли цесарок. Убегая, они слышали за собой резкие крики бившейся в истерике женщины, раздиравшие шелестящую осеннюю ночь.

— Проклятье,— сказал Джедкинс, еле переводя дух,— эти лягушатницы не имеют никакого права так скандалить.

Они снова нырнули в фруктовый сад. За кудахтаньем цыпленка, которого Джедкинс все еще держал, раскачивая его за ноги, Крисфилд различал пронзительные крики женщин. Джедкинс ловко свернул цыпленку шею. Давя под ногами яблоки, они быстро зашагали через сад. По мере того как увеличивалось расстояние, голос все ослабевал, пока его совсем не заглушили пушки.

— Черт, мне что-то как будто не того перед той старухой...— сказал Крисфилд.

— А разве мы не спасли их от гуннов?

— Энди думает иначе...

— Ну, если ты хочешь знать мое мнение насчет этого твоего Энди, я не очень-то высокого о нем мнения. По-моему, он просто агитатор, вот он кто,— сказал Джедкинс.

— Врешь ты!

— Я слышал, как лейтенант это говорил. Проклятый агитатор, брехун!

Крисфилд мрачно выругался.

— Ладно, поживем — увидим. Говорю тебе, братец, война — это тебе не пикник! Но что мы, черт возьми, будем делать с этим цыпленком? — сказал Джедкинс.

— А помнишь, что произошло с Эди Уайтом?

— Черт, лучше бросим его здесь! — Джедкинс описал над головой круг, держа цыпленка за шею, и швырнул его изо всех сил в кусты.

Они шли по обсаженной каштанами дороге, которая вела в их деревню. Было темно; только неровные пятна яркого лунного света посреди дороги выделялись молочной белизной между зубчатых теней листвы. Вокруг них поднимался свежий запах лесов, спелых плодов и гниющих листьев — бродящий аромат деревенской осени.

На деревенской улице перед ротной канцелярией сидел на солнце за столиком лейтенант. Перед ним сверкали три кучки монет и пестрели красиво раскрашенные банкноты. Рядом с торжественным видом стояли сержант Хиггинс, второй сержант и капрал. Солдаты стояли в очереди, и каждый, подходя к столу, почтительно отдавал честь, получал свои деньги и отходил с важным видом. Несколько деревенских жителей выглядывали из своих выбеленных домиков через маленькие окна с серыми карнизами. В красноватых лучах солнца шеренга солдат отбрасывала на желтый песок дороги неровную синелиловую тень, напоминавшую гигантскую стоножку.

За столом у окна кафе «Nox braves poilus»[1] устроились Смолл, Джедкинс и Крисфилд с звенящим жалованьем в кармане. Они видели со своего места маленький садик перед домом на противоположной стороне дороги, где за изгородью оранжевых цветов сидел на крыльце Эндрюс, беседуя со старушкой. Старушка то и дело нагибала свою маленькую белую головку, сгорбившись на низеньком стуле, стоявшем в дверях против солнца.

[1] «Наши братья фронтовики» (*фр.*).

— Вот вам! — сказал Джедкинс торжественным тоном.— Он не желает даже пойти за своим жалованьем. Этот малый невесть что о себе воображает.

Крисфилд покраснел, но ничего не сказал.

— Он ни черта не делает целый день, только болтает с этой старушонкой,— с усмешкой вставил Смолл.— Я так думаю, что она ему мать напоминает или еще там что-нибудь в этом духе.

— И вечно-то он с этими лягушками якшается, где только может. Я уверен, что он охотнее выпьет с лягушатником, чем с американцем.

— Должно быть, языку ихнему выучиться хочет,— сказал Смолл.

— Никогда он не сделается человеком в армии, вот что я вам скажу,— сказал Джедкинс.

Маленькие домики через дорогу загорелись в алом пламени заката. Эндрюс медленно и лениво встал на ноги и протянул старушке руку. Она поднялась — маленькая колеблющаяся фигурка в черной шелковой шали. Эндрюс нагнулся к ней, и она крепко поцеловала его несколько раз в обе щеки. Он пошел по дороге по направлению к лагерю с фуражкой в руке, глядя себе под ноги.

— Ишь ты, цветок-то у него за ухом торчит, словно папироса! — сказал Джедкинс, презрительно фыркнув.

— Ну и нам как будто пора,— сказал Смолл,— в шесть нужно быть на квартирах.

Они помолчали минуту. Пушки вдалеке не прекращали своего грохота.

— Скоро и мы там будем,— сказал Смолл.

Крисфилд почувствовал на спине озноб. Он помочил губы языком.

— Уж и пекло там, воображаю,— сказал Джедкинс.— Война — это вам, братцы, не пикник!

— Плевать я хотел,— отозвался Крисфилд.

Солдаты были выстроены на деревенской улице с ранцами на плечах, ожидая приказа к выступлению. Тонкие клочья белого тумана все еще держались на деревьях и над маленькими садиками. Солнце еще не всходило, но гряды облаков в бледно-голубом небе над головой отливали малиновым цветом и золотом. Люди стояли неровной линией, немного согнувшись под тяжестью своей амуниции, покачиваясь взад и вперед, притоптывая ногами и хлопая руками; уши и носы покраснели от утренней свежести, над головами поднимался пар от дыхания.

Внизу на туманной дороге появился, медленно приближаясь, темно-оливковый лимузин. Он остановился перед строем. Из противоположного дома торопливо вышел лейтенант, натягивая перчатки. Солдаты, стоя в строю, с любопытством смотрели на лимузин. Они заметили, что две шины у него совершенно сплющены, а стекло разбито. На темной краске виднелись царапины, а на дверце — три длинных зубчатых дыры, уничтожившие номер. Легкий шепот пронесся по рядам. Дверца с трудом открылась, и из автомобиля, спотыкаясь, вышел майор в светло-желтой шинели. Одна рука его, обернутая окровавленными бинтами, держалась на перевязи, сделанной из платка. Лицо его было бледно и искажено неподвижной гримасой страдания. Лейтенант отдал честь.

— Ради Бога, где тут перевязочный пункт? — спросил майор громким дрожащим голосом.

— В этой деревне нет ни одного, майор!

— А где же тогда есть, черт побери?

— Не знаю,— сказал лейтенант смиренным тоном.

— Почему вы, черт побери, не знаете? Вся эта организация, будь она проклята, ни черта не стоит!.. Майора Стенли только что убили. Как, к черту, называется эта деревня?

— Тиокур.

— Где это, черт возьми?

Шофер высунул голову. На нем не было фуражки, а волосы его были полны пыли.

— Видите ли, лейтенант, нам нужно попасть в Шалон.

— Да, вот именно, Шалон-на... Шалон-на-Марне,— сказал майор.

— У квартирмейстера есть карта,— ответил лейтенант,— последний дом налево.

— О, поедем туда скорее,— сказал майор.

Он долго возился с ручкой дверцы. Лейтенант помог ему повернуть ее. Когда он открыл дверцу, люди, стоявшие поближе, мельком заглянули внутрь. В глубине экипажа виднелся длинный предмет, завернутый в одеяло, прислоненный к спинке сиденья.

Прежде чем войти, майор нагнулся, вытащил из автомобиля шерстяной плед, держа его далеко от себя здоровой рукой, и бросил его на землю. Автомобиль медленно тронулся, и, покуда он катился вдоль деревенской улицы, люди, выстроенные на ней в ожидании приказа, с любопытством рассматривали три зазубренные дыры на дверцах.

Лейтенант смотрел на одеяло, лежавшее посередине дороги. Он тронул его ногой. Оно было пропитано кровью, которая местами свернулась в сгустки.

Лейтенант и солдаты молча смотрели на него. Солнце взошло и засияло на крышах маленьких выбеленных домиков позади них. Далеко впереди на дороге полк начал двигаться.

V

На вершине холма они остановились на отдых. Крисфилд сидел на красном глинистом берегу и осматривался кругом, поставив винтовку между колен. Перед ним на краю дороги было французское кладбище: маленькие деревянные кресты, покосившиеся во все стороны, тянулись к небу, а бисерные венки блестели на теплом солнце. Вдоль дороги, насколько хватал глаз, тянулся длинный темный червяк, извивающийся вниз по склону между лишенных крыш деревенских домов и снова вверх, теряясь в изуродованных лесах на гребне следующей цепи холмов. Крисфилд напрягал зрение, чтобы разглядеть эти дальние холмы. Они казались совсем синими в полуденной дымке. От них веяло миром и тишиной. Река блестела около быков разрушенного каменного моста и исчезала между рядами желтых тополей. Где-то в долине выстрелила большая пушка. Граната завыла в пространстве по направлению к синим мирным холмам.

Полк Крисфилда двинулся снова. Солдаты, ноги которых скользили в глинистой грязи, спускались вниз по холму большими шагами. Ремни ранцев оттягивали им плечи.

— Ну не замечательная ли это страна? — сказал Эндрюс, шедший рядом с ним.

— Я бы лучше хотел быть в автомобильной части, как этот ублюдок Андерсон.

— О, к черту все это! — сказал Эндрюс.

В одной из петель его грязной куртки все еще торчал большой, увядший оранжевый златоцвет. Он шел, подняв голову, расширив ноздри, наслаждаясь прелестью осеннего солнца.

Крисфилд вынул изо рта потухшую папиросу и свирепо плюнул на каблуки человека, шедшего перед ним.

— Это не жизнь для белого человека,— сказал он.

— Я предпочитаю быть солдатом, чем... тем,— сказал Эндрюс с горечью; он мотнул головой в сторону за-

стрявшего на дороге штабного автомобиля, наполненного офицерами.

Офицеры что-то пили из термоса, передавая его по кругу из рук в руки с видом воскресных экскурсантов. Они помахали солдатам, когда те проходили мимо, как бы сознательно разрешая себе несколько ослабить дисциплину. Один из них, маленький лейтенант с черными закрученными на концах усиками, все время кричал:

— Немцы улепетывают как зайцы, ребята! Они улепетывают как зайцы!

Неровные полувосторженные восклицания поднимались время от времени из колонн, проходивших мимо штабного мотора.

Большая пушка выстрелила снова. На этот раз Крисфилд был близко и почувствовал сотрясение, точно его ударили по голове.

— Ну и штучка,— сказал человек позади него.

Кто-то запел:

День добрый, мистер Зип-Зип-Зип!
Остригли под машинку вас,
Остригли под машинку вас,
Остригли как меня!

Все подхватили. Шаги их мерно звучали по вымощенной улице, извивавшейся зигзагами между разрушенными деревенскими домами. Мимо них проезжали свернутые лазареты: большие грузовики, наполненные забинтованными людьми с серыми лицами, от которых шел запах пота, крови и карболки.

Кто-то затянул:

Праху быть прахом
И в землю лечь...

— Брось эту,— закричал Джедкинс,— она несчастливая!

Но все подхватили песню. Крисфилд заметил, что глаза Эндрюса сверкали. «Он еще будет самый бедовый из всех»,— подумал он и заорал во все горло вместе с другими:

Праху быть прахом
И в землю лечь.
Кого газ не душит,
Уложит картечь.

Они снова взбирались вверх по холму. Дорога была изрыта глубокими выбоинами и воронками от гранат, полными грязной воды, в которой скользили их ноги. Начались леса, истерзанные остовы лесов, полные оставленных артиллерийских позиций и окопов; с расщепленных деревьев свешивалась разорванная маскировка. Земля и дорога были усыпаны жестяными банками и медными стаканами от картечи. По обеим сторонам дороги деревья, оплетенные бесконечными рядами телефонной проволоки, казалось, были обвиты лианами.

Когда они снова остановились, Крисфилд очутился на гребне холма около французской 75-миллиметровой батареи. Он с любопытством смотрел на французов, которые сидели вокруг на бревнах в своих розовых и голубых рубахах, играли в карты и курили. Их жесты раздражали его.

— Послушай, скажи им, что мы наступаем,— сказал он Эндрюсу.

— А разве мы наступаем? — сказал Эндрюс.— Ладно.

— Слушайте, правда, что фрицы улепетывают как зайцы? — закричал он французам.

Один из солдат повернул голову и засмеялся.

— Он говорит, что они улепетывают так уже четыре года,— сказал Эндрюс; он снял свой ранец, уселся на него и поискал папиросы.

Крисфилд снял свою фуражку и взъерошил волосы грязной рукой. Он положил в рот жевательного табаку и сидел, обняв руками колена.

— Долго ли, черт возьми, мы будем ждать на этот раз? — бормотал он.

Тени переплетенных и расщепленных деревьев медленно ползли через дорогу. Французские артиллеристы ужинали. Длинная вереница грузовиков, громыхая, проехала мимо, обрызгав грязью скученных по краям дороги солдат. Солнце село, и множество батарей внизу в долине открыли огонь, совершенно лишая людей возможности разговаривать. Воздух наполнился жужжанием гранат, пролетавших над головами. Французы потянулись, зевнули и спустились в свои окопы. Крисфилд с завистью следил за ними. На зеленом небе, над высокими искалеченными деревьями, начинали выступать звезды. Ноги Крисфилда болели от холода. Его охватил вдруг безумный страх перед чем-то, что должно неминуемо случиться сейчас, но колонна продолжала ждать, не двигаясь

в сгущающейся темноте. Крисфилд упорно жевал, стараясь не думать ни о чем, кроме табачного вкуса во рту.

Колонна двинулась снова; когда они взобрались на вершину другого холма, Крисфилд почувствовал странный сладковатый запах, от которого у него защекотало в ноздрях. «Газ»,— подумал он, охваченный паникой, и положил руку на маску, висевшую у него на шее. Но ему не хотелось первым надеть ее. Команды не было. Он продолжал идти, проклиная сержанта и лейтенанта. Но, быть может, они уже убиты? Ему представилось, как весь полк падает на дороге, отравленный газом.

— Чувствуешь, Энди, пахнет чем-то? — осторожно прошептал он.

— Я чувствую комбинацию из мертвых лошадей, тубероз, бананового масла, сливочного мороженого, которым мы лакомились в колледже, и мертвых крыс на чердаке... Но какое нам, черт побери, теперь до этого дело? — сказал Эндрюс, смеясь.— Обращать внимание на какую-то вонь...

— Свихнулся парень,— пробормотал Крисфилд про себя.

Он посмотрел на звезды в черном небе; при ходьбе казалось, что они движутся вместе с колонной. А может быть, и колонна и звезды стояли на месте, а уходили-то от них деревья, махая своими костлявыми, искалеченными руками? Он едва различал топот ног по дороге, так громко раздавалась канонада спереди и сзади. Перед ними то и дело разрывалась шрапнель, и ее красные и зеленые огни на мгновение смешивались со звездами. Но звезды он мог видеть только над головой. На всем остальном пространстве неба вспыхивали и угасали белые и красные зарева, как будто горизонт был в огне.

Когда они спускались вниз по склону, лес вдруг прекратился, и они увидели перед собой долину, озаренную сверканием пушек и белым светом гранатных звезд. Это было все равно что смотреть в печь, полную пылающих углей. Склон холма, спускавшийся под ними, гудел от сокрушительных разрывов, покрытый желтыми языками пламени. На батарее близ дороги, которая, казалось, должна была снести им головы при первом залпе, на фоне перемежающегося красного пламени вырисовывались в фантастических положениях темные фигуры артиллеристов. Оглушенные и ослепленные, солдаты продолжали идти по дороге. Крисфилду казалось, что они вот-вот шагнут в раскрытую пасть пушки. У подножия холма

около маленькой рощицы нетронутых деревьев они снова остановились. Новая вереница грузовиков ползла мимо них; в темноте они казались огромными пятнами. Батарей поблизости не было, и до них ясно донесся скрипящий рев передач, когда грузовики выехали на неровную дорогу, ныряя в вырытые гранатами ямы.

Крисфилд улегся в сухой ров, поросший кустарником, и задремал, положив голову на ранец; вокруг него растянулись другие. Кто-то положил ему голову на бедро. Шум несколько утих. Сквозь дрему он слышал людские голоса, разговаривавшие тихим шепотом, как будто они боялись говорить громко. На дороге шоферы грузовиков беспрерывно окликали друг друга резкими, пронзительными голосами. Моторы останавливались один за другим; наступила почти полная тишина, во время которой Крисфилд заснул.

Что-то разбудило его. Он окоченел от холода и, не чувствуя больше на себе давления чужих тел, на минуту испугался, подумав, что остался один, что рота ушла.

Над головой раздавалось гудение гигантских москитов. Он услышал, как голос лейтенанта резко прокричал:

— Сержант Хиггинс, сержант Хиггинс!

Черный силуэт лейтенанта внезапно выделился на полосе пламени. Крисфилд видел его походную фуражку, слегка сдвинутую на один бок, и защитную шинель, туго стянутую в талии и оттопыривающуюся на коленях. Лейтенант зашатался от взрыва. Снова все сделалось черным. Крисфилд поднялся на ноги, в ушах его звенело. Колонна двигалась вперед. Он услышал около себя в темноте стон. Топот ног и звяканье амуниции заглушали все остальные звуки. Он чувствовал, как на плечах у него под тяжестью ранца стирается кожа. Время от времени вспышки бомб с аэропланов за спиной освещали поврежденные грузовики на краю дороги. Где-то трещал пулемет. Но колонна продолжала идти, придавливаемая к земле ранцами и смертельной усталостью.

Когда Крисфилд останавливался, буйная вспыхивающая темнота постепенно успокаивалась, переходя в серую зарю. Веки его жгло так, как будто глазные яблоки пылали огнем. Он не чувствовал ни рук, ни ног. Пушки продолжали беспрерывно грохотать, точно молот, ударяющий по голове. Он шел очень медленно, в шеренге, изредка натыкаясь на шедшего впереди. С обеих сторон была земля — глиняные стены, с которых стекала вода. Вдруг он споткнулся и упал через несколько ступенек

вниз, в окоп, где было темно как в могиле. Незнакомый запах, от которого ему стало не по себе, ударил ему в нос, но его мысли, казалось, приходили к нему откуда-то издалека. Он ощупал стену. Колени его ударились о койку, на которой лежало одеяло. В следующую секунду он уже спал глубоким сном.

Когда он проснулся, сознание его было очень ясно. Крыша окопов была сложена из бревен, светлое пятно вдалеке была дверь. Он страстно надеялся, что не назначен в караул. Куда девался Энди? Но тут он вспомнил, что Энди помешанный, «брехун», как назвал его Джеджкинс. Он с трудом сел, снял свои башмаки и обмотки и завернулся в одеяло. Вокруг раздавался храп и глубокое дыхание спящих людей.

Его судил военный суд. Он стоял, вытянув руки по швам, перед тремя офицерами, сидевшими за столом. У всех трех были одинаковые белые лица с тяжелыми синими подбородками и брови, сходившиеся на переносице. Они громко читали что-то по бумаге, но он не мог разобрать слов, хотя и напрягал слух. Он слышал только слабый стон. Откуда-то несся незнакомый слабый запах, который смущал его. Он не в состоянии был больше стоять вытянувшись, несмотря на то, что сердитые глаза офицеров пристально смотрели на него. «Андерсон, сержант Андерсон, что это за запах? — не переставал спрашивать Крисфилд тоненьким жалобным голосом.— Пожалуйста, скажите мне, что это за запах?» Но три офицера за столом продолжали читать по своим бумагам, а стоны все громче отдавались у него в ушах, пока он сам громко не вскрикнул. В руке у него была граната, он выдернул шнур, бросил его и увидел тут же, как защитная шинель лейтенанта выступила на полосе пламени. Кто-то бросился на него. Он боролся не на жизнь, а на смерть с Андерсоном, который превратился в женщину с большими вялыми грудями. Он прижал ее к себе и обернулся, чтобы защищаться против трех офицеров, подбегавших к нему. Их шинели, туго стянутые поясами, делали их похожими на ос. Все исчезло — он проснулся.

Крисфилд все еще чувствовал странный раздражающий запах. Он сел на край нар и стал, извиваясь, натягивать свою одежду, потому что по всему его телу ползали вши.

— Черт, забавно очутиться вдруг там, где еще недавно сидели фрицы,— услышал он чей-то голос.

— Ура! Мы наступаем,— раздался другой голос.

— Кой черт, что это за наступление? Я еще ни одного немца в глаза не видал.

— А я зато слышу их запах,— сказал Крисфилд, поднимаясь на ноги.

Голова сержанта Хиггинса вдруг появилась в дверях.

— Стройся! — закричал он. Затем прибавил своим обыкновенным голосом: — Ну, ребята, идем порох нюхать!

Обмотка Крисфилда запуталась в зарослях кустарника на краю просеки. Он остановился и начал раскачивать ногу взад и вперед, чтобы освободиться. Наконец он вырвался; оборванная обмотка волочилась за ним. Там на солнце, посередине просеки, он увидел человека в темно-оливковой форме, стоявшего на коленях около какого-то предмета на земле. Немец лежал лицом вниз с красной дырой в спине. Человек обшаривал его карманы. Он посмотрел Крисфилду в лицо.

— Сувениры,— сказал он.

— Какого ты будешь полка, братец?

— Сто сорок третьего,— сказал человек, медленно подымаясь на ноги.

— Где мы, черт подери?

— Разрази меня Бог, если я знаю!

На прогалине не было никого, кроме двух американцев и немца с дырой в спине. Издали доносился грохот артиллерии, вблизи раздавалось цоканье отдельных пулеметов. Вокруг них в солнечных лучах плясали листья всех оттенков: коричневого, желтого и багряного.

— Послушай-ка, ведь эти проклятые деньги не годятся, правда? — сказал Крисфилд.

— Немецкие-то? Нет, черт побери... Я нашел часы. Штучка ничего! — Солдат, не переставая подозрительно поглядывать сквозь полуопущенные веки на Крисфилда, протянул ему золотые часы.

— Я видел там у одного малого саблю с золотой ручкой,— сказал Крисфилд.

— Где это?

— А там вон, в лесу! — Он неопределенно махнул рукой в сторону леса.— Я должен отыскать свою часть. Идем, что ли? — Крисфилд двинулся к другому краю прогалины.

— Мне и тут хорошо,— ответил другой, растягиваясь на траве под солнцем.

Листья шуршали под ногами Крисфилда, пробиравшегося через лес. Ему было жутко одному, и он торопился как мог; обмотка все еще волочилась за ним. Он дошел до проволочного заграждения, наполовину скрытого осыпавшимися буковыми листьями. Проволока была местами перерезана, но, перелезая через нее, он разодрал себе об колючку бедро. Сняв разорванную обмотку, он обвязал ею поверху свои штаны и продолжал идти, чувствуя, как кровь у него стекает вниз по ноге.

Немного погодя он вышел на тропинку, пересекавшую лес. На ней виднелась колея, тянувшаяся через глинистые, наполненные грязью выбоины. На тропинке в солнечной полосе он увидел фигуру и торопливо направился к ней. Это был молодой человек с рыжими волосами и розово-белым лицом. По золотой полоске на воротнике его куртке Крисфилд понял, что это лейтенант. На нем не было ни шинели, ни фуражки, и одежда его спереди была сплошь вымазана зеленой тиной, как будто ему пришлось лежать на животе в грязной канаве.

— Куда вы идете?

— Не знаю, сэр.

— Ладно, идем!

Лейтенант быстро пошел по тропинке, дико размахивая руками.

— Не заметили здесь где-нибудь пулеметного гнезда?

— Ни одного.

Он шел за лейтенантом, который шагал так быстро, что Крисфилд с трудом поспевал за ним, без разбору шлепая по лужам.

— Где артиллерия, вот что я хочу знать? — крикнул лейтенант, останавливаясь вдруг и ероша рукой свои рыжие волосы.— Где, к черту, артиллерия? — Он свирепо смотрел на Крисфилда своими зелеными глазами.— Какой смысл наступать без артиллерии? — Он зашагал еще быстрее.

Вдруг они увидели впереди солнечный свет и темно-оливковые формы. Вокруг них затрещали пулеметы. Опомнившись, Крисфилд увидел, что бежит через поле, покрытое жнивьем и цветущим клевером. Вокруг него толпились совершенно незнакомые люди. Ружейные выстрелы, напоминающие щелканье бича, смешались с трескотней пулеметов. Над ним по голубому небу плыли маленькие белые облака, а впереди виднелась группа белых домов с зеленоватыми крышами.

Крисфилд находился внутри дома. В каждой руке у него было по гранате, похожей на железный ананас. Внезапное одиночество снова испугало его. За домом раздавался треск пулеметов, прерываемый разрывами гранат. Он смотрел на красный черепичный пол и на фотографию женщины с ребенком, которая висела на выбеленной стене против него. Он был в маленькой кухне. В очаге горел огонь, на котором что-то варилось в черном горшке. Крисфилд на цыпочках подошел к горшку и заглянул в него. На дне кипящей воды он увидел пять картофелин. На другом конце кухни за двумя сломанными стульями была дверь. Крисфилд крадучись направился к ней; черепицы, казалось, колебались у него под ногами. Он приложил палец к замку, отдернул его и долго стоял, затаив дыхание, не спуская глаз с двери. Затем он смело распахнул ее. За столом, опустив голову на руки, сидел молодой человек с белокурыми волосами. Крисфилд почувствовал прилив радости, увидав, что на нем была зеленая форма. Он очень хладнокровно нажал пружину, подержал секунду гранату и бросил ее, отскочив на середину кухни. Белокурый человек не двинулся; его глаза по-прежнему смотрели пристально, прямо перед собой.

На улице Крисфилд наткнулся на высокого человека, который бежал со всех ног. Человек схватил его за руку и сказал:

— Заградительный отряд снимается!

— Какой отряд?

— Наш. Нужно бежать, чтобы поспеть за ними! — Голос его вырывался визгливо и отрывисто, на лице его были красные ссадины.

Они побежали вместе по пустой деревенской улице. По дороге им попался маленький рыжеволосый лейтенант, который стоял, прислонившись к выбеленной стене. Ноги его были превращены в массу из крови и разорванной одежды. Он кричал пронзительным горячечным голосом, который долго еще преследовал их по открытой дороге:

— Где артиллерия? Я хочу знать, где артиллерия?

Леса стояли серые. Роса медленно стекала с деревьев. Крисфилд с трудом поднялся на ноги с кучи листьев, на которой он спал. Он совсем окоченел от голода и холода и чувствовал себя одиноким, отбившись от своей части. Его окружали солдаты другой дивизии. Капитан с песоч-

ного цвета усами, завернувшись в одеяло, шагал взад и вперед по дороге, как раз за группой буковых деревьев. С той минуты, как рассвело, Крисфилд не переставал следить за тем, как он ходит взад и вперед за мокрыми, скученными стволами. Притопывая ногами по сырым листьям, Крисфилд отошел от группы людей. Никто, казалось, не обращал на него внимания. Деревья сомкнулись вокруг него. Он ничего не видел, кроме влажных серо-зеленых и черных стволов, да желтых листьев молоденьких деревьев, со всех сторон окружавших его. Он тупо удивлялся, почему идет по этой дороге. Где-то в глубине его сознания таилось стремление отыскать свою часть. Сержант Хиггинс, Энди, Джедкинс и Смолл, что-то сталось с ними? Он вспомнил роту, выстроившуюся к котлу, и запах жирной пищи, доносящийся из полевой кухни. Он был отчаянно голоден. Крисфилд остановился и прислонился к покрытому мхом стволу дерева. Глубокая царапина на ноге пульсировала так, как будто вся кровь из его тела устремлялась через нее.

Теперь, когда его шуршавшие шаги затихли, в лесу стало совсем тихо; слышалось только, как с листьев и ветвей каплет роса.

Крисфилд напрягал слух, чтобы уловить какой-нибудь другой звук. Вдруг он заметил, что смотрит на дерево, покрытое маленькими красными дикими яблочками. Он жадно нарвал пригоршню, но яблоки были твердые, кислые и, казалось, заставляли его еще острее чувствовать голод. Кислота во рту привела его в бешеную ярость. Он стал пинать ногой тонкое деревце в то время, как слезы обжигали ему глаза. Громко ругаясь визгливым однотонным голосом, он стал пробираться по лесу, опустив глаза в землю. Ветки злобно хлестали его по лицу, крючковатые сучья цеплялись за одежду. Он продолжал идти не останавливаясь. Вдруг он споткнулся обо что-то твердое, покатившееся по листьям.

Он остановился неподвижно, оглядываясь вокруг, охваченный ужасом. Под его ногой лежали две гранаты, немного дальше сидел, прислонившись к дереву, человек с открытым ртом. Крисфилд подумал сначала, что он спит, так как глаза его были закрыты. Он осторожно осмотрел гранаты, трубка в них не была сорвана. Он положил по одной в каждый карман, бросил взгляд на человека, который, казалось, крепко спал, и зашагал снова, пробираясь сквозь лес на другую тропинку, в конце которой он видел солнечный свет. Небо над головой было

покрыто тяжелыми багровыми облаками, кое-где окрашенными желтизной. Когда он пробивался к солнечной полосе, в голове его мелькнула мысль, что в карманах человека, мимо которого он только что прошел, мог бы найтись, пожалуй, черствый хлеб. Он простоял минуту в нерешительности, но снова упрямо двинулся дальше по направлению к солнечному пятну.

Что-то блестело в неровной бахроме солнца и тени. На земле сидел, сгорбившись, какой-то человек. Его походная фуражка была надвинута на глаза, так что маленькая золотая нашивка как раз попадала под горизонтальные солнечные лучи. Первой мыслью Крисфилда было, что он, может быть, достанет у него чего-нибудь поесть.

— Послушайте, лейтенант,— закричал он,— не знаете, где можно достать чего-нибудь поесть?

Человек медленно поднял голову. Крисфилд весь похолодел, увидев перед собой тяжелое белое лицо Андерсона; небритая борода резко чернела на его квадратном подбородке. От густой брови через левую щеку к углу рта тянулась длинная ссадина, покрытая запекшейся кровью.

— Дай воды, братец,— сказал Андерсон слабым голосом.

Крисфилд грубо, молча протянул ему свою фляжку. Он заметил, что рука Андерсона была на перевязи и что он жадно пил, проливая воду на подбородок и раненую руку.

— Где полковник Эванс? — спросил Андерсон тонким раздраженным голосом.

Крисфилд не отвечал и мрачно смотрел на него. Манерка выпала из рук Андерсона и лежала перед ним на земле. Вода блестела на солнце, вытекая на красноватые листья. Поднялся ветер, будя отклик в лесах. Дождь желтых листьев посыпался около них.

— Сначала вы были капралом, потом сержантом, а теперь вы лейтенант,— медленно произнес Крисфилд.

— Вы бы лучше сказали мне, где полковник Эванс... Вы должны знать... Он где-то здесь, на дороге,— сказал Андерсон, стараясь подняться на ноги.

Крисфилд пошел дальше, не отвечая. Холодная рука сжимала гранату в кармане. Он медленно шел, глядя себе пол ноги. Вдруг он почувствовал, что нажал пружину гранаты. Он старался вытащить ее, но она застряла в узком кармане. Его рука и холодные пальцы, сжимавшие гранату, были как будто парализованы. Вдруг его охватила горячая радость — он бросил гранату. Андерсон стоял,

шатаясь из стороны в сторону. Лес задрожал от взрыва. Густой дождь листвы посыпался вниз. Андерсон лежал плашмя на земле. Он лежал так ровно, что, казалось, сросся с землей.

Крисфилд нажал пружину другой гранаты и бросил ее, закрыв глаза. Она разорвалась в куче густых, только что опавших листьев.

Сверху упало несколько капель дождя. Крисфилд, полный теплоты и бодрости, быстро шагал, продолжая держаться все той же тропинки. Холодный дождь сильно хлестал его по спине.

Он шел, опустив глаза в землю. Голос, говоривший на незнакомом языке, заставил его остановиться. Перед ним, подняв вверх руки, стоял оборванный человек в зеленой форме с покрытой засохшей грязью бородой. Крисфилд расхохотался.

— Пойдем,— сказал он,— живо!

Человек потащился впереди его. Он так сильно дрожал, что чуть не падал при каждом шаге.

Крисфилд пнул его ногой.

Человек продолжал ковылять не оборачиваясь. Крисфилд снова ударил его ногой, чувствуя при каждом ударе, как его носок упирается в копчик и мягкое мясо бедер. При этом он не переставал так сильно хохотать, что едва разбирал, куда идет.

— Стой! — раздался голос.

— Я взял пленного! — закричал Крисфилд, все еще смеясь.

— Ну уж и пленный,— сказал человек, указывая штыком на немца.— Он, кажется, свихнулся. Я позабочусь о нем... Не стоит тащить его обратно.

— Ладно,— ответил Крисфилд, все еще смеясь.— Послушай, братец, где бы мне достать чего-нибудь поесть? Вот уже полтора дня, как у меня крошки во рту не было.

— Там, дальше по дороге, есть разведочный отряд, они дадут тебе чего-нибудь... Как дела в той стороне? — Человек указал на дорогу.

— Господи Иисусе, да откуда мне знать! У меня ничего во рту не было полтора дня!

Горячий запах похлебки тянулся от котелка к его ноздрям. Крисфилд, согревшийся и полный сознания собственной важности, набивал себе рот мягкой, жирной картошкой и подливкой, в то время как столпившиеся вокруг люди засыпали его вопросами. Постепенно им овладело

чувство сытости и довольства, вызвавшее желание спать, но ему дали винтовку, и он вынужден был снова двинуться дальше с разведочным отрядом. Отряд осторожно шел через лес по той же тропинке.

— Тут офицер лежит... готов,— сказал капитан, шедший впереди. Он слегка прищелкнул языком в знак огорчения.— Пусть двое из вас, ребята, вернутся обратно за одеялами и отнесут его на перекресток. Бедный малый! — Капитан снова двинулся, все еще продолжая слегка прищелкивать языком.

Крисфилд смотрел прямо перед собой. Теперь, шагая в рядах, он не чувствовал себя больше одиноким. Его ноги ударялись о землю в такт с другими ногами. Ему не нужно было больше думать, куда повернуть — направо или налево. Он делал то, что делали другие.

Часть четвертая

РЖАВЧИНА

I

В одной из грязных луж у края дороги прыгали крошечные зеленые лягушки. Джон Эндрюс отстал на минуту от медленно подвигавшейся колонны, чтобы поглядеть на них. На середине лужи высовывались из воды треугольные головки лягушек. Он нагнулся и уперся руками в колени, чтобы облегчить тяжесть амуниции на спине. В таком положении он мог разглядеть их крошечные, точно сделанные из драгоценных камней, глазки цвета топаза. Он чувствовал, как глаза его наполняются слезами от нежности к этим крошечным гибким тельцам. Какой-то внутренний голос твердил ему, что он должен бежать вперед, снова выстроиться и тащиться дальше по грязи, но он продолжал смотреть в лужу, наблюдая лягушек. Вдруг он заметил в луже свое отражение и стал с любопытством всматриваться в него. Эндрюс едва различал в грязной воде очертания запачканной гримасничающей маски и силуэт ружейного дула, торчавший вкось за спиной. Так вот что они из него сделали. Он снова устремил глаза на лягушек, которые плавали эластично и неторопливо, отталкиваясь ногами в глинистой воде.

Он услышал пронзительный звук взрыва шрапнели на дороге, но не обратил на него внимания, как будто все, что делалось вокруг, не имело к нему никакого отношения. Он устало выпрямился и сделал шаг вперед, как вдруг заметил, что погружается в лужу. Чувство облегчения охватило его. Ноги его погрузились в воду; он лежал, не двигаясь, на грязном краю выбоины. Лягушки исчезли, но откуда-то появился маленький красный ручеек, медленно расползавшийся в зеленоватой воде. Он следил

за неровными рядами людей в темно-оливковом, тащившихся мимо. Их шаги отдавались в его ушах. Он чувствовал ликующую отчужденность от них, точно смотрел откуда-то из окна, как мимо проходят солдаты, или, сидя в ложе театра, следил за какой-то мрачной однообразной пьесой. Он все больше и больше удалялся от них, пока они не сделались совсем маленькими, не больше игрушечных солдат, забытых в пыли на чердаке. Свет настолько потускнел, что он не мог уже видеть их и только слышал бесконечный топот их ног по грязи.

Джон Эндрюс был на лестнице, которая ужасно качалась под ним. Держа в руке пропитанную хозяйственным мылом губку, он мыл окна барака. Он начал с левого угла и одно за другим намыливал маленькие продолговатые стекла. Руки его были точно налиты свинцом, и он чувствовал, что непременно упадет с качающейся лестницы. Но всякий раз, как он нагибался, чтобы посмотреть на пол, прежде чем спуститься, глаза его встречали внизу верх генеральской фуражки и выдвигающийся из-под козырька генеральский подбородок. Чей-то голос рычал «смирно!», приводя его в такой ужас, что лестница под ним начинала колебаться еще сильнее, и он продолжал бесконечными часами размазывать по продолговатым стеклам окон царапающей губкой мыло, хотя каждый сустав его тела был истерзан колебанием лестницы. Окна, которые он продолжал методически намыливать, сверкали изнутри ослепительным светом. Это были не окна, а зеркала. В каждом из них он видел свое худое лицо, с тенью ружейного дула, торчащего вкось за спиной. Внезапно тряска прекратилась. Он погрузился в глубокий колодец мрака.

Пронзительный, разбитной голос пел ему в ухо:

В Мэриленде красотка живет —
Она сердце мне отдала...

Джон Эндрюс открыл глаза. Было совершенно темно, и только ряд прямоугольников, уходивших, казалось, в небо, горел яркой желтизной. Сознание его вдруг необычайно обострилось. Он начал торопливо-испуганно исследовать свое состояние. Эндрюс слегка приподнял голову. В темноте он различил фигуру человека, вытянувшегося плашмя рядом с ним. Человек странно мотал головой из стороны в сторону и при этом пел во все горло пронзительным, надтреснутым голосом. В эту же

минуту Эндрюс заметил, что запах карболки необычайно крепок и заглушает все другие знакомые запахи крови и потной одежды. Он пошевелил плечами, чтобы почувствовать обе перекладины носилок, затем снова устремил глаза на три ярких, желтых прямоугольника, которые поднимались в темноту один над другим. Это, несомненно, были окна, он находился около какого-то дома. Эндрюс слегка пошевелил руками — они казались свинцовыми, но не были повреждены. Тут он почувствовал, что ноги его в огне. Он постарался шевельнуть ими. Все снова потемнело во внезапном приступе боли. Голос все еще продолжал кричать ему в ухо:

Точно в сказке все стало кругом,
Как она обещалася мне...

Но слышался и другой голос, более мягкий, говоривший беспрерывно с нежными, чистыми интонациями:

— И он сказал, что они увезут меня на юг. Там есть маленький домик на берегу, такой теплый и тихий...

Песня человека, лежавшего рядом, перешла в нестройный крик, напоминавший фонограф, у которого кончается завод:

В Мэриленде красотка живет —
Она сердце мне отдала...

Откуда-то врезался другой голос, порывистыми жалобными стонами, сливавшимися в обрывки изощренных сложных ругательств. Но мягкий голос продолжал говорить не переставая. Эндрюс напрягал слух, чтобы расслышать его. Он успокаивал его боль, как будто на тело ему лили прохладное благовонное масло.

— И еще будет там, на юге, сад, полный цветов, роз и мальвы, и будет там так тепло и тихо, а солнце будет светить целый день, и небо будет такое синее...

Эндрюс почувствовал, что губы его повторяют слова, как дети повторяют молитвы.

— «И будет там так тепло и спокойно, ни шума, ни тревог. И в саду будет много, много роз и...»

Но другие голоса продолжали врываться, заглушая мягкий голос стонами и ноющими проклятиями.

— И он сказал, что я смогу сидеть на крыльце, а солнышко там такое теплое и мирное, и в саду будет так хорошо пахнуть, берег там совсем белый, а море...

Эндрюс почувствовал, как голова его, а за ней ноги поднялись в воздух. Он вынырнул из темноты в ослепительно светлый белый коридор. Ноги его трепетали в огненной муке. Около него появилось лицо человека с папиросой во рту. Чья-то рука потрогала его грудь, на которой был ярлычок. Кто-то прочел вслух:

— «Эндрюс, один — четыреста тридцать два — двести восемьдесят шесть».

Но он продолжал прислушиваться к доносившемуся из темноты голосу позади него, который не переставая вопил хриплым бредовым криком:

Точно в сказке все стало кругом,
Как она обещалася мне...

Вдруг он понял, что стонет. Его сознание целиком погрузилось в странный ритм собственных стонов. Из всего его тела жили только одни ноги и что-то в горле, стонавшее без конца. Это поглощало его целиком. Около него двигались белые фигуры; мелькали волосатые человеческие руки; какие-то огни то вспыхивали, то исчезали; странные запахи проникали через его нос и циркулировали по всему телу, но ничто не могло отвлечь его внимания от однотонной мелодии собственных стонов.

Дождь капал ему в лицо. Он задвигал из стороны в сторону головой и вдруг снова пришел в сознание. Рот его был сух, как кожа; он высунул язык, чтобы поймать несколько дождевых капель. Его резко встряхнуло на носилках. Он осторожно поднял голову, чувствуя необыкновенное наслаждение от сознания, что может еще двигать ею.

— Голову вниз! — прорычал голос около него.

Он увидел спину человека в блестящем мокром дождевике у конца повозок.

— А вы поосторожнее с моей ногой...— Он почувствовал, что снова начал беспрерывно стонать.

Вдруг носилки накренились, голова его прижалась к перекладине, и он увидел над собой деревянный потолок с облупившейся местами белой штукатуркой. Он чувствовал запах бензина и слышал шум машины. Эндрюс попытался вспомнить, сколько времени прошло с тех пор, как он смотрел на головастиков в луже. Ему живо представилась лужа с ее зеленоватой глинистой водой и маленькие треугольные головки лягушек. Но это казалось таким же далеким, как воспоминание детства. Вся его прежняя жизнь не была такой длинной, как время, про-

шедшее с той минуты, как тронулся автомобиль. Он трясся и качался, изо всех сил цепляясь руками за края носилок. Боль в ноге все усиливалась, и все остальное тело содрогалось от нее. Откуда-то снизу раздавался хриплый голос, вскрикивавший при каждой встряске санитарного автомобиля. Эндрюс боролся, сколько мог, с желанием застонать, но под конец сдался и снова погрузился в однообразный ритм своих стонов.

Дождь опять на мгновение закапал ему на лицо. Затем тело его снова прикрыли. Перед его глазами заколебался ряд домов, красноватых деревьев и труб, торчавших на свинцовом небе; их немедленно заменили потолок и свод лестницы. Эндрюс все еще тихо стонал, но глаза его с внезапным интересом приковались к резным розеткам кессонов и к щитам с гербами, составлявшим центр каждой части потолка. Потом он перевел их на лицо человека, который нес нижний конец носилок. Это было белое лицо с прыщами вокруг рта и добродушными водянисто-голубыми глазами. Эндрюс взглянул ему в глаза и попытался улыбнуться, но человек, несший носилки, не смотрел на него.

Наконец, после новых бесконечных часов тряски на носилках, заполненных агонией стонов и боли, чьи-то руки овладели им, грубо сорвали с него одежду и подняли на койку, где он и остался лежать, вдыхая освежающий запах дезинфекции, исходивший от постельного белья. Над головой он слышал голоса:

— Эта рана на ноге совсем не так уж плоха... Я думал, по вашим словам, что придется ампутировать...

— Что же это с ним, в таком случае?

— Может быть, контузия...

У Эндрюса выступил от ужаса холодный пот. Он лежал совсем тихо, закрыв глаза. Судороги возмущения одна за другой пробегали по его телу. Нет, они еще не сломили его, он все еще владеет своими нервами, твердил он про себя. Однако он чувствовал, что руки его, сжатые на животе, дрожали. Боль в ногах потонула в охватившем его страхе; он отчаянно старался сосредоточить свои мысли на чем-нибудь вне самого себя. Он пытался думать о какой-нибудь мелодии, напевать себе что-нибудь, но снова слышал в ушах только пронзительный голос, который, как ему казалось, пел над ним уже месяцы и годы.

Этот голос, выкрикивающий искаженную мелодию, и боль в ногах странно смешивались, пока не слились в одно, и боль стала казаться лишь вибрацией сводящей с ума мелодии.

Он открыл глаза. Темнота, переходящая в слабый желтоватый свет. Он торопливо начал знакомиться с состоянием своего тела; пошевелил головой и руками. Он чувствовал себя освеженным и очень слабым, но спокойным; должно быть, он проспал очень долго. Он провел своей жесткой, грязной рукой по лицу. Кожа показалась ему мягкой и прохладной. Эндрюс прижался щекой к подушке и почувствовал, что радостно улыбается, сам не зная почему.

Царица Савская* держала зонтик, увешанный маленькими алыми колокольчиками, которые издавали освежающий звон, когда она подходила к нему. Волосы ее были уложены в высокую прическу, покрытую густым слоем голубой ирисовой пудры, а на длинном шлейфе, конец которого держала обезьяна, были вышиты пестрыми цветами знаки Зодиака. Но это была не царица Савская, а сестра милосердия, лица которой он не мог разглядеть в темноте. Она ловким привычным движением подсунула ему под голову одну руку и дала выпить из стакана, не глядя на него. Он сказал «благодарю вас» своим обычным голосом, который поразил его в тишине, но она отошла не отвечая, и он увидел, что это звенел поднос, уставленный стаканами, когда она подходила к нему.

Когда она молча подошла к следующей койке, держа перед собой поднос со стаканами, Эндрюс, несмотря на темноту, заметил полные сознания собственного достоинства движения сестры. Он повернул голову на подушке, чтобы посмотреть, как она бережно подсовывала руку под голову следующего больного, чтобы напоить его.

«Девственница,— сказал он себе,— настоящая девственница». И он почувствовал, что слегка посмеивается, несмотря на приступ боли в ногах. Ему казалось, будто ум его внезапно пробудился от долгого оцепенения. Чары уныния, угнетавшие его целые месяцы, теперь рассеялись совершенно. Он был свободен. Ему пришла в голову радостная мысль, что покуда он будет лежать на этой койке в госпитале, никто не станет выкрикивать ему приказаний. Никто не прикажет ему вычистить винтовку, ему не нужно будет отдавать честь, ему не придется беспокоиться о том, чтобы понравиться сержанту. Он будет лежать здесь целыми днями, передумывая свои собственные мысли. Быть может, его ранение окажется настолько серьезным, что он будет освобожден из армии. От этой мысли сердце его забилось, как безумное. Это означало, что он, который считал себя погибшим, который позволил без сопротивления втоптать себя в тину

рабства, который не видел другого исхода из этой каторги, кроме смерти, будет жить. Он, Джон Эндрюс, будет жить!

И теперь казалось непостижимым, что он мог когда-то сдаться, что он позволил все перемалывающей дисциплине одолеть его, расправиться с ним по-своему. Он почувствовал себя снова живущим, каким он был до той минуты, когда жизнь его внезапно очутилась в тупике, до того как он сделался рабом среди рабов. Он вспомнил сад, где сиживал в детстве, грезя под миртовым кустом в жужжащий летний день, когда вокруг шелестели и золотились в зное маисовые поля. Он вспомнил тот день, когда он стоял голый посреди пустой комнаты, в то время как сержант ощупывал и измерял его. Он старался вспомнить, когда это было. Возможно ли, что с тех пор прошел только год? Однако этот год вымарал все другие годы его жизни. Но теперь он начнет жить сызнова. Он бросит это трусливое раболепие перед внешней силой. Он будет самим собой, несмотря ни на что.

Боль в ногах постепенно сосредоточивалась в ранах. Некоторое время он боролся с ней, чтобы продолжать думать дальше, но беспрерывное дерганье в ранах отдавалось в его мозгу. Несмотря на отчаянное желание привести в порядок свои бледные воспоминания, чтобы хоть слабо восстановить все, что было яркого и красивого в его жизни, создать себе новую опору для противодействия миру, опору, с которой он мог бы начать жить сызнова, он опять превращался в ноющий кусок истерзанной плоти. Он начал стонать.

Холодный стальной серый свет просачивался в палату, поглощая желтоватый блеск, который сначала порозовел, а затем совершенно исчез. Эндрюс начал различать против себя ряд коек и темные балки потолка над головой. «Должно быть, это очень старый дом»,— сказал он себе, и мысль эта смутно взволновала его. Странно, что ему вспоминалась вдруг царица Савская... Прошла уже вечность с тех пор, как он думал обо всем этом. От девушки на перекрестке, поющей под уличным фонарем, до патрицианки, обрывающей лепестки роз с высоты своих носилок,— все полуразгаданные сны, грезы и все образы человеческого желания... Это была царица Савская. Он прошептал вслух слова:

— La Reine de Saba, la Reine de Saba...[1] — И с трепетом сладостного предвкушения, какой ему случалось испыты-

[1] Царица Савская, царица Савская... (*фр.*)

вать в раннем детстве накануне Рождества в ожидании новых предстоящих радостей, Эндрюс положил голову на руку и спокойно заснул.

— Уж это только лягушатники могут сделать из такого места госпиталь,— сказал санитар.

Он стоял лицом к койкам, широко раздвинув ноги, уперев руки в бока и обращаясь ко всем, кто чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы слушать.

— По совести, не знаю, ребята, как вы все не окочуритесь в этой дыре... Тут даже электричества не было, пока мы не провели... Как вам это понравится? Это доказывает, как проклятые лягушки заботятся...

Санитар был коротенький человек с болезненным, исчерченным морщинами лицом и широкими желтыми зубами. Когда он улыбался, горизонтальные складки на его лбу и морщины, тянувшиеся от крыльев носа к углам рта, так углублялись, что лицо его казалось точно загримированным для исполнения комической роли в фильме.

— Зато вроде как бы художество, не правда ли? — сказал Эппельбаум, койка которого была ближайшей к Эндрюсу.

Это был тощий человек с большими испуганными глазами и необычайно красным лицом, с которого словно была содрана кожа.

— Поглядите-ка на работу вон там, на потолке. Стоила, должно быть, немало!

— Пожалуй, подошло бы под танцевальный зал, если бы немножко приспособить, да только уж не госпиталь... черт!

Эндрюс удобно лежал на своей койке и смотрел на палату точно из другого мира. Он не чувствовал никакой связи с разговорами, шедшими вокруг него, и с людьми, которые лежали молча или ворочались, издавая стоны, в рядах узких коек, наполнявших зал в стиле Ренессанса. Глядя поверх гримасничавшего лица и узкой головы санитара, он с трудом мог различить в желтом сиянии электрических ламп, там, где балки потолка отделялись от стены, ряд наполовину стертых щитов, поддерживаемых фигурами, высеченными из серого камня стены. Сатиры с рогами, козлиными бородами и глубоко сидящими глазами, маленькие, скорчившиеся фигурки воинов и горожан в четырехугольных шляпах, с мечами между согнутых колен, обнаженные ноги и руки, переплетающиеся с лепными зубчатыми акантовыми листьями, были едва видны, а когда электрическая лампа начинала коле-

баться взад и вперед от ветра, вызванного торопливой походкой санитара, все они, казалось, подмигивали и извивались, точно насмехаясь над рядами распростертых под ними в комнате тел. Однако Эндрюсу они казались знакомыми и дружественными существами. Он все время чувствовал смутное желание очутиться тоже там, наверху, в толпе над балкой, и гримасничать в тяжелых гирляндах гранатов и акантовых листьях, говоривших о богатых прихотях прошлого, о светлых огнях, угасших целую вечность назад. Он чувствовал себя дома в этом просторном зале, выстроенном для плавных движений и величавых походок, в которых вся мелочная обыденщина армии казалась нереальной, а раненые — разобранными автоматами, сломанными игрушками, уложенными в ряд.

Эндрюса оторвали от его дум. Эппельбаум обращался к нему; он повернул голову.

— Как тебе на больничном положении, братец?

— Чудесно!

— Чудесно, еще бы нет... Лучше небось, чем равнять целый день ряды.

— Куда ты ранен?

— Да вот одна только рука осталась... Наплевать! Только ездить больше не придется, вот и все!

— Как так?

— Я был шофером таксомотора.

— Хорошее ремесло, не правда ли?

— Еще бы! Можно хорошо зарабатывать, если умеючи.

— Так ты был шофером? — вмешался санитар.— Дело хорошее... Когда я служил в госпитале, половина переломов там была от таксомоторов. Лежала там у нас маленькая девочка, шести лет, в детской палате, так ноги у нее так начисто и отрезало по щиколотки таксомотором. Красивые волосики у нее были, русые. Гангрена... В один день сгорела... Ну, я отправляюсь. Думаю, ребята, что вы тоже не прочь бы побывать там, где я буду сегодня вечером... Единственное ваше счастье, что вам не приходится беспокоиться насчет девочек! — Санитар сморщил свое лицо в многозначительную гримасу и лукаво подмигнул.

— Послушайте, не сделаете ли вы мне одно одолжение?

— Конечно, если не слишком хлопотно будет.

— Купите мне книгу.

— Не надоели вам, что ли, книги от ХАМЛ?

— Нет... Это особенная книга,— сказал Эндрюс улыбаясь,— французская...

— Французская? Хорошо, постараюсь. Как называется?

— Флобер. Есть у вас клочок бумаги и карандаш? Я запишу.

Эндрюс нацарапал название книги на обороте рецепта.

— Вот!

— Что за черт? Кто это Антоний?.. Фью, черт! Должно быть, пикантный сюжетец. Хотелось бы мне уметь читать по-французски. Нам придется выставить вас отсюда, если вы будете читать такие книги!

— А картинки есть? — спросил Эппельбаум.

— Один парень удрал-таки отсюда с месяц назад. Не мог больше выдержать, я так понимаю. Ну, раны у него открылись и сделалось кровотечение, а теперь он переведен в тыл... Ну, я пошел! — Санитар торопливо направился к выходу из палаты и исчез.

Свет погасили, кроме лампочки над столиком сестры, стоявшим в конце палаты около разукрашенной двери. Витые колонны ее, высеченные из серого камня, выделялись над белой парусиновой ширмой, закрывавшей дверь.

— О чем эта книга, братец? — спросил Эппельбаум, крутя головой на своей худой шее, чтобы взглянуть Эндрюсу прямо в лицо.

— Про одного человека, который так сильно желал всего, что решил под конец, будто ничего и желать не стоит.

— Ты, должно быть, университетский, я так думаю! — саркастически сказал Эппельбаум.

Эндрюс засмеялся.

— Да, так вот хотел я рассказать тебе насчет своего шоферского житья. Здоровую я зашибал деньгу перед тем, как меня забрали. Ты по набору?

— Да.

— Ну и я тоже. Я вовсе не так уж высоко понимаю об этих молодчиках, которые задирают нос, потому что пошли добровольцами. А ты?

— Я тоже, черт побери!

— В самом деле? — раздался тонкий, заикающийся голос с другой стороны Эндрюса.— Ну, я могу одно сказать: если бы я не записался, все мое дело пошло бы прахом. Нет, сэр, никто не может сказать, что я сразу не пошел добровольцем.

— Ну, это ты так рассуждаешь,— сказал Эппельбаум.

— Правильно, черт возьми, я так рассуждаю!

— Ну а разве твое дело не пошло прахом все равно?

— Нет. Я могу взяться за него снова с того места, где оставил. У меня прочная фирма.

— Какая?

— Бюро похоронных процессий; папаша занимался этим еще до меня.

— Ну так ты должен себя чувствовать здесь как рыба в воде,— сказал Эндрюс.

— Вы не имеете никакого права так говорить, молодой человек! — сердито сказал гробовщик.— Я гуманный человек. Я никогда не мог бы чувствовать себя как рыба в воде в этой грязной бойне.

Сестра проходила мимо их коек.

— Как вы можете говорить такие ужасные вещи,— сказала она.— Свет потушен. Нужно лежать тихо, ребята... А вы,— она поправила простыни владельца бюро похоронных процессий,— вспомните только, что эти гунны сделали в Бельгии... Бедная мисс Капель! Такая же сестра, как и я...

Эндрюс закрыл глаза. В палате было тихо. Вокруг слышался только свистящий храп и тяжелое дыхание истерзанных людей.

— А я-то принял ее за царицу Савскую,— сказал он, делая гримасу в темноте. Затем он начал думать о музыке, которую собирался написать к царице Савской, до того как жизнь его оборвалась в пустой комнате, где они измерили его и сделали из него солдата. Стоя во мраке, в пустыне своего отчаяния, он услышит вдалеке звуки караванов, звон колокольчиков, хриплый звук рогов, крики ослов и гортанные голоса людей, распевающих песни пустынных дорог. Он поднимет глаза и увидит перед собой трех зеленых наездников, держащих под уздцы своих покрытых пеной ослов и неподвижно указывающих на него своими длинными пальцами. И вдруг горячий крутящийся вихрь музыки завьется вокруг него, звуки флейт, литавр, хриплых рогов и плачущих волынок, а факелы будут гореть красным и желтым пламенем, сплетая вокруг него огненный шатер. По краям шатра будут толпиться вьючные мулы, смуглые погонщики, покрытые пышными чепраками верблюды и слоны, сверкающие драгоценной упряжью. Обнаженные рабы согнут перед ним свои блестящие спины, расстилая ковер у его ног, и сквозь пламя факелов к нему приблизится царица Савская, покрытая изумрудами и тусклыми золотыми украшениями, а конец ее длинного шлейфа будет нести обезь-

янка, подпрыгивающая сзади. Царица положит свою руку с тонкими фантастическими ногтями на его плечо, и, глядя в ее глаза, он почувствует вдруг, что овладел всеми пламенными образами своего желания.

О, если бы только он был свободен, чтобы работать! Все месяцы, которые он загубил в своей жизни, проходили перед его глазами, точно процессия призраков. Он лежал на своей койке, глядя широко раскрытыми глазами на потолок и отчаянно надеясь, что раны его заживут еще не скоро.

Эппельбаум сидел на краю койки, одетый в чистую новую форму. На левом рукаве, который висел пустой, ясно виднелись еще сгибы, по которым он был заглажен.

— Так ты в самом деле отправляешься? — сказал Эндрюс, поворачивая на подушке голову, чтобы посмотреть на него.

— Можешь прозакладывать свои штаны, Энди... И ты бы тоже мог выбраться отсюда великолепнейшим манером, если бы немного потолковал с ними.

— О, видит Бог, как бы я хотел этого! Не то, чтобы меня так уж тянуло домой, а вот только бы вылезть из формы.

— Я ни капельки не осуждаю тебя, в следующий раз мы будем все умнее... Председателем бюро по набору — вот кем я буду теперь!

Эндрюс засмеялся.

— Если бы я не был таким простофилей...

— Ты был не единственным,— раздался из-за спины Эндрюса заикающийся голос гробовщика.

— Черт, а мне казалось, что ты пошел добровольцем, гробовщик.

— Да, так оно и было, видит Бог. Только я не знал, что все это так обернется.

— Что же, ты воображал, что это будет пикник?

— К черту! Меня не то беспокоит, что я наглотаюсь газу, или угожу под снаряд, или еще что-нибудь, а только я думал, что мы наведем тут порядок, когда придем. У меня, знаете, было большое дело по похоронной части, папаша еще до меня занимался этим. Мы имели всю самую лучшую работу в Тилетсвилле...

— Где? — перебил Эппельбаум смеясь.

— Тилетсвилл. Ты что, географии не обучался?

— Валяй дальше, расскажи-ка нам о Тилетсвилле,— сказал успокоительно Эндрюс.

— Что ж, когда там скончался сенатор Уоллес, кому поручили, по-вашему, набальзамировать его, доставить тело на вокзал и следить за тем, чтобы все было сделано как следует? Нам! Я собирался уже жениться на шикарной девице; я знал, что у меня хватит связей, чтобы устроиться или даже получить поставку, но тут я вдруг, как осел, отправляюсь и записываюсь добровольцем, да еще в пехоту к тому же... Но, черт побери, все твердили тогда, что мы будем драться, чтобы обеспечить демократии мир, и что, если кто не пойдет, никто больше с ним дела иметь не захочет.

Он вдруг закашлялся и не мог, казалось, остановиться. Наконец между кашлем раздался его слабый тоненький голос:

— Вот я и тут! Ничего не поделаешь!

— Демократия... Это, что ли, демократия, когда мы трескаем вонючую похлебку, а эта жирная баба из ХАМЛ ходит с полковником жрать шоколадное суфле?.. Хороша демократия! Но я скажу вам кое-что, ребята: не надо быть овцами!

— Ну, овец-то, пожалуй, больше, чем чего другого,— сказал Эндрюс.

— Дурак рождается каждую минуту. Это вы обязательно узнаете, когда побываете шофером, если даже ничему другому не научитесь... Нет, сэр, я буду теперь заниматься политикой. У меня хорошие связи на Сто двадцать пятой авеню... Есть у меня, видите ли, тетка, миссис Сали Шульц, на Сто тридцать второй авеню. Слыхали о Джимми О'Райане? Нет? Ну так он ее близкий друг, понимаете? Они оба католики... Ну, я пошел пока что... посмотрю, что это здесь за город... Говорят, что девочки здесь просто малина со сливками...

— Нарочно говорят, только чтобы дразнить молодчиков,— сказал, заикаясь, гробовщик.

— Хотелось бы и мне пойти с тобой,— сказал Эндрюс.

— Ты скорехонько поправишься, Энди, и попадешь в разряд А. Получишь винтовку в руки — и «вперед, ребята!», чтобы попробовать, не дадут ли фрицы на этот раз выстрела повернее... А толкует еще о простофилях! Ты самый великолепный простофиля, какого мне приходилось встречать. Что тебя дернуло докладывать лейтенанту, что у тебя ноги не очень болят?.. Ты и чихнуть не успеешь, как они выставят тебя отсюда. Ну, я иду посмотреть на мамзелей.

Эппельбаум заковылял к двери, сопровождаемый завистливыми взглядами всей палаты. Форма висела складками на его тощем теле.

— Черт, кажется, он и впрямь воображает себя будущим президентом,— сказал насмешливо гробовщик.

— Должно быть,— ответил Эндрюс.

Он снова устроился в постели и погрузился в тупое созерцание мучительно ноющей боли, с которой медленно срастались разорванные мышцы его бедер. Он изо всех сил старался забыть о боли, у него было так много, о чем подумать. Если бы только он мог лежать вполне спокойно и связывать вместе оборванные концы мыслей, которые не переставали волноваться на поверхности его сознания. Он сосчитал, сколько дней он в госпитале. Скоро, как сказал Эппельбаум, они поставят его в разряд А и отошлют обратно на каторгу, и он не успеет вернуть себе вновь свое мужество и власть над собой. Каким он был, однако, трусом, что подчинился. Сосед его продолжал кашлять, Эндрюс смотрел с минуту на очертание желтого лица на подушке, на заостренный нос и маленькие жадные глазки. Он подумал о доходном бюро, о черных перчатках, вытянутых лицах и мягких, полных такта голосах. Этот человек и его отец жили тем, что подделывались под несуществующие чувства; тем, что обволакивали действительность крепом и всякой мишурой. Для этих людей никто никогда не умирал! Для них люди «преставлялись», «в бозе почивали». И все же такие люди были необходимы. Их дело не постыднее всякой другой торговли. И вот, чтобы не повредить своей фирме и обеспечить к тому же миру демократию, этот гробовщик записался в добровольцы. Фраза эта всплыла в уме Эндрюса среди потока популярных мотивов и патриотических номеров на сцене опереточного театра. Он вспомнил огромные флаги, победно развевавшиеся над Пятой авеню, и толпы, манифестирующие с сознанием исполняемого долга. Все это могло послужить достаточным основанием для гробовщика, но не для него, Джона Эндрюса! Нет, у него не было фирмы, его не загнала в армию сила общественного мнения, он не был увлечен волной слепой веры в речи купленных агитаторов. У него не хватило силы жить. Он вспомнил о всех тех, кто в течение длинной исторической трагедии, улыбаясь, жертвовал собой ради своих идей. У него не хватило мужества шевельнуть мускулом за свою свободу, и он проявил

почти искреннюю радость, рискуя своей жизнью как солдат в деле, которое он считал бесполезным. Какое право на существование имел такой человек, слишком трусливый, чтобы постоять за свои убеждения и чувства, за весь свой облик, за все, что делало его отличающейся от его товарищей личностью, а не рабом, стоящим с фуражкой в руке, ожидая, пока кто-нибудь, более сильный, не прикажет ему действовать.

Как внезапная тошнота, поднялось в нем отвращение к самому себе. Ум его перестал формулировать фразы и мысли. Он отдался отвращению, как человек, много выпивший и крепко держащийся за вожжи своей воли, вдруг отдается очертя голову опьянению.

Он лежал очень спокойно, с закрытыми глазами, прислушиваясь к движению в палате, к голосам разговаривающих и припадкам кашля, потрясавшим его соседа. Жгучая боль однообразно пульсировала. Он чувствовал голод и старался угадать, скоро ли время ужина. Как мало давали есть в госпитале!

Он окликнул человека па противоположной койке:

— Эй, Сталки, который час?

— Да уже пора обедать! Небось нагулял уже здоровый аппетит для котлет с луком и жареной картошкой?

— Заткнись!

Звяканье оловянной посуды на другом конце палаты заставило Эндрюса еще сильнее застонать на подушке.

Проглотив обед, он взял «Искушение Святого Антония», лежавшее на кровати около его неподвижных ног, и с жадностью погрузился в великолепно модулированные сентенции, как будто книга эта была наркотиком, в котором он мог почерпнуть глубочайшее забвение самого себя. Он положил книгу и закрыл глаза. Мозг его был полон неосязаемого текучего сияния, похожего на океан в теплую ночь, когда кажется, что волна разбивается в бледное пламя и из темных вод на поверхности всплывают молочные огни, сверкают и исчезают. Он углубился в странную льющуюся гармонию, которая пробегала по всему его телу. Так серое небо перед рассветом внезапно покрывается бесконечно меняющимися узорами света, красок и тени.

Но когда он попытался овладеть своими мыслями, дать им определенное музыкальное выражение, он вдруг почувствовал себя пустым, подобно тому как заливчик в песчаном берегу, казавшийся полным серебристых ры-

бок, вдруг оказывается пустым, когда по воде проскользнет тень, и человек, вместо сверкания тысячи крошечных серебристых тел, видит в нем лишь свое бледное отражение.

Джон Эндрюс проснулся, почувствовав на своей голове холодную руку.

— Поправляетесь? — сказал чей-то голос над его ухом.

Он увидел перед собой одутловатое лицо человека средних лет с худым носом и серыми глазами, под которыми темнели большие круги. Эндрюс почувствовал, что глаза испытующе пронизывают его. Он увидел на защитном рукаве человека красный треугольник.

— Да,— сказал он.

— Я хотел бы поговорить с вами немного, братец, если вы ничего не имеете против.

— Пожалуйста, у вас есть стул? — спросил Эндрюс, улыбаясь.

— Я знаю, что с моей стороны не очень-то хорошо будить вас, но дело, видите, в том, что вы были следующим в ряду, и я боялся, что забуду вас, если пропущу теперь.

— Я понимаю,— сказал Эндрюс с внезапным решением выбить инициативу разговора из рук христианского юноши.— Сколько времени вы во Франции? Вам нравится война? — спросил он поспешно.

Христианский юноша грустно улыбнулся.

— Вы, кажется, очень бойкий малый? — сказал он.— Мечтаете, должно быть, поскорее вернуться на фронт и уложить там побольше гуннов? — Он снова улыбнулся со снисходительным видом.

Эндрюс не ответил.

— Нет, сынок, мне здесь не нравится,— сказал христианский юноша после паузы.— Я хотел бы быть дома; но великое дело сознавать, что исполняешь свой долг.

— Должно быть,— сказал Эндрюс.

— Слыхали вы о замечательном воздушном нападении наших молодцов? Недавно они бомбардировали Франкфурт... О, если бы им удалось еще стереть с карты Берлин!

— Послушайте, вы в самом деле очень сильно ненавидите их? — сказал Эндрюс тихим голосом.— Потому что в таком случае я скажу вам одну вещь, которая вас обрадует до смерти.

Христианский юноша нагнулся, заинтересованный.

— Каждый вечер, в шесть часов, в этот госпиталь приходят пленные за остатками еды. Так вот, если вы ненавидите их по-настоящему, вам нужно одолжить револьвер у одного из ваших приятелей офицеров и просто перестрелять их.

— Послушайте, где вы воспитывались, молодой человек? — Христианский юноша сразу выпрямился на стуле с выражением смятения на лице.— Разве вы не знаете, что пленные священны?

— А знаете, что наш полковник сказал нам перед отправлением в Аргоннское наступление? Чем больше мы возьмем пленных, тем меньше будет у нас продовольствия. И вы знаете, что произошло с пленными, которые были взяты! Почему вы ненавидите гуннов?

— Потому что они варвары, враги цивилизации. Вы, должно быть, достаточно образованы, чтобы понимать это,— сказал христианский юноша, раздраженно повышая голос.— К какой церкви вы принадлежите?

— Ни к какой.

— Но вы должны быть в какой-нибудь церкви. Не могли же вы вырасти язычником в Америке. Каждый христианин принадлежит или принадлежал к той или иной церкви по крещению.

— Я не претендую на звание христианина.

Эндрюс закрыл глаза и отвернул голову. Он чувствовал, как христианский юноша нерешительно потоптался около него. Немного погодя он открыл глаза. Христианский юноша склонился над следующей кроватью.

Через окно на противоположной стороне палаты он видел кусок голубого неба среди белых с лиловыми тенями облаков, похожих на лепные украшения. Он не отрывал от него глаз, пока облака, начавшие золотиться на закате, не закрыли его. Бешеная безысходная злоба сжигала его. Как эти люди наслаждались ненавистью! В этом отношении уж лучше было на фронте. Люди были гуманнее, когда убивали друг друга, чем когда говорили об этом. Итак, цивилизация была не чем иным, как огромной башней лицемерия.

И война являлась не крушением, а самым полным и совершенным проявлением ее. Но должно же существовать в мире что-то еще, кроме ненависти, алчности и жестокости. Неужели все эти великолепные фразы, которые парили над человечеством подобно веселым воздушным змеям, были также только лицемерием? Бездушные змеи, да, вот именно,— сооружение из тонкой бумаги, которое держат на конце веревки; украшение, которое

не следует принимать всерьез. Он подумал о всей бесконечной веренице людей, страдавших от невыразимой пустоты человеческой жизни, пытавшихся словами изменить положение вещей, проповедовавших потустороннее. Какие это были туманные, загадочные личности — Демокрит, Сократ, Эпикур, Христос; их было так много, и образы их так смутно вырисовывались в серебристом тумане, что он готов был принять их за плод своего собственного воображения. Лукреций, Святой Франциск, Вольтер, Руссо, и как много еще, известных и неизвестных, за эти долгие трагические столетия; некоторые из них плакали, а некоторые смеялись, и слова их поднимались, сверкая точно мыльные пузыри, способные ослепить людей на мгновение, и затем превращались в прах. Он чувствовал сумасшедшее желание присоединиться к побежденным, броситься в неизбежное поражение. Изжить свою жизнь так, как он этого хотел, несмотря ни на что, снова провозгласить подложность Евангелий, под покровом которых алчность и страх наполняли все большими и большими страданиями и без того уже невыносимую агонию человеческой жизни.

Как только он выйдет из госпиталя, он дезертирует. Решение неожиданно сложилось в его мозгу и заставило возбужденную кровь торжествующе заволноваться в его теле. Ничего другого не остается — он сделается дезертиром. Он представил себе, как он, хромая, убегает в темноте на своих искалеченных ногах, срывает с себя форму и теряется в каком-нибудь захолустном уголке Франции или пробирается по тропинкам в Испанию — на свободу! Он готов был перенести что угодно, взглянуть в лицо какой угодно смерти ради нескольких месяцев свободы, в которой он мог бы забыть унижения этого последнего года.

Огромная радость охватила его. Ему казалось, что он в первый раз в жизни решил действовать. Все прежнее было лишь бесцельным метанием. Кровь пела в его ушах. Он устремил глаза на полустертые фигуры, поддерживающие щиты под балками потолка против его койки. Они, казалось, выпрямляли свои скорченные члены и ободряюще улыбались ему. Он видел в них рыцарей из старых сказок, сокрушающих драконов в зачарованных лесах, искусных мастеров, купидонов, сатиров и фавнов. И ему казалось, что все они выскакивают из своих ниш и увлекают его с собой в безрассудно бешеной скачке, под звуки флейт, в последний обреченный натиск на твердыни страдания.

Огни погасли, и санитар обошел койки, разливая шоколад, который с приятным шипением наполнял оловянные кружки. Чувствуя жирный привкус шоколада во рту и теплоту его в желудке, Джон Эндрюс заснул.

Когда он проснулся, в палате царила суета. Красноватое солнце проникало сквозь противоположное окно, и снаружи доносился смешанный шум, колокольный звон и рев свистков. Эндрюс посмотрел мимо своих ног на койку Сталки. Последний сидел, выпрямившись на кровати, с круглыми, широко раскрытыми глазами.

— Ребята! Война кончилась!

— Вышвырни-ка его вон, ребята!

— Засохни!

— Заткни фонтан!

— Привяжите этого быка за рога! — раздалось со всех сторон.

— Ребята! — закричал Сталки еще громче.— Истинная правда, война кончилась! Мне как раз снилось, что кайзер заходит ко мне, на Четырнадцатой улице, и бросает на прилавок медяк за стакан пива. Война кончилась. Не слышите вы, что ли, свистков?

— Ладно, собирайся домой, ребята!

— Заткнитесь вы там! Выспаться не дадут человеку.

Палата снова успокоилась, но все глаза были широко раскрыты. Люди лежали странно спокойно на своих койках, ожидая и дивясь.

— Я только одно скажу,— закричал снова Сталки,— что уж это была всем войнам война, пока держалась! А? Что я вам сказал?

Парусиновая ширма, закрывавшая дверь, судорожно перевернулась, и в палату вошел майор. Фуражка была косо нахлобучена на его красную физиономию, а в руке он держал медный звонок и звонил как безумный, проходя по палате.

— Ребята! — закричал он густым ревом человека, объявляющего очки в бейсболе.— Война кончилась в четыре часа три минуты сегодня утром... Перемирие подписано! К черту кайзера!

Затем он бешено зазвонил в обеденный звонок и стал танцевать между рядами коек, держа за руку старшую сестру, которая в свою очередь держала другую сестру и т.д. Цепь, подпрыгивая, продвигалась по палате. Передние пели «Усыпанное звездами знамя», а арьергард — «Янки идут», и все это покрывал майор, звонивший в свой медный колокол. Люди, которые чувствовали себя уже доста-

точно хорошо, уселись на кроватях и орали во все горло. Другие беспокойно ворочались, потревоженные оглушительным шумом.

Они обошли палату кругом и вышли, оставляя за собой смятение. Звон колокола слабо доносился из другой части здания.

— Ну, что ты скажешь на это, гробовщик? — спросил Эндрюс.

— Ничего.

— Как так?

Гробовщик перевел свои маленькие черные глазки на Эндрюса и посмотрел ему прямо в лицо.

— Ты знаешь, чем я болен, кроме раны, не правда ли?

— Нет.

— При моем-то кашле? Я думал, что ты наблюдательнее. У меня, брат, туберкулез.

— Откуда ты это знаешь?

— Они собираются завтра перевести меня в палату для туберкулезных.

— Черт бы их побрал!..

Слова Эндрюса затерялись в пароксизме* кашля, охватившем его соседа.

Домой, ребята, собирайтесь!
Отчизна ждет...

Выздоравливающие пели под управлением Сталки, стоявшего на своей койке в розовой лазаретной пижаме. Штаны были слишком коротки и открывали большую часть его жилистых, обросших рыжими волосами ног. Он отбивал такт двумя мисками, ударяя их одну об другую.

— Домой... Я никогда не попаду домой,— сказал гробовщик, когда шум немного затих.— Знаете, чего бы я хотел? Чтобы война продолжалась до тех пор, пока все эти прохвосты не были бы перебиты.

— Какие прохвосты?

— Те, которые притащили нас сюда! — Он снова слабо закашлялся.

— Но они-то как раз будут в безопасности, если даже все остальные...— начал Эндрюс.

Его перебил громовой голос с конца палаты:

— Смирно!

Домой, ребята, собирайтесь!
Отчизна ждет...—

продолжалась песня... Сталки взглянул на конец палаты, увидев майора, выронил миски, которые вдребезги раз-

бились около его койки, и залез как можно глубже под одеяло.

— Смирно! — снова прогремел майор.

В палате воцарилась вдруг неловкая тишина, нарушаемая только кашлем соседа Эндрюса.

— Если я еще услышу шум в этой палате, я выставлю вас всех до единого из госпиталя, а кто не может ходить — поползет!.. Война кончена, но вы служите в армии, не забывайте этого.

Глаза майора гневно сверкнули по рядам коек. Он повернулся на каблуках и вышел в дверь, бросив по дороге сердитый взгляд на перевернутую ширму. В палате было тихо. Снаружи ревели свистки, неистово звонили колокола и время от времени раздавалось пение.

II

Снег бил в стекла и барабанил по железной крыше флигеля, пристроенного к боковой стене госпиталя и носившего громкое название гостиной. Это было мрачное помещение, украшенное полосками пыльных маленьких бумажных флагов, которыми один из христианских юношей украсил косые балки потолка для празднования Рождества. Столы в комнате были завалены разорванными журналами, а на прилавке в глубине комнаты были выстроены треснувшие белые чашки в ожидании одного из тех редких случаев, когда можно было получить какао. Посередине комнаты против стены главного здания горела печь, около которой сидели, лениво беседуя, несколько человек в госпитальных халатах. Эндрюс наблюдал за ними со своего места у окна, глядя на их широкие спины, наклонившиеся к печке, и на руки, бессильно свисавшие с колен, точно ослабев от скуки.

Воздух был насыщен запахом угольного газа, смешанного с карболкой от одежды солдат и застоявшимся папиросным дымом. Христианский юноша, коротенький рыжеволосый человек с веснушками, сидел за стойкой с белыми чашками и читал парижское издание «Нью-Йорк геральд». Эндрюс, сидя у окна, чувствовал, как окружающая косность заражает его. На коленях у него лежала тетрадка нотной бумаги, которую он нервно сворачивал и разворачивал, глядя на печь и на неподвижные спины людей около нее. Печь слегка гудела, газета христианского юноши шуршала, человеческие голоса время

от времени доносились как тягучий шепот, а на дворе снег ровно и монотонно ударялся о стекла окон. Эндрюс смутно представлял себе, что быстро идет по улицам: снег жалит ему лицо; вокруг бурлит жизнь города; мелькают лица, глаза, разгоряченные холодом, блестящие из-под полей шляпы, на минуту заглядывают в его глаза и проносятся дальше; стройные фигуры женщин скользят, закутанные в шали, смутно обрисовывающие контуры груди и бедер. Он задумался о том, сможет ли он еще когда-нибудь свободно и бесцельно бродить по улицам города. Он вытянул перед собой на полу ноги — странные, онемевшие, дрожащие ноги; но не раны придавали им эту свинцовую тяжесть, а косность окружавшей его жизни, проникавшая, казалось, в каждую извилину его мозга, так что он никак не мог ее стряхнуть,— косность пыльных испорченных автоматов, совершенно утративших собственную жизнь; автоматов, конечности которых так долго подвергались муштровке, что потеряли способность самостоятельно двигаться и сидели теперь поникшие, погруженные в уныние, ожидая приказаний.

Эндрюс внезапно оторвался от своих мыслей. Он следил за снежными хлопьями, кружившимися в сверкающем танце за оконным стеклом, как вдруг услышал около себя звук потираемых рук. Он поднял глаза. Маленький человечек с толстыми щеками и серыми, как сталь, волосами, аккуратно приглаженными на черепе, стоял у окна, потирая свои маленькие белые ручки и издавая при каждом дыхании легкое жирное сопение. Эндрюс заметил, что розовую шею маленького человечка окружает белый пасторский воротничок, а из хорошо скроенных рукавов его офицерской формы выглядывают накрахмаленные манжеты. Пояс и кожаные обмотки были прекрасно начищены. На плече у него был прикреплен маленький, скромный серебряный крестик. Взгляд Эндрюса снова поднялся к розовым щекам: вдруг он почувствовал на себе взгляд серых стальных глаз.

— Вы, как видно, совсем поправились? — сказал певучий пасторский голос.

— Кажется, да.

— Великолепно, великолепно! Но не хотите ли перейти на тот конец комнаты? Вот так! — Он последовал за Эндрюсом, продолжая говорить наставительным тоном: — Мы немного помолимся, а потом я расскажу вам кое-что интересное, ребята.

Рыжий христианский юноша покинул свое место и остановился посреди комнаты (газета все еще болталась у него в руке).

— Пожалуйста, ребята, переходите туда, в конец комнаты. Спокойно, пожалуйста, спокойно,— сказал он скучающим голосом.

Солдаты вяло поплелись к складным стульям, расставленным в глубине комнаты и, поговорив еще немного, затихли.

Кто-то вышел, а несколько человек на цыпочках вошли и уселись в переднем ряду. Эндрюс с какой-то отчаянной покорностью опустился на стул и, закрыв лицо руками, уставился лбом в пол.

— Ребята,— раздался скучающий голос христианского юноши.— Позвольте представить вам преподобного доктора Скиннера, который,— голос христианского юноши неожиданно зазвучал глубоко патриотическим чувством,— который только что вернулся из германской оккупационной армии.

При словах «оккупационная армия» — точно нажали какую-то пружину — все захлопали и заликовали. Преподобный доктор Скиннер окинул своих слушателей добродушно-самоуверенным взглядом и поднял руки, показывая свои пухлые розовые ладони. Он приглашал к тишине.

— Прежде всего, дорогие друзья мои, предадимся на несколько минут молчаливой молитве нашему небесному Создателю.— Голос его то возвышался, то затихал в слащавой певучести человека, привыкшего служить обедню для хорошо одетых и сытых прихожан.— Потому что Он ниспослал нам спасение в облегчение наших горестей. Помолимся, чтобы Он, по великой милости своей, даровал нам вернуться целыми во плоти и чистыми сердцем к нашим семьям, женам, матерям и тем, которых мы когда-нибудь удостоим именем жены, с нетерпением ожидающим вашего возвращения, и провести остаток жизни в полезном служении великой стране, за безопасность и славу которой мы принесли в добровольную жертву нашу молодость. Помолимся!

В комнате воцарилось унылое молчание. Эндрюс слышал вокруг себя напряженное дыхание людей и шелест снега по железной крыше. Несколько ног зашаркали по полу. После долгой паузы голос снова начал нараспев:

— Отче наш, иже еси на небесех...

При слове «аминь» все весело подняли головы. Глотки прочистились, стулья заскрипели, люди приготовились слушать.

— Теперь, друзья мои, я намерен в нескольких словах дать вам маленькое представление о Германии, так чтобы вы могли понять, каким образом ваши товарищи из оккупационной армии умудряются устраиваться среди гуннов. Мне пришлось есть рождественский обед в Кобленце. Как вам это понравится? Мне и в голову никогда не приходило, что Рождество может застать меня на чужбине, далеко от близких. Но чего только не бывает с нами в этом мире. Рождество в Кобленце под американским флагом!

Он остановился на минуту, чтобы дать затихнуть пробежавшим аплодисментам.

— Индюк был, должен вам сказать, отличнейший... Да, наши ребята очень недурно устроились в Германии и ждут только одного слова, чтобы, если понадобится, продолжать свое победоносное наступление на Берлин. Потому что, как я должен, к сожалению, сообщить вам, друзья мои, немцы отнюдь не изменились нравственно, как мы на это надеялись. Они действительно переменили название своих учреждений, но дух их остался тот же... Какое сильное разочарование это должно принести нашему великому президенту, который приложил столько стараний, чтобы образумить немецкий народ, заставить немцев понять, какой ужас они сознательно навлекли на мир. Увы! Как они далеки от этого! Они сделали попытки пошатнуть дух наших войск предательской агитацией...

Легкая буря проклятий пронеслась по комнате. Преподобный доктор Скиннер воздел пухлые розовые ладони и благостно улыбнулся.

— Пошатнуть дух наших войск, так что командующему генералу пришлось ввести строжайшие правила, чтобы не допустить этого. Действительно, друзья мои, я очень опасаюсь, что мы слишком рано остановились в нашем победоносном наступлении. Следовало бы окончательно раздавить Германию. Но теперь нам остается только наблюдать, ждать и поддерживать решения тех великих людей, которые в скором времени соберутся на конференцию в Париже. Позвольте мне, дорогие друзья мои, выразить надежду, что вы в самом близком будущем залечите свои раны и будете готовы снова бодро нести службу в рядах нашей славной армии, которая, я боюсь, должна будет еще некоторое время оставаться действующей и защищать, в качестве американцев и христи-

ан, цивилизацию, которую вы так благородно отстояли от бессердечного врага. Соединимся же теперь в пении гимна «Восстань, восстань за Иисуса», который, я уверен, вы все знаете!

Все встали, кроме нескольких безногих, и нетвердо пропели первую строфу гимна. Вторая строфа разъехалась совершенно; христианскому юноше и преподобному доктору Скиннеру пришлось одним допевать ее во всю силу своих легких.

Преподобный доктор Скиннер вынул свои золотые часы и посмотрел на них, нахмурившись.

— О, я прозеваю свой поезд,— пробормотал он.

Христианский юноша помог ему надеть его широкую походную шинель, и оба они поспешно вышли.

— Ну и важные же на нем обмотки,— сказал безногий человек, сидевший на стуле у печки.

Эндрюс, смеясь, подсел к нему. У солдата были выдающиеся скулы и мощные челюсти, но светло-карие глаза и тонко очерченные губы придавали его лицу выражение глубокой мягкости.

— Кто-то говорил, что он будет папиросы раздавать от Красного Креста. Надули нас на этот раз...— сказал Эндрюс.

— Хочешь курнуть? У меня есть одна,— сказал безногий человек.

Он протянул Эндрюсу широкой сморщенной рукой, имевшей прозрачный оттенок алебастра, коробку с папиросами.

— Спасибо.

Зажигая спичку, Эндрюс нагнулся над безногим, чтобы дать ему закурить. Он не мог не взглянуть вниз на тужурку и темные штаны, свободно свисавшие со стула. Холодная дрожь пробежала по нему. Он подумал о зигзагах шрамов на своих собственных бедрах.

— Тебе тоже в ногу угодило, братец? — спокойно спросил безногий человек.

— Да, но мне посчастливилось... Давно ты здесь?

— С тех пор как Христос служил капралом... Право, не знаю. Я попал сюда через две недели после того, как моя часть в первый раз вышла в окопы... а было это шестнадцатого ноября, в прошлом году... Немного мне пришлось видеть этой самой войны, да я так думаю, что мало потерял...

— Верно... Но все-таки на армию ты, должно быть, достаточно нагляделся?

— Это правильно. Я думаю, что война была бы еще не самым плохим делом, если бы не армия.

— Они скоро отправят тебя домой, так ведь?

— Да, должно быть... Ты откуда будешь?

— Из Нью-Йорка,— сказал Эндрюс.

— А я из Кранстона, в Висконсине. Знаешь эти края? Там, главное, насчет озер раздолье. Можешь плыть в лодке день за днем без единого волока. У нас там была стоянка на большом озере. Бывало, чудно время проводили там... Жили как дикари. Я однажды бродил три недели, да так и не встретил ни одного дома. Приходилось тебе когда-нибудь подолгу плавать на лодке?

— Приходилось, только не очень.

— Вот уж эта штука, брат, здорово закаляет парня. Первое дело, как выскочишь из-под одеяла, прыгнуть в воду и поплавать. Эх, славно плавать, когда по воде все еще утренний туман стелется, а солнышко чуть только задевает верхушки берез! А приходилось тебе слышать запах свинины, когда она жарится, то есть, я хочу сказать, там, в лесу, на сковороде, над костром из еловых веток и буковых сучьев?.. Важно пахнет!.. Погребешь вот этак целый день, почувствуешь, что устал и прожжен солнцем до самых пяток, сядешь около костра, а на нем какая-нибудь форель поджаривается на угольях и тут же шипит свинина на сковородке... Эх, брат! — Он широко развел руками.

— Господи, до чего бы мне хотелось свернуть шею этому маленькому пастору! — сказал вдруг Эндрюс.

— В самом деле? — Безногий с улыбкой перевел на Эндрюса свои карие глаза.— Я думаю, что он виноват не больше всякого другого молодчика в этом роде. И у немцев, должно быть, тоже найдутся такие.

— А ты не думаешь, что мы завоевали мир для демократии? — спросил тихо Эндрюс.

— Черт, откуда мне знать. А вот бьюсь об заклад, что тебе никогда не приходилось развозить лед! А я проделывал это целое лето, там, у себя, дома... Ну и жизнь была! Вставал в три часа утра и таскал по сто или двести фунтов льда каждому в ледник. Вот уж жизнь, здорово закалит хоть кого! Ездили мы вдвоем с большим норвежцем, звали его Олаф. Никогда я такого сильного человека не встречал. А заливал как! Вот уж умел выпить парень! Я видел раз, как он пропустил двадцать пять коктейлей из коньяка, а потом пошел как ни в чем не бывало купаться. Во мне было весу сто восемьдесят фунтов, а он поднимал меня одной рукой и перебрасывал через пле-

чо... Да, уж эта жизнь хоть кого могла закалить. Бывало, прогуляем до поздней ночи, а в три часа вскакиваем уже с постели бодрые, как кошки.

— А что он теперь делает? — спросил Эндрюс.

— Он умер на транспорте, когда переезжал сюда. Умер от инфлюэнцы*. Я встретил парня, который приехал с его полком. Они выбросили его за борт, когда проходили у Азорских островов... Ну а я вот не умер от инфлюэнцы. Хочешь еще папиросу?

— Нет, спасибо!

Они замолчали. В печке гудел огонь. Никто не разговаривал. Люди дремали, развалившись на стульях. Время от времени кто-нибудь плевался. За окном Эндрюс видел нежный белый хоровод снежинок. Руки и ноги его казались очень тяжелыми; ум пропитался пыльной косностью, напоминающей затхлость старых чердаков и чуланов, где среди обветшавших обломков всякой утвари и треснувшей грязной посуды валяются груды сломанных игрушек.

Джон Эндрюс сидел на скамье в сквере, обсаженном липами, под бледными лучами зимнего солнца, падавшими ему прямо на лицо и руки. Он посмотрел сквозь ресницы на солнце, цвета меда, и медленно опустил ослепленные глаза сквозь черное кружево веток вниз по зеленым стволам на противоположную скамью. Там сидели две няньки и между ними крошечная девочка с нежно окрашенным лицом, безжизненным, как лицо куклы, в плоеном платьице, из-под которого выглядывали маленькие, словно выточенные из слоновой кости, коленки и ножки, обутые в белые носки и желтые сандалии. Над желтым венчиком ее волос парил яркий красный шар, который девочка держала за веревку; солнце просвечивало через него как сквозь стакан красного вина. Эндрюс долго смотрел на нее, очарованный нежностью фигурки, так нелепо выделявшейся между тяжелых фигур нянек. У него мелькнула мысль, что прошли уже месяцы — были ли это только месяцы,— с тех пор как руки его дотрагивались до чего-нибудь нежного, с тех пор как он видел цветы. Последний цветок дала ему старая женщина в деревне в Аргоннах, золотистый ноготок, и он помнил, каким мягким оказалось прикосновение к его щеке сморщенных губ старушки, когда она нагнулась и поцеловала его. Мозг его внезапно озарило, точно поток музыки, представление о сладости спокойной жизни, однообразно протекающей в полях, на серых улицах ма-

леньких провинциальных городов и старых кухнях, пропитанных запахом ароматов трав с привкусом дыма от очага, где на окнах стоят горшки с цветущим базиликом.

Что-то заставило его подойти к девочке и взять ее за ручку. Девочка подняла глаза и, увидев перед собой худого солдата с бледным, тощим лицом и светлыми соломенными волосами, выбивавшимися из-под слишком тесной фуражки, вскрикнула и выпустила веревку шара, который тотчас же медленно поднялся в воздух, слегка вздрагивая под порывами слабого холодного ветра. Девочка отчаянно вопила, и Эндрюс, растерявшийся под яростными взорами нянек, стоял перед ней красный как рак, бормоча извинения, не зная, что предпринять. Белые чепцы нянек нагнулись над девочкой, утешая ее, и ленты запорхали вокруг головы ребенка. Эндрюс уныло отошел, изредка взглядывая на шар, который высоко парил черным пятнышком на серых дымчатых облаках.

— Паршивый американец! — услышал он восклицание одной из нянек.

Но это был его первый свободный час за целые месяцы, первая минута одиночества. Он должен жить; скоро его снова отправят в его часть. Жажда неистовых плотских наслаждений потрясла его вдруг, заставляя желать дымящихся блюд с яствами, обильно облитыми пряными соусами; мечтать о том, чтобы упиться крепкими винами, кататься на пушистых коврах в объятиях обнаженных страстных женщин. Он шел по тихой серой улице провинциального города с низкими домами, красными колпаками дымоходов, голубыми аспидными крышами и неровными желтоватыми булыжниками мостовой. Где-то вдалеке часы пробили низкими гулкими ударами четыре. Эндрюс засмеялся. Ему нужно быть в госпитале в шесть часов.

Он начинал уже чувствовать усталость; ноги болели. Перед ним гостеприимно выросло окно кофейной, опустошенной, как водится, военным временем. Вывеска на английском языке гласила: «Чай». Он вошел и уселся в маленьком шумном зале. Столики были покрыты красными скатертями, а посередине каждой стены на обоях, выделанных под парчу, висели литографии в розовых и зеленоватых тонах. Под одной из них, с надписью «Secret d'amour»[1], изображавшей парадную постель, сидели три молодых офицера; они бросали холодные раздраженные взгляды на этого рядового с больничным видом, вошед-

[1] «Тайна любви» (*фр.*).

шего в их кафе. Эндрюс в свою очередь уставился на них, пылая тяжелым гневом. Он сидел перед белым листом нотной бумаги, потягивая горячий ароматный чай, и против воли прислушивался к тому, о чем говорили офицеры. Они говорили о Ронсаре*. Эндрюс с удивлением и раздражением услышал это имя. Какое право имели они говорить о Ронсаре? Он знал о нем больше, чем они. Бешеные высокомерные фразы волновались в его мозгу. Он был так же чуток, человечен, так же интеллигентен и начитан, как и они,— какое право имели они бросать на него эти холодные, подозрительные взгляды, которые сразу указали ему его место, когда он вошел в комнату? Однако это было, должно быть, таким же бессознательным и неизбежным явлением, как и его собственная горькая зависть. Одна мысль о том, что, если один из этих людей подойдет к нему, он должен будет встать, отдать честь и смиренно отвечать ему — не из вежливости, а из страха перед наказанием,— была для него горше полыни. Она наполняла его детским желанием показать себя достойным их. Нечто подобное он испытывал, бывало, в школе, когда старшие мальчики обижали его. Он молился тогда о том, чтобы в доме случился пожар и он мог бы геройски спасти их всех. Во внутренней комнате, где в темноте уныло громоздились на столах перевернутые вверх ногами стулья, стояло пианино. Он едва не уступил желанию пойти туда и заиграть, чтобы блеском своей игры заставить этих людей, видевших в нем грубый автомат, что-то среднее между человеком и псом, признать в нем равного, высшего.

— Ну, война кончена. Нужно начинать жить,— сказал один из офицеров.

— А что вы скажете, не отправиться ли нам в Париж?

— Рискованно.

— А что нам могут сделать? Ведь мы не призывные, отправят домой — вот и все. А я только этого и хочу.

— Вот что я вам скажу: мы отправимся сейчас в «Синюю свинью», выпьем по коктейлю и обсудим этот план. Все равно мы будем праздновать и пить вовсю, пока майор Пибоди правит в свое удовольствие в Дижоне.

Офицеры вышли, звеня шпорами. Жгучее отвращение охватило Джона Эндрюса. Он стыдился своего завистливого раздражения. Если бы он играл на рояле в кружке своих друзей в Нью-Йорке и в комнату вошел бы человек, одетый как рабочий, не почувствовал ли бы он на минуту невольное раздражение? Счастливые неизбежно должны ненавидеть несчастных, потому что они боятся

их. Но он уже так устал от всех этих мыслей! Допив одним глотком остатки своего чая, он спросил у сидевшей за белой конторкой старушки с маленькими черными усиками над бескровными губами, не будет она иметь что-либо против, если он поиграет на рояле? В пустой чайной комнате среди уныло перевернутых стульев его огрубевшие пальцы двигались по клавишам точно деревянные. Он забыл все остальное. Запертые на замок двери его воображения широко распахнулись, открывая роскошные забытые залы. Царица Савская, причудливая как сатир, белая и пылающая, подобно великой неукротимой Афродите, мирами желания, стояла, положив руку ему на плечо, вызывая в его теле трепет горячей неги, в то время как голос ее напевал ему на ухо все неисчерпаемое сладострастие жизни.

Где-то в темноте пробили астматические часы: семь. Джон Эндрюс расплатился, попрощался со старушкой с усиками и поспешил на улицу.

«Точно Золушка с бала»,— подумал он. Но по мере того как он приближался по слабо освещенным улицам к госпиталю, шаги его все замедлялись и замедлялись. «Зачем возвращаться туда? — твердил ему внутренний голос.— Все лучше, чем это. Лучше даже броситься в реку, чем вернуться туда». Он представил себе груду темно-оливковой формы среди сухого тростника на берегу реки... Представил себе, как пробивается голый через пленку льда в черную, словно китайский лак, воду. А когда он вылезет, окоченелый и задыхающийся, на другой стороне, не сможет ли он начать жизнь снова, как будто он только что родился? Каким бы сильным он был, если бы мог начать жизнь во второй раз! Как безумно, как радостно стал бы он жить теперь, когда войны больше не было! Он дошел до дверей госпиталя. Дрожь невыносимого отвращения пробежала по нему.

Он стоял безгласно и покорно: сержант делал ему выговор за опоздание.

Эндрюс долго смотрел не отрываясь на линию щитов, поддерживающих темные балки потолка на стене против его койки. Эмблемы были стерты, и фигуры из серого камня, толпившиеся под щитами — сатир со своими косматыми козлиными ногами, горожанин в четырехугольной шляпе, воин с мечом между ног — были исцарапаны и обломаны уже давно, во время других войн. В ярком дневном свете они казались до того искалечен-

ными, что едва можно было разглядеть их. Он удивился, вспомнив, какими живыми они казались ему, когда он лежал на койке, находя опору в их дружбе, в то время как его заживающие раны зудели и болели. Покидая палату, он еще раз с нежностью взглянул на фигуры из серого камня.

Внизу, в канцелярии, где воздух был неподвижен от запаха лака, пыльной бумаги и табачного дыма, он долго ждал, беспокойно переминаясь с ноги на ногу.

— Что вам нужно? — спросил рыжеволосый сержант, не отрывая глаз от груды бумаг на столе.

— Я жду литеры.

— Ведь я велел вам прийти в три часа.

— Теперь три.

— Гм!

Сержант не отрывал глаз от бумаг, шуршавших, когда он перекладывал их из одной груды в другую. В глубине комнаты медленно и отрывисто щелкала пишущая машинка. Эндрюс видел склонившийся над машинкой темный затылок между сутулыми плечами в шерстяной рубахе. Около цилиндрической печи у стены сидел человек с пышными усами и сложными нашивками госпитального сержанта, читая роман в красной обложке. После долгого молчания рыжеволосый сержант поднял глаза от бумаги и внезапно произнес:

— Тед!

Человек у машинки медленно обернулся, показывая широкое красное лицо и голубые глаза.

— Ну-у? — протянул он.

— Пойдите посмотрите, подписал ли лейтенант бумаги.

Человек встал, осторожно потянулся и вышел в дверь около печки. Рыжий сержант откинулся на своем вертящемся стуле и закурил папиросу.

— Черт,— сказал он, зевая.

Человек с усами, сидевший около печки, дал книге соскользнуть с колен на пол и тоже зевнул.

— Это проклятое перемирие может убить в человеке всякое желание работать,— сказал он.

— Черт побери! — отозвался краснолицый сержант.

— Знаете, они собирались представить меня к награде... Чертовски неприятно будет вернуться домой без медали.

Тед вернулся и снова уселся на свой стул перед машинкой. Медленное отрывистое щелканье возобновилось.

Эндрюс шаркнул ногой по полу.

— Ну, как там насчет литеры моей?

— Лейтенант вышел,— сказал тот, продолжая писать.

— Да разве он не оставил их на столе? — сердито закричал рыжий сержант.

— Не нашел.

— Кажется, придется самому пойти взглянуть... Господи!

Рыжий сержант вышел из комнаты. Через минуту он вернулся с кипой бумаг в руке.

— Ваше имя Джонс? — выпалил он Эндрюсу.

— Нет.

— Снивиский?

— Нет... Эндрюс, Джон.

— Что же вы, черт побери, сразу не сказали?

Человек с усами, сидевший около печки, вдруг поднялся на ноги. На его лице появилось веселое, улыбающееся выражение.

— Добрый день, капитан Хигинсвертс! — сказал он весело.

В комнату вошел овальный человек. Из его широкого рта торчала сигара, колебавшаяся, когда он разговаривал. На нем были зеленоватые лайковые перчатки, слишком тесные для его широких рук, а его обмотки сияли темным блеском красного дерева.

Рыжеволосый сержант повернулся кругом и слегка отдал честь.

— Собираетесь снова кутнуть, капитан? — спросил он.

Капитан усмехнулся.

— Послушайте, ребята, не найдется ли у вас папирос Красного Креста? У меня только сигары. Нельзя же предложить даме сигару, не правда ли? — Капитан снова хихикнул.

Вокруг раздались подобострастные смешки.

— Вас устроит пара коробок? У меня здесь есть немного,— сказал рыжеволосый сержант, выдвигая ящик своего стола.

— Чудесно! — Капитан сунул их себе в карманы и вышел, застегивая пуговицы своего желтого пальто. Сержант снова уселся на стул с самодовольной улыбкой.

— Вы нашли литеру? — спросил Эндрюс робко.— Я собирался выехать с четырехчасовым поездом.

— Не могу откопать ее... Как, вы сказали, ваше имя? Андерсон?

— Эндрюс, Джон Эндрюс.

— Вот она! Почему вы не приходили раньше?

Резкий воздух румяного зимнего вечера пощипывал в ноздрях и освежал после застоявшихся больничных запахов, вызывая у Эндрюса чувство освобождения. Быстро шагая по серым улицам города, где в окнах уже горели оранжевым светом лампы, он твердил себе, что еще один этап закончен. С облегчением чувствовал он, что никогда не увидит больше госпиталя или кого-нибудь из людей, связанных с ним. Он подумал о Крисфилде. Вот уже много недель, как он совершенно не вспоминал о нем. Лицо парня из Индианы вдруг выросло перед ним, вызвав неожиданный прилив нежности. Овальное, покрытое сильным загаром лицо, с черными бровями и длинными темными ресницами, сохранившее еще детскую округлость линий. Но он не знал даже, жив ли еще Крисфилд. Безумная радость охватила его. Он, Джон Эндрюс, жив! Какое ему дело до того, что кто-нибудь из тех, кого он знал, умер. В мире найдутся товарищи веселее прежних, более тонкие умы для бесед и более сильные духом учителя. Холодный воздух циркулировал по его ноздрям и легким; руки казались сильными и гибкими. Он чувствовал, как мускулы ног вытягиваются и сокращаются при ходьбе, а ступни весело ударяют по неровным плитам улицы.

В пассажирском зале на станции было холодно и душно. Застоявшийся воздух был пропитан запахом грязных мундиров. Французские солдаты, закутанные в свои длинные голубые шинели, спали на скамьях или стояли группами, жуя хлеб и потягивая из своих фляжек. Газовая лампа посреди комнаты разливала тусклый свет. Эндрюс с покорностью отчаяния устроился в уголке. Ему нужно было ждать поезда еще пять часов, и ноги его уже ныли. К этому примешивался еще упадок духа. Подъем, вызванный уходом из госпиталя и свободной ходьбой по улицам, залитым вином заката, на искрящемся вечернем воздухе, уступил постепенно место отчаянию. Жизнь его по-прежнему будет влачиться в этом рабстве, среди нечистых тел, набитых в помещение с застоявшимся воздухом. Он снова превратится в зубец огромного медленно движущегося механизма армии. Не все ли равно, что война кончилась? Армии будут ее продолжать, перемалывая жизни одну об другую, сокрушая плоть о плоть. Сможет ли он когда-нибудь снова быть свободным и одиноким, чтобы пережить радостные часы, способные вознаградить его за тоску каторги? Надежды не было. Жизнь его будет тянуться все так же, тусклая, дурно

пахнущая, как эта комната для ожидающих, где в зловонном воздухе спали люди в мундирах, спали, пока им не прикажут выступить или выстроиться неподвижными рядами, бесконечно, бессмысленно, точно игрушечные солдатики, которых ребенок забыл на чердаке.

Эндрюс вдруг поднялся на ноги и вышел на пустую платформу. Дул холодный ветер. Где-то на товарной станции громко пыхтел паровоз, и клубы белого пара носились по плохо освещенной станции. Он ходил взад и вперед, уткнув подбородок в шинель и засунув руки в карманы, как вдруг кто-то толкнул его.

— Черт! — произнес голос, и фигура бросилась в грязную стеклянную дверь с надписью «Буфет».

Эндрюс рассеянно пошел за ней.

— Простите, что я толкнул вас... Я вас принял за полицейского и задал стрекача.

Говоря это, человек — американский рядовой — обернулся и испытующе посмотрел в лицо Эндрюса. У него были очень красные щеки и наглые каштановые усики. Говорил он медленно, слегка растягивая слова, как бостонец.

— Пустяки,— сказал Эндрюс.

— Давай выпьем,— сказал тот.— Ты куда отправляешься?

— Куда-то в сторону Бар-ле-Дюка, обратно в свою дивизию. Был в госпитале.

— Долго?

— С октября.

— Так... Выпей-ка, брат, кюрасао! Тебе будет полезно. У тебя скверный вид. Меня зовут Гэнслоу, походный госпиталь при французской армии.

Они уселись за немытый мраморный столик, на котором паровозная сажа, приклеившись к кругам, оставленным стаканами вина и ликеров, вывела узоры.

— Я еду в Париж,— сказал Гэнслоу.— Мой отпуск кончился три дня назад. Приеду в Париж и заболею там перитонитом или воспалением обоих легких, а может быть, и порок сердца откроется. В армии тоска смертная!

— Госпиталь не лучше,— сказал Эндрюс со вздохом.— Хотя я никогда не забуду, с каким восторгом я убедился, что ранен и выбыл из строя. Я надеялся, что рана окажется достаточно тяжелой, чтобы меня отправили домой.

— Ну, я не хотел бы пропустить ни одной минуты на войне. Но теперь, когда она кончена... Черт, теперь ло-

зунг — «путешествие!». Я только что провел две недели в Пиренеях: Ним, Арль, Лебо, Каркассон, Перпиньян, Лурд, Гавр, Тулуза. Как ты насчет такой поездочки? Где ты служишь?

— В пехоте.

— Пекло было, должно быть?

— Было. Есть.

— Почему бы тебе не поехать со мной в Париж?

— Я не хочу напороться на неприятности,— пробормотал Эндрюс.

— Никакой возможности... Я знаю все ходы и выходы... Нужно только держаться подальше от «Олимпии» и вокзалов, шагать побыстрее и следить, чтобы сапоги блестели. Да ведь у тебя найдется смекалка в голове, не правда ли?

— Немного. Выпьем бутылку? Нельзя ли тут достать чего-нибудь поесть?

— Ни черта, а я не рискую выйти с вокзала, чтобы не напороться у входа на военного полицейского. Мы пообедаем в экспрессе.

— Но я не могу ехать в Париж.

— Полно! Послушай, как тебя зовут?

— Джон Эндрюс.

— Ну, Джон Эндрюс, я могу тебе сказать одно: ты позволил свернуть себя в бараний рог. Не поддавайся, брат! Плюнь на них и проводи время в свое удовольствие. К черту их! — Он с такой силой опустил бутылку на стол, что она разбилась; пурпурное вино пролилось на грязный мрамор и закапало, сверкая, на пол.

Несколько французских солдат, стоящих группой у стойки, обернулись.

— Вот чудак — проливает такое хорошее вино,— сказал высокий краснолицый человек с длинными висящими усами.

— За франк я съем бутылку! — крикнул пьяным голосом маленький человечек, выбегая вперед и наклоняясь над столом.

— Идет,— сказал Гэнслоу.

Он положил блестящий серебряный франк около останков бутылки. Человек схватил бутылку за горлышко черной, похожей на клещи рукой и произвел предварительный осмотр. Это был маленький, невероятно грязный человек, похожий на труп. Его усы и борода цвета мочалки были, казалось, изъедены молью, на щеках горели багровые пятна, а форма была покрыта засохшей

грязью. Остальные столпились вокруг, стараясь отговорить его.

— Чихать! Это мое ремесло! — сказал он и так завращал глазами, что белки засверкали в тусклом свете, точно глаза мертвой трески.

— Да он и в самом деле собирается сделать это! — воскликнул Гэнслоу.

Зубы человека сверкнули и, хрустя, вонзились в зазубренный край стекла. Раздался ужасающий треск. Он снова помахал бутылкой, держа ее за горлышко.

— Бог мой, да он ест ее! — воскликнул Гэнслоу, покатываясь от смеха.— А ты вот боишься ехать в Париж!

На станцию с громким шипением вырывающегося пара вкатился паровоз.

— Черт, это парижский поезд. Держи! — Он всунул франк в покрытую корой грязи руку солдата.— Идем, Эндрюс!

Выходя из буфета, они снова услыхали хрустящий треск, с которым человек откусил еще один кусок стекла.

Эндрюс последовал за Гэнслоу через окутанную паром платформу к двери вагона первого класса. Они вошли в купе. Гэнслоу немедленно опустил на полушарие лампы черный колпак. Отделение было пусто. Он со вздохом блаженства развалился на мягких желтых подушках сиденья.

— Но, ради Бога...— пробормотал Эндрюс.

— Чихать! Это мое ремесло,— перебил его Гэнслоу.

Поезд отошел от станции.

III

Гэнслоу налил в стакан вина из коричневого глиняного кувшина, и оно засветилось в нем ярким жидким красным цветом смородины. Эндрюс откинулся на стул и смотрел сквозь полузакрытые глаза на стол с белой скатертью и маленькими подгоревшими булочками, в окно на сад, тускло освещенный лимонно-желтыми газовыми фонарями, и на темные хребты крыш маленьких домиков, теснившихся вокруг.

За столом у противоположной стены сидел хромой юноша с бледным безбородым лицом и ласковыми фиалковыми глазами, а рядом с ним девушка с непокрытой головой, не отрывавшая глаз от его лица.

Посередине комнаты тихо мурлыкала печка, а из полуоткрытой кухонной двери проникали красный свет и шипение чего-то жарящегося на плите. На стенах в коричневых тонах, впитавших в себя, казалось, теплоту и запах всех блюд, была изображена панорама Монмартра, каким он некогда был: с ветряными мельницами и обширными полями.

— Я хочу путешествовать,— говорил Гэнслоу, лениво цедя слова.— Абиссиния, Патагония, Туркестан, Кавказ, всюду. Что ты скажешь на то, чтобы отправиться в Новую Зеландию разводить овец?

— Но почему не остаться тут? Нигде не может быть так чудесно.

— В таком случае я, пожалуй, отложу на недельку отъезд в Новую Гвинею. Но я с ума сойду, если застряну где-нибудь после всего, что было. Вся эта бойня сидит у меня в крови... Она сделала из меня путешественника, вот что. Я теперь искатель приключений.

— Господи, хотел бы я, чтобы они сделали из меня что-нибудь такое же интересное.

— Привяжи камень к своей щепетильности, сбрось ее с Нового моста и покажи себя... О юноша, ведь это золотое время, чтобы проявить свою ловкость...

— Ты числишься еще в армии?

— Выкручусь... Я зачислюсь в Красный Крест.

— Каким образом?

— Есть зацепка.

Девушка с овальным лицом и легким черным пушком на верхней губе принесла им суп — густой зеленоватый суп, который вкусно дымился им прямо в лицо.

— Если ты посоветуешь мне, как выбраться из армии, то, по всей вероятности, спасешь мне жизнь,— произнес Эндрюс серьезно.

— Есть два способа... Но я лучше расскажу тебе об этом после. А теперь поговорим о чем-нибудь более интересном... Итак, ты композитор?

Эндрюс кивнул.

Между ними лежал омлет, бледный, золотисто-желтый, с пятнами зелени; несколько янтарных пузырьков поджаренного масла все еще держались по краям.

— Поговорим о музыкальной драме,— сказал Гэнслоу.

— Но если ты авантюрист и вообще не очень щепетилен, почему ты до сих пор рядовой?

Гэнслоу выпил глоток вина и оглушительно расхохотался.

— В этом вся штука!

Некоторое время они ели молча. Они слышали, как парочка против них разговаривала нежными, тихими голосами. Печка мурлыкала, а из кухни слышалось, как что-то сбивали в чашке. Эндрюс откинулся на своем стуле.

— Здесь так чудесно, спокойно, уютно... Ведь ничего не стоит забыть, что в жизни вообще есть какие-то радости.

— Вздор... Жизнь — это парад в цирке. Видал ты когда-нибудь что-либо более унылое, чем цирковой парад? Одна из тех шуток, которые не смешат.

— Жюстина, еще вина! — сказал Гэнслоу.

— Ты знаешь, как ее зовут?

— Я здесь живу... Монмартр — это выпуклость на середине щита; Монмартр — это ось колеса. Вот почему здесь так спокойно. Как в центре циклона, огромного, кружащегося, вращающегося циркового парада.

Жюстина со своими красными руками, перемывшими так много тарелок, с которых хорошо пообедали другие, поставила между ними ярко-красного лангуста, клешни и щупальца которого растянулись на скатерти, где виднелось уже несколько пурпурных винных пятен. Соус был желтый и пушистый, как грудка канарейки.

— Знаешь,— сказал Эндрюс, откидывая со лба растрепанные желтые волосы и начиная вдруг говорить взволнованно и быстро,— я охотно согласился бы, чтобы меня расстреляли через год, лишь бы прожить этот год здесь, с роялем и миллионом листов нотной бумаги. Это стоило бы сделать.

— Да, это славное местечко на тот случай, когда возвращаешься. Представь себе, что ты возвращаешься сюда после плоскогорья Тибета, где ты чуть-чуть не утонул и едва не был оскальпирован, где ты любил дочь афганского вождя... у которой были красные губы, намазанные рахат-лукумом, так что во рту у тебя оставался сладкий вкус поцелуев.— Гэнслоу мягко пригладил свои каштановые усики.

— Но для чего видеть и чувствовать, если не имеешь возможности передать все это?

— Для чего вообще жить? Ради самой жизни, человече. К черту смысл!

— Но единственная глубокая радость, которая возможна для меня... это...— голос Эндрюса прервался.— О Господи, я отдал бы всю радость мира, если бы мог создать одну страницу, которая была бы выражением жизни. Знаешь, уже годы, как я ни с кем не разговаривал.

Оба они молча смотрели в окно на туман, тесно прильнувший к стеклу. Он напоминал вату, но казался более мягким и был зеленовато-золотистого цвета.

— Ну, сегодня, уж наверное, полицейские не накроют нас,— сказал Гэнслоу, весело постукивая кулаком по столу.— У меня блестящая мысль отправиться на улицу Сент-Анн и оставить свою карточку заведующему полицейской частью армии. Черт побери! Помнишь того человека, который закусил нашей бутылкой вина? Он плевал на все, не так ли? Вот ты толкуешь о выражении жизни. Почему бы тебе не выразить это? Я думаю, что это поворотный пункт твоей карьеры. Он заставил тебя поехать в Париж... ты не станешь отрицать этого?

Оба они громко рассмеялись, качаясь на своих стульях. Эндрюс уловил отзвук смеха в бледных фиалковых глазах калеки-юноши и в темных глазах девушки.

— Давай-ка расскажем им об этом,— сказал Эндрюс, все еще смеясь. Его лицо, побледневшее за время пребывания в госпитале, внезапно раскраснелось.

— Ваше здоровье! — сказал Гэнслоу, оборачиваясь и поднимая свой стакан.

Затем он рассказал им о человеке, который ел стекло. Он поднялся на ноги и, жестикулируя, медленно рассказывал своим тягучим голосом. Жюстина стояла тут же с блюдом фаршированных томатов, красная кожица которых едва просвечивала сквозь мантию темно-коричневого соуса. Когда она улыбалась, щеки ее надувались и делали ее слегка похожей на белую кошку.

— А вы тут живете? — спросил Эндрюс, после того как все они посмеялись.

— Всегда. Я редко хожу в город. Это так трудно. У меня высохшая нога.— Он улыбнулся сияющей улыбкой, как ребенок, рассказывающий о новой игрушке.

— А вы?

— Как бы я могла быть в другом месте,— ответила девушка.— Это несчастье, но ничего не поделаешь.— Она постучала костылем по полу, точно подражая его походке.

Юноша рассмеялся и крепко обнял ее рукой за плечи.

— Я хотел бы жить здесь,— просто сказал Эндрюс.

— Почему же вы не сделаете этого?

— Да разве ты не видишь, что он солдат,— прошептала торопливо девушка.

На лбу юноши появилась морщина.

— Ну не по доброй воле, я думаю,— сказал он.

Эндрюс молчал. Им овладел непонятный стыд перед этими людьми, которые никогда не были солдатами, которые никогда не будут ими.

— Греки говорили,— сказал он, с горечью произнося фразу, которая давно уже сверлила его мозг,— что человек, сделавшийся рабом, в первый же день утрачивает половину своей доблести.

— Когда человек делается рабом,— повторил юноша мягким голосом,— он теряет половину своей доблести.

— На что вам доблесть? Любовь — вот что вам нужно,— сказала девушка.

— Я съел твои томаты, друг Эндрюс,— сказал Гэнслоу.— Жюстина принесет нам еще.— Он вылил остатки вина, которые наполнили до половины оба стакана своим жидким блеском цвета красной смородины.

Снаружи туман покрывал все ровной тьмой, слегка окрашенной в желтое и красное близ редко разбросанных уличных фонарей. Эндрюс и Гэнслоу брели без определенной цели по ступеням, которые вели из спокойной темноты Монмартра к беспорядочным огням и шуму более людных улиц. Туман проникал им в горло, щекотал в носу и задевал щеки, точно чьи-то влажные руки.

— Зачем мы ушли оттуда? Я хотел бы еще поговорить с этими людьми,— сказал Эндрюс.

— Да ведь мы и кофе не пили... Ведь мы в Париже, брат, и не собираемся долго оставаться здесь. Не можем же мы позволить себе торчать все время в одном месте. Скоро уже все закроют.

— Юноша сказал мне, что он художник и живет тем, что делает игрушки. Он вырезает деревянных слонов и верблюдов для ноевых ковчегов. Ты слышал об этом?

Они быстро шли по прямой наклонной улице. Под ними уже виднелся золотой блеск бульвара.

Эндрюс продолжал говорить почти про себя:

— Как чудесно было бы жить здесь в маленькой комнатке, из которой открывался бы вид на огромный серо-розовый город, иметь какое-нибудь нелепое занятие, вроде этого, для того чтобы существовать, и тратить все свободное время на работу и посещение концертов... Спокойное, сладостное существование... Сравни с этим мою жизнь. Рабство в этом железном, металлическом, наглом Нью-Йорке и писание нелепых статей о музыке в воскресных газетах. Господи!

Они уселись за столиком в шумном кафе, полном желтого света, сверкающего в глазах, стаканах и бутылках, и красных губ, раздавленных о тонкие твердые края стаканов.

— Разве тебе не хотелось бы просто сорвать это? — Эндрюс дернул обеими руками свою куртку в том месте, где она оттопыривалась на груди.— О, я хотел бы, чтобы пуговицы разлетелись по всему кафе, разбивая стаканы с вином, щелкая по физиономиям всех этих франтоватых французских офицеров, которые, по-видимому, гордятся тем, что достаточно долго выжили, чтобы гулять победителями.

— Кофе здесь великолепный,— сказал Гэнслоу.— Единственное место, где мне приходилось пить еще лучший, было в одном кабачке в Ницце, во время последнего отпуска.

— Опять где-то в другом месте?

— Вот именно... вечно и вечно в другом месте. Выпьем сливянки, довоенной сливянки!

Лакей был величественным человеком с бородой, подстриженной, как у премьер-министра. Он подошел, держа перед собой благоговейно поднятую бутылку. Губы его выражали усиленное внимание, когда он разливал в стаканы белую поблескивающую жидкость. Кончив, он с трагическим жестом перевернул бутылку вверх дном — оттуда не вылилось ни единой капли.

— Это конец доброго старого времени,— сказал он.

— Проклятье доброму старому времени,— сказал Гэнслоу.— За добрый старый и вечно новый парад со скандалом в цирке!

— Хотел бы я знать, многим ли придется по вкусу твой цирковой парад,— сказал Эндрюс.

— Где ты намерен провести ночь? — спросил Гэнслоу.

— Не знаю... Думаю, что устроюсь в гостинице или еще где-нибудь.

— Почему бы тебе не пойти со мной и не познакомиться с Бертой? У нее, наверное, гости.

— Мне хочется побродить одному. Не то чтобы я презирал друзей Берты,— сказал Эндрюс,— но я так жажду одиночества.

Джон Эндрюс шел один по улицам, полным клубящегося тумана. Время от времени автомобиль обдавал его грязью и, стуча, пролетал мимо, исчезая в темноте. Разбросанные группы людей, шаги которых заглушались

обволакивающим туманом, плыли около него. Он не заботился о том, по какой дороге идет, и продолжал двигаться все дальше и дальше, пересекая широкие бульвары и людные проспекты, огни которых вышивали на тумане желтые и оранжевые узоры; он блуждал по просторным, безлюдным скверам, нырял в темные улицы, где изредка резко раздавались другие шаги, затихая через минуту и не оставляя звука в его ушах, когда он останавливался, чтобы прислушаться, ничего, кроме отдаленного, заглушенного дыхания города. Наконец, он вышел на набережную реки, где туман был еще гуще и холоднее и где раздавался слабый плеск воды, булькавшей у быков моста. Свет фонарей на его пути то ярко вспыхивал, то тускнел. По временам ему удавалось разглядеть голые ветви деревьев, перечеркивающие светлые круги фонарей. Туман успокоительно ласкал его, тени колебались вокруг, позволяя мельком разглядеть нежный овал щеки, блеск глаз, горящих от темноты и сырости. Казалось, что как раз за пределами его зрения туман наполнен дружескими лицами; заглушенный ропот города возбуждал его, как звук любимых голосов.

От девушки на перекрестке, поющей под уличным фонарем, до патрицианки, обрывающей лепестки розы с высоты своих носилок... все образы человеческого желания.

Ропот окружавшей жизни беспрерывно складывался в его ушах в длинные модулирующие сентенции,— сентенции, вызывавшие в нем чувство спокойного довольства, точно он находился в какой-нибудь мастерской в Аттике и смотрел на высеченный из мрамора барельеф, изображающий пляшущих людей.

Один раз он остановился и долго стоял, прислонившись к покрытому бисером сырости стержню фонаря. Две тени, приближаясь к нему, приняли образы бледного юноши и девушки с непокрытой головой, которые шли, тесно переплетаясь в объятиях друг друга. Юноша слегка хромал, и его фиалковые глаза были задумчиво прищурены. Джона Эндрюса охватила внезапно дрожь ожидания, как будто он чувствовал, что эти двое подойдут к нему, положат ему руки на плечи и сообщат какое-то откровение, полное огромного значения для его жизни. Но когда они вступили в полосу света фонаря, Эндрюс увидал, что он ошибся. Это не были те юноша и девушка, с которыми он говорил на Монмартре.

Он торопливо пошел дальше и снова погрузился в извилистую улицу, шагая по булыжникам мостовой, изред-

ка останавливаясь, чтобы заглянуть в окно лавки, освещенной из внутренних комнат, в которых спокойно сидели за столом под лампой люди; или в ресторан, где усталый мальчуган с тяжелыми веками и рукавами, засученными над худыми серыми руками, мыл стаканы, или старуха — бесформенный узел черного тряпья — вытирала шваброй пол. Из дверей до него долетали разговоры и мягкий смех. Верхние окна посылали сквозь туман желтые лучи света.

В одном месте неверный свет вставленного в стену фонаря осветил в дверях две фигуры, прижавшиеся друг к другу в тесных объятиях. Когда Эндрюс проходил мимо, громко стуча по мокрой мостовой своими тяжелыми солдатскими сапогами, они медленно подняли голову. У юноши были фиолетовые глаза и бледные безбородые щеки. Девушка стояла с непокрытой головой, и карие глаза ее были прикованы к лицу юноши. Сердце Эндрюса застучало. Наконец-то он нашел их. Он сделал шаг по направлению к ним и пошел дальше, быстро теряясь в холодном, все стирающем тумане. Он снова ошибся. Туман кружился вокруг него, скрывая задумчивые дружеские лица, руки, готовые пожать его руку, глаза, готовые загореться от его взгляда, холодные губы, готовые прильнуть к его губам. *От девушки на перекрестке, поющей под фонарем...*

И он шел все дальше, один сквозь клубящийся туман.

IV

Эндрюс неохотно покинул вокзал, вздрагивая в холодном, сером тумане. Дома деревенской улицы, вереницы грузовиков и несколько фигур французских солдат, закутанных в длинные бесформенные шинели, казались в неясном свете зари смутными и темными пятнами. Его тело горело, занемев после ночи, проведенной в теплом душном воздухе набитого битком отделения. Он зевал и потягивался, остановившись в нерешительности посреди улицы, с врезающимся в плечи ранцем. За темной массой станционных зданий, в которых светилось несколько красноватых огней, засвистел паровоз, и поезд, громыхая, двинулся дальше. Эндрюс с болезненным чувством отчаяния прислушивался к его шуму, слабо долетавшему сквозь туман. Это был поезд, который привез его из Парижа обратно в дивизию.

Когда он стоял, дрожа в сером тумане, ему вспомнилось странное непреодолимое отвращение, которое он испытывал обыкновенно, возвращаясь в пансион после праздников. Он отправлялся со станции в школу самой длинной дорогой, безумно ценя каждую минуту свободы, оставшуюся ему. Сегодня ноги его ощущали ту же свинцовую тяжесть, как и тогда, когда они готовы были на все, только бы не поднимать его вверх по длинному песчаному холму в школу. Он бесцельно ходил некоторое время по безмолвной деревне, надеясь набрести на кафе, где бы он мог посидеть несколько минут и бросить последний взгляд на себя, прежде чем снова окунуться в унизительное безразличие армии. Нигде не видно было света. Ставни маленьких кирпичных и оштукатуренных домиков были плотно закрыты Унылыми, вялыми шагами он поплелся по дороге, которую ему указали в штабе.

Небо над его головой постепенно светлело, придавая стлавшемуся по земле туману красноватые волнующиеся очертания. Замерзшая дорога издавала под его шагами слабые отчетливые звуки. Кое-где в тумане на краю дороги нежно вырастали перед ним силуэты дерева, верхние ветви которого отчетливо выделялись, румянясь в солнечных лучах.

Эндрюс твердил себе, что война кончена и что через несколько месяцев он, во всяком случае, будет свободен. Несколько месяцев больше или меньше, не все ли равно? Но благоразумные мысли неудержимо сметались охватывавшей его слепой паникой. Доводы рассудка не действовали. Его дух был объят возмущением, от которого корчилась его плоть, а перед глазами плясали черные круги. Ему показалось, что он сходит с ума. Грандиозные планы беспрерывно всплывали из сумятицы, царившей в его уме, и разлетались, как дым при сильном ветре. Он убежит и, если его поймают, убьет себя. Он поднимет бунт в своей роте, он до безумия взбудоражит всех этих людей своими словами. Они откажутся строиться и рассмеются, когда офицеры побагровеют, отдавая им приказание, и вся дивизия двинется через замерзшие холмы, без оружия, без флагов, призывая солдат всех армий присоединиться к ним, выйти с песнями, изгнать смехом из своей крови весь этот кошмар. Неужели какое-нибудь молниеносное просветление не оплатит сознание народов, возвращая их снова к жизни? Что толку было прекращать войну, если армия продолжает существовать?

Но это была одна риторика. Ум его упивался риторикой, чтобы сохранить равновесие. Мозг его выжимал из себя риторику, как губка, чтобы он не увидел перед собой сухого безумия.

В ушах его беспрерывно отдавались тяжелые резкие шаги по замерзшей дороге, приближавшие его к деревне, где была расквартирована дивизия. Он поднимался по длинному холму. Туман поредел вокруг и засверкал на солнце. Наконец Эндрюс вышел на гребень холма, озаренный ярким светом, и увидел над головой бледно-голубое небо. Позади него и впереди лежали полные тумана долины, а дальше тянулись другие цепи длинных холмов с красновато-фиолетовыми пятнами лесов, слабо горевших на солнце. В долине у его ног, под тенью того холма, на котором он стоял, виднелись церковная башня и несколько крыш, поднимавшихся из тумана, словно из воды.

Оттуда доносился сигнал к котлу.

Бодрость веселых медных нот, раздававшихся в тишине, звучала для него агонией.

Какой длинный день был еще впереди! Он посмотрел на часы: семь тридцать. Почему они так поздно шли к котлу?

Туман показался ему вдвойне холодным и мрачным, когда он погрузился в него после солнечного блеска вершины. Пот застыл на его лице, и струйки холода проникали сквозь одежду, промокшую от усилий, с которыми он тащил свой ранец. На деревенской улице Эндрюс встретил незнакомого ему солдата и спросил его, где помещается канцелярия. Человек, что-то жевавший в это время, молча указал на дом с зелеными ставнями на противоположной стороне улицы.

За столом сидел Крисфилд, куря папиросу. Когда он вскочил, Эндрюс заметил у него на рукаве две капральские нашивки.

— Хелло, Энди!

Они горячо пожали друг другу руки.

— Совсем поправился, старина?

— Конечно, вполне,— сказал Эндрюс; его охватила вдруг какая-то неловкость.

— Это хорошо,— сказал Крисфилд.

— Ты теперь капрал? Поздравляю!

— Гм. Уж больше месяца, как произведен.

Они помолчали. Крисфилд снова уселся на свое место.

— Что это за городишко?

— Чертова дыра, тоска адская.

— Недурно.

— Говорят, что скоро выступим... Оккупационная армия. Но мне не следовало говорить тебе это, Энди, смотри не проговорись кому-нибудь из ребят.

— Где расквартирована часть?

— Ты не узнаешь ее, у нас пятнадцать новичков. Все ни черта не стоят, второго призыва.

— Есть в городе штатские?

— Еще бы... Пойдем со мной, Энди, я скажу им, чтобы тебе дали жратвы в столовой... Нет, лучше уж подожди, чтобы пропустить учение. Учимся теперь каждый день. С тех пор как это проклятое перемирие, вышел приказ удвоить занятия.

Они услышали голос, выкрикивающий команду, и узкая улица внезапно наполнилась шумом ног, одновременно ударявших по земле. Эндрюс продолжал стоять спиной к окну. Что-то в его ногах, казалось, топало в такт с другими ногами.

— Вот они идут. Сегодня с ними лейтенант. Хочешь есть?

В домике ХАМЛ было пусто и темно, сквозь грязные стекла окон виднелись поля и свинцовое небо, залитые тяжелым желтовато-коричневым светом, в котором лишенные листьев деревья и покрытые жнивьем поля казались лишь различными оттенками мертвого серовато-коричневого цвета. Эндрюс сидел у пианино, не играя. Он думал о том, как мечтал когда-то выразить всю судорожную тоску этой жизни, муки своеобразных тел, сформированных в один полк, подогнанных в ровные линии, однообразие рабства. Пока он думал об этом, пальцы одной руки бессознательно нажали на клавишу, и она задребезжала в расстроенном рояле.

— Господи, как глупо! — пробормотал он вслух, отдергивая руки.

Вдруг он заиграл отрывки знакомых вещей, искажая их, сознательно меняя темп, перемешивая их с отрывками регтайма. Пианино дребезжало под его пальцами, наполняя пустую комнату гулом. Он внезапно остановился, дав пальцам соскользнуть с басов на дисканты, и начал играть серьезно.

За ним раздался кашель, в котором чувствовалась какая-то искусственная сдержанность. Он продолжал играть не оборачиваясь.

— Великолепно, великолепно!

Эндрюс повернулся и увидел перед собой лицо, слегка напоминавшее овалом треугольник, с широким лбом и толстыми веками над выпуклыми карими глазами. Человек был в форме ХАМЛ. Она была слишком узка для него, так что от каждой пуговицы через перед его куртки тянулись складки.

— О, продолжайте играть! Я целую вечность не слыхал Дебюсси*.

— Это не Дебюсси.

— О, в самом деле? Во всяком случае, это было восхитительно. Я только постою здесь и послушаю.

Эндрю́с начал играть снова, ошибся, начал опять, сделал ту же ошибку, стукнул кулаком по клавишам и снова обернулся.

— Не могу играть! — сказал он раздраженно.

— О, можете, мой мальчик, можете! Где вы учились? Я бы отдал миллион долларов, чтобы так играть, если бы у меня были деньги.

Эндрюс молча сверкнул глазами.

— Вы, кажется, один из тех, которые только что вернулись из госпиталя?

— Да, к несчастью.

— О, я не осуждаю вас! Эти французские города — скучнейшие места в мире, хотя я очень люблю Францию. А вы? — У христианского юноши был немного визгливый голос.

— В армии повсюду скука!

— Послушайте, нам с вами нужно познакомиться по-настоящему. Меня зовут Спенсер Шеффилд... Спенсер Шеффилд... И, кроме нас с вами, здесь нет ни единой души во всей дивизии, с которой можно было бы перемолвиться словом. Как ужасно не иметь вокруг себя интеллигентных людей! Вы из Нью-Йорка, должно быть?

Эндрюс кивнул головой.

— Гм, я также. Вы, должно быть, читали кое-какие мои вещицы в «Тщетном усилии»? Что? Никогда не читали этого журнала? Должно быть, вы не вращались в интеллигентном кругу? С музыкантами это часто бывает...

— Я никогда не вращался ни в каком кругу и никогда...

— Пустяки, мы наладим это, когда вернемся все в Нью-Йорк. А теперь садитесь-ка и сыграйте мне «Арабески» Дебюсси. Я знаю, что вы должны любить их так же, как я. Но прежде всего, как вас зовут?

— Эндрюс.

— Родители из Виргинии?

— Да! — Эндрюс встал.

— Значит, вы в родстве с Пеннелтонами?

— Не больше чем с кайзером, насколько я знаю.

— С Пеннелтонами... очевидно! Видите ли, моя мать была урожденная мисс Спенсер из Спенсер-Фоллс, в Виргинии, а ее мать была урожденная мисс Пеннелтон; так что мы с вами кузены. Вот совпадение! А?

— Троюродные. Но я должен вернуться в бараки.

— Заходите ко мне в любое время! — закричал ему вслед Спенсер Шеффилд.— Знаете, там, за столовым бараком! Вы постучите два раза, тогда я буду знать, что это вы.

Перед домом, в котором стояла рота, Эндрюс встретил нового старшего сержанта, худого человека в очках, с маленькими усиками, напоминавшими по цвету и виду скребницу.

— Вам письмо,— сказал старший сержант.— Посмотрите-ка на новый список дежурных по кухне, который я только что вывесил.

Письмо было от Гэнслоу. Эндрюс прочел его при бледном свете, с улыбкой удовольствия вспоминая беспрерывные, тягучие рассказы Гэнслоу о далеких местах, где он никогда не был; вспомнил человека, который ел стекло, и полтора дня, проведенные в Париже.

«Энди,— гласило письмо,— я нашел наконец зацепку: 15 февраля в Париже начинаются лекции. Немедленно заяви своему начальнику, что ты желаешь изучать что-нибудь в Парижском университете*. Нагороди турусов на колесах — сойдет! Пусти в ход всевозможные связи. Нажми на сержантов, лейтенантов, их любовниц и прачек.

Твой *Гэнслоу*».

С бьющимся сердцем Эндрюс помчался за сержантом, пролетев в своем возбуждении мимо лейтенанта, не отдав ему чести.

— Эй, послушайте! — прорычал лейтенант.

Эндрюс отдал честь и вытянулся неподвижно во фронт.

— Почему вы не отдали мне честь?

— Я торопился, сэр, и не заметил вас. Я шел по очень спешному делу роты, сэр.

— Помните, что вы все еще служите в армии, хотя перемирие и подписано.

Эндрюс отдал честь; лейтенант ответил, быстро повернулся на каблуках и пошел дальше.

Эндрюс нагнал сержанта.

— Сержант Коффин! Можно мне поговорить с вами минуту?

— Я чертовски спешу!

— Не слыхали ли вы чего-нибудь о том, что из армии будут посылать студентов в здешние французские университеты? Какая-то затея ХАМЛ.

— Не может быть, чтобы это распространялось на мобилизованных. Нет, не слыхал ни слова. Хотите опять учиться?

— Если будет возможность, кончить курс.

— Вы студент? Я тоже. Ладно, я скажу вам, если получу на этот счет распоряжения. Я думаю, что все это вздор.

— Пожалуй, вы правы!

На улице была серая мгла. Терзаемый сознанием бессилия, волнуемый отчаянием и возмущением, Эндрюс поспешил обратно к зданию, где была расквартирована его рота. Он опоздал к обеду. Серая улица была пустынна. Из окон тут и там струился красноватый свет, отбрасывая длинные прямоугольники на противоположную стену.

— Черт возьми, если ты мне не веришь, спроси у лейтенанта! Послушай, Тоби, кому пришлось больше понюхать пороху — нам или этим проклятым саперам?

Тоби как раз входил в кафе — высокий человек с лицом бульдога и шрамом на левой щеке. Он говорил торжественно и скупо, с южным акцентом.

— Полагаю, что так,— был весь его ответ.

Он уселся на скамью рядом с говорившим, который продолжал с горечью:

— Уж надеюсь, что полагаешь... Черт возьми, вы только канавы рыть горазды!

— «Канавы рыть»?! — Сапер стукнул кулаком по столу. Его худое желчное лицо раскраснелось от раздражения.—Уж, кажется, мы и вполовину не выкопали столько канав, как пехота... А если приходилось, так, во всяком случае, не мы заползали в них и не прятались там, как проклятые кролики, распустив хвосты.

— Ваши молодчики не очень-то любят близко к фронту подходить.

— Как проклятые зайчишки, распустив хвосты! — воскликнул сапер с желчным лицом.— Разве не так? — Он обвел взглядом комнату, ища одобрения.

Скамьи за двумя длинными столами были заняты пехотинцами, сердито смотревшими на него. Заметив вдруг, что у него нет поддержки, сапер понизил голос:

— Я согласен, конечно, что пехота чертовски полезна. Но где бы вы были, ребята, без наших молодцов, которые натягивали для вас колючую проволоку?

— В Аргоннском лесу никакой колючей прволоки и в помине не было. На кой шут тебе колючая проволока, когда ты наступаешь?

— Послушайте... Я ставлю бутылку коньяка за то, что моя рота понесла больше потерь, чем ваша!

— Принимаю, Джо! — сказал Тоби, внезапно обнаруживая интерес к разговору.

— Ладно, идет!

— У нас было пятнадцать убитых и двадцать раненых! — торжествующе объявил сапер.

— А как раненых-то? Тяжело?

— А вам на что? Ставьте коньяк!

— Черта с два! У нас тоже было пятнадцать убитых и двадцать раненых. Разве не так, Тоби?

— Полагаю, что так,— сказал Тоби.

— Разве не верно? — спросил первый, обращаясь ко всем присутствующим,

— Еще бы, правильно, черт возьми! — раздались голоса.

— Ну, значит, выходит ничья,— сказал сапер.

— Нет, не выходит,— возразил Тоби.— Припомни-ка своих раненых. Тот, у которого будут самые тяжелые раненые, получает коньяк. Разве не ясно?

— Правильно.

— У нас семерых уже домой отправили,— сказал сапер.

— А у нас восьмерых, правда?

— Правильно! — раздалось в комнате.

— А куда ваши были ранены?

— Двое были слепы,— сказал Тоби.

— Черт,— сказал сапер, вскакивая на ноги, как будто взял взятку в покер.— А у нас одного отослали домой без рук и без ног, а трое ребят нажили туберкулез от газа.

Джон Эндрюс сидел в углу комнаты. Он встал. Что-то заставило его вспомнить о человеке, с которым он познакомился в госпитале и который рассказывал ему про жизнь, способную закалить парня. «Проснешься этак в три часа и вскочишь с постели, бодрый, как кошка...» Он вспомнил, как болтались пустые темно-оливковые штаны, свешиваясь со стула.

— Это что! Одному из наших сержантов будут новый нос приделывать!

Темная деревенская улица была вся изрезана глубокими грязными рытвинами. Эндрюс бесцельно бродил взад и вперед. Кроме этого кафе есть еще только одно. Там будет точь-в-точь то же, что и здесь. Он не мог вернуться на унылое гумно, где спал. Было еще слишком рано, чтобы лечь. Вдоль улицы дул холодный ветер, и небо было полно неясного движения темных облаков. Полузамерзшая грязь прилипала при ходьбе к его ногам; он чувствовал, как вода проникает в сапоги. Против домика ХАМЛ в конце улицы он остановился. Постояв минуту в нерешительности, он слегка рассмеялся и пошел кругом к задней стене строения, где была дверь в комнату представителя ХАМЛ. Он постучал два раза, в слабой надежде, что ответа не будет. Визгливый высокий голос Шеффилда произнес:

— Кто там?

— Эндрюс.

— Войдите... Вы именно тот человек, которого мне хотелось видеть.

Эндрюс стоял, положив руку на ручку двери.

— Садитесь и устраивайтесь как дома.

Спенсер Шеффилд сидел за маленькой конторкой. Комната освещалась одним оконцем, стены ее были сколочены из необструганных досок. За конторкой виднелись груды ящиков с сухарями и картонные коробки с папиросами, а посреди них темнело маленькое отверстие в стене, напоминающее окошечко билетной железнодорожной кассы. Через это оконце христианский юноша продавал свои товары длинным очередям солдат, покорно выстаивавшим часами в соседней комнате.

Эндрюс оглядывался, ища стул.

— О, я совсем забыл, что сижу на единственном стуле,— смеясь сказал Спенсер Шеффилд, вращая выпуклыми глазами и оттягивая при этом свой маленькой рот наподобие верблюжьего.

— О, все равно... Я хотел только спросить вас: знаете ли вы что-нибудь о...

— Давайте пойдем в мою комнату,— перебил Шеффилд.— У меня такая славная гостиная с открытым камином, как раз рядом с лейтенантом Близером. Мы там потолкуем... обо всем. Мне просто до смерти хочется поговорить с кем-нибудь на духовные темы...

— Знаете ли вы что-нибудь относительно проекта послать мобилизованных студентов во французские университеты, тех, кто не кончил курса?

— О, как это было бы прекрасно. Говорю вам, дружище, что нет ничего равного правительству Соединенных Штатов, когда дело касается подобных вещей.

— Но слышали вы что-нибудь об этом?

— Нет, но несомненно услышу... Разрешите потушить свет? Вот так. Теперь идите за мной. О, я нуждаюсь в отдыхе. Я так много работаю с тех пор, как сюда явился этот дядя из Союза Рыцарей Колумба. Средства, к которым они прибегают, чтобы конкурировать с ХАМЛ, просто отвратительны, не правда ли? Теперь мы можем славно побеседовать, не спеша. Вы должны мне все рассказать о себе.

— Но вы действительно ничего не знаете об этом университетском проекте? Говорят, что курсы начнутся с пятнадцатого февраля,— сказал Эндрюс тихим голосом.

— Я спрошу лейтенанта Близера, не слыхал ли он об этом,— успокоительно сказал Шеффилд, обнимая одной рукой Эндрюса за плечи и подталкивая его в дверь перед собой.

Они прошли через темную переднюю в маленькую комнату, где в камине ярко горел огонь, освещая красными и желтыми языками четырехугольный темный ореховый стол и два тяжелых кресла с кожаными спинками и сиденьями, блестевшими точно лакированные.

— Чудесно,— сказал Эндрюс невольно.

— Романтично, как я говорю. Напоминает Диккенса, не правда ли?

— Да,— сказал Эндрюс неопределенно.— Вы давно уже во Франции? — спросил он, устраиваясь в одном из кресел и глядя на пляшущее пламя в камине.— Хотите курить? — Он протянул Шеффилду смятую папиросу.

— Нет, спасибо, я курю только особый сорт. У меня слабое сердце. Поэтому-то я был забракован в армии. Но я нахожу, что с вашей стороны было великолепно пойти рядовым. Я всегда мечтал о том, чтобы сделаться единицей в этой безымянной марширующей массе.

— Я считаю, что это было чертовски глупо, чтобы не сказать преступно,— угрюмо произнес Эндрюс, не отрывая глаз от огня.

— Вы не можете так думать. Или вы хотите сказать, что чувствуете в себе способности, которые принесли бы больше пользы родине на другом поприще? Многие из моих друзей переживали это.

— Нет, просто я не думаю, чтобы человек имел право изменять самому себе... Я не верю, чтобы убийство людей могло принести когда-нибудь какую-либо пользу... Я поступил так, как будто верил в то, что это нужно... из легкомыслия или из трусости... Вот это, по-моему, скверно.

— Вы не должны так говорить,— поспешно сказал Шеффилд.— Итак, вы музыкант, не правда ли? — Он задал этот вопрос развязно-конфиденциальным тоном.

— Я играю немного на рояле, если вы подразумеваете это,— сказал Эндрюс.

— Я никогда особенно не увлекался музыкой, но многие вещи глубоко меня волнуют. Дебюсси и эти великолепные маленькие вещицы Невина. Вы должны их знать... Я, однако, больше насчет поэзии... Когда я был молодым, моложе, чем вы теперь, совсем мальчиком... О, если бы только мы могли оставаться всегда молодыми — мне тридцать два...

— Мне кажется, что юность сама по себе не особенно ценна. Это только лучший из всех путей, но не сам по себе, а для достижения других целей,— сказал Эндрюс.— Ну, я должен идти,— сказал он.— Если вы услышите что-нибудь насчет этого университетского проекта, вы дадите мне знать, не правда ли?

— Конечно, дам, мой милый, конечно, дам!

Они пожали друг другу руки судорожным, драматическим пожатием, и Эндрюс, спотыкаясь, направился через темную прихожую к двери.

Выйдя снова на резкий ночной воздух, он вздохнул полной грудью. Он посмотрел на часы при свете, струившемся из окна, и увидел, что может успеть еще зайти до вечерней зори в полковую канцелярию.

На противоположном конце деревенской улицы стояло кубообразное здание; оно находилось несколько в стороне от других, посреди широкого луга, превращенного беспрерывным движением вереницы моторов и грузовиков в грязное болото с пересекающимися во всех направлениях колеями от колес. Узкие дощатые мостки вели от главной дороги к парадной двери. На середине этих мостков Эндрюс встретил капитана, машинально отошел в грязь и отдал честь.

Полковая канцелярия была большой комнатой, декорированной когда-то бледной и плохой стенной живописью в духе Пюви де Шаванна*. Но теперь, после пяти лет военных постоев, стены были так исчерчены и запачканы,

что живопись едва можно было разглядеть. Лишь кое-где между прибитыми картами и объявлениями виднелся кусок обнаженной стены или болтающейся драпировки. В глубине комнаты группа купающихся в Ниле нимф, написанная в зеленых и пастельно-голубых тонах, выступала из объявления о французском военном займе. Потолок был украшен маленьким овальным барельефом, изображавшим гирлянду цветов и гипсовых купидонов, местами также попорченным и обнажавшим дранки. Канцелярия была почти пуста. Беспорядок на столах и молчание машинок придавали ей странный вид заброшенной и опустошенной гостиной.

Эндрюс смело подошел к самому далекому столу, где маленькая красная карточка, прикрепленная к пишущей машинке, гласила: «Полковой сержант-майор».

За столом, сгорбившись над грудой отпечатанных на машинке донесений, сидел маленький человечек с жидкими песочного цвета волосами. Когда Эндрюс подошел, сержант поднял глаза и улыбнулся.

— Ну, устроили вы мне это? — спросил он.

— Устроил что? — спросил Эндрюс.

— О, я принял вас за другого.— Улыбка исчезла с тонких губ сержанта-майора.— Что вам нужно?

— Видите ли, сержант-майор, я хотел бы узнать что-нибудь насчет проекта откомандировать мобилизованных в здешние университеты. Не можете вы сказать мне, к кому для этого обратиться?

— На основании каких предписаний? И кто вообще послал вас с этим ко мне?

— Вы слыхали что-нибудь об этом?

— Нет, ничего определенного. Во всяком случае, теперь я занят. Попросите кого-нибудь из ваших сержантов разузнать насчет этого.— Он снова скорчился над своими бумагами.

Эндрюс направился к двери, покраснев от досады, как вдруг заметил, что человек, сидевший за столом у окна, странно дергает головой по направлению сержанта-майора, а от него к двери. Эндрюс улыбнулся ему и кивнул. За дверью, где на низкой скамейке сидел вестовой, читая разорванный номер «Субботней вечерней почты», Эндрюс остановился и стал ждать.

Передняя была частью помещения, составлявшего раньше, должно быть, один большой зал. В ней был исцарапанный паркетный пол и большие куски гладкой штукатурки в рамах из золоченой и серовато-голубой

лепки, в которых, по всей вероятности, висели драпировки. Перегородки из необструганных досок, отделявшие другие канцелярии, отрезали большую части щедро разукрашенного потолка, где купидоны с малиновыми животиками плавали во всяких положениях в море розовых, голубых и серых облаков, жеманно переплетаясь в тяжелые гирлянды восковых оранжерейных цветов; а роги изобилия, из которых сыпались рыхлые фрукты, вызывали в Эндрюсе определенное ощущение небезопасности, когда он смотрел на них снизу.

— Послушайте, вы студент?

Эндрюс опустил глаза и увидел перед собой человека, который делал ему знаки в канцелярии полкового сержанта.

— В каком университете вы учились?

— Гарвардском.

— А я из Северо-Западного. Так вы желаете попасть в здешний французский университет, если удастся? Я тоже.

— Не хотите ли пойти выпить?

Человек нахмурился, надвинул свою фуражку на лоб, низко заросший волосами, и с очень таинственным видом оглянулся вокруг.

— Да,— сказал он.

Они пошли вместе по грязной деревенской улице.

— У нас еще полчаса до зори... Меня зовут Уолтерс, а вас? — Он говорил тихо, короткими отрывочными фразами.

— Эндрюс.

— Ну, Эндрюс, вам нужно будет держать язык за зубами. Если кто-нибудь разнюхает об этом — нам крышка. Университетские люди должны поддерживать друг друга — вот как я смотрю на это.

— О, я буду держать это в абсолютной тайне,— сказал Эндрюс.

— Даже не верится, что-то уж очень хорошо... Общий приказ еще не вышел. Но я видел предварительный циркуляр. В какое учебное заведение вы хотите поступить?

— В Сорбонну, в Париже.

— Дело хорошее. Вы знаете заднюю комнату у Гориллы?

Уолтерс вдруг свернул налево в переулок и пролез через дыру в изгороди боярышника.

— Нужно держать уши и глаза начеку, если хочешь пролезть куда-нибудь в этой армии,— сказал он.

Когда они нырнули в заднюю дверь домика, Эндрюс заметил мельком волнистую линию черепичной крыши, выделявшуюся на более светлом фоне темного неба. Они уселись на скамье, вделанной в очаг, где несколько сучьев устроили пляску огненных языков.

— Что прикажете? — подошла к ним краснолицая девушка с ребенком на руках.

— Это Горинетта, а я называю ее Гориллой,— сказал Уолтерс со смехом.— Шоколаду! — приказал он.

— И мне тоже. Помните, я угощаю.

— Я не забываю. Теперь перейдем к делу. Вот что вы должны сделать. Вы напишите прошение. Я завтра утром напечатаю его на машинке. Мы встретимся здесь в восемь вечера, и я передам его сам... Вы подпишите сейчас же и подадите вашему сержанту. Поняли? Это будет только предварительное прошение. Когда выйдет приказ, вам придется подать другое.

Из темноты появилась Горинетта (на этот раз без ребенка) с подсвечником и двумя треснувшими чашками, из которых поднимался легкий пар, золотившийся в огне свечи.

Уолтерс одним глотком выпил свою чашку, фыркнул и продолжал дальше:

— Дайте-ка мне папиросу... Вам нужно будет здорово поторопиться с этим, потому что, как только выйдет приказ, всякий шутник в дивизии постарается доказать, что он учащийся. Как вы-то пронюхали об этом?

— От одного малого из Парижа.

— Вы были в Париже, в самом деле? — сказал Уолтерс с удивлением.— Правда ли, что он такой, как о нем рассказывают? Черт, до чего безнравственны эти французы! Посмотрите на эту вот женщину. Ляжет спать с парнем за милую душу, а еще ребенка имеет.

— Но к кому направляются прошения?

— К полковнику или тому, кому он поручит это дело. Вы католик?

— Нет.

— Я тоже нет. В этом-то вся чертовщина. Сержант-майор католик.

— Ну!

— Вы, кажется, не знаете, как делаются дела в дивизионных штабах. Это настоящий собор! Ни одного масона в них не сыщете. Ну, я бегу. Если встретите меня на улице, сделайте лучше вид, что не узнали. Поняли?

— Ладно.

Уолтерс торопливо вышел. Эндрюс остался один, глядя на пляску маленьких язычков пламени вокруг груды сучьев и потягивая шоколад из теплой чашки, которую он держал между ладонями.

Он вспомнил монолог из какой-то очень слабой романтической пьесы, которую видел, когда был совсем маленьким.

«— Через вашу голову я бросаю... римский крест!»

Он начал смеяться, катаясь по гладкой скамье, отполированной задами целых поколений, гревших ноги у этого камина. Краснолицая женщина стояла перед ним, уперев руки в бока и удивленно следя за тем, как он корчится от смеха.

— Вот веселится-то! — повторяла она.

Солома слегка шуршала при каждом движении, которое Эндрюс делал во сне под своим одеялом. Через минуту затрубит труба, он выскочит из-под одеяла, напялит форму и выстроится для переклички в черной грязи деревенской улицы. Не может быть, чтобы всего один месяц прошел с того времени, как он вернулся из госпиталя. Нет, он провел в этой деревне целую жизнь, в течение которой труба каждое утро вытаскивала его из-под теплого одеяла, и он, дрожа, выстраивался на перекличку, толкался в очереди, медленно проходившей мимо котла, становился в другую очередь, чтобы выбросить в бак остатки своей еды, и еще в другую, чтобы вымыть свой котелок в жирной воде, где сотни людей до него мыли уже свои. Потом он выстраивался на учение и маршировал по грязным дорогам, обдаваемый грязью бесконечных верениц грузовиков, еще два раза в течение дня выстраивался к котлу и, наконец, снова загонялся другой трубой под одеяло, чтобы заснуть тяжелым сном, с ноздрями, наполненными запахом потного шерстяного платья, перегоревшего воздуха и грязного белья. Через минуту должен заиграть горнист, чтобы оторвать его даже от этих жалких мыслей и поставить, как автомата, под команду других людей. Детские злобные планы теснились в его голове. Хорошо, если бы горнист умер. Эндрюс представлял себе, как горнист — маленький человек с широким лицом, землистыми щеками, маленькими рыжими усами и кривыми ногами — лежит на своем одеяле, точно теленок на мраморной доске в лавке мясника. Какой вздор! Ведь есть другие горнисты. Он задумался над тем, сколько их вообще в армии. Эндрюс

представлял себе их всех, как они стоят, немного расставив ноги, в грязных деревушках, в каменных казармах, в городах, в огромных лагерях, покрывавших страну на целые мили рядами черных складов и узких бараков; он видел, как они дают предварительный щелчок своим медным инструментам, прежде чем надуть щеки и затрубить, подчиняя себе полтора миллиона жизней (или, быть может, два-три миллиона!) и превращая теплые, чувствующие тела в грубые автоматы, которые необходимо беспрерывно занимать чем-нибудь до новой бойни, чтобы они не заартачились.

Труба заиграла. С последним бодрым звуком ее на гумне началось движение. Капрал Крисфилд стоял на лестнице, которая вела со двора; голова его виднелась на уровне пола.

— Шевелитесь, ребята! — кричал он.— Если кто опоздает на перекличку, засажу на две недели в кухню!

Когда Эндрюс, застегивая свою куртку, прошел мимо него по лестнице, он прошептал:

— Говорят, что мы скоро снова понюхаем дела, Энди! Оккупационная армия...

Голова Эндрюса кружилась в безумном круговороте тревоги, когда он стоял неподвижно в строю, ожидая, чтобы ответить, когда сержант назовет его имя. Что, если они двинутся до того, как выйдет приказ об университетах? Прошение, несомненно, затеряется в суматохе передвижения дивизии, и он будет осужден влачить эту жизнь еще много ужасных недель и месяцев. Смогут ли какие бы то ни было годы труда и счастья будущей жизни вознаградить за унизительную, смертельную тоску этого рабства?

— Вольно!

Он побежал вверх по лестнице за своим котелком и через несколько минут был уже снова в очереди на изрытой деревенской улице, где очертания серых домиков только что начали выступать из тумана.

Свет медленно расползался по свинцовому небу. Из кухни доносился слабый запах свиной грудинки и кофе, вызывая в нем нетерпеливое желание есть, желание потопить свои мысли в тяжести быстро съеденной жирной пищи и в теплоте водянистого кофе, проглоченного из жестяной погнутой кружки. Он с отчаянием говорил себе, что должен что-то сделать, какое-то усилие, чтобы спастись, должен бороться против убийственной рутины, лишившей его воли.

Позднее, когда он подметал неровный дощатый пол помещения роты, к нему вернулась тема, которая зародилась у него когда-то давно, точно в другом воплощении,— когда он намыливал песчаной губкой окна вдоль бесконечной стены барака в учебном лагере. Он много раз за этот год думал о ней и мечтал перелить ее в симфонию звуков, которые выразили бы тягучее однообразие дней, согбенных под ярмом. *«Под ярмом»* — это будет название для нее. Он представил себе резкий стук дирижерской палочки, молчание переполненного зала и первые звуки, жестоко режущие напряженный слух мужчин и женщин. Но когда он старался сосредоточить свои мысли на музыке, в них тотчас же прокрадывалось что-то чуждое, заглушая ее. Он чувствовал ритм царицы Савской, соскальзывающей со спины своего пышно убранного слона, приближающейся к нему сквозь пламя факелов, опускающей свою руку с фантастическими кольцами и длинными золочеными ногтями на его плечо, и волна наслаждения, вызванная сладострастными образами его желания, пробегала по всему его телу, заставляя его трепетать, как пламя, в страстном томлении по невообразимому. И все это сметалось фантастической тарабарщиной, звуками рогов, тромбонов, валторн и басов, в то время как пикколо пронзительно выкрикивали первые такты «Усыпанного звездами знамени».

Он перестал мести и смущенно оглянулся кругом. Он был один. С улицы долетел резкий голос, кричащий «смирно!». Он сбежал вниз по лестнице и выстроился в конце ряда под сердитым взглядом посаженных очень близко друг к другу, по обеим сторонам худого носа, маленьких глазок лейтенанта, черных и жестких, как глаза краба.

Рота замаршировала по грязи на учебное поле.

После вечерней зори Эндрюс постучался у задней двери ХАМЛ и, не получив ответа, направился большими решительными шагами в комнату Шеффилда.

В минуту, прошедшую между его стуком и ответом, он слышал, как колотилось его сердце. Пот слегка выступил у него на висках.

— Ну, в чем дело, юноша? У вас очень взволнованный вид,— сказал Шеффилд, держа дверь полуоткрытой и загораживая своей худой фигурой вход в комнату.

— Можно войти? Мне нужно поговорить с вами,— сказал Эндрюс.

— Да, я думаю... мне кажется... что это будет ничего. Видите ли, у меня офицер...— В голосе Шеффилда чувствовалась нерешительность.— О, входите! — воскликнул он вдруг с неожиданным энтузиазмом.— Лейтенант Близер тоже обожает музыку. Лейтенант, это тот юноша, о котором я говорил вам. Мы должны заставить его сыграть нам что-нибудь. Если он сможет заниматься, я уверен, что из него выйдет великий пианист.

Лейтенант Близер был томным юношей с крючковатым носом, в пенсне. Куртка у него была расстегнута, а в руке он держал сигару. Он улыбнулся с явным желанием помочь этому нижнему чину освоиться.

— Да, я обожаю музыку, современную музыку,— сказал он, прислоняясь к камину.— Вы музыкант по профессии?

— Не совсем... почти.— Эндрюс засунул руки до самого дна карманов и вызывающе переводил глаза с одного на другого.

— Вам, должно быть, приходилось играть в оркестрах? Как это вышло, что вы не в музыкантской команде?

— Я играл только в университетском оркестре.

— Вы были в Гарвардском университете?

Эндрюс кивнул головой.

— Я тоже оттуда.

— Ну не совпадение ли это! — воскликнул Шеффилд.— Я так рад, что заставил вас войти.

— Вы какого выпуска? — спросил лейтенант Близер слегка изменившимся тоном, водя пальцем по своим тонким, жидким черным усам.

— Пятнадцатого года.

— Я еще не получил степени! — сказал лейтенант со смехом.

— Я хотел спросить вас, мистер Шеффилд...

— О, мой мальчик, мой мальчик, вы достаточно знакомы со мной, чтобы называть меня просто Спенсом,— прервал его Шеффилд.

— Я хотел узнать,— продолжал медленно Эндрюс,— не можете ли вы помочь мне попасть в списки отправляемых в Парижский университет? Я знаю, что списки уже составлены, хотя приказ еще не вышел... Сержанты в большинстве не любят меня, и я не знаю, как добиться этого без чьей-либо помощи... Я просто не могу больше выносить эту жизнь.— Эндрюс твердо сжал губы и устремил глаза в пол; лицо его горело.

— Ну, человек с вашим талантом, конечно, заслуживает того, чтобы быть посланным туда,— сказал лейтенант Близер с легкой дрожью нерешительности в голосе.— Я сам отправляюсь в Оксфорд.

— Поверьте мне, мой мальчик,— сказал Шеффилд,— я устрою это для вас. Я обещаю. Ударим на этом по рукам! — Он схватил руку Эндрюса и горячо пожал ее влажной ладонью.— Если только это в человеческих силах,— прибавил он.

— Ну, я должен идти,— сказал вдруг лейтенант Близер, направившись к двери.— Я обещал маркизе заглянуть к ней. До свиданья... Хотите сигару? — Он протянул свои сигары по направлению к Эндрюсу.

— Нет, благодарю вас.

— Не находите вы, что эта французская аристократия просто удивительна? Лейтенант Близер почти каждый вечер ходит в гости к маркизе Ромпмувиль. Он не находит слов для восхваления ее ума. Он часто встречается там с командиром.

Эндрюс опустился в кресло и сидел, закрыв лицо руками, глядя сквозь пальцы на огонь, в котором несколько белых языков пламени поочередно цеплялись за серое буковое полено. Ум его отчаянно искал выхода.

Он вскочил на ноги и резко закричал:

— Я не могу больше выносить эту жизнь, слышите! Никакое будущее не стоит этого! Удастся попасть в Париж — хорошо! А нет — я дезертирую, и к черту все последствия!

— Но я уже обещал вам, что сделаю все, что могу...

— Ну так сделайте это сейчас же,— прервал его Эндрюс.

— Хорошо, я пойду к полковнику и расскажу ему, какой вы удивительный музыкант.

— Пойдем сейчас, вместе.

— Но это может произвести скверное впечатление, дорогой мальчик...

— Плевать! Идем! Вы можете поговорить с ним — вы, кажется, запанибрата со всеми офицерами.

— Подождите, пока я приведу себя в порядок,— сказал Шеффилд.

— Ладно.

Эндрюс шагал взад и вперед по грязи перед домом, хрустя пальцами от нетерпения, пока не вышел Шеффилд. Они пошли молча.

— Теперь подождите минуту на улице,— прошептал Шеффилд, когда они подошли к белому дому с обвитым обнаженными виноградными лозами фасадом, где жил полковник.

После некоторого ожидания Эндрюс очутился у дверей ослепительно освещенной гостиной. В воздухе стоял густой запах сигарного дыма. Полковник — пожилой человек с благодушной бородой — стоял перед ним с кофейной чашкой в руке. Эндрюс отдал честь по всем правилам.

— Мне сказали, что вы настоящий пианист. Очень жаль, что я не знал этого раньше,— сказал полковник ласковым голосом.— Вы хотели бы поехать в Париж учиться согласно новому проекту?

— Да, сэр.

— Как жаль, что я не знал этого раньше. Список отправляемых уже совершенно заполнен. Конечно, может быть, в последнюю минуту... если кто-нибудь другой не поедет... ваше имя может быть внесено.— Полковник приятно улыбнулся и вернулся обратно в комнату.

— Благодарю вас, полковник,— сказал Эндрюс, отдавая честь.

Не сказав ни одного слова Шеффилду, он зашагал по темной деревенской улице домой.

Эндрюс стоял на широкой деревенской улице. Грязь почти высохла, и ветер, в котором чувствовались уже теплые струйки, подергивал рябью редкие лужи. Он смотрел в окно кафе, чтобы увидеть, нет ли там кого-нибудь, у кого он мог бы занять денег, чтобы выпить. Он уже два месяца не получал жалованья, и карманы его были пусты. Солнце только что село после раннего весеннего дня, заливая небо, серые дома и беспорядочные черепичные крыши теплым фиолетовым светом. Слабое веяние возрождающейся в холодной земле жизни, доносившееся до Эндрюса с каждым дыханием, которое он вбирал из искрящегося воздуха, разжигало его тупую тоску и ярость.

— Сегодня первое марта,— повторял он себе снова и снова.

Пятнадцатого февраля он надеялся уже быть в Париже, свободным или полусвободным, получить наконец возможность работать. Было уже первое марта, а он все еще был тут, беспомощный, привязанный к монотонному колесу рутины, не способный ни на какое решительное усилие, и тратил все свое свободное время на то, чтобы

бродить взад и вперед, как затерявшийся пес, по грязной улице от домика ХАМЛ на одном конце деревни до церкви и штаба дивизии на другом конце. Оттуда он снова поворачивал обратно, рассеянно заглядывая в окна, смотря в чужие лица невидящими глазами. Он оставил всякую надежду отправиться в Париж. Он перестал думать об этом и обо всем другом. Все то же тупое озлобленное отчаяние беспрерывно жужжало в его голове, вертясь кругом на одном месте, как испорченная граммофонная пластинка.

Простояв довольно долго перед окном офицерского кафе, он прошел немного дальше по улице и остановился точно так же перед другим кафе, где большая вывеска — «Здесь говорят по-американски» — закрывала половину окна. Два офицера прошли мимо. Рука его бессознательно поднялась, чтобы отдать честь, как механический сигнал. Было почти темно. Эндрюсу стало холодно под свежим ветром, он задрожал и бесцельно побрел по улице.

Он узнал Уолтерса, направлявшегося к нему, и хотел было пройти мимо не останавливаясь, как вдруг тот толкнул его, пробормотав на ухо: «Приходи к Горилле» — и поспешил дальше своим быстрым, деловитым шагом. Эндрюс с минуту постоял в нерешительности, опустив голову, затем побрел вялыми шагами по переулку, пролез через дыру в изгороди и вошел в кухню Горинетты. В очаге не было огня. Он угрюмо уставился на серый пепел, пока не услышал рядом голос Уолтерса:

— Я устроил тебя.

— Что ты хочешь сказать?

— Сказать? Ты спишь, Эндрюс! Они вычеркнули одно имя из университетского списка. Теперь, если ты пошевелишься и никто не забежит вперед, ты и чихнуть не успеешь, как окажешься в Париже.

— Это с твоей стороны чертовски мило — прийти сказать мне об этом.

— Вот твое прошение,— сказал Уолтерс, вытаскивая из кармана бумагу.— Отнеси его к полковнику, заставь его подписать и одним духом доставь в канцелярию сержанту-майору. Они составляют теперь подорожные.

Уолтерс исчез. Эндрюс снова сидел один, глядя на серый пепел. Вдруг он вскочил на ноги и бросился в штаб. В приемной перед канцелярией полковника ему пришлось долго ждать, рассматривая свои сапоги, густо покрытые грязью. «Эти сапоги произведут скверное впечатление, эти сапоги произведут скверное впечатле-

ние»,— твердил ему внутренний голос. Какой-то лейтенант тоже ожидал приема у полковника — молодой человек с розовыми щеками и молочно-белым лбом. В одной руке, затянутой в лайковую перчатку цвета хаки, он держал свою фуражку, а другой проводил по светлым, тщательно приглаженным волосам. Эндрюс чувствовал себя грязным и скверно пахнущим в своей плохо пригнанной форме. Вид этого безукоризненного молодого человека с наманикюренными ногтями, в брюках с иголочки и ослепительно блестящих крагах, приводил его в отчаяние. Ему хотелось побить лейтенанта, заставить его забыть свой чин и важный вид.

Лейтенант пошел к полковнику. Эндрюс заметил, что тот рассматривал какую-то карту, прибитую к стене. На ней были названия, числа и цифры, но он не мог разобрать, к чему они относились.

— Ну, идите,— шепнул ему вестовой, и он очутился с фуражкой в руке перед полковником, который строго смотрел на него, перебирая тяжелой жилистой рукой лежавшие на столе бумаги.

Эндрюс отдал честь. Полковник сделал нетерпеливое движение,

— Могу я обратиться к вам, полковник, по поводу университетского проекта?

— Я полагаю, что у вас есть разрешение от кого-нибудь явиться ко мне?

— Нет, сэр.— Эндрюс напрягал свой ум, чтобы придумать, что сказать.

— Ну так отправляйтесь лучше за ним.

— Но, полковник, сейчас уже поздно, в эту минуту составляют списки. Я узнал, что одно имя было вычеркнуто из списка.

— Слишком поздно.

— Но, полковник, вы не знаете, как это важно для меня. Я музыкант по призванию. Если мне не удастся начать работать до тех пор, пока я не буду демобилизован, то я не смогу найти потом занятий. У меня на руках мать и старая тетка. Видите ли, сэр, моя семья знала когда-то лучшие дни. Я только тогда смогу зарабатывать достаточно, чтобы обеспечить им то, к чему они привыкли, если достигну очень высокого уровня в своем искусстве. А человек с вашим положением в свете, полковник, должен знать, какое значение имеют для пианиста хотя бы несколько месяцев занятий в Париже.

Полковник улыбнулся.

— Покажите ваше прошение.

Эндрюс протянул его дрожащей рукой. Полковник сделал карандашом несколько пометок в углу.

— Теперь, если вы сможете доставить это вовремя сержанту-майору, все будет хорошо.

Эндрюс отдал честь и поспешил выйти. Его вдруг охватило отвращение, и он едва мог подавить в себе желание разорвать бумагу. «Господи, Господи, Господи, Господи!» — бормотал он про себя. Он бежал по дороге к четырехугольному уединенному зданию, где помещалась полевая канцелярия.

Он остановился, запыхавшись, перед столом с маленькой красной карточкой «Полковой сержант-майор». Полковой сержант-майор вопросительно посмотрел на него.

— Вот прошение в Сорбонну, сержант-майор. Полковник Уилкинс приказал мне бежать с ним к вам. Он сказал, что очень желает, чтобы оно было принято сейчас же.

— Ничего не могу поделать... Слишком поздно.

Эндрюс почувствовал, что комната, люди в темно-оливковых блузах за машинками и три нимфы, выглядывающие из-за объявления о французском военном займе, поплыли перед его глазами. Вдруг он услышал за собой голос:

— А как его фамилия, сержант? Джон Эндрюс?

— Почем же я знаю, черт подери! — сказал сержант-майор.

— Потому что у меня уже заготовлены на него бумаги. Не знаю, как это вышло.— Это был голос Уолтерса, отрывистый и деловитый.

— С какой стати вы беспокоите меня в таком случае? — Полковой сержант-майор выдернул бумагу из рук Эндрюса и свирепо посмотрел на нее.— Хорошо, вы уезжаете завтра! Копия распоряжения будет отправлена в вашу роту утром! — прорычал он.

Эндрюс в упор посмотрел на Уолтерса, но не получил в ответ даже мимолетного взгляда. Когда он снова очутился на воздухе, в нем поднялось отвращение, еще более горькое, чем прежде. Ярость от испытанного унижения заставила выступить на его глазах слезы. Он вышел из деревни и направился по главной дороге, шлепая без разбора по лужам, скользя в мокрой глине канав. Какой-то внутренний голос, точно проклинающий голос раненого, выкрикивал в его голове длинный ряд сквер-

ных ругательств. После долгой ходьбы он вдруг остановился, сжав кулаки. Было совершенно темно. Небо едва освещалось перламутровым светом луны, спрятанной за облаками. По обеим сторонам дороги поднимались высокие серые скелеты тополей. Когда шум его шагов умолк, он услышал слабый лепет текущей воды. Стоя тихо посреди дороги, он чувствовал, как волнение его понемногу утихает. Он несколько раз произнес вслух тихим голосом: «Ты непроходимый дурак, Джон Эндрюс». И медленно направился обратно в деревню.

V

Эндрюс почувствовал, что его обнимает за плечи чья-то рука.

— Я чертовски долго искал тебя, Энди! — произнес ему в ухо Крисфилд, пробуждая его от грез, в которые он погрузился. Он чувствовал на своем лице дыхание Крисфилда, отдававшее коньяком.

— Я уезжаю завтра в Париж, Крис,— сказал Эндрюс.

— Знаю, брат, знаю. Вот потому-то я так и хотел поговорить с тобой... Зачем тебе ехать в Париж? Почему ты не хочешь отправиться с нами в Германию? Я слыхал, что они живут там по-царски.

— Ладно,— сказал Эндрюс,— пойдем-ка в заднюю комнату к Горинетте.

Крисфилд висел на его плече, нетвердо идя рядом. Пролезая через дыру в изгороди, он споткнулся и чуть не упал, увлекая за собой Эндрюса. Они расхохотались и, все еще смеясь, вошли в темную комнату, где у очага сидела краснолицая женщина со своим ребенком. Огня не было, и комната освещалась мерцанием редких языков, вспыхивавших в маленькой кучке деревянного угля. Когда оба солдата ввалились в комнату, ребенок пронзительно закричал. Женщина встала и, не переставая машинально уговаривать ребенка, вышла, чтобы принести огня и вина.

Эндрюс рассматривал при свете очага лицо Крисфилда. Щеки его успели уже утратить ту легкую детскую округлость, которую они имели, когда Эндрюс впервые заговорил с ним, подметая папиросные окурки в учебном лагере.

— Говорю тебе, брат, что ты должен поехать с нами в Германию! В Париже ничего нет, кроме шлюх.

— Дело в том, Крис, что я совсем не хочу жить как царь, или как сержант, или как генерал-майор... Я хочу жить как Джон Эндрюс!

— Что ты будешь делать в Париже, Энди?

— Заниматься музыкой.

— А вдруг пойду это я когда-нибудь в киношку и, когда зажгут свет, увижу, что на фортепьянах нажаривает не кто другой, как мой старый дружище Энди!

— Может быть... Как тебе нравится быть капралом, Крис?

— О, не знаю! — Крисфилд сплюнул на пол между ног.— Забавно, не правда ли? Мы с тобой были добрыми друзьями раньше... Должно быть, это все чин...

Эндрюс ничего не ответил.

Крисфилд сидел молча, устремив глаза на огонь.

— А я все-таки прикончил его. Черт, легко вышло!

— Что ты хочешь сказать?

— Да вот прикончил — и все тут.

— Ты говоришь о...

Крисфилд кивнул головой.

— Гм! В Аргоннских лесах,— пояснил он.

Эндрюс ничего не сказал. Он почувствовал вдруг сильную усталость. Он вспомнил людей, которых видел мертвыми.

— Я не думал, что это будет так легко,— сказал Крисфилд.

В дверях кухни показалась женщина со свечой в руке. Крисфилд вдруг замолчал.

— Завтра я уезжаю в Париж! — пылко воскликнул Эндрюс.— Это конец солдатчины для меня!

— А я уверен, что мы повеселимся в Германии, Энди. Сержант сказал, что мы отправляемся в Конб... как это?

— Кобленц.

Крисфилд налил стакан вина и выпил его. Он причмокнул губами и вытер рот тыльной стороной руки.

— Помнишь, Энди, как мы выметали окурки в учебном лагере, когда встретились друг с другом в первый раз?

— Много воды утекло с тех пор.

— Я так думаю, что мы больше никогда не встретимся?

— Почему бы нет, черт возьми?

Они снова замолчали, глядя на потухающие угли в камине. Женщина стояла в тусклом свете свечи, уперев руки в бока, и пристально смотрела на них.

— Я так думаю, что парень просто не будет знать, куда деваться, если выйдет из армии. Как по-твоему, Энди?

— До свиданья, Крис, я ухожу! — резко сказал Эндрюс, вскакивая.

— Прощай, Энди, старина, я заплачу за вино!

— Спасибо, Крис!

Эндрюс вышел за дверь. Шел холодный колючий дождь. Он поднял воротник шинели и побежал по грязной деревенской улице в казарму.

VI

В противоположном углу купе Эндрюс увидел Уолтерса, который спал, скорчившись и глубоко надвинув на глаза фуражку. Рот его был открыт, и голова качалась от тряски поезда. Колпак, закрывавший фонарь, погружал купе в темно-синюю мглу, которая заставляла ночное небо за окном и очертания скользящих мимо, развертывающихся и пляшущих деревьев казаться очень близкими к ним. Эндрюс не чувствовал желания спать; он сидел так уже давно, прислонившись головой к раме окна, глядя на проносящиеся тени, случайные, пролетающие мимо красно-зеленые огни и сверкание станций, вспыхивающих на минуту и теряющихся снова среди темных силуэтов неосвещенных домов, скелетов деревьев и черных холмов. Он думал о том, что все эпохи его жизни отмечались ночной ездой в поезде. Грохот и тряска колес заставляли кровь быстрее пробегать по жилам, острее чувствовать постукивание поезда, оставляющего за собой поля, деревни и дома, откладывающего мили за милями между прошлым и будущим. Он открыл окно; порывы холодного ночного воздуха и легкий запах пара и угольного дыма защекотали его ноздри, волнуя его, как улыбка на незнакомом лице, замеченная мельком в уличной толпе. Он не думал о том, что оставил позади, и напрягал глаза, чтобы разглядеть сквозь темноту ту яркую жизнь, которой он заживет в будущем. Уныние и скука миновали. Теперь он мог работать, слушать музыку и приобретать друзей. Он дышал полной грудью; горячие волны бодрости, казалось, беспрерывно пробегали от его легких и горла к кончикам пальцев и вниз по телу к мускулам ног. Он посмотрел на часы: двенадцать часов. В шесть он будет в Париже: еще шесть часов он просидит здесь, глядя на скользящие тени деревьев, чувствуя в своей крови горячий трепет поезда, радуясь каждой миле, которая увеличивает его расстояние от прошлого.

Уолтерс все еще спал, почти соскользнув с сиденья, с открытым ртом и обернутой шинелью головой.

Да, мчаться так по простору полей, прочь от однообразного нытья прошлых несчастий к радости жизни было получше, чем сидеть у костра в лагере, пить воду с вином и слушать хвастливые рассказы длинноволосых ахейцев*.

Эндрюс начал думать о людях, которых он оставил там. Теперь они спали на гумнах, в бараках или стояли на часах с холодными, мокрыми ногами и окоченевшими руками, которые ледяное дуло ружья обжигало каждый раз, как они перекладывали его. Он может уйти далеко от топота маршировки и от запаха набитых бараков, где люди спали вповалку, точно скотина, но он все же останется одним из них. Он не сможет увидеть проходящего мимо офицера, не сделав бессознательно рабского движения, он не сможет услышать звук трубы, не чувствуя мучительной ненависти. Если бы только ему удалось передать в музыке всю боль этих искалеченных жизней, весь жалкий ужас этой механизированной, превращенной в отрасль промышленности бойни. Пожалуй, это было бы важно для него, но для других это никогда не будет иметь значения. «Но ты рассуждаешь, как будто ты выбрался уже из леса; а ты все еще солдат, Джон Эндрюс». Слова эти сами собой сложились в его уме, так же отчетливо, как если бы он произнес их вслух. Он горько улыбнулся и принялся снова следить за силуэтами деревьев и холмов, поднимавшихся к темному небу.

Когда он проснулся, небо было серое. Поезд шел медленно, громко стуча на стрелках. Они проезжали через город, и мокрые аспидные крыши выступали фантастическими узорами теней над голубым туманом. Уолтерс курил папиросу.

— Черт! Эти французские поезда ни к черту не годятся,— сказал он, заметив, что Эндрюс проснулся.— Самая отсталая страна, в какой мне приходилось бывать...

— К черту отсталость! — прервал Эндрюс, вскакивая и вытягиваясь. Он открыл окно.— Топка тут, черт побери, слишком уж передовая... Я думаю, мы уже близко к Парижу.

Холодный воздух с примесью тумана ворвался в душное отделение. Каждый вздох приносил радость. Эндрюс чувствовал, как внутри его кипит безумная пылкость. Постукивающий грохот колес пел в его ушах. Он бросился на спину на пыльное голубое сиденье и стал брыкаться ногами в воздухе, точно жеребенок.

— Да оживись ты, брат, ради Бога! — кричал он.— Мы подъезжаем к Парижу!

— Да, уж повезло нам,— сказал Уолтерс, усмехаясь, с торчащей из угла рта папиросой.— Пойду-ка поищу остальную братию.

Оставшись один в купе, Эндрюс запел во все горло.

По мере того как рассветало, туман поднимался с плоских зеленых полей, пересеченных рядами обнаженных тополей. Розовато-желтые домики с голубыми крышами приобретали понемногу городской вид. Они миновали кирпичные заводы и каменоломни, на дне которых блестели красноватые лужи, и переехали через зеленую, как нефрит, реку, по которой медленно двигалась флотилия лодок с ярко выкрашенными носами. Паровоз пронзительно свистел. Они прогромыхали мимо маленькой товарной станции; за ней потянулись пригородные дома, сначала хаотически разбросанные на садовых участках, а потом устроенные рядами, разделенные улицами, с лавками на углах. Перед ними вдруг выросла темно-серая влажная стена, заслоняя собой вид. Поезд замедлил ход и прошел мимо нескольких станций, на которых толпились, отправляясь на работу, люди — простонародье в разнообразных платьях, среди которых лишь кое-где мелькала голубая или защитного цвета форма. Затем опять появилась темно-серая стена и нависла темнота широких мостов, где громко отдавался стук колес и горели оранжевым и красным светом пыльные масляные лампы, озаряя над собой мокрые стены.

Снова товарные станции, и поезд медленно покатился мимо других поездов, наполненных человеческими лицами и силуэтами. Потом он дернул и остановился на вокзале. Эндрюс стоял на сером цементе платформы, вдыхая запахи досок, товаров и пара. Его неуклюжий ранец и сверток одеял были привязаны за плечами, как крест. Винтовку и пояс с патронами он оставил в вагоне, тщательно запрятав их под сиденье.

Уолтерс с пятью другими солдатами приближался к нему по платформе. Все они несли или тащили свои ранцы.

На лице Уолтерса было написано беспокойство.

— Ну, что мы будем делать теперь? — спросил он.

— Действовать! — воскликнул Эндрюс, разражаясь смехом.

Распростертые тела в темно-оливковых шинелях покрывали нежную зеленую траву у края дороги.

Рота отдыхала. Крисфилд сидел на пне, угрюмо строгая перочинным ножом ветку; Джедкинс лежал, растянувшись, около него.

— На кой черт они заставляют нас заниматься этой проклятой маршировкой, капрал?

— Должно быть, боятся, что мы ходить разучимся.

— А по-моему, это лучше, чем топтаться целый день на одном месте с разными мыслями, да ныть, ругаться и скучать по дому,— заговорил человек, сидевший по другую сторону, прижимая в своей трубке табак толстым указательным пальцем.

— У меня вот где сидит это топтание по дороге целыми днями, да еще когда эти проклятые лягушатники глазеют на тебя.

— И потешаются они над нами, должно быть! — вмешался другой голос.

— Скоро переведемся в оккупационную армию! — весело сказал Крисфилд.— Там уж будет настоящий пикник.

— А ты знаешь, чем это пахнет? — спросил Джедкинс, выпрямляясь, точно на пружинах.— Знаешь, сколько времени войска будут стоять в Германии? Пятнадцать лет!

— Господи, не могут же они так долго держать нас там!

— Они могут делать с нами все, что им, черт побери, будет угодно. Нам всегда придется отдуваться за все. Не то что этим образованным молодчикам, как Эндрюс, или сержант Коффин, или другие там. Те уж всегда сумеют подмазаться ко всяким христианским юношам да офицерам и устроиться иначе. А мы только и годимся, чтобы вытягиваться, отдавать честь офицерам, отвечать им «так то́чно, лейтенант!», «никак нет, лейтенант!», да позволять им ездить на нас сколько им, черт побери, заблагорассудится. Разве это не святая правда, капрал?

— Да, должно быть, что так. Нам всегда уж достанутся вершки, а не корешки.

— Этот проклятый брехун Эндрюс отправился в Париж учиться и все такое.

— Ну, Энди не был брехуном.

— Почему же он скулил тут все время, точно знал больше лейтенанта?

— Да, наверное, и знал.

— Во всяком случае, ты не можешь сказать, что кто-нибудь из этих молодчиков, которые отправились в Париж, сделал хоть чуточку больше, чем все мы. Я даже отпуск еще не брал.

— Да что толку ворчать?

— Ну нет, когда мы вернемся домой и народ узнает, как с нами тут обращались, большой выйдет разговор. Уж за это я вам ручаюсь,— сказал один из новых солдат.

— Просто помешаться можно от такой штуки... Знать, что эти молодцы в Париже, чертовски веселятся с вином да с бабами, а ты сиди тут, чисти винтовку и маршируй... Ну, попадись мне только кто-нибудь из них.

Раздался свисток. Полоса травы снова сплошь зазеленела, когда солдаты выстроились вдоль дороги.

— Стройся! — закричал сержант.

— Смирно!

— Равнение направо!

— Подтянись! Черт, у вас, ребята, никакой выправки нет! Подбери брюхо! Не можете, что ли, стоять получше?

— Правое плечо вперед, марш! Правой, правой, правой!

Рота шагала по грязной дороге. Шаги солдат вытягивались в одинаковую длину. Их руки колебались в одинаковом ритме, их лица были вытянуты в одинаковое выражение, их мысли были одни и те же. Топот их ног замер вдали на дороге.

В распускавшихся деревьях пели птицы. На молодой траве у дороги виднелись следы солдатских тел.

Часть пятая

ВНЕШНИЙ МИР

I

Эндрюс с шестью другими солдатами своей части сидел за столиком у входа в кафе против Западного вокзала. Он откинулся на стуле с чашкой кофе в руках и смотрел на каменные дома с многочисленными балконами; пахнущий молоком и кофе пар поднимался из чашки. В ушах Эндрюса гудело от шума экипажей и пощелкивания каблуков по мокрому тротуару. Он некоторое время не слышал, о чем говорили сидевшие с ним товарищи. Они болтали и смеялись, но он задумчиво смотрел вперед, не замечая их мундиров хаки и похожих на лодочки фуражек. Он был одурманен запахом кофе и тумана. Бледный, ржавый солнечный луч падал на столик кафе и на легкий глянец мокрой грязи, покрывавшей асфальт.

В конце аллеи, по ту сторону вокзала, темно-серые дома, с зеленоватым отливом в тени и лиловым на солнце, таяли, обволакиваясь вдали нежной дымкой. Тусклые золоченые решетки поблескивали вдоль черных балконов. На переднем плане быстро шагали мужчины и женщины; холодное утро покрывало им щеки легким румянцем. Небо было бледное, розовато-серое.

Уолтерс говорил:

— Первым делом я хочу видеть Эйфелеву башню.

— А зачем тебе ее видеть? — спросил маленький сержант с черными усами и глазами, впалыми, как у обезьяны.

— Эх, ты! Разве ты не знаешь, что все началось с Эйфелевой башни? Не будь башни Эйфеля, не было бы и небоскребов...

— А как же небоскреб Утюг и Бруклинский мост? Ведь их построили до Эйфелевой башни? — перебил солдат из Нью-Йорка.

— Башня Эйфеля — первый образец сплошной железной постройки во всем мире,— догматично повторил Уолтерс.

— Первое, что я хочу сделать, это отправиться в шантан*. Я насчет девочек.

— Лучше отложи девочек, Билл,— сказал Уолтерс.

— Я и смотреть-то на них не хочу,— сказал сержант с черными усами.— Довольно я их навидался на своем веку...

— Ты, брат, погоди зарекаться. Вот как уставишь буркалы на настоящую парижаночку — другое запоешь,— сказал плотный, небритый человек с нашивками капрала на рукаве, покатываясь от смеха.

Эндрюс снова потерял нить разговора. Он мечтательно оглядывал сквозь полузакрытые веки длинные прямые улицы, где зеленые, лиловые и коричневые тона сливались на некотором отдалении в однообразную, голубовато-серую мглу. Ему хотелось остаться одному, блуждать по городу куда глаза глядят, мечтательно рассматривать людей и предметы, заводить случайные разговоры с мужчинами и женщинами, погрузить свою жизнь в туманную, сверкающую жизнь улицы. Запах тумана что-то пробудил в его памяти. Он долго доискивался, пока вдруг не вспомнил свой обед с Гэнслоу и лица юноши и молодой девушки, с которыми он говорил на Монмартре. Он должен немедленно разыскать Гэнслоу. Он на секунду почувствовал дикую вражду ко всем этим окружавшим его людям. О Боже! Ему необходимо отойти от них всех. Свобода досталась ему слишком дорогой ценой; он должен насладиться ею до последней возможности.

— Послушай, я хочу примазаться к тебе, Энди,— прервал его мечтания голос Уолтерса.— Я думаю назначить тебя при себе лейб-переводчиком.

Эндрюс засмеялся.

— Ты знаешь дорогу в штаб университетской команды? Лучше всего сесть на подземку.

— Я пойду пешком,— сказал Эндрюс.

— Заблудишься, чего доброго.

— Не рискую этим, к сожалению,— сказал Эндрюс, вставая.— Значит, увижу вас, товарищи, в штабе, как его там... Ну, мое вам!

Эндрюс кинулся в боковую улицу. Он с трудом удержался, чтобы не закричать от восторга, когда почувствовал себя одиноким, свободным, имеющим перед собой много дней для работы и размышлений, с полной воз-

можностью постепенно отучить свои члены от натянутых движений автомата.

Запах улицы и тумана, невыразимо острый, закружился у него в мозгу фантастическими спиралями, как дым какого-то фимиама, возбуждая в нем голод и ослепляя его; руки и ноги его казались ему гибкими и готовыми к наслаждению, как насторожившаяся кошка к прыжку. Его тяжелые сапоги отбивали такт танца, стуча по мокрой панели. Он шел очень быстро, и лишь временами вдруг останавливался, чтобы посмотреть на зеленые, оранжевые и малиновые овощи в тележке, чтобы бросить взгляд на запутанные улицы, чтобы заглянуть в темно-коричневую глубину маленького винного погреба, где рабочие стояли у прилавка, потягивая белое вино. Изящные, продолговатые лица, бородатые лица мужчин, суховатые лица молодых женщин, румяные щеки мальчуганов, морщинистые лица старух, словно схоронившие в своем безобразии всю красоту юности и трагедию пережитого,— лица всех встречных людей волновали его, как звуки оркестра.

После длинной прогулки, при которой он всегда сворачивал на самую привлекательную улицу, он очутился наконец на небольшой площадке, перед статуей какой-то важной персоны на вставшем на дыбы коне. «Площадь побед»*,— прочел он на дощечке, и это название развеселило его. Он насмешливо посмотрел на героические черты Короля-Солнца* и отошел смеясь.

— Думается, в те дни это удавалось им лучше: высокий штиль,— пробормотал он и с удвоенным удовольствием продолжал толкаться между людьми, изображения которых никогда не появятся верхом на навостривших уши конях, посреди скверов, разбитых в память побед.

Он вышел на широкую прямую аллею; здесь то и дело встречались американские офицеры — он должен был отдавать им честь — и военная полиция. Здесь было много магазинов с большими зеркальными витринами, наполненными блестящими, дорогими предметами. «Тоже, в своем роде, победа»,— подумал он и свернул в боковую улицу; голубовато-серая громада Оперы* с ее величественными окнами и голыми бронзовыми дамами, держащими светильники, осталась в стороне. Он попал на узкую улицу, загроможденную отелями и модными парикмахерскими, откуда исходил аромат международной парфюмерии, казино, бальных зал и дипломатических приемов, и увидел вдруг американского офицера, который шел ему навстречу, слегка покачиваясь. Это был вы-

сокий, пожилой человек с красным лицом и носом бутылкой. Он отдал честь.

Офицер остановился, шатаясь из стороны в сторону, и сказал плачущим голосом:

— Сынок, вы не знаете, где тут бар «Анри»?

— Нет, не знаю, майор,— сказал Эндрюс и почувствовал, как его обдало запахом коктейля.

— Вы поможете мне найти его, сынок, не правда ли? Ужасно, что я не могу его отыскать. Я должен встретиться в баре «Анрм» с лейтенантом Треверсом.— Майор укрепился на ногах и положил руку на плечо Эндрюса.

Мимо них прошел штатский.

— Послушайте,— ломаным языком закричал майор ему вслед,— послушайте, моншье, где тут бар «Анри»?

Человек прошел не отвечая.

— Ну не лягушка ли? Собственного языка не понимает,— сказал майор.

— Да вот он бар «Анри», прямо через улицу,— вдруг сказал Эндрюс.

— Бон, бон! — воскликнул майор.

Они пересекли улицу и вошли. В баре майор, все еще цепляясь за Эндрюса, шепнул ему на ухо:

— Я немножко не в порядке с отпуском. Понимаешь? Весь проклятый воздушный флот не в порядке. Выпьем? Ты по набору? Здесь это не играет роли. Плюнь на это, сынок. Демократия обеспечена миру!

Эндрюс только хотел поднести к губам коктейль с шампанским, весело разглядывая толпу военных и штатских американцев, наполнявших маленький, отделанный красным деревом бар, как за ним раздался голос:

— Ах, черт возьми!

Эндрюс обернулся и увидел смуглое лицо и шелковистые усы Гэнслоу. Он предоставил майора его судьбе.

— Боже, как я рад тебя видеть! Я боялся, что ты не сумеешь это провести.

Гэнслоу говорил медленно, слегка запинаясь.

— Я чуть от радости не помешался, Гэнни. Я только что приехал, два часа назад.

Смеясь и перебивая друг друга, они обменивались оборванными фразами.

— Но какими судьбами ты попал сюда?

— С майором,— сказал Эндрюс, смеясь.

— С этим чертом?

— Да. Он поймал меня на улице,— шепнул Эндрюс на ухо своему другу,— и не хотел от меня отцепиться. Угос-

тил меня коктейлем в память блаженной памяти демократии. Но ты-то что тут делаешь? Здесь не так, чтобы уж очень... экзотично.

— Я пришел повидаться с одним человеком; он хотел научить меня, как мне попасть в Румынию с Красным Крестом. Но это подождет. Уйдем отсюда. Боже, я так боялся, что тебе не удастся...

— Мне пришлось ползать на животе и лизать людям сапоги, чтобы это устроить. Боже, что за подлость! Но вот я здесь.

Они вышли на улицу.

— Но зато теперь свобода! Свобода! — закричал Эндрюс.

— Это высокое и гордое чувство... Я здесь уже три дня. Моя часть вернулась восвояси, храни их Господь.

— А что тебе приходится делать?

— Делать? Ничего! — закричал Гэнслоу.— То есть ни черта! Да, в сущности говоря, не стоит и соваться. Тут такая каша, что даже при желании ничего не сделаешь.

— Я хочу пойти поговорить с кем-нибудь в Schula Cantorum[1].

— Успеется. Ничего у тебя не выйдет с музыкой, если начнешь принимать ее всерьез.

— А затем надо где-нибудь раздобыть деньги.

— Вот это дело.

Гэнслоу вытащил из внутреннего кармана своей шинели бумажник тисненой кожи.

— Монако,— сказал он, поглаживая бумажник, на котором был выдавлен узор из мутно-красных цветов. Он выпятил губу, вытащил несколько стофранковых бумажек и сунул их Эндрюсу в руку.

— Дай мне только одну сотню,— сказал Эндрюс.

— Все или ничего. Сотни здесь хватает на пять минут.

— Чертовски много придется отдавать тебе.

— Отдашь на том свете. Бери и заткни глотку! Вероятно, у меня их больше не будет, потому пользуйся случаем. Предупреждаю тебя: к концу недели все будет истрачено.

— Прекрасно. Я умираю от голода.

— Сядем на скамеечку и подумаем, где бы нам позавтракать, чтобы отпраздновать мисс Либертад... Впрочем, не будем так называть свободу: Либертад напоминает Ливерпуль — отвратительное место.

---

[1] Академия старинной [церковной] музыки (*лат.*).

— Так будем называть ее фрейлейн Freiheit[1],— сказал Эндрюс, когда они уселись на плетеных стульях на фоне красновато-желтого солнечного сияния.

— Ах ты, германский шпион!

— Но подумай, дружище,— сказал Эндрюс.— бойня кончилась: и ты, и я, и все остальные скоро снова станут человеческими существами, слишком человеческими.

— Да, больше восемнадцати воюющих стран сейчас не наберется,— пробормотал Гэнслоу.

— Я целую вечность не видел газет. Что ты хочешь этим сказать?

— Сейчас воюют, бьют посуду везде, кроме западного фронта,— сказал Гэнслоу.— Красный Крест только и знает, что рассылает поезда, чтобы бойня продолжалась... Я отправлюсь в Россию, если удастся.

— Ну а как же Сорбонна?

— Сорбонна пусть убирается ко всем чертям!

— Но, Гэнни, я окочурюсь на твоих руках, если ты меня где-нибудь не накормишь.

— Хочешь пойдем в какое-нибудь шикарное заведение с обивкой из малинового плюша или розовой парчи?

— К чему нам эти заведения?

— Потому что пышность и хорошая еда идут рука об руку. Только священнодействующий ресторан поддерживает истинный культ желудка. О, я знаю, мы отправимся в Латинский квартал*. Я познакомлю тебя с одним парнем, который за всю свою жизнь никогда еще не был трезвым.

— Очень рад буду. Я сто лет не видел нового лица. Я не могу жить без разношерстной толпы вокруг меня. А ты?

— Ты это как раз найдешь здесь, на бульваре. Сербы, французы, англичане, американцы, австралийцы, румыны, чехословаки. Существует ли мундир, которого здесь нет! Уверяю тебя, Энди, война была прибыльным делом для тех, кто сумел ею воспользоваться. Взгляни только на их обмотки.

— Я думаю, они и с мира сумеют снять пенки.

— О! Мир будет еще и того лучше... Ну, идем. Будем теплыми ребятами, возьмем таксомотор.

Они пробивали себе дорогу сквозь гущу мундиров, мишуры и ярких красок; толпа двигалась двумя потоками взад и вперед по широкой боковой аллее, между кафе и стволами оголенных деревьев. Они влезли в таксомотор

[1] Свобода, вольность (*нем.*).

и быстро пронеслись по улицам, где при тусклом солнечном свете серовато-зеленоватые и серо-лиловые тона смешивались с синими пятнами и бледными отсветами, как сливаются краски в перьях на груди голубя. Они проехали мимо безлиственных садов Тюильри*; на другой стороне поднимались ярко-красные мансардные крыши и высокие трубы внутренних строений Лувра. Они на минуту увидели реку, тускло-зеленую, как нефрит, и ряд платанов, набросанных коричневыми и желтоватыми мазками вдоль набережной; затем они затерялись в узких, коричневато-серых улицах старинного квартала.

— Вот это Париж! А то был Космополис,— сказал Гэнслоу.

— Я не разбираюсь еще пока что,— весело сказал Эндрюс.

Сквер перед «Одеоном» казался белым пятном, а колоннада — черной тенью; мотор завернул за угол и стал продвигаться вдоль Люксембурга*; здесь, сквозь черную железную решетку, на коричневом и красноватом фоне между запутанными узорами безлиственных ветвей кое-где мелькали статуи, балюстрады и виднелась туманная даль.

Мотор остановился с резким толчком.

— Это площадь Медичи*,— сказал Гэнслоу.

В конце покатой улицы Пантеон* казался сквозь туман совсем плоским. Посреди сквера, между желтыми трамваями и низкими зелеными омнибусами, находился тихий пруд, в котором отражались тени домов.

Они сели у окна, выходящего в сквер. Гэнслоу заказывал.

— Хочешь соль меньёр?[1]

— Что попало или, вернее, все что тебе угодно. Возьми уж это на себя... Чепуха... Честное слово, я никогда в жизни не чувствовал себя счастливее... Знаешь, Гэнслоу, в тебе есть что-то такое, что боится счастья.

— Брось меланхолию... На свете только одно настоящее зло: находиться где-нибудь, откуда не можешь уйти. Я спросил пива. Это единственное место в Париже, где его можно пить.

— Я буду посещать все концерты Колонна и Ламурё по воскресеньям... Единственное зло на свете — не иметь возможности слушать музыку или исполнять ее... Эти устрицы достойны Лукулла*.

[1] Одинарный [маленький] коктейль (*фр.*).

— Скажи лучше достойны Джона Эндрюса и Боба Гэнслоу... Черт побери, почему нет? Почему призраки бедных старых умерших римлян должны вытаскиваться на свет каждый раз, когда человек ест устрицы? Понять этого не могу. Мы такие же молодцы, как и они. Я не допущу, чтобы меня пережил какой-то старый, обратившийся в прах Лукулл, даже если б я никогда не ел миноги.

— А почему вы должны есть ламповое стекло, Боб? — раздался около него хриплый голос.

Эндрюс увидел над собой круглое, бледное лицо с большими серыми глазами, скрытыми плотными очками в стальной оправе. За исключением глаз, лицо смутно напоминало китайский тип.

— Хелло, Хейн! Мистер Эндрюс, мистер Гейнеман,— сказал Гэнслоу.

— Очень приятно,— сказал Гейнеман добродушным хриплым голосом.— По-видимому, вы, молодцы, собираетесь обожраться, если судить по нагромождению пищи на этом столе?

— А вы присядьте и помогите нам,— сказал Гэнслоу.

— Отлично... Знаете, как я называю этого молодца? — обратился он к Эндрюсу.— Синдбадом!

Синдбад бедовал на Бермудах,
И в Токио, и в Тринидаде,
А дома вдвойне было худо.

Он громко пропел этот куплет, размахивая, как дирижерской палочкой, батоном.

— Заткнись, Гейн, или нас выставят отсюда, как в тот вечер из «Олимпии»!

Оба рассмеялись. Они смеялись до слез.

Гейнеман снял очки и протер их. Он обратился к Эндрюсу:

— О, в Париже сейчас лучше всего. Первая нелепость: мирная конференция с ее девятьюстами девяносто девятью разветвлениями. Вторая нелепость: шпионы. Третья: американские офицеры; четвертая: семь сестриц, произнесших обет убийства.

Он снова разразился смехом; его неуклюжее тело катало по стулу.

— Что это за сестрицы?

— Три из них поклялись укокошить Синдбада, а четыре поклялись ухлопать меня... Но это слишком сложно, чтобы рассказывать за завтраком. Восьмая: здесь есть

дамы скоропослушницы — специальность Синдбада. Девятая: здесь есть Синдбад.

— Заткнись, Гейн, ты меня конфузишь,— буркнул Гэнслоу.

О, Синдбад везде был внакладе...—

пропел Гейнеман.— Но никто мне не предложил выпить,— сказал он вдруг взволнованным голосом.— Гарсон, бутылку Маконца для кадета-гасконца! Вы видели эту пьесу? Самая замечательная пьеса в мире. Видел ее два раза в трезвом виде и еще семь раз...

— «Сирано де Бержерак»?

— Вот именно! Я работаю, надо вам сказать, в Красном Кресте... Знаешь, Синдбад, старый Петерсон — молодчинище!.. Предполагается, что я в данную минуту снимаю фотографии с туберкулезных детей... Самая благородная из моих профессий — это художественная фотография... Я взял фотографии напрокат у того, кто снимает рахитиков. Так что могу ничего не делать три месяца и получил пятьсот франков на разъезды. О, дети мои! Моя единственная молитва: наше свидетельство красно-крестного служащего дай нам днесь, а прочее довершит Красный Крест.

Гейнеман так захохотал, что стаканы зазвенели на столе. Он снял очки и протер их с унылым видом раскаяния.

Эндрюс пил кофе медленными глотками, наблюдая из окна за прохожими. Старуха с цветочным лотком сидела на углу на низеньком уродливом стуле. Розовые, желтые, синевато-лиловые тона цветов словно обостряли туманную желтизну и сероватую лазурь зимнего освещения и мрак улиц. Девушка в плотно облегающем черном платье и в черной шляпе остановилась у лотка, чтобы купить пучок бледно-желтых маргариток, а потом медленно пошла мимо окна ресторана по направлению к саду. Ее лицо цвета слоновой кости, ее стройная фигура и очень черные глаза вызвали внезапную дрожь по всему телу Эндрюса, когда он взглянул на нее. Стройная черная фигура исчезла за решеткой сада. Эндрюс неожиданно вскочил.

— Мне нужно идти,— сказал он странным голосом.— Я вдруг вспомнил, что меня ждет один человек в учебной части Главного штаба.

— Пусть подождет! Как же так? Вы еще не пили ликер! — вскричал Гейнеман.

— Нет. Но где я могу попозже встретить вашу компанию?

— В кафе «Роган» в пять часов, против Пале-Рояля*.

— Ты никогда его не найдешь.

— Найду,— сказал Эндрюс.

— Пале-Рояль — остановка метрополитена! — закричали они ему вслед, когда он выбежал за дверь.

Он поспешил в сад. Много народу сидело на скамейках в бледных лучах солнца. Дети в ярких костюмах бегали, погоняя серсо. Женщина щеголяла связкой игрушечных шаров, розовых, зеленых, малиновых, которые казались огромной кистью разноцветного винограда, перевернутой над ее головой. Эндрюс разгуливал взад и вперед по аллеям, изучая лица. Девушка исчезла. Он прислонился к серой балюстраде и смотрел на дно пустого пруда, где сохранились следы от попавшего сюда снаряда из «Берты»*. Он говорил себе, что он болван. Даже если бы он нашел ее, он все равно не мог бы с ней заговорить. Из того, что он на день или на два освобожден от военной службы, еще не следует; что золотой век снова вернулся на землю. Улыбаясь этой мысли, он прошел насквозь через сад, побродил по каким-то улицам, со старинными домами, оштукатуренными в белый или серый цвет, с грифельными мансардными крышами и с фантастически-замысловатыми трубами, и, наконец, вышел к церкви с новым фасадом классического стиля; огромные колонны, казалось, налились от собственной тяжести.

Он спросил у газетчицы название церкви.

— Но, месье, это Сен-Сюльпис,— сказала женщина удивленным тоном.

Сен-Сюльпис! В его мыслях промелькнули песенка Манон, сентиментальная меланхолия Парижа восемнадцатого века; игорные дома в Пале-Рояле, где молодые люди покрывали себя бесчестьем в присутствии строгих катонов-отцов; любовные записочки, которые они писали на маленьких золоченых столиках; забрызганные грязью дилижансы, вкатывавшиеся из провинции через Орлеанскую и Версальскую заставы; Париж Дидро, Вольтера и Жана-Жака с его грозными улицами и харчевнями, где ели раковый суп, шпигованных пулярок и суфле; Париж с его заплесневелым позолоченным великолепием, с торжественной скукой прошлого и безумными надеждами на будущее.

Он спустился по узкой, закоптелой улице, загроможденной лавками антикваров и букинистов, и неожидан-

но вышел к реке против статуи Вольтера. Он прочел на углу название: «Набережная Малакэ». Эндрюс перешел на другую сторону набережной и долго смотрел вниз, на реку. Напротив, за кружевной завесой безлиственных деревьев, поднимались пурпуровые крыши Лувра с их высокими шпилями и бесконечными рядами труб; позади были старинные дома набережной и крыло неизвестного ему здания с куполом, увенчанное балюстрадой с большими урнами из серого камня.

Барки плыли вверх по течению; мутная зеленая вода пенилась под их тупыми носами; их тащил на буксире маленький черный пароход с трубой, отогнутой назад, чтобы проходить под мостами. Буксирный пароход издал тонкий, пронзительный свисток.

Эндрюс решил прогуляться вниз по течению. Он перешел мост на углу Лувра, повернулся спиной к арке, выстроенной Наполеоном, и прошел через Тюильрийский сад, наполненный публикой, гуляющей или сидящей на солнце, детьми, похожими на кукол, нянь ками в изысканных белых чепцах, лохматыми собачонками на привязи. На него вдруг напала мирная дремота. Он сел на скамейку на солнце и стал следить, почти не видя их, за людьми, которые проходили взад и вперед, бросая длинные тени. Голоса и смех очень слабо доходили до его слуха, покрываемые шумом отдаленного уличного движения. Он несколько минут слышал звуки марша, исполняемого военным оркестром. Бледные, серо-голубые тени деревьев легли на красновато-желтый гравий. Их все время пересекали мелькающие взад и вперед тени людей. Он чувствовал себя очень утомленным и счастливым.

Он вдруг очнулся — он, оказывается, задремал. Он спросил у старика с красиво заостренной белой бородкой дорогу в предместье Сент-Оноре.

После того как он раза два сбивался с пути, он рассеянно поднялся на мраморные ступеньки, где разговаривали много людей в мундирах цвета хаки. Наверху стоял, прислонившись к двери, Уолтерс. Эндрюс, приближаясь, расслышал, как он говорил своему соседу:

— Как же! Эйфелева башня — первый образчик законченной постройки из железа во всем мире. Ее прежде всего должен осмотреть человек, если он сознательный.

— А я скажу, что самое грандиозное зрелище — это Опера,— возразил его ближайший сосед.

— Если там есть вино и женщины, то я не прочь.

— А пения тебе мало?

— Это не так интересно, как Эйфелева башня,— настаивал Уолтерс.

— Послушай, Уолтерс, надеюсь, что ты не меня ждал,— пробормотал Эндрюс.

— Нет, я стоял в очереди, чтобы увидеть этого молодца насчет курсов. Я хочу наладить это дело как следует.

— Я думаю пойти завтра,— сказал Эндрюс.

— Послушай, ты что-нибудь предпринял насчет комнаты? Хочешь, будем друзьями?

— Идет. Но, может быть, ты не захочешь жить там, где я, Уолтерс?

— Где это? В Латинском квартале? Очень даже просто. Почему бы мне не познакомиться с французской жизнью, раз я здесь?

— Да, но сейчас поздно искать комнату!

— Я, во всяком случае, сегодня пойду ночевать к христианским юношам.

— А я попрошу одного знакомого приютить меня... А завтра увидим. Так, значит, до завтра,— сказал Эндрюс, удаляясь.

— Постой, я иду с тобой. Погуляем вместе по городу.

— Ладно,— сказал Эндрюс.

Кролик был довольно бесформенный, очень пушистый; в розовых глазах его с черным зрачком было выражение безумия. Он прыгал, как воробей, по панели; из спины его выходила резиновая трубка, заканчивавшаяся грушей, которую человек сжимал в руке, чтобы кролик прыгал. Все же у кролика был вид живого организма. Эндрюс неудержимо расхохотался, когда впервые его увидал. Продавец, у которого на руке висела корзина, наполненная такими же кроликами, увидел, что Эндрюс смеется, и робко приблизился к столу; у него было розовое лицо с тонкими чуткими губами, несколько напоминавшими кроличьи, и большие испуганные глаза блекло-карего цвета.

— Вы сами делаете их? — спросил Эндрюс, улыбаясь.

Человек с небрежным видом уронил кролика на стол. И неожиданно, крепко нажав грушу, заставил его перекувыркнуться. Эндрюс засмеялся. Продавец кроликов также засмеялся.

— Я делаю их с натуры.

— Подумай только: большой, сильный мужчина зарабатывает себе хлеб таким способом,— сказал с презрением Уолтерс.

— Хелло, Энди!.. Адски запоздали! Виноват,— сказал Гэнслоу, опускаясь на стул рядом с ними.

Эндрюс представил Уолтерса. Продавец кроликов снял шляпу, поклонился компании и ушел, заставляя кролика скакать перед собой по краю панели.

— Что случилось с Гейнеманом?

— Вот он приехал,— сказал Гэнслоу.

Открытый мотор подъехал к тротуару перед кафе. В нем сидел Гейнеман с широкой усмешкой на лице, и рядом с ним женщина в платье цвета сомон, в горностаях и изумрудной шляпе. Экипаж уехал, и Гейнеман, ухмыляясь, подошел к столу.

— Где львенок? — спросил Гэнслоу.

— Говорят, у него воспаление легких.

— Мистер Гейнеман. Мистер Уолтерс.

Усмешка покинула лицо Гейнемана. Он произнес отрывисто:

— Очень приятно.— Кинул злобный взгляд на Эндрюса и уселся на стул.

Солнце зашло. Небо было залито лиловыми, ярко-пурпурными и розовыми тонами. В темно-голубом сумраке загорелись огни, алые уличные фонари, лиловые дуговые, красноватые снопы света, лившиеся из магазинных окон.

— Войдем внутрь. Я адски продрог,— сердито сказал Гейнеман, и они прошли гуськом через вращающуюся дверь; за ними следовал лакей с их напитками.

— Я был в Красном Кресте, Энди. Я думаю, что обработаю эту румынскую историю... Хочешь тоже ехать? — сказал Гэнслоу Эндрюсу на ухо.

— Если я раздобуду где-нибудь рояль и несколько уроков и если концерты будут продолжаться, ты не вытащишь меня из Парижа веревками. Нет, сэр. Я хочу узнать, что такое Париж. Он мне бросился в голову, как вино. Недели пройдут, прежде чем я сумею разобраться, что я о нем думаю.

— Не думайте о нем. Пейте,— пробурчал Гейнеман, корча страшные гримасы.

— Я от двух вещей намерен держаться в Париже далеко: от вина и женщин. Одно не идет без другого,— сказал Уолтерс.

— Правильно... Необходимо то и другое,— сказал Гейнеман.

Эндрюс не прислушивался к их болтовне; поворачивая между пальцами высокую рюмку с вермутом, он думал о царице Савской, соскользнувшей со спины своего слона

и волшебно сверкающей драгоценными камнями при свете потрескивающих смоляных факелов. Музыка просачивалась в его мозг, как вода просачивается в яму, вырытую в песчаном берегу. Во всем своем теле он чувствовал напор ритмов и музыкальных фраз, принимающих их форму; их еще нельзя было отчетливо определить; они носились еще на границе сознания. *«От девушки на перекрестке, распевающей под уличным фонарем, вплоть до патрицианки, обрывающей лепестки роз с высоты своих носилок. Все образы человеческого желания».*

Он думал о девушке с кожей как старинная слоновая кость, виденной им на площади Медичи. Таким представлялось теперь в его фантазиях лицо царицы Савской, спокойное и непроницаемое. От внезапной радости, звучавшей, как цимбалы, сильно забилось его сердце. Он мог теперь свободно следовать прихотям своей фантазии, целыми днями сидеть за столиком кафе, следить за постоянной сменой двигающихся картин, наполнять свою мысль и все существо свое отзвуками ритмических движений мужчин и женщин, проходящих перед ним на барельефе жизни уже не в виде деревянных автоматов, знающих только вымуштрованные движения, но гибких, разнообразных, полных силы и трагизма.

— Ради всего святого, уберемся отсюда. Это учреждение нагоняет на меня тоску.— Гейнеман ударил кулаком по столу.

— Хорошо,— сказал Эндрюс и встал зевая.

Гэнслоу и Эндрюс пошли вперед, предоставив Уолтерсу и Гейнеману следовать за ними.

— Мы пойдем обедать в «Пляшущую Крысу»,— сказал Гэнслоу.— Страшно забавное место! Мы как раз успеем дойти туда, нагуляв аппетит.

Они пошли по длинной, тускло освещенной улице Ришелье до бульвара и немного побродили там вместе с толпой. Горящие огни словно напудрили воздух золотом. Кафе внутри и на улице были переполнены. Запах вермута, кофе, духов и папирос смешивался с запахом бензина от таксомоторов.

— Сумасшествие какое-то.— сказал Эндрюс.

— В семь часов вечера на Больших бульварах вечно карнавал.

Они стали подниматься по крутым ступенькам на Монмартр. На углу они прошли мимо девушки с жестким выражением лица, ярко накрашенными губами и слишком заметно напудренными щеками; она смеялась, по-

виснув на руке американского солдата со смуглым лицом и мутно-зелеными глазами, сверкавшими в косых лучах фонаря.

У скрещения двух покатых улиц они вошли в ресторан с маленькими окнами, заклеенными красной бумагой, сквозь которые проникал тусклый свет. Внутри были нагромождены дубовые столы, а наверху, вокруг дубовой панели, на полках стояли пепельницы из раковин, пара черепов, несколько треснувших майоликовых тарелок и множество чучел крыс. В кабачке было только двое посетителей: толстая женщина и мужчина с длинными седыми волосами и бородой. Они сидели, серьезно разговаривая, над двумя рюмками посредине комнаты.

Грубоватая на вид служанка в голландском чепце и переднике торчала у внутренней двери, откуда доносился резкий запах рыбы, жарившейся на прованском масле.

— Здешний повар из Марселя,— сказал Гэнслоу, когда они заняли столик для четверых.

— Боюсь, что остальные заблудились,— заметил Эндрюс.

— Вернее, что старый Гейн зашел куда-нибудь выпить,— сообразил Гэнслоу.

— Велим подать пока закуску.

Служанка принесла коллекцию похожих на лодки блюд с красным салатом, с желтым салатом, с зеленым салатом и две деревянных миски с селедкой и анчоусами.

Гэнслоу остановил ее, когда она уходила, и спросил:

— И это все?

Служанка с трагическим видом оглядела свой ассортимент и скрестила руки на широкой груди.

— Ничего не поделаешь, господа. Теперь перемирие.

— Самое большое надувательство во всей этой истории с войной — это мир. Я вам говорю: пока закуска в ресторанах не будет восстановлена в прежнем обилии и разнообразии, я не признаю войну оконченной.

Служанка хихикнула.

— Сейчас не то, что было раньше,— сказала она, возвращаясь на кухню.

В эту минуту Гейнеман влетел в ресторан и так хлопнул дверью, что стаканы зазвенели, а толстая женщина и волосатый мужчина подскочили на своих стульях. Гейнеман плюхнулся на место, широко ухмыляясь.

— А что вы сделали с Уолтерсом?

Гейнеман тщательно протер свои очки.

— Умер, опившись малиновым сиропом... Послушайте, крошка, бургундского! — закричал он служанке.— Потом прибавил: — Ле Ги придет сию минуту, я только что встретил его.

Ресторан постепенно наполнялся мужчинами и женщинами в самых разнообразных костюмах; мелькало много американцев в мундирах и в штатском.

— Боже, как я ненавижу людей не умеющих пить! — вскричал Гейнеман, наливая вино.— Непьющий человек только тяготит землю.

— А что вы будете делать в Америке, где теперь запрещение?

— Уж молчите! Вот Ле Ги! Я не хочу, чтобы он знал, что я принадлежу к нации, запрещающей хорошие напитки. Месье Ле Ги, месье Гэнслоу и месье Эндрюс,— продолжал он, церемонно вставая.

Маленький человек с закрученными усами и бородкой а-ля Ван Дейк занял четвертое место. У него был слегка красноватый нос и маленькие мигающие глазки.

— Я очень рад,— сказал он, выставляя своеобразным движением свои накрахмаленные манжеты,— пообедать в компании. Когда начинаешь стариться, одиночество становится нестерпимым. Только молодость смеет задумываться. Потом думаешь только об одном: о своей старости.

— Всегда есть работа,— сказал Эндрюс.

— Рабство, всякая работа — рабство! Какой смысл в освобождении вашего разума, если все равно приходится продаваться первому же покупателю?

— Вздор,— сказал Гейнеман, наливая из новой бутылки.

Эндрюс обратил внимание на молодую девушку, сидевшую за соседним столом, против молодого бледного солдата в голубом французском мундире, поразительно на нее похожего. У нее были выдающиеся скулы и лоб, на котором сквозь прозрачную, смугловатую кожу просвечивало строение черепа. Ее тяжелые каштановые волосы были свернуты небрежным узлом на затылке. Она говорила очень спокойно и сжимала губы, когда улыбалась. Ела быстро и аккуратно, как кошка.

Ресторан постепенно наполнялся публикой. Служанка и хозяин, полный мужчина с широким красным кушаком, туго завязанным вокруг талии, с трудом двигались между загроможденными столиками. За столиком в углу женщина с мертвенно бледным лицом и расширенными атропином, остановившимися зрачками, прислонившись

к стене головой, в шляпе с грязноватыми белыми перьями, заливалась хриплым смехом. Раздавался беспрестанный звон тарелок и стаканов, и распространялся маслянистый угар от пищи, женских платьев и вина.

— Хотите знать, что я действительно сделал с вашим приятелем? — сказал Гейнеман, наклоняясь к Эндрюсу.

— Надеюсь, что вы не столкнули его в Сену?

— Я поступил адски невежливо, но, черт возьми, адски невежливо и с его стороны было отказываться от выпивки... Не стоит тратить время с непьющим человеком. Я привел его в кафе и попросил подождать, пока я позвоню по телефону. Я полагаю, он и до сих пор ждет. Это одно из самых непристойных кафе на всем бульваре Клиши.— Гейнеман заревел от смеха и начал объяснять это на своем носовом французском диалекте месье Ле Ги.

Эндрюс покраснел на минуту от досады, потом расхохотался. Гейнеман снова принялся петь:

Синдбад бедовал на Бермудах,
И в Токио, и в Тринидаде,
А дома вдвойне было худо.
О, Синдбад везде был внакладе!

Все захохотали. Бледнолицая женщина в углу закричала пронзительным, кошмарным голосом:

— Браво! Браво!

Гейнеман поклонился; его крупное, ухмыляющееся лицо качалось вверх и вниз, как у фарфорового китайца.

— Синдбад! — кричал он, указывая широким жестом на Гэнслоу.

— Угости их еще, Гейн, угости их еще,— сказал Гэнслоу, смеясь.

Все брюнетки, все высоки —
Итальяночки!
Златокудры, синеоки —
Все голландочки!

Все снова зааплодировали. Эндрюс продолжал смотреть на девушку у соседнего стола; ее лицо раскраснелось от смеха. Она прижала платок к губам и повторяла тихим голосом:

— Он такой смешной... он такой смешной!..

Гейнеман взял стакан и помахал им в воздухе, прежде чем осушить. Несколько человек встали с мест и наполнили его из своих бутылок белым и красным вином.

Французский солдат за соседним столом вытащил из-под стула фляжку и повесил ее Гейнеману на шею. Гейнеман с багровым лицом раскланивался во все стороны и еще больше, чем всегда, напоминал фарфорового китайца; потом он опять начал петь, на этот раз в самом торжественном тоне:

Эй вы, живей, живей подставьте губки!
Мелькают бедра, сверкают зубки...
Ах вы, голубки...

Его неуклюжее тело качалось в такт. Женщина в углу отбивала темп длинными белыми руками, поднятыми над головой.

— Держу пари, что она укротительница змей,— сказал Гэнслоу.

От любви она без сил,
Ах, как он ее бесил!
О, Синдбад был всегда внакладе!

Гейнеман замахал руками, снова указал на Гэнслоу и опустился на стул, сказав тоном мелодраматического актера:

— Это он — Синдбад.

Девушка спрятала лицо на скатерти, помирая от смеха. Эндрюс расслышал слабый судорожный голос, говорящий:

— Ой, до чего же он смешон!

Гейнеман снял фляжку и вернул ее французскому солдату.

— Благодарю вас, товарищ! — сказал он торжественно.

— Ну, Жанна, пора нам идти! — сказал французский солдат своей девушке.

Они встали. Он пожал руки американцам. Эндрюс поймал взгляд девушки, и оба снова разразились судорожным смехом. Эндрюс заметил ее правильную, грациозную походку, когда провожал ее глазами до дверей.

Компания Эндрюса скоро последовала за ними.

— Мы должны поторопиться, если хотим поспеть к «Бодрому Кролику» до закрытия, а мне надо выпить,— сказал Гейнеман, все еще разговаривая своим театральным, шекспировским тоном.

— Вы были когда-нибудь на сцене? — спросил Эндрюс.

— На какой сцене, сэр? Я теперь на последних ролях, сэр. Я — фотограф-художник, и больше никаких. Моки и

я поступим вместе в кино, когда они наконец заключат мир.

— Кто это Моки?

— Моки Хэдж — это дама в платье сомон,— сказал Гэнслоу громким театральным шепотом Эндрюсу на ухо.— У них есть львенок, Бубу.

— Наш первенец,— сказал Гейнеман с приветственным жестом руки.

Улицы опустели. Тонкий лунный луч по временам пробивался сквозь тяжелые тучи, озаряя низкие дома, грубо вымощенные улицы и ряды ступенек с тусклыми лампами, вделанными в стены домов на пути к Монмартру.

Жандарм стоял у входа к «Бодрому Кролику». Улица еще была полна группами только что вышедших оттуда американских офицеров и женщин из Союза христианской молодежи вперемежку с жителями этого района.

— Посмотрите, мы опоздали! — простонал Гейнеман плачущим голосом.

— Не горюй, Гейн,— сказал Гэнслоу.— Ле Ги поведет нас к Клошевиллю, как в прошлый раз. Правда, Ле Ги? — Затем Эндрюс услышал, как он обратился к человеку, которого он до тех пор не видел: — Идем, Обрей, я потом вас представлю.

Они стали подниматься в гору. В воздухе, напоенном ароматом влажных садов, была полная тишина, нарушаемая лишь звяканьем их шагов по мостовой. Гейнеман во главе процессии выплясывал какую-то джигу. Они остановились перед высоким домом мрачного вида и стали взбираться по шаткой деревянной лестнице. Они споткнулись о высокий дверной порог и вошли в большую чердачную комнату с кирпичным полом, где их встретил высокий худощавый человек в коричневом халате, напоминающем монашескую рясу. Единственная свеча заставляла их тени исполнять при каждом движении фантастический танец на косых белых стенах. На одной стороне комнаты было три больших окна с разбитыми стеклами, заткнутыми газетной бумагой; они тянулись от пола до потолка. Против них были две лежанки, с наваленными на них пледами. С противоположной стороны множество холстов были нагромождены друг на друга, прислоненные как попало к покосившейся стене комнаты.

Эта улыбка дарует нам радость,
Эта улыбка рождает печаль! —

пропел Гейнеман. Все расположились на лежанках. Худощавый человек в коричневом халате вытащил из тени

стол, поставил на него несколько черных бутылок и тяжелых стаканов и устроил себе самому складной стул.

— Он так и живет... Говорят, что он никогда не выходит... Сидит здесь и малюет, а когда приходят к нему друзья, угощает их вином и берет с них двойную цену,— сказал Гэнслоу.— Вот он как живет...

Худощавый человек вынул из ящика стола огарки свечей и зажег их. Эндрюс заметил, что его икры и ступни были под бахромой на подоле халата голы. Свеча озаряла разгоряченные лица мужчин и резкие, желтые как бананы и мышьяковые зеленые краски на холстах вдоль стены, на которые горшки с торчащими из них кистями бросали забавные тени.

— Слышал, Гэнни,— сказал Обрей,— говорят, что президент собирается покинуть конференцию, обозвать их всех в лицо мерзавцами и уйти под оркестр, играющий «Интернационал».

— Вот это новости! — воскликнул Эндрюс.

— Если он это сделает, он признает Советскую власть,— сказал Гэнслоу.— Записываюсь в первый же отряд Красного Креста, который отправится спасать голодающую Россию. О! Это великолепно! Я пришлю тебе открытку из Москвы, Энди, если только они не упразднены как буржуазный предрассудок.

— Черт возьми, нет! У меня на пятьсот долларов русского займа, которые мне дала эта девчонка Вера. Но они будут стоить пять миллионов, десять миллионов, пятьдесят миллионов, если царь вернется... Я стою за белого царя-батюшку! — закричал Гейнеман.— Во всяком случае, Моки уверяет, что он жив и его держат взаперти в апартаментах отеля «Ритц»...* А Моки знает!

— Моки знает чертовски много, я с этим согласен,— сказал Гэнслоу.

— Но подумайте только,— сказал Обрей,— ведь это означает мировую революцию с Соединенными Штатами во главе. Что вы об этом думаете?

— Моки этого не думает,— сказал Гейнеман.— А Моки знает!

— Она знает только то, что ей говорит ее шайка воякреакционеров,— сказал Обрей.— Тот человек, от которого я это слышал — жалею, что не могу вам назвать его имя,— сам слышал это из первых уст от... Ну да вы знаете от кого.— Он обратился к Гэнслоу; тот улыбнулся с понимающим видом.— В настоящую минуту специальная миссия в России заключает мир с Лениным.

— Чертовское безобразие! — закричал Гейнеман и разбил бутылку об стол.

Худощавый хозяин подобрал куски без всяких комментариев.

— Наступает новая эра, друзья, я клянусь вам! — начал Обрей.— Старый порядок разлагается... Идет ко дну под тяжестью нищеты и преступлений... Это будет первым великим движением к новому и лучшему миру — нет другого выхода. Эта возможность никогда не повторится. Мы должны или мужественно шагнуть вперед, или погрязнуть в невероятных ужасах анархии и гражданской войны... Мир — или возврат к каменному веку.

Эндрюс уже некоторое время чувствовал, как на него находит непобедимая дремота. Он завернулся в одеяло и растянулся на свободной лежанке. Голоса, споривше, переругивавшиеся, произносившие высокопарные фразы, одну минуту звенели у него в ушах. Потом он заснул.

Когда Эндрюс проснулся, его глаза уперлись в треснувшую штукатурку незнакомого потолка. Он несколько минут не мог сообразить, где находится. Гэнслоу спал, закутавшись в другое одеяло, на соседней лежанке. Царила полнейшая тишина. Потоки серебристо-серого света лились сквозь широкие окна, откуда Эндрюс мог видеть небо, покрытое блестящими облаками цвета голубиных перьев. Он осторожно приподнялся. В какую-то минуту среди ночи он снял свою шинель, сапоги и обмотки, которые лежали теперь на полу возле лежанки. Столы с бутылками исчезли, и худощавого хозяина нигде не было видно. Эндрюс подошел к окну в одних чулках. В это утро Париж рисовался грифельно-серой и сизой массой, раскинувшейся, как турецкий ковер; серебристой полоской тумана виднелась река, и башня Эйфеля выступала, точно шагающий человек. Кое-где поднимался спиралями голубой и коричневый дым, чтобы затеряться в бледном облаке коричневого тумана, который повис высоко над домами. Эндрюс долго стоял, прислонившись к оконной раме, пока не услышал за собой голос Гэнслоу:

— «Ах, с того дня, как я ему отдалась...» Ты похож сейчас на Луизу.

Эндрюс обернулся.

Гэнслоу сидел на краю лежанки; волосы его были растрепаны, и он расчесывал свои маленькие шелковистые усы карманной гребенкой.

— Ну и башка у меня,— сказал он.— А язык точно терка для орехов. А у тебя?

— Нет. Я чувствую себя боевым петухом!

— А что ты скажешь, не спуститься ли нам к Сене и не взять ли нам ванну в купальне Бенни Франклина?

— Что же? Это звучит гордо.

— А потом закатим себе здоровеннейший завтрак.

— Это правильный взгляд на вещи. Куда все ушли?

— Старый Гейн пошел к своей Моки, я полагаю, а Обрей отправился, чтобы набраться еще слухов в «Гриль-оне». Он говорит, что четыре часа утра, когда пьяницы возвращаются домой, самое лучшее время для журналиста.

Улицы были полны мужчин н девушек, спешивших на работу. Все сверкало, казалось только что вычищенным. Они прошли мимо пекарей, откуда доносился густой запах свежевыпеченного хлеба. Из кафе тянуло жареным кофе. Они пересекли рынок, набитый тяжелыми телегами, которые перекатывались взад и вперед, и женщинами, нагруженными корзинками с овощами. Там носился острый запах рубленой капусты, моркови и мокрой глины. На набережной был едкий, колючий туман, от которого кровь бросилась им в щеки, а руки окоченели от холода.

Купальня оказалась огромной баржей, на которой был выстроен павильон в форме ромба. Они перешли туда по маленьким сходням, по бокам которых стояла в горшках герань. Служитель дал им две комнаты рядом на нижней палубе, выкрашенные в серую краску, с покрытыми паром окнами, сквозь которые Эндрюс уловил мелькание быстро бегущей зеленой воды. Он живо скинул свою одежду. Ванна была медная, вылуженная внутри каким-то белым металлом. Вода лилась туда из двух медных кранов. Когда Эндрюс вошел в горячую зеленую воду, в перегородке открылось маленькое окно, и Гэнслоу закричал ему:

— Вот тебе современные удобства! Можно разговаривать во время купания.

Эндрюс весело скоблил себя квадратных куском розового мыла, брызгая вокруг себя водой, как маленький мальчик. Он стоял и обливал себя с головы до ног, потом опустился в воду, которая расплескалась по всему полу.

— Ты воображаешь, что ты тюлень в цирке! — закричал Гэнслоу.

— Все это такая нелепица! — вскрикнул Эндрюс, корчась от смеха.— У нее львенок, по имени Бубу, Николай Романов живет в отеле «Ритц», а революция предсказана на послезавтра в двенадцать пополудни.

— Я наметил бы ее на первое мая,— возразил Гэнслоу среди плеска воды.— Шикарно сделаться народным комиссаром! Можно отправиться революционизировать далай-ламу в Тибете!

— О, это очаровательно до нелепости! — воскликнул Эндрюс, вторично опускаясь в ванну.

II

Двое военных полицейских прошли за окном. Эндрюс следил за их кобурами для револьверов, сделанными из свиной кожи, пока они не скрылись из виду. Он чувствовал себя в счастливой безопасности от них. Лакей, стоявший в дверях с салфеткой в руке, давал ему такое острое ощущение безопасности, что он даже рассмеялся. На мраморном столике перед ним находились небольшой стакан пива, записная книжка с налинованными листами бумаги и пара желтых карандашей. Пиво цвета топаза в светло-сером свете, струившемся из окна, бросало на стол бледно-желтое сияние с ярким пятном посередине. За окном был бульвар, по которому быстро шагали несколько человек. Пустая рыночная тележка проезжала по временам с громким шумом. На скамейке женщина в темной вязаной шали с пачкой газет на коленях любовно углубилась в подсчитывание су. Эндрюс взглянул на свои часы. Ему оставалось час до того, как идти в Schula Cantorum. Он встал, заплатил лакею и прошелся по центральному бульвару, думая с улыбкой о написанных им страницах, о тех, которые он еще напишет. Свобода и досуг вызывали в нем прекрасное самочувствие. Утро было серое, с легким желтоватым туманом в воздухе. Панели были мокрые, и в них отражались женские платья, мужские ноги и угловатые очертания таксомоторов. От цветочного лотка с фиалками и красной и розовой гвоздикой дерзкие мазки вливались в коричневато-серый тон панели. Проходя мимо цветочного лотка, Эндрюс уловил легкий аромат фиалок сквозь запах сырости и вдруг вспомнил, что наступает весна. Он сказал себе, что не пропустит ни одной минуты этой весны; он будет следовать за ней шаг за шагом, начиная с первых фиалок. О, какой полной жизнью ему надо теперь жить, чтобы вознаградить себя за все потерянные годы! Он продолжал прогуливаться по бульвару. Он вспоминал, как он и девушка, которую солдат называл Жанной, оба разра-

жались неудержимым смехом, когда их взгляды встречались вчера ночью в ресторане. Ему хотелось бы пройтись смеясь по бульвару с такой девушкой сквозь туманное утро.

Он смутно соображал, в какую часть Парижа попал, но был слишком счастлив, чтобы беспокоиться об этом. Как прекрасно, что часы так длинны ранним утром.

На концерте в зале «Гаво» он услышал «Ноктюрны» и «Сирен» Дебюсси. Их ритмы были основой всех его мыслей. На фоне серой улицы и коричневатого тумана, застилавшего вуалью все дали, он начал создавать собственные ритмы, модуляции и фразы, которые сверкали, таяли и некоторое время шуршали сквозь уличный гам над его головой, как пестрые знамена.

Он заметил, что проходит мимо длинного здания с тусклыми рядами окон; у центрального подъезда находилась группа куривших американских солдат. Он бессознательно ускорил шаг, боясь встретить офицера, которому придется отдать честь. Он прошел мимо солдат не оглядываясь. Голос остановил его:

— Послушай, Эндрюс!

Обернувшись, он увидел, что человек низенького роста с курчавыми волосами, знакомое лицо которого он не мог наделить именем, отошел от группы у дверей и приближается к нему.

— Хелло, Эндрюс! Тебя зовут Эндрюс, не так ли?

— Да.— Эндрюс пожал ему руку, стараясь припомнить, кто он.

— Я — Фюзелли! Помнишь? В последний раз, когда я тебя видел, ты ехал в поезде на позиции вместе с Крисфилдом. Крис — мы его называли... Помнишь?

— Конечно, помню!

— Ну, что же случилось с Крисом?

— Он теперь капрал,— сказал Эндрюс.

— Ишь он какой! Будь я проклят! Меня тоже когда-то хотели произвести в капралы.

У Фюзелли были запачканные брюки темно-оливкового цвета и плохо завернутые обмотки; ворот его рубахи был расстегнут. От его синей холщовой куртки исходил запах испорченного сала, в котором Эндрюс узнал аромат военных кухонь. Он на минуту вспомнил стояние в очереди холодным, темным утром и звук густой похлебки, шлепавшейся в казенные котелки.

— Почему же они не сделали тебя капралом, Фюзелли? — спросил Эндрюс после паузы.

— Черт! Прошграфился я, надо полагать.

— Ну а как вообще?

— А так, что я был в дисциплинарном батальоне. Вот как вообще.

— Нда, не повезло тебе!

Эндрюсу хотелось продолжать путь. Он вдруг испугался, что опоздает. Но он не знал, как прекратить эту беседу.

— Я заболел,— сказал Фюзелли, ухмыляясь.— Кажется, я и сейчас еще болен. Адское безобразие, как они обращаются с человеком; он для них хуже грязи.

— Ты все время был в Косне? Тебе чертовски не повезло, Фюзелли.

— Косн, конечно, адская дыра. Ты, наверное, видел много сражений. Как ты, должно быть, радовался, что ушел из этой проклятой медицинской части!

— Не знаю, насколько я рад, что видел сражения. Хотя, пожалуй, рад...

— Понимаешь, это был сущий ад, пока они разобрали дело. Военный суд был чертовски суров, даже после перемирия. О Боже! Почему они не хотят отпустить человека домой?

Женщина в ярко-синей шляпке прошла мимо них. Перед Эндрюсом промелькнуло белое, чересчур напудренное лицо; ее бедра дрожали, как желе, под синей юбкой, при каждом резком стуке ее высоких каблуков по панели.

— Ага, это никак Дженни. Я рад, что она не заметила меня! — Фюзелли расхохотался.— Я должен был пойти на свидание с ней в один вечер на прошлой неделе, но мы так мертвецки нарезались, что я не в состоянии был пошевельнуться.

— В какой ты теперь части?

— Я в кашеварах здесь.— Фюзелли указал большим пальцем на дверь строения.— Неплохая служба: два дня в неделю гуляю, учений нет, кормят хорошо... По крайней мере имеешь все, что нужно... Но это, действительно, был ад в дисциплинарке — вывозить отбросы, грузить уголь...

— Но теперь ты скоро должен отправиться домой. Разве нет? Они не могут отчислить тебя, пока не вылечат.

— Черт побери, откуда мне знать? Некоторые парни тут говорят, что мою болезнь никогда нельзя вылечить.

— Ты не находишь, что работа в нестроевой части здорово скучная?

— Не хуже всякой другой. А что ты делаешь в Париже?

— Учебный отдел.

— Это что такое?

— Люди, пожелавшие заниматься здесь в университете и сумевшие этого добиться.

— Вот еще! Я рад, что мне больше не надо ходить в школу.

— Ну, будь здоров, Фюзелли!

— Будь здоров, Эндрюс!

Фюзелли повернулся и пошел, переваливаясь, к группе у дверей. Эндрюс поспешил уйти. Когда он завернул за угол, перед ним промелькнул в последний раз Фюзелли: заложив руки в карманы и скрестив ноги, он стоял, прислонившись к стене у дверей в казармы.

III

В тех местах, где дождь падал сквозь неясные световые круги от фонарей, мрак сверкал блестками бледного золота. В ушах Эндрюса стоял шум от воды, быстро мчавшейся по канавкам, от брызжущих водосточных труб и твердого, неумолимого стука дождя по панели. Это было уже вечером. Складные ставни были спущены на окнах кафе. Кепка Эндрюса промокла, вода струилась у него по лбу и вдоль переносицы, попадая ему в глаза. Ноги вымокли, и он чувствовал, как расширялись мокрые пятна на его коленях, куда попадала вода, стекавшая с куртки. Перед ним расстилалась широкая, темная улица, иногда поблескивало зеленоватое отражение фонаря. Когда он проходил, шлепая большими шагами по лужам, он вдруг заметил, что идет вровень с женщиной под зонтиком, стройной особой, спешившей маленькими решительными шагами к бульвару. В нем внезапно загорелась безумная надежда. Ему вспомнился маленький пошлый театр и резкий свет рефлекторов. Сквозь косметику и пудру девичья золотисто-смуглая кожа сияла таким здоровым блеском, что он подумал о широких, прожженных солнцем холмах и о танцующих фигурах на греческих вазах. С тех пор как он ее видел, два вечера назад, он больше ни о чем другом не думал. Он с лихорадочной энергией постарался узнать ее имя. «Найя Селикова»! В нем вспыхнула безумная надежда, что девушка, рядом с которой он идет, та самая, чьи стройные ноги двига-

лись на бесконечном барельефе в его мыслях. Он взглянул на нее глазами, затуманенными дождем. Какой он осел! Конечно, это не могла быть она. Было слишком рано. Она в эту минуту на сцене. Другие голодные глаза пожирают ее стройную фигуру, другие руки дрожат от желания погладить ее золотисто-смуглую кожу. Шествуя под упорным ливнем, который колол ему лицо и уши и стекал маленькой холодной струйкой по его спине, он почувствовал, как его охватило внезапное головокружение от желания. Его руки, опущенные на самое дно карманов, судорожно сжимались. Ему показалось, что он умирает, что его пульсирующие артерии должны сейчас лопнуть. Бисерные занавеси дождя шуршали и звенели вокруг него, возбуждая его нервы, заставляя его кожу болеть и гореть. В клокотании воды в канавах и водосточных трубах он способен был вообразить себе оркестры, играющие чувственную музыку. Лихорадочное возбуждение его чувства начало создавать бешеные ритмы в его ушах.

— Ах, этот бедный солдатик! Как он промок, бедняжка! — прозвучал около него тонкий, дрожащий голос.

Он обернулся — девушка предлагала ему поделиться зонтиком.

— О, это американец! — сказала она, еще словно говоря сама с собой.

— Благодарю вас, не стоит.

— Как не стоит? Не церемоньтесь!

Он встал под зонтик рядом с ней.

— Только вы должны позволить мне держать зонтик!

— Пожалуйста.

Принимая из ее рук зонтик, он поймал ее взгляд и сразу перестал доискиваться.

— Вы ведь девушка из «Пляшущей Крысы»?

— А вы сидели за соседним столом с товарищем, который все пел.

— Как забавно!

— А тот-то! Вот весельчак! Страсть смешной! — Она расхохоталась; ее голова, втиснутая в маленькую круглую черную шляпу, качалась сверху вниз под зонтиком.

Эндрюс также засмеялся. Когда они переходили через бульвар Сен-Жермен, таксомотор чуть было не переехал их и брызнул на них огромным комком грязи. Она уцепилась за его руку и остановилась, покатываясь от смеха.

— Вот ужас-то, вот ужас! — восклицала она.

Эндрюс смеялся не переставая.

— Но держите же зонтик как следует. Вы позволяете дождю мочить мою лучшую шляпу,— сказала она.

— Вас зовут Жанна? — сказал Эндрюс.

— Нахал! Вы слышали, что мой брат меня так называл? Он вернулся на фронт в ту же ночь, бедный мальчик. Ему только девятнадцать... Он очень умный... О, как я счастлива теперь, что война кончена!

— Вы старше его?

— На два года... Я — глава семьи... Это высокое положение.

— Вы всегда жили в Париже?

— Нет, мы из Лиона... Это из-за войны.

— Вы беженцы?

— Не называйте нас так. Мы работаем!

Эндрюс засмеялся.

— Вы далеко идете? — спросила она, заглядывая ему в лицо.

— Нет, я живу в этих краях. Меня зовут так же, как вас.

— Жан? Как смешно!

— Вы куда идете?

— На улицу Декарта.

— Я живу около вас.

— Но вы не должны заходить. Наша швейцариха — просто тигрица. Этьен называет ее Мадам Клемансо. Мой брат социалист, он наборщик в «Юманите».

— Правда? Я часто читаю «Юманите».

— Бедный мальчик, он прежде клялся, что никогда не поступит в армию. Он думал отправиться в Америку.

— Теперь это ему бы не помогло,— с горечью сказал Эндрюс.— А вы чем занимаетесь?

— Я? — Угрюмая горечь чувствовалась в ее тоне.— Зачем вам это сообщать? Я работаю у портнихи.

— Как Луиза.

— Вы слышали «Луизу»? О, как я плакала!

— Почему это навело на вас такую грусть?

— Сама не знаю... Но я еще изучаю стенографию... Вот мы и дошли...

Огромная масса Пантеона туманно высилась перед ними сквозь дождевую завесу. Дальше была чуть заметна башня церкви Сент-Этьена-дю-Мои. Дождь ревел вокруг них.

— О, как я промокла! — сказала Жанна.

— Послушайте, «Луиза» идет послезавтра в Комической опере. Хотите пойти со мной?

— Нет, я буду слишком много плакать.

— Я также заплачу.

— Но это не...

— Это перемирие,— прервал ее Эндрюс.

Они оба засмеялись.

— Ну хорошо. Подождите меня в кафе в конце бульвара Сен-Мишель в четверть восьмого. Но вы, вероятно, не придете?

— Клянусь, что приду! — пылко воскликнул Эндрюс.

— Увидим.

Она быстро повернула в улицу около церкви. Эндрюс остался один среди проливного дождя и бурного клокотания водосточных труб. Он чувствовал себя спокойным и усталым. Когда он добрался до своей комнаты, он заметил, что у него в кармане не было спичек. Свет не проникал в окно, через которое доносился свистящий шум дождя на дворе. Он споткнулся о стул.

— Ты пьян? — раздался голос Уолтерса, задушенный одеялами.— Там, на столе, есть спички.

— Но где, к черту, стол?

Наконец его рука, шаря по столу, нащупала коробку спичек. Красный и белый огонек спички ослепил его; он замигал глазами; его ресницы были до сих пор увешаны дождевыми каплями. После того как он зажег свечу и поставил ее на стол, среди нотной бумаги, он начал срывать с себя платье, с которого текла вода.

— Я только что встретил очаровательную девушку, Уолтерс.— Эндрюс стоял голый около груды своей одежды и растирал себя полотенцем.— Ах! Как я промок! Но это самая очаровательная особа из всех, кого я встречал с тех пор, как я в Париже.

— Мне казалось, ты говорил, что хочешь оставить девушек в покое?

— Наверное, я сказал «девок».

— Ну, всякая девушка, которую можно подобрать на улице...

— Чепуха!

— Я полагаю, что они все в таком роде в этой проклятой стране. Боже, как отрадно мне будет взглянуть на славную, милую, здоровую американскую девушку!

Эндрюс ничего не ответил. Он потушил свечу и лег спать.

— У меня новое занятие,— продолжал Уолтерс.— Я работаю в конторе учебной команды.

— На кой это тебе черт? Ты ведь приехал сюда, чтобы слушать лекции в Сорбонне.

— Конечно! Я и посещаю теперь большую часть лекций. Но в армии мне хочется сидеть в самой гуще.

— В этом есть смысл?

— Много смысла, мой мальчик. Это единственный способ держать свою линию и не допустить, чтобы стоящие выше тебя забыли о твоем существовании. Кто знает, может быть, нам опять придется воевать? Эти проклятые немцы не выказывают должного настроения после всего, что президент сделал для них. Во всяком случае, в канцелярии-то я добьюсь производства в сержанты.

— Так! Я буду спать,— сказал с досадой Эндрюс.

Джон Эндрюс сидел за столиком у входа в кафе «Роган». Солнце только что зашло после алого дня, заливая все вокруг лиловато-синим светом и холодной зеленоватой тенью.

Небо было ярко-лиловое, кое-где исполосованное янтарными тучами. Свет был зажжен во всех окнах универсального магазина «Лувр» на противоположной стороне, и эти окна казались в закатном сиянии кусками полированного стекла. В колоннаде Пале-Рояля тени сгущались и охлаждались. Беспрестанный поток людей вливался и выливался из метро. Зеленые омнибусы, набитые публикой, постоянно проезжали мимо. Грохот движения, стук шагов и глухой шум голосов кружились, как плясовой мотив, вокруг головы Эндрюса. Он вдруг заметил, что перед ним стоит продавец кроликов с кроликом, который болтался, забытый, на конце резиновой трубки.

— Ну как торговля? Ничего? — спросил Эндрюс.

— Помаленьку, помаленьку,— ответил кроличник, машинально заставляя кролика прыгать у своих ног.

Эндрюс наблюдал за людьми, выходившими из метро.

— Приехали повеселиться в Париже? — робко спросил кроличник.

— Да! А вы веселитесь?

— Помаленьку.— Кроличник улыбнулся.— Женщины очень красивы в этот вечерний час,— сказал он все еще робким тоном.

— Нет ничего прекраснее, чем это вечернее время в Париже.

— Или чем парижанки.— Глаза кроличника засверкали.— Виноват,— продолжал он,— надо пойти попытаться продать несколько кроликов.

— До свиданья,— сказал Эндрюс, протягивая ему руку.

Продавец кроликов пожал ее неожиданно сильно и ушел, заставляя кролика прыгать перед собой по тротуару. Он исчез в быстро двигавшейся толпе.

В сквере мигали блестящие фиолетовые огни дуговых фонарей, высившихся над мостовой, подобно суровым лунам.

Гэнслоу опустился на стул рядом с Эндрюсом.

— Как Синдбад, Гэнслоу?

— Синдбад, старина, функционирует... Ты не замерз?

— Что ты хочешь сказать, Гэнслоу?

— Ты, видно, перегрелся, чурбан. Вишь, сидишь здесь в такую полярную погоду.

— Нет, я не про то спрашиваю. Я хочу знать, как ты функционируешь? — сказал, смеясь, Эндрюс.

— Я завтра отправляюсь в Польшу.

— Каким образом?

— В качестве кондуктора на поезде Красного Креста. Я думаю, ты тоже можешь устроиться, если хочешь ехать. Только надо сразу заявиться в Красном Кресте, до отъезда майора Смиссера. Или можно пригласить его пообедать с нами.

— Но, Гэнни, я хочу остаться здесь.

— Какого черта оставаться в этой дыре?

— Мне здесь нравится. Я слушаю курс оркестровки; это лучше, чем я мог себе вообразить... а на днях я встретил одну девушку, и я без ума от Парижа.

— Если ты умудришься впутаться здесь в историю, клянусь, я собью тебе башку с плеч. Конечно, ты встретил девушку. Я их встречаю каждый день, массу. Мы можем встретить еще несколько девушек в Польше и протанцевать с ними полонез.

— Но эта девушка очаровательна... Ты ее видел. Это та девушка, которая сидела с французским солдатом в «Пляшущей Крысе» в первый вечер, когда я был в Париже. Мы вместе слушали «Луизу».

— Воображаю, как это было сентиментально. Я и сам не прочь время от времени приволокнуться за какой-нибудь Джейн, но я никогда не допускаю их вмешательства в вопросы моего существования! — сердито пробурчал Гэнслоу.

Оба замолчали.

— С тобой будет как с Гейном с его Моки и львенком по имени Бубу. Кстати, львенок помер. Итак, где же мы будем обедать?

— Я обедаю с Жанной. Я через полчаса должен с ней встретиться. Мне ужасно жаль, Гэнни. Но мы можем пообедать все вместе.

— Приятное удовольствие! Нет, уж мне придется разыскать этого осла Обрея и выслушать последние новости о мирной конференции. Гейн не может оставить Моки: она валяется в истерике из-за Бубу. Вероятно, меня доведут до того, что я в конце концов пойду к Берте. Хорош ты, нечего сказать!

— Мы устроим тебе завтра грандиозные проводы, Гэнни.

— Постой, я и забыл. Ты должен встретиться завтра в пять с Обреем в «Грильоне», и он поведет тебя к Женевьеве Род.

— Что это за черт такой Женевьева Род?

— Будь я проклят, если знаю! Но Обрей говорит, что ты должен пойти. Она очень развитая, говорит Обрей.

— Такая меня меньше всего интересует.

— Ничего не поделаешь! Ну, будь здоров!

Эндрюс еще некоторое время сидел за столиком у входа в кафе. Дул холодный ветер. Небо было черно-синее, и белые как мел лампы дуговых фонарей бросали мертвенный отблеск на все окружающее. В колоннаде Пале-Рояля скользили резкие, чернильно-черные тени. Постепенно разрежалась публика в сквере. В «Лувре» потушили огни. Из кафе за спиной Эндрюса доносился запах только что изготовленных блюд, и им начал пропитываться холодный воздух улицы.

Тут он увидел Жанну: она приближалась по пепельно-серой панели, стройная и черная под дуговыми фонарями. Он побежал ей навстречу.

Цилиндрическая печка посреди комнаты тихо урчала. Перед ней свернулась пушистым клубком белая кошка; уши и нюс выступали в клубке крошечными розовыми пятнами, как на кончиках лепестков некоторых белых роз. С одной стороны печки, у стола, придвинутого к окну, сидел загорелый старик с ярко-красными пятнами на щеках. На нем была бесформенная одежда из полосатого бумажного бархата, цвета его кожи. Он держал маленькую ложечку в узловатой руке и медленно беспрестанно размешивал желтую жидкость, дымившуюся в стакане.

За ним было окно, по которому ударял в свинцовом освещении зимнего дня мокрый снег. С другой стороны печки находилась цинковая стойка с желтыми и зелеными бутылками и краном, с шеей как у жирафа, который выступал из стойки; рядом стояла в углу тумба лакированного дерева, а на ней терракотовый горшок с папоротником. С того места, где сидел на мягком табурете Эндрюс, в глубине комнаты, фестоны папоротника вырисовывались черным кружевным узором на левой стороне окна; а на правой стороне выступал коричневый силуэт головы старика и разрез его шапки. Печь скрывала дверь, а белая кошка, круглая и симметричная, являлась центром всего видимого мира.

На мраморном столе возле Эндрюса лежало несколько кусков хрустящего хлеба с маслом и стояло блюдечко со сливовым вареньем и кружка с кофе с молоком, из которой тонкой спиралью поднимался пар. Шинель у Эндрюса была расстегнута, и он опустил голову на руки, рассматривая сквозь пальцы толстую пачку налинованной бумаги, испещренной торопливо набросанными значками, чернилами и карандашом; время от времени он делал карандашом отметки. На другом конце стола лежали две книги, одна желтая и одна белая, с кофейными пятнами на обложках.

Огонь потрескивал, кошка спала, коричневый старик мешал и мешал в своем стакане, иногда лишь останавливаясь, чтоб поднести стакан к губам. Временами царапанье мокрого снега по окну становилось слышным, или доносился отдаленный звон сковород через дверь в глубине.

Тусклые часы, висевшие над зеркалом за стойкой, выбросили звенящий удар, пробили половину. Эндрюс не поднял глаз. Кошка все еще спала перед печкой, которая урчала, тихо напевая.

Коричневый старик все еще размешивал желтую жидкость в своем стакане. Часовые стрелки бежали.

У Эндрюса похолодели руки; он чувствовал нервный трепет у запястий и в груди. В него словно вливался свет, бесконечно широкий и бесконечно далекий. Откуда-то сквозь этот свет лились звуки, от которых он дрожал весь, до кончиков пальцев; звуки, переходившие в ритмы, пересекавшие друг друга в постоянном приливе и отливе, как морские волны в бухте; звуки, претворявшиеся в гармонию. За всем этим царица Савская, из Флобера, прикасалась к его плечу своей сказочной рукой с длинными позолоченными ногтями, и он наклонился

вперед, через границу жизни. Но это был смутный образ, брошенный, как тень, на блестящую поверхность его души.

Часы пробили четыре.

Пушистый белый кошачий клубок медленно размотался. Глаза кошки были совсем круглые и желтые. Она выставила вперед на черепичный пол сначала одну, потом другую лапу, широко расставив розовато-серые когти. Хвост поднялся, прямой, как мачта корабля. Медленными, торжественными шагами кошка направилась к дверям.

Коричневый старик проглотил желтый ликер и дважды причмокнул губами, громко, задумчиво.

Эндрюс поднял голову; его голубые глаза смотрели прямо вперед, ничего не видя. Уронив карандаш, он прислонился к стене и вытянул руки. Взяв обеими руками кружку кофе, он хлебнул из нее. Кофе был холодный. Он положил немного варенья на кусок хлеба и съел его, потом облизал пальцы. После этого взглянул на коричневого старика и сказал:

— А уютно тут. Правда, господин Морю?

— Да, хорошо здесь,— сказал коричневый старик скрипучим голосом.

Он очень медленно поднялся с места.

— Ладно. Я иду на баржу,— сказал он, потом позвал: — Шипетт!

— Да, месье!

Маленькая девочка, в черном переднике, с волосами, туго заплетенными в два крысиных хвостика, появилась в дверях, ведущих в заднюю часть дома.

— Вот, дай это твоей матери,— сказал коричневый старик, опуская ей в руку несколько медяков.

— Да, месье.

— Вы лучше бы здесь остались, в тепле,— сказал Эндрюс, зевая.

— Я должен работать. Только солдаты не работают,— проскрипел коричневый старик.

Когда открыли дверь, струя холодного воздуха охватила кафе. С набережной, покрытой слякотью, проникли завывание ветра и свист мокрого снега. Кошка кинулась под защиту печки, выгибая спину и махая хвостом. Дверь закрылась, и силуэт коричневого старика, покосившийся от ветра, перерезал серый овал окна.

Эндрюс снова уселся за работу.

— Но вы много работаете, очень много! Правда, месье Жан? — сказала Шипетт, прижимаясь подбородком к

столу около книг и смотря на него маленькими глазами, похожими на черные бусы.

— Не нахожу, что много.

— Когда я вырасту, я ни чуточки не буду работать. Я буду кататься в коляске.

Эндрюс засмеялся. Шипетт с минуту посмотрела на него, потом ушла в другую комнату, унося с собой пустую кружку.

Перед печкой кошка сидела на задних лапках и ритмично лизала лапу розовым, закругленным языком, похожим на лепесток розы.

Эндрюс насвистал несколько тактов, уставившись на кошку.

— Как ты это находишь, киска? Это «Царица Савская»... «Царица Савская»...

Кошка с величайшей осторожностью снова свернулась клубком и заснула. Эндрюс стал думать о Жанне, и эти мысли привели его в состояние отрадного покоя. Когда он бродил с ней вечером по улицам, наполненным мужчинами и женщинами, многозначительно гулявшими вместе, его возбужденными нервами овладевал томный покой, до тех пор ему совершенно незнакомый. Ее близость возбуждала его, но так нежно, что он забывал о своем туго стягивавшем, неудобном мундире; его лихорадочное желание как бы отделялось от него, и ему начинало казаться, что, чувствуя возле себя ее тело, он без всяких усилий опускается в поток жизни проходивших мимо людей; его так разнеживала мирная любовь, разлитая вокруг него, что резкие углы его существа словно всецело растворялись в тумане сумеречных улиц. И на минуту, пока он об этом думал, ему показалось, что запах цветов и пробивающейся травы, влажного мха и налившихся соков щекочет ему ноздри. Иногда, плавая в океане в бурный день, он чувствовал тот же беспечный восторг, когда около берега его подхватывала огромная бурливая волна и несла вперед на своем гребне. Сидя спокойно в пустом кафе в этот серый день, он чувствовал, как кровь шумит и наливается в его венах, как новая жизнь шумит и наливается в клейких почках деревьев, в нежных зеленых побегах под их грубой корой, в маленьких пушных зверьках леса, в приятно пахнущем скоте, который затаптывает в грязь сочные луга. В предчувствии весны была безудержная могучая сила, которая бурно уносила с собой его и их всех.

Часы пробили пять.

Эндрюс вскочил и кинулся к дверям, влезая на пути в свою шинель.

Резкий ветер дул в сквере. Река была грязноватая, зелено-серая, вздувшаяся и быстрая... Она издавала хриплый торжествующий рев. Больше не моросило, но панели были покрыты слякотью и в водостоках остались большие лужи, которые колебал ветер. Все кругом — дома, мосты, река и небо — было окрашено холодными, зеленовато-серыми тонами, которые нарушала только зубчатая полоса цвета охры, перерезавшая небо; на ней выступали темно-малиновая громада Notre Dame и стройный шпиль.

Эндрюс шел большими шагами, шлепая по лужам, пока не поймал против низкого строения Морга переполненный зеленый омнибус.

У входа в «Грильон» было много лимузинов, выкрашенных в темно-оливковый цвет, с белыми номерами на дверцах; шоферы, с воротниками их темно-оливковых костюмов, поднятыми вокруг красных лиц, стояли группами под порталом. Эндрюс прошел мимо швейцаров и вошел через вертящиеся двери в переднюю, показавшуюся ему поразительно знакомой. У нее был запах, напомнивший ему передние нью-йоркских отелей,— запах сигарного дыма и мебельного лака. С одной стороны дверь вела в большую столовую, где много мужчин и женщин пили чай; оттуда шел запах печенья и дорогих блюд. На кусочке красного ковра против него группа офицеров и штатских разговаривали пониженными голосами. Из ресторана доносились звон шпор и звон посуды, а около того места, где стоял Эндрюс, переваливаясь всей тяжестью с одной ноги на другую, развалился в кожаном кресле толстяк в черной фетровой шляпе, надвинутой на глаза, и с широкой цепочкой от часов, которая, подскакивая, болталась на его выпуклом брюшке. Он то и дело прочищал себе горло с хриплым звуком и громко плевал в плевательницу, находившуюся рядом. Эндрюс, наконец, заметил Обрея, очень бодрого, с бледными щеками и очками в черепаховой оправе.

— Ну, идем! — сказал он, схватив Эндрюса за руку.— Ты опоздал.— Затем продолжал, шепча Эндрюсу на ухо, когда они проходили через вертящиеся двери: — Великие события произошли сегодня на конференции... Я тебе говорю, старина.

Они перешли мост по направлению к портику Палаты депутатов с его высоким фронтоном и серыми колоннами. За рекой слабо виднелась Эйфелева башня, перере-

занная клочком тумана, словно паутиной, протянутой между городом и облаками.

— Нам необходимо идти к этим людям, Обрей?

— Да, теперь тебе не отбояриться. Женевьева Род хочет получить сведения об американской музыке.

— Но какого черта я ей расскажу об американской музыке?

— Разве не было какого-то Мак-Доуэлла*, который сошел с ума, или чего-то в этом роде?

Эндрюс засмеялся.

— Но ты знаешь, что я не светский человек... Вдруг я скажу, что считаю маршала Фоша* маленьким оловянным божком?

— Можешь ничего не говорить, если не хочешь. Они очень передовые, во всяком случае.

— О, знаем мы!

Они поднимались по лестнице, покрытой коричневым ковром, с гравюрами на площадках, где слегка пахло прокисшей пищей и мусором. На верхней площадке Обрей позвонил в звонок на лакированной двери. Через минуту им открыла девушка. Она держала в руке папироску, у нее было бледное лицо под массой рыжевато-каштановых волос, очень большие глаза светло-карего цвета, такие же большие, как глаза женщин на изображениях Артемизии и Беренисы, найденных при раскопках в Фаюме. На ней было простое черное платье.

— Наконец-то,— сказала она, протянув руку Обрею.

— Это мой друг Эндрюс.

Она рассеянно подала ему руку, все еще смотря на Обрея.

— Он говорит по-французски?.. Хорошо... Сюда!

Они вошли в большую комнату с роялем, где у камина стояла пожилая женщина с седыми волосами, желтыми зубами и такими же большими глазами, как у ее дочери.

— Мама, наконец-то они пожаловали, эти господа.

— Женевьева боялась, что вы не придете,— сказала, улыбаясь, госпожа Род Эндрюсу.— Месье Обрей так описал нам вашу игру, что мы весь день были в волнении. Мы обожаем музыку!

— Я жалею, что все мое отношение к музыке ограничивается обожанием,— быстро сказала Женевьева Род; потом прибавила со смехом: — Но я забыла вас познакомить: месье Эндрюс, месье Ронсар.— Она жестом руки указала сначала на Эндрюса, потом на молодого француза в жакете, с маленькими усиками, в очень узком жилете.

Француз поклонился Эндрюсу.

— Теперь будем чай пить,— сказала Женевьева Род.— До чая все говорят умные вещи. Только после чая люди делаются занимательными.

Она откинула портьеры, закрывавшие дверь в соседнюю комнату.

— Я понимаю, отчего Сара Бернар* так любит портьеры,— сказала она.— Они придают жизни вид драмы. Нет ничего более героического, чем портьеры.

Она сидела во главе дубового стола, на котором были расставлены фарфоровые блюда с разноцветными пирожными, старинный металлический чайник, под которым горела спиртовая лампа, дрезденский фарфоровый чайник в бледно-желтых и зеленых тонах, чашки и блюдечки с тусклыми красными изображениями двуглавого орла.

— Все это,— сказала Женевьева, указывая рукой на стол,— все это бошское... Но раз у нас нет ничего другого, приходится довольствоваться этим.

Пожилая женщина, сидевшая около нее, что-то шепнула ей на ухо и засмеялась. Женевьева надела очки в черепаховой оправе и начала разливать чай.

— Дебюсси пил раз из этой чашки, она с трещиной,— сказала Женевьева, протягивая чашку Джону Эндрюсу.— Вы играете что-нибудь из Мусоргского? Вы сыграли бы нам после чая.

— Я ничего не могу сейчас играть... Попросите меня через три месяца.

— Никто ведь не требует от вас каких-нибудь фокусов виртуозности... Вы, несомненно, сумеете сделать его понятным... Это все, что мне нужно.

— Сомневаюсь в своих силах.

Эндрюс медленно пил чай, по временам поглядывая на Женевьеву Род, которая вдруг принялась быстро болтать с Ронсаром... Она держала папироску между пальцами длинной, худой руки. Ее большие светло-карие глаза сохраняли такое удивленное выражение, будто они только что увидели свет; легкая улыбка лукаво появлялась и убегала с ее тонких, твердо очерченных губ в ямочку на ее щеке. Пожилая женщина около нее оглядывала гостей с весёлым радушием, открывая в улыбке свои желтые зубы.

Затем они вернулись в гостиную, и Эндрюс сел за рояль. Девушка сидела очень прямо на маленьком стуле около рояля. Эндрюс пробежал рукой вверх и вниз по клавишам.

— Вы, кажется, говорили, что знакомы с Дебюсси? — сказал он неожиданно.

— Я? Нет, но он приходил к моему отцу, когда я была маленькой девочкой. Я выросла среди музыки... Это доказывает, как глупо быть женщиной. В моей голове нет музыки. Конечно, я чувствую ее, но, должно быть, так же, как столы и стулья в этой комнате, после всего, что они слышали.

Эндрюс начал играть. Не оборачиваясь на нее, он чувствовал, что ее глаза устремлены на него, что она стояла за ним, напряженно слушая. Ее рука коснулась его плеча. Он перестал играть.

— О, мне ужасно жаль! — сказала она.

— Ничего. Я кончил.

— Вы играли что-то свое?

— Вы когда-нибудь читали «Искушение Святого Антония»? — спросил он тихим голосом.

— Флобера?

— Да.

— Это не из лучших его вещей. Впрочем, очень интересная, хотя и неудачная попытка.

Эндрюс с трудом поднялся от рояля, сдерживая раздражение. Он подошел к госпоже Род.

— Вы меня извините,— сказал он,— я сегодня занят. Обрей, я тебя не тащу с собой. Я опоздал. Мне придется бежать.

— Милости просим к нам.

— Благодарю вас,— буркнул Эндрюс.

Женевьева Род проводила его до дверей.

— Нам надо получше познакомиться друг с другом,— сказала она.— Мне понравилась ваша манера неожиданно срываться с места.

Эндрюс вспыхнул.

— Я плохо воспитан,— сказал он, пожимая ее тонкую, холодную руку.— Вы, французы, должны всегда помнить, что мы варвары... Некоторые из нас — раскаивающиеся варвары, я — нет!

Она засмеялась, а Эндрюс пробежал вниз по лестнице и вышел на серо-голубые улицы, где фонари расцветали фиолетовым цветом. У него было смутное чувство, что он разыграл дурака, и это заставляло его терзаться бессильной злобой. Он прошел большими шагами через улицы левого берега, наполненные людьми, возвращавшимися домой с работы, и направился к маленькой винной лавке на набережной Де-ла-Турнель.

Это было парижское воскресное утро. Старухи в черных шалях шли в церковь Сент-Этьен-дю-Мои. Каждый раз, когда открывалась обитая кожей дверь, оттуда в утренний воздух проникала струя фимиама. Три голубя разгуливали на мостовой, с важным видом выставляя свои коралловые ножки. Остроконечный фасад церкви, ее стройные колокольня и купол бросали голубоватые тени в сквер напротив, а тени, которые влачили за собой старухи, пропадали, когда они сворачивали, ковыляя, к церкви. Противоположная часть сквера, решетка Пантеона и его высокая коричневато-серая стена были облиты унылым, оранжевым солнечным светом.

Эндрюс гулял взад и вперед мимо церкви, рассматривая небо, голубей, фасад библиотеки Святой Женевьевы и редких людей, проходивших в конце сквера; он отмечал с тихим удовольствием формы и краски, маленькие комичные сценки, упиваясь всем этим почти безмятежно. Он чувствовал, что его музыка развивается, с тех пор как он проводит весь день напролет, без всяких помех, в ее ритмах; его мысли и пальцы становились гибкими. Твердые контуры, которые облепили его мозг, начинали смягчаться. Разгуливая взад и вперед перед церковью и поджидая Жанну, он составил инвентарь своего душевного состояния: он чувствовал себя вполне счастливым.

— Ну?

Жанна подошла к нему сзади. Они побежали как дети, держась за руки, через солнечный сквер.

— Я еще не пил кофе,— сказал Эндрюс.

— Как, вы, значит, поздно встаете! Но вы не получите кофе раньше, чем мы доберемся до Заставы Майо, Жан.

— Почему нет?

— Потому что я говорю «нельзя».

— Но это жестокость.

— Это недолго.

— Но я умираю от голода. Я скончаюсь на ваших руках.

— Как вы не понимаете! Когда мы доедем до Заставы Майо, мы будем вдали от вашей жизни и моей. День будет принадлежать нам. Не надо искушать судьбу.

— Смешная девочка...

Метро не было переполнено. Эндрюс и Жанна сидели друг против друга не разговаривая. Эндрюс смотрел на ее руки, лежавшие свободно у нее на коленях, маленькие, заработавшиеся руки; кожа на кончиках пальцев местами потрескалась и поцарапалась, ногти были под-

стрижены неровно. Она вдруг поймала его взгляд. Он вспыхнул, а она сказала весело:

— Что ж, мы все когда-нибудь будем богаты, как принцы и принцессы в сказках.

Они оба засмеялись.

Когда они вышли из вагона, он робко обнял ее за талию. Она не носила корсета. Его пальцы задрожали, почувствовав под платьем ее гладкую кожу. Его охватил какой-то страх, и он отвел свою руку.

— Теперь,— спокойно сказала она, когда они вышли на широкую, освещенную солнцем аллею,— вы можете заказать себе сколько хотите кофе со сливками.

— Вы тоже выпьете.

— Зачем такая расточительность? Я уже позавтракала.

— Я буду расточительным весь день. Я не знаю точно почему, но я очень счастлив. Давайте есть бриоши*.

— Дорогой мой, только спекулянты могут есть в наше время бриоши!

Они вошли в кондитерскую. Пожилая женщина с худым, желтым лицом и жидкими волосами услуживала им и бросала на них сквозь ресницы завистливые взгляды, опуская пышные коричневые бриоши в бумажный мешок.

— Вы проведете день за городом? — спросила она тихим, грустным голосом, давая Эндрюсу сдачу.

— Да! — сказал он.— Вы верно угадали.

Выходя за дверь, они услышали ее бормотанье: «Ах молодость, молодость...»

Они нашли столик на солнце, против ворот, откуда они могли следить за публикой, въезжавшей и выезжавшей в автомобилях и экипажах. Вдали проросшие травой развалины фортификаций придавали окрестности стиль 1870 года.

— Как забавно у Заставы Майо! — вскричал Эндрюс.

Жанна взглянула на него и засмеялась. Какой он сегодня веселый!

— Жанна, я думаю, что в жизни не был так счастлив... Я почти готов сказать, что стоило побыть в армии из-за радости, которую теперь дает свобода. Эта ужасная жизнь... Как поживает Этьен?

— Он в Майнце. Он тоскует.

— Жанна, мы должны жить вовсю, мы должны, свободные, жить за всех, кто еще тоскует.

— Очень это им поможет! — воскликнула она, смеясь.

— Странно, Жанна, я сам пошел на войну. Мне надоело быть свободным и ничего со своей свободой не

делать. Теперь я понял, что жизнь надо использовать, а не только держать ее в руках, как коробку конфет, которые никто не ест.

Она посмотрела на него с недоумением.

— Я хочу сказать, что слишком мало брал от жизни,— сказал он.— Идем!

Они поднялись.

— Берешь то, что жизнь дает,— медленно сказала она.— Это все, выбора нет... Но смотрите — вот поезд в Мальмезон. Мы должны бежать...

Смеясь и задыхаясь, они влезли в поезд и протиснулись на заднюю площадку, где все толкались и шумели. Их тела были придавлены друг к другу окружавшими их мужчинами и женщинами. Эндрюс крепко обнял рукой Жанну за талию и смотрел вниз на бледную щеку, прижатую к его груди. Ее маленькая круглая шляпа из черной соломы с большим красным цветком оказалась как раз под его подбородком.

— Я ничего не вижу,— сказала она, задыхаясь и все еще хихикая.

— Я опишу вам вид,— сказал Эндрюс.— Однако мы сейчас уже переезжаем Сену.

— О, как это должно быть красиво!

Старый господин с остроконечной белой бородой, стоявший около них, благосклонно засмеялся.

— Вы разве не находите Сену красивой? — Жанна задорно подняла на него взгляд.

— Без сомнения, без сомнения! Но вы это так сказали...— ответил старый господин.— Вы едете в Сен-Жермен? — спросил он Эндрюса.

— Нет, в Мальмезон.

— Вы бы лучше поехали в Сен-Жермен. Там доисторический музеи Рейнака. Очень интересный. Вам не следует возвращаться на родину, не посмотрев его.

— А там есть обезьяны? — спросила Жанна.

— Нет,— ответил старый господин, отворачиваясь.

— Я обожаю обезьян! — сказала Жанна.

Много публики сошло, места было вдоволь, но Эндрюс все еще обнимал девушку за талию. Постоянное прикосновение к ее телу разнеживало его.

— Как хорошо пахнет! — сказала Жанна.

— Это весна!

— Мне хочется лежать на траве и есть фиалки. О, как это мило с вашей стороны, Жан, что вы поехали со мной! Вы, наверное, знаете множество изящных дам, с

которыми могли бы проехаться, вы ведь такой образованный. Как это вышло, что вы простой солдат?

— Вот те на! Я не хотел бы быть офицером.

— Почему? Это, должно быть, довольно приятно — быть офицером.

— Этьен хочет быть офицером?

— Он социалист, это другое дело.

— Ну, предположим, что я тоже социалист. Но будем лучше говорить о чем-нибудь другом.— Эндрюс перешел на другую сторону площадки.

Они проезжали мимо маленьких вилл с садами у дороги, где цвели желтые и бледно-малиновые крокусы. По временам во влажном воздухе проносился аромат фиалок. Солнце исчезло за нежными серовато-пурпуровыми облаками. Иногда в воздухе чувствовался холодок, как перед дождем.

Эндрюс вдруг подумал о Женевьеве Род. Странно, как он ясно помнил ее лицо, широкие, открытые глаза и ее манеру улыбаться, не двигая твердо очерченными губами.

Чувство досады охватило его. Как глупо с его стороны было так грубо уйти! И ему тревожно захотелось еще раз поговорить с ней; ему пришли в голову слова, которые он ей скажет.

— Что вы, заснули? — сказала Жанна, дергая его за руку.— Вот мы и доехали,

Эндрюс неистово покраснел.

— О, как здесь хорошо! Как здесь хорошо! — говорила Жанна.

— Как, уже одиннадцать часов? — сказал Эндрюс.

— Мы должны осмотреть дворец до завтрака! — воскликнула Жанна и побежала по липовой дорожке, где жирные почки только что начали распускаться маленькими гофрированными веерами зелени.

Молодая трава прорастала в мокрых канавах по обеим сторонам. Эндрюс помчался за Жанной, его ноги глубоко врезывались в мокрый гравий дороги. Поймав ее, он охватил ее руками и поцеловал в полуоткрытый рот. Она вырвалась от него и пошла дальше, чинно поправляя шляпу.

— Чудовище! — сказала она.— Я нарочно отделала эту шляпу для прогулки с вами, а вы делаете все возможное, чтобы ее погубить.

— Бедная маленькая шляпа! — сказал Эндрюс.— Но сегодня такой дивный день и вы так очаровательны, Жанна...

— Великий Наполеон, вероятно, говорил это императрице Жозефине, а вы знаете, как он с ней поступил,— сказала Жанна почти торжественно.

— Но он, наверное, до тех пор давно уже надоел ей.

— Нет,— сказала Жанна.— Таковы женщины.

Они вошли через большие железные ворота в пределы дворца. Потом они устроились за столиком в саду маленького ресторана. Очень бледное солнце только что показалось, и в его лучах слабо мерцали ножи, вилки и белое вино в их стаканах. Завтрак еще не подали. Они сидели, молча глядя друг на друга. Эндрюс чувствовал себя утомленным и меланхоличным. Он не мог придумать, что сказать. Жанна играла крошечными белыми маргаритками, располагала их на скатерти кругами и крестами.

— Как они копаются,— сказал Эндрюс.

— Но здесь мило, не правда ли? — Жанна очаровательно улыбнулась.— Фи, какой вы сейчас мрачный! — Она бросила в него несколько маргариток. Потом, после паузы, сказала насмешливо: — Это от голода, мой милый! Боже мой, в какой ужасной зависимости мы, люди, от пищи!

Эндрюс залпом выпил вино. Он чувствовал, что если сделает над собой усилие, то победит меланхолию, которая навалилась на него, как груз, становившийся все тяжелее.

Человек в хаки, с багровыми лицом и шеей, ввалился в сад, волоча за собой покрытый грязью велосипед. Он опустился на железный стул и со звоном уронил велосипед к своим ногам.

— Эй, эй! — позвал он хриплым голосом.

Лакей подошел и подозрительно оглядел его. У человека в хаки были волосы такие же красные, как его лицо, лоснившееся от пота. Рубашка на нем была разорвана, пиджака у него не было. Брюки и обмотки были невидимы от грязи.

— Дайте мне пива! — гаркнул человек в хаки.

Лакей пожал плечами и отошел.

— Он просит пива,— сказал Эндрюс.

— Но, месье, посмотрите на него.

— Я заплачу. Подайте.

Лакей скрылся.

— Спасибо, янки! — проскрипел человек в хаки.

Лакей принес высокий узкий желтый стакан. Человек в хаки взял его у него из рук, опорожнил залпом и вер-

нул пустым. Потом он сплюнул, вытер рот тыльной стороной ладони, с трудом поднялся на ноги и заковылял к столу Эндрюса.

— Я надеюсь, что барышня и вы, янки, ничего не имеете против того, чтобы со мной поболтать? Не так ли?

— Ничего. Пожалуйста. Откуда вы явились?

Человек в хаки приволок за собой железный стул поближе к столу. Прежде чем сесть, он кивнул головой по направлению к Жанне и вместе с тем с торжественным видом дернул себя за прядь красных волос. Пошарив в кармане, он вытащил платок с красной каймой и вытер себе лицо, оставив на лбу длинное черное пятно от машинного масла.

— Я носитель важных тайных донесений, янки,— сказал он, откидываясь на маленьком железном стуле.— Я курьер.

— Вы будто немножко расстроены?

— Ни чуточки! Я попал сейчас в маленькую переделку у озера. Какие-то бродяги пытались бросить меня в воду.

— Как же это?

— Наверно, у них были какие-то сведения — в этом вся штука. Я везу важные донесения от нашего Главного штаба в Руане к вашему президенту. Я проезжал лесом по той стороне... Не знаю, как он там выговаривается, этот проклятый город. Я ехал на мотоцикле сравнительно медленно, потому что дорога была одна грязь, и вдруг увидел четырех бандитов, стоявших поперек дороги. Они мне показались подозрительными; я налег на педали и двинулся прямо на среднего. Он ловко вывернулся. Тогда они начали стрелять, и одна проклятая пуля повредила велосипед. Но я родился в сорочке, и это меня спасло. Я выкарабкался из канавы и удрал от них. Затем я добрался до какого-то другого проклятого города с дурацким названием, и мне там дали эту старую потогонку. Сколько километров до Парижа, янки?

— Пятнадцать или шестнадцать, думается мне.

— Что он говорит, Жан?

— Какие-то люди пытались остановить его на пути. Он курьер.

— Какой урод! Он англичанин?

— Ирландец.

— Будьте благонадежны, мисс, самый настоящий ирландец. Вы подцепили смазливую девочку, янки. Подождите, пока я попаду в Париж. Я получу добрую сотню фунтов за это дело. Вы из каких мест, янки?

— Из Виргинии. Но я живу в Нью-Йорке.

— Я был в Детройте. Я вернусь туда, чтобы начать автомобильное дело, как только сколочу немного деньжонок. Европа сдохла и воняет, янки! Здесь не место молодому человеку. Сдохла и воняет, вот в чем дело!

— Здесь приятнее жить, чем в Америке. Скажите, вас часто задерживают таким способом?

— Со мной этого еще не случалось, но бывало с моими товарищами.

— Кто же, вы думаете, это были?

— Я почем знаю? Какие-нибудь проклятые тайные агенты, которые вертятся вокруг мирной конференции. Но мне надо ехать. Эту депешу нельзя задерживать.

— Ладно. Пиво на мой счет.

— Спасибо, янки.

Человек встал, пожал руку Эндрюсу и Жанне, вскочил на велосипед и через сад поехал к дороге, пробивая себе путь между железными стульями и столами.

Лакей принес яичницу, с которой начинался их завтрак.

— Какой чудак! Забавная штука жизнь,— сказал Эндрюс.— Нигде в мире человек не пляшет с таким увлечением, как на вулкане.

— Не говорите так,— сказала Жанна, откладывая нож и вилку.— Это ужасно! Мы теряем нашу молодость без всякого смысла. Наши родители небось наслаждались, когда были молоды. Если бы не было войны, мы были бы тоже счастливы, Этьен и я. У моего отца была небольшая фабрика мыла и парфюмерии. Этьен занимал бы великолепное положение. Мне никогда не пришлось бы работать. У нас был славный дом. Я вышла бы замуж.

— Но теперь, Жанна, разве у вас нет больше свободы?

Она пожала плечами. Потом выпалила:

— Какой толк в свободе? Что мне с ней делать? Человеку нужно хорошо жить, иметь хороший дом и пользоваться уважением людей. О, жизнь была такой очаровательной во Франции до войны!

— В таком случае не стоит и жить,— сказал Эндрюс злобным тоном, но сдерживаясь.

Они продолжали есть молча. Небо заволокло. Несколько капель брызнули на скатерть.

— Придется пить кофе внутри,— сказал Эндрюс.

— Вы находите забавным, что люди стреляли в человека на мотоциклетке, проезжавшего по лесу. Мне это представляется ужасным, ужасным,— сказала Жанна.

— Посмотрите, вот и дождь!

Они вбежали в ресторан и сели за столик около окна, наблюдая, как пляшут и сверкают дождевые капли на зеленых железных столах. Запах мокрой земли и похожий на грибной запах прелых листьев проникал вместе с сырым воздухом через открытую дверь. Лакей закрыл стеклянные двери и запер их.

— Он хочет удержать весну. Это ему не удастся,— сказал Эндрюс.

Они улыбнулись друг другу поверх кофейных чашек. Между ними снова протянулась симпатия.

Когда прошел дождь, они пошли гулять по влажным полям; они шли по узкой тропинке, покрытой светлыми лужами, в которых отражались голубое небо и белые и янтарные облака; они шли под руку, прижимаясь друг к другу всем телом. Они чувствовали себя очень утомленными, сами не зная отчего, и часто останавливались для отдыха, прислоняясь к сырым стволам деревьев. Около пруда, бледно-голубого, янтарного и серебряного от отраженного в нем неба, они нашли под большим буковым деревом пучок диких фиалок. Жанна с жадностью сорвала их и смешала с маленькими розоватыми на краях маргаритками в туго стянутый букет. На пригородной железнодорожной станции они молча сидели рядом на скамейке, по временам нюхая цветы и настолько погрузившись в томную усталость, что едва могли собраться с силами, чтобы влезть в вагон третьего класса, переполненный публикой, возвращавшейся домой после дня, проведенного за городом. У всех были фиалки, крокусы, цветки, покрытые почками. В их чопорных, городских платьях удержался аромат влажных полей и прорастающих лесов. Все девушки вскрикивали и цеплялись руками за мужчин, когда поезд проходил через туннель или под мостом. Что бы ни случилось, все смеялись. Когда поезд прибыл на станцию, они покинули его неохотно, точно чувствовали, что с этой минуты опять начнется их будничная, трудовая жизнь. Эндрюс и Жанна прошли по платформе, не прикасаясь друг к другу. Пальцы у них были запачканные и клейкие; они трогали почки и давили молодые сочные листья и стебли трав. Городской воздух казался спертым, и в нем нечем было дышать после душистой влажности полей.

Они пообедали в маленьком ресторане на набережной Вольтера, а потом медленно пошли по направлению к

площади Сен-Мишель, чувствуя, как вино и теплота пищи наполнили новыми силами их усталые тела.

Эндрюс обнял Жанну рукой за плечи, и они беседовали тихими, интимными голосами, почти не шевеля губами и долго рассматривая мужчин и женщин, сидевших на скамейках обнявшись, и проходящие мимо пары юношей и девушек, которые тихо разговаривали, как они, и прижимались друг к другу всем телом, как они.

— Сколько здесь любовных пар! — сказал Эндрюс.

— А мы — любовная пара? — спросила Жанна со странным смешком.

— Я хотел бы знать... Были вы когда-нибудь безумно влюблены, Жанна?

— Не знаю. В Лионе у нас был мальчик, Марселен. Но я была тогда маленькой дурочкой. Последние известия от него мы получили из Вердена.

— А много было у вас... таких, как я?

— Как вы сентиментальны! — воскликнула она, смеясь.

— Нет. Я хотел знать. Я так мало знаю жизнь,— сказал Эндрюс.

— Я развлекалась, как могла,— сказала Жанна серьезным тоном.— Но я не легкомысленна. Мне очень мало мужчин нравилось. Поэтому у меня было очень мало друзей... Хотите называть их любовниками? Любовники бывают только на сцене, у замужних женщин. Все это очень глупо.

— Еще не так давно,— сказал Эндрюс,— я мечтал о романтической влюбленности; о пажах, влезающих, цепляясь за плющ, на стены замков; о пламенных поцелуях на балконах при лунном свете.

— Как в Комической опере! — воскликнула Жанна, смеясь.

— Все это было очень глупо. Но даже теперь я требую от жизни гораздо больше, чем она может дать.

Они наклонились над парапетом и стали прислушиваться к быстрому плеску реки, то тихому, то громкому; отражения огней противоположного берега извивались в ней, как золотые змеи.

Эндрюс заметил, что кто-то стоит сзади них. Слабое зеленоватое сияние фонарей на набережной дало ему возможность узнать хромого юношу, с которым он разговаривал много месяцев тому назад на Монмартре.

—.Интересно, узнаете ли вы меня? — сказал он.

— Вы — американец, который был в ресторане на площади Тертр. Не помню когда, но это было давно.

Они обменялись рукопожатиями.

— Но вы одни,— сказал Эндрюс.

— Да, я всегда один,— сказал хромой юноша твердо. Он снова протянул руку.

— До свиданья,— сказал Эндрюс.

— Счастливо! — сказал хромой юноша.

Эндрюс слышал, как его костыль стучал по панели, когда он шел вдоль набережной.

— Жанна,— внезапно сказал Эндрюс,— вы пойдете ко мне, правда?

— Но с вами живет приятель?

— Он уехал в Брюссель. Он не вернется до завтра.

— Что ж, надо расплачиваться за обед,— лукаво сказала Жанна.

— Боже мой, нет! — Эндрюс закрыл лицо руками.

Песня реки, переливавшейся через устои моста, наполняла его слух. Ему безумно хотелось заплакать. От едкого желания, похожего на ненависть, дрожало его тело, руки болели от стремления сжать ее руки.

— Идемте! — сказал он грубо.

— Я не это хотела сказать,— проговорила она мягким, усталым голосом.— Вы знаете, я не очень приятная особа.

Зеленоватый свет фонаря озарил контур ее щеки, когда она подняла голову, и заблестел в ее глазах. Нежная, сентиментальная грусть внезапно овладела Эндрюсом. Он почувствовал то, что испытывал крошечным ребенком, когда мать рассказывала ему негритянские сказки, и он сознавал, что беспомощно уносится потоком ее нежного голоса, повествующего ему,— уносится к чему-то неизвестному и очень грустному, не зависевшему от него.

Они снова пошли дальше, мимо Нового моста* к сиянию площади Сен-Мишель. Три имени пришли Эндрюсу в голову: Арсиноя, Береника, Артемизия. Он на несколько минут задумался над ними, а потом вспомнил, что у Женевьевы Род большие глаза, широкий, гладкий лоб и твердо очерченные тонкие губы женщин на портретах, нашитых на мумиях в Фаюме. У этих патрицианок Александрии не было этих каштановых волос с мерцанием красной меди, но они могли так выкраситься.

— Отчего вы смеетесь? — спросила Жанна.

— Потому что жизнь такая глупая штука.

— Может быть, вы хотите сказать, что люди глупы? — сказала она, смотря на него искоса.

— Вы правы.

Они шли молча, пока не подошли к дому Эндрюса.

— Поднимитесь раньше и убедитесь, что там никого нет,— сказала Жанна деловым тоном.

Руки Эндрюса похолодели. Он чувствовал, как колотилось его сердце, когда он поднимался но лестнице.

Комната была пуста. Дрова были приготовлены в маленьком камине. Эндрюс поспешно вытер стол и толкнул ногой под постель грязную одежду, валявшуюся кучей в углу. Ему пришла мысль: как это похоже на его приготовления в его комнате в колледже, когда ему сообщали, что к нему приехал родственник.

Он на цыпочках спустился вниз.

— Все в порядке. Ты можешь подняться, Жанна,— сказал он.

Она с довольно натянутым видом села у огня в кресло с прямой спинкой.

— Какой красивый огонь! — сказала она.

— Жанна, мне кажется, я безумно в тебя влюблен,— сказал Эндрюс возбужденным тоном.

— Как в Комической опере? — Она пожала плечами.— Комната славная,— сказала она.— О, какая большая кровать...

— Ты первая женщина, которая вошла сюда, Жанна... Но этот мундир ужасен...

Эндрюсу представились вдруг трепещущие тела, заключенные в такие же мундиры и принуждаемые к окостенелым движениям автоматов в этом чудовищном фарсе превращения людей в машины. О, если бы он мог одним движением вернуть всех этих рабов мундиров к жизни, свободе и счастью! В этой мысли все потонуло на мгновение.

— Но ты оторвал пуговицу! — вскрикнула Жанна с истерическим смехом.— Мне придется ее пришить.

— Ничего. Если б ты знала, как я их ненавидел!

— Какая у тебя белая кожа... точно у женщины. Я думаю, это оттого, что ты блондин,— сказала Жанна.

Шум двери, которую энергично трясли, разбудил Эндрюса. Он встал и, остановившись на минуту посреди комнаты, не мог собраться с мыслями. Стук в дверь продолжался, и он услышал голос Уолтерса, кричавшего: «Энди! Энди!» Эндрюс почувствовал, что стыд подползает к нему, как тошнота. Он почувствовал страстное отвращение к себе, Жанне и Уолтерсу. У него явилось побуждение двигаться крадучись, точно он что-то украл. Он подошел к двери и слегка приоткрыл ее.

— Послушай, Уолтерс, старина,— сказал он,— я не могу тебя впустить. Со мной девушка. Мне очень жаль. Я думал, что ты не вернешься до завтра.

— Ты шутишь, что ли? — раздался голос Уолтерса из темной прихожей.

— Нет! — Эндрюс решительно закрыл дверь и снова запер ее.

Жанна все еще спала. Ее черные волосы распустились и разметались по подушке. Эндрюс старательно поправил на ней одеяло.

Затем он взобрался на другую кровать и долго лежал, бодрствуя и уставившись в потолок.

IV

Публика, проходившая по бульвару, с любопытством смотрела через решетку на очередь людей в темно-оливковых мундирах, протянувшуюся через двор. Очередь медленно двигалась мимо стола, за которым сидели офицер и двое рядовых, склонившись над длинными ведомостями и кучками бледно окрашенных банкнот и серебряных франков. Над головами мужчин поднимался в солнечном сиянии легкий налет от папиросного дыма. Раздавался шум голосов и шаркающих по гравию шагов. Люди, получившие жалованье, уходили с бодрым видом, позвякивая деньгами в карманах.

Лица у людей за столом были красные, напряженные и серьезные; они резким движением пихали деньги в руки солдатам и произносили их имена, словно отщелкивали их на какой-то машине.

— То-то был ад! — говорил в очереди один солдат другому.— Помнишь этого парнишку, умершего в казармах?

— Еще бы! Я был тоже в санитарах. В этой команде был сержант, сущий дьявол; он хотел заставить мальчишку встать, а лейтенант пришел и сказал, что предаст его военному суду. Мальчишка, оказалось, вышел уже в тираж.

— Отчего он умер?

— Разрыв сердца, вероятно. Не знаю, впрочем, он никогда не мог примениться к этой жизни.

— Ну, в этой дыре, в Косне, нетрудно было сыграть в ящик.

Эндрюс получил деньги. Уходя, он подошел к солдатам, разговор которых слышал.

— Вы были в Косне, ребята?

— Именно.

— Вы знали парня по фамилии Фюзелли?

— Я не знал.

— Как же нет? — сказал другой.— Не помнишь Дэна Фюзелли? Он еще мечтал, что будет капралом. А вышло совсем другое.

Оба рассмеялись.

Эндрюс ушел со смутным раздражением. На бульваре Монпарнас* было много солдат. Он свернул на боковую улицу: он чувствовал какой-то страх и унижение, как будто он каждую минуту мог услышать резкий голос сержанта, выкрикивающий ему приказания.

Серебро в карманах его брюк звенело при каждом шаге.

Эндрюс облокотился на балюстраду галереи и смотрел вниз на сквер против Комической оперы. У него кружилась голова от красоты услышанной им музыки. Он чувствовал где-то в глубине сознания грандиозные ритмы моря. Люди болтали вокруг него на широкой переполненной галерее, но он сознавал только синевато-серую ночную мглу, где огни рисовали узоры из зеленоватого и красноватого золота.

И, отвлекая его внимание от всего прочего, ритмы скользили по нему, как морские волны.

— Я так и думала, что вы будете здесь,— услышал он около себя спокойный голос Женевьевы Род.

Эндрюс почувствовал, что у него язык как-то странно прилип к гортани.

— Приятно видеть вас! — вдруг выпалил он, после того как молча смотрел на нее в течение минуты.

— Вы, конечно, любите «Пелеаса»?

— Я слышу о нем в первый раз.

— Почему вы не заходите к нам? Уже две недели прошло. Мы ждали вас.

— Я не знал... О, я, конечно, приду. Я не знаю ни одной души, с кем я мог бы говорить о музыке.

— Вы знаете меня.

— Я должен был сказать «ни одной другой души».

— Вы работаете?

— Да... но это страшно мешает.— Эндрюс дернул за отворот своей шинели.— Все же я рассчитываю скоро быть свободным. Я подаю прошение об увольнении.

— Вы сможете теперь работать гораздо более продуктивно. Сознание исполненного вами долга даст вам новые силы.

— Нет... ни в каком случае.

— Скажите, что это вы играли у нас дома тогда?

— «Три зеленых всадника на диких ослах»,— сказал Эндрюс, улыбаясь.

— Что это значит?

— Это прелюдия к «Царице Савской». Если бы вы не держались об «Искушении Святого Антония» взгляда Эмиля Фаге* и компании, я объяснил бы вам, что это значит.

— Это было очень глупо с моей стороны... Но если вы будете подбирать все глупости, которые люди случайно говорят, тогда вам придется вечно быть сердитым.

Он не мог при тусклом свете разглядеть ее глаза. Легкое сияние легло на изгиб ее щеки, начиная от тени, бросаемой шляпой, вплоть до ее немного заостренного подбородка. За ним он видел другие лица, мужчин и женщин, столпившихся на галерее и разговаривавших; они были освещены резким золотым светом, который проникал из фойе через широкие итальянские окна.

— Меня всегда безумно захватывало то место в «Искушении», где царица Савская посещает Антония. Вот и все,— сказал Эндрюс угрюмо.

— Это ваша первая вещь? Она немного напоминает мне Бородина.

— Первая, которая на что-то претендует. Это, вероятно, просто кража из всего, что я когда-либо слышал.

— Нет, это хорошо. Вероятно, она была у вас в голове в течение всех этих ужасных и великих дней на фронте... Это для рояля или для оркестра?

— Все, что закончено, для рояля. Я надеюсь при случае оркестровать ее. О, но это, право, глупо так говорить... У меня еще слишком мало знаний... Мне нужны годы упорной работы, прежде чем я чего-нибудь достигну. А я потерял столько времени! Это самая ужасная вещь. Ведь молодость так коротка.

— Звонок! Мы должны спешить на свои места. До следующего антракта!

Она проскользнула в стеклянную дверь и исчезла. Эндрюс вернулся на свое место возбужденный, преисполненный беспокойного восторга. Первые звуки оркестра причинили ему физическую боль. Он их так остро почувствовал.

По окончании последнего акта они молча пошли по темной улице, спеша укрыться от толпы, наводнившей бульвары. Когда они дошли до авеню Оперы, она сказала:

— Вы говорили, что останетесь во Франции?

— Да, действительно, если удастся. Я завтра подам прошение об увольнении и останусь здесь.

— Что вы тогда будете делать?

— Мне придется поискать себе какую-нибудь работу, которая дала бы мне возможность учиться в Schula Cantorum. Но у меня достаточно денег, чтоб протянуть некоторое время.

— У вас много мужества.

— Я забыл вас спросить, не хотите ли вы лучше сесть в метро?

— Нет. Пойдемте пешком.

Они прошли под аркой Лувра. Воздух был насыщен тонким, влажным туманом; каждый фонарь был окружен световым пятном.

— У меня вся кровь пропитана музыкой Дебюсси,— сказала Женевьева, протягивая руки.

— Не стоит и пытаться выразить, что чувствуешь. Словами не выразишь, правда?

— Это зависит...

Они молча шли по набережной. Туман был такой густой, что они не могли видеть Сену; но когда они подходили к мостам, то слышали, как вода шумела под арками.

— Франция душит человека,— внезапно сказал Эндрюс.— Она вас душит очень медленно, прекрасными шелковыми лентами. Америка выбивает у вас мозги полицейской дубинкой.

— Что вы хотите этим сказать? — спросила она холодным, обиженным тоном.

— Вы, во Франции, так много знаете... Вы сделали мир таким изящным.

— Но ведь вам хочется здесь остаться? — сказала она, смеясь.

— Потому что больше некуда деваться. Только в Париже можно получить понятие о музыке. Но я из тех людей, которые не созданы для того, чтобы быть довольными.

— Только бараны довольны.

— Мне думается, что этот месяц в Париже был самым счастливым месяцем во всей моей жизни. Мне кажется, что прошло шесть месяцев, столько было событий.

— А я счастливее всего в Пуассаке.

— Где это?

— У нас там усадьба, очень старая и сильно развалившаяся. Рассказывают, что Рабле бывал в этой деревне. Но наш дом более позднего времени, эпохи Генриха Четвертого. Пуассак недалеко от Тура. Безобразное название, не правда ли? А мне оно кажется прекрасным. Вокруг дома множество фруктовых садов, и желтые розы с румяной сердцевиной стучатся в мое окно, и там есть маленькая башня, как у Монтеня.

— Когда я уйду из армии, я отправлюсь куда-нибудь в деревню и буду работать, работать.

— Музыка должна создаваться в деревне, когда деревья наливаются соками.

— С натуры, как говорит кроличник.

— Что это за кроличник?

— Весьма забавная личность,— сказал Эндрюс, прыснув от смеха.— Вы с ним когда-нибудь встретитесь. Он продает искусственных прыгающих кроликов у входа в кафе «Роган».

— Вот мы и дошли. Благодарю вас, что вы меня проводили.

— Но как скоро! Вы уверены, что это тот самый дом? Мы не могли так скоро дойти.

— Да, это мой дом,— сказала Женевьева Род, смеясь.

Она протянула ему руку; он порывисто пожал ее. Французский ключ звякнул в дверях.

— Отчего бы вам не зайти к нам завтра на чашку чая? — сказала она.

— С удовольствием.

Большая лакированная дверь закрылась за Женевьевой. Эндрюс удалялся легкой походкой, чувствуя себя веселым и в приподнятом настроении духа.

Уолтерс спал. На столе лежала открытка от Жанны.

Эндрюс прочел открытку, держа ее близко около свечи:

«Как давно я вас не видела! Я пройду мимо кафе «Роган» в среду в семь, по панели против Лувра».

Открытка была с видом Мальмезона. Эндрюс вспыхнул. Горькая меланхолия охватила его. Он устало подошел к окну и взглянул на темный двор. Окно под ним изливало в туманную мглу теплое золотистое дыхание, и он мог сквозь него разглядеть горшки с папоротником, стоявшие на мокрых тумбах. Откуда-то доносился густой запах гиацинтов. Обрывки мыслей скользили один за

другим в его голове. Он видел себя, моющим окна в бараке в учебном лагере, и шершавая губка царапала ему руки. Он не мог не чувствовать стыда, вспоминая эти дни.

«Ладно, все это теперь миновало»,— сказал он себе. Он стал думать, почти с раздражением, о Женевьеве Род. Что она за человек? Ее лицо с большими глазами и заостренным подбородком, рыжевато-каштановые волосы, непритязательно свернутые узлом над белым лбом, ярко вставали в его памяти, но вспомнить, как она выглядела в профиль, он не мог. У нее худощавые руки с длинными пальцами, которые должны были бы хорошо играть на рояле. Когда она состарится, станет ли она желтозубой и веселой, как ее мать? Он не мог представить ее себе старой; в ней был избыток силы; слишком много лукавства было в ее сдержанно-страстных движениях. Память о ней померкла, и тут ему вспомнились заработавшиеся маленькие руки Жанны, с затверделой местами кожей, с кончиками пальцев, темными и поцарапанными от шитья. Но запах гиацинтов, доносившийся из двора, наполненного туманом, как губка, смывал все впечатления в его мозгу. Густой, сладкий аромат во влажном воздухе разнеживал его и нагонял на него грусть.

Он медленно разделся и улегся в постель. Запах гиацинтов доходил до него так слабо, что он не мог решить, не воображение ли это.

Приемная коменданта была большой, выкрашенной в белое комнатой с замысловатой лепкой и зеркалами на всех четырех стенах. Пока Эндрюс ожидал, с кепкой в руках, разрешения подойти к письменному столу, он мог созерцать маленького круглого майора с его розовым лицом и лысиной, повторенного до бесконечности в двух направлениях в сероватом блеске зеркал.

— Что вам угодно? — спросил майор, подняв глаза от бумаг, которые он подписывал.

Эндрюс подошел к столу. По обеим сторонам комнаты худощавая фигура в темно-оливковом, бесконечно повторяясь, подошла к бесконечным палисандровым столам, сливавшимся вместе в бесконечной туманной перспективе.

— Вы ничего не имели бы против того, чтобы утвердить это прошение об отчислении, майор?

— Сколько поручителей? — пробормотал майор сквозь зубы, рассматривая прошение.

— Совсем нет. Это об оставлении меня во Франции для занятий музыкой.

— Не годится. Вы должны представить удостоверение, что можете сами себя содержать, что у вас достаточно средств, чтобы продолжать занятия. Вы хотите изучать музыку? Вы думаете, что у вас есть талант? Нужен большой талант, чтобы заниматься музыкой!

— Да, сэр... Больше ничего не нужно, кроме удостоверения?

— Нет. Я просмотрю это в спешном порядке. Мы рады отпускать людей. Мы рады отпустить любого человека с хорошей военной аттестацией. Вильямс!

— Да, сэр!

Сержант, сидевший за маленьким столом у двери, подошел к ним.

— Объясните этому человеку, что ему нужно сделать для того, чтобы отчислиться из армии и остаться во Франции!

Эндрюс поклонился. Уголком глаза он увидел фигуры в зеркале, раскланивавшиеся вдоль бесконечного коридора.

Когда он вышел на улицу напротив большого белого здания, где находилось управление коменданта, его охватило мрачное ощущение беспомощности. Здесь было много автомобилей разной величины и фасона: лимузины, городские экипажи, авто для дальних поездок, выстроившиеся в ряд вдоль панели, все выкрашенные в темно-оливковый цвет и аккуратно отмеченные белым номером. Иногда из белого мраморного здания выходил субъект с блестящими обмотками и поясом и кидался в автомобиль. Или же скрипучая мотоциклетка останавливалась с резким толчком перед широким подъездом; с нее соскакивал офицер в автомобильных очках и защитном мундире, забрызганном грязью, и немедленно исчезал в вертящихся дверях. Эндрюс мог вообразить себе, как он бродил по залам, где из-за каждой двери доносилось настойчивое щелканье пишущих машинок и где груды бумаг покрывали желтые лакированные конторки; где по комнатам шатались военные чиновники с желтыми лицами; где все четыре стены были уставлены от полу до потолка карточными каталогами, каждый день пополнявшимися новыми и новыми карточками. Эндрюсу казалось, что величественное белое мраморное здание должно будет лопнуть из-за количества бумаг, нагромож-

денных в нем, и наводнить широкую аллею лавиной личных карточек.

— Застегните ваше пальто! — загнусавил голос ему в ухо.

Эндрюс быстро поднял глаза. К нему подошел военный полицейский с суровым лицом, на котором выделялся длинный острый нос.

Эндрюс застегнул пальто, не сказав ни слова.

— Нечего здесь шататься! — крикнул полицейский ему вслед.

Эндрюс вспыхнул и отошел, не поворачивая головы. Его терзало чувство унижения; гневный голос у него внутри повторял ему, что он трус, что он должен сделать какой-нибудь протестующий жест. Гротескные картины возмущения горели в его мозгу, пока он не вспомнил, что, когда он был очень маленьким, та же бешеная гордость кипела и болела в нем при каждом замечании со стороны старших. Бессильное отчаяние трепетало в нем, как птица, бьющаяся о проволоку клетки. Неужели не было исхода, протестующего движения? Неужели ему придется изо дня в день тянуть эту лямку, проглатывая горькую желчь негодования, которую вызывал на его уста каждый новый символ его рабства?

Он возбужденно шел по Тюильрийскому саду, наполненному маленькими детьми, женщинами с собачками на привязи и няньками в накрахмаленных белых чепцах, когда вдруг встретил Женевьеву Род и ее мать. Женевьева, в жемчужно-сером костюме, была одета с элегантностью, на вкус Эндрюса, слишком модной. Госпожа Род была в черном. Перед ними черный терьер с рыжими подпалинами перебегал с одной стороны на другую на тоненьких, нервных лапках, которые дрожали, как стальные пружины.

— Правда, какое очаровательное утро? — воскликнула Женевьева.

— Я не знал, что у вас собака.

— О, мы никогда не выходим без Санто! Это защита для двух одиноких женщин,— сказала госпожа Род, смеясь.— Поди сюда, Санто, поздоровайся с месье!

— Он обыкновенно живет в Пуассаке,— сказала Женевьева.

Маленькая собачка бешено залаяла на Эндрюса пронзительным лаем, похожим на писк ребенка.

— Он знает, что надо подозрительно относиться к солдатам... Я представляю себе, что большинство солдат

поменялись бы с ним, если бы имели эту возможность. Санто, Санто! Хочешь променять свою жизнь на мою, Санто?

— У вас такой вид, будто вы с кем-нибудь поссорились,— сказала Женевьева.

— Так оно и есть — сам с собой. Я думаю написать книгу о рабской психологии. Это было бы очень забавно,— сказал Эндрюс задыхающимся голосом.

— Но мы должны спешить, дорогая, а то опоздаем к портному,— сказала госпожа Род. Она протянула Эндрюсу руку в черной перчатке.

— Мы вернемся домой к чаю. Вы могли бы мне еще раз сыграть «Царицу Савскую»,— сказала Женевьева.

— Боюсь, что это мне не удастся, но никогда нельзя знать... Благодарю вас.

Он почувствовал облегчение, расставшись с ними. Он боялся, что разразится какой-нибудь детской тирадой. Какое безобразие, что старый Гэнслоу еще не вернулся! Он излил бы ему все свое отчаяние; он это делал уже не раз. Гэнслоу теперь вышел из армии. Эндрюс тоскливо решил, что ему придется снова начать строить планы и интриговать, как он уже строил планы и интриговал, чтобы в первый раз попасть в Париж. Он подумал о белом мраморном здании и об офицерах в нарядных обмотках, проходивших взад и вперед; о пишущих машинках, щелкавших в комнате, и сознание своей беспомощности перед всеми этими осложнениями заставило его содрогнуться.

Ему пришла в голову мысль. Он спустился по лестнице на станцию метрополитена. Обрей, вероятно, знает кого-нибудь в «Грильоне», кто мог бы ему помочь. Но когда поезд дошел до станции «Площадь Согласия», у него не хватило силы воли сойти. Он чувствовал резкое отвращение ко всякому усилию. Какой смысл унижаться и просить людей о милостях? Все это, во всяком случае, безнадежно.

В бешеном взрыве гордости внутренний голос кричал ему, что он, Джон Эндрюс, должен отложить всякий стыд, что он должен заставить людей исполнять его желания, что он, более остро ощущающий жизнь, чем другие, испытывающий больше страданий и больше радости, обладающий силой выражать это страдание и эту радость, чтоб передать их другим,— он должен подчинить других своей воле. «Еще о психологии рабства»,— сказал

себе Эндрюс, внезапно разбивая мыльный пузырь своего эгоизма. Поезд доехал до заставы Майо.

Эндрюс стоял на солнечном бульваре перед станцией метрополитена, где на тополях распускались крошечные коричневые листья, и вдыхал запах цветочного лотка, у которого стояла женщина, связывавшая ловким рассеянным движением один пучок фиалок за другим. Ему захотелось быть в деревне, вдали от домов и людей. Стояла очередь мужчин и женщин, покупавших билеты на Сен-Жермен. Он нерешительно присоединился к ним и в конце концов оказался без заранее обдуманного намерения проезжающим Нейи в зеленом прицепном вагоне электрического трамвая. Прицепной вагон вихлялся, как хвост утки, когда трамвай усиливал ход.

Он вспомнил свою последнюю поездку в этом самом трамвае с Жанной и грустно пожалел, что не смог влюбиться в нее и забыть себя, и военную службу, и все на свете в безумной, романтической любви.

Когда он вышел из трамвая в Сен-Жермене, то перестал формулировать свои мысли — тупое отчаяние билось в нем, как нарывающая рана.

Он некоторое время сидел в кафе против дворца, разглядывая легкие красные стены, тяжелые окна в каменной оправе, приветливые башни и трубы, поднимавшиеся над классической балюстрадой с громадными урнами по краям крыши. Парк через высокую железную решетку казался наполненным бурыми и бледными штрихами весенних новых листьев. Действительно ли они жили более ярко, люди Ренессанса? Эндрюс почти видел мужчин в шляпах с перьями, в коротких плащах, в изысканных мантиях, бродивших с рукой на рукоятке меча по тихому скверу перед воротами дворца. И он подумал о внезапном, великом вихре свободы, который пронесся из Италии, обращая в прах догмы и рабство. Современный мир казался, по сравнению с ним, жалким и скудным. Люди словно съежились, уменьшились ростом перед величием изобретенных ими механических изделий. Микеланджело, да Винчи, Аретино*, Аллини... Будут ли еще когда-нибудь властвовать так над миром сильные личности? Теперь все идет к скоплению и прессовке масс; люди уподобились муравьям. Может быть, неизбежно, чтобы массы все глубже и глубже погружались в рабство. Что бы ни победило — тирания сверху или самопроизвольная организация снизу,— для индивидуальности места нет!

Он прошел через ворота в парк, украшенный цветочными клумбами, где цвели анютины глазки. Сквозь темные ряды стволов вязов просвечивало блестящее небо; кое-где на его фоне выступала зеленая от плесени статуя. В конце одной из аллей он вышел на террасу. За тяжелыми извивами узора железной балюстрады расстилались поля, бледно-зеленые, переходившие в голубое у горизонта, с пятнами розовых и темно-серых домов, перерезанные железнодорожными путями. У его ног Сена блестела, как изогнутое лезвие меча.

Он прошел по террасе большими шагами и свернул на дорогу, ведущую в лес, забывая о приливе крови, вызванном во всем его теле быстрой ходьбой, однообразную сутолоку своих мыслей. Он шел среди шуршащего молчания леса, где мох на северной стороне древесных стволов был изумрудно-зеленый и сквозь лавандовое кружево ветвей просвечивало нежно-серое небо. Зеленый сучковатый лес напомнил ему первое действие «Пелеаса»*. В расстегнутой шинели, с открытым воротом рубашки, с руками, глубоко засунутыми в карманы, он шел, посвистывая, как школьник.

Через час он вышел из леса на большую дорогу и оказался идущим рядом с двуколкой, которая ехала вровень с ним, как он ни старался перегнать ее. Спустя некоторое время из двуколки высунулся юноша.

— Эй, американец, подвезти, что ли?

— А куда вы едете?

— В Конфлан Сент-Онорин.

— Где это?

Мальчик неопределенно махнул рукой по направлению к голове лошади.

— Ладно,— сказал Эндрюс.

— Здесь картошка,— сказал мальчик,— устройтесь поудобнее.

Эндрюс предложил ему папироску; тот взял ее грязными пальцами. У него было широкое лицо, красные щеки и грубоватые черты. Колючие рыжевато-каштановые волосы вылезли из-под берета, забрызганного грязью.

— Куда, вы сказали, едете?

— В Конфлан Сент-Онорин. Глупости все эти святые, правда?

Эндрюс засмеялся.

— А куда вы направляетесь? — спросил юноша.

— Не знаю. Я гулял.

Юноша нагнулся к Эндрюсу и шепнул ему на ухо:

— Дезертир?

— Нет. У меня свободный день, и я хотел побыть в деревне.

— Я только подумал, что, если вы дезертир, я, может быть, сумею помочь вам. Глупо быть солдатом. Подлая жизнь. Вы любите деревню? Я тоже. Но это какая же деревня? Чепуха! Я сам нездешний. Я из Бретани. Там у нас настоящая деревня. Здесь можно задохнуться, близ Парижа: так много людей, так много домов.

— Мне все здесь кажется чудесным.

— Это оттого, что вы солдат. Везде лучше, чем в казармах. Что? Подлая эта жизнь солдатская! Я никогда не буду солдатом. Я поступлю во флот, в торговый флот; и тогда, если мне придется отбывать повинность, я ее отбуду на море. Я думаю, что это интереснее. Там больше свободы. И море... Мы, бретонцы, знаете ли, умираем либо от моря, либо от алкоголя.

Они засмеялись.

— Вы давно живете в этих краях? — спросил Эндрюс.

— Шесть месяцев. Тоска эта работа на ферме. Я старший в артели, работаем в фруктовом саду. У меня брат в море, на паруснике. Когда он вернется в Бордо, я поступлю на тот же корабль.

— И куда вы направитесь?

— В Южную Америку, в Перу... Почем я знаю?

— Я был бы не прочь отправиться в плавание на паруснике,— сказал Эндрюс.

— Вы тоже хотели бы? Это очень интересно — путешествовать, видеть новые страны. А может быть, я там где-нибудь и останусь.

— Где?

— Почем я знаю? Где мне понравится. Очень скверная жизнь в Европе.

— Здесь задыхаешься,— сказал Эндрюс медленно.— Все эти разные народы, эта ненависть... но все же жизнь здесь прекрасна. Жизнь безобразна в Америке.

— Выпьем? Вот трактир!

Юноша соскочил с тележки и привязал лошадь к дереву. Они вошли в маленькую винную лавку с прилавком и квадратным дубовым столом.

— Вы не опоздаете? — спросил Эндрюс.

— Мне все равно. Я люблю болтать, а вы?

— Да, конечно.

Они заказали вина старухе в зеленом переднике; у нее были три желтых зуба, и они вылезали у нее изо рта, когда она говорила.

— Я ничего не ел,— сказал Эндрюс.

— Подождите минуту...— Мальчик подбежал к тележке и, вернувшись с парусиновым мешком, вынул из него полхлеба и немного сыру.

— Меня зовут Марсель,— сказал мальчик, после того как они просидели некоторое время, потягивая вино.

— А меня Жан, Жан Андре.

— У меня брат Жан, а моего отца зовут Андре. Это забавно, правда?

— Это, должно быть, великолепное дело — работать во фруктовом саду,— сказал Эндрюс, пережевывая хлеб с сыром.

— Хорошо платят. Но устаешь — все время на одном месте. Это не то, что в Бретани...— Марсель сделал паузу; он сидел, слегка раскачиваясь на стуле и удерживая его между ног. Странный блеск показался в его серых глазах.—Там,— продолжал он мягким голосом,— так тихо в полях, и с каждого холма вы видите море. Мне это нравится, а вам? — Он с улыбкой обратился к Эндрюсу.

— Вы счастливец, вы свободны,— с горечью сказал Эндрюс; ему казалось, что он расплачется.

— Но ведь вас скоро демобилизуют; бойня окончилась. Вы вернетесь домой к вашей семье. Это будет хорошо, а?

— Не знаю. Хотелось бы еще куда-нибудь дальше.

— А что бы вы хотели?

Шел мелкий дождь. Они забрались на мешки с картофелем, и лошадь двинулась неровной рысцой; ее худые коричневые бока слегка блестели от дождя.

— Вы часто бываете в этих краях? — спросил Марсель.

— Буду часто бывать. Это самое лучшее место около Парижа.

— Как-нибудь в воскресенье приезжайте, и мы с вами все обойдем. Дворец великолепный. А потом здесь находится Мальмезон, где император жил с императрицей Жозефиной.

Эндрюс вспомнил вдруг открытку Жанны. Сегодня среда. Он представил себе ее темную фигуру посреди толпы на тротуаре напротив кафе «Роган». Конечно, так и должно было кончиться. Отчаяние, почти сладостное в своем бессилии, охватило его.

— А девушки? — неожиданно спросил он Марселя.— Хорошенькие в этих краях?

Марсель пожал плечами.

— В женщинах нет недостатка, если у человека есть деньги,— сказал он.

Эндрюс почувствовал какой-то стыд, сам точно не зная отчего.

— Мой брат пишет, что в Южной Америке женщины очень смуглые и страстные,— прибавил Марсель с задумчивой улыбкой.— Путешествовать и читать книги — вот что я люблю. Но, смотрите, если вы хотите поймать обратный поезд в Париж...— Марсель остановил лошадь.— Если вы хотите сесть на поезд, вы должны пересечь это поле по пешеходной тропинке и держаться дороги налево, пока не дойдете до реки. Там перевозчик. Город называется Гербле, и там есть вокзал. Каждое воскресенье до двенадцати вы найдете меня в третьем номере по улице Епископов. Приезжайте, и мы погуляем вместе.

Они обменялись рукопожатием, и Эндрюс пошел по влажным полям. Что-то удивительно милое и грустное, в чем он не мог разобраться, осталось в его душе от болтовни Марселя. Где-то, за пределами всего, он чувствовал грандиозные, свободные ритмы моря.

Потом он подумал о комендантском управлении в это утро, о своей собственной худощавой фигуре в зеркалах, повторяемой до бесконечности, стоявшей беспомощно и смиренно перед блестящим письменным столом красного дерева. Даже среди этих полей, где влажная земля словно вздымалась от напора новых ростков, он не был свободным.

В этих учреждениях, с белыми мраморными залами, наполненными звоном офицерских каблуков, находилась в указателях и грудах бумаги, исписанной на пишущей машинке, его настоящая личность, которую они могли при желании убить; его личность находилась под именем и номером в списках с миллионами других имен и других номеров. Его чувствующее тело, полное возможностей, надежд и желаний, было только бледным призраком, зависевшим от другого «я», страдавшим и раболепствовавшим за него. Он не мог выбросить из головы свой собственный образ, худощавый, в плохо сидящем мундире, повторяемый до бесконечности в двух зеркалах выбеленной приемной майора.

Вдруг сквозь голые тополя он увидел Сену.

Он побежал вдоль дороги, то и дело шлепая по блестящим лужам, пока не добрался до пристани.

Река была очень широкая, серебристая, покрытая бледно-зелеными, фиолетовыми и соломенного цвета полосами от вечернего неба. Напротив находились голые

тополя, а за ними группы светло-желтых домов, поднимавшихся по зеленому холму к церкви; все это отражалось вверх ногами в полосатой реке.

Река была полноводная и вздымалась над своими берегами, как вода выливается через край переполненного стакана. Из воды доносился шелестящий, плавный звук, который поднимался и падал в спокойном ритме в ушах Эндрюса. Эндрюс все забыл в огромной волне музыки, которая бурно поднялась в нем, разливаясь вместе с горячей кровью по его венам, наполняя вместе с разноцветными полосами реки и неба его глаза, вместе с ритмами текущей реки — его уши.

V

— Да, я уехал без паспорта,— сказал Эндрюс, смеясь.

— Вот потеха! — воскликнула Женевьева.— Но как-никак они ничего не могут вам сделать. Шартр так близко, у самых ворот Парижа.

Они были одни в купе. Поезд отошел от станции и проходил предместьями, где зелень распускались в садах и фруктовые деревья пенились над красными кирпичными стенами среди вилл, похожих на коробки.

— Как-никак,— сказал Эндрюс,— нельзя было пропустить этот случай.

— Это, наверно, одно из самых забавных положений — страх солдата перед проверкой. Интересно, Дамокл наслаждался своим мечом? Как вы думаете?

Они засмеялись.

— Мама очень сомневалась, боялась отпустить меня одну с вами. Она такая прелесть! Хочет быть современной и либеральной, но всегда пугается в последнюю минуту. А моя тетка подумает, когда мы появимся, что наступило светопреставление.

Они проехали через несколько туннелей и, когда поезд остановился в Севре, увидели мельком долину Сены, где голубой туман покрывал паутиной нежную зелень новых листьев. Потом поезд вышел на широкие равнины, покрытые серо-зеленым мерцанием молодого овса и золотисто-зелеными полями пшеницы; пурпуровый туман застилал горизонт. Синяя тень поезда бежала с ними рядом через траву н заборы.

— Как прекрасно ехать из города по этой дороге рано утром! У вашей тетушки есть рояль?

— Да, очень старый и дребезжащий.

— Мне интересно было бы сыграть вам все, что я написал из «Царицы Савской»,— вы всегда даете мне такие полезные указания.

— Потому что это меня интересует. Я думаю, что вы создадите со временем что-нибудь очень крупное.

Эндрюс пожал плечами.

Они сидели молча; в ушах его гудел прерывистый ритм колес по рельсам; они иногда украдкой взглядывали друг на друга. За окном поля и изгороди, пятна цветущих растений и тополя в легкой зеленой пудре развертывались перед ними, как лента, за мельканием телеграфных столбов и зигзагообразной проволоки, на которую солнце бросало искры красной меди. Эндрюс вдруг заметил, что медный блеск на телеграфной проволоке такой же, как искры в волосах Женевьевы.

Береника, Артемизия, Арсиноя... Эти имена застряли у него в памяти. И, смотря из окна на длинные извивы телеграфной проволоки, которая будто поднималась и опускалась, когда они скользили мимо, он мог представить себе ее лицо, с большими светло-карими глазами, маленьким ртом и широким гладким лбом, застывшее в виде живописи восковыми красками на саркофаге какой-нибудь александрийской девушки.

— Скажите мне,— спросила она,— когда вы начали писать музыку?

Эндрюс откинул светлые беспорядочные пряди волос, упавшие на его лоб.

— Никак я забыл пригладить волосы сегодня утром,— сказал он.— Вы видите, как я был взволнован мыслью поехать с вами в Шартр?

Они засмеялись.

— Моя мать учила меня играть на рояле, когда я был совсем маленьким,— продолжал он серьезным тоном.— Мы с ней жили одни в старом доме, принадлежавшем ее семье, в Вирджинии. Как это непохоже было на все, что мы когда-либо переживали! В Европе невозможно жить так уединенно, как мы жили в Виргинии. Моя мать была очень несчастна... У нее была ужасно неудачная жизнь. Такое безутешное, безнадежное страдание выпадает только на женскую долю. Она рассказывала мне сказки, а я сочинял на них маленькие мелодии, и на всякие другие темы также. Самый большой успех,— он засмеялся,— пришелся на долю одуванчика... Я очень хорошо помню, как мама оттопыривала губы, когда наклонялась

над письменным столом. Она была очень высокого роста, а в нашей старой гостиной было очень темно, и ей приходилось сильно наклоняться, чтобы видеть. Она проводила часы, красиво переписывая мои мелодии. Моя мать — единственный человек, когда-либо действительно имевший значение в моей жизни. Но мне страшно недостает технической подготовки.

— Вы думаете, что это так важно? — спросила Женевьева, наклоняясь к нему, чтобы он мог расслышать ее, несмотря на грохот поезда.

— Может быть, и нет. Я не знаю.

— Я думаю, это всегда придет рано или поздно, если вы достаточно интенсивно чувствуете.

— Но так мучительно чувствовать, что все, что вы хотите выразить, ускользает от вас! Вам приходит в голову мысль, вы чувствуете, как она крепнет и крепнет, и не можете схватить ее — у вас нет средств для ее выражения. Вы как будто стоите на углу улицы и видите пышную процессию, не имея возможности присоединиться к ней; или же вы откупориваете бутылку пива, она обрызгивает вас всего пеной, но у вас нет стакана, куда налить пиво.

Женевьева расхохоталась.

— Но вы можете пить из бутылки, разве нет? — сказала она, сверкая глазами.

— Я и то пытаюсь,— сказал Эндрюс.

— Мы доехали! Вот собор. Нет, он спрятался! — воскликнула Женевьева.

Они встали. Когда выходили из вагона, Эндрюс сказал:

— Но, в конце концов, все дело в свободе. Только бы мне выйти из армии!

— Да, вы правы в том, что касается лично вас, разумеется. Художник должен быть свободен от всяких пут.

— Не вижу, какая разница между художником и всяким другим рабочим! — сказал Эндрюс свирепым тоном.

— Нет, посмотрите!

Из сквера, где они стояли, они могли видеть над зеленым пятном небольшого парка собор, желтоватого и ржавого тона, со строгой и нарядной башнями и большим розовым окном между ними; вся громада стояла небрежно, по колено в скученных крышах города.

Они стояли плечом к плечу, молча смотря на него.

Перед вечером они спустились по холму к реке, окруженной покосившимися домами с остроконечными крышами и мельницами, из которых доносился шум

жерновов. Над ними, возглавляя сады, наполненные цветущими грушами, купол собора выступал на бледном небе. Они остановились на узком старинном мосту и смотрели на воду, наполненную голубыми, зелеными и серыми отсветами неба и ярких новых листьев ив, растущих вдоль берега.

С чувствами, пресыщенными красотой дня и сложным великолепием собора, разнеженные всем виденным и сказанным, они тихими голосами говорили о будущем.

— Все дело в том, чтобы создать себе привычку работать,— говорил Эндрюс.— Надо стать рабом, чтобы что-нибудь сделать; весь вопрос в выборе своего господина. Вы не думаете, что это так?

— Да, я полагаю, что все люди, оставившие след в жизни человечества, были рабами в известном смысле этого слова,— медленно сказала Женевьева.— Каждый должен отдать большую часть жизни, чтобы глубоко пережить что-либо. Но это стоит того.— Она посмотрела Эндрюсу прямо в глаза.

— Да, я думаю, что стоит,— сказал Эндрюс.— Но вы должны мне помочь. Теперь я похож на человека, который вышел из темного погреба. Меня слишком сильно ослепляет великолепие всего окружающего. Но по крайней мере я вышел из погреба.

— Посмотрите, проскочила рыба! — воскликнула Женевьева.

— Я хотел бы знать, можно ли здесь где-нибудь взять напрокат лодку? Правда, весело было бы покататься на лодке?

Чей-то голос прервал ответ Женевьевы:

— Покажите мне ваш паспорт, пожалуйста!

Эндрюс обернулся. Солдат с круглым коричневым лицом и красными щеками стоял около него на мосту. Эндрюс пристально посмотрел на него. Маленький шрам над левым глазом выделялся белым зигзагом на сильно загорелой коже.

— Покажите ваш паспорт! — повторил солдат; у него был высокий, пискливый голос.

Эндрюс чувствовал, как кровь забилась у него за ушами.

— Вы из военной полиции?

— Да.

— Ну так я в университетской команде.

— Что это за черт? — сказал военный полицейский с тонким смешком.

— Что он говорит? — спросила Женевьева, улыбаясь.

— Ничего. Мне придется пойти к офицеру и объясниться,— сказал Эндрюс задыхающимся голосом.— Вернитесь к вашей тетушке. Я приду, как только все устрою.

— Нет, я пойду с вами.

— Пожалуйста, вернитесь. Дело может принять серьезный оборот. Я приду, как только смогу! — резко сказал Эндрюс.

Она поднялась на холм быстрыми, решительными шагами, не оборачиваясь.

— Вишь, счастливец! — сказал военный полицейский.— Смазливая девушка. Я бы и сам не прочь провести с ней полчаса.

— Послушайте, я состою в университетской учебной команде в Париже и сюда приехал без паспорта. Что теперь надо сделать?

— Они тебе укажут, не беспокойся! — пронзительно закричал военный полицейский.— Может быть, ты переодетый член Генерального штаба? Чего доброго! Университетская команда! Вот уж посмеется Билл Хеггис, когда услышит это. Ну уж удружил!.. Ну, пойдем,— прибавил он конфиденциальным тоном.— Если пойдешь смирно, не надену на тебя наручники.

— Почем я знаю, что вы действительно военный полицейский?

— Скоро узнаешь!

Они повернули на узкую улицу между серыми штукатуренными стенами, изъязвленными мхом и сырыми пятнами.

На стуле за окном маленькой винной лавки сидел и курил человек с красным значком военного полицейского. Он встал, когда увидел их, и, открыв дверь, взялся за ручку револьвера.

— Я поймал птичку, Билл,— сказал первый, грубо втолкнув Эндрюса в дверь.

— Молодец, Хендсом. Он смирный?

— Ничего,— пробурчал Хендсом.

— Сядь сюда! Если пошевельнешься, я всажу тебе пулю в кишки.— Военный полицейский выдвинул квадратную челюсть. У него была желтая кожа, вспухшая под серыми, тусклыми глазами.

— Он говорит, что он в какой-то, черт ее знает, университетской команде. Первый раз слышу такой номер. Ты слыхал?

— Есть при тебе бумаги? У тебя должны быть какие-нибудь бумаги.

Эндрюс пошарил в своих карманах. Он вспыхнул.

— Мне следовало бы иметь удостоверение от курсов.

— Конечно, следовало бы. Ох, этот молодец простоват,— сказал Билл, откидываясь на стул и выпуская дым из ноздрей.— Посмотри на его эполеты, Хендсом.

Полицейский подошел к Эндрюсу и распахнул ворот его шинели. Эндрюс отшатнулся всем телом.

— Я не надел их. Я забыл надеть их сегодня утром.

— Ни эполет, ни значка?

— Нет, есть... пехота.

— И нет бумаг... Ручаюсь, что он уже давно гуляет,— задумчиво сказал Хендсом.

— Лучше надеть на него наручники,— сказал Билл посреди зевка.

— Подождем немного. Когда приедет лейтенант?

— Не раньше вечера.

— Верно?

— Да. Поезда нет.

— А что ты скажешь насчет выпивки, Билл? Ручаюсь, что у этого парнишки деньги водятся. Пригласишь нас на стаканчик коньяка? Согласен, университетская команда?

Эндрюс сидел неподвижно на своем стуле.

— Да,— сказал он,— заказывайте, что хотите.

— Не спускай с него глаз, Хендсом! Никогда не знаешь, что такой тихоня может выкинуть.

Билл Хеггис тяжелыми шагами вышел из комнаты. Он вернулся спустя минуту, помахивая бутылкой коньяку, зажатой в руке.

— Я сказал мадам, что ты заплатить, Моща,— проговорил полицейский, проходя мимо стула Эндрюса.

Эндрюс кивнул головой.

Оба полицейских придвинулись к столу, за которым сидел Эндрюс. Эндрюс не мог отвести от них глаз. Билл Хеггис напевал, вытаскивая пробку из бутылки:

Эта улыбка дарует вам радость,
Эта улыбка навеет печаль.

Хендсом следил за ним, ухмыляясь. Оба вдруг расхохотались.

— А этот осел воображает, что он в университетской команде! — воскликнул Хендсом своим пронзительным голосом.

— Попадешь в команду другого рода, Моща! — закричал Билл Хеггис. Он заглушил свой смех продолжительным глотком из бутылки и чмокнул губами.

— Не так адски плохо,— сказал он и начал напевать:

Эта улыбка дарует вам радость,
Эта улыбка навеет печаль.

— Выпьешь, Моща? — спросил Хендсом, придвигая бутылку к Эндрюсу.

— Нет, спасибо,— сказал Эндрюс.

— Ты не получишь хорошего коньяка там, куда тебя отправят, Моща. И не понюхаешь даже,— пробурчал Билл Хеггис среди смеха.

— Ладно, я выпью глоток.— Эндрюсу вдруг в голову пришла мысль.

— Ага, ублюдок пьет коньяк! — закричал Хендсом.

— Хватит у тебя денег, чтобы купить нам еще бутылку?

Эндрюс кивнул головой. Он рассеянно вытер рот носовым платком; он хватил большой глоток коньяку, не попробовав его предварительно.

Лицо Хендсома стало багровым. Только зигзагообразный шрам над глазом оставался белым. Он чертыхался тихим голосом, вытаскивая пробку из новой бутылки.

Эндрюс не мог отвести глаз от лиц этих людей. Он переводил взгляд с одного на другого против своей воли. По временам перед ним мелькали на минуту желтые и коричневые квадраты обоев и стойка с расставленными за ней пустыми бутылками. Он попытался сосчитать бутылки: одна... две... три...— но снова, затаив дыхание, уставился в тусклые глаза Билла Хеггиса, который лежал, откинувшись на стуле, выпуская дым из ноздрей, то и дело придвигал к себе бутылку коньяку и все время тихо напевал.

Хендсом сидел, положив локти на стол и подпирая подбородок красными руками. Его лицо стало малиновым, но кожа оставалась нежной, как у женщины.

Свет в комнате становился серым. Хендсом и Билл Хеггис встали — молодой офицер с четкими чертами лица, в фуражке, сдвинутой немного набок, вошел и остановился посреди комваты, широко расставив ноги. Эндрюс подошел к нему.

— Я в университетской команде, лейтенант. Мы находимся в Париже.

— А вас там не научили отдавать честь? — сказал офицер, смерив его взглядом с головы и до ног.— Ну-ка,

ребята, научите его отдавать честь,— прибавил он медленно.

Хендсом сделал шаг по направлению к Эндрюсу и ударил его кулаком между глаз. Посыпались искры, комната закружилась, и раздался треск, когда он ударился головой о пол. Он встал на ноги. Кулак ударил его по тому же месту, ослепляя его; все три фигуры и светлый овал окна закружились. Стул с треском упал вместе с ним, и тяжелый удар по затылку вызвал временный мрак.

— Теперь довольно, оставьте его,— услышал он далекий голос в конце черного туннеля. Ему казалось, что огромная тяжесть пригибает его к земле, когда он пытался подняться, ослепленный слезами и кровью. Режущая боль точно стрелами пронизывала его голову. На запястьях его были кандалы.

— Вставай! — прогнусавил чей-то голос.

Он встал на ноги. Слабый свет проник в его глаза сквозь потоки слез. Его лоб пылал, точно к нему прикладывали горящие угли.

— Арестант, смирно! — прогремел голос офицера.— Марш!

Эндрюс, как автомат, поднял сначала одну ногу, потом другую. Он почувствовал на своем лице прохладный воздух улицы; по сторонам его твердо шагали военные полицейские. Кошмарный голос в нем кричал и кричал.

Часть шестая

ПОД КОЛЕСАМИ

I

Непокрытые мусорные ведра звякали, когда их одно за другим бросали на грузовик. Пыль и гнилостный запах окружали работавших людей. Конвойный стоял тут же, на мостовой, широко расставив ноги, опираясь на ствол ружья. Ранний туман висел низко в воздухе, скрывая верхние окна госпиталя. Из двери, за которой стояли рядами мусорные ведра, шел густой запах карболки. Когда последнее ведро было с грохотом водворено на место, четыре арестанта и конвойный взобрались на грузовик, стараясь поудобнее разместиться среди ведер, из которых выпадали куски окровавленных бинтов, зола и сгнившие остатки пищи; и грузовик загромыхал по парижским улицам, полным утреннего оживления, направляясь к мусоросжигателю.

Арестанты были без шинелей, их рубашки и панталоны были покрыты жирными и грязными пятнами, на руках у них были рваные холщовые перчатки. Конвойный, застенчивый, краснощекий юноша, заискивающе улыбался и старался удержать равновесие, когда грузовик огибал угол.

— Сколько дней держат они обыкновенно молодца на этом грязном деле, Хеппи? — спросил юноша с кроткими голубыми глазами, молочным цветом лица и рыжими курчавыми волосами.

— Черт меня побери, если я знаю, Малыш. Сколько им вздумается, полагаю,— сказал сидевший с ним рядом мужчина с бычьей шеей, с лицом циркового борца и тяжелой, выдвинувшейся вперед челюстью. Посмотрев с минуту на юношу, он изобразил на лице изумление и с

усмешкой продолжал: — Скажи, младенец, какого черта ты очутился здесь? Тебя, видно, выкрали из люльки, чтобы послать сюда? Так, что ли, Малыш?

— Я украл «форд»! — весело возразил юнец.

— На кой черт?

— Продал его за пятьсот франков.

Хеппи засмеялся и схватился за ведро с золой, которое собиралось вывалиться из подпрыгивавшего грузовика.

— Как тебе это нравится, конвойный? Недурно пущено, а?

Конвойный хихикнул.

— Меня не послали в Ливенуортс, потому что я был очень молод,— спокойно продолжал юноша.

— А сколько тебе лет, Малыш? — спросил Эндрюс, сидевший, прислонясь к сиденью шофера.

— Семнадцать,— сказал мальчик, вспыхнув и опуская глаза.

— Ему, видно, пришлось лгать, как нехристю, чтобы попасть в эту проклятую армию,— прогудел низкий бас шофера, изогнувшегося, чтобы сплюнуть табачную слюну.

Шофер вдруг затормозил. Мусорные ведра звякнули, ударившись одно о другое.

Шофер излил свое негодование в целом потоке ругательств.

— Черт бы побрал этих сонных ротозеев, этих детенышей, этих французских ублюдков! Никогда, проклятые, не сойдут с дороги!

— Я думаю, было бы не худо сломать себе ногу или что-нибудь вроде этого? Как ты на счет этого думаешь, Моща? — спросил пониженным тоном четвертый арестант.

— Нужно что-нибудь посерьезнее, чем сломанная нога, чтобы избавиться от дисциплинарного батальона, Гогенбек. Правда, конвойный? — сказал Хеппи.

Грузовик затарахтел дальше, затуманивая воздух пылью от золы и наполняя его зловонием отбросов. Эндрюс сразу заметил, что они едут по набережной. Нотр-Дам стоял весь розовый в туманном свете утра, цвета сирени в полном цвету. С минуту он глядел пристально на собор, а потом отвернулся. Он чувствовал себя далеким от этого, как человек, глядящий на звезды из колодца.

— Мой товарищ попал в Ливенуортс на пять лет,— сказал юноша, после того как они некоторое время сидели молча, прислушиваясь к звяканью ведер.

— Помогал тебе красть «форд», а? — спросил Хеппи.

— «Форд» — пустяки! Он продал поезд с амуницией. Он был железнодорожником. Но он был масоном, оттого и отделался только пятью годами.

— Я думаю, пять лет в Ливенуортсе — порядочная порция для всякого,— пробормотал Гогенбек, хмурясь.

Это был широкоплечий, смуглый человек, работавший всегда с низко опущенной головой.

— Мы не сталкивались с ним, пока не попали оба в Париж. Мы здорово кутнули там вместе в «Олимпии». Там-то они нас и подцепили. Посадили в Бастилию. Был кто из вас в Бастилии?

— Я был,— сказал Гогенбек.

— Не шутка, а?

— Боже мой! — воскликнул Гогенбек.

Лицо его побагровело от злости. Он отвернулся и стал смотреть на штатских, проворно сновавших по улицам в это раннее утро; на лакеев с засученными рукавами, мывших столы в кафе; на женщин, которые везли ручные тележки, наполненные разноцветными овощами.

— Я думаю, ни один из них не испытал того, что испытали мы, молодчики,— сказал Хеппи.— Лучше было бы, если бы война продолжалась, на мой взгляд. Они швырнули бы нас в траншеи. Это не так унизительно.

— Ну, ходи веселее! — закричал шофер, когда телега остановилась посреди грязного двора, заваленного кучами золы.— День еще не кончился. Еще пять машин надо привезти.

Конвойный стоял неподалеку с сердитым лицом, весь одеревеневший — он боялся, что поблизости могут быть офицеры. Арестанты начали выгружать содержимое ведер; их ноздри вдыхали зловонный запах гниения, между зубами хрустела зола.

Воздух в мрачной столовой барака был насыщен паром, шедшим из кухни, помещавшейся на конце здания. Люди стояли в ряд у стойки, протягивая свои манерки, куда кашевар выплескивал суп. Иногда кто-нибудь останавливался и заискивающим тоном выпрашивал порцию побольше. Они ели, скученные вместе, за длинными столами из грубых, выструганных досок, покрытых пятнами от постоянно проливавшегося жира и кофе и еще мокрых от небрежной уборки. Эндрюс сел на край скамейки, недалеко от двери, через которую проникал слабый свет сумерек.

Он ел медленно, сам удивленный тем, с каким удовольствием ест эту жирную, грубую пищу, и удовлетворением, наступившим у него, почти назло ему самому. Гогенбек сидел напротив него.

— Забавно,— сказал он Гогенбеку.— На самом деле это не так плохо, как я ожидал,

— А чего ты ожидал от дисциплинарного батальона? Черт! Человек может привыкнуть ко всему; это единственное, чему научишься в армии.

— Мне кажется, люди склонны скорее свыкнуться с какими угодно обстоятельствами, чем сделать попытку изменить их.

— Ты чертовски прав. Есть покурить?

Эндрюс протянул ему папиросу. Они встали и вышли из барака, держа манерки перед собой. Сумерки сгущались, когда они мыли свою посуду в лохани, наполненной жирной водой, в которой густо плавали остатки гущи. Гогенбек сказал вдруг, понизив голос:

— Но все это нагромождается одно на другое, товарищ, когда-нибудь наступит возмездие. Ты веришь в религию?

— Нет!

— Я тоже. Я происхожу от людей, которые сами сводили свои счеты. Так делали мой отец и дед. Человек не может питаться собственной желчью изо дня в день, изо дня в день...

— Боюсь, что может, Гогенбек! — перебил Эндрюс.

Они пошли по направлению к баракам.

— Нет, черт возьми! — громко воскликнул Гогенбек.— Доходишь до такой точки, когда ты уже не можешь питаться собственной желчью, когда это уже не приносит пользы. Тогда ты встаешь и сокрушаешь все на своем пути.

Понурив голову, он медленно вошел в барак. Эндрюс прислонился к стене и глядел на небо. Он безнадежно пытался сосредоточить свои мысли, связать воедино нити своей жизни в этот момент освобождения от кошмара. Через пять минут труба оглушит его, и он будет водворен в бараки. Ему пришел в голову один мотив; он забавлялся им с минуту, но вдруг, вспомнив что-то, постарался отделаться от него с дрожью отвращения.

Эта улыбка дарует вам радость,
Эта улыбка навеет печаль...

Было почти темно. Два человека медленно проходили мимо.

— Сержант, могу я поговорить с вами? — раздался голос.

Сержант что-то пробурчал.

— Мне кажется, что два молодчика собираются улизнуть отсюда.

— Кто? Если вы ошибаетесь, тем хуже для вас, помните это.

— Сюрлей и Ватсон. Я слышал, как они говорили об этом около уборной.

— Дурачье проклятое!

— Они говорили, что скорее умрут, чем вынесут эту жизнь.

— Они говорили это? Говорили?

— Не говорите так громко, сержант. Никто из ребят не должен знать, что я говорил с вами. Скажите, сержант,— голос сделался плаксивым,— не думаете ли вы, что я уже почти отслужил свой срок здесь?

— А я почем знаю? Это не мое дело!

— Но, сержант, я был писарем, когда я служил в полку. Вам не нужен человек в конторе?

Эндрюс прошел мимо них в барак. Тупое бешенство овладело им. Он снял платье и молча закутался в одеяло.

Гогенбек и Хеппи разговаривали за его койкой.

— Не беспокойтесь,— сказал Гогенбек,— кто-нибудь всыплет этому молодчику рано или поздно.

— Всыплет ему, как же! Люди так запуганы, что бросаются в сторону, когда им погрозишь пальцем. Дисциплина!

Эндрюс лежал молча, прислушиваясь к их разговору; все мускулы его болели от изнурительной работы целого дня.

— Они судили его военно-полевым судом, мне говорил один человек,— продолжал Гогенбек.— И что же, вы думаете, они с ним сделали? В отставку на половинном жалованье! Он был майором.

— Господи, если бы мне только удалось удрать из этой проклятой армии! Я был бы чертовски рад...— начал Хеппи.

Гогенбек перебил его:

— Так рад, что забыл бы грубое обращение и все неприятности и расхваливал бы всякому солдатское житье.

Эндрюс почувствовал, как насмешливые звуки трубы пронзили его уши. Голос надзирателя заревел с другого конца здания: «Тихо!» — и огни погасли. Уже слышно

было глубокое дыхание спящих. Эндрюс лежал без сна, уставившись в темноту, и тело его трепетало монотонным ритмом дневной работы. Ему казалось, что он еще слышит плаксивые ноты в голосе человека, говорившего с сержантом в сумерках за стеной барака.

— Неужели и я дойду до этого? — спросил он самого себя.

Эндрюс выходил из уборной, когда услышал чей-то робкий зов:

— Моща!

— Да? — откликнулся он.

— Подойди сюда, я хочу поговорить с тобой.

Это был голос Малыша. В зловонном сарае, служившем уборной, не было света. Снаружи доносилось тихое мурлыканье часового, ходившего взад и вперед перед дверью барака.

— Будем с тобой товарищами, Моща!

— Идет,— сказал Эндрюс.

— Скажи, как ты думаешь, каковы шансы на побег отсюда?

— Чертовски мало шансов,— сказал Эндрюс.— Обручем отсюда не выкатишься, а?

Они тихонько захихикали. Эндрюс положил руку на руку юноши.

— Малыш, это слишком рискованно. Я попал в это положение из-за того, что рискнул. У меня нет желания начать все сначала; а если тебя поймают, это дезертирство. Ливенуортс на двадцать лет или на всю жизнь. Это конец всего.

— Ну а какого черта сидеть здесь?

— Ну, отсюда они нас когда-нибудь выпустят.

— Шш...— Малыш быстро закрыл рукой рот Эндрюса.

Они стояли неподвижно, так что слышали биение своих сердец. Снаружи чьи-то быстрые шаги зашуршали по гравию. Часовой остановился и отдал честь. Шаги затихли в отдалении, и часовой снова замурлыкал.

— Они посадили двух молодцов в карцер на месяц за то, что они разговаривали, вот как мы теперь... в одиночку...— прошептал юноша.

— Но, Малыш, у меня сейчас не хватит мужества попробовать.

— Я уверен, что у тебя-то хватит, Моща. У нас с тобой больше мужества, чем у всех у них, взятых вместе. Боже мой, если у людей есть мужество, с ними нельзя

обращаться как с собаками. Видишь ли, если мне удастся когда-нибудь вырваться отсюда, я могу хорошо зарабатывать, составляя сценарии для кино. Я хочу добиться успеха в жизни, Моща.

— Но, Малыш, тебе нельзя будет вернуться в Штаты.

— Мне все равно. Весь свет не заключен в Америке. В Италии тоже ведь есть кино! Что, нет?

— Конечно, есть. Идем спать.

— Хорошо. Смотри же, мы с тобой теперь товарищи, Моща.— Эндрюс почувствовал пожатие руки юноши.

Эндрюс долгое время лежал без сна, в духоте и тьме, на самой нижней полке трехъярусных нар, прислушиваясь к храпу и дыханию спящих. Мысли беспорядочно мелькали в его голове, но в унылой безнадежности он мог только хмурить лоб, кусать губы и вертеться на скатанной шинели, которую он употреблял вместо подушки, с тупым вниманием прислушиваясь к глубокому дыханию людей, которые спали наверху и по бокам.

Когда он уснул, он увидел сон: они вдвоем с Женевьевой Род были в концертном зале Schola Cantorum; он безуспешно пробовал сыграть для нее какой-то мотив на скрипке — мотив, который он забыл, и от мучительных попыток вспомнить слезы струились у него из глаз. Потом он обнял Женевьеву за плечи и целовал ее, целовал до тех пор, пока не увидел, что он целует деревянную доску, на которой было нарисовано лицо с широким лбом и большими светло-карими глазами и тонкими, сжатыми губами, а в это время мальчик, который был в одно и то же время и Крисфилдом и Малышом, говорил ему, что он должен бежать, иначе его поймает военная полиция. Потом он сидел, застыв в холодном ужасе с бутылкой в руках, а в это время кто-то позади его страшным голосом пел очень громко:

Эта улыбка дарует вам радость,
Эта улыбка навеет печаль...

Труба разбудила его, и он вскочил так стремительно, что больно ударился головой о верхние нары. Он повалился на постель, морщась от боли, как ребенок. Но ему надо было отчаянно спешить, чтобы успеть одеться к перекличке.

С чувством облегчения он увидел, что завтрак еще не был готов; люди, ожидавшие в очереди около кухонного барака, притоптывали ногами и звенели манерками, продвигаясь в прохладном сумраке весеннего утра.

На телеге, отвозившей их на работу, Эндрюс и Малыш сидели бок о бок на тряском задке и пробовали говорить, покрывая голосами грохот колес.

— Нравится Париж? — спросил Малыш,

— Не в этой обстановке,— ответил Эндрюс.

— Один из молодцов сказывал, что ты очень хорошо говоришь по-французски. Я хочу, чтобы ты научил меня. Надо знать язык, если хочешь странствовать по стране.

— Но ты, должно быть, тоже знаешь немного.

— Спальный французский,— сказал Малыш, смеясь.

— Ну, что ж?

— Но если я захочу писать сценарии для итальянской фирмы, не могу же я писать двадцать раз подряд: «voulez-vous coucher avec moi»!

— Значит, тебе надо научиться по-итальянски, Малыш.

— И буду. Скажи, куда же, к черту, они везут нас сегодня?

— Мы едем в Пасси, на пристань, выгружать камень,— проговорил кто-то ворчливо.

— Не камень, а цемент... Цемент для стадиона, который мы преподносим французской нации. Вы разве не читали об этом?

— Я бы преподнес им хорошего пинка, а также и многим другим заодно.

— Значит, мы будем потеть целый лень, выгружая цемент, чтобы подарить этим проклятым лягушкам стадион,— пробормотал Гогенбек.

— Не это, так было бы что-нибудь другое.

— А разве мы не можем работать на Америку? — воскликнул Гогенбек.— Разве нельзя сделать так, чтобы пролитый нами пот принес пользу нам самим? Строить стадион? Вот черт!

— Вылезай! Живо! — раздался грубый голос с сиденья возницы.

Сквозь туман белой пыли Эндрюс время от времени мельком видел зеленовато-серую поверхность реки, с ее тупоносыми баржами и буксирными пароходами, над которыми, как султаны, развевались столбы дыма; по мостам оживленно сновали взад и вперед люди, идя по своим делам, идя туда, куда они хотели идти. Мешки с цементом были очень тяжелые, и непривычная работа причиняла мучительную боль в спине.

Едкая пыль забиралась под ногти, щипала глаза и губы. Все утро одна и та же мысль, как какой-то припев,

не выходила у него из головы: «Люди проводят всю жизнь, делая только это. Люди проводят всю жизнь, делая только это...» Когда он переходил по узкой доске с баржи на берег и обратно, он смотрел на черную массу воды, быстро текущей в море, и прилагал невероятные усилия, чтобы не поскользнуться. Он не знал, почему он это делал, так как другой половиной своего «я» он думал в это время о том, как хорошо было бы утонуть, забыть в вечном черном молчании безнадежную борьбу. Один раз он увидел Малыша, стоявшего перед дежурным сержантом в позе полного изнеможения, и встретился с молящим взглядом его голубых глаз, напоминавших взгляд ребенка.

Это зрелище позабавило его, и он сказал самому себе: «Если бы у меня были красные щеки и губы, как у купидона, я мог бы прожить всю жизнь при помощи моих голубых глаз» — и он представил себе Малыша в виде жирного, старого человека с лицом херувима, выходящего из белого лимузина — так, как это делают в кинематографе — и глядящего вокруг такими же кроткими, голубыми глазами. Но скоро он забыл все, кроме страдания, которое причинял ему тяжелый мешок с цементом, давивший ему на спину и бедра.

На телеге, отвозившей их домой обедать, среди потных людей, похожих от насевшей на них белой пыли на привидения, покрывавших охрипшими голосами грохот колес, Малыш, свежий и улыбающийся, подсел близко к Эндрюсу.

— Ты любишь купаться, Моща?

— Да. Я бы много дал, чтобы смыть эту цементную пыль,— апатично проговорил Эндрюс.

— Я один раз выиграл приз за плавание в Консе,— сказал Малыш.

Эндрюс не ответил.

— Ты был в плавательной команде или что-нибудь в этом роде, когда ходил в школу, Моща?

— Нет... А чудесно было бы погрузиться в воду. Я любил плавать в Чизвикской бухте по ночам, когда вода светится фосфорическим светом.

Вдруг Эндрюс встретился с устремленным на него взглядом голубых глаз Малыша, горевших от возбуждения.

— Боже мой, какой я осел,— пробормотал он.

Он почувствовал, что кулак Малыша тихонько толкает его в спину.

— Сержант говорил, что они заставят нас сегодня чертовски поздно работать! — громко сказал Малыш окружающим.

— Я помру, если это будет так,— проворчал Гогенбек.

— Что ты, слабосильный?

— Дело не в этом. Я мог бы носить эти проклятые мешки по два за раз, если бы захотел. Но от этой работы можно взбеситься, как черт... Как черт, правда, Моща? — Гогенбек повернулся к Эндрюсу и улыбнулся.

Эндрюс кивнул головой.

После двух или трех мешков, которые Эндрюс пронес в послеобеденное время, ему казалось, что следующий мешок будет последним, за который он в состоянии будет взяться. Его спина и бедра дрожали от изнурения; лицо и кончики пальцев щипала едкая цементная пыль.

Когда река стала окрашиваться пурпуром заката, он заметил, что двое штатских — молодые люди в желтых пальто, с тросточками — наблюдают, как работает команда.

— Они говорят, что они газетные репортеры и пишут о том, как быстро демобилизуется армия,— сказал один из работавших с оттенком уважения в голосе.

— Подходящее место выбрали.

— Скажи им, что мы отправляемся домой. Нагружаем свои пожитки на пароход.

Газетчики раздавали папиросы. Несколько человек окружили их. Один закричал:

— Честь имеем представиться: любимчики Першинга! Собственный его превосходительства дисциплинарный батальон.

— Нас так любят, что не могут отпустить нас домой.

— Проклятые ослы,— проворчал Гогенбек, проходя мимо Эндрюса с опущенными глазами.— Я мог бы порассказать им таких вещей, что у них бы в ушах зажужжало.

— Почему же не скажешь?

— А какая польза? Я не получил образования, чтобы разговаривать с такими господами.

Сержант, низенький, краснощекий человек с коротко подстриженными усами, подошел к группе людей, столпившихся вокруг репортеров.

— Идемте, товарищи, нам надо убрать до дождя чертовски много этого цемента,— сказал он мягким тоном.— Чем скорее мы уберем его, тем скорее отправимся домой.

— Послушай-ка этого ублюдка, как он сладко поет, когда есть посторонние,— проворчал Гогенбек, шагая с баржи с мешком цемента за спиной.

Малыш промчался мимо Эндрюса, не глядя на него.

— Делай то же, что я,— сказал он.

Эндрюс не обернулся, но сердце его учащенно забилось. Какой-то тупой ужас овладел им. Он напрасно пытался собрать всю силу воли, удержаться от приниженности; в памяти его вставала картина, как комната закачалась и поплыла перед его глазами, когда его ударил военный полицейский, и снова он услышал холодный голос лейтенанта: «Ну-ка, научите его отдавать честь!»

Время тащилось бесконечно.

Наконец, дойдя до конца пристани, Эндрюс увидел, что на барже больше не осталось мешков. Он сел на доску, слишком изнуренный, чтобы думать о чем-либо.

Голубовато-серая пыль покрывала все кругом. Мост Пасси казался пурпурным в огненных лучах заката.

Малыш сел позади него и обнял его за плечи трясущейся от возбуждения рукой.

— Конвойный смотрит в другую сторону. Они не хватятся нас, пока не будут садиться в телегу... Идем, Моща,— проговорил он тихим, спокойным голосом.

Держась за доску, он спустился в воду. Эндрюс соскользнул вслед за ним, с трудом сознавая, что делает. Ледяная вода, прикоснувшись к его телу, моментально вернула ему свежесть и силу. Когда он был отброшен огромным рулем баржи, он увидел Малыша, который держался за веревку. Они молча проплыли на другую сторону руля. Быстрое течение тянуло их, затрудняя движение.

— Теперь они не могут нас видеть,— проговорил Малыш сквозь стиснутые зубы.— Ты можешь сбросить башмаки и панталоны?

Эндрюс старался сбросить башмаки; Малыш помогал ему, придерживая его свободной рукой.

— У меня сняты,— сказал он.— Я все подготовил.— Он засмеялся, хотя зубы его стучали.

— Кончено. Я разорвал шнурки,— сказал Эндрюс.

— Ты умеешь плавать под водой?

Эндрюс кивнул головой.

— Нам нужно доплыть вон до тех барж, что по другую сторону моста. Люди с баржи спрячут нас.

— Почему ты знаешь?

Малыш исчез.

Эндрюс с минуту колебался, потом погрузился в воду и поплыл, борясь с течением изо всех сил.

Вначале он ощущал в себе силу и радость, но скоро почувствовал, что ледяная вода сковывает его; руки и ноги, казалось, закоченели. Он боролся не столько с течением, сколько с охватывающим его параличом; он боялся, что вот-вот его руки и ноги одеревенеют. Он вынырнул на поверхность и вдохнул в себя воздух. В течение секунды он мельком видел какие-то фигуры, крошечные, как игрушечные солдатики, свирепо жестикулирующие на палубе баржи. В воздухе щелкнул выстрел. Он нырнул снова, без всякой мысли, как будто тело его действовало независимо от ума.

Когда он вынырнул во второй раз, его глаза были мутны от холода. Во рту чувствовался вкус крови. Он лег на спину. На мосту горели огни.

Течение пронесло его мимо одной баржи, потом мимо второй. Им овладела уверенность в том, что он утонет.

Какой-то голос, казалось, странно всхлипывал ему в уши: «Итак, Джон Эндрюс утонул в Сене, утонул в Сене, в Сене...»

Потом он в бешенстве стал бороться с волнами, которые тянули его в стороны и вниз.

Черный бок баржи плыл мимо него по течению с молниеносной быстротой.

— Как быстро идет баржа,— подумал он.

Потом вдруг он заметил, что держится за веревку, что его плечи ударяются о борт маленькой лодки, а прямо перед ним на фоне пурпурного неба возвышается руль баржи. Сильная теплая рука схватила его сзади за плечо и стала поднимать все выше и выше над бортом лодки, причиняя боль его онемевшим рукам.

— Спрячьте меня, я дезертир,— повторил он несколько раз по-французски.

Загорелое, красное лицо с щетинистым седым подбородком, круглое, обыкновенное лицо, склонилось над ним, окруженное красноватым туманом.

II

— Чистенький-то какой! Какая у него белая кожа!

Женские голоса резко звучали где-то в тумане. Он был завернут в одеяло, которое так нежно прикасалось к коже. Ему было очень тепло, но он был в каком-то оце-

пенении. Где-то в глубине его мыслей какое-то черное насекомое, вроде паука, пыталось добраться до него, пробуя проложить себе дорогу сквозь красноватую пелену оцепенения. Спустя долгое время ему удалось перевернуться набок, и он огляделся.

— Лежи смирно! — раздался снова пронзительный голос.

— А другой? Вы видели другого? — спросил он сдавленным шепотом.

— Да, все в порядке. Я сушу их на печке,— раздался второй женский голос, низкий и ворчливый, похожий на мужской.

— Мама сушит ваши деньги у печки. Они все целы. Как они богаты, эти американцы!

— Подумать только, что я чуть не выбросила их вместе со штанами за борт,— снова заговорила вторая женщина.

Джон Эндрюс стал осматриваться. Он находился в темной низкой каюте. Позади него, там, откуда раздавались голоса, мерцал желтоватый свет.

Огромные тени растрепанных голов двигались на потолке. В душном воздухе каюты чувствовалось тепло кухни. Он слышал ласковое шипение жира на сковородке.

— Но вы разве не видели Малыша? — спросил он по-английски, стараясь собраться с мыслями и думать последовательно.

Потом он заговорил по-французски самым естественным тоном:

— Со мной был другой.

— Мы не видели никого. Розалина, спроси старика,— сказала старшая из женщин.

— Нет, он никого не видел! — раздался пронзительный голос девушки.

Она подошла к кровати и неловким жестом закутала Эндрюса в одеяло. Взглянув на нее, он мельком заметил выпуклость ее груди и крупные зубы, сверкнувшие при свете лампы, и смутно различил спрятавшуюся в тени копну спутанных волос, торчавших, как змеи.

— Как он хорошо говорит по-французски,— сказала она, наклоняясь над ним.

Тяжелые шаги раздались по каюте; старшая из женщин подошла к постели и вытянула голову.

— Ему лучше,— сказала она с видом знатока.

Это была широкая женщина, с широким плоским лицом и с расплывшимся телом, закутанным в шали. У нее были косматые брови, густые свисавшие вниз седые усы

и несколько щетинистых волосков на подбородке. Голос у нее был низкий и ворчливый, который, казалось, исходил из самой глубины ее огромного тела.

Где-то проскрипели шаги, и старик посмотрел на него сквозь очки, сидевшие на кончике его носа. Эндрюс узнал неправильное лицо, покрытое красными прыщами и бородавками.

— Я вам очень благодарен,— сказал он.

Все трое молча смотрели на него некоторое время. Затем старик вынул из кармана газету, бережно развернул ее и помахал перед глазами Эндрюса. При слабом свете Эндрюс разобрал название: «Libertaire»[1].

— Вот причина,— сказал старик, пристально глядя на Эндрюса сквозь очки.

— Я сочувствую социалистам,— сказал Эндрюс.

— Социалисты — бездельники,— пробрюзжал старик, и каждая бородавка на его лице, кажется, стала еще краснее.

— Но я очень симпатизирую и анархистам,— продолжал Эндрюс, чувствуя, как в нем оживает и потом снова гаснет веселое настроение.

— Ваше счастье, что вы ухватились за мою веревку, а не попали на соседнюю баржу. Они вас выдали бы наверняка. Они роялисты, эта сволочь!

— Надо дать ему что-нибудь поесть, поспеши, мама... Не беспокойся, он заплатит. Не правда ли, мой маленький американец?

Эндрюс кивнул головой.

— Сколько вы попросите,— сказал он.

— Нет, если он говорит, что товарищ, он не будет платить ни одного су! — пробурчал старик.

— Там увидим! — воскликнула старуха, с сердитым свистом втягивая в себя воздух.

— Только потому, что провизия так дорога теперь,— раздался голос девушки.

— О, я заплачу за все, что съем,— проговорил с раздражением Эндрюс, снова закрывая глаза.

Долгое время он лежал на спине без движения. Рука, просунувшаяся между его спиной и подушкой, приподняла его. Он сел. Розалина держала перед ним чашку с бульоном, от которого ему в лицо шел пар.

— Скушай-ка это,— сказала она.

Он смотрел, улыбаясь, в ее глаза.

---

[1] «Анархист» (*фр.*).

Ее непокрытые волосы были гладко причесаны. Ярко-зеленый попугай с красными крапинками на крыльях качался, стараясь удержать равновесие, на ее плече и смотрел на Эндрюса сердитыми глазами, похожими на драгоценные камни.

— Он ревнивый, этот попка,— сказала Розалина с резким смешком.

Эндрюс взял чашку обеими руками и отпил немного горячего, как кипяток, бульона.

— Очень горячо,— сказал он, откидываясь назад на руку девушки.

Попугай прокричал какую-то фразу, которую Эндрюс не понял. Эндрюс услышал голос старика, который ответил попугаю откуда-то позади него:

— Черт возьми!

Попугай прокричал опять. Розалина смеялась.

— Это старик научил его,— сказала она.— Бедный Коко, он не знает, что говорит.

— А что он говорит? — спросил Эндрюс.

— «Буржуа на фонари, черт возьми»!

— Это из одной песни,— сказала Розалина.— О, он у меня умница, этот Коко.

Розалина стояла, сложив руки, около койки. Попугай вытянул шею и терся ею о ее щеку, закрывая и открывая свои глаза, похожие на драгоценные камни. Девушка сложила губы, как для поцелуя, и пробормотала сонным голосом:

— Ты меня любишь, Коко? Правда, Коко? Коко хороший.

— Могу я получить еще что-нибудь? Я страшно голоден,— сказал Эндрюс.

— Ах, я и забыла! — воскликнула Розалина, убегая с пустой чашкой.

Через минуту она вернулась с миской, наполненной тушеным мясом с картошкой.

Эндрюс механически съел и протянул миску обратно.

— Благодарю вас,— сказал он,— мне хочется спать.

Он устроился на постели. Розалина накрыла его одеялом и подоткнула концы под плечи. Ее рука с минуту как будто помедлила, когда была около его щеки. Но Эндрюс уже снова впал в забытье; он ничего не чувствовал, кроме тепла, которое разлилось по его телу после еды и оцепенения в руках и ногах.

Когда он проснулся, желтый свет сменился серым, и какой-то плещущий звук смутил его. Он долгое время

лежал, прислушиваясь и раздумывая, что бы это могло быть. Наконец с внезапной вспышкой радости пришла мысль, что барка, очевидно, двигается.

Он лежал очень спокойно, на спине, глядя вверх на слабый серебристый свет на потолке, ни о чем не думая, с одним смутным страхом, таящимся в глубине мозга, что кто-нибудь войдет к нему и станет его расспрашивать.

Спустя долгое время он стал думать о Женевьеве Род. Он вел с ней длинный разговор о своих музыкальных занятиях; в его воображении она говорила ему, что он должен закончить «Царицу Савскую»; она покажет ее месье Жибье, который был большим другом какого-то устроителя концертов; он мог бы ее исполнить.

Как много прошло времени с тех пор, как они говорили об этом! В его воображении пронеслась картина, как они с Женевьевой стояли плечом к плечу и смотрели на собор в Шартре, который гордо возвышался над беспорядочно разбросанными крышами города своей строгой башней и пестрыми башенками с большими окнами в виде розеток. Воспоминания неумолимо влекли его вперед, воскрешая момент за моментом, вплоть до того памятного дня; он весь скорчился от стыда и возмущения. Милосердный Боже! Неужели ему суждено пройти через всю жизнь с этим воспоминанием? «Научите его, как надо отдавать честь»,— сказал офицер, и Хендсом подошел и ударил его. Неужели ему суждено пройти всю жизнь с этим воспоминанием?

— Мы привязали к вашей форменной одежде несколько камней и выбросили ее за борт,— сказала Розалина, тряся его за плечо, чтобы привлечь внимание.

— Это была хорошая мысль.

— Вы будете вставать? Скоро пора кушать. Как вы спали?

— Но мне нечего надеть,— сказал со смехом Эндрюс. помахивая голой рукой из-под одеяла.

— Подождите, я найду что-нибудь у старика. Скажите, у всех американцев такая белая кожа? Посмотрите! — Она положила свою смуглую руку с грязными, обломанными ногтями на руку Эндрюса, белую, покрытую редкими светлыми волосками.

— Это потому, что я блондин,— сказал Эндрюс.— Среди французов много блондинов, не правда ли?

Розалина убежала, хихикая, и через минуту вернулась обратно; она принесла штаны из полосатого бумажного

бархата и рваную фланелевую рубашку, от которой несло трубочным табаком.

— Это сойдет сейчас,— сказала она.— Сегодня достаточно тепло, хотя на дворе только апрель. Вечером мы купим вам какую-нибудь одежду и башмаки. Куда вы направляетесь?

— Ей-богу, не знаю.

— Мы идем в Гавр за грузом.

Она подняла руки к голове и стала поправлять свои непокрытые рыжеватые волосы.

— Ах, мои волосы! — проговорила она.— Вы знаете, в этом виновата вода. Невозможно иметь приличный вид на этой грязной барже. Скажите, американец, почему бы вам не остаться с нами на некоторое время? Вы можете помогать старику управлять баржей.

Он вдруг заметил, что ее глаза глядят на него с трепетом страсти.

— Я не знаю, что делать,— проговорил он беззаботно.— Не знаю, не будет ли опасно показаться на палубе.

Она повернулась и пошла вверх по лестнице. Эндрюс последовал за ней.

— А, вот и товарищ! — воскликнул старик, напирая изо всех сил на длинную рулевую балку.—Идите сюда и помогите мне.

Баржа была последней из ряда четырех судов, образовавших кривую линию в изгибе реки.

Эндрюс наполнил легкие сырым речным воздухом и навалился на руль рядом со стариком. Он стоял у руля, в то время как все другие спустились вниз обедать. Серебристая вода была испещрена бледно-зелеными пятнами. По обе стороны бежали голубовато-зеленые берега, поросшие молодыми тополями. Небо было блестящего серого цвета и все усеяно пятнами, как птичье яйцо. Вода шипела у руля. Все это успокаивало его, как глубокий сон. И, однако, все это казалось только завесой, скрывающей другой, реальный мир, в котором люди стояли бесконечными рядами и маршировали шагами одинаковой длины по засеянному полю, носили одинаковую одежду и одинаково раболепствовали перед одной и той же иерархией лакированных поясов и лакированных обмоток и фуражек с твердыми козырьками, имевших пребывание в обширных канцеляриях, набитых личными карточками и картонными каталогами,— мир, наполненный маршировкой, в котором холодные голоса произносят: «Научите его, как нужно отдавать честь!»

Ум Эндрюса, как запутавшаяся в тенетах птица, старался освободиться от этого видения. Он стал думать о столе в своей парижской комнате, с кипой нотной бумаги, и почувствовал, что ему не нужно ничего на свете, кроме возможности работать. Безразлично, что ожидает его, только бы он имел время соткать узор из спутанных обрывков музыкальных звуков, которые наполняли его, как кровь наполняет сосуды.

Он стоял, навалившись на руль, глядя на голубовато-зеленые тополя, проплывавшие мимо, отражавшиеся то тут, то там в зеркальной поверхности реки, чувствуя, как сырой, речной ветер играет его рваной рубашкой,— и без единой мысли в голове.

Через некоторое время старик вышел из каюты с покрасневшим лицом, пуская облака дыма из своей трубки.

— Ну, молодой человек, идите вниз есть,— сказал он.

Эндрюс лежал на палубе, растянувшись на животе и опираясь подбородком на руки.

Баржа была причалена к берегу в числе многих других барж. Позади него маленькая косматая собачонка свирепо лаяла на усатого ублюдка, стоявшего на берегу. Было почти темно, и сквозь перламутровый туман реки светились красные круги от огней в тавернах. Молодой месяц, окутанный дымкой, плыл позади тополей. В круг его безнадежных мыслей вкралось воспоминание о Малыше. Он продал «форд» за пятьсот франков, сошелся с человеком, укравшим поезд с амуницией, и хотел писать сценарии для итальянских фильмов. Никакая война не может так принизить человека, как все это. Эндрюс улыбнулся, глядя в черные воды реки. Странно, что Малыш, может быть, умер, а он, Джон Эндрюс, жив и свободен.

«Во имя Бога, будь же мужчиной»,— сказал он самому себе и встал на ноги.

У дверей каюты Розалина играла с попугаем.

— Поцелуй меня, Коко,— говорила она разнеженным голосом,— только один маленький поцелуй. Только один маленький поцелуй для Розалины, бедной маленькой Розалины.

Попугай, которого Эндрюс едва мог различить в сумерках, наклонился к ней, распустил свои перья и издавал короткие клохчущие звуки.

Взгляд Розалины упал на Эндрюса.

— Ах, а я думала, что вы пошли пьянствовать со стариком! — воскликнула она.

— Нет, я оставался здесь.

— Вам нравится эта жизнь?

Розалина посадила попугая обратно на его жердочку; он раскачивался из стороны в сторону, протестующе крича: «Буржуа на фонари, черт возьми!» Они оба засмеялись.

— О, это, наверно, чудесная жизнь! Баржа кажется раем после армии.

— Но они хорошо платят вам, американцам?

— Семь франков в день.

— Это роскошно!

— И круглые сутки тебя муштруют.

— Но у вас нет никаких расходов... это чистая прибыль... Вы, мужчины, очень странные. Старик тоже такой. Нам здесь хорошо вдвоем, не правда ли, Жан?

Эндрюс не ответил. Он думал о том, что сказала бы Женевьева Род, если бы узнала, что он дезертир.

— Я ненавижу ее... Она такая грязная, холодная и жалкая зимой,— продолжала Розалина.— Я была бы рада увидеть их на дне реки, все эти баржи... А парижские женщины... Вы хорошо проводили с ними время?

— Я знал только одну. Я очень мало знаю женщин.

— И все же любовь прекрасная вещь, не правда ли?

Они сидели на носу баржи на перилах. Розалина села с ним рядом так, что нога ее вплотную касалась ноги Эндрюса.

Образ Женевьевы Род все более и более оживал в его воображении. Он вспоминал все сказанные ею слова, интонации ее голоса, неумелую манеру разливать чай, ее светло-карие глаза, широко открытые на мир, как у женщины на расписанной мумии из могилы в Фаюме.

— Мать сидит тут у одной старухи. Они большие друзья. Она вернется домой не раньше, как через два часа,— сказала Розалина.

— Она принесет мне костюм, да?

— Но вы хороши и в этом.

— Ведь это платье вашего отца.

— Так что же?

— Я скоро должен вернуться в Париж. Мне нужно там кое-кого повидать.

— Женщину?

Эндрюс кивнул головой.

— Она не так уж плоха, эта жизнь на барже. Я только одинока здесь, потому что мне надоели старики. Поэтому я говорю о ней с таким отвращением. Мы могли бы славно проводить время вдвоем, если бы вы остались у нас на некоторое время.

Розалина склонила голову ему на плечо и неловко положила свою руку на его ладонь.

— Какие холодные эти американцы,— пробормотала она, лениво усмехаясь.

Эндрюс чувствовал, как ее волосы щекочут его щеку.

— Нет, по чести, на барже живется недурно. Единственное, что на реке нет никого, кроме стариков. Это не жизнь — быть все время со стариками... Я хочу пользоваться молодостью.

Она прижалась лицом к его щеке. Он мог чувствовать на своем лице ее горячее дыхание.

— В конце концов, так приятно дремать летом на палубе, такой теплой от солнца, и видеть, как деревья, поля и маленькие домики плывут мимо по обеим сторонам реки... Если бы только не было так много стариков... Все молодые люди ушли в города. Я ненавижу стариков — они такие грязные и неповоротливые. Мы не должны губить свою молодость, не правда ли?

Эндрюс встал.

— В чем дело? — резко воскликнула она.

— Розалина,— проговорил Эндрюс тихим, мягким тоном,— я могу думать только о том, чтобы уехать в Париж.

— О, парижская женщина,— пренебрежительно промолвила Розалина.— Но сейчас в чем же дело? Ее ведь нет здесь сейчас.

— Я не знаю... Может быть, я никогда не увижу ее снова,— проговорил Эндрюс.

— Вы глупы. Вы должны наслаждаться в этой жизни, когда представляется случай. К тому же вы дезертир. Они во всякую минуту могут поймать вас и расстрелять.

— О, я знаю это, вы правы. Вы правы. Но я не из таких людей. Вот и все.

— Она, должно быть, очень любит вас, ваша маленькая парижанка?

— Я никогда не прикасался к ней.

Розалина откинула голову назад и расхохоталась.

— Но ведь вы не больны! Нет? — воскликнула она.

— Может быть, я очень живо все вспоминаю — вот и все... Во всяком случае, я дурак, Розалина, потому что вы — хорошенькая девушка.

На доске, соединявшей баржу с берегом, послышались шага. С шалью на голове и с большим узлом под мышкой старуха шла к ним, тяжело дыша от одышки. Она смотрела то на одного, то на другого, стараясь рассмотреть в темноте их лица.

— Это опасно... так... молодость...— бормотала она среди приступов одышки.

— Нашли мне костюм? — спросил Эндрюс.

— Да. Из ваших денег осталось сорок пять франков; я вычла за еду и все остальное. Вы согласны?

— Очень вам благодарен за хлопоты.

— Не стоит благодарности, вы заплатили за них,— сказала старуха; она передала ему узел.— Здесь ваше платье и сорок пять франков. Если хотите, я скажу вам точно, сколько стоит каждая вещь.

Надевая новый непривычный костюм, он почувствовал вдруг прилив силы и бодрости. Старуха купила ему штаны из бумажного бархата, дешевые матерчатые башмаки, синюю бумажную рубашку, шерстяные носки и подержанный люстриновый пиджак. Когда он вышел на палубу, она поднесла фонарь, чтобы оглядеть его.

— Разве не хорошо он выглядит? Совершенный француз,— сказала она.

Розалина отвернулась, ничего не ответив. Немного погодя она взяла жердочку и унесла вниз сонно качавшегося на перекладинке попугая.

— Буржуа на фонари, черт возьми! — раздался голос старика с берега.

— Он пьян как свинья,— проворчала старуха.

На одном конце доски показалась качающаяся тень, стоявшая в полосе света, лившегося из домов за тополями.

Эндрюс протянул руку, чтобы поддержать старика, когда он всходил на баржу.

Старик прислонился к каюте.

— Не кричи на меня, дорогая,— говорил он, повиснув одной рукой на шее Эндрюса, а другой неуверенно махая в сторону старухи.— Я нашел товарища для маленького американца.

— Что такое? — сказал резко Эндрюс. Его губы стали сразу сухими от страха. Ногти его впились в холодные ладони рук.

— Я нашел для вас другого американца,— сказал старик значительным тоном.— Вот он идет.

Вторая тень показалась на конце сходней.

— Буржуа на фонари, черт возьми! — воскликнул старик.

Эндрюс осторожно отошел на другую сторону баржи. Все мускулы его дрожали. Суровый голос в его душе твердил ему: «Утопись, утопись! Тогда они не поймают тебя». Человек стоял на конце доски. Эндрюс различил в лучах света, горевшего позади тополей, военную форму. «Боже мой, если бы только у меня был револьвер»,— думал он.

— Где же ты, товарищ? — послышался голос американца.

Человек двинулся к нему через палубу. Эндрюс стоял, и каждый его мускул дрожал.

— Ну! Эге! Вы сняли форму? Я ведь не полевой жандарм! Руку! — Он протянул свою.

Эндрюс нерешительно подал руку, не трогаясь со своего места у борта.

— Видишь ли, товарищ, это было чертовски глупо с твоей стороны снять форму. Ты не можешь ее достать? Если они поймают тебя в таком виде, ты можешь заплатить своей головой, мой мальчик.

— Я не могу ничего сделать. С этим уже кончено.

— Черт, ты все думаешь, что я из полевой жандармерии? Клянусь, что нет. Может быть, ты сам жандарм? Боже мой, это ад — такая жизнь. Никто никому не верит.

— Ты из какой части?

— Я пришел предупредить тебя: этот старый лягушатник налимонился в кабачке и стал болтать, что он-де анархист и все такое, и у него на барже прячется дезертир-американец, тоже анархист... Ну, я сказал себе: «Этот молодец пропадет ни за понюшку табаку». Я стал поддакивать старой лягушке и навязался идти с ним: повидать, мол, хочу товарища. Ну-с, а теперь я полагаю, нам лучше обоим будет убраться поскорее из этого ковчега.

— Ясное дело! Мне очень жаль, что я был так подозрителен. Я обалдел от страха, когда увидал тебя на сходнях.

— Но зачем ты снял форму?

— Пойдем, по дороге обсудим все. Я тебе расскажу, как это было.

Эндрюс пожал руки старику и старухе. Розалина скрылась.

— Спокойной ночи! Благодарю вас! — сказал он и пошел за американцем по сходням.

Когда они шли по дороге, они слышали, как старик орал во все горло: «Буржуа на фонари, черт возьми!»

— Меня зовут Эдди Чемберс,— сказал американец.

— А меня — Джон Эндрюс.

— Как давно ты убежал?

— Два дня.

Эдди свистнул.

— Я удрал из дисциплинарного батальона в Париже. Они поймали меня в Шартре без паспорта.

— Ну а я уже больше месяца. Ты был в пехоте?

— Да. Я был в университетской команде в Париже, когда меня взяли. Но я не имел возможности объяснить-ся. Мне не дали сказать ни одного слова. Меня пригнали в батальон без всякого суда. Был когда-нибудь в дисцип-линарке?

— Нет, славу Богу, они пока меня не сцапали.

Они быстро шли по прямой дороге, пересекавшей равнину, под усыпанным звездами небом.

— Вчера было восемь недель, как я в отсутствии. Что ты на это скажешь? — сказал Эдди.— Видишь ли, дело было так. Часть, в которой я был, отправили домой, когда я лежал в госпитале, а проклятые черти записали меня в класс А и хотели послать в оккупационную армию. Боже мой, я чуть не сдох от злости: попасть в новую часть, где я никого не знаю, когда все мои товарищи в это время дуют через океан домой, с оркестрами, с комитетами для их приема, с девушками, награждающими их поцелуями и всякой всячиной... Куда ты направляешься?

— В Париж.

— Ну, я тебе не попутчик. Рискованно.

— Но у меня там есть друзья. Я там могу достать денег.

— А вот у меня нет ни одного друга на всем свете... Я жалею, что не пошел в эту проклятую оккупационную армию.

— Чем ты занимался дома?

— Плотник.

— Но, чудак, с таким ремеслом ты повсюду можешь иметь заработок.

— Ты чертовски прав, мог бы, если бы мне не прихо-дилось прятаться в норе, как кролику. Если бы я мог по-пасть в страну, где мог бы ходить свободно, как человек, я не попал бы в такое проклятое положение. Если армия когда-нибудь уйдет отсюда, а с ней вместе и военная по-лиция, я смогу заняться работой в каком-нибудь малень-ком городишке. Я говорю довольно хорошо. Я мог бы жениться на французской девушке и стать настоящим лягушатником. После всего, чем меня угостили в армии,

я не хочу больше иметь ничего общего с проклятой Америкой. Демократия! — Он отхаркался и сердито сплюнул на дорогу.

Они продолжали путь молча.

Эндрюс глядел на небо, выискивая среди сверкающего множества звезд знакомые созвездия.

— Почему ты не попробуешь пробраться в Испанию или Италию? — спросил он через некоторое время.

— Не знаю языка. Нет, я отправлюсь в Шотландию.

— А что ты там будешь делать?

— Почем я знаю! Буду жить, как сумею. Что может делать человек, когда он не смеет нос высунуть на улицу?

— Во всяком случае, ты чувствуешь, что можешь сам располагать собой! — пылко воскликнул Эндрюс.

— Подожди, пока не пробудешь месяца два в таком положения, мальчик, и ты будешь думать так же, как я... Армия — это ад, пока в ней находишься; но это ад в тысячу раз худший, если ты ушел из нее незаконным способом.

— Однако уже поздно...

— Надо найти стог сена для ночлега...

— Все было бы иначе, если бы у меня не было там друзей,— внезапно высказался Эндрюс.

— Спутался, видно, с девушкой? — спросил с иронией Эдди.

— Да. Дело в том, что мы очень хорошо ладили друг с другом, помимо всего остального.

Эдди фыркнул.

Они шли быстро и долго не говорили ни слова; шаги их звонко раздавались по твердой дороге, небесный купол сиял над их головами. Из канав раздавались пронзительные монотонные голоса жаб.

В первый раз за все эти месяцы Эндрюс почувствовал, как им овладевает радостная жажда приключений. Ритм трех зеленых всадников, который должен быть прелюдией к «Царице Савской», проносился в его голове.

— Но, Эдди, это удивительно. Ведь мы одни среди целого мира! — произнес он пылко.

— Подожди,— сказал Эдди.

Когда Эндрюс проходил мимо военного полицейского на вокзале Сен-Лазар, у него руки похолодели от страха. Полицейский не смотрел на него. Эндрюс стоял на многолюдном тротуаре недалеко от вокзала, уставившись глазами на зеркало в окне магазина. Небритый, в клетча-

той кепке, надетой набекрень, и в бархатных панталонах, он был похож на молодого рабочего, который уже месяц не имеет работы.

— Да, одежда изменяет человека,— сказал он самому себе.

Он улыбнулся при мысли, как был бы шокирован Уолтерс, если бы его обрядили в этот смешной наряд, и стал не спеша бродить по улицам Парижа. Все звенело и суетилось здесь в это раннее утро, из каждого кафе несся аромат горячего кофе, а свежий хлеб дымился в окнах булочных. У него еще было в кармане три франка. В одной из боковых улиц запах жареного кофе привлек его в маленький бар. Несколько человек горячо обсуждали что-то на одном конце бара. Один из них обернул к нему красное лицо с усами, как из пакли, и сказал:

— А ты? Будешь бастовать первого мая?

— Я уже бастую! — ответил Эндрюс со смехом.

Человек заметил его акцент, проницательно посмотрел на него и вернулся к разговору, понизив голос. Эндрюс выпил свой кофе и оставил бар со стесненным сердцем. Он не мог удержаться, чтобы не оглядываться время от времени назад,— он хотел убедиться, что за ним не идут по пятам. На углу он остановился, сжав в кулак руку, и на секунду прислонился к стене дома.

— Что с твоими нервами? Что с твоими нервами? — говорил он самому себе.

Он сразу зашагал, полный горькой решимости не оборачиваться больше. Он пробовал занять свой ум различными планами. Нужно сообразить, что ему делать. Во-первых, он должен пойти в свою комнату и найти старого Гэнслоу и Уолтерса. Потом он пойдет к Женевьеве. Потом он будет работать, работать, забудет обо всем за работой, до тех пор пока армия не уйдет в Америку и на улице не будет больше военных. А что касается будущего, то что ему заботиться о будущем?

Когда он повернул за угол знакомой улицы, на которой была его комната, ему пришла в голову мысль: предположим, что он найдет жандарма, ожидающего его там. Он сердито отбросил ее и быстро зашагал по тротуару, догоняя какого-то солдата, который шел тяжелой походкой по тому же направлению, засунув руки в карманы и опустив глаза в землю.

Эндрюс остановился, когда уже перегнал солдата, и обернулся. Человек поднял глаза. Это был Крисфилд.

Эндрюс протянул руку. Крисфилд с жаром схватил ее и долго тряс.

— Я думал, что это француз, Энди... Я думал, ты уволился. Боже, я так рад...

— Я очень рад, что похож на француза. Долго ты был в отпуске, Крис?

Две пуговицы спереди у мундира Крисфилда были оторваны; на лице были грязные полосы, а обмотки его были покрыты грязью. Он с серьезным выражением в глазах взглянул на Эндрюса и покачал головой.

— Нет. Я удрал, Энди,— сказал он глухим голосом.

— С каких пор?

— Уже две недели. Я расскажу тебе об этом, Энди. Я шел повидаться с тобой. Я совсем разорился.

— Ну ничего, завтра я достану денег... Я тоже не в армии.

— Что ты хочешь сказать?

— Я не уволен. Я покончил со всем. Я дезертировал.

— Проклятье! Любопытно, что мы с тобой оба это сделали. Но на кой черт ты это сделал?

— О, это очень длинная история, чтобы здесь рассказывать. Пойдем ко мне.

— Там могут быть люди. Был когда-нибудь у Ходи?

— Нет.

— Я там остановился. Там есть еще молодцы из наших... Ходя держит кабачок.

— Где это?

— Позади сада, знаешь, в котором животных показывают. Улица Пти-Жардэн, восемь.

— Смотри же, мы встретимся там с тобой завтра утром. Я принесу немного денег.

— Я буду ждать тебя, Энди, в девять. Но ты не попадешь туда без меня — Ходя очень боится штатских.

— Я думаю, было бы совершенно безопасно и тебе прийти в мою квартиру.

— Нет, теперь я хочу убраться к черту отсюда.

— Но, Крис, зачем ты дезертировал?

— Я и сам не знаю... Один молодец из вашей парижской команды дал мне твой адрес.

— Но, Крис, они ничего не говорили ему обо мне?

— Нет, ничего.

— Это любопытно... Итак, Крис, я буду там завтра.

Они нервно пожали друг другу руки.

— Слушай, Энди,— сказал Крисфилд, продолжая держаться за руку Эндрюса.— Я пошел в дезертиры, потому что сержант... Будь он проклят, это лежало на мне такой тяжестью все эти дни! Сержант знает...

— Что ты хочешь сказать?

— Я говорил тебе об Андерсоне... Я знаю, что ты не говорил никому, Энди.

Крисфилд отпустил руку Эндрюса и неожиданно как-то косо посмотрел ему в лицо. Потом продолжал сквозь стиснутые зубы:

— Клянусь Богом, я не говорил ни одной живой душе... А сержант из роты Д знает...

— Ради Бога, Крис, не распускай так свои нервы.

— Я не распускаю нервы. Я говорю тебе, что он знает.

— Видишь ли, Крис, нельзя так стоять на улице и разговаривать. Это небезопасно.

— Но, может быть, ты в состоянии мне посоветовать, что делать. Подумай, Энди. Может быть, до завтра ты что-нибудь придумаешь, как нам быть... Прощай!

— Ах, господин Андре! Батюшки, какой вы странный, как забавно вы выглядите в этом костюме!

Привратница улыбалась, глядя на Эндрюса из своей норы под лестницей. Она сидела с вязаньем на коленях. Голова ее была закутана в черный платок,— маленькая старушка с носом, похожим на клюв птицы, и глазами, потонувшими в сети мелких морщинок, как глаза обезьяны.

— Ничего не поделаешь — в том городе, где я демобилизовался, я не смог достать ничего другого,— запинаясь, пробормотал Эндрюс.

— А, вы демобилизовались? Так вот почему вы так долго отсутствовали. Месье Вальтер сказал, что он не знает, где вы... Так-то лучше, не правда ли?

— Да,— сказал Эндрюс и начал подниматься по лестнице.

— Месье Вальтер как раз дома,— продолжала старуха ему вслед.— А вы приехали как раз к первому мая!

— Ах да, забастовка,— сказал Эндрьс, остановившись на полдороге.

— Это будет ужасно,— сказала старушка.— Я надеюсь, что вы не выйдете из дому. Молодые люди так любят всякие приключения! О, все ваши друзья беспокоились, почему вы так долго не возвращаетесь.

— Серьезно? — сказал Эндрюс, продолжая подниматься.

— До свиданья, месье Андре!

— До свиданья, мадам!

III

— Нет, ничто не заставит меня теперь вернуться. Не стоит и говорить об этом.

— Но ты сумасшедший, любезный мой. Ты сумасшедший. Один человек не может бороться против целой системы. Правда, Гэнслоу?

Уолтерс говорил горячо. Гэнслоу, принужденно сидевший на кончике стула со сжатыми губами, кивнул головой. Эндрюс, растянувшийся во весь рост на кровати, лежал в неосвещенной части комнаты.

— По чести, Энди,— сказал Гэнслоу со слезами в голосе.— Я думаю, тебе лучше поступить так, как говорит Уолтерс. Нечего героя разыгрывать.

— Я вовсе не герой, Гэнни! — воскликнул Эндрюс, садясь на постель. Он поджал под себя ноги, как портной, и продолжал спокойным тоном: — Видишь ли... Это просто вопрос личного характера. Я дошел до такого состояния, когда мне все совершенно безразлично. Меня не интересует, убьют меня или я доживу до восьмидесяти лет... Я устал от беспрерывных приказаний, от муштровки. Вот и все. Ради Бога, поговорим о чем-нибудь другом!

— А много ли тебя муштровали с тех пор, как ты поступил в университетскую команду? Ни разу. Да, вероятно, ты можешь подать теперь и прошение об увольнении...

Уолтерс встал, и стул его с грохотом упал на пол. Он остановился, чтобы поднять его.

— Слушай, вот мое предложение,— продолжал он.— Я не думаю, чтобы тебя числили пропавшим в канцелярии учебной команды. Там у них чертовски плохой порядок. Ты можешь зайти туда и сказать, что был болен, и даже получить свое жалованье. Никто не скажет тебе ни слова. Или я расскажу все старшему сержанту. Он мой добрый друг. Мы как-нибудь проведем все это через канцелярию. Но только, ради Бога, не ломай всю свою жизнь из-за мелочного упрямства и каких-то дурацких анархистских идей, чтобы их черт побрал! Такой человек, как ты, должен иметь достаточно здравого смысла, чтобы не прельщаться ими.

— Он прав, Энди,— сказал Гэнслоу тихим голосом.

— Прошу вас, не говорите больше об этом. Я все это уже слышал! — резко сказал Эндрюс; он снова бросился на постель и повернулся лицом к стене.

Долгое время длилось молчание. Со двора донеслись голоса и звук шагов.

— Но послушай, Энди,— сказал Гэнслоу, нервно разглаживая усы.— Тебя должна гораздо больше интересовать твоя работа, чем абстрактная идея об утверждении твоих прав на личную свободу. Даже в том случае, если ты не попадешься. Я думаю, что шансы попасться очень незначительны, если иметь голову на плечах. Но даже если ты не попадешься, у тебя нет достаточно денег для того, чтобы прожить здесь долго; ведь нет у тебя денег?

— Вы думаете, что я не размышлял обо всем этом? Я не сумасшедший, вы знаете. Я хладнокровно взвесил все... Но есть одно, чего вы, товарищи, не можете понять. Вы были когда-нибудь в дисциплинарном батальоне? Знаете ли вы, что значит разговаривать с человеком, который через пять минут может ни с того ни с сего ударить вас? Ах, Боже мой, вы не знаете, о чем вы говорите, вы оба... Я теперь свободен! Мне все равно, какой ценой быть свободным. Свобода — единственное, чего стоит добиваться.— Эндрюс лежал на спине и говорил, глядя в потолок.

Гэнслоу нервно шагал из угла в угол.

— Как будто кто-нибудь был когда-либо свободен,— бормотал он.

— Прекрасно, играйте словами, играйте! Вы можете доказывать, что угодно, если хотите. Разумеется, трусость — самая лучшая политика для того, кто хочет выжить. Человек, у которого сильнее всего развита жажда жизни,— первый трус. Продолжайте!

Голос Эндрюса звучал резко и возбужденно и временами срывался, как голос еще неокрепшего мальчика.

— Энди, скажи, ради Бога, что с тобой случилось? Ей-ей, я не в состоянии уйти отсюда, оставив это так.

— Будь спокоен, я найду выход, Гэнни. Может быть, я встречусь с тобой в Сирии, переодетый арабским шейхом! — Эндрюс возбужденно засмеялся.

— Если бы мне казалось, что я смогу принести какую-нибудь пользу, я бы остался... Но я ничего не в состоянии сделать. Каждый занят устройством своих личных дел, на свой собственный дурацкий лад...

— Прощай, Уолтерс...

Гэнслоу подошел к кровати и протянул Эндрюсу руку.

— Смотри же, старина, будь осторожен, слышишь? И пиши мне в американский Красный Крест, в Иерусалим. Я буду чертовски беспокоиться о тебе, честное слово.

— Не беспокойся, мы теперь будем путешествовать вместе,— проговорил Эндрюс, поднявшись на постели и протягивая руку Гэнслоу.

Они слышали, как шаги Гэнслоу отзвучали на лестнице и потом на мощеном дворе.

Уолтерс пододвинул свой стул к кровати Эндрюса.

— Слушай, поговорим теперь как мужчины, Эндрюс. Если даже ты хочешь разбить свою жизнь, ты не имеешь на это права. У тебя есть семья, а потом... Разве ты лишен патриотизма? Вспомни, что на свете существует такая вещь, как долг.

Эндрюс сел на кровати и сказал глухим, злым голосом:

— Я не могу объяснить этого... Но я никогда не надену больше военной формы, поэтому, умоляю, покончим с этим.

— Прекрасно, делай, как хочешь, черт с тобой! Я больше не вмешиваюсь.

Уолтерс вдруг впал в ярость. Он начал молча раздеваться. Эндрюс лежал некоторое время на спине, глядя в потолок, потом тоже разделся, погасил свет и лег в постель.

Улица Пти-Жардэн — короткая улочка в районе, занятом товарными складами. Серая стена без окон тянулась по одной стороне улицы; на другой стороне сгрудились три старых дома, прислонившиеся друг к другу, так что казалось, будто крайние дома стараются из всех сил поддержать мансардную крышу центрального дома. Позади них возвышалось огромное здание с рядами темных окон.

Когда Эндрюс остановился и осмотрелся, он увидел, что улица совершенно пустынна. Зловещее безмолвие, висевшее над городом с того момента, как он вышел на улицу из своей комнаты, близ Пантеона, здесь, казалось, дошло до кульминационного пункта. В тишине он мог слышать мягкий звук шагов собаки, перебегавшей в отдалении через улицу. Дом с мансардной крышей был помечен восьмым номером. Фасад нижнего этажа был когда-то выкрашен в шоколадный цвет. На грязном окне около дверей было выведено белым: «Питейный дом».

Эндрюс толкнул дверь — она легко открылась. Где-то в глубине продребезжал звонок, оглушительно громкий в тишине улицы. На стене противоположной двери находилось испещренное пятнами зеркало, по стеклу которого звездой расходилась трещина; под ним стояли скамейка и три столика с мраморными досками.

Цинковая стойка заполняла третью стену. В четвертой стене была стеклянная дверь, заклеенная газетной бумагой. Эндрюс подошел к стойке. Звон колокольчика замер. Он ждал. Странное тревожное состояние овладело им. Во всяком случае, подумал он, он зря тратит время; он должен действовать, если хочет устроить свое будущее.

Он прошел к выходной двери. Колокольчик зазвенел снова, когда он открыл ее. В ту же минуту из двери, заклеенной бумагой, вышел человек. Это был толстый мужчина, в белой рубашке, с темными пятнами под мышками, туго стянутой у талии эластичным поясом, поддерживавшим желтые вельветовые брюки. Лицо у него было дряблое, зеленоватого оттенка; черные глаза его пристально глядели на Эндрюса сквозь голые веки; они казались какими-то длинными щелями над скулами. «Это и есть Ходя»,— подумал Эндрюс.

— Ну? — сказал мужчина, занимая свое место за стойкой и широко расставив ноги.

— Пива, пожалуйста,— сказал Эндрюс.

— Нет пива.

— Тогда стакан вина.

Человек кивнул головой и, не спуская глаз с Эндрюса, скрылся опять за дверью.

Минуту спустя появился Крисфилд. Волосы у него были спутаны; он зевал и протирал кулаками глаза.

— Я только что встал, Энди. Пойдем внутрь.

Эндрюс последовал за ним через маленькую комнатку, заставленную скамейками и столиками, в коридор, в котором аммиачный запах щипал ему глаза, и поднялся по лестнице, покрытой грязью и мусором. Крисфилд отпер дверь, выходившую прямо на лестницу, и они вошли в большую комнату, окно которой выходило во двор.

Крисфилд осторожно закрыл дверь и, обернувшись, с улыбкой посмотрел на Эндрюса.

— Так ты тут живешь?

— Нас целая орава живет здесь.

Большая кровать, ничем не покрытая, на которой спал, завернувшись в одеяло, мужчина в темно-оливковом костюме, составляла всю меблировку комнаты.

— Нас трое спит на этой кровати,— сказал Крисфилд.

— Кто это? — воскликнул, приподнявшись, человек.

— Не беспокойся, Эл, это мой товарищ,— сказал Крисфилд.— Он снял форму.

— Господи, у вас хватило мужества? — сказал Эл.

Эндрюс пристально взглянул на него. Полотняная тряпка, в нескольких местах смоченная кровью, была обвязана вокруг его головы, а забинтованная рука его была подвешена. Рот его страдальчески искривился, когда он медленно опускал голову на постель.

— Товарищ, что ты с собой сделал? — воскликнул Эндрюс.

— Хотел вскочить на товарный поезд в Марсель.

— Для этого нужна практика,— сказал Крисфилд; он сел на кровать и начал снимать с себя сапоги.— Я опять лягу в постель, Энди. Я смертельно устал — всю ночь рубил капусту на рынке. Они дают там работу, не спрашивая, кто ты и откуда. Дай папиросу.

Эндрюс сел на постель в ногах у Крисфилда и бросил ему папиросу.

— Хотите курить? — спросил он Эла.

— Нет, я не могу курить. Я чуть с ума не схожу из-за этой руки. По ней проехало колесо... Я отрезал бритвой то, что осталось от мизинца.

Эндрюс видел, как пот катился с его лица, когда он говорил.

— Этот бедняга здорово намучился, Энди. Мы боялись позвать доктора, а сами не знали, что нужно сделать.

— Я достал немного чистого спирта и промыл им раны. Инфекции нет. Я думаю, что все сойдет благополучно.

— Откуда вы, Эл? — спросил Эндрюс.

— Из Сан-Франциско. Ах, я попробую заснуть. Я не сомкнул глаз ни на минуту целых четыре ночи.

— Почему вы не приняли веронал или что-нибудь в этом роде?

— Денег нет, Энди, цента нет лишнего.

— О, если бы были деньги, мы жили бы по-царски,— сказал Эл с нервным смешком.

— Вот что, Крис,— сказал Эндрюс,— я поделюсь с вами. У меня есть пятьсот франков.

— Слушай, не шути так.

— Вот тебе двести пятьдесят франков. Это не так много, как кажется.

— Скажи, как тебе удалось освободиться? — спросил Эл, поворачивая голову к Эндрюсу.

— Я удрал из дисциплинарного батальона.

— Расскажи, как это было, товарищ. Я забываю свою руку, когда говорю с кем-нибудь. Я бы был теперь дома, если бы не этот кабак в Эльзасе. Скажи, ты не находишь, что эти огромные махины-чепцы, в которых щего-

ляют там девушки, чертовски красивы? Я прямо с ума схожу всякий раз, как вижу их. Я возвращался из отпуска из Гренобля и проезжал через Страсбург, город есть такой. Мой полк стоял в Кобленце. Там-то я и встретился с Крисом. Конечно, мы куролесили в Страсбурге, и както я попал в один кабачок в подвале. Там, значит, девушка. Ну, познакомились. Она говорит: «Я зашла сюда, потому что ищу брата. Он в Иностранном легионе служит».

Эндрюс и Крисфилд рассмеялись.

— Чего вы смеетесь? — продолжал Эл стремительно.— Честное слово, я готов сейчас жениться на ней, дайте только выпутаться из беды этой. Это самая лучшая девушка на всем свете. Она служила кельнершей в ресторане и, когда была свободна от службы, всегда носила этот эльзасский костюм... Ну, я, значит, и застрял. Каждый день я думал: ну, завтра поеду. Как-никак, война окончилась... надобности во мне там, в полку, никакой нет. Разве человек не имеет никаких прав? А тут полевая жандармерия начала очищать Страсбург, и мне пришлось удрать. И похоже на то, что мне уже не вернуться.

— Слушай, Энди,— сказал вдруг Крис,— пойдем вниз за какой ни на есть выпивкой.

— Хорошо.

— Слушай, Эл, тебе из аптеки ничего не нужно?

— Нет. Я ничего не буду делать; мне надо только полежать спокойно и промывать рану спиртом, чтобы не было инфекции. Однако сегодня первое мая. Вы сумасшедшие, если пойдете на улицу. Вы попадетесь. Говорят, сегодня будет бунт.

— Боже мой, а я и забыл, что сегодня первое мая! — воскликнул Эндрюс.— Они объявили всеобщую забастовку протеста против войны с Россией...

— Один молодец говорил мне,— прервал Эл резким голосом,— что может произойти революция.

— Идем, Энди,— сказал Крис, стоя в дверях.

На лестнице Эндрюс почувствовал, что Крисфилд крепко сжал его руку.

— Слушай, Энди! — Крис приблизил свои губы к уху Эндрюса и заговорил страстным шепотом.— Ты один знаешь... ты понимаешь, о чем я говорю. Ты — и этот сержант. Не говори ничего такого, что могло бы заставить молодцов здесь догадаться, слышишь?

— Хорошо, Крис, не буду, но, милый человек, ты не должен так распускать свои нервы. Ты не единственный человек, который когда-либо застрелил и...

— Заткни глотку, слышишь! — злобно пробормотал Крисфилд.

Они сошли вниз молча. В комнате, смежной с баром, они нашли Ходю, читавшего газету.

— Он француз? — шепотом спросил Эндрюс.

— Не знаю, кто он такой. Он не из белых, готов держать пари,— сказал Крис,— но он честный малый.

— Вы знаете что-нибудь о том, что происходит сейчас? — спросил Эндрюс по-французски.

— Где? — Ходя поднялся, бросив на Эндрюса взгляд из уголков своих похожих на расщелины глаз.

— Снаружи, на улицах, в Париже, везде, где люди собрались под открытым небом и могут действовать. Что вы думаете о революции?

Ходя пожал плечами.

— Все возможно,— сказал он.

— Как вы думаете, они могут на самом деле свалить армию и правительство вот так, в один день?

— Кто? — вмешался Крисфилд.

— Кто? Народ, Крис, обыкновенные люди, вроде нас с тобой, которым надоела вечная муштровка, которым надоело, что их топчут ногами такие же люди, как они сами, но только более счастливые, сумевшие поладить с общественным строем.

— Вы знаете, что я сделаю, когда начнется революция? — вмешался Ходя.— Я пойду прямо к одному из ювелирных магазинов на улице Ройяль, набью себе полные карманы бриллиантами и вернусь домой.

— А какой в этом толк?

— Какой толк? Я зарою их здесь на дворе и буду ждать. Они пригодятся в конце. Вы знаете, к чему приведет эта ваша революция? К другому строю! А где есть строй, там всегда найдутся и люди, которых можно купить с помощью бриллиантов. Уж таков свет.

— Но они ничего не будут стоить. Только труд будет цениться.

— Увидим,— сказал Ходя.

— Ты допускаешь, Энди, что может быть революция и не будет больше армии? И нам можно будет ходить свободно, как будто мы штатские? Мне не верится. Таким людям, как мы, не сломить строя, Энди.

— Много систем уже пало в истории; это может случиться опять.

— Сейчас идет схватка с республиканской гвардией у Западного вокзала,— сказал Ходя безразличным тоном.—

Зачем вам туда идти? Оставайтесь лучше в стороне. Полиция столько собак может из вас навешать...

— Дай нам две бутылки белого, Ходя,— сказал Крисфилд.

— А когда деньги?

— Сейчас. Этот парень дал мне пятьдесят франков.

— Так вы богатый? — сказал Ходя с неприязнью в голосе, поворачиваясь к Эндрюсу.— Не надолго хватит, если так шагать будете. Подождите здесь.

Он прошел в бар, осторожно закрыв за собой дверь. Вдруг продребезжал колокольчик, и вслед за этим послышались громкие голоса и топот ног. Эндрюс и Крисфилд на цыпочках вышли в темный коридор и долгое время стояли там в ожидании, вдыхая вонючий воздух, бивший в нос отсыревшей штукатуркой и прокисшим вином. Наконец Ходя вернулся с тремя бутылками вина.

— Ну, вы оказались правы,— сказал он Эндрюсу.— Они строят баррикады на авеню Маджента.

Какая-то девушка подметала лестницу. У нее были растрепанные волосы, выбивавшиеся из-под синего платка, завязанного под подбородком, и полное румяное лицо. Крисфилд притянул ее к себе и поцеловал, проходя мимо.

— Наша прислуга,— объяснил он Эндрюсу.— Я из-за нее чуть не подрался вчера со Слиппери...

Войдя в комнату вслед за Крисом, Эндрюс увидел человека, который сидел на подоконнике и курил. Он был одет в форму младшего лейтенанта; его обмотки сверкали ослепительным блеском, и курил он из длинного янтарного мундштука. Розовые ногти его были тщательно отделаны.

— Это Слиппери, Энди,— сказал Крисфилд,— мой старый товарищ.

— Вы что, сняли с себя форму? В высшей степени глупо, если так,— сказал Слиппери.— Представьте себе, что они вас сцапают?

— Мы достали выпивку,— сказал Крисфилд.

Слиппери вынул из кармана кости и медленно бросал их на пол у своих ног, каждый раз щелкая пальцами.

— Я у тебя свистну одну бутылочку, Крис,— сказал он.

Эндрюс подошел к кровати. Эл беспокойно ворочался: лицо его горело, рот судорожно кривился.

— Ну? — сказал он.— Какие новости?

— Говорят, строят баррикады недалеко от Западного вокзала. Будет дело!

— Боже мой, я так надеюсь. Боже мой, как я хотел бы, чтобы они здесь сделали как в России,— тогда мы были бы свободны. Мы, правда, не сможем некоторое время вернуться в Штаты, но зато здесь не будет полевой жандармерии, которая охотится за нами, как за преступниками... Я немного посижу и поболтаю с вами.— Эл истерически рассмеялся.

— Выпьешь глоток вина? — спросил Эндрюс.

— В самом деле, это, может быть, подкрепит меня. Спасибо! — Он жадно пил из бутылки, проливая немного на подбородок.

— У тебя и голова здорово поранена, Эл?

— Нет, царапина, кожа содрана... Похожа на сырой бифштекс, а? Был ты когда-нибудь в Страсбурге?

— Нет.

— Слушай, вот это город! А девушки в этих костюмах! Ах!

— Ты ведь из Сан-Франциско?

— Да.

— Ты не знал там одного молодца, с которым я познакомился в учебном лагере, Фюзелли?

— Фюзелли? Как же, да это мой лучший друг... Ты не знаешь, где он теперь?

— Я видел его в Париже два месяца назад.

— Ах, черт меня возьми! Боже мой, это замечательно! Так ты знал Дэна в учебном лагере? Последнее письмо от него я получил приблизительно год назад. Дэн тогда только что стал капралом. Он чертовски умный малый, этот Дэн, и очень честолюбивый, один из тех молодцов, которые всегда добиваются успеха. Боже мой, я не желал бы встретиться с ним в таком виде. Знаешь, мы часто виделись в Фриско, и он всегда говорил мне, что выйдет в люди раньше меня. Он был чертовски прав. Он говорил всегда, что я бабник... Честное слово, я пытался выбиться в люди в армии. Я делал все, что возможно. Но все, чего я добился, было спокойное место в полковой канцелярии. Но Дэн... Черт его знает, он, может быть, теперь вышел в офицеры.

— Нет, он не офицер,— сказал Эндрюс.— Напрасно ты вертишься, береги руку-то.

— К черту руку! Она скорее пройдет, если я забуду о ней. Видишь ли, я поскользнулся, когда они вдруг дернули вагон, в который я влезал, и... Хорошо еще, что не насмерть. Но когда я подумаю, что не сойди я с ума насчет этой девушки, я был бы уже теперь дома...

— Ходя говорит, что строят баррикады на авеню Маджента.

— Это значит будет дело!

— Никакого дела не будет! — закричал Слиппери.— Один танк и несколько шершавых сенегальцев так погонят ваших проклятых социалистов, что они будут бежать до самого Дижона. Вам, молодчики, надо бы быть поумнее.

Слиппери встал и подошел к постели, гремя костями, зажатыми у него в руке.

— Знаете, нужно побольше, чем горсточка социалистов, подкупленных бошами, чтобы разрушить армию. Если бы это можно было сделать, неужели вы думаете, что люди не сделали бы этого давно?

— Помолчи минуту. Мне что-то послышалось,— сказал вдруг Крис, подходя к окну.

Все затаили дыхание; только трещала кровать, когда Эл беспокойно заерзал на ней.

— Нет, ничего. Мне показалось, что я слышу пение.

— «Интернационал»! — воскликнул Эл.

— Заткнись! — грубо сказал Крисфилд.

В тишине раздались шаги на лестнице.

— Ни черта! Это всего только Смидди,— сказал Слиппери и снова бросил кости на пол.

Дверь медленно открылась и пропустила высокого, сутулого человека, с длинным лицом и длинными зубами.

— Кто эта лягушатник? — спросил он испуганно, не выпуская дверной ручки.

— Ничего, Смидди, это не лягушатник, это приятель Криса. Он снял форму.

— Товарищ, значит,— сказал Смидди, протягивая руку Эндрюсу.— Господи, ты выглядишь совсем как лягушатник!

— Это хорошо,— сказал Эндрюс.

— Чертовская история,— начал Смидди, задыхаясь.— Вы знаете Гуса Эванса и этого маленького черноволосого молодчика, который все ходил с ним? Их поймали. Я сам видел их с военными полицейскими на площади Бастилии. Один молодчик, с которым я ночевал вчера под мостом, сказал мне, что они решили очистить Париж от дезертиров, хотя бы им пришлось обыскать каждый дом в городе.

— Если они придут сюда, они найдут здесь кое-что, чего они не ищут,— пробормотал Крисфилд.

— Я еду в Ниццу, здесь стало очень беспокойно. У меня в кармане лежит литер,— сказал Слиппери, закуривая папиросу и пуская дым в потолок.

— Как ты его достал?

— Просто, как шоколад. Я встретился в американском баре с одним молодчиком, младшим лейтенантом. Мы с ним выпили и ночевали с двумя девушками. Утром я поднялся рано, и теперь у меня в кармане пять тысяч франков, отпускной билет и серебряный портсигар, а лейтенант Франклин бегает, небось, по городу, рассказывая всюду, как он был обокраден парижской хипесницей, или, вернее, сидит смирно и молчит. Вот моя система.

— Но, черт подери, я этого не понимаю! Как ты можешь водить компанию с человеком, пить с ним вместе, а потом ограбить его? — крикнул Эл.

— А как ты думаешь, если бы он знал, что я простой рядовой, он не передал бы меня моментально полевому жандарму?

— Нет, я этого не думаю,— сказал Эл.— Они такие же люди, как мы с тобой. Офицеры тоже до смерти боятся, как бы не проштрафиться; они не станут вредить человеку без причины.

— Собачий вздор! — воскликнул Крисфилд.— Они обожают ездить на людях. Простой человек для них хуже собаки. Я бы пристрелил любого из них так же легко, как какого-нибудь негра.

Эндрюс наблюдал за лицом Крисфилда — оно вдруг вспыхнуло; он сразу замолчал. Когда его глаза встретились со взглядом Эндрюса, в них отражался страх.

— Среди офицеров бывают разные люди, хорошие и плохие, так же как и среди нас,— настаивал на своем Эл.

— Чертово дурачье, будет вам спорить! — закричал Смидди.— Надо решить, что делать. Здесь больше небезопасно оставаться, по-моему.

Все замолчали. Наконец Крисфилд сказал:

— Что ты будешь делать, Энди?

— Сам не знаю. Я думаю отправиться в Сен-Жермен — у меня там есть знакомый молодчик, который работает на ферме. Посмотрю, может быть, устроюсь там на работу. Я не хочу оставаться в Париже. Потом, здесь живет одна девушка, которую я хочу повидать; мне нужно видеть ее.— Эндрюс вдруг замолчал и зашагал взад и вперед по комнате.

— Ты бы лучше поостерегся; тебя, вероятно, расстреляют, если поймают,— сказал Слиппери.

Эндрюс пожал плечами.

— Ну что ж, я предпочел бы быть расстрелянным, чем сесть в Ливенуортс на двадцать лет, клянусь Богом! — воскликнул Эл.

— Как вы здесь питаетесь? — спросил Слиппери.

— Покупаем провизию, а девушка варит нам.

— Готовили что-нибудь сегодня?

— Я схожу куплю чего-нибудь,— сказал Эндрюс.— Мне безопаснее выходить на улицу, чем вам.

Крисфилд спустился по лестнице вслед за Эндрюсом. Когда они дошли до коридора внизу, он положил руку на плечо Эндрюса и прошептал:

— Скажи, Энди, как ты думаешь, выйдет какой толк из этой революции? Я никогда не думал, что они смогут опрокинуть строй таким образом.

— В России сделали же.

— Тогда мы будем свободными, штатскими гражданами, какими мы были до войны? Но это невозможно, Энди, это невозможно!

— Увидим,— сказал Эндрюс, открывая дверь в бар.

Он возбужденно подошел к Ходе, сидевшему за рядами бутылок, стоящих на стойке.

— Ну, как дела?

— Где?

— У Западного вокзала, где строили баррикады.

— «Баррикады»! — воскликнул молодой человек с красным шарфом, пивший вино за столиком.— Они просто сломали несколько железных решеток вокруг деревьев — вот и вся баррикада! Трусы! Где только их атакуют, они бегут. Вонючие трусы!

— Как вы думаете, выйдет что-нибудь?

— Что же может выйти, когда нет никого, кроме оравы грязных трусов?

— А вы как думаете об этом? — спросил Эндрюс, повернувшись к Ходе.

Ходя вместо ответа покачал головой. Эндрюс вышел.

Когда он вернулся, он нашел в комнате только Эла и Крисфилда. Крисфилд ходил взад и вперед, кусая ногти. На стене против окна светился четырехугольник солнечного света, отраженного противоположной стеной здания суда.

— Ради Бога, Крис, уходи. Я вполне здоров,— сказал Эл слабым, плачущим голосом; лицо его было искажено страданием.

— В чем дело? — воскликнул Эндрюс, поставив на пол большой пакет.

— Слиппери видел военного полицейского — он вертелся на тротуаре против кабачка и что-то вынюхивал.

— Боже мой!

— Они еле ушли. Плохо, что Эл так слаб... Честное слово, я останусь с тобой, Эл.

— Нет! Если тебе есть куда идти, уходи, Крис. Я останусь здесь с Элом и буду говорить с жандармами по-французски, если они придут сюда. Мы как-нибудь их одурачим.

Эндрюс почувствовал внезапный прилив веселости и бодрости.

— Честное слово, Энди, я бы остался, если бы не было того... что знает этот сержант,— сказал отрывисто Крисфилд.

— Уходи, Крис, не теряй времени.

— Прощай, Энди! — Крисфилд проскользнул в дверь.

— Это странно, Эл,— заговорил Эндрюс, садясь в ногах кровати и развертывая пакет с продуктами.— Я не испытываю ни малейшего страха. Я чувствую, что освободился от армии, Эл... Как твоя рука?

— Не знаю... Ах, как бы я хотел теперь очутиться на своей койке в Кобленце! Я не гожусь для того, чтобы бороться с целым светом. Если бы с нами был старый Дэн... Как странно, что ты знаешь Дэна! Уж он нашел бы миллион планов, чтобы выпутаться из этой западни. Хотя я рад, что его здесь нет. Он бы выругал меня за то, что я не сделал себе карьеры. Он невероятно честолюбивый малый, этот Дэн.

Со двора не доносилось ни звука, только вдали раздавался стук копыт по камням мостовой проезжавшего кавалерийского патруля. Небо покрылось тучами, и в комнате стало темно: отсыревшая штукатурка на стенах покрылась полосами зелени. В зеленоватом свете лица их казались мертвенно бледными, как у людей, проведших много времени в тесной сырой тюрьме.

— У Фюзелли была невеста... ее звали Мэб,— сказал Эндрюс.

— Ах, она вышла замуж за молодца из морского резерва. Свадьба была грандиозная,— сказал Эл.

IV

— Наконец-то я нашел вас!

Джон Эндрюс увидел Женевьеву на скамейке, стоявшей в конце сада под виноградником. Ее волосы ярко горели в лучах солнца, когда она встала со скамейки. Она протянула ему обе руки.

— Как вам идет это! — воскликнула она.

Он чувствовал только, что ее руки в его руках, видел только ее светло-карие глаза и игру солнечных пятен и зеленых теней вокруг них.

— Итак, вас выпустили из тюрьмы,— говорила она,— и демобилизовали? Как это чудесно! Почему вы не писали? Я очень беспокоилась о вас. Как вы нашли меня?

— Ваша мать сказала мне, что вы здесь.

— Ну, как вам нравится мой Пуассак? — Она сделала широкий жест рукой.

С минуту они стояли молча рядом, смотря по сторонам. Перед деревом был разбит цветник из круглых, огороженных клумб, на которых беспорядочными гроздьями свешивались розы всех оттенков, от розового и пурпурного до нежного абрикосового цвета. Позади цветника ярко-изумрудная лужайка, заросшая маргаритками, спускалась к старому, серого цвета домику, на одном конце которого находилась приземистая круглая башня с крышей как у огнетушителя. За домом стояли высокие, сочно-зеленого цвета тополя, сквозь листву которых просвечивала серебристо-серая поверхность реки и желтые пятна песчаных отмелей. Откуда-то несся одуряющий запах скошенной травы.

— Как вы загорели! — снова заговорила она.— Я уже думала, что потеряла вас... Вы можете поцеловать меня, Жан.

Его руки жгли ее плечи. Пламя ее волос блеснуло в его глазах. Ветер, игравший широкими листьями винограда, производил игру света и теней вокруг них.

— Какой вы горячий от солнца! — сказала она.— Мне нравится запах вашего тела. Вы, должно быть, быстро шли, идя сюда.

— Вы помните весеннюю ночь, когда мы возвращались домой после «Пелеаса и Мелисанды»? Как мне хотелось тогда поцеловать вас, так же как сейчас.

Голос Эндрюса звучал как-то странно, хрипло, будто он говорил с большим трудом.

— Там говорится о «замке очень холодном и очень глубоком»,— сказала она с легким смехом.

— И о ваших волосах. «Я ласкаю твои полосы, Мелисанда, я целую твои волосы...» Вы помните?

Они сидели рядом на каменной скамейке, не прикасаясь друг к другу.

— Это глупо! — заговорил Эндрюс возбужденно.— Мы должны иметь веру в самих себя. Мы не в состоянии

передать самого маленького романтического эпизода, без того чтобы не пропустить его сквозь литературу. Мы до такой степени отравлены литературой, что не можем уже никогда переживать ее сами.

— Жан, как вы попали сюда? Вы давно демобилизовались?

— Почти всю дорогу из Парижа я прошел пешком. Видите, какой я грязный!

— Удивительно! Но теперь я буду спокойна. Вы должны рассказать мне все с того момента, как мы расстались в Шартре.

— Я расскажу вам про Шартр после,— сказал Эндрюс угрюмо.— Это была одна из самых лучших и самых содержательных недель во всей моей жизни. Целый день идешь под лучами солнца; дорога, как белая лента, бежит по холмам и вдоль речных берегов, где цветут желтые ирисы... То бредешь лесами, полными черных дроздов, пыль легким маленьким облачком клубится у ног, и все время знаешь, что с каждым шагом все ближе к вам, все ближе.

— А как подвигается «Царица Савская»?

— Не знаю. Я уже давно не думал о ней... Вы давно здесь?

— Не больше недели. Но что вы намерены делать?

— Я снял комнату с видом на реку в доме, который занимает очень толстая женщина с красным лицом и пучками волос на подбородке.

— Госпожа Бонкур.

— Именно. Вы, конечно, знаете здесь всех? Это такое маленькое местечко.

— И долго вы пробудете здесь?

— Я не уеду отсюда. Я хочу и работать, и говорить с вами. Могу я иногда пользоваться вашим пианино?

— Как это чудесно!

Женевьева Род вскочила на ноги. Она стояла и глядела на него, прислонясь к вьющимся стеблям винограда, и широкие листья обрамляли ее лицо. Белая тучка, сверкавшая как серебро, закрыла солнце, и молодые, покрытые волосками листья и колеблемая ветром трава на лужайке засверкали серебристым блеском. Две белые бабочки покружились недолго около дерева.

— Вы должны всегда так одеваться,— сказала она, помолчав немного.

Эндрюс засмеялся.

— Чуточку почище, я думаю,— сказал он.— Впрочем, большой перемены от этого не будет. У меня нет другого костюма и до смешного мало денег.

— Кто думает о деньгах! — вскричала Женевьева.

Эндрюсу показалось, что он уловил в ее голосе легкий оттенок аффектации*, но он сейчас же отбросил мысль об этом.

— Я думаю о том, нет ли здесь поблизости фермы, где я мог бы достать работу.

— Но вы не можете работать как батрак! — со смехом воскликнула Женевьева.— Вы испортите себе руки, вам нельзя будет играть на рояле.

— Неважно. Но это потом, совсем потом. Прежде всего я должен закончить вещь, над которой работаю. У меня сидит в голове одна тема. Она пришла мне в голову, когда я только что поступил в армию — я мыл тогда окна в бараке.

— Какой вы смешной, Жан! Как хорошо, что вы опять со мной. Но вы сегодня страшно серьезны. Может быть, потому, что я заставила вас поцеловать меня?

— Знаете, Женевьева, одного дня мало для того, чтобы у раба разогнулась спина, но с вами, в этом чудном месте... О, я никогда еще не видел такой сочной, богатой растительности! И подумайте только, целую неделю я шел... Вначале по этим серым холмам, потом от Блуа началась роскошная долина Луары... Вы знаете Вандом? Вы видите мои ноги... А какие чудесные холодные ванны принимал я на песчаных берегах Луары! Дайте срок! Ритм шагов — каждый шаг одной и той же длины,— который мне внушили на учебном плацу, и безнадежная, безысходная тоска — все это будет глубоко погребено во мне великолепием вот этого вашего мира.

Он встал и мягко мял пальцами какой-то листок.

— Вы видите — уже завязываются маленькие ягоды. Посмотрите сюда,— сказала она, откидывая в сторону листья, свесившиеся над ее головой.— Этот сорт винограда самый ранний; но я должна вам показать мои владения, моих кузин, птичий двор и вообще все.

Она взяла его за руку и вытолкала из виноградника. Они побежали, как дети, держась за руки, по огороженным дорожкам.

— Я хочу сказать вам следующее,— начал он, запинаясь и следуя за ней поперек зеленой лужайки.— Если мне удастся изобразить все эти страдания в музыке, я буду в состоянии запихнуть их в самую глубь моей памя-

ти. Тогда я смогу свободно жить своей собственной жизнью среди этого праздника лета.

Около дома она повернулась к нему.

— Вы сейчас познакомитесь с моей тетей и кузинами.

— Пожалуйста, только не сейчас, Женевьева! Я не расположен сегодня ни с кем разговаривать, кроме вас. Мне надо так много сказать вам.

— Но скоро уже пора завтракать, Жан. Мы можем поговорить после завтрака.

— Нет, я не могу сейчас ни с кем разговаривать. Я должен сначала пойти и привести себя немного в порядок.

— Как хотите... Но вы должны прийти сегодня вечером и сыграть нам. К чаю будут два или три знакомых... Это будет очень любезно с вашей стороны, если вы сыграете нам, Жан.

— Но разве вы не можете понять? Я не в состоянии сейчас видеть вас в обществе других.

— Как хотите,— сказала Женевьева.

Лицо ее покрылось румянцем; рука ее лежала на железной задвижке двери.

— Можно мне прийти к вам завтра утром? Тогда я скорее смогу встретиться с людьми, после того как основательно поговорю с вами. Видите ли, я...

Он замолчал, опустив глаза в землю. Затем начал глухим, страстным голосом:

— О, если бы я только мог выкинуть это из головы! Эти топочущие ноги, эти голоса, выкрикивающие приказания...

Его рука дрожала, когда он взял руку Женевьевы. Она спокойно смотрела ему в глаза своими широко открытыми карими глазами.

— Какой вы сегодня странный, Жан! Во всяком случае, приходите завтра утром, пораньше.

Она вошла в дом. Он обошел вокруг, прошел в ворота и широкими шагами пошел вдоль реки, обсаженной липами, по дороге, которая вела к деревне.

Мысли надоедливо кружились в его голове, как осы вокруг сгнившего плода. Итак, он наконец увидел Женевьеву, держал ее руки в своих и целовал ее. Вот и все. Его планы на будущее никогда не заходили дальше. Он не отдавал себе отчета в том, чего он ожидал, но в течение всех солнечных дней своего путешествия и во время своего пребывания тайком в Париже он ни о чем больше не думал. Он увидится с Женевьевой и расскажет ей о себе все; он развернет перед ее глазами всю свою жизнь,

как свиток. Вдвоем они составят, сколотят свое будущее. Вдруг внезапный ужас овладел им. Она изменилась в отношении к нему. Прилив сомнения овладел им.

Это оттого, что он ожидал слишком многого; он ожидал, что она поймет его без всяких объяснений, инстинктивно. Он не сказал ей ничего. Он не сказал ей даже, что он дезертир. Что удержало его от того, чтобы сказать ей? В том состоянии смущения, в котором он находился, он не мог бы объяснить этого. Только в самой глубине его существа лежала ледяная, тяжелая уверенность: она ему изменила. Он был одинок. Какой дурак! Он захотел основать всю свою жизнь на случайной симпатии! Нет, ошибкой была, скорее, эта нездоровая игра словами. Он был похож на обидчивую старую деву, выдумывающую воображаемые последствия. «Принимай жизнь, как она есть»,— говорил он самому себе. Как бы то ни было, они любили друг друга; не все ли равно, как любили? Кроме того, он свободен и может работать. Разве этого недостаточно?

Но как дождаться утра, когда он увидит ее и расскажет ей все, и сломает все эти глупые маленькие перегородки, которые еще стоят между ними,— так, чтобы жизнь каждого была открыта другому?

Дорога свернула в сторону от реки; по обеим сторонам ее шли обнесенные стенами сады, которыми начиналась деревня. Сквозь полуоткрытые двери Эндрюс видел старательно возделанные огороды и фруктовые сады, в которых серебристые ветви качались на фоне неба. Потом дорога перешла в узкую мощеную улицу с белыми и палевыми домиками по бокам, с зелеными ставнями и красными черепичными кровлями. В конце деревни серая церковная башня, покрытая золотистыми нитями лишайника, поднимала к небу свои колокола под широкими остроконечными арками. Против церкви Эндрюс свернул в узенький переулок и вышел снова к реке, на набережную, покрытую чахлыми кустами акации. На угловом здании — ветхом домике, крыша которого выдавалась во всех направлениях,— была вывеска: «Свидание моряков». Комната, в которую вошел Эндрюс, была такая низкая, что ему пришлось наклониться, чтобы не задеть за тяжелую темную перекладину. Позади старого бильярдного стола была дверь, за которой шла лестница, ведущая наверх. Мадам Бонкур стояла у лестницы. Это была рыхлая, пожилая женщина с круглыми глазами, круглым, очень красным лицом и улыбкой на губах.

— Не будете ли вы добры дать маленький задаточек, если можно?

— Пожалуйста,— сказал Эндрюс, доставая бумажник.— Позволите за неделю вперед?

Лицо женщины расплылось в улыбку.

— Если вам угодно... Ах, месье, жизнь теперь очень дорога. Бедные люди, как мы, с трудом могут сводить концы с концами.

— Я это прекрасно знаю,— сказал Эндрюс.

— Вы иностранец,— начала женщина вкрадчивым тоном, получив деньги.

— Да. Я только недавно демобилизовался.

— Ага, вы демобилизованы! Вы будете так любезны заполнить листочек для полиции?

Женщина протянула руку, в которой лежал узкий клочок печатной бумаги.

— Хорошо, я заполню его,— сказал Эндрюс, и сердце его учащенно забилось.

Не задумавшись над тем, что делает, он положил бумажку на край бильярда и написал: «Джон Браун, 23 года. Чикаго, Иллинойс, Соединенные Штаты. Музыкант. Паспорт № 1432286».

— Благодарю вас, месье! Будьте здоровы, месье! До свиданья, месье!

Певучий голос женщины несся ему вслед, когда он поднимался по развинченной лестнице наверх, в свою комнату. Только войдя в комнату и заперев дверь, он вспомнил, что вместо номера паспорта поставил свой воинский номер.

— И почему я назвался Джоном Брауном? — спросил он сам себя.

Джона Брауна тело уж тлеет в могиле,
А душа поднимается ввысь.
Слава, слава, аллилуйя!
А душа поднимается ввысь...

Он так ясно слышал песню, что ему с минуту казалось, как будто кто-то стоит за его спиной и поет ее. Он подошел к окну и провел рукой по волосам. За окном Луара уходила в голубую даль прихотливыми извилинами, отливавшими серебром, испещренными желтыми пятнами песчаных отмелей. Группы тополей и поля различных зеленых оттенков покрывали склоны холмов, перемешиваясь с темно-зелеными тенистыми рощами. На

голой вершине самого высокого холма ветряная мельница лениво размахивала руками на фоне мраморного неба.

Постепенно Эндрюс стал проникаться настроением серебристого покоя, разлитого вокруг него. Он вынул из кармана пиджака сосиску и кусок хлеба, выпил большой глоток воды из кувшина, стоявшего на умывальнике, и уселся за стол, стоящий у окна, на котором лежала груда свернутых листов нотной бумаги. Некоторое время он медленно жевал хлеб и сосиску, потом крупным аккуратным почерком написал на верху листа: «Arbeit und Rhythmus». Потом стал смотреть в окно и не шевелясь наблюдал, как перистые облака плыли, как огромные корабли, по шиферно-голубому небу. Вдруг он зачеркнул то, что было написано, и нацарапал сверху: «Тело и душа Джона Брауна». Он встал со стула и заходил по комнате со стиснутыми руками.

— Как странно, что я написал это имя! Как странно, что я написал это имя! — сказал он вслух.

Он снова сел за стол и забыл обо всем, отдавшись во власть музыки.

На следующее утро он спозаранку вышел к реке, стараясь чем-нибудь занять себя до того времени, когда можно будет идти к Женевьеве. Воспоминание о первых днях его пребывания в армии, проведенных в мытье окон в бараках, было еще очень живо в его уме. Он снова видел себя стоящим нагишом посреди большой пустой комнаты, в то время как рекрутский сержант измерял и выстукивал его. А теперь он дезертир. Был ли во всем этом какой-нибудь смысл? Шла ли его жизнь в каком-нибудь определенном направлении, с тех пор как он был случайно захвачен колесом, или все это было случайностью? Жаба, скачущая через дорогу перед паровым катком?

Он стоял неподвижно, озираясь вокруг. Позади клеверного поля текла река, серебрясь своими излучинами и сверкая желтыми пятнами песчаных отмелей. Мальчик далеко на реке сачком ловил пескарей. Эндрюс наблюдал за его быстрыми движениями, когда он забрасывал сетку в воду. А ведь этот мальчик тоже будет солдатом: гибкое тело его будет отлито в форму, чтобы оно стало похожим на другие тела; быстрые движения будут обузданы шаблоном ружейных приемов, а живой, пытливый ум будет приведен в состояние раболепства. Ограда выстроена, ни одна из овец не убежит. А те, которые не овцы? Они

становятся дезертирами; дуло каждого ружья несет им смерть; они не проживут долго. И все-таки много других кошмаров сброшено с человеческих плеч. Каждый человек, готовый мужественно умереть, ослабляет цепкую хватку кошмара.

Эндрюс медленно шел по дороге, подымая ногами пыль, как это делают школьники. На повороте он лег на траву в тени акаций. Пряный аромат их цветов и жужжание пчел, которые висели, опьяненные, на белых кистях, навевали на него сон. Проехала телега, запряженная большими белыми лошадьми; старик, сгорбленная спина которого напоминала верхушку подсолнечника, ковылял за телегой, опираясь на кнут как на палку. Эндрюс видел, что старик подозрительно оглядел его. Смутный страх шевельнулся в его душе: может быть, старик знает, что он дезертир? Телега со стариком исчезла за поворотом дороги. Эндрюс некоторое время лежал, прислушиваясь, как слабый звон сбруи замирает вдали, и снова прислушиваясь к сонному жужжанию пчел в цветах акаций.

Когда через некоторое время он поднялся и сел, то увидел, что сквозь щель забора, который тянулся позади тонких черных стволов акаций, видна возвышающаяся над деревьями крыша, как у огнетушителя, увенчивающая башню дома Женевьевы Род. Он вспомнил день, когда впервые увидел Женевьеву, и мальчишескую неловкость, с которой она разливала чай. Найдут ли когда-нибудь они с Женевьевой общую точку соприкосновения? И ему тотчас пришла в голову полная горечи мысль: может быть, ей просто нужен приручeнный пианист, как украшение гостиной молодой, красивой женщины? Он вскочил на ноги и быстро зашагал по направлению к городу. Он пойдет сейчас к ней и выяснит все раз и навсегда. В деревне забили часы: чистые звуки, дрожа, пробили десять.

На обратном пути в деревню он начал думать о деньгах. Его комната стоила двадцать франков в неделю. В кошельке у него было сто двадцать четыре франка. Выудив из всех карманов серебро, он нашел еще три с половиной франка. Всего сто двадцать семь франков пятьдесят. Если он сможет жить на сорок франков в неделю, в его распоряжении останется три недели для работы над «Телом и душой Джона Брауна». Только три недели, а потом он должен найти работу. Во всяком случае, он напишет Гэнслоу, чтобы тот прислал ему денег, если у него есть; не время деликатничать; все зависит от того, будут

ли у него деньги. И он поклялся самому себе, что будет работать в течение трех недель; что он воплотит на бумаге свою мысль, которая горит в нем, что бы ни случилось. Он напрягал мозг, стараясь вспомнить, нет ли у него кого-нибудь в Америке, кому он мог бы написать насчет денег. Жуткое чувство одиночества охватило его. Неужели и Женевьева не в состоянии будет понять его?

Женевьева выходила из парадной двери. Она побежала навстречу ему.

— Доброе утро. Я уже хотела пойти за вами.

Она взяла его руку и крепко пожала.

— Как это мило с вашей стороны.

— Но, Жан, вы идете не из деревни?

— Я гулял.

— Рано же вы встали!

— Видите ли, солнце встает как раз против моего окна и светит прямо на мою постель. Это и заставило меня рано встать.

Она пропустила его в дверь впереди себя. Пройдя переднюю, они вошли в большую высокую комнату, в которой находились большой рояль и несколько стульев с высокими спинками, а перед итальянским окном — стол черного дерева с разбросанными в беспорядке книгами. Две высоких девушки в муслиновых платьях стояли у рояля.

— Это мои кузины... Вот он, наконец, месье Эндрюс! Моя кузина Берта и кузина Жанна! Теперь вы должны сыграть — нам до смерти надоело все то, что мы знаем сами.

— Хорошо... Но мне нужно о многом поговорить с вами потом,— сказал Эндрюс тихо.

Женевьева кивнула головой, показывая, что поняла.

— Почему бы вам не сыграть нам «Царицу Савскую», Жан?

— О, сыграйте, пожалуйста! — прощебетали девицы.

— Если вы не будете иметь ничего против, я лучше сыграю вам Баха.

— Здесь масса Баха, в этом ящике в углу! — воскликнула Женевьева.— Это смешно — все в этом доме поглощены музыкой.

Они вместе склонились над ящиком. Эндрюс чувствовал прикосновение ее волос к своей щеке, а запах их щекотал ему ноздри. Кузины оставались у рояля.

— Я должен поскорее поговорить с вами наедине,— прошептал Эндрюс.

— Хорошо,— сказала она и покраснела, нагнувшись над ящиком.

Сверху нот лежал револьвер.

— Осторожнее, он заряжен,— сказала она, когда он взял его в руку.

Он вопросительно посмотрел на нее.

— У меня есть еще второй в комнате. Видите ли, мы с мамой часто остаемся здесь одни, а тогда хорошо иметь огнестрельное оружие. Как вы думаете?

— Я не вижу Баха,— пробормотал Эндрюс.

— Вот Бах.

— Хорошо... Послушайте, Женевьева,— решился он вдруг,— одолжите мне этот револьвер на несколько дней. Я потом скажу вам, зачем он мне понадобился.

— Конечно, но будьте осторожны, он заряжен,— проговорила она, направляясь к роялю с двумя тетрадями нот.

Эндрюс закрыл ящик и последовал за ней; он почувствовал внезапный прилив веселости и открыл тетрадь наугад.

— «Другу, чтобы отговорить его от путешествия»,— прочитал он.— О, это мне знакомо.

Он начал играть, придавая бурную силу звукам. Во время пассажей, исполняемых pianissimo, он слышал, как одна кузина прошептала другой:

— Он очень интересный.

— Но суровый, правда? Вроде революционера,— ответила вторая кузина, хихикая.

Вдруг он заметил, что мадам Род улыбается, глядя на него. Он встал.

— Пожалуйста, не беспокойтесь,— сказала она.

В комнату вошли два господина: один в белых фланелевых брюках и в башмаках для тенниса, а другой весь в черном, с остроконечной седой бородкой и веселыми серыми глазами. Они вошли в сопровождении дородной женщины, в шляпе с вуалью, с длинными бумажными белыми перчатками на руках. Его представили. Настроение Эндрюса стало падать. Ведь все эти люди делали более прочной преграду между ним и Женевьевой. Когда бы он ни взглянул на нее, перед ней всегда стоял в почтительной позе какой-нибудь хорошо одетый гость и говорил. В течение всего завтрака его не оставляло сумасшедшее желание вскочить на ноги и закричать: «Взгляните на меня — я дезертир! Я попал под колеса вашего строя! Если вашему строю не удалось раздавить меня, то тем легче ему будет раздавить других!» Шел

разговор о демобилизации, о его музыке, о Schola Cantorum. Он чувствовал, что его «показывают» гостям. «Но они не знают, кого показывают»,— говорил он самому себе с каким-то горьким злорадством.

После завтрака все перешли в виноградник; туда принесли кофе. Эндрюс сидел молча и не прислушивался к разговору, который вертелся вокруг мебели в стиле ампир и новых налогов; он смотрел вверх, на широкие, облитые солнцем виноградные листья и вспоминал игру света и тени вокруг головы Женевьевы, когда они накануне были в винограднике одни и волосы ее были красны, как пламя. Сегодня она сидела в тени, и волосы были тусклы, как ржавчина. Время тянулось страшно медленно.

Наконец Женевьева встала.

— Вы еще не видели моей лодки,— сказала она Эндрюсу.— Пойдемте покатаемся. Я буду грести.

Эндрюс с радостью вскочил с места.

— Смотрите, чтобы она была осторожной, месье Эндрюс! Она страшно неосторожна,— сказала госпожа Род.

— Вы были сегодня смертельно скучны,— сказала Женевьева, когда они вышли на дорогу.

— Нет, но мне кажется, что все эти люди возводят новые преграды между мной и вами. Видит Бог, что их и так достаточно!

Она пристально посмотрела ему в глаза, но ничего не сказала. Они медленно шли по песчаному берегу реки, пока не дошли до старой плоскодонной лодки, привязанной в камышах.

— Она может потонуть... Вы умеете плавать? — спросила девушка со смехом.

Эндрюс улыбнулся и сказал принужденным тоном:

— Я умею плавать. Благодаря этому умению я ушел из армии.

— Что вы хотите сказать?

— Когда я дезертировал.

— Когда вы дезертировали?

Женевьева наклонилась, чтобы спустить лодку. Они протащили ее по берегу, причем почти коснулись головами друг друга, а потом столкнули ее наполовину на воду.

— А если вас поймают?

— Могут расстрелять, я не знаю. Так как война кончена, возможно, что ограничатся пожизненным заключением или по меньшей мере упекут на двадцать лет.

— И вы можете так спокойно говорить об этом?

— Эта мысль для меня не нова.

— Что побудило вас это сделать?

— Я не хотел больше подчиняться каторге.

Женевьева вошла в лодку и взялась за весла.

— Теперь оттолкните ее и не упадите сами! — крикнула она.

Лодка соскользнула в воду. Женевьева начала медленно ритмически взмахивать веслами. Эндрюс глядел на нее, не говоря ни слова.

— Когда вы устанете, я буду грести,— сказал он спустя некоторое время.

Позади них деревня, с белыми и желтыми пятнами домов с бурыми и бледно-красными оштукатуренными стенами и крутыми черепичными крышами, поднималась неправильной пирамидой до самой церкви. Сквозь широкие остроконечные арки колокольни они могли видеть на фоне неба висевшие колокола. Внизу, в реке, отражался весь город, и когда ветер рябил воду, голубовато-стальная полоса затемняла отражение.

Весла ритмически скрипели.

— Помните: когда вы устанете...— снова сказал Эндрюс после продолжительной паузы.

Женевьева сказала сквозь зубы:

— Разумеется, у вас нет патриотизма.

— Так, как вы его понимаете,— нет.

Они обогнули конец песчаной отмели, где течение было сильно. Эндрюс положил руку на весла позади ее рук и стал грести вместе с ней. Нос лодки врезался в камыши, росшие под ивами.

— Мы постоим здесь,— сказала она, складывая весла.

Женевьева обняла руками колена и наклонилась к нему.

— Так вот почему вам понадобился мой револьвер... Расскажите мне все, начиная с Шартра,— сказала она глухим голосом.

— Видите ли, я был арестован в Шартре и послан в дисциплинарный батальон — это равносильно вашей военной тюрьме. Мне не дали возможности сказать хотя бы слово моему начальству по университетской команде.— Он замолчал.

Какая-то птичка распевала в ветвях ивы. Солнце скрылось за облаком, ветер играл бледно-зелеными листьями, небо было покрыто серебристыми и палевыми облаками и местами имело цвет воробьиного яйца.

Эндрюс тихо засмеялся.

— Но, Женевьева, как глупы эти слова, эти надутые слова: «рота», «батальон», «начальство», «офицер». Все это должно было случиться так или иначе. Чаша переполнилась — вот и все. Я не мог больше подчиняться дисциплине... О, эти длинные римские слова, висящие как жернова на человеческой шее! Это также было глупо — я очень охотно пошел помогать убивать немцев, с которыми я не ссорился, из любопытства или из трусости... Вы видите, мне понадобилось много времени для того, чтобы понять, как устроен мир. Не было никого, кто указал бы мне путь.— Он замолчал, как будто выжидая, что скажет она.

Птица в ветвях ивы все еще пела. Вдруг ветер отнес немного в сторону качающуюся ветку, и Эндрюс увидел ее, маленькую серую птичку — горлышко ее раздулось от натуги.

— Мне кажется,— медленно заговорил он,— что в человеческом обществе всегда было так и, может быть, будет всегда так: организации растут и подавляют индивидуумов; индивидуумы, отчаявшись, поднимают против них бунт; наконец, образуют новые общества, чтобы разрушить старые, и в свою очередь снова становятся рабами...

— Я думала, что вы социалист,— перебила Женевьева резким топом, который больно задел его, но он сам не знал почему.

— Один человек в дисциплинарном батальоне рассказывал мне,— снова начал Эндрюс,— что они мучили там его друга, заставляя его глотать зажженные папиросы. Ну так вот, каждое приказание, отданное мне, каждое новое унижение перед властями для меня было таким же страданием. Вы можете это понять? — Его голос возвысился до мольбы.

Она кивнула головой. Они сидели молча. Легкий ветер играл листьями ивы. Птичка замолкла.

— Ну, расскажите же мне о том, как вы уплыли. Это интересно.

— Мы работали по разгрузке цемента в Пасси — цемента для стадиона, который армия приносит в дар Франции и который будет выстроен руками рабов, как пирамиды.

— Пасси — это где жил Бальзак? Вы видели там его дом?

— Со мной вместе работал юноша, его прозвали Малышом. Без него я никогда бы не сделал этого. Я был со-

вершенно разбит... Думаю, что он утонул... Как бы то ни было, мы плыли под водой так долго, насколько это было в наших силах, и, так как было почти темно, мне удалось достигнуть барки, где меня и приютила одна любопытная анархистская семья. С тех пор я никогда не слышал о Малыше. Там я купил это платье, которое вас так забавляет, Женевьева, и вернулся обратно в Париж, главным образом чтобы разыскать вас.

— Я так много значу для вас? — прошептала Женевьева.

— Я пытался найти одного юношу, его звали Марсель и он работал на ферме около Сен-Жермена. Я познакомился с ним случайно. Я узнал, что он бросил место и ушел в море. Если бы мне не так хотелось видеть вас, я бы отправился прямо в Бордо или Марсель. Они не очень теперь разбираются, кого берут в матросы. Взяли бы и меня.

— Но ведь и в армии с вас было довольно этой ужасной жизни, когда вам приходится жить среди людей, всегда в грязи, вонючем воздухе, вам — человеку с чувствительной душой, артисту? Неудивительно, что после нескольких лет такой жизни вы едва не сошли с ума.

Женевьева говорила страстно, не сводя с него глаз.

— О, не в этом дело,— сказал Эндрюс с отчаянием в голосе.— Я скорее люблю этот народ, который вы называете простым. Во всяком случае, различия между людьми так незначительны...

Фраза у него оборвалась. Он замолчал и беспокойно завозился на скамейке, боясь разрыдаться. Вдруг взгляд его упал на твердые очертания револьвера.

— Но разве вы ничего не можете сделать? У вас должны быть друзья! — страстно заговорила Женевьева.— С вами поступили возмутительно несправедливо. Вы должны восстановить себя в правах и как следует демобилизоваться. Они увидят, что вы интеллигентный человек. Они не могут обращаться с вами, как с первым попавшимся.

— Должно быть, я, как вы говорите, немножко сумасшедший, Женевьева,— сказал Эндрюс.— Но теперь, когда я по чистой случайности сделал шаг, хотя и слабый, по пути к освобождению человека, я не могу так чувствовать... О, должно быть, я сумасшедший... Но берите меня таким, каков я есть, Женевьева.

Он сидел с опущенной на грудь головой, ухватившись руками за уключины.

Спустя долгое время Женевьева сухо проговорила:

— Ну, поедем обратно — время пить чай.

— Я буду грести,— сказал Эндрюс.

Лодку быстро несло по течению. Через несколько минут они пристали к берегу напротив дома Женевьевы.

— Пойдемте пить чай,— сказала Женевьева.

— Нет, я должен работать.

— Вы пишете что-нибудь новое?

Эндрюс кивнул головой.

— Как называется?

— «Душа и тело Джона Брауна».

— Кто это Джон Браун?

— Это был сумасшедший, желавший освободить людей. О нем сложена песня.

— Это основано на народных мотивах?

— Нет, насколько я знаю... Я только вчера задумал это. Имя Джона Брауна пришло мне в голову в силу любопытной случайности.

— Вы придете завтра?

— Если вы не будете очень заняты.

— Дайте сообразить. Буало придут к завтраку. К чаю никого не будет. Мы можем пить чай одни.

Он взял ее руку и задержал в своей, неловко, как ребенок, знакомящийся с новым товарищем.

— Хорошо, к четырем. Если никого не будет, мы займемся музыкой,— сказал он.

Она быстро выдернула у него руку, сделала формальный прощальный жест и пошла через дорогу к воротам не оглядываясь. В голове у него была одна мысль — добраться до своей комнаты, затворить дверь и броситься лицом на постель. «Не знаю, не буду ли я плакать»,— подумал он.

Госпожа Бонкур сходила с лестницы, когда он поднимался. Он сошел вниз и подождал. Когда она поравнялась с ним, отдуваясь немного, то сказала ему:

— Значит, вы друг мадемуазель Род, месье?

— Как вы узнали об этом?

Две ямочки появились на ее щеках у углов губ.

— Вы понимаете, живя в деревне, обо всем узнаешь,— сказала она.

— До свиданья,— сказал он, поднимаясь по лестнице.

— Но, месье... Вы должны были сказать мне. Если бы я знала, я бы не просила вас платить вперед! О, никогда! Вы должны извинить меня, месье.

— Хорошо.

— Месье американец? Вы видите, я много кое-чего знаю.— Ее одутловатые щеки тряслись, когда она смея-

лась.— И месье знаком уже давно с мадам и мадемуазель Род. Старый друг! Месье музыкант?

— Да. Доброй ночи! — Эндрюс взбежал по лестнице.

— До свиданья, месье.

Ее певучий голос несся ему вслед. Он захлопнул за собой дверь и бросился на постель.

Когда Эндрюс проснулся на следующее утро, первая его мысль была о том, как долго ему придется ждать сегодня часа, когда он увидит Женевьеву. Потом он вспомнил их разговор накануне. Стоило ли вообще идти, чтобы увидеться с ней, спрашивал он самого себя. Он чувствовал, как постепенно им овладевает холодное отчаяние. Одну минуту ему казалось, что он был единственным живым существом в мире мертвых машин; жабой, пробирающейся через дорогу под носом у парового катка. Вдруг ему пришла на намять Жанна. Он вспомнил ее испорченные работой пальцы, лежащие у нее на коленях. Он представил себе, как она в одну из сред вечером ходила взад и вперед перед кафе «Роган», тщетно ожидая его. Что бы сделала Жанна на месте Женевьевы? В сущности, люди всегда одиноки; как бы они ни любили друг друга, настоящего единения быть не может. Те, которые едут в карете, никогда не будут чувствовать так, как чувствуют другие — жабы, скачущие через дорогу. Он не чувствовал злобы к Женевьеве.

Эти мысли скользили у него в голове, пока он пил кофе и ел сухой хлеб (это был весь его завтрак); а потом, бродя взад и вперед по берегу реки, он чувствовал, что его ум и тело как бы расплавляются и, изгибаясь и дрожа, склоняются перед напором музыкальных волн в нем, как тополя склоняются под ветром. Он очинил карандаш и снова поднялся в свою комнату.

Небо в этот день было безоблачно. Когда он сел за свой стол, голубой четырехугольник в окне, и холмы, увенчанные ветряными мельницами, и серебристо-голубая поверхность реки — все это было постоянно перед его глазами. Временами он быстро записывал ноты, не чувствуя ничего, не думая ни о чем, не видя ничего; по временам он подолгу сидел, глядя на небо и на ветряные мельницы с каким-то смутным ощущением счастья, забавляясь игрой неожиданных мыслей, которые приходили и исчезали, подобно ночным бабочкам, влетающим в окно, чтобы, побившись о потолок, наконец исчезнуть не зная куда.

Когда часы пробили двенадцать, он почувствовал, что очень голоден. В течение двух дней он не ел ничего, кроме хлеба, сосисок и сыру. Найдя госпожу Бонкур внизу, за стойкой, вытирающей стаканы, он заказал ей обед. Она принесла ему сразу тушеное мясо и бутылку вина и, встав около него подбоченясь и показывая ямочки на толстых, красных щеках, наблюдала, как он ел.

— Месье ест меньше, чем все молодые люди, которых я когда-либо видела,— сказала она.

— Я усиленно работаю,— сказал Эндрюс, вспыхнув.

— Но, если вы работаете, вы должны много кушать, очень много.

— А если денег мало? — спросил Эндрюс, улыбаясь.

Что-то, мелькнувшее на минуту в ее жестоком, проницательном взгляде, испугало его.

— Здесь немного народу, месье, но вы увидите, что будет в базарный день... Месье угодно что-нибудь на десерт?

— Сыр и кофе.

— Больше ничего? Теперь сезон земляники.

— Больше ничего, благодарю вас.

Вернувшись и принеся сыр, госпожа Бонкур сказала:

— У меня раз были здесь американцы, месье. Хорошее было времечко, нечего сказать. Они были дезертиры. Они ушли, ничего не заплатив, в сопровождении жандармов. Я надеюсь, что их поймали и послали на фронт, этих бездельников.

— Всякие бывают американцы,— сказал Эндрюс глухим голосом; он злился на себя за то, что у него так сильно билось сердце.— Ну, я пойду пройтись. До свиданья!

— Месье идет погулять? Желаю много удовольствия, месье. До свиданья, мсье! — Монотонный голос госпожи Бонкур неслся ему вслед.

Немного раньше четырех Эндрюс постучался к Родам. Он слышал, как внутри лаял Санто, маленький черный с каштановым терьер. Госпожа Род сама отперла ему дверь.

— А, это вы? — сказала она.— Заходите, будем пить чай. Хорошо шла сегодня работа?

— А Женевьева? — пробормотал Эндрюс.

— Она уехала кататься на автомобиле со знакомыми... Она оставила вам записку. Вон там, на чайном столе!

Он поддерживал разговор, задавал вопросы, отвечал, клал в рот куски кекса и делал все это в каком-то густом тумане.

«Жан! Я думала о том, каким образом помочь вам. Вы должны уехать в нейтральное государство. Почему вы не поговорили сначала со мной, прежде чем отрезать себе все пути к возвращению? Я буду дома завтра в это же время. Ваша *Ж. Р.*».

— Вас не побеспокоит, если я поиграю несколько минут на рояле, мадам Род? — вдруг спросил Эндрюс.

— Нет, пожалуйста. Мы придем потом и будем вас слушать.

Только выйдя из комнаты, он сообразил, что разговаривал не только с мадам Род, но и с двумя кузинами.

За роялем он забыл обо всем, и к нему снова вернулось настроение, полное какой-то смутной радости. Он нашел в кармане бумагу и карандаш и стал играть ту тему, которая пришла ему в голову, когда он мыл окна, стоя наверху складной лестницы в учебном лагере. Он аранжировал ее, формулировал, забыв обо всем, погруженный в ритмы и каденции.

Когда он кончил работать, было почти темно. Женевьева Род, с головой, окутанной вуалью, стояла у итальянского окна, выходящего в сад.

— Я слушаю вас,— сказала она.— Продолжайте!

— Я кончил. Как покатались?

— Я люблю автомобили. Нечасто выпадает случай покататься.

— Нечасто также выпадает на мою долю случай поговорить с вами наедине! — воскликнул с горечью Эндрюс.

— Вы, кажется, думаете, что имеете право собственности на меня? Я ненавижу это, никто не имеет прав на меня!

Она говорила так, как будто не первый раз повторяла про себя эту фразу.

Он встал со своего места и, подойдя к окну, облокотился на него рядом с Женевьевой.

— Разве вы изменили свое отношение ко мне, Женевьева, узнав, что я стал дезертиром?

— Нет, конечно, нет,— поспешила она ответить.

— Я думаю, что да, Женевьева. Что вы хотите, чтобы я сделал? Не думаете ли вы, что я должен сдаться? Один человек, которого я знал в Париже, сдался, но он не снимал формы. По-видимому, это меняет дело. Он был славный малый. Его звали Эл, он был из Сан-Франциско. У него были сильные нервы — он сам отрезал себе мизинец, когда его рука была раздроблена товарным вагоном.

— О нет, нет! О, это так ужасно! А вы будете великим композитором, я в этом уверена!

— В самом деле, буду? Та вещь, над которой я работаю сейчас, лучше всех тех мелочей, которые я писал до сих пор,— я это знаю.

— О да, но вам нужно будет учиться, чтобы стать известным.

— Если я смогу продержаться шесть месяцев — я спасен. Армия уйдет. Я не верю, что они будут выдавать дезертиров.

— Да, но позор этого... И эта опасность быть пойманным в течение всего этого времени...

— Я стыжусь многих поступков в своей жизни, Женевьева, но этим я скорее горжусь.

— Но разве вы не можете понять, что другие люди не разделяют ваших представлений о свободе личности?

— Мне нужно идти, Женевьева.

— Вы должны скоро прийти опять.

— На днях...

Когда он вышел на дорогу с пачкой измятой нотной бумаги в руке, были уже сумерки. Дул ветер. Небо было покрыто красными облаками, предвестниками бури; между ними были промежутки светло-красного и опалового цвета. Несколько капель дождя упали вместе с ветром, шелестевшим в широких листьях лип и поднявшим волны в полях пшеницы, как на море; река казалась совсем черной среди розоватых песчаных берегов. Начал накрапывать дождь. Эндрюс скорым шагом шел домой, чтобы не замочить свой единственный костюм. Придя к себе в комнату, он зажег четыре свечи и поставил их по углам стола. Слабый красноватый свет заката проникал еще в комнату сквозь сетку дождя, и от этого пламя свечей казалось каким-то призрачным. Потом он сел на кровать и, глядя на колеблющееся отражение света в потолке, пытался размышлять.

— Ну, ты теперь один, Джон Эндрюс,— сказал он вслух после получасового размышления и весело вскочил на ноги.

Он потянулся и зевнул. Дождь бил в окно долго и упорно.

— Сделаем маленький подсчет,— сказал он самому себе.— Я уже истратил двадцать франков на еду. Так не может продолжаться. Теперь в моем распоряжении том Виллона, книга о контрапункте в зеленом переплете, кар-

та Франции, разорванная пополам, и средний, хорошо вооруженный знаниями, ум.

Он положил обе книги перед собой на середину стола, поверх беспорядочной груды нот и нотной бумаги. Потом продолжал нагромождать свое имущество в том порядке, в каком оно приходило ему на память. Два карандаша, автоматическое перо. Бессознательно схватился за часы, но вспомнил, что отдал их Элу, чтобы тот заложил их на случай, если он не решится отдаться в руки властей и будет нуждаться в деньгах. Зубная щетка. Прибор для бритья. Кусок мыла. Головная щетка и сломанная гребенка. Еще что? Он пощупал в сумке, висевшей в ногах кровати. Коробка спичек. Перочинный нож с недостающим лезвием и начатая папироса. Веселость все возрастала в нем с минуты на минуту, когда он созерцал всю эту кучу. Потом он вспомнил, что в комоде лежат еще чистая рубашка и две пары грязных носков. И это было все, абсолютно. Ничего, что можно было бы продать, за исключением револьвера Женевьевы. Он вынул его из кармана. Блестящая сталь сверкнула под пламенем свечи. Нет, он ему может понадобиться. Это слишком ценная вещь, чтобы ее продавать.

Он направил дуло на себя. Под подбородок, говорят, самое лучшее место. Он подумал, сможет ли нажать собачку, когда дуло будет направлено на его подбородок. Нет, когда его деньги выйдут, он продаст револьвер. Это дорогой способ лишения себя жизни для умирающего от голода человека. Он сел на край постели и засмеялся.

Потом он сделал открытие, что ему очень хочется есть. «Два обеда в один день, возмутительно!» — сказал он самому себе. Весело насвистывая, как школьник, он сошел вниз по шаткой лестнице, чтобы заказать госпоже Бонкур обед.

Со страшным испугом он заметил, что мотив, который он насвистывал, был опять тот же:

> Джона Брауна тело уж тлеет в могиле,
> А душа поднимается ввысь.

Липы уже были в цвету. От дерева, стоявшего за домом, в окно доносилась струя аромата, тяжелого, как фимиам. Эндрюс лежал на столе с закрытыми глазами, зарывшись лицом в кучу нотной бумаги. Он был очень утомлен. Первые такты «Души и тела Джона Брауна» были уже занесены на бумагу. Деревенские часы проби-

ли два. Он встал на ноги и с минуту стоял, глядя в окно отсутствующим взглядом. Над рекой низко висели пухлые тучи. День был душный. Мельница на вершине холма стояла без движения. Ему казалось, что он слышал голос Женевьевы в последний раз очень давно. «Вы были бы великим композитором...» Он подошел к столу и перевернул несколько листов, не глядя на них. «Были бы...» Он пожал плечами. Значит, вы не можете быть в одно и то же время великим композитором и дезертиром. Возможно, что Женевьева права. Но он должен что-нибудь съесть.

— Но уже поздно,— недовольно сказала госпожа Бонкур, когда он попросил у нее поесть.

— Я знаю, что очень поздно. Я только что кончил третью часть своей работы, над которой сижу сейчас.

— И что же, вам хорошо заплатят, когда вы кончите? — спросила госпожа Бонкур, и ямочки снова показались на ее широких щеках.

— Когда-нибудь, возможно.

— Вы теперь будете в одиночестве, когда семейство Род уехало?

— Они уехали?

— Разве вы не знали? Разве вы не ходили к ним прощаться? Они уехали на берег моря. Но я сделаю вам маленькую яичницу.

— Благодарю вас.

Когда госпожа Бонкур вернулась с яичницей и жареной картошкой, она сказала ему таинственным тоном:

— Последние недели вы не так часто ходили к Родам.

— Нет.

Госпожа Бонкур стояла, уставившись на него, с руками сложенными на груди и покачивая головой.

Когда он снова стал подниматься по лестнице, она внезапно выкрикнула:

— А когда же вы намерены заплатить мне? Уже прошло две недели с последнего платежа.

— Но, мадам Бонкур, я же говорил вам, что у меня нет денег. Подождите день или два. Я уверен, что скоро получу по почте. Это будет не позже как дня через два.

— Я эту историю слышала уже раньше.

— Я даже пробовал искать работу на окрестных фермах.

Госпожа Бонкур откинула назад голову и захохотала, показывая черные зубы нижней челюсти.

— Слушайте,— сказала она наконец,— когда пройдет эта неделя — кончено! Вы или расплатитесь со мной, или... Имейте в виду, что я сплю очень чутко, месье! — Ее голос вдруг принял обычную монотонность.

Эндрюс выскочил из комнаты и побежал к себе наверх.

— Я должен сегодня же навострить лыжи,— сказал он самому себе.

А вдруг на следующий день прибудут деньги? Весь остаток дня он мучился в нерешительности.

В этот вечер он предпринял дальнюю прогулку. Проходя мимо дома Родов, он увидел, что ставни закрыты. Он почувствовал облегчение от сознания, что Женевьева не живет больше по соседству с ним. Его одиночество теперь стало полным.

Так почему же, задавался он вопросом, вместо того чтобы сочинять музыку, которая заслуживала бы внимания, если бы он не был дезертиром, почему он не делал раньше попытки действовать, совершить какой-нибудь, хотя бы самый слабый, акт ради освобождения других людей? Удалось же ему, отчасти благодаря случайности, освободиться самому от каторжной мельницы. Разве он не мог бы помочь другим? Если бы он мог изменить свою жизнь с самого начала! Нет, он еще не дожил до того, чтобы быть достойным носить имя Джона Брауна.

Было темно, когда он вернулся в деревню. Он решился прождать еще один день.

На следующее утро он принялся работать над второй частью. Отсутствие рояля очень затрудняло его работу, но он все же сказал себе, что должен записать то, что может, так как он не скоро еще будет снова иметь досуг.

Однажды ночью он потушил свечу и встал у окна, наблюдая, как река сверкает при свете луны. Он услышал мягкие, тяжелые шаги в прихожей. Пол затрещал, и ключ повернулся в замке. Шаги снова раздались на лестнице. Джон Эндрюс громко захохотал. Окно было на высоте всего только двадцати футов от земли, но на нем была решетка. Он лег в постель с чувством удовлетворения. Он должен спать хорошо, так как завтра ночью он выскочит в окно и направит свой путь в Бордо.

Утро следующего дня. Дул сильный ветер, играя листами бумаги, над которыми работал Эндрюс. Река переливала голубыми, серебряными и шиферными полосами. Крылья мельницы быстро вертелись на фоне громоздившихся туч. Запах лип доносился только при сильных по-

рывах ветра. Наперекор самому себе он не мог отделаться от мотива «Тела Джона Брауна», застрявшего у него в голове. Эндрюс сидел с карандашом у самого рта, тихонько насвистывая, в то время как в глубине его как будто многочисленный хор пел:

Джона Брауна тело уж тлеет в могиле,
А душа поднимается ввысь.
Слава, слава, аллилуйя!
А душа поднимается ввысь.

«Если бы только можно было найти свободу, идя за ней»,— мелькнула в голове мысль.

Вдруг тело его сразу напряглось, руки судорожно сжали край стола.

Какой-то американец прогнусавил под его окном:

— Может быть, она дурачит нас, Чарли?

У Эндрюса потемнело в глазах. Он будто упал с головокружительной высоты. Боже мой, неужели события могут повториться? Неужели все повторяется снова? Ему казалось, что он слышит голоса, шепчущие ему на ухо: «Научите-ка его, как отдавать честь!»

Он вскочил на ноги и открыл ящик стола. Он был пуст. Женщина взяла револьвер.

«Значит, все было подстроено».

— Она знала,— произнес он вслух глухим голосом.

Он сразу стал спокоен.

Человек в лодке спускался по реке. Лодка была выкрашена в ярко-зеленый цвет; человек был одет в странную куртку темно-бурого цвета и держал в руке удочку.

Эндрюс снова опустился на стул. Лодка теперь уже скрылась из глаз, но видна была мельница, которая вертелась и вертелась на фоне громоздившихся белых облаков.

На лестнице раздались шаги.

Две ласточки, щебеча, описали кривую около окна так близко, что Эндрюс мог рассмотреть узоры на их крылышках и их лапки, сложенные на бледно-серых грудках.

В дверь постучали.

— Войдите! — твердо сказал Эндрюс.

— Прошу извинить меня,— сказал солдат, держа в руке свою шляпу с красным бантом.— Вы американец?

— Да.

— Женщина внизу говорит, что ей кажется, будто ваши бумаги не в порядке,— бормотал солдат в смущении.

Глаза их встретились.

— Нет, я дезертир,— сказал Эндрюс.

Военный полицейский схватил свой свисток и сильно дунул в него. За окном раздался ответный свист.

— Соберите ваши вещи.

— У меня нет ничего.

— Хорошо, спуститесь спокойно по лестнице впереди меня.

Мельница все вертелась и вертелась на фоне громоздившихся белых облаков.

Эндрюс оглянулся. Полицейский запер за собой дверь и следом за ним стал спускаться по лестнице.

На письменном столе Эндрюса сильный ветер шелестел большими листами бумаги. Сначала один лист, потом другой полетели со стола, пока весь пол не был усыпан ими.

МАНХЭТТЕН

роман

Часть первая

I. ПАРОМ У ПРИСТАНИ*

Три дикие чайки кружатся над разбитыми ящиками, над апельсинными корками, над гнилыми кочнами капусты, выглядывающими из-за расщепленных свай. Зеленые волны пенятся под круглым носом, паром тормозит течение, громыхает, глотает взволнованную воду, скользит, медленно входит в гнездо. Жужжат лебедки, грохочут цепи. Ворота распахиваются, шаркают ноги, мужчины и женщины жмутся в деревянном, пропахшем навозом туннеле, тиская и толкая друг друга, как яблоки под прессом.

Держа корзину, точно ночную посудину, в отставленных руках, сиделка открыла дверь в большую, сухую, жаркую комнату с зелеными выцветшими стенами. В воздухе, пропитанном запахом спирта и йодоформа, дрожал мучительный, слабый, унылый крик. Он доносился из ряда корзин, висевших вдоль стены. Поставив свою корзину на пол, поджав губы, сиделка заглянула в нее. Новорожденный ребенок слабо копошился в вате, точно комок земляных червей.

На пароме пожилой мужчина играл на скрипке. У него было обезьянье лицо, стянутое все в одну сторону, и он отбивал такт носком потрескавшегося лакового башмака. Бэд Корпнинг сидел на перилах спиной к реке и наблюдал за ним. Ветерок играл его волосами, выбившимися из-под тесной кепки, и холодил потные виски. Его ноги были покрыты пузырями, усталость давила его свинцовой тяжестью, но когда паром отошел от берега, вздымая ленивые, лепечущие волны, он сразу ощутил какой-то теплый, пронизывающий трепет.

— Скажите-ка, приятель, как далеко от пристани до города? — спросил он молодого человека в соломенной шляпе и полосатом галстуке, стоявшего рядом с ним.

Молодой человек перевел глаза с изношенных башмаков Бэда на красные кисти рук, свисавшие из потертых рукавов куртки, потом на пергаментную, индюшечью шею и встретил напряженный взгляд из-под изломанного козырька.

— Зависит от того, в какое место города вам нужно.

— Мне нужно на Бродвей*, в центр — туда, где можно достать работу.

— Пройдите один квартал на восток, сверните на Бродвей, прогуляйтесь как следует — может, что́ и найдете.

— Благодарю вас, сэр. Так и сделаю.

Скрипач обходил толпу с протянутой шляпой, ветер развевал пряди седых волос на его жалкой плешивой голове. Бэд увидел склоненное к нему лицо; глаза, точно две черные шпильки, пронизывали его.

— Нет ничего,— сказал он грубо и отвернулся, глядя на реку, сверкавшую, как лезвие ножа.

Гнилые сваи гнезда затрещали, когда паром стукнулся о них; загрохотали цепи, и толпа вынесла Бэда на берег. Он протиснулся между двумя вагонами с углем и вышел на пыльную улицу. Его колени дрожали. Он глубоко засунул руки в карманы.

На улице стоял фургон-ресторан. Он неуклюже сел на вращающийся стул и долго просматривал меню.

— Яичницу и чашку кофе.

— Перевернуть? — спросил рыжий буфетчик; он стоял за прилавком и вытирал передником мясистые, веснушчатые руки.

Бэд Корпнинг вздрогнул и выпрямился.

— Что?

— Я говорю — яйца перевернуть или вам простую глазунью?

— Да, конечно, переверните.— Бэд снова склонился над прилавком, обхватив голову руками.

— Видать, здорово устали, приятель,— сказал буфетчик, выпуская яйца в шипящий жир сковороды.

— Я не здешний. Сегодня утром я прошел пятнадцать миль.

Буфетчик свистнул сквозь зубы.

— Пришли в город искать работу, а?

Бэд кивнул.

Буфетчик шлепнул шипящую, подрумяненную яичницу на тарелку и пододвинул ее Бэду вместе с хлебом и маслом.

— Я вам кое-что посоветую, приятель. Совет даровой. Побрейтесь-ка, постригитесь и стряхните солому с платья, раньше чем отправитесь искать работу. Легче найдете. Тут с этим очень считаются.

— Я хороший работник,— промычал Бэд с набитым ртом.

— Да я так просто,— сказал рыжий буфетчик и отвернулся к плите.

Когда Эд Тэтчер поднимался по мраморной больничной лестнице, он весь дрожал. Запах лекарств перехватил ему дыханье. Женщина с накрахмаленным лицом смотрела на него из-за конторки. Он постарался придать своему голосу твердость.

— Скажите, пожалуйста, как чувствует себя миссис Тэтчер?

— Поднимитесь наверх.

— А все ли благополучно, мисс?

— Все узнаете у сиделки. Лестница налево, третий этаж, родильная палата.

Эд Тэтчер держал букет цветов, завернутый в зеленую восковую бумагу. Широкие ступеньки уходили у него из-под ног, он стукался носками сапог о медные палки, стягивавшие фибровую дорожку*. Где-то захлопнулась дверь и оборвала придушенный крик. Он остановил проходившую сиделку.

— Я хотел бы видеть миссис Тэтчер.

— Идите, если вы знаете, где она.

— Ее куда-то перенесли.

— Тогда спросите у конторки в конце приемной.

Он закусил похолодевшие губы. В конце приемной краснолицая женщина смотрела на него, улыбаясь.

— Все прекрасно. Вы — счастливый отец прелестной девочки.

— Видите ли, это наш первый ребенок, а Сузи такая хрупкая...— пролепетал он, моргая.

— О, я понимаю, вы волнуетесь... Можете войти и побеседовать с ней, когда она проснется. Младенец родился два часа тому назад. Только не утомляйте роженицу.

Эд Тэтчер был маленький человек с двумя светлыми пучками усов, с водянистыми серыми глазами. Он схватил руку сиделки и потряс ее, обнажая в улыбке неровные желтые зубы.

— Понимаете, первый ребенок...

— Поздравляю,— сказала сиделка.

Ряды кроватей в желтом свете газа, тяжелый запах сбившихся простынь, лица — толстые, тонкие, желтые, белые. Вот она. Желтые волосы Сузи лежали прядями вокруг маленького, бледного личика, казавшегося сморщенным. Он развернул розы и положил их на ночной столик. Он посмотрел в окно, и ему показалось, что он

смотрит в воду. Деревья в садике были окутаны голубой паутиной. На авеню вспыхивали фонари, заливая зеленым сиянием кирпично-красные массивы домов; желоба и трубы врезались в небо, багровое, как мясо. Синие веки приподнялись.

— Это ты, Эд?.. К чему это, Эд? Как ты расточителен.

— Не мог удержаться, дорогая,— ты их так любишь.

Сиделка возилась у кровати.

— Можно посмотреть на малютку, мисс?

Сиделка кивнула. У нее были впалые щеки, серое лицо и сжатые губы.

— Я ненавижу ее,— прошептала Сузи.— Она меня раздражает, эта женщина. Скверная старая дева!

— Не обращай внимания, дорогая, потерпи еще день-два.

Сузи закрыла глаза.

— Ты все еще хочешь назвать ее Эллен?

Сиделка принесла корзинку и поставила ее на кровать около Сузи.

— Какая прелесть! — воскликнул Эд.— Смотри — она дышит. Они намазали ее маслом.

Он помог жене приподняться на локте; желтая прядь ее волос распустилась, упала на его руку.

— Как вы отличаете их, нянюшка?

— Бывает, что и не отличаем,— ответила сиделка, растягивая рот в улыбку.

Сузи жалобно посмотрела на крошечное багровое личико.

— Вы уверены, что это моя?

— Конечно.

— Но ведь на ней нет никакой отметки.

— Я потом отмечу.

— Но моя была черноволосая! — Сузи упала на подушку, задыхаясь.

— У нее чудный светлый пушок, того же цвета, что ваши волосы.

Сузи подняла руки над головой и пронзительно закричала:

— Это не моя, не моя! Уберите ее... Эта женщина украла моего ребенка!

— Дорогая, ради Бога. Дорогая, ради Бога.— Он попробовал натянуть на нее одеяло.

— Скверно,— сказала сиделка, спокойно забирая корзинку.— Надо будет дать ей успокоительное.

Сузи сидела на кровати, выпрямившись.

— Уберите ее! — закричала она и забилась в истерике.

— О Господи! — крикнул Эд Тэтчер, ломая руки.

— Вы лучше уходите, мистер Тэтчер. Она успокоится сразу, как только вы уйдете. Я поставлю розы в воду.

На лестнице он поравнялся с толстым мужчиной, который медленно спускался вниз, потирая руки. Их взгляды встретились.

— Все в порядке? — спросил толстый мужчина.

— Да, кажется,— слабо сказал Тэтчер.

Толстый мужчина повернулся к нему; в его хриплом голосе булькала радость.

— Поздравьте меня, поздравьте меня! Моя жена родила мальчика.

Тэтчер пожал его пухлую маленькую руку.

— А у меня девочка,— робко сказал он.

— Пять лет подряд каждый год по девочке, а теперь, представьте себе, мальчик.

— Да,— сказал Эд Тэтчер,— это великий день.

— Вы не откажетесь, сэр, выпить со мной по этому поводу? Позвольте пригласить вас.

— С удовольствием.

На углу Третьей авеню хлопали решетчатые двери бара. Аккуратно вытерев ноги, они прошли в заднюю комнату.

— Ах,— сказал толстый мужчина (по-видимому, немец), усаживаясь за изрезанный коричневый стол,— семейная жизнь причиняет много беспокойств.

— Совершенно верно, сэр. Это мой первый ребенок.

— Угодно вам пива?

— Пожалуйста, мне все равно.

— Две бутылки «кульмбахского» — моего родного.

Хлопнули пробки, и окрашенная сепией пена поднялась в стаканах.

— За наши успехи... Прозит! — сказал немец и поднял свой стакан. Он отер пену с усов и ударил по столу розовым кулаком.— Не сочтите за нескромность, мистер...

— Меня зовут Тэтчер.

— Не сочтите за нескромность, мистер Тэтчер, если я полюбопытствую — какова ваша профессия?

— Счетовод. Надеюсь в скором времени стать главным счетоводом.

— А я владелец типографии, и зовут меня Зухер, Марк Антоний Зухер.

— Очень приятно, мистер Зухер.

Они пожали друг другу руки над столом между бутылками.

— Главные счетоводы зарабатывают много денег,— сказал мистер Зухер.

— Мне нужно много денег — для моей девочки.

— Дети поглощают много денег,— заметил мистер Зухер густым басом.

— Разрешите угостить вас бутылочкой,— сказал Тэтчер, высчитывая, сколько у него денег в кармане.

«Бедняжка Сузи была бы недовольна, если б узнала, что я пью в таком кабаке. Ну, ничего, только один раз; и я учусь, учусь законам отцовства».

— Чем больше, тем веселее,— сказал мистер Зухер.— Да, я говорю, дети поглощают много денег... Ничего не делают — только едят и изнашивают платье. Когда я поставлю свое дело на ноги... Ах! Так все это трудно — закладные заедают, денег занять негде, заработная плата растет, а тут еще эти сумасшедшие социалисты с их профессиональными союзами, бродяги...

— Ну ничего, мистер Зухер.

Мистер Зухер выжал пену из усов большим и указательным пальцами.

— Верно, ведь не каждый же день рождается мальчик, мистер Тэтчер.

— Или девочка, мистер Зухер.

Бармен принес еще несколько бутылок, вытер стол и остановился неподалеку, прислушиваясь; полотенце болталось на сгибе его красной руки.

— И я надеюсь, что, когда мой сын будет вспрыскивать рождение своего сына, он будет пить шампанское. Да, вот такие-то дела...

— Я бы хотел, чтобы моя девочка была скромной и тихой — не то что нынешние барышни; они только и думают, что о тряпках, кружевах, да шелковых чулочках. А я к тому времени уйду со службы, обзаведусь домиком на Гудзоне*, буду по вечерам копаться в саду... У меня есть знакомые — они ушли на покой с тремя тысячами в год. Копить надо — в этом весь секрет.

— Никакого смысла нет копить,— сказал бармен.— Я десять лет копил, а банк возьми и лопни. Только чековая книжка мне и осталась. Надо завести знакомства на бирже и воспользоваться подходящим случаем — это единственный шанс.

— Так ведь это чистейший азарт,— ответил Тэтчер.

— А вы что думали, сэр? Азарт и есть,— сказал бармен и пошел к стойке, помахивая двумя пустыми бутылками.

— Азарт! Но он прав,— сказал мистер Зухер, глядя в свой стакан стеклянными, задумчивыми глазами.— Честолюбивый человек должен ловить шанс. Честолюбие погнало меня сюда из Франкфурта, когда мне было двенадцать лет. А теперь у меня есть сын, и он будет работать... Я назову его Вильгельмом, в честь нашего великого кайзера*.

— А моя дочка будет Эллен, как моя мать.— Глаза Эда Тэтчера налились слезами.

Мистер Зухер встал.

— Ну, до свиданья, мистер Тэтчер. Очень приятно было познакомиться. Мне пора домой, к моим девочкам.

Тэтчер еще раз пожал пухлую руку. Теплые, нежные мысли о материнстве и отцовстве, об именинных тортах и Рождестве проносились в его голове; сквозь пенную, окрашенную сепией пелену он смотрел, как мистер Зухер выходил из бара. Вдруг он протянул руки. «Бедняжка Сузи была бы недовольна, если бы узнала, что я здесь... Все для нее и для малютки!»

— А платить кто будет? — рявкнул бармен, когда он дошел до дверей.

— Разве тот не заплатил?

— Черта с два!

— Да ведь он у-угощал меня...

Бармен расхохотался, загребая деньги красной ладонью. «Он копит — видно, он в это дело все-таки верит».

Маленький, бородатый, кривоногий человек в котелке шел по Аллен-стрит*, по исполосованному солнцем переходу, увешанному небесно-голубыми, багрово-красными и горчично-желтыми одеялами, уставленному подержанной дубовой мебелью. Сложив холодные руки за спиной, над фалдами сюртука, он пробирался между ящиками и снующими детьми. Он кусал губы и то сплетал, то расплетал пальцы. Он шел не слыша детского крика и убийственного грохота воздушных поездов* над его головой, не чувствуя тошнотворного, сладкого, одуряющего запаха скученных жилищ.

У желтой двери аптекарского магазина на углу Канала* он остановился и уставился невидящим взглядом на зеленую рекламу. На ней было изображено солидное, чисто выбритое, почтенное лицо с дугообразными бровями и пушистыми, аккуратно подстриженными усами — лицо человека, у которого есть деньги в банке; оно торжест-

венно возвышалось над стоячим воротником с отогнутыми уголками и широким, просторным черным галстуком. Под ним конторским почерком было выведено: «Кинг С. Жиллет»*. Сверху красовался девиз: «Не точить, не править». Бородатый человек сдвинул котелок с потного лба на затылок и долго глядел в гордые, многодолларовые глаза Кинга С. Жиллета. Потом он стиснул кулаки, расправил плечи и вошел в аптекарский магазин.

Жены и дочерей не было дома. Он согрел чашку воды на газовой плите. Ножницами, найденными на камине, отрезал длинные коричневые пряди бороды. Потом стал очень осторожно бриться новой, никелевой, сверкающей безопасной бритвой. Он стоял перед тусклым зеркалом и, дрожа, поглаживал пальцами свои гладкие белые щеки. Подстригая усы, он услышал за своей спиной шум. Он повернул к вошедшим свое лицо — гладкое, как лицо Кинга С. Жиллета, лицо с многодолларовой улыбкой. У двух девочек глаза вылезли из орбит.

— Мама... Посмотри на папу! — закричала старшая.

Жена ввалилась в комнату, как корзина с бельем, и закрыла передником лицо.

— Ой! Ой! — завыла она, покачиваясь.

— В чем дело? Тебе не нравится? — Он зашагал по комнате, размахивая сияющей безопасной бритвой и нежно поглаживая пальцами свой гладкий подбородок.

II. СТОЛИЦА

Были Вавилон и Ниневия — они были построены из кирпича*. Афины — золото-мраморные колонны. Рим — широкие гранитные арки. В Константинополе минареты горят вокруг Золотого Рога*, точно огромные канделябры... Сталь, стекло, черепица, цемент — из них будут строиться небоскребы. Скученные на узком острове миллионнооконные здания будут, сверкая, вздыматься — пирамида над пирамидой,— подобно белым грядам облаков над грозовыми тучами.

Когда дверь комнаты закрылась за Эдом Тэтчером, он почувствовал себя одиноким, полным щекочущего беспокойства. Если бы только Сузи была здесь, он рассказал бы ей, как он станет зарабатывать, как он будет еженедельно откладывать на книжку десять долларов для маленькой Эллен; это составит пятьсот двадцать долларов в

год... Через десять лет наберется, не считая процентов, пять тысяч долларов с лишним. Надо еще считать проценты на проценты с пятисот двадцати долларов — четыре годовых. Он возбужденно шагал по крохотной комнате. Газовый рожок уютно, по-кошачьи мурлыкал. Его взгляд упал на заголовок газеты, лежавшей на полу около угольной корзинки. Он уронил ее, когда побежал за каретой, чтобы отвезти Сузи в больницу.

Принят билль, ставящий Нью-Йорк на второе место среди мировых столиц...*

Тяжело дыша, он сложил газету и положил ее на стол. Вторая мировая столица. А отец хотел, чтобы я оставался в его глупом москательном складе* в Онтеоре; так бы и было, если бы не Сузи... «Джентльмены, сегодня, когда вы предлагаете мне войти младшим компаньоном в вашу фирму, я хочу представить вам девочку мою дорогую, жену то есть. Ей я обязан всем».

Он поклонился камину, и фалды его визитки смахнули фарфоровую статуэтку с консоли возле книжной полки. Он слегка прищелкнул языком и нагнулся, чтобы поднять ее. Голова голубой фарфоровой девочки была отбита. А бедняжка Сузи так любит безделушки. «Лучше пойду спать».

Он распахнул окно и высунулся. В конце улицы с грохотом промчался поезд надземки. Струя дыма едко защекотала в носу. Он долго стоял у окна, глядя на улицу. Вторая столица мира. В кирпичных домах, в тусклом свете фонарей, в голосах мальчишек, ссорившихся на ступеньках дома напротив, в мерной, твердой поступи полисмена он чувствовал размеренный марш — словно солдаты шли по мостовой, словно колесный пароход поднимался по Гудзону, словно торжественная процессия направлялась по длинным улицам к какому-то зданию — белому, высокому, многоколонному, величественному. Столица.

Вдруг с улицы послышался топот. Кто-то крикнул, задыхаясь:

— Пожар!

— Где?

Мальчуганы сорвались со ступеней напротив. Тэтчер вернулся в комнату. Было невыносимо душно. Его тянуло выйти. Надо лечь спать. С улицы доносился лихорадочный стук копыт и бешеный звон пожарной машины. Только взглянуть. Он сбежал вниз со шляпой в руке.

— Где горит?

— В соседнем квартале.

— Жилой дом.

Горел шестиэтажный дом с узкими окнами. Уже поставили выдвижную лестницу. Коричневый дым, кое-где пронизанный искрами, валил из нижних окон. Три полисмена махали дубинками, оттесняя толпу к ступеням и решеткам на другую сторону улицы. На узком пространстве мостовой пожарная машина и красный насос сверкали медью. Толпа молча смотрела на верхние окна, где двигались тени и изредка вспыхивал огонь. Тонкий столб пламени встал над домом, как римская свеча*.

— Двор как колодец! — прошептал кто-то на ухо Тэтчеру.

Порыв ветра наполнил улицу дымом и запахом горелых тряпок. Тэтчеру внезапно стало дурно. Когда дым рассеялся, он увидел несколько человек, свисавших гроздьями с подоконников. Пожарные помогали женщинам сползать по лестнице. Пламя над домом вспыхнуло ярче. Что-то черное упало из окна и лежало на тротуаре, визжа. Полисмены оттесняли толпу в соседний квартал. Прибыло еще несколько пожарных машин.

— Пять частей вызвали,— сказал кто-то.— Что вы на это скажете? Все жильцы двух верхних этажей попались, как в мышеловку. Наверно, поджог. Какой-нибудь проклятый поджигатель...

Молодой человек сидел, скорчившись, на тротуаре под газовым фонарем. Тэтчер опустился возле него — его протолкнула вперед напиравшая сзади толпа.

— Он итальянец.

— Жена его в этом доме.

— Фараоны его не пускают.

— А он им не может объяснить. Он не говорит по-английски.

На итальянце были голубые подтяжки, связанные на спине веревкой. Его спина содрогалась, и он время от времени бормотал какие-то слова, которых никто не понимал.

Тэтчер выбрался из толпы. На углу какой-то человек разглядывал пожарный сигнал. Проходя мимо, Тэтчер почуял запах керосина, исходивший от его платья. Человек, улыбаясь, заглянул ему в лицо. У него были бледные, дряблые щеки и глаза навыкате. У Тэтчера внезапно похолодели руки и ноги. Поджигатель. Вот так они и бро-

дят и подстерегают! Об этом пишут в газетах. Он быстро пошел домой, вбежал по лестнице и запер дверь. Комната была спокойная и пустая. Он забыл, что Сузи не ждет его. Он начал раздеваться. Он не мог забыть запах керосина, которым пахло платье того человека.

Мистер Перри сбивал тросточкой головки репейника. Агент по продаже недвижимого имущества певучим голосом излагал свои доводы:

— Не стану скрывать, мистер Перри, что такой удобный случай обидно было бы упустить. Вы знаете старую пословицу, сэр: «удача не часто стучится к молодым людям». Через шесть месяцев — могу вам гарантировать — эти участки удвоятся в цене. Теперь, когда мы являемся частью Нью-Йорка, второго города в мире, сэр, вы не должны забывать, что... Придет время — я уверен, что мы оба доживем до него,— когда мосты один за другим скуют Ист-ривер, соединив Лонг-Айленд и Манхэттен в одно целое; когда Квинс будет таким же центром, таким же сердцем великой столицы, каким теперь является Астор-сквер*.

— Знаю, знаю, но я ищу что-нибудь абсолютно верное. Кроме того, я хочу строиться. Моя жена была нездорова последние несколько лет.

— Но что может быть вернее моего предложения? Обратите внимание, мистер Перри, что я себе в убыток даю вам один из самых больших и надежных земельных участков. Я даю вам, кроме того, удобство, комфорт, роскошь. Нас, мистер Перри, помимо нашей воли увлекает мощная волна прогресса. Мы стоим на пороге великих событий. Все изобретения — телефон, электричество, стальные мосты, механическая тяга — все это открывает широчайшие перспективы, и мы должны быть впереди, в первых рядах прогресса. Господи, да разве все перескажешь?

Вороша тростью сухую траву и репейник, мистер Перри шевельнул какой-то предмет. Он нагнулся и поднял треугольный череп с парой загнутых спиралью рогов.

— Черт возьми! — проговорил он.— Замечательный был баран.

Одурев от запаха мыльного порошка, вежеталя* и паленых волос, отягчавшего спертый воздух парикмахерской, Бэд сидел, склонив голову, свесив красные руки между колен.

— Следующий.

— А? Что? Ах, да! Побрейте и постригите.

Пухлые руки парикмахера ворошили его волосы, ножницы шмелем жужжали над ухом. Его глаза слипались; он заставлял себя открыть их, пытался преодолеть сон. У края полосатой простыни, усыпанной светлыми волосами, он видел стриженую круглую голову негритенка, чистившего его башмаки.

— Да-с, сэр,— пробасил сосед.— Пришла пора демократической партии начать...

— Шею побрить прикажете? — Лунное, лоснящееся лицо парикмахера склонилось над ним.

Он кивнул.

— Шампунь?

— Нет.

Когда парикмахер откинул спинку кресла, чтобы приступить к бритью, клиент вытянул шею, точно черепаха, перевернутая на спину. Мыльная пена расползлась по его лицу, щекоча ноздри, забиваясь в уши. Он утопал в перинах мыльной пены, синей пены, черной, прорезанной далеким блеском бритвы, блеском мотыги сквозь сине-черные пенные облака. Старик, распростертый навзничь в картофельном поле, борода, вздернутая кверху, пенно-белая, полная крови. Носки, полные крови от волдырей на пятках. Руки стиснуты, холодные и красные, точно руки мертвеца под саваном. «Дайте мне встать...» Он открыл глаза. Пухлые пальцы трогали его подбородок. Он уставился глазами в потолок, где черные мухи описывали восьмерки вокруг фонаря из красной гофрированной бумаги. Язык во рту казался сухим кожаным ремнем. Парикмахер снова поднял кресло. Бэд, мигая, посмотрел вокруг.

— Сорок центов и пятак за чистку обуви.

Признался в убийстве увечной матери...

— Вы разрешите мне посидеть у вас и прочесть газету? — услышал он свой голос, вползавший в его уши, полные гула.

— Пожалуйста.

Сторонники Паркера* защищают...

Черные строки прыгают перед глазами.

Русские... Толпа забросала камнями... (от нашего специального корреспондента, Трентон, Нью-Джерси).

Натан Сиббетс*, четырнадцати лет от роду, сегодня, после двухнедельного упорного запирательства, сознался наконец, что

он убил свою престарелую увечную мать, Ханну Сиббетс. Причиной убийства была ссора. Преступление было совершено в доме Сиббетсов на Джэкоб-Крик, в шести милях от города. Сегодня вечером он заключен в тюрьму. Дело передано в суд присяжных.

Помощь Порт-Артуру на глазах у неприятеля...* Миссис Рикс потеряла прах мужа.

«Во вторник 24-го мая, около половины десятого,— показал убийца,— я вернулся домой и поднялся наверх, чтобы лечь спать. Только я начал засыпать, как мать пришла наверх и сказала, чтобы я вставал, а если я не встану, то она сбросит меня с лестницы. Она схватила меня, чтобы сбросить меня с лестницы. Я первый толкнул ее, и она упала с лестницы. Я спустился вниз и увидел, что она сломала себе шею. Увидев, что она мертва, я выпрямил ей шею и прикрыл ее простыней, взятой с моей постели».

Бэд аккуратно складывает газету, кладет ее на стул и выходит из парикмахерской. На улице воздух пахнет толпой, полон шума и солнечного света. Иголка в стоге сена...

— Вот мне двадцать пять лет,— бормочет он вслух.— А мальчишке четырнадцать, подумайте...

Он шагает быстрее по гудящим тротуарам. Сквозь стропила воздушной дороги солнце льет на синюю улицу теплые переливчатые желтые полосы. Иголка в стоге сена.

Эд Тэтчер сидел, сгорбившись над роялем, наигрывая «Парад москитов». Воскресное послеполуденное солнце прорывало пыльным потоком тяжелые кружевные занавеси окна, барахталось в красных розах ковра, заполняло гостиную светлыми пятнами и бликами. Сузи Тэтчер неподвижно сидела у окна, наблюдая за Эдом слишком синими для ее болезненного лица глазами. Между ними, осторожно ступая среди роз по солнечному полю ковра, танцевала малютка Эллен. Две маленькие ручки приподымали складки розового плиссированного платья; и время от времени взволнованный детский голосок восклицал:

— Мама, следи за моим выражением!

— Посмотри на нее,— сказал Тэтчер, продолжая играть,— она настоящая маленькая балерина.

Воскресная газета упала со стола и рассыпалась. Эллен, танцуя, наступила на листы, разрывая их своими проворными маленькими ножками.

— Не делай этого, Эллен, дорогая! — простонала Сузи с розового плюшевого кресла.

— Но, мама, ведь я танцую.

— Не делай этого, раз тебе мама говорит!

Эд Тэтчер заиграл баркаролу.

Эллен танцевала баркаролу, взмахивая в такт ручками, разрывая ножками газету.

— Ради Бога, Эд, убери девочку, она рвет газету.

Он взял замирающий аккорд.

— Милочка, ты не должна этого делать. Папочка еще не дочитал ее.

Эллен продолжала танцевать.

Тэтчер бросился к ней и посадил барахтающуюся, смеющуюся девочку к себе на колени.

— Эллен, ты должна слушаться, когда мама говорит с тобой. И не надо портить вещи, дорогая. Изготовить бумагу для этой газеты стоило денег, люди трудились над ней, а папочка ходил покупать ее и еще не дочитал. Понимаешь, Элли? Нам нужно созидание, а не разрушение.

Он вновь сел за баркаролу, а Эллен продолжала танцевать, осторожно ступая среди роз по солнечному полю ковра.

Шесть человек сидели за столом в кафе и наскоро закусывали, сдвинув шляпы на затылок.

— Черт побери! — воскликнул молодой человек в конце стола; он держал в одной руке газету и чашку кофе в другой.— Вот так штука!

— Какая штука? — проворчал длиннолицый человек с зубочисткой во рту.

— «Огромная змея на Пятой авеню*. Сегодня утром, в половине двенадцатого, дамы с визгом разбежались по всем направлениям, когда большая змея выползла из каменной стены водокачки на Пятой авеню и стала переползать тротуар...»

— Утка!

— Это еще что! — вставил старик.— Когда я был мальчиком, мы охотились на бекасов в Бруклине...*

— Ах, Боже мой! Уже четверть девятого,— пробормотал молодой человек, складывая газету.

Он выбежал на Гудзон-стрит. Улица была полна спешащих людей. Скрежетали подковы лохматых ломовых лошадей, скрипели колеса грузовых фургонов, сливаясь в оглушительный грохот и наполняя воздух едкой пылью. Девушка в шляпке с цветами, с большим голубым бантом у острого подбородка, ожидала его в дверях товарного склада «М. Сюлливан и К°». Молодой человек почувство-

вал, как внутри у него все забурлило, точно в откупоренной бутылке.

— Хелло, Эмили!.. Знаете, Эмили, я получил прибавку.

— Вы сегодня очень опоздали.

— Честное слово, я получил прибавку на два доллара.

Она дернула подбородком сначала в одну сторону, потом в другую.

— Подумаешь!

— А помните, что вы обещали мне? Если я получу прибавку, то...

Она взглянула на него и хихикнула.

— Это еще только начало.

— Подумаешь! Пятнадцать долларов в неделю.

— Помилуйте, ведь это шестьдесят долларов в месяц. А я еще вдобавок изучаю торговлю, по импорту работать буду.

— Глупыш, вы опоздаете.— Она вдруг повернулась и побежала по грязной лестнице; ее широкая юбка колоколом колыхалась из стороны в сторону.

— Господи! Я ненавижу ее. Я ненавижу ее.— Смахивая слезы, которые жгли ему глаза, он быстро пошел вниз по Гудзон-стрит в контору «Уинкл и Джюлик. Вестиндский импорт».

Палуба на носу около брашпиля была теплая и солоновато-сырая. Они лежали в грязных куртках, растянувшись бок о бок, и лениво перебрасывались словами. В их ушах не проходило шипенье воды; пароход грузно расталкивал широкую травянисто-серую зыбь Гольфстрима.

— J'te dis, mon vieux, moi j'foux l'camp à New-York...[1] Как только мы бросим якорь, я сразу сойду на берег и останусь там. С меня довольно этой собачьей жизни.

У юнги были светлые волосы и овальное румяное лицо. Недокуренная папироса выпала у него изо рта.

— Merde![2] — Он потянулся за ней, но она скатилась в желоб для стока воды.

— Брось, у меня их много,— проговорил другой парень; он лежал на животе и болтал в воздухе грязными ногами.— Консул отправит тебя обратно на пароход.

— Ему не поймать меня.

— А воинская повинность?

— К дьяволу ее! И Францию туда же.

— Хочешь стать американским гражданином?

---

[1] Говорю тебе, старина, я сбегу в Нью-Йорке... (*фр.*)

[2] Дерьмо! (*фр.*).

— Почему нет? Каждый человек имеет право выбирать себе родину.

Второй мальчик задумчиво потер нос кулаком и, вздохнув, медленно свистнул.

— Ты умный малый, Эмиль,— сказал он.

— Слушай, Конго. Почему бы тебе не сойти вместе со мной? Неужели ты собираешься всю жизнь выгребать лопатой разную дрянь из корабельной кухни?

Конго перевернулся, сел, скрестив ноги, и почесал голову, густо обросшую курчавыми черными волосами.

— Сколько стоит женщина в Нью-Йорке?

— Не знаю. Думаю, что дорого... Я не для того схожу на берег, чтобы валандаться. Я буду искать работу. Неужели ты ни о чем не можешь думать, кроме женщин?

— А почему бы нет? — проговорил Конго и снова растянулся на палубе, спрятав грязное, смуглое лицо в скрещенные руки.

— Я бы хотел чего-нибудь добиться. Это моя мечта. Европа прогнила и воняет. А в Америке молодой человек может выдвинуться. Происхождение роли не играет, образование не имеет значения. Все дело в том, чтобы выдвинуться.

— А что, если бы вот тут, на палубе, появилась красивая, пылкая женщина? Ты бы ее полюбил?

— Когда мы разбогатеем, у нас будет масса всего.

— А в Америке есть воинская повинность?

— К чему им? Их интересуют только деньги. Они не хотят воевать — они хотят торговать.

Конго ничего не ответил.

Юнга лежал на спине, глядя в облака. Они плыли с запада — большие здания с колоннами, сквозь которые прорывалось солнце, яркое и белое, как фольга. Он шел по высоким, белым, многоколонным улицам, в сюртуке и высоком белом воротничке он всходил по фольговым ступеням, широким, чисто вымытым; он проходил голубыми порталами в пестрые мраморные залы, где на длинных фольговых столах звенели и шуршали деньги — банкноты, серебро, золото.

— Merde, v'là l'heure![1] — Двойные удары колокола донеслись к ним из вороньего гнезда.— Так не забудь, Конго, в первый же вечер, как мы сойдем на берег...— Он издал булькающий звук.

[1] Черт, уже пора! (*фр.*)

— Я спал. Мне снилась маленькая блондинка. Я бы ее имел, если бы ты не разбудил меня.— Юнга ворча поднялся и несколько секунд смотрел на запад, где вода тонкой волнистой чертой упиралась в небо, твердое и резкое, как никель. Потом он пригнул голову Конго к палубе и побежал на корму; деревянные башмаки хлопали, спадая с его босых пяток.

Жаркая июньская суббота волочилась по Сто десятой улице. Сузи Тэтчер лежала в постели, вытянув на одеяле синие, костлявые руки. Из-за тонкой перегородки долетали голоса. Молодая женщина кричала гнусаво:

— Говорю вам, мама, я не вернусь к нему!

Потом раздался укоризненный голос старой еврейки:

— Но, Роза, семейная жизнь это не только пиво и кегельбан. Жена должна повиноваться мужу и работать на него.

— Не хочу, не могу! Я не хочу возвращаться к этому грязному скоту.

Сузи присела на кровати, но ей не удалось услышать, что ответила старуха.

— Я больше не еврейка! — внезапно взвизгнула молодая женщина.— Тут не Россия! Тут Нью-Йорк! Тут у девушки есть свои права!

Потом дверь захлопнулась, и все стихло.

Сузи Тэтчер зашевелилась на постели и застонала. Эти ужасные люди не дают мне ни минуты покоя. Снизу долетело бренчанье пианолы. Играли вальс из «Веселой вдовы»*. О Боже, почему Эд не возвращается? Жестоко оставлять больную женщину одну. Эгоист! Она скривила рот и заплакала. Потом успокоилась и лежала, устремив взор в потолок, следя за мухами, жужжавшими вокруг электрической лампочки. На улице загромыхала телега. Слышались визгливые детские голоса. Пробежал мальчишка с экстренным выпуском газеты. А что, если случится пожар? Вроде пожара театра в Чикаго. «О, я сойду с ума!» Она металась в кровати; ее ногти впивались в ладони. «Я возьму еще таблетку. Может быть, мне удастся заснуть». Она приподнялась на локте и взяла последнюю таблетку из маленькой коробочки. Глоток воды, смывший таблетку, успокоил ее. Она закрыла глаза.

Внезапно она проснулась. Эллен прыгала по комнате; ее зеленая шляпа сползла на макушку, рыжеватые кудри развевались.

— Мамочка, я хочу быть мальчиком!

— Тише, дорогая. Мамочка нехорошо себя чувствует.

— Я хочу быть мальчиком!

— Что ты сделал с ребенком, Эд? Она так взволнована.

— Мы смотрели чудесную пьесу, Сузи. Тебе бы она, наверное, понравилась. Так поэтично! Мод Адамс* была изумительна. Элли была в восторге.

— Глупо брать такую крошку...

— О папочка, я хочу быть мальчиком!

— Мне моя девочка нравится и так. Мы пойдем еще раз, Сузи, и возьмем тебя с собой.

— Эд, ты прекрасно знаешь, что я не поправлюсь.

Она сидела выпрямившись, ее увядшие желтые волосы свисали вдоль спины.

— О, я хотела бы умереть. Я хотела бы умереть и не быть вам больше в тягость... Вы оба меня ненавидите, иначе вы не оставляли бы меня одну.— Она закрыла лицо руками.— О, я хотела бы умереть! — зарыдала она.

— Сузи, ради Бога, как тебе не стыдно! — Он обнял ее и сел на кровать рядом с ней.

Продолжая тихо плакать, она опустила голову к нему на плечо. Эллен стояла, глядя на них круглыми, серыми глазами. Потом начала прыгать по комнате, напевая про себя:

— Элли будет мальчиком, Элли будет мальчиком!

Бэд плелся по Бродвею, прихрамывая из-за волдырей на ногах, мимо пустырей, на которых в траве среди крапивы и бессмертника блестели консервные банки, мимо рекламных щитов и вывесок; мимо лачуг и брошенных будок; мимо канав, полных щебня и раздавленных колесами отбросов; мимо серых каменных холмов, в которые настойчиво вгрызались паровые сверла; мимо ям, из которых вагонетки, полные камня и глины, карабкались по деревянному настилу на дорогу, пока не выбрался на новый тротуар и пошел вдоль желтых кирпичных домов, заглядывая в окна мелочных лавок, китайских прачечных, закусочных, цветочных, овощных, портновских, гастрономических магазинов. Проходя под лесами строящегося здания, он встретился глазами со стариком, который сидел на краю тротуара и заправлял керосиновые лампы. Бэд остановился, подтянул брюки и откашлялся.

— Скажите, мистер, не укажете ли вы мне, где можно получить приличную работу?

— Работа бывает всякая, молодой человек, кроме приличной. Через месяц и четыре дня мне исполнится ше-

стьдесят пять лет, работаю я с пяти лет и, признаться, ни разу еще не находил приличной работы.

— Мне всякая подойдет.

— Союзная карточка есть?

— Ничего у меня нет.

— Не получите никакой работы на постройках без союзной карточки,— сказал старик.

Он потер кистью руки серую щетину на подбородке и снова склонился над лампами. Бэд стоял, глядя на пыльные леса новой постройки, пока не заметил, что какой-то человек в коричневом котелке пристально всматривается в него из окна сторожевой будки. Неуклюже шаркая, он пошел дальше. Если бы я мог добраться до центра...

На углу вокруг большого белого автомобиля собралась толпа. Автомобиль пыхтел. Полисмен держал за руку маленького мальчика. Человек с красным лицом и белыми моржовыми бакенбардами, высунувшись из автомобиля, сердито говорил:

— Я заявляю: он бросил камень! Пора положить этому конец!

Женщина с волосами, завязанными на макушке в тугой узел, грозила кулаком человеку в автомобиле:

— Он чуть меня не переехал, констебль, чуть не переехал!

Бэд стоял около молодого мясника в переднике и спортивной кепке, сдвинутой на затылок.

— Что случилось?

— Не знаю. Опять автомобильная история, очевидно. Вы читаете газеты? Какое право имеют эти проклятые автомобили носиться по городу, сбивая с ног женщин и детей?

— А разве они это делают?

— Конечно!

— Скажите, не можете ли вы указать мне место, где можно получить работу?

Мясник рассмеялся.

— А я думал, вы просите милостыню. Видно, что вы не здешний. Я вам скажу, что вам надо делать. Идите прямо по Бродвею, пока не дойдете до ратуши.

— Это центр?

— Ну да. Потом зайдите в ратушу, спросите мэра и скажите ему, что по вашим сведениям в совете олдерменов есть свободные места.

— Ни черта у них нет,— проворчал Бэд и быстро пошел дальше.

— Бросайте, ребятки!.. Бросайте, черти полосатые!

— Ну-ка покажи им, Слэтс!

— Семерочка! — Слэтс бросил кости и щелкнул потными пальцами.— Ах, черт!

— Ты, я вижу, замечательный игрок, Слэтс.

Грязные руки бросили по пятаку в центр круга, образованного торчащими вперед, штопаными коленками. Пять мальчишек сидели на корточках под фонарем на Южной улице*.

— Пошевеливайтесь, писуны!.. Бросайте кости, черт вас возьми!

— Кончай игру, ребята! Сюда идет Большой Леонард со своей бандой.

— Я ему выпущу мозги на панель!

Четыре мальчика побежали вдоль верфи, постепенно рассыпаясь и не оглядываясь. Самый маленький, с лицом без подбородка, похожим на клюв, остался на месте и спокойно собрал монеты. Потом он побежал вдоль стены и исчез в темном проходе между двумя домами. Он спрятался за трубой и ждал. Смутный шум голосов проник в проход, потом замер в конце улицы. Мальчик сосчитал пятаки: десять штук.

— Ого, пятьдесят центов... Я скажу, что Большой Леонард все забрал.

У него были дырявые карманы, и он завязал пятаки в подол рубашки.

Винный бокал шушукался с фужером для шампанского перед каждым прибором на сверкающем белизной овальном столе. На восьми блестящих белых тарелках лежали, подобно черным бусам, на листах салата восемь порций икры, обрамленные ломтиками лимона, посыпанные рубленым луком и яичным белком.

— Beaucoup de soing[1], не забывай этого,— говорил старый лакей, морща шишковатый лоб.

Он был низкого роста, ходил переваливаясь; несколько прядей черных волос были зачесаны на макушку.

— Хорошо.— Эмиль важно кивнул головой — крахмальный воротничок был ему узок.

Он опускал последнюю бутылку шампанского в никелированное ведро со льдом.

---

[1] Больше старания (*фр.*).

— Beaucoup de soing, sporca madonna![1] Этот тип сорит деньгами, как конфетти, и щедро дает на чай. Он очень богатый человек. Он тратит деньги без счета.

Эмиль расправил складку на скатерти.

— Не делай этого, у тебя грязные руки, могут остаться следы.

Переступая с ноги на ногу, они стояли в ожидании, с салфеткой под мышкой. Снизу, из ресторана, вместе с жирным запахом еды и звоном ножей и вилок, доносились нежно кружащиеся звуки вальса.

Рот Эмиля сложился в почтительную улыбку, когда он увидел, что метрдотель, стоявший за дверью, поклонился кому-то. Появилась длиннозубая блондинка, в розовом манто. Она висела на руке человека с лунообразным лицом, который нес цилиндр, держа его перед собою, точно полный до краев стакан. За ними вошла маленькая кудрявая девушка в синем — она смеялась, показывая зубы. Дальше — полная женщина с диадемой на голове и черной бархоткой на шее... нос бутылкой, длинное лицо табачного цвета... крахмальные сорочки, руки, поднесенные к белым галстукам, сверкание цилиндров и лакированных ботинок... Еще один — юркий человечек с золотыми зубами; он размахивал руками, изрыгая приветствия каркающим голосом. В пластроне* его сорочки сверкал огромный бриллиант. Рыжеволосая девушка в передней собирала верхнее платье. Старый лакей подтолкнул Эмиля локтем.

— Это главный,— шепнул он краешком губ, низко кланяясь.

Эмиль прижался к стене, пока гости с шумом проходили в комнату. Запах пачулей* заставил его внезапно покраснеть до корня волос.

— А где Фифи Уотерс? — воскликнул человек с бриллиантовой запонкой.

— Она сказала, что приедет не раньше, чем через полчаса. Я думаю, что поклонники не выпускают ее из театра.

— Ну, мы не станем ее ждать, хотя бы сегодня был день ее рождения. Я никогда в жизни никого не ждал.— Он постоял секунду, обводя глазами женщин, сидевших за столом, потом вытянул манжеты из рукавов фрака и внезапно сел.

Икра исчезла в одно мгновение.

---

[1] Больше старания, черт возьми! (*фр.*)

— Человек, как насчет крюшона? — каркнул он.

— De suite, monsieur...[1]

Эмиль, задерживая дыханье и втягивая щеки, убирал тарелки. На бокалах оседал иней — старый лакей наливал в них вино из хрустального кувшина, в котором плавали листья мяты, льдинки, лимонные корочки и длинные ломтики огурца.

— Вот! Это хорошо! — Человек с бриллиантовой запонкой поднес бокал к губам, пригубил и, поставив его на место, бросил насмешливый взгляд на свою соседку.

Она намазывала масло на кусочки хлеба и, кладя их в рот, все время бормотала:

— Я очень мало ем, очень мало...

— Это не мешает вам пить, Мэри, не правда ли?

Она закудахтала и хлопнула его по плечу закрытым веером.

— И шутник же вы!

— Allumez moi ça, sporca madonna![2] — зашипел лакей на ухо Эмилю.

Эмиль зажег две горелки на столике для посуды, и запах горячего хереса, сливок и омаров начал распространяться по комнате. Было жарко, шумно, пахло духами и табаком. Подав омаров и наполнив бокалы, Эмиль прислонился к стене и провел рукой по влажным волосам. Глаза его остановились на пухлых плечах женщины, сидевшей впереди него, потом скользнули вдоль напудренной спины к тому месту, где под кружевами отстегнулся маленький серебряный крючок. Человек с плешивой головой, сидевший рядом с ней, переплел свою ногу с ее ногой. Она была молода — одних лет с Эмилем. Она смотрела в лицо мужчине, и ее полуоткрытые губы были влажны. У Эмиля закружилась голова. Он не мог оторвать взгляд от ее спины.

— Но что случилось с прелестной Фифи? — каркнул человек с бриллиантом, прожевывая омара.— Как видно, она имела сегодня такой успех, что наша компания кажется ей чересчур скромной.

— У кого хотите закружится голова!

— Ну-с, если она думает, что мы ее будем ждать, мы ей преподнесем сюрприз. Хо-хо-хо! — заорал человек с бриллиантовой запонкой.— Я никогда в жизни никого не ждал и не собираюсь ждать.

---

[1] Сейчас, месье... (*фр.*)

[2] Посвети мне сюда, черт побери! (*фр.*)

Человек с лунообразным лицом отставил тарелку и играл браслетом на руке женщины, сидевшей рядом с ним.

— Вы сегодня настоящая красавица, Ольга.

— Я теперь как раз позирую одному художнику,— ответила женщина, держа свой бокал против света.

— Клянусь Богом, я куплю портрет.

— Едва ли это вам удастся.— Она покачала золотистой головкой.

— Вы скверный маленький бесенок, Ольга!

Она рассмеялась, не разжимая губ над длинными зубами.

Какой-то мужчина наклонился к человеку с бриллиантом, стуча толстым пальцем по столу.

— Нет, сэр, Двадцать третья улица в качестве объекта для операций с недвижимыми имуществами лопнула*. Это все признают. Но вот о чем я хотел бы поговорить с вами частным образом, мистер Годэлминг... Как создаются миллионы в Нью-Йорке?.. Астор*, Вандербильд*, Фиш...* Только на недвижимом имуществе! Теперь очередь за следующими пустырями... Почти рядом... Покупайте на Сороковой...

Человек с бриллиантом поднял бровь и покачал головой:

— Проведем хоть один вечер не по-деловому. Как это говорится... «откинь заботы и печали» или что-то в этом роде... Эй, человек! Почему вы, черт возьми, не подаете шампанского? — Он встал на ноги, кашлянул в кулак и запел хриплым голосом:

О, если б океан сплошным шампанским был...

Все захлопали. Старый лакей только что обнес гостей пудингом и теперь, с красным, как свекла, лицом, вытаскивал тугую пробку из бутылки. Когда пробка выскочила, дама в диадеме взвизгнула. Пили за здоровье человека с бриллиантовой запонкой.

Он такой веселый, славный малый...

— Как называется это блюдо? — спросил человек с носом бутылкой, наклоняясь к девушке.

Ее черные волосы были разделены прямым пробором. Она была одета в светло-зеленое платье с пышными ру-

кавами. Мужчина подмигнул и поглядел в упор в ее черные глаза.

— Это самое фантастическое блюдо, какое я когда-либо ел. Вы знаете, милая моя, я не часто приезжаю в этот город.— Он допил свой бокал.— Когда я уезжаю отсюда, я постоянно чувствую отвращение.— Его лихорадочный, блестящий от шампанского взгляд скользил по контурам ее шеи, плеч и остановился на голой руке.— Но на этот раз я думаю...

— Жизнь старателя, должно быть, захватывающе интересна,— прервала она, вспыхнув.

— Она была захватывающей в прежние времена. То была грубая, но мужская жизнь; я доволен, что нажил капитал в прежние времена... теперь мне так не повезло бы.

Она посмотрела на него.

— Как вы скромны, называя это везением!

Эмиль вышел из отдельного кабинета. В его услугах больше не нуждались. Рыжеволосая девица из гардероба прошла мимо с большим кружевным капором в руках. Он улыбнулся, попытался поймать ее взгляд. Она фыркнула и вздернула нос. «Не хочет смотреть на меня, потому что я лакей. Ладно, когда я наживу деньги, я им покажу!»

— Скажи Чарли, чтобы подал еще две бутылки «Моэ», «Шандон», американский разлив,— раздался шипящий голос старого лакея.

Человек с лунообразным лицом встал.

— Леди и джентльмены...

— Эй вы, поросята, тише! — прокричал чей-то голос.

— Свинья хочет говорить,— сказала Ольга шепотом.

— Леди и джентльмены! Вследствие отсутствия нашей звезды Вифлеема...

— Джилли, не кощунствуйте,— сказала дама в диадеме.

— Леди и джентльмены, так как я не привык...

— Джилли, вы пьяны!

— Я говорю: хоть счастье и покинуло нас...

Кто-то дернул его за фалды, и лунолицый со стуком сел на стул.

— Это ужасно,— сказала дама в диадеме, обращаясь к человеку с длинным лицом табачного цвета, сидевшему в конце стола.— Это ужасно, полковник, как Джилли богохульствует, когда напьется.

Полковник осторожно снимал фольгу с сигары.

— Что вы говорите! — процедил он; его седоусое лицо ничего не выражало.

— Знаете, ужасная история случилась с Аткинсом, стариком Эллиотом Аткинсом. Помните, он работал с Мэнзфилдом...

— Неужели? — ледяным тоном спросил полковник, отрезая кончик сигары перламутровым перочинным ножом.

— Скажите, Честер, это правда, что Мэби Эванс имела огромный успех?

— Не представляю себе этого, Ольга. У нее плохая фигура...

— Понимаете, как-то вечером — они тогда гастролировали в Канзасе — он был в стельку пьян и начал говорить речь...

— Она не умеет петь...

— Бедняга всегда плохо чувствует себя перед публикой...

— У нее отвратительная фигура...

— Речь, вроде Боба Ингерсолла...*

— Бедный старик... Я хорошо знал его в былые дни, в Чикаго...

— Что вы говорите! — Полковник медленно поднес зажженную спичку к концу сигары.

— И вдруг сверкает страшная молния, и огненный шар влетает в одно окно и вылетает в другое.

— Убило его? — Полковник пустил под потолок синий клуб дыма.

— Что такое? Вы говорите, Боба Ингерсолла убило молнией? — пронзительно крикнула Ольга.— Так ему и надо, гнусному атеисту!

— Нет, не убило. Но он постиг сущность жизни и стал методистом.

— Странно! Почему это актеры так часто становятся проповедниками?

— Иначе их никто не хочет слушать! — каркнул человек с бриллиантовой запонкой.

Оба лакея стояли за дверью и прислушивались к разговору.

— Tas de sacrés cochons... sporca madonna![1] — прошипел старый лакей.

Эмиль пожал плечами.

— Эта брюнетка весь вечер делала тебе глазки.— Он наклонился к Эмилю и подмигнул.— Может, подцепишь рыбешку, а?

---

[1] Куча грязных свиней... черт побери! (*фр.*)

— Ну их, с их грязными болезнями!

Старый лакей хлопнул себя по ляжке.

— Никуда не годится современная молодежь... Когда я был молод, я не зевал.

— Они даже не глядят на нас,— сказал Эмиль, стиснув зубы.— Автомат во фраке, и больше ничего.

— Подожди, приучишься.

Дверь открылась. Они почтительно поклонились бриллиантовой запонке. Кто-то нарисовал карандашом пару женских ножек на пластроне его сорочки. Яркие пятна горели на его щеках. Нижнее веко одного глаза отвисло, и это придавало его лицу саркастическое выражение.

— Что за черт, Марко, что за черт...— бормотал он.— Нам нечего пить. Принесите две кварты «Атлантического океана»...

— De suite, monsieur.— Старый лакей поклонился.— Эмиль, скажи Огюсту, immediatement et bien frappé[1].

Когда Эмиль бежал по коридору, к нему донеслось пение:

О, если б океан сплошным шампанским был...

Лунолицый и бутылконосый возвращались под руку из уборной, лавируя между пальмами.

— Эти проклятые дураки кормят так, что меня тошнит.

— Да, это не те ужины с шампанским, что мы едали в Фриско в былые времена.

— Да, то были славные времена.

— Между прочим...— Лунолицый выпрямился и прислонился к стене.— Холлиок, старина, вы видели мою статью о каучуковой промышленности в утренней газете? Капиталисты погрызут этот камешек... как мышки...

— Что вы знаете о каучуке? Дрянь товар...

— Подождите и присмотритесь, Холлиок, старина, иначе вы потеряете замечательный шанс. Пьян я или трезв, а запах денег я чую издалека.

— Почему же у вас их нет? — Красное лицо носатого сделалось пурпурным; он перегнулся пополам и разразился хохотом.

— Потому что я всегда втягиваю в дело моих друзей,— сказал другой очень серьезно.— Эй, человек. Где отдельный кабинет?

[1] Немедленно и хорошо охлажденным (*фр.*).

— Par ici, monsieur[1].

Красное плиссированное платье промелькнуло мимо них. Маленькое овальное лицо, обрамленное плоскими темными прядями, жемчужные зубы, открытые в улыбке.

— Фифи Уотерс! — закричали все.

— Дорогая Фифи, приди в мои объятия!

Ее поставили на стол; она стояла, перебирая ножками. Шампанское пенилось в ее бокале.

— С веселым Рождеством!

— С Новым годом!

Красивый молодой человек, приехавший с Фифи Уотерс, пел и танцевал, мотаясь вокруг стола:

Мы пошли на базар к зверям,
Были звери и птицы там,
Павиан большой,
Озарен луной,
Расчесывал длинные волосы.

— Оп-ля! — крикнула Фифи Уотерс и взъерошила седые волосы человека с бриллиантовой запонкой.— Оп-ля! — Она спрыгнула со стола и закружилась по комнате, высоко вскидывая юбки. Ее стройные ноги, в блестящих черных шелковых чулках и красных трусиках с розетками, мелькали перед лицами мужчин.

— Она сумасшедшая! — воскликнула дама в диадеме.

— Оп-ля!

Холлиок покачивался, стоя в дверях, нахлобучив цилиндр на багровую шишку носа. Она гикнула, дрыгнула ногой и сбила с него цилиндр.

— Вот это удар! — закричали все.

— Вы мне выбили глаз!

Она уставилась на него своими круглыми глазами и вдруг залилась слезами, припав к груди с бриллиантовой запонкой.

— Я не хочу, чтобы меня оскорбляли! — рыдала она.

— Протрите другой глаз!

— Принесите бинт!

— Ей-богу, она могла ему выбить глаз!

— Эй, человек, скорее кэб!

— Доктора!

— Ну и бедлам, дружище!

---

[1] Сюда, месье (*фр.*).

Спотыкаясь и прижимая к глазу платок, мокрый от слез и крови, бутылконосый вышел.

Женщины и мужчины двинулись за ним; молодой человек со светлыми волосами вышел последним, покачиваясь и напевая:

Павиан большой,
Озарен луной,
Расчесывал длинные волосы.

Фифи Уотерс рыдала, уронив голову на стол.

— Не плачьте, Фифи,— сказал полковник, который все еще сидел на своем месте.— Вот это вас успокоит.— Он пододвинул ей бокал шампанского.

Она потянула носом и стала пить маленькими глотками.

— Хелло, Роджер! Как поживает мальчик?

— Очень хорошо, благодарю вас... Знаете, я устал. Весь вечер с этими крикунами...

— Я голодна.

— Кажется, ничего съедобного не осталось.

— Я не знала, что вы здесь, иначе я пришла бы раньше, честное слово.

— Правда, пришли бы? Это очень мило.

Пепел упал с сигары полковника. Он поднялся.

— Знаете, Фифи, я возьму кэб, и мы поедем кататься в парк.

Она допила шампанское и радостно кивнула.

— Боже, уже четыре часа.

— Вы тепло одеты, не правда ли?

Она опять кивнула.

— Прелестная Фифи... Вы прекрасны...— Лицо полковника расплылось в улыбку.— Ну, едем!

Она недоуменно осматривалась кругом.

— Я как будто приехала с кем-то?

— Неважно.

В передней они наткнулись на красивого юношу — он спокойно блевал в пожарное ведро под искусственной пальмой.

— Оставим его тут,— сказала она, вздернув носик.

— Неважно,— сказал полковник.

Эмиль подал пальто. Рыжеволосая девица ушла домой.

— Эй, мальчик! — Полковник помахал тросточкой.— Позовите, пожалуйста, кэб, но выберите приличную лошадь и трезвого кучера.

— De suite, monsieur.

Небо над крышами и трубами было как сапфир. Полковник несколько раз глубоко вдохнул воздух, пахнувший рассветом, и бросил свою сигару в сточную канаву.

— Что вы скажете насчет завтрака у Клермонта? Тут совершенно нечего было есть. Это мерзкое сладкое шампанское... Фу!

Фифи хихикнула. Полковник осмотрел копыта лошади и погладил ее морду; они сели в кэб. Полковник бережно обнял Фифи, и они уехали. Эмиль секунду стоял у дверей ресторана, разглаживая бумажку в пять долларов. Он устал, и у него болели ноги.

Когда он вышел с черного хода из ресторана, то увидел Конго, который ждал его, сидя на ступеньках. Лицо Конго казалось зеленым и замерзшим над поднятым воротником куртки.

— Это мой друг,— сказал Эмиль, обращаясь к Марко.— Мы приехали с ним на одном пароходе.

— Нет ли у тебя коньяку? Какие славные курочки выходили отсюда.

— Что с тобой?

— Потерял место, вот и все. Невтерпеж стало. Пойдем, выпьем кофе.

Они заказали кофе и орехи в тесте в фургоне-ресторане, стоявшем на пустыре.

— Eh bien[1], как вам нравится эта чертова страна? — спросил Марко.

— Почему чертова? Она мне все-таки нравится. Всюду одинаково. Во Франции вам платят плохо, а живете вы хорошо. Тут вам платят хорошо, а живете вы плохо.

— Questo paese e completamente solo sopra[2].

— Я думаю, что снова уйду в море.

— Почему вы не говорите по-английски? — спросил буфетчик с лицом, похожим на кочан цветной капусты, поставив три чашки кофе на стойку.

— Если мы будем говорить по-английски,— проворчал Марко,— то вам, пожалуй, не понравится то, что мы говорим.

— Почему вас выставили?

— Merde! Не знаю, у меня был разговор со старым верблюдом-управляющим. Он жил рядом с конюшней и заставлял меня делать все — от чистки экипажей до мытья

[1] Ну (*фр.*).

[2] Все в этой стране с ног на голову (*ит.*).

полов в его квартире. Его жена — ужасная рожа.— Конго втянул губы и скосил глаза.

Марко рассмеялся.

— Santissima Maria putana![1] А как вы с ним сговаривались?

— Они указывали на какой-нибудь предмет, а я кивал головой и говорил «хорошо». Я приходил в восемь и работал до шести, а они с каждым днем наваливали на меня все больше и больше грязной работы. Вчера вечером они приказали мне вычистить уборную, а я покачал головой. Это, дескать, бабья работа. Она ужасно рассердилась и начала визжать. Тогда я заговорил по-английски. «Идите к черту»,— сказал я ей. Тогда пришел старик, выгнал меня на улицу кучерской плетью и сказал, что не заплатит мне за отработанную неделю. Пока мы с ним спорили, он позвал полисмена, а когда я попытался объяснить полисмену, что старик мне должен десять долларов за неделю, он сказал: «Ах ты, паршивая вошь!» — и ударил меня палкой.

Марко весь побагровел.

— Он назвал вас паршивой вошью?

Конго кивнул головой.

— Сам он поганый ирландец,— проворчал Марко по-английски.— Осточертел мне этот гнусный город! Во всем мире одно и то же: полиция избивает нас, богатеи надувают нас на нашем нищенском жалованье, а чья вина? Dio cane![2] Ваша вина, моя вина, вина Эмиля.

— Не мы создавали мир, а они или, может быть, Бог.

— Бог на их стороне, как и полиция. Настанет день, когда мы убьем Бога. Я — анархист.

Конго затянул:

— Les bourgeois á la lanterne, nom de Dieu![3]

— Вы из наших?

Конго пожал плечами.

— Я не католик и не протестант. У меня нет денег и нет работы. Посмотрите! — Конго ткнул грязным пальцем в разорванную коленку.— Вот вам анархизм. К черту! Я поеду в Сенегал и сделаюсь негром.

— Ты и так похож на негра,— рассмеялся Эмиль.

— Потому меня и зовут Конго.

---

[1] Мать твою! (*ит.*)

[2] Бог (и) собака! (*ит.*) Возможно, Дос Пассос перефразирует известный в Италии девиз «Die e popolo» («Бог и народ»).

[3] Буржуев на фонари, к чертовой матери! (*фр.*)

— Все это ужасно глупо,— продолжал Эмиль.— Все люди одинаковы. Разница только в том, что одни пролезают вперед, а другие нет. Поэтому я и приехал в Нью-Йорк.

— Dio cane! Я думал то же самое двадцать пять лет тому назад. Когда вам будет столько лет, сколько мне, вы лучше поймете. Разве у вас от всего этого не горит вот тут? — Он ударил кулаком по пластрону своей крахмальной рубашки.— А у меня горит, и я задыхаюсь... и говорю себе: «Держись, наш день придет, кровавый день».

— А я говорю себе,— сказал Эмиль,— когда ты будешь богатым, дружище...

— Слушайте. Перед тем, как покинуть Турин — я ездил туда повидаться с матерью,— я пошел на митинг. Говорил один парень из Капуи. Красивый такой, высокий, стройный... Он говорил, что после революции насилие исчезнет, что тогда никто не будет жить за счет работы другого человека... Полиция, правительство, армия, президенты, короли — все это сила. Но сила — не реальная вещь, сила — это иллюзия. Трудящийся человек сам все это создает, потому что он верит в это. Тот день, когда мы перестанем верить в деньги и в собственность, будет днем пробуждения, и нам не нужны будут ни бомбы, ни баррикады. Религия, политика, демократия — все это для того, чтобы усыплять и морочить нас. Вы должны кричать народу: «Проснись!»

— Когда вы выйдете на улицу, я пойду с вами,— сказал Конго.

— Помнишь, я тебе рассказывал про одного человека, Энрико Малатеста. Он — величайший человек Италии после Гарибальди*. Он провел всю свою жизнь в тюрьмах и в изгнании, в Египте, в Англии, в Южной Америке, всюду... Если б я был таким человеком, мне было бы наплевать на все. Пусть меня вешают, пусть расстреливают. Мне все равно. Я счастлив.

— Но ведь такой человек сумасшедший,— медленно проговорил Эмиль,— сумасшедший.

Марко проглотил остатки своего кофе.

— Подожди, ты слишком молод. Ты еще поймешь... Мало-помалу нас заставляют понимать... И запомни, что я тебе скажу... Может быть, я слишком стар, может быть, я мертв, но настанет день, когда трудящиеся проснутся от рабства... Вы выйдете на улицу — и полиция разбежится; вы пойдете в банк — и там на полу будут

рассыпаны деньги, и вы даже не остановитесь, чтобы поднять их,— они больше не будут нужны... Во всем мире мы подготовляем революцию. У нас есть товарищи даже в Китае... Коммуна у нас во Франции была только началом. Социализм провалился. Следующий удар нанесут анархисты. А если и мы провалимся, то придут другие...

Конго зевнул:

— Хочу спать, как собака.

Лимонный рассвет затоплял пустынные улицы, стекая с карнизов, с перил, с пожарных лестниц, с водосточных желобов, взрывая глыбы мрака между домами. Уличные фонари погасли. На углу они остановились — Бродвей казался узким и покоробившимся, словно огонь спалил его.

— Когда я вижу рассвет,— хрипло сказал Марко,— я всегда говорю себе: «Может быть... может быть, сегодня...» — Он откашлялся и сплюнул на фонарный столб, потом удалился своей ковыляющей походкой, жадно вдыхая холодный воздух.

— Это правда, Конго, что ты снова собираешься стать моряком?

— Почему бы нет? Увижу свет...

— Мне будет не хватать тебя. Буду искать другую комнату.

— Ты найдешь другого товарища.

— Если ты уйдешь в море, то останешься на всю жизнь моряком.

— Ну, и что ж с того? Когда ты разбогатеешь и женишься, я приеду навестить тебя.

Они шли по Шестой авеню*. Поезд прогремел над их головами. Он давно уже исчез, а смутный грохот еще таял в стропилах.

— Почему ты не ищешь другого места? Почему остаешься здесь?

Конго вынул из нагрудного кармана две смятые папиросы, протянул одну из них Эмилю, зажег спичку и начал медленно выпускать клубы дыма.

— Я сыт по горло! — Он провел ребром ладони по кадыку.— Сыт по горло! Может быть, поеду домой, посмотрю, что делают девчонки в Бордо... Не все же они ходят в корсетах... Может быть, поступлю добровольцем в военный флот и буду носить красный помпон. Девочки любят это... Вот это жизнь! Напиваться, получать жалованье, увидеть Дальний Восток...

— И в тридцать лет умереть от сифилиса в больнице.

— Чепуха!.. Тело каждые семь лет обновляется.

На лестнице их дома пахло капустой и прокисшим пивом. Зевая, они поплелись наверх.

— Ждать — это гнусное, утомительное занятие. От него подошвы болят... Смотри-ка, кажется, будет хорошая погода. Из-за водокачки проглядывает солнце.

Конго стащил сапоги, носки, брюки и свернулся клубком на кровати.

— Эти паршивые ставни пропускают свет,— пробормотал Эмиль, растягиваясь на другом конце кровати.

Он беспокойно ворочался на скомканной простыне. Дыхание Конго, лежавшего рядом с ним, было медленно и ритмично. «Если бы я мог быть таким,— думал Эмиль,— никогда ни о чем не беспокоиться... Господи, как это глупо... Марко... старый дурак...»

Он лежал на спине, глядя на грязные пятна на потолке, вздрагивая каждый раз, когда проходивший поезд сотрясал комнату. Черт возьми, надо копить. Когда он повернулся, кровать заскрипела, и он вспомнил голос Марко: «Когда я вижу рассвет, я говорю себе: «Может быть, сегодня...»

— Простите меня, мистер Олафсон, я должен уйти на минутку,— сказал жилищный агент.— А вы пока решите с мадам вопрос о квартире.

Они остались в пустой комнате, глядя в окно на аспидный Гудзон, на военные суда, стоявшие на якоре, на шхуну, шедшую вверх по течению.

Вдруг она повернулась к нему. Ее глаза заблестели.

— О Билли, ты только подумай!

Он обнял ее за плечи и медленно притянул к себе.

— Почти чувствуешь запах моря...

— Ты только подумай, Билли! Мы будем жить на Риверсайд-драйв*. У меня будет приемный день. «Миссис Вильям Олафсон, 218, Риверсайд-драйв...» Я не знаю, помещают ли адрес на визитных карточках.

Она взяла его за руку и повела по пустым, чисто выметенным комнатам, в которых никто никогда еще не жил. Он был высокий, неуклюжий мужчина с блекло-синими глазами на белом, детском лице.

— Но это стоит уйму денег, Берта!

— С нашими средствами мы теперь можем себе это позволить. Твое положение требует этого. Подумай, как мы будем счастливы.

Агент возвратился, потирая руки.

— Прекрасно, прекрасно! Я вижу, что мы пришли к благоприятному решению. Вы поступаете очень разумно — во всем Нью-Йорке вы не найдете лучшей квартиры. Через несколько месяцев вы не достанете такой квартиры ни за какие деньги.

— Мы берем ее с первого числа.

— Очень хорошо, вы не пожалеете о вашем решении, мистер Олафсон.

— Я пришлю вам чек завтра утром.

— Как вам будет угодно. Будьте добры, ваш нынешний адрес...

Агент вынул записную книжку и послюнил огрызок карандаша.

Она выступила вперед:

— Запишите лучше: отель «Астор»*. А вещи на складе.

Мистер Олафсон покраснел.

— И... э... я бы хотел иметь имена двух лиц, могущих дать рекомендацию.

— Я служу у «Китинг и Брэдли», сорок три, Парк-авеню.

— Он как раз назначен помощником главного управляющего,— прибавила миссис Олафсон.

Когда они вышли и пошли по набережной против ветра, она воскликнула:

— Дорогой, я так счастлива! Теперь действительно стоит жить.

— Но почему ты сказала ему, что мы живем в отеле «Астор»?

— Не могла же я сказать, что мы живем в Бронксе*. Он бы подумал, что мы евреи, и не сдал бы нам квартиры.

— Но ты ведь знаешь, что я не люблю этих штук.

— Ну тогда переедем на несколько дней в отель «Астор», если уж ты хочешь быть правдивым. Мне еще никогда не приходилось жить в большом отеле.

— Но, Берта, это дело принципа. Мне не нравится, когда ты так поступаешь.

Она повернулась и посмотрела на него, раздувая ноздри.

— Какая ты рохля, Билли! Почему я не вышла замуж за настоящего мужчину?

Он взял ее за руку.

— Идем,— сказал он грубо и отвернулся.

Они пошли по перпендикулярной улице между строительными участками. На углу еще высился остов полуразрушенной фермы. Виднелась половина комнаты с го-

лубыми, изъеденными коричневыми потеками обоями, закопченный камин, шаткий буфет и железная кровать, сложенная вдвое.

Одна тарелка за другой скользит из жирных рук Бэда. Запах помоев и горячей мыльной пены. Взмах мочалкой, в раковину под кран, и тарелка летит на край стола, где ее перетирает длинноносый мальчик-еврей. Колени промокли от разлитой воды, жир стекает по рукам, локти сведены судорогой.

— Черт побери, это не работа для белого человека!

— А мне наплевать, было бы что жрать! — сказал еврей, перекрикивая звон посуды и шипенье плиты, на которой три повара, обливаясь потом, жарили яичницу с ветчиной, бифштексы, картошку и солонину с бобами.

— Это верно, пожрать тут можно,— сказал Бэд и обвел языком зубы, высасывая кусочки солонины; он размалывал ее языком о нёбо.

Взмах мочалкой, в раковину под кран, и тарелка летит на край стола, где ее перетирает длинноносый мальчик-еврей. Минута отдыха. Еврей протянул Бэду папиросу. Они облокотились о раковину.

— Не Бог весть, как много зарабатываешь мытьем посуды.

Папироса прилипла к толстой губе еврея и болталась, когда он говорил.

— Конечно, это не работа для белого человека,— сказал Бэд.— Быть лакеем куда лучше. Там чаевые...

Из закусочной вошел человек в коричневом котелке. У него были тяжелые челюсти, маленькие свиные глазки, во рту у него торчала длинная сигара. Бэд встретил его взгляд и почувствовал, как по его спине ползут мурашки.

— Кто это? — прошептал он.

— Не знаю. Вероятно, посетитель.

— А вам не кажется, что он похож на сыщика?

— Откуда я, черт возьми, знаю? Я никогда не был в тюрьме.— Еврей покраснел и выдвинул нижнюю челюсть.

Мальчик из закусочной принес новую стопку грязных тарелок. Взмах мочалкой, в раковину под кран — и на край стола. Когда человек в коричневом котелке проходил по кухне, Бэд опустил глаза и уставился на свои красные, покрытые жиром руки. К черту! Что ж с того, если он даже и сыщик... Перемыв тарелки, Бэд напра-

вился к двери, вытер руки, взял куртку и шляпу, висевшие на гвозде, и вышел черным ходом мимо помойных ведер на улицу. Вот дурак! Лишился платы за два часа работы. В окне оптического магазина часы показывали двадцать пять минут третьего. Он пошел по Бродвею мимо Линкольн-сквер через Колумб-сквер* вниз, по направлению к центру, где толпа была гуще.

Она лежала, подняв колени к подбородку, туго стянув ночную рубашку у пяток.

— Ну постарайся заснуть, дорогая. Обещай маме, что ты будешь спать.

— А папочка придет поцеловать меня на ночь?

— Придет, когда вернется. Он опять пошел в контору. А мама идет к миссис Спингарн.

— А когда папа придет домой?

— Элли, я же тебя просила заснуть. Я не буду тушить свет.

— Не надо, мамочка, от него тени. Когда придет папочка?

— Когда освободится.— Она потушила газовый рожок.

Тени во всех углах окрылились и слились.

— Спокойной ночи, Эллен.

Полоса света в дверях сузилась за мамой, медленно сузилась в длинную нить. Щелкнул замок; шаги удалились и замерли в передней. Хлопнула входная дверь; где-то в молчаливой комнате тикали часы. За стенами комнаты, за стенами дома — стук колес и удары копыт, громкие голоса. Гул рос. Было совершенно темно, только две полоски света образовали опрокинутое «L» в углу двери.

Элли хотелось протянуть ноги, но она боялась. Она не смела оторвать глаз от опрокинутого «L» в углу двери. Если она закроет глаза, свет исчезнет. За кроватью, из-за оконных занавесей, из шкафа, из-под стола тени, скрипя, подползали к ней. Она обхватила ноги руками, прижала подбородок к коленям. Подушка набухала тенью, тени ищейками всползали на кровать. Если она закроет глаза, свет исчезнет.

Черный спиральный гул с улицы проникал сквозь стены, заставляя вкрадчивые тени содрогаться. Ее язык стучал о зубы, как язык колокола. Руки и ноги одеревенели, шея одеревенела, она начала кричать. Кричать, чтобы заглушить грохот и гул улицы, кричать, чтобы папочка услышал, чтобы папочка вернулся домой. Она глубоко

вдохнула в себя воздух и опять закричала. Чтобы папочка вернулся домой! Ревущие тени колебались и танцевали, тени подстерегали ее со всех сторон. Тогда она заплакала; глаза ее наполнились уютными теплыми слезами, они скатывались по щекам, стекали в уши. Она повернулась и плакала, уткнувшись лицом в подушки.

Газовые фонари еще некоторое время дрожат на багрово-холодных улицах, а потом гаснут, растворяясь в победной заре. Гэс Мак-Нийл идет рядом со своей тележкой, размахивая проволочной корзиной, наполненной молочными бутылками. Сон еще склеивает его глаза. Он останавливается у дверей, собирает пустые бутылки, карабкается по сырым лестницам, вспоминает, кому и какой сорт молока, сливок и сметаны оставить. Тем временем небо над крышами, желобами, карнизами и трубами становится розоватым и желтым. Иней блестит на ступеньках домов и на тумбах. Лошадь медленно плетется, качая головой, от двери к двери. На замерзшей панели уже чернеют следы пешеходов. Тяжелый воз с пивом грохочет по улице.

— Как поживаете, Майк? Замерзли, небось? А? — кричит Гэс Мак-Нийл полисмену, потирающему руки на углу Восьмой авеню.

— Доброе утро, Гэс! Коровы еще дают молоко?

Уж совсем рассвело, когда он, наконец, бросает вожжи на облезлый круп мерина и едет обратно на ферму с пустыми бидонами, подпрыгивающими и дребезжащими в тележке за его спиной. На Девятой авеню прямо над его головою грохочет поезд. Маленький зеленый паровоз выбрасывает клуб дыма, белого и плотного, как вата. Дым тает в стылом воздухе между жесткими, чернооконными домами. Первые лучи солнца выхватывают золотые буквы вывески «Вина и ликеры Мак-Джилликеди» на углу Десятой авеню. Язык у Гэса Мак-Нийла пересох, рассвет оставил во рту солоноватый вкус. Кружка пива была бы самым подходящим делом в такое холодное утро. Он наматывает вожжи на кнут и соскакивает с тележки. Его закоченелые ноги ноют, прикасаясь к панели. Потопав ногами, чтобы согреть пальцы, он входит в бар, распахнув шаткую дверь.

— Будь я проклят, если молочник не привез нам сливок к кофе!

Гэс плюет в начищенную плевательницу подле стойки.

— Пить хочу...

— Слишком много молока выпили, Гэс, держу пари,— басит хозяин с четырехугольным жирным лицом.

Из открытого окна красная солнечная полоса ласкает тело голой дамы — она возлежит позади стойки в золотой раме, спокойная, как крутое яйцо на ложе из шпината.

— Ну, Гэс, чем прикажете потчевать?

— Я думаю, Мак, пива.

Пена дрожит и переливается через край. Хозяин срезает ее деревянной ложкой, дает ей осесть, потом опять подставляет кружку под визжащий кран бочки. Гэс устраивается поудобнее, ставит ноги на медную решетку.

— Ну, как дела?

Гэс опорожняет кружку и, прежде чем вытереть рот, проводит ребром ладони по кадыку.

— Сыт по горло. Я вам скажу, что намерен делать. Я поеду на восток, возьму себе кусочек свободной земли в Северной Дакоте или где-нибудь в другом месте и буду сеять пшеницу. Я на этот счет мастер... Городская жизнь никуда не годится.

— А как на это посмотрит Нелли?

— Ей, наверно, сначала не очень понравится. Она так любит комфорт, свой дом, все, к чему она привыкла, но, я думаю, ей понравится. Она привыкнет к новому месту, как только мы устроимся. Здешняя жизнь не подходит ни мне, ни ей.

— Вы правы, этот город — сущий ад. Я думаю, что в один прекрасный день мы с женой все распродадим. Если бы я только мог купить хороший ресторанчик за городом или гостиницу. Это было бы самое подходящее для нас дело. Я уже присмотрел кое-что неподалеку от Бронксвильского шоссе.— Он задумчиво трет подбородок кулаком.— Надоело мне каждый вечер разливать это проклятое пойло. Ведь я ушел с ринга для того, чтобы больше никогда в жизни не драться. А вчера вечером два негодяя сцепились тут, и мне пришлось вмешаться и драться с обоими, чтобы выкинуть их. Надоело мне до черта воевать с каждым пьяницей на Десятой авеню. Выпейте на дорогу!

— Боюсь, Нелли почувствует запах.

— Неважно. Пусть привыкает к небольшой выпивке. Ее отец это дело тоже любил.

— Честное слово, Мак, я ни разу не был пьян со дня моей свадьбы.

— Да я ничего не говорю. Она славная девчонка, ваша Нелли. Этакие у нее кудряшки — кого угодно с ума сведет.

От второй кружки у Гэса щиплет и щекочет в кончиках пальцев. Он хохочет и хлопает себя по ляжке.

— Она наливное яблочко, Гэс. Настоящая леди и все такое...

— Ну, пора ехать домой.

— Счастливый дьявол! Идет спать с женой, а мы только начинаем работать.

Багровое лицо Гэса краснеет. Его уши горят еще сильнее.

— Иногда я еще застаю ее в кровати... Ну, прощайте, Мак.— Он выходит на улицу.

Утро стало пасмурным. Свинцовые тучи собираются над городом.

— Ну, пошла, старуха! — кричит Гэс, дергая лошадь за гриву.

Одиннадцатая авеню полна ледяной пыли, визга и грохота колес, топота копыт. С железнодорожного пути доносятся свистки паровоза и стук товарных вагонов, переходящих на запасной путь. Гэс лежит в кровати со своей женой и нежно говорит ей: «Слушай, Нелли, ты ничего не имеешь против переезда на Восток? Да? Я подал заявление о предоставлении мне свободной земли под ферму в Северной Дакоте; там чернозем, и мы наживем кучу денег на пшенице; многие богатеют с пяти хороших урожаев... И, во всяком случае, для детей там здоровее...»

— Хелло, Майк!

Бедный старый Майк... Он все еще на посту. Гнусное занятие — быть фараоном. Лучше быть фермером, сеять пшеницу, иметь собственный большой дом, хлев, свиней, лошадей, коров, кур... Хорошенькая кудрявая Нелли кормит цыплят у кухонной двери...

— Эй! Эй! Ради Бога, осторожнее! — кричит Гэсу человек с угла улицы.— Поезд!

Разверстый рот, изодранная кепка, зеленый флаг. «Господи, я на рельсах!» Он пытается повернуть лошадь. Удар опрокидывает тележку. Вагоны, лошадь, зеленый флаг, красные дома кружатся и исчезают во мраке.

III. ДОЛЛАРЫ

Вдоль перил — лица; в иллюминаторах — лица. Ветер доносил тухлый запах с парохода. Пароход, похожий на бочонок, стоял на якоре, накренившись на бок. С его фок-мачты свисал желтый карантинный флаг.

— Я бы дал миллион долларов, чтобы узнать, зачем они приехали,— сказал старик, роняя весла.

— Чтобы нажиться,— ответил юноша, сидевший на корме.— Ведь Америка — страна больших возможностей.

— Одно я знаю,— сказал старик,— когда я был мальчиком, весной сюда вместе с первой сельдью приезжали ирландцы... Теперь сельди больше нет, а люди все едут и едут. Откуда они берутся — Бог их знает.

— Америка — страна больших возможностей.

Молодой человек с худым лицом, стальными глазами и тонким орлиным носом сидел, откинувшись на вертящемся стуле, положив ноги на стол красного дерева. У него были пухлые губы и болезненный цвет лица. Он раскачивался на стуле, разглядывая царапины, которые его ботинки оставляли на фанере. К черту! Наплевать! Вдруг он выпрямился и сел так внезапно, что пружина стула запищала. Он ударил сжатым кулаком по колену.

— Результаты! — закричал он.— Три месяца я протираю брюки, сидя на этом вертящемся стуле... Какая польза от того, что я кончил университет и имею право выступать в суде, если я не могу найти ни одного клиента?

Он нахмурился, глядя на золотые буквы, красовавшиеся на матовой стеклянной двери:

НИУДЛОБ ЖДРОЖД ТАКОВДА

— «Ниудлоб...» К черту! — Он вскочил на ноги.— Я читаю эту проклятую надпись задом наперед каждый день в течение трех месяцев. Я с ума от этого сойду. Пойду завтракать.

Он одернул жилет, смахнул платком пыль с ботинок, затем, придав лицу выражение чрезвычайной озабоченности, поспешно вышел из своей конторы, сбежал с лестницы и пошел по Мэйден-лейн*. Напротив ресторана он увидел заглавную строчку экстренного выпуска газеты: «Японцы отброшены от Мукдена»*. Он купил газету, сунул ее под мышку и, хлопнув дверью, вошел в ресторан. Он занял столик и уставился в меню. Нельзя быть расточительным.

— Дайте обед по-английски, кусочек яблочного пирога и кофе.

Длинноволосый лакей записал заказ на манжете, глядя на нее сбоку с озабоченным видом. Это был обед адвоката без практики. Болдуин откашлялся и развернул газету...

Наверно, теперь русские бумаги немного поднимутся... Ветераны войны посетили президента. Еще один несчастный случай на Одиннадцатой авеню. Молочник тяжело изувечен...

«Ага, вот материал для славного процесса с иском за увечье!»

Огэстос Мак-Нийл, проживающий в доме № 253 по 4-ой улице, ехавший на тележке молочной фермы «Эксцельсиор и К°», сегодня утром попал под поезд, шедший по Центральному нью-йоркскому пути. Мак-Нийл тяжело изувечен...

«Надо затеять дело против железной дороги. Ей-богу, я должен поймать этого человека и заставить его подать в суд на железную дорогу...»

Еще не пришел в сознание...

«Может быть, он уже умер. Ну, тогда его жена имеет еще больше шансов выиграть процесс. Сегодня же пойду в больницу, надо опередить других ходатаев». Он решительно откусил кусочек хлеба и энергично прожевал его. «Конечно, нет, я пойду к нему на дом и узнаю, есть ли у него жена, мать или кто-нибудь в этом роде. «Простите, миссис Мак-Нийл, что я навязываюсь вам. У вас такое страшное горе, но мне необходимо узнать... Я как раз занят одним крупным процессом...» Он допил кофе и заплатил по счету.

Твердя «253, Четвертая улица», он нанял экипаж до Бродвея, потом пошел по Четвертой улице и перешел Вашингтон-сквер*. Деревья распростерли на фоне серо-синеватого неба хрупкие багряные ветки. Великолепные здания с широкими окнами пылали розово, беззаботно, богато. Самое подходящее место для адвоката с большой солидной практикой. Посмотрим, посмотрим... Он пересек Шестую авеню и углубился в грязную западную часть города, где пахло конюшней, а на тротуарах валялись отбросы и ползали дети. Какой ужас жить среди ирландцев и иностранцев, отбросов всего мира! У дверей дома № 253 было множество звонков без надписи. Женщина в платье из бумажной ткани, с рукавами, засучен-

ными над колбасообразными руками, высунула из окна седую голову.

— Скажите, пожалуйста, здесь живет Огэстос Мак-Нийл?

— Он лежит в больнице. Где ему еще быть?

— Без сомнения. А может быть, здесь живет кто-нибудь из его родных?

— А что вам от них надо?

— У меня к ним дело.

— Поднимитесь на верхний этаж, там найдете его жену. Но я не думаю, чтобы вам удалось ее увидеть,— бедняжка ужасно потрясена несчастьем, случившимся с ее мужем. Они только полтора года, как повенчались.

Лестница была испещрена следами грязных ног и кое-где посыпана золой. Наверху он увидел свежевыкрашенную темно-зеленую дверь и постучал.

— Кто там? — раздался женский голос.

Он вздрогнул. «Должно быть, молоденькая».

— Миссис Мак-Нийл дома?

— Да! — ответил звонкий женский голос.— В чем дело?

— Я по поводу несчастного случая с мистером Мак-Нийлом.

— «По поводу несчастного случая»?

Дверь осторожно приоткрылась. У нее был резко очерченный, молочно-белый нос, такой же подбородок и масса волнистых рыжевато-коричневых волос, которые мелкими, плоскими кудрями лежали на ее высоком, узком лбу. Серые глаза остро и подозрительно посмотрели ему прямо в лицо.

— Могу я с вами минуту поговорить о несчастном случае с мистером Мак-Нийлом? Существует целый ряд законов, и я считаю своим долгом поставить вас о них в известность... Кстати, я надеюсь, ему лучше?

— О да. Он скоро вернется домой.

— Можно войти? Это довольно долго объяснять.

— Я думаю, что можно.— Ее пухлые губки сложились в лукавую улыбку.— Я думаю, вы меня не съедите.

— Нет, честное слово, не съем.— Он нервно рассмеялся.

Она повела его в темную гостиную.

— Я не открываю ставен, чтобы вы не видели беспорядка.

— Позвольте представиться, миссис Мак-Нийл: Джордж Болдуин, восемьдесят восемь, Мэйден-лейн. Моя специальность, видите ли,— несчастные случаи вроде

вашего. В двух словах: вашего мужа переехал поезд и он чуть не погиб из-за преступной халатности служащих Нью-йоркской центральной железной дороги. Вы имеете все основания возбудить дело против железной дороги. Я также думаю, что «Эксцельсиор и К°» предъявит иск за убытки, причиненные фирме несчастным случаем, то есть за потерю лошади, тележки и тому подобное.

— Вы хотите сказать, что Гэсу возместят все убытки?

— Совершенно верно.

— А как вы думаете, сколько он получит?

— Ну, это зависит от того, насколько тяжелы его увечья, от судебного решения и, может быть, от ловкости адвоката. Я думаю, десять тысяч долларов — подходящая сумма.

— А вы сейчас не берете денег?

— Гонорар адвоката редко уплачивается до того, как дело доведено до успешного конца.

— А вы настоящий адвокат? Правда? Вы выглядите слишком молодым.

Серые глаза метнули на него взгляд. Оба рассмеялись. Он почувствовал, как теплая, неизъяснимая волна пробежала по его телу.

— Я адвокат, моя специальность — несчастные случаи. Не далее как в прошлый вторник я взыскал шесть тысяч долларов в пользу одного клиента, который попал под почтовый фургон. В настоящее время, как вам, вероятно, известно, поднята усиленная кампания за упорядочение уличного движения на Одиннадцатой авеню. Момент, как мне кажется, чрезвычайно подходящий.

— Скажите, вы всегда так говорите? Или только в деловом разговоре?

Он откинул голову и рассмеялся.

— Бедный, старый Гэс, я всегда говорила, что ему везет!

Плач ребенка раздался из-за перегородки.

— Что это такое?

— Это ребенок. Малютка все время только пищит.

— Так у вас есть дети, миссис Мак-Нийл? — Это открытие несколько охладило его.

— Только один. А что?

— Ваш муж лежит в больнице скорой помощи?

— Да, и я думаю, что вам позволят повидаться с ним, если вы по делу. Он ужасно стонет.

— Если бы я мог достать несколько свидетелей...

— Майк Дойни, полисмен, все видел. Он приятель Гэса.

— Ей-богу, это верное дело! Мы им покажем. Я пойду прямо в больницу.

Новый взрыв плача раздался из соседней комнаты.

— Ах ты, дрянь,— прошептала она, скривив лицо.— Деньги нам очень пригодились бы, мистер Болдуин.

— Ну, мне пора.— Он взял шляпу.— Я, конечно, сделаю все возможное. Можно заходить к вам время от времени и докладывать о ходе дела?

— Надеюсь, вы придете.

Когда они прощались, стоя у дверей, он не мог сразу отпустить ее руку. Она покраснела.

— Ну, до свиданья и большое спасибо за то, что вы зашли,— сказала она.

Чувствуя головокружение и спотыкаясь, Болдуин спустился по лестнице. Кровь стучала ему в виски. «Самая красивая девочка, какую я когда-либо видел». На улице шел снег. Снежные хлопья робко ласкали его пылавшие щеки.

Небо над парком* было усеяно маленькими облачками, точно лужайка белыми цыплятами.

— Алиса, пойдем по этой тропинке.

— Нет, Эллен, папа приказал мне идти из школы прямо домой.

— Трусиха!

— Эллен, ты ведь знаешь, как воруют детей.

— Я же тебя просила не называть меня Эллен.

— Ну хорошо, Элайн.

На Эллен было новое черное шотландское платьице. Алиса носила очки; ноги у нее были тонкие, как шпильки.

— Трусиха!

— Вот видишь, какие страшные люди сидят на скамейке. Идем, Элайн, красотка, идем домой!

— А я не боюсь. Я умею летать, как Питер Пен в сказке.

— Что же ты не летаешь?

— Сейчас не хочется.

Алиса начала хныкать:

— Эллен, какая ты скверная! Ну идем же домой, Элайн.

— Нет, я пойду гулять в парк.

Эллен спустилась с лестницы. Алиса несколько секунд стояла на верхней площадке, балансируя то на одной, то на другой ноге.

— Трусиха, трусиха, трусиха! — закричала Эллен.

Алиса убежала плача:

— Я скажу твоей маме.

Эллен шла по асфальтовой дорожке между кустами, высоко вскидывая ноги.

В новом шотландском платьице, купленном мамой в магазине Херна, Эллен шла по асфальтовой дорожке, высоко вскидывая ноги. Серебряная брошка сверкала на плече нового черного шотландского платьица, купленного мамой в магазине Херна. Элайн из Ламмермура шла к венцу*. Невеста. Там-там-там, там-там-там — гудят волынки по полям! У человека на скамье пятно под глазом. Подстерегающее, черное пятно. Черное, подстерегающее пятно. Черный шотландец, похититель детей. Среди шелестящих кустов похитители детей — на черной страже. Эллен уже не вскидывает ноги. Эллен ужасно боится черного шотландца, похитителя детей, огромного, скверно пахнущего шотландца с черным пятном под глазом. Она боится бежать. Ее отяжелевшие ноги шаркают по асфальту — она пытается бежать по дорожке. Она боится повернуть голову. Черный шотландец, похититель детей, в двух шагах за ней. «Когда я добегу до фонаря, я догоню няньку с ребенком, когда я догоню няньку с ребенком, я добегу до большого дерева, когда я добегу до большого дерева... Ох, как я устала... Я пробегу по Центральному западному парку и прямо по улице домой». Она боялась свернуть. Она бежала, и у нее кололо в боку. Она бежала до тех пор, пока во рту у нее не стало горько.

— Куда ты бежишь, Элли? — спросила Глория Дрэйтон; она прыгала через скакалку на опушке парка.

— Так мне хочется! — задыхаясь, сказала Эллен.

Винная вечерняя заря окрашивала тюлевые занавески и просачивалась в голубой мрак комнаты. Они стояли у стола. Звездные нарциссы в горшке, еще завернутом в папиросную бумагу, блестели фосфорическим блеском и издавали влажный запах земли, смешанный с острым, бесстыдным ароматом.

— Вы очень любезны, мистер Болдуин. Я завтра снесу цветы Гэсу в больницу.

— Ради Бога, не называйте меня так.

— Но мне не нравится имя Джордж.

— А мне нравится ваше имя, Нелли.

Он стоял, глядя на нее. Тяжелый аромат струился с ее рук. Его руки болтались, как пустые перчатки. Ее глаза почернели, зрачки расширились, припухшие губы тяну-

лись к нему из-за цветов. Она подняла руки, чтобы закрыть лицо. Он обнял ее худенькие плечи.

— Право, Джордж, мы должны быть осторожны. Вы не должны приходить сюда так часто. Я не хочу, чтобы все старые сплетницы в доме начали болтать.

— Не беспокойтесь... Не надо ни о чем беспокоиться.

— Всю прошлую неделю я вела себя как сумасшедшая. С этим надо покончить.

— А я разве вел себя как нормальный человек? Клянусь Богом, Нелли, я никогда ничего подобного не делал раньше. Я не из той породы.

Она улыбнулась, обнажив ровные зубы.

— От мужчин всего можно ожидать.

— Если бы это не было особенным, исключительным чувством, то я бы не бегал так за вами. Я никогда не любил никого, кроме вас, Нелли.

— Ну уж и никого!

— Правда, я никогда этим не интересовался. Я слишком усердно занимался в университете. У меня не было времени для ухаживанья.

— Теперь стараетесь наверстать потерянное?

— О Нелли, не говорите так!

— Честное слово, Джордж, я решила положить этому конец. Что мы будем делать, когда Гэс выйдет из больницы? Я совершенно забросила ребенка.

— Не все ли равно, что случится, Нелли?

Он повернул ее лицо к себе. Они прильнули друг к другу, шатаясь, губы их слились в диком поцелуе.

— Посмотрите — мы чуть не опрокинули лампу.

— Вы прекрасны, Нелли.

Ее голова упала к нему на грудь. Он чувствовал острый запах ее спутанных волос. Было темно. Зеленые змейки света от уличных фонарей извивались вокруг них. Ее глаза смотрели в его глаза — страшные, торжественные, черные.

— Нелли, пойдем в ту комнату,— прошептал он тонким, дрожащим голосом.

— Там бэби.

Они смотрели друг на друга. Руки их были холодны.

— Идите сюда, помогите мне. Я перенесу колыбель сюда... Осторожно, не разбудите ее, иначе она завопит во всю глотку.— Ее голос звучал хрипло.

Ребенок спал. Его маленькое красное личико было спокойно. Крошечные, розовые сжатые кулачки лежали на одеяльце.

— Она выглядит счастливой,— сказал он с насильственным хихиканьем.

— Потише вы! Вот что, снимите ботинки... Джордж, я никогда бы этого не сделала, но это сильнее меня.

Он нашел ее впотьмах.

— Дорогая...— Он неуклюже навалился на нее, прерывисто и тяжело задышал.

— Врешь, Хромой!..

— Честное слово, не вру, клянусь могилой матери! Тридцать семь градусов широты, двенадцать долготы... Вы бы посмотрели! Мы добрались до острова в шлюпке, когда «Эллиот П. Симкинс» пошел ко дну. Нас было четверо мужчин и семь женщин и детей. Да ведь я сам все рассказал репортерам. Потом это было во всех воскресных газетах.

— А скажи-ка, Хромой, каким же образом тебя оттуда вытащили?

— На носилках — лопни мои глаза, если я вру! Сукин сын буду, если я не тонул самым настоящим образом, точь-в-точь как старая лоханка «Симкинс».

Головы на толстых шеях откидываются назад, громыхает смех, стаканы стучат о круглый стол, ладони хлопают по ляжкам, локти въезжают в ребра.

— А сколько человек команды было на судне?

— Семеро, считая мистера Доркинса, второго офицера.

— Четыре и семь — это одиннадцать... Черт побери, по четыре и три одиннадцатых бабы на парня!.. Славный островок!

— Когда отходит следующий паром?

— Брось! Выпей лучше еще стаканчик. Эй, Чарли, налей!

Эмиль дернул Конго за рукав.

— Выйдем на минутку. J'ai que'quechose à te dire[1].

Глаза у Конго были влажны, он слегка спотыкался, следуя за Эмилем.

— Oh, le p'tit mysterieux![2]

— Слушай, я иду в гости к одной даме.

— А, вот в чем дело. Я всегда говорил, что ты ловкий парень, Эмиль.

— Вот я тебе записал мой адрес на случай, если ты забудешь его: «Девятьсот сорок пять, Двадцать вторая

---

[1] Мне надо тебе кое-что сказать (*фр.*).

[2] Ох, маленький заговорщик! (*фр.*)

улица». Можешь ночевать там, но только не приводи с собой женщин и вообще... Я в хороших отношениях с хозяйкой и не хочу портить их. Tu comprends?[1]

— А я хотел, чтобы ты пошел со мной на вечеринку. Faut fire un peu la noce, nom de Dieu![2]

— Мне утром надо работать.

— Брось! У меня в кармане жалованье за восемь месяцев.

— Нет, приходи завтра в шесть утра. Буду ждать.

— Tu m'emmerdes, tu sais, avec tes manières![3]

Конго сплюнул в плевательницу, стоявшую в углу под стойкой и нахмурившись отошел в глубь комнаты.

— Эй, Конго, садись! Барней нам сейчас споет.

Эмиль вскочил в трамвай и поехал в город. На Восемнадцатой улице он слез и зашагал по направлению к Восьмой авеню. Вторая дверь от угла — маленькая лавочка. Над одним из окон висела надпись «Кондитерская», над другим — «Гастрономия». Посредине, на стеклянной двери, была надпись эмалированными буквами: «Эмиль Риго, первоклассные деликатесы». Эмиль вошел. Задребезжал дверной колокольчик. Полная смуглая женщина с черными усиками на верхней губе дремала за кассой. Эмиль снял шляпу.

— Bonsoir, madame Rigaud![4]

Она вздрогнула, посмотрела на него, и на ее широко улыбающемся лице образовались две ямочки.

— Tieng, c'est comma ça qu'ong oublie ses ami-es![5] — сказала она громко, с сильным южно-французским акцентом.— Уже неделя, как месье Люстек не посещает своих друзей.

— У меня не было времени.

— Много работы — много денег, а? — Когда она смеялась, ее плечи и большие груди колыхались под тесной синей кофтой.

Эмиль прищурил глаз.

— Могло быть хуже. Но мне надоело быть лакеем... Это утомительно, никто и смотреть не хочет на лакея.

— Вы тщеславный человек, месье Люстек.

---

[1] Ты понимаешь? (*фр.*)
[2] Надо устроить что-то вроде свадьбы. Боже ты мой! (*фр.*)
[3] Ты мне осточертел, знаешь ли, со своими манерами! (*фр.*)
[4] Добрый вечер, мадам Риго! (*фр.*)
[5] Ну вот, так и забывают своих друзей! (*фр.*)

— Que voulez vous?[1] — Он покраснел и добавил застенчиво: — Меня зовут Эмиль.

Мадам Риго закатила глаза.

— Так звали моего покойного мужа. Я привыкла к этому имени.— Она тяжело вздохнула.

— Ну а как идет дело?

— Comma ci, comma ça...[2] Ветчина опять вздорожала.

— Это чикагские дельцы вздувают цены... Спекульнуть на свинине — вот где можно заработать.

Эмиль заметил, что черные глаза мадам Риго глядят на него испытующе.

— Я так наслаждался вашим пением последний раз. Я часто о вас вспоминал. Музыка всегда хорошо действует, не правда ли?

Ямочки мадам Риго все больше расширялись.

— У моего бедного мужа не было слуха. Это меня очень огорчало.

— Не споете ли вы мне что-нибудь сегодня?

— Если вы хотите, Эмиль... Но кто будет заниматься с покупателями?

— Я выйду в магазин, если услышу звонок. Вы разрешите?

— Хорошо. Я выучила новую американскую песенку. C'est chic, vous savez[3].

Мадам Риго заперла кассу ключом, висевшим у нее на поясе, и прошла в комнату за лавкой. Эмиль последовал за ней со шляпой в руках.

— Дайте мне вашу шляпу, Эмиль.

— О, не беспокойтесь, пожалуйста.

Задняя комната представляла собой маленькую гостиную с желтыми обоями в цветах и старыми красными портьерами. Под хрустальным газовым рожком стояло пианино, уставленное фотографическими карточками. Табурет перед пианино затрещал, когда мадам Риго села на него. Она пробежала пальцами по клавишам.

Эмиль сидел на самом краешке стула около пианино, держа шляпу на коленях и вытягивая лицо так, чтобы мадам Риго, играя, могла видеть его. Мадам Риго запела:

Прелестная резвая птичка
В клетке сидит золотой,

---

[1] Чего же вы хотите? (*фр.*)

[2] Так себе... (*фр.*)

[3] Это шик, знаете ли (*фр.*).

Поет и порхает,
И никто не знает,
Как пленнице тяжко порой.

В лавке громко зазвенел колокольчик.

— Permettez![1] — крикнул Эмиль, выбегая.

— Полфунта болонской колбасы. Нарежьте,— сказала маленькая девочка с крысиным хвостиком.

Эмиль провел ножом по ладони и старательно нарезал колбасу. Он на цыпочках вернулся в гостиную и положил деньги на край пианино. Мадам Риго продолжала петь:

Несладко бедняжке живется,
Она раньше пела в лесу,
Но старик богатый
Купил за злато
Ее молодую красу.

Бэд стоял на углу Вест-Бродвей и Франклин-стрит. Он грыз фисташки. Был полдень, и у него не было больше денег. Над его головой грохотала воздушная железная дорога. Пылинки танцевали перед глазами в изрешеченном солнечном свете. Обдумывая, в какую сторону пойти, он в третий раз произносил названия улиц. Черная, блестящая коляска, запряженная двумя черными лошадьми с блестящими крупами, обогнула угол прямо перед ним, грохоча по мостовой красными блестящими колесами. Подле кучера лежал желтый кожаный чемодан. В коляске мужчина в коричневом котелке громко разговаривал с женщиной в сером боа и с серыми страусовыми перьями на шляпе. Мужчина выстрелил себе в рот из револьвера. Лошади рванули и врезались в сбежавшуюся толпу. Полисмены локтями пробивали себе дорогу. Они вынесли на мостовую мужчину, плевавшего кровью: голова его свесилась на клетчатый жилет. Женщина стояла подле него, высокая и бледная, дергая боа; серые перья на ее шляпе кивали в полосатых лучах солнца.

— Его жена хотела увезти его в Европу... «Дойчланд» уходит в двенадцать... Я хотела проститься с ним навсегда... Он должен был уехать на «Дойчланд» в двенадцать... Он хотел проститься со мной навсегда...

— Прочь с дороги!

[1] Позвольте! (*фр.*)

Фараон толкнул Бэда локтем в живот. Его колени тряслись. Он вышел из толпы и, дрожа, зашагал прочь. Машинально он очистил орех и положил его себе в рот. Остальные лучше сохранить до вечера. Он свернул кепи и сунул его в карман.

Под дуговым фонарем, плававшим в розовых и лиловых с зелеными краями пятнах, человек в клетчатом костюме встретил двух девушек. У той, что ближе, было овальное лицо с полными губами; глаза ее были как удар ножа. Он прошел несколько шагов, потом повернул и пошел за ними, ощупывая свой новый шелковый галстук. Он удостоверился — булавка с бриллиантовой подковкой была на месте. Он перегнал их. Она отвернула лицо. Может быть, она... Нет, он бы не сказал... Хорошо, что пятьдесят долларов при нем. Он сел на скамейку и пропустил их вперед. Еще ошибешься и попадешь в участок. Они не заметили его. Он пошел за ними по аллее и вышел из парка. Его сердце колотилось. «Я дал бы миллион долларов за... Простите, вы не мисс Андерсон?» Девушки пошли быстрее. На площади Колумба он потерял их в толпе. Он помчался по Бродвею, квартал за кварталом. Полные губы, глаза, как удар ножа. Он смотрел направо и налево в девичьи лица. Куда она провалилась? Он помчался дальше по Бродвею.

Эллен сидела рядом с отцом на Бэттери*. Она глядела на свои новые коричневые ботинки с пуговками. Она качала ногами, и, когда ноги выходили из теневого круга платья, на носках ботинок и на каждой круглой пуговке дрожал солнечный блик.

— Подумай, как хорошо было бы,— говорил Эд Тэтчер,— поехать за границу на океанском пароходе. Вообрази только — пересечь великий Атлантический океан в семь дней!

— Папочка, а чем все это время занимаются пассажиры на пароходе?

— Не знаю. Наверно, гуляют по палубе, играют в карты, читают и тому подобное. Потом танцуют.

— Танцуют? На корабле? Я думаю, это ужасно весело.— Эллен хихикнула.

— На современных пароходах все можно делать.

— Папа, почему мы не едем?

— Может быть, когда-нибудь поедем, если я накоплю денег.

— Папочка, поторопись! Накопи побольше денег. Мать и отец Алисы каждое лето ездят на Белые Горы, а будущим летом поедут за границу.

Эд Тэтчер смотрел на залив. Синим, сверкающим полем залив уходил в коричневую дымку канала Нэрроуз. Статуя Свободы* стояла, зыбкая, как лунатик, в клубящемся дыме, среди буксиров, стройных шхун и неповоротливых, неуклюжих барок, груженных кирпичом и песком. Тут и там яркие солнечные блики играли на белых парусах и пароходных трубах. Красные паромы сновали взад и вперед.

— Папочка, почему мы не богаты?

— Очень многие еще беднее нас, Элли. Разве ты любила бы своего папочку больше, если бы мы были богаты?

— О да, папочка!

Тэтчер рассмеялся.

— Может быть, когда-нибудь это случится... Как тебе нравится фирма: «Эдуард Тэтчер и компания, присяжные счетоводы»?

Эллен вскочила.

— Посмотри-ка на этот огромный пароход! Вот на нем я хотела бы поехать.

— Это «Арабик»,— произнес чей-то скрипучий голос около них.

— Да? — сказал Тэтчер.

— Да, сэр, лучший пароход в мире,— охотно пояснил обтрепанный человек, сидевший на скамейке рядом с ними.

Кепка со сломанным лакированным козырьком была надвинута на его маленькое, острое лицо. От него пахло виски.

— Да, сэр, это «Арабик».

— Хорошо выглядит.

— Один из самых больших пароходов, сэр. Я плавал на многих: и на «Мэджестик» и на «Тьютоник», сэр. Я тридцать лет служил официантом, а теперь, на старости лет, меня выкинули.

— У всех бывают тяжелые дни.

— Я был бы счастливым человеком, если бы мог вернуться на родину. Тут не место для старого человека. Тут могут жить только молодые и сильные.— Он протянул скрюченную подагрой руку по направлению к заливу и указал на статую.— Поглядите на нее — она смотрит в сторону Англии.

— Папочка, уйдем отсюда, мне не нравится этот человек,— прошептала Эллен дрожащим голосом.

— Ладно, пройдемся, посмотрим на морских львов. Будьте здоровы!

— Не дадите ли вы мне на чашку кофе? Я изголодался.

Тэтчер сунул монету в грязную, узловатую руку.

— Но, папочка!.. Мама говорила, что никогда не нужно позволять кому-нибудь заговаривать с тобой на улице. Надо позвать полисмена, если к тебе будут приставать, и потом убежать как можно быстрее от этих ужасных похитителей детей.

— Я не боюсь похитителей детей, Элли. Они страшны только маленьким девочкам.

— Когда я вырасту большая, мне можно будет разговаривать с людьми на улицах?

— Нет, дорогая, конечно нет.

— А если бы я была мальчиком, то можно было бы?

— Я думаю, да.

Они остановились на минутку, чтобы еще раз посмотреть на залив. Океанский пароход, влекомый буксиром, который окутывал его нос белым дымом, возвышался прямо перед ними над паромами и баржами. Чайки кружились и кричали. Солнце лило кремовые лучи на верхние палубы и на большую, желтую, с черной крышкой, трубу. Гирлянда флажков весело плясала на аспидном небе.

— Много народу приезжает из-за границы на этих пароходах? А, папочка?

— Посмотри сама... Видишь — палубы так и кишат людьми.

Бродя по Пятьдесят третьей улице, Бэд Корпнинг очутился перед кучей угля, лежавшей на тротуаре. По другую сторону этой кучи стояла седовласая женщина с кружевными воланами на блузе, с большой розовой камеей на высокой груди. Она смотрела на его небритый подбородок и на кисти рук, выглядывавшие из рваных рукавов. Потом он услышал свой голос:

— Не снести ли вам уголь, сударыня? — Бэд переступил с ноги на ногу.

— Об этом я как раз и думаю,— сказала женщина надтреснутым голосом.— Этот несчастный угольщик принес утром уголь и сказал, что вернется перенести его. Вероятно, напился. Я не знаю только, можно ли пустить вас в дом.

— Я с севера,— пролепетал Бэд.

— Откуда?

— Из Куперстоуна*.

— Хм... А я из Буффало*. Возможно, что вы громила, но ничего не поделаешь — надо внести уголь. Идемте, я вам дам лопатку и корзину, и если вы не растеряете уголь по дороге и на кухне, я дам вам доллар. На кухне только что мыли пол. Это всегда так, уголь приносят, когда моют пол.

Когда он внес первую корзину, она возилась на кухне; у него кружилась голова от голода, но он был счастлив, что работает, а не бродит бесцельно по тротуарам, с улицы на улицу, увертываясь от фургонов, колясок и трамваев.

— Почему у вас нет постоянной работы, голубчик? — спросила она, когда он вернулся с пустой корзинкой, едва переводя дыхание.

— Я думаю, что еще не приспособился к городским нравам. Я родился и вырос на ферме.

— А чего ради вы приехали в этот ужасный город?

— Не мог больше жить на ферме.

— Это ужасно! Что станет со страной, если все сильные молодые люди покинут землю и уйдут в город?

— Я думал, что найду работу в доках, но там никого не берут. Пожалуй, я бы и матросом мог быть, да никто не хочет брать неопытного. Я не ел уже два дня.

— Ужасно! Ах вы, несчастный... Почему же вы не пошли в какую-нибудь миссию или куда-нибудь в этом роде?

Когда Бэд принес последнюю корзину, он нашел на кухонном столе тарелку с холодным мясом, полкаравая черствого хлеба и стакан скисшего молока. Он ел быстро, едва прожевывая пищу, и остаток хлеба спрятал в карман.

— Как вам понравился завтрак?

— Благодарю вас, сударыня.— Он кивнул головой.

— Отлично, теперь вы можете идти. Благодарю вас.

Она сунула ему в руку четвертак. Бэд удивленно взглянул на монету, лежавшую на его ладони.

— Но, сударыня, вы сказали, что дадите мне доллар.

— Я никогда не говорила ничего подобного. Что за чушь! Если вы сейчас же не уйдете, то я позову моего мужа, а то еще обращусь в полицию.

Бэд молча положил монету в карман и вышел, едва волоча ноги.

— Какая неблагодарность! — брюзжала женщина, пока он закрывал за собой дверь.

Судорога сводила его желудок. Он снова повернул на восток и шел вдоль реки, крепко прижимая кулаки к ребрам. Ему все время казалось, что он упадет. «Беда, если я потеряю сознание». Он дошел до конца улицы и лег на серый щебень около верфи. Из близлежащей пивоварни вязко и сладко тянуло хмелем. Заходящее солнце пылало в окнах фабрик Лонг-Айленда, вспыхивало в иллюминаторах буксиров, сверкало желтыми и оранжевыми курчавыми пятнами на коричнево-зеленой воде, горело на изогнутых парусах медленно плывущей вверх по течению шхуны. Боль внутри утихла. Что-то пламенное и знойное, как солнечный закат, просачивалось в его тело. Он сел. «Слава Богу, я не потерял сознание».

На рассвете на палубе сыро и холодно. Троньте рукой перила — на них влага. Коричневая вода гавани пахнет умывальником и мягко бьется в борта парохода. Матросы отдраивают люки. Грохот цепей, стук паровой лебедки. Высокий человек в синем халате стоит у рычага, среди облаков пара, который хлещет по его лицу, как мокрым полотенцем.

— Мамочка, сегодня в самом деле четвертое июля?

Рука матери крепко сжимает его руку и ведет по трапу вниз, в салон-ресторан. Стюарды собирают багаж у лестницы.

— Мамочка, сегодня в самом деле четвертое июля?

— Да, кажется, дорогой мой. Это ужасно — приезжать в праздник, но я думаю, что нас все-таки будут встречать.

На ней синее саржевое платье, длинная коричневая вуаль, и вокруг шеи — маленький темный зверек с красными глазами и настоящими зубами. От платья пахнет нафталином, распакованными чемоданами, шкафами, устланными папиросной бумагой. В салоне жарко. За перегородкой уютно сопят машины. Он клюет носом над горячим молоком, чуть подкрашенным кофе. Три звонка. Он вскидывает голову. Тарелки звенят и кофе расплескивается от содроганий парохода. Потом толчок, лязг якорных цепей и постепенно тишина. Мать поднимается и выглядывает в иллюминатор.

— Будет прекрасный день, солнце прогонит туман. Подумай, дорогой, наконец-то мы дома! Здесь ты родился, мой мальчик.

— Сегодня четвертое июля.

— Это как раз очень плохо... Джимми, посиди на палубе и будь умницей. Маме нужно укладываться. Обещай мне не шалить.

— Обещаю.

Он спотыкается о медную обшивку порога и выскакивает на палубу, потирая голые колени. Он успел увидеть, как солнце прорвалось сквозь шоколадные облака и пролило огненный поток в мутную воду. Билли с веснушчатыми ушами (его родители сторонники Рузвельта, а не Паркера, как мамочка) машет желто-белому буксиру шелковым флагом величиной с носовой платок.

— Ты видел восход солнца? — спрашивает он таким тоном, словно солнце принадлежит ему.

— Я еще из иллюминатора видел,— говорит Джимми и отходит, задерживаясь взглядом на флаге.

С другого борта земля совсем близко; ближе всего зеленая скамейка с деревьями, а подальше — белые дома с серыми крышами.

— Ну-с, молодой человек, как вы чувствуете себя дома? — спрашивает господин с длинными усами.

— Там Нью-Йорк? — Джимми протягивает руку над спокойной, яркой водой.

— Да, мой мальчик, вон там, за туманом,— Манхэттен.

— А что это такое, сэр?

— Это Нью-Йорк. Нью-Йорк расположен на острове Манхэттен.

— Неужели на острове?

— Вот так мальчик! Он не знает, что его родной город расположен на острове.

Золотые зубы длинноусого господина сверкают, когда он смеется, широко открывая рот. Джимми расхаживает по палубе, щелкая каблуками; внутри него все бурлит. Нью-Йорк расположен на острове!

— Вы, кажется, очень рады, что приехали домой, милый мальчик? — спрашивает дама.

— О да, мне хочется упасть и целовать землю.

— Какое прекрасное, патриотическое чувство! Я так рада слышать это.

Джимми весь горит. «Целовать землю, целовать землю!» — звенит у него в голове. Кругами по палубе...

— Вот то, с желтым флагом,— карантинное судно.— Толстый еврей с перстнями на пальцах разговаривает с

длинноусым господином.— Мы опять двигаемся... Быстро, правда?

— Будем как раз к завтраку, к американскому завтраку, к славному домашнему завтраку.

Мама идет по палубе. Ее коричневая вуаль развевается.

— Вот твое пальто, Джимми, понеси его.

— Мамочка, можно мне взять флаг?

— Какой флаг?

— Шелковый американский флаг.

— Нет, дорогой. Все убрано.

— Ну пожалуйста, мне так хочется взять флаг. Ведь сегодня четвертое июля. И вообще все...

— Не приставай, Джимми. Мама говорит «нет» — значит нет.

Колючие слезы. Он глотает их и смотрит матери прямо в глаза.

— Джимми, флаг запакован и мама очень устала — она достаточно возилась с чемоданами.

— У Билли Джойса есть флаг.

— Смотри, дорогой, ты все прозеваешь. Вот Статуя Свободы.

Высокая зеленая женщина в длинной рубашке стоит на острове, подняв руку.

— Что у нее в руке?

— Факел, дорогой мой. Свобода светит миру... А с другой стороны — Говернор-айленд, там, где деревья. А вон там — Бруклинский мост... Чудный вид! А это — доки. А это — Бэттери... И мачты кораблей, и шпиль Троицы*, и Пулитцер-билдинг...*

Вопли пароходных гудков, свистки, красные пестрые паромы, ныряя как утки, пенят воду. Буксир содрогаясь тащит баржу с целым составом вагонов и выпускает похожие на вату клубы дыма, все одинаковой величины. Руки у Джимми холодные, и он все время внутренне содрогается.

— Дорогой, не надо так волноваться. Сойдем вниз и посмотрим, не забыла ли мамочка чего-нибудь.

Вода усеяна щепками, ящиками, апельсинными корками, капустными листьями, все уже и уже полоса между пароходом и пристанью. Оркестр сверкает на солнце, белые шапки, потные красные лица, играют «Янки Дудль».

— Это встречают посла, знаешь — того высокого господина, который никогда не выходил из своей каюты.

Вниз по пологим сходням, стараясь не бежать. «Yankee Doodle went to town...»[1] Блестящие черные лица, белые эмалевые глаза, белые эмалевые зубы.

— Да, мадам, да, мадам...

«Stuck a feather in his hat, and called it macaroni...»[2]

— У нас есть пропуск.

Синий таможенный чиновник обнажает лысую голову, низко кланяясь... Трам-там, бум-бум, бум-бум-бум... «Cakes and sugar candy...»[3]

— А вот и тетя Эмили и все... Дорогие, как хорошо, что вы пришли!

— Дорогая, я тут уже с шести часов!

— Боже мой, как он вырос!

Светлые платья, искрящиеся брошки, лица и поцелуи, запах роз и дядиной сигары.

— Он настоящий маленький мужчина! Пойдите-ка сюда, сэр! Дайте взглянуть на вас!

— Ну, прощайте, миссис Херф. Если вы когда-нибудь будете в наших краях... Джимми, я не вижу, чтоб вы целовали землю.

— Ах, он ужасен! Такой старомодный ребенок...

Кэб пахнет плесенью, он грохочет, трясется по широкой авеню, вздымая облака пыли, по улицам, мощенным кубиками, пропитанными кислым запахом, полным злых, гогочущих детей. А чемоданы все время скрипят и подпрыгивают на крыше кэба.

— Мамочка, дорогая, а вдруг крыша провалится?

— Нет, голубчик! — смеется она, склоняя голову набок; она разрумянилась, и глаза ее сияют из-под коричневой вуали.

— Ах, мамочка! — Он привстал и целует ее в подбородок.— Сколько народу, мамочка!

— Это по случаю четвертого июля.

— А что делает тот человек?

— Кажется, пьет.

На маленьком возвышении, задрапированном флагами, человек с белыми бакенбардами и красной повязкой на рукаве говорит речь.

— А это оратор. Он читает Декларацию независимости.

— Почему?

---

[1] «Янки Дудль поехал в город...» (*англ.*); начало популярной песенки.

[2] «Вставил перо в шляпу и назвал это макаронами...» (*англ.*); продолжение той же песенки.

[3] «Пирожные и конфеты...» (*англ.*); из той же песенки (см. выше).

— Потому что сегодня четвертое июля.

Бух... Хлопушка.

— Противный мальчишка! Мог испугать лошадь... Четвертое июля — это день независимости, провозглашенной в 1776 году во время войны и революции. Мой прадедушка Харлэнд был убит на этой войне.

Маленький смешной поезд с зеленым паровозом громыхает над их головами.

— Это воздушная железная дорога, а это — Двадцать третья улица. А вот и Утюг*.

Экипаж круто сворачивает на сверкающую солнцем, пахнущую асфальтом и толпой площадь, и останавливается перед большой дверью. Чернолицые люди с бронзовыми пуговицами выбегают навстречу.

— Ну, вот мы и приехали в отель на Пятой авеню*.

Мороженое у дяди Джеффа, холодный, сладкий налет оседает на нёбе. Смешно — когда сходишь с парохода, еще долго кажется, будто тебя везут. Синие глыбы сумерек падают на прямоугольные улицы. Ракеты взвиваются, вспарывая синий мрак, цветные огненные шары, бенгальские огни, дядя Джефф прикрепляет римские колеса* к дереву около входа и зажигает их своей сигарой. Римские свечи надо крепко держать.

— Будь осторожен, мальчик, не обожги лица!

В руках жар, гром и дребезг, овальные шары крутятся, красные, желтые, зеленые, пахнет порохом и паленой бумагой. На шумной, раскаленной улице звенит колокол,— звенит все ближе, звенит все громче. Подхлестываемые лошади выбивают искры подковами, пожарная машина гремит за углом — красная, дымящаяся, медная.

— Должно быть, на Бродвей.

Дальше выдвижная лестница и рысаки брандмайора. Дальше позвякивает карета скорой помощи.

— Кто-нибудь обгорел.

Ящик пуст, пыль и опилки забиваются под ногти, когда шаришь в нем рукой. Он пуст — нет, в нем есть еще несколько маленьких деревянных пожарных машин на колесах. Настоящие пожарные машины.

— Заведем их, дядя Джефф. Какие они чудные, дядя Джефф!

В них заложены пистоны, они жужжа катятся по гладкому асфальту, а за ними вьются хвосты огня и клубится дым, как у настоящих пожарных машин.

Он лежит на кровати в большой, незнакомой, неуютной комнате. Глаза горят, ноги ноют.

— Больно, дорогой,— сказала мама, укладывая его, склоняясь над ним в блестящем шелковом платье с широкими рукавами.

— Мама, что это у тебя за черная штучка на лице?

— Это? — Она рассмеялась, и ее колье тихонько зазвенело.— Это чтобы мама была красивее.

Он лежал среди высоких, настороженных комодов и шкафов. С улицы доносились крики и шум колес, изредка звуки далекой музыки. Ноги его болели, точно отваливались, и когда он закрывал глаза, то мчался сквозь пылающую темноту на красной пожарной машине, изрыгающей огонь, искры и разноцветные шары.

Июльское солнце проникало сквозь щели старых ставен в контору. Гэс Мак-Нийл сидел в соломенном кресле с костылями между колен. У него было белое, опухшее после больницы лицо. Нелли, в соломенной шляпке с красными маками, раскачивалась на вертящемся стуле у стола.

— Сядь лучше около меня, Нелли. Адвокату может не понравиться, что ты сидишь за его столом.

Она сморщила нос и встала.

— Гэс, ты напуган до смерти.

— Ты тоже была бы напугана, если бы попала, как я, в лапы к железнодорожному доктору. Он выстукивал и выслушивал меня как арестанта, а потом еще этот адвокат сказал, что я на сто процентов нетрудоспособен. По-моему, он врет.

— Гэс, делай то, что я тебе говорю. Держи язык за зубами, пусть другие болтают.

— Ладно, я не пикну.

Нелли встала рядом с ним и погладила его курчавые, спутанные волосы, падавшие на лоб.

— Как хорошо снова быть дома, Нелли! Опять ты будешь стряпать... и вообще...— Он обнял ее за талию и притянул к себе.

— А может, я больше не хочу стряпать?

— Ну не знаю... Что мы будем делать, если не получим этих денег?

— Папа поможет нам, как помогал до сих пор.

— Бог даст, я не останусь калекой на всю жизнь.

Джордж Болдуин вошел, хлопнув стеклянной дверью. Засунув руки в карманы, он остановился и поглядел на мужа и жену. Затем, спокойно улыбнувшись, сказал:

— Ну, господа, все улажено. Как только будет подписан отказ от дальнейших претензий, юрисконсульт же-

лезной дороги вручит мне чек на двенадцать с половиной тысяч долларов. Это сумма, на которой мы сошлись.

— Двенадцать тысяч, черт возьми! — задохнулся Гэс.— Двенадцать с половиной тысяч... Подождите минутку! Вот вам мои костыли, я пойду — пусть меня переедут еще раз. Расскажу эту штуку Мак-Джилликэди. Увидите — старый негодяй сейчас же бросится под товарный поезд. Мистер Болдуин... сэр...— Гэс приподнялся.— Вы великий человек. Правда, Нелли?

— Правда.

Болдуин старался не смотреть ей в глаза. Он нервничал, его знобило, ноги его ослабели и дрожали.

— Теперь вот что,— сказал Гэс,— возьмем кэб, поедем к Мак-Джилликэди и промочим горло в отдельном кабинете. Я плачу. Мне нужно подкрепиться. Едем, Нелли!

— Мне бы очень хотелось,— сказал Болдуин,— но боюсь, что я не смогу. Я все эти дни очень занят... Только подпишите, пожалуйста, перед уходом вот эту бумажку, и я завтра получу для вас чек. Распишитесь здесь... и здесь.

Мак-Нийл подковылял к столу и нагнулся над бумагами. Болдуин чувствовал, что Нелли пытается подать ему знак. Он сделал вид, что ничего не видит. После их ухода он заметил на краю стола ее кошелек — маленький кожаный кошелек с выжженными на нем цветочками. В стеклянную дверь постучали. Он открыл.

— Почему ты не хотел смотреть на меня? — сказала она, задыхаясь.

— Я не мог при нем.

Он протянул ей кошелек. Она обвила руками его шею и крепко поцеловала его в губы.

— Что мы будем делать? Прийти мне сегодня? Теперь Гэс опять будет напиваться до бесчувствия.

— Нет, не могу, Нелли... Дела, дела... Я ужасно занят.

— Ах ты занят?... Ну как хочешь.

Она хлопнула дверью.

Болдуин сидел за столом и кусал костяшки пальцев, уставившись невидящим взглядом в бумаги.

— С этим надо покончить,— сказал он вслух и встал.

Он ходил взад и вперед по узкой комнате, глядя на полки, заставленные юридическими книгами, на календарь, на телефон, на пыльные квадраты солнечного света у окна. Он посмотрел на часы: пора завтракать. Он провел ладонью по лбу и подошел к телефону.

— Сорок пять — девяносто два... Мистер Сэндборн? Что вы скажете, Фил, если я зайду за вами и мы вместе

позавтракаем? Вы свободны?.. Конечно... Знаете, Фил, я выиграл дело молочника. Доволен, как черт. По сему поводу угощаю вас завтраком. Пока...

Он, улыбаясь, отошел от телефона, взял шляпу, аккуратно надел ее перед зеркалом и поспешно спустился вниз. На нижней площадке он встретил мистера Эмери из фирмы «Эмери и Эмери», помещавшейся в первом этаже.

— Ну, как дела, мистер Болдуин? — У мистера Эмери из фирмы «Эмери и Эмери» были седые волосы, седые брови, лошадиные челюсти и плоское лицо.

— Прекрасно, прекрасно, сэр!

— Говорят, вы делаете хорошие дела... Я что-то слышал про Нью-йоркскую центральную железную дорогу...

— О, я столковался с Симзбери помимо суда.

— Хм,— сказал мистер Эмери из фирмы «Эмери и Эмери».

Они уже прощались, когда мистер Эмери вдруг сказал:

— Заходите к нам как-нибудь пообедать.

— С удовольствием.

— Я люблю поболтать с младшими коллегами... Я черкну вам накануне несколько слов... Как-нибудь вечерком на той неделе. Посидим, поболтаем.

Болдуин пожал испещренную синими жилками руку и пошел по Мэйден-лейн, бойко расталкивая толпу. На Пэрл-стрит он взобрался наверх по крутым ступенькам черной лестницы, на которой пахло пережаренным кофе, и постучал в матовую стеклянную дверь.

— Войдите! — раздался низкий бас.

Смуглый человек без пиджака вышел ему навстречу.

— Хелло, Джордж! Я думал, что вы никогда не придете. Я адски голоден.

— Фил, я угощу вас лучшим завтраком, который вы когда-либо ели.

— Ну, я только этого и жду.

Фил Сэндборн надел пиджак, выбил пепел из трубки на край чертежного стола и прокричал в темноту задней комнаты:

— Ухожу есть, мистер Спеккер!

— Хорошо, идите! — ответил визгливый, дрожащий голос из задней комнаты.

— Как поживает старик? — спросил Болдуин, когда они вышли.

— Старый Спеккер? У него парализованы ноги. Это давнишняя история. Несчастный старик... Поверите ли,

Джордж, я был бы в отчаянии, если бы с бедным старым Спеккером что-нибудь случилось. Он единственный честный человек в Нью-Йорке и, кроме того, у него есть голова на плечах.

— Голова, которая никогда ничего не придумала,— заметил Болдуин.

— Еще придумает... Он может... Вы бы посмотрели на его чертежи зданий, построенных из одной стали. Он утверждает, что в будущем небоскребы будут строиться только из стали и стекла. Мы давно делали опыты со стеклянной черепицей... Честное слово, от некоторых его планов захватывает дух... Он раскопал где-то поговорку про римского императора, который нашел Рим кирпичным, а оставил его мраморным. Так вот он говорит, что родился в кирпичном Нью-Йорке, а умрет в стальном. Сталь и стекло... Я покажу вам его проекты перестройки города. Умопомрачительно!

Они устроились на мягкой скамье в углу ресторана, где пахло мясом, жаренным на решетке. Сэндборн вытянул ноги под столом.

— Какая роскошь! — сказал он.

— Фил, возьмем коктейль,— сказал Болдуин, заглядывая в карточку.— Знаете, Фил, только первые пять лет тяжелы.

— Не беспокойтесь, Джордж, вы из тех, кто пробивается. А вот я — старая калоша.

— Почему? Вы всегда можете достать чертежную работу.

— Нечего сказать, приятная перспектива — провести всю жизнь, лежа брюхом на чертежном столе!.. Эх, дружище...

— «Спеккер и Сэндборн» еще могут стать известной фирмой.

— Люди будут летать в поднебесье к тому времени, а мы с вами будем лежать в земле с вытянутыми ногами.

— Бывает же все-таки удача...

Они выпили мартини и принялись за устрицы.

— Правда, что устрицы делаются кожаными в желудке, если запивать их спиртным?

— Не знаю. Кстати, Фил, как ваши дела с той маленькой стенографисткой?

— Вы себе представить не можете, сколько я на нее трачу денег! Угощение, театр... В конце концов она разорит меня. В сущности, уже разорила. Вы молодец, Джордж, что сторонитесь женщин.

— Пожалуй,— медленно сказал Болдуин и сплюнул в кулак косточку маслины.

Первое, что они услышали, был вибрирующий свисток — свистела вагонетка напротив пристани, где стоял паром. Маленький мальчик отделился от кучки эмигрантов, сбившейся на пристани, и подбежал к вагонетке.

— Она вроде паровика и полна земляных орехов! — орал он, бегом возвращаясь обратно.

— Падраик, стой здесь.

— А это — станция воздушной дороги. Южный паром,— продолжал Тим Халлоран, явившийся встретить их.— А вон там — парк Бэттери, Баулинг-Грин*, Уолл-стрит* и коммерческий квартал... Идем, Падраик, дядя Тимоти повезет тебя по воздушной дороге.

На пристани остались трое: старуха с синим платком на голове, молодая женщина в красной шали, стоявшие около большого, перевязанного веревками сундука с медными ручками, и старик с зеленоватым огрызком бороды и лицом, изборожденным морщинами и сморщенным, как корень мертвого дуба. Глаза старухи слезились, она причитала:

— Dove andiamo, Madonna mia, Madonna mia![1]

Молодая женщина развернула письмо и смотрела на замысловатые буквы. Вдруг она подошла к старику.

— Non posso leggere[2].— И протянула ему письмо.

Он стиснул пальцы и замотал головой взад и вперед; он говорил без конца — слова, которые она не могла понять. Она пожала плечами, улыбнулась и вернулась к сундуку. Со старухой разговаривал загорелый сицилиец. Он ухватился за веревки и перетащил сундук на ту сторону улицы, к фургону, запряженному белой лошадью. Обе женщины пошли за ним. Сицилиец протянул молодой женщине руку. Старуха, все еще бормоча и причитая, с трудом вскарабкалась на повозку. Сицилиец наклонился, чтобы прочесть письмо, и толкнул молодую женщину плечом. Она выпрямилась.

— Ладно,— сказал он.

Он снял вожжи с крупа лошади, повернулся к старухе и крикнул:

— Cinque le due...[3] Ладно!

---

[1] Куда мы идем, Боже мой, Боже мой! (*ит.*)

[2] Я не умею читать (*ит.*).

[3] Пять за двоих... (*ит.*)

IV. КОЛЕЯ

Грохот и рокот ослабели, стихли; вдоль всего поезда лязгнули буфера. Человек соскочил на полотно. Он так закоченел, что не мог пошевелиться. Кругом был смоляной мрак. Он пополз очень медленно, встал на колени, поднялся на ноги и прислонился, задыхаясь, к товарному вагону. Тело казалось чужим, мускулы были древесной массой, кости раскалывались на куски. Фонарь ослепил его.

— Убирайтесь немедленно! Сыщики делают обход.

— Скажи, парень, это Нью-Йорк?

— Он самый, черт его побери. Идите за моим фонарем — вы выйдете на набережную.

Он еле передвигал ноги, он спотыкался о мерцающие римские «V» стрелок и скрещивающиеся рельсы. Он побежал рысью, наткнулся на сигнальную проволоку и упал. Наконец присел на краю верфи, опустив голову на руки. Вода, точно ласковый пес, тихо ворчала, набегая на сваи. Он вынул из кармана сверток, развернул газетную бумагу и достал большой ломоть хлеба с куском жесткого мяса. Он жевал и жевал, пока у него хватало влаги во рту. Потом он неуверенно поднялся, стряхнул крошки с колен и осмотрелся. К югу, над путями, мрачное небо было затоплено оранжевым заревом.

— Веселая дорога! — сказал он хрипло и громко.— Веселая дорога!

В исхлестанное дождем окно Джимми Херф смотрел на пузыри зонтиков, медленно плывшие по течению Бродвея. Кто-то постучал в дверь.

— Войдите,— сказал Джимми и отвернулся к окну, заметив, что лакей чужой, не Пат.

Лакей зажег электричество. Джимми увидел его отражение в оконном стекле: худой, стриженый человек держал в одной руке на весу поднос с серебряными судками, похожими на церковные купола. Лакей, отдуваясь, прошел в глубь комнаты, волоча свободной рукой сложенный столик. Он толчком раскрыл его, поставил на него поднос, а круглый стол накрыл скатертью. От него жирно пахло кухней. Джимми подождал, пока он не ушел, и повернулся. Он обошел стол, приподымая серебряные крышки; суп с маленькими зелеными штучками, жареная баранина, картофельное пюре, тертая брюква, шпинат и никакого десерта.

— Мамочка!

— Да, дорогой? — донесся слабый голос из-за закрытой двери.

— Обед подан, мамочка.

— Кушай, мальчик, я сейчас приду.

— Я не хочу без тебя, мамочка.

Он еще раз обошел стол, привел в порядок ножи и вилки. Он перекинул салфетку через руку. Метрдотель ресторана Дельмонико* накрывал стол для слепого богемского короля и принца Генриха Мореплавателя...*

— Мама, кем ты хочешь быть — королевой Марией Стюарт или леди Джейн Грей?*

— Но им обеим отрубили голову, золото мое. Я не хочу, чтобы мне отрубили голову.

Мать была одета в розовое платье. Когда она открыла дверь, вялый запах, запах одеколона и лекарств проник из спальни, потянулся за ее длинными, отороченными кружевами, рукавами. Она напудрилась чуточку больше, чем следовало, но ее пышные каштановые волосы были убраны очень красиво. Они уселись друг против друга; она подала ему тарелку супа, держа ее двумя руками с голубыми жилками.

Он ел суп, водянистый и недостаточно горячий.

— Ах, детка, я забыла про гренки!

— Мамочка... мама, почему ты не ешь?

— Мне сегодня что-то не хочется есть. Не знаю, что мне делать. У меня очень болит голова. Впрочем, это неважно.

— А может быть, ты хочешь быть Клеопатрой? У нее был чудный аппетит, и она съедала все, что ей давали. Она была пай-девочка.

— Даже жемчуг... Она опустила жемчужину в уксус и выпила его...— Ее голос дрожал.

Она протянула ему руку через стол; он погладил ее руку, как мужчина, и улыбнулся.

— Только ты и я, Джимми, мой мальчик... Солнышко, ты всегда будешь любить твою маму?

— Что случилось, мамочка, милая?

— О, ничего. Я себя чувствую сегодня как-то странно. Я так устала от этого вечного нездоровья.

— Но после операции...

— Да, после операции... Пожалуйста, дорогой, в ванной на подоконнике есть свежее масло. Я положу немного в пюре, если ты принесешь. Придется опять сделать замечание насчет стола. Баранина совсем неважная — надеюсь, что мы от нее не заболеем.

Джимми побежал через комнату матери в узенький коридор, где пахло нафталином и шелковыми платьями,

разложенными на стуле. Красный резиновый наконечник душа качнулся ему в лицо, когда он открыл дверь ванной. От запаха лекарств у него болезненно сжались ребра. Он открыл окно за ванной. Подоконник был пыльный, и пушистая копоть осела на тарелке, которой было прикрыто масло. Он стоял несколько секунд, глядя во двор, дыша ртом, чтобы не чувствовать запаха угольного газа, поднимавшегося из топки. Под ним горничная, в белой наколке, высунувшись из окна, разговаривала с истопником; истопник смотрел вверх, скрестив на груди голые, сильные руки. Джимми напряг слух, чтобы услышать, о чем они говорят; быть грязным и весь день таскать уголь, и чтобы волосы были жирные и руки грязные до подмышек.

— Джимми!

— Иду, мамочка.— Вспыхнув, он захлопнул окно и пошел в столовую как можно медленнее, чтобы румянец сбежал с лица.

— Опять замечтался, Джимми. Мой маленький мечтатель...

Он поставил масло возле тарелки матери и сел.

— Ешь скорее баранину, пока она горячая. Почему ты не берешь горчицы? Будет гораздо вкуснее.

Горчица обожгла ему язык, из глаз покатились слезы.

— Слишком острая? — смеясь, спросила мать.— Надо привыкать к острым вещам... Он любил все острое.

— Кто, мама?

— Тот, кого я очень любила.

Сидели молча. Слышно было, как работают его челюсти. Изредка сквозь закрытые окна долетал прерывистый грохот экипажей и трамваев. В трубах отопления щелкало и стучало. Во дворе истопник, весь вымазанный маслом, шлепая дряблыми губами, говорил какие-то слова горничной в крахмальной наколке — грязные слова. Горчица такого цвета, как...

— О чем ты думаешь?

— Ни о чем.

— У нас не должно быть тайн друг от друга, дорогой. Помни, ты у меня единственное утешение.

— Как ты думаешь, интересно быть тюленем?

— По-моему, очень холодно.

— Нет, холод не чувствуется... Тюлени защищены слоем жира — им всегда тепло, даже на льдине. Это было бы ужасно смешно... Можно плавать по морю, когда тебе захочется. Тюлени проплывают тысячи миль без остановки.

— Мамочка тоже плыла тысячи миль без остановки, и ты тоже.

— Когда?

— А когда мы ездили за границу и обратно.— Она смеялась, глядя на него сияющими глазами.

— Так ведь мы на пароходе...

— А когда мы плавали на «Марии Стюарт»...

— Мамочка, расскажи.

В дверь постучали.

— Войдите!

Показалась стриженая голова лакея.

— Можно убирать, мадам?

— Да, и принесите компот, но только из свежих фруктов. Сегодня обед был очень невкусный.

Лакей, отдуваясь, собрал тарелки на поднос.

— Очень жаль, мадам.

— Ну ничего, я знаю, что это не ваша вина. Что ты закажешь, Джимми?

— Можно мне безе с сиропом?

— Хорошо, если ты будешь умницей.

— Буду! — взвизгнул Джимми.

— Милый, нельзя так кричать за столом.

— Ну ничего, мамочка. Мы только вдвоем... Ура! Безе с сиропом!

— Джеймс, джентльмен ведет себя одинаково прилично как дома, так и в дебрях Африки.

— Ах, если бы мы были в дебрях Африки!

— Но мне было бы там страшно.

— Я кричал бы, как сейчас, и разогнал бы львов и тигров.

Лакей вернулся с двумя тарелками на подносе.

— К сожалению, мадам, пирожные кончились. Я принес молодому джентльмену шоколадное мороженое.

— Ой, мамочка...

— Не огорчайся, милый. Это тоже вкусно. Кушай, а потом можешь сбегать вниз за конфетами.

— Мамочка, дорогая...

— Только не ешь мороженое так быстро... Ты простудишься.

— Я уже кончил.

— Ты проглотил его, маленький негодяй! Надень калоши, детка.

— Но дождика ведь нет.

— Слушай маму, дорогой, и, пожалуйста, не ходи долго. Дай слово, что ты скоро вернешься. Мама нехорошо себя чувствует сегодня и очень нервничает, когда ты на улице. Там столько опасностей...

Он присел, чтобы надеть калоши. Пока он натягивал их, она подошла к нему и протянула доллар. Рука ее в длинном шелковом рукаве легла на его плечо.

— Дорогой мой...— Она плакала.

— Мамочка, не надо.— Он крепко обнял ее; он чувствовал под рукой пластинки корсета.— Я вернусь через минутку, через самую маленькую минутку.

На лестнице, где медные палки придерживали на ступенях темно-красную дорожку, Джимми снял калоши и засунул их в карманы дождевика. Высоко вскинув голову, он прорвался сквозь паутину молящих взглядов рассыльных мальчишек, сидевших на скамье у конторки. «Гулять идете?» — спросил самый младший, белобрысый мальчик. Джимми сосредоточенно кивнул, шмыгнул мимо сверкающих пуговиц швейцара и вышел на Бродвей, полный звона, топота и лиц; когда лица выходили из полосы света от витрин и дуговых фонарей, на них ложились теневые маски. Он прошел мимо отеля «Ансония»*. На пороге стоял чернобровый человек с сигарой во рту,— может быть, похититель детей. Нет, в «Ансонии» живут хорошие люди — такие же, как в нашем отеле. Телеграфная контора, бакалейная лавка, красильня, китайская прачечная, издающая острый, таинственный, влажный запах. Он ускорил шаги. Китайцы — страшные; они крадут детей. Подковы. Человек с керосиновым бидоном прошел мимо него, задев его жирным рукавом. Запах пота и керосина. Вдруг это поджигатель? Мысль о поджигателе заставила его содрогнуться. Пожар. Пожар.

Кондитерская Хьюлера; из дверей — уютный запах никеля и хорошо вымытого мрамора, а из-под решетки, что под окнами, вьется теплый аромат варящегося шоколада. Черные и оранжевые фестоны в окнах. Он уже хочет войти, но вспоминает о «Зеркальной кондитерской» — это два квартала дальше; там вместе со сдачей дают маленький паровоз или автомобиль. Надо торопиться; на роликах было бы гораздо быстрее, можно убежать от бандитов, шпаны, налетчиков; на роликах, стреляя через плечо из большого револьвера. Бах! — один упал; это самый главный. Бах! — по кирпичной стене дома, по крышам, мимо изогнутых труб, на дом Утюг, по стропилам Бруклинского моста...

«Зеркальная кондитерская». Он входит без колебаний. Он стоит у прилавка, ожидая, пока освободится продавщица.

— Пожалуйста, фунт смеси за пятьдесят центов,— барабанит он.

Она блондинка, чуть косит и смотрит на него недружелюбно, не отвечая.

— Пожалуйста, будьте добры — я тороплюсь.

— Ждите очереди! — огрызается она.

Он стоит, мигая, с горящими щеками. Она сует ему завернутую коробку с чеком.

— Платите в кассу.

«Я не буду плакать».

Дама в кассе — маленькая и седая. Она берет доллар через узенькую дверцу. Через такие дверцы входят и выходят зверьки в Отделении мелких млекопитающих. Касса весело трещит, радуясь деньгам. Четвертак, десять, пять и маленькая чашечка — разве это сорок центов? Вот так раз, вместо паровоза или автомобиля — чашечка! Он хватает деньги, оставляет в кассе чашечку и выбегает с коробкой под мышкой. «Мама скажет, что я очень долго ходил». Он идет домой, глядя перед собой, переживая грубое обращение блондинки.

— За конфетами ходили? — спросил белобрысый рассыльный.

— Приходите потом, я вам дам,— шепнул Джимми, проходя.

Медные палки на ступеньках звенели, когда он на ходу задевал их ногами. Перед шоколадно-коричневой дверью, на которой белыми эмалевыми цифрами было написано 503, он вспомнил о своих калошах. Он поставил конфеты на пол и напялил калоши на мокрые ботинки. К счастью, мамочка не ждала его, хотя дверь была открыта. Может быть, она увидела его в окно.

— Мама!

В гостиной ее не было. Он испугался. «Она вышла. Она ушла».

— Мама!

— Иди сюда, дорогой,— долетел ее слабый голос из спальни.

Он бросил кепи, дождевик и быстро вбежал.

— Мамочка, что случилось?

— Ничего, дитя мое... У меня головная боль, страшная головная боль. Намочи платок одеколоном и положи мне

его аккуратненько на голову, но только, дорогой, не попади им в глаз, как в прошлый раз.

Она лежала на кровати, в небесно-голубом вышитом капоте. Лицо у нее было лиловато-бледное. Шелковое розовое платье висело на стуле, на полу валялся корсет с розовыми ленточками. Джимми аккуратно положил платок на ее лоб. Острый запах одеколона щекотал ему ноздри, когда он нагибался над ней.

— Как приятно! — раздался ее слабый голос.— Дорогой, вызови тетю Эмили, Риверсайд семьдесят шесть — пятьдесят девять, и спроси ее, не может ли она зайти сегодня. Я хочу с ней поговорить. Ох, у меня лопается голова...

С сильно бьющимся сердцем и затуманенными глазами он пошел к телефону. Голос тети Эмили раздался в трубке неожиданно скоро.

— Тетя Эмили, мама больна, она хочет, чтобы вы приехали... Сейчас придет, мамочка дорогая! — прокричал он.— Как хорошо! Она сейчас придет.

Он вернулся в комнату матери, ступая на цыпочках, поднял с пола корсет и платье и убрал их в шкаф.

— Дорогой,— раздался ее слабый голос,— вынь шпильки из моих волос, мне больно от них. Мальчик милый, у меня такое чувство, будто у меня раскалывается голова.— Он осторожно вынимал шпильки из ее каштановых волос, еще более шелковистых, чем ее платье.— Не надо, мне больно!

— Я нечаянно, мамочка.

Тетя Эмили, тонкая, в синем дождевике, накинутом поверх вечернего платья, быстро вошла в комнату; ее тонкие губы были сложены в сочувственную улыбку. Она увидела на кровати сестру, корчившуюся от боли, а подле сестры — худенького бледного мальчика в коротеньких штанишках. Руки у него были полны шпилек.

— Что случилось, Лили? — спокойно спросила она.

— Мне ужасно плохо, дорогая,— раздался прерывистый голос Лили Херф.

— Джеймс,— резко сказала тетя Эмили,— иди спать! Маме нужен полный покой.

— Спокойной ночи, мамочка,— сказал он.

Тетя Эмили похлопала его по плечу.

— Не беспокойся, Джеймс,— я присмотрю за мамой.— Она подошла к телефону и тихим, отчетливым голосом произнесла номер.

Коробка с конфетами стояла на столе в передней; чувствуя себя виноватым, Джимми взял ее. Проходя мимо книжного шкафа, он вынул том энциклопедии и сунул его под мышку. Тетя не заметила, как он ушел. Ворота замка распахнулись. Снаружи ржал арабский скакун, и два верных вассала ждали его, чтоб переправить через границу в свободную страну. Третья дверь вела в его комнату. Комната была набита вязкой молчаливой тьмой. Выключатель щелкнул, и электричество послушно осветило каюту «Марии Стюарт». «Отлично, капитан, поднимите якорь, держите курс на Подветренные острова и не тревожьте меня до зари; мне нужно просмотреть кое-какие важные бумаги». Он сбросил платье, надел пижаму и встал на колени перед кроватью. «Господибоженаш ежесогрешихводнисем словомделомипомышлением якоблагичеловеколюбецпростими миренсонибезмятежендаруйми ангелатвоегохранителяпосли покрывающаисоблюдающамяотвсякогозла».

Он открыл коробку конфет, сложил подушки в ноги кровати под лампой. Его зубы прокусили шоколад и вгрызлись в мягкую сладкую начинку. «Ну-с, посмотрим...»

А — первая из гласных, первая буква всех европейских и большинства прочих алфавитов, за исключением абиссинского, в котором она занимает тринадцатое место, и рунического (десятое место)...

«Ох, какой волосатый!..»

АА...
Аахен — см. Экс-ла-Шапель.
Аардварк...

«Смешной какой!»

Стопоходящее млекопитающее из разряда неполнозубых. Встречается в Африке.
АБД...
Абдельхалим — египетский принц, сын Мехмета-Али и белой рабыни...

Его щеки вспыхнули, когда он прочел:

Повелительница белых рабов.
Абдомен лат. (этимология не установлена) — нижняя часть туловища, расположенная между диафрагмой и тазом...
Абеляр... но между учителем и ученицей не долго сохранялись такие отношения. Чувство более теплое, чем взаимное уважение, пробудилось в их сердцах, и неограниченная возможность встреч, поощряемых каноником, который всецело

доверял Абеляру (ему в то время было около сорока лет), оказалась роковой для них обоих... Элоиза была в таком состоянии, что их отношения не могли далее оставаться скрытыми... Тогда Фульбер весь отдался мыслям о жестокой мести... ворвался в жилище Абеляра с кучкой приспешников и утолил свою жажду мести, произведя над Абеляром жестокую операцию оскопления...

Абелитизм — вид половых сношений, именуемый «служением дьяволу».

Абидос...

Абимелех I — сын Гедеона. Абимелех добился царского престола, убив семьдесят братьев своих, за исключением Иофама, и был убит при осаде города Тевец...

Аборт...

«Нет!» Его руки были холодны, как лед, и его слегка тошнило от съеденного шоколада.

Абракадабра...

Он встал и выпил воды перед Абиссинией с изображением пустынных гор и сожжением Магдалы англичанами*. У него болели глаза. Он весь одеревенел, и ему хотелось спать. Он посмотрел на часы: одиннадцать часов. Ужас внезапно овладел им. Что, если мама умерла? Он припал лицом к подушке. Она стояла перед ним в белом бальном платье с хрупкими кружевами и шлейфом, ниспадающим шуршащими шелковыми волнами, нежной, душистой рукой ласково гладила его по щеке. Рыдания потрясли его. Он ворочался на кровати, уткнув лицо в измятые подушки, и долго не мог успокоиться.

Когда он проснулся, то увидел, что свет слабо мерцает. В комнате было душно и жарко. Книга валялась на полу, конфеты слиплись под ним в коробке. Часы остановились на 1 ч. 45 мин. Он открыл окно, спрятал шоколад в ящик стола и хотел погасить свет, но вдруг вспомнил... Дрожа от ужаса, он накинул халатик, туфли и на цыпочках прошел в темную переднюю. Он прислушался перед дверью. Там говорили вполголоса. Он тихо постучал и повернул дверную ручку. Кто-то распахнул дверь, и Джимми увидел чисто выбритого человека в золотых очках. Дверь в комнату матери была закрыта; перед ней стояла крахмальная сестра милосердия.

— Милый Джеймс, ложись в постельку и успокойся,— усталым шепотом сказала тетя Эмили.— Мамочка очень больна. Ей нужен полный покой. Ничего опасного.

— Пока ничего опасного, миссис Меривейл,— сказал доктор, протирая очки.

— Милый мальчик! — раздался голос сестры, низкий, чистый, бодрящий.— Он всю ночь волновался и ни разу нас не потревожил.

— Я уложу тебя в постель,— сказала тетя Эмили.— Мой Джеймс это очень любит.

— Можно мне только взглянуть на мамочку? Тогда я буду знать, что все благополучно.

Джимми застенчиво взглянул на толстое лицо в очках. Доктор кивнул.

— Ну хорошо, мне пора уходить. Я забегу в четыре или пять часов посмотреть, как идут дела. Доброй ночи, миссис Меривейл. Доброй ночи, мисс Биллингс. Доброй ночи, мой мальчик.

— Идем,— сказала сестра милосердия, положив руку на плечо Джимми.

Он высвободился и пошел за ней. Свет в маленькой комнате был затемнен приколотым к абажуру полотенцем. С кровати слышалось хриплое дыхание, которого он не узнал. Ее измученное лицо было повернуто к нему. Опущенные фиолетовые веки, сведенный рот. Он минуту смотрел на нее.

— Хорошо, теперь я пойду спать,— шепнул он сестре.

Его кровь стучала оглушительно. Не глядя на тетю и на сестру милосердия он вышел твердой походкой. Тетя говорила что-то. Он побежал по коридору, хлопнул дверью и запер ее на замок. Он долго стоял посреди комнаты, окаменелый, холодный, со сжатыми кулаками.

— Я ненавижу их, я ненавижу их! — закричал он.

Потом, сдерживая сухие рыдания, погасил свет и скользнул в кровать, на холодную, как лед, простыню.

— У вас столько дел и хлопот, мадам,— говорит Эмиль певучим голосом,— что вам необходимо завести помощника в лавке.

— Знаю... Я убиваю себя работой. Я знаю,— вздыхала мадам Риго, сидя за кассой.

Эмиль долго молчал, глядя на большой кусок вестфальской ветчины, лежавший на мраморной доске около его локтя. Потом застенчиво сказал:

— Такая женщина, как вы, такая красивая женщина, как вы, мадам Риго, никогда не останется без друзей.

— Ah ça...[1] Я слишком много пережила... Я больше никому не верю. Все мужчины — грубые животные, а женщины... О, с женщинами я совсем не сближаюсь.

[1] Ах это... (*фр.*)

— История и литература...— начал Эмиль.

Задребезжал дверной колокольчик. Мужчина и женщина вошли в лавку. У нее были желтые волосы и шляпа, напоминающая цветочную клумбу.

— Только не будь расточителен, Билли,— говорила она.

— Но, Нора, должны же мы что-нибудь поесть. В субботу у меня будут деньги.

— Ничего у тебя не будет, если ты не бросишь играть.

— Ах, отстань, ради Бога. Возьмем ливерной колбасы. Кажется, холодная индейка хороша.

— Поросенок,— проворковала желтоволосая девица.

— Отстань от меня, я возьму индейку.

— Да, сэр, индейка очень хорошая. Есть прекрасные цыплята, еще совсем горячие. Emile, mon ami, cherchez moi un d ces petits poulets dans la cuisin-e[1].

Мадам Риго говорила точно оракул, неподвижно восседая на своей табуретке за кассой. Мужчина обмахивался широкополой соломенной шляпой с клетчатой лентой.

— Жарко сегодня,— сказала мадам Риго.

— И как еще!.. Знаешь, Нора, лучше было бы поехать на Кони-Айленд*, чем задыхаться в городе.

— Билли, ты же знаешь очень хорошо, почему мы не можем поехать.

— Довольно тебе хныкать. Я же тебе говорю: в субботу все будет в порядке!

— История и литература...— продолжал Эмиль, когда покупатели ушли, унося цыпленка и оставив мадам Риго полдоллара серебром (она тут же заперла их в кассу).— История и литература учат нас, что бывает дружба... что иногда встречается любовь, достойная доверия...

— История и литература,— смеясь, пробурчала мадам Риго,— хорошая штука.

— Но разве вы никогда не чувствовали себя одинокой в этом большом, чужом городе? Так все тяжело! Женщины глядят вам в карман, а не в сердце. Я не могу это больше выносить.

Широкие плечи и толстые груди мадам Риго заколыхались от смеха. Ее корсет затрещал, когда она, смеясь, поднялась с табурета.

— Эмиль, вы красивый малый, и притом вы настойчивы. Вы далеко пойдете... Но я никогда не отдам себя сно-

[1] Эмиль, мой друг, поищите на кухне одного из тех маленьких цыплят (*фр.*).

ва во власть мужчины. Я слишком много страдала. Никогда — даже если бы вы пришли ко мне с пятью тысячами долларов.

— Вы очень жестокая женщина!

Мадам Риго снова засмеялась.

— Пойдемте, вы мне поможете закрыть магазин.

Тихое, солнечное воскресенье висело над городом. Болдуин сидел в своем бюро без пиджака, читая юридический справочник в кожаном переплете. Изредка он делал на листке заметки твердым, размашистым почерком. В знойной тишине громко прозвонил телефон. Он дочитал параграф и снял трубку.

— Да, я один. Если хотите, зайдите.— Он повесил трубку.— Будь ты проклята! — пробормотал он сквозь зубы.

Нелли вошла не постучавшись. Он шагал взад и вперед перед окном.

— Хелло, Нелли! — сказал он не поднимая глаз.

Она стояла, глядя на него.

— Слушай, Джордж, так не может продолжаться.

— Почему нет?

— Мне тяжело все время притворяться и обманывать.

— Ведь никто же ни о чем не догадывается — так?

— О, конечно, нет.

Она подошла к нему и поправила ему галстук. Он нежно поцеловал ее в губы. На ней было красновато-лиловое платье с воланами и голубой зонтик в руке.

— Как дела, Джордж?

— Чудесно! Знаешь, ты принесла мне счастье. Я получил массу хороших дел и завязал очень ценные знакомства.

— Зато мне это принесло мало счастья. Я не решилась даже пойти на исповедь. Священник подумает, что я стала язычницей.

— Как поживает Гэс?

— Носится со своими планами. Можно подумать, что он заработал эти деньги,— так он ими гордится.

— Послушай, Нелли... а что, если ты бросишь Гэса и станешь жить со мной? Ты могла бы развестись с ним, и мы бы обвенчались. Тогда все было бы в порядке.

— Глупости! Ты об этом всерьез не думаешь.

— Все-таки стоит, Нелли, честное слово.

Он обнял ее и поцеловал в твердые, неподвижные губы. Она оттолкнула его.

— Я не затем пришла сюда. О, я была так счастлива, когда шла по лестнице... хотела увидеть тебя... А теперь вам заплачено, и дело с концом.

Он заметил, что завитки на ее лбу распустились. Прядь волос висела над бровью,

— Нелли, не надо расставаться врагами.

— А почему нет, скажите пожалуйста?

— Потому что мы когда-то любили друг друга.

— Я не собираюсь плакать.— Она утерла нос маленьким платком, свернутым в комочек.— Джордж, я начинаю ненавидеть вас... Прощайте!

Дверь резко захлопнулась.

Болдуин сидел за столом, покусывая кончик карандаша, ощущая летучий запах ее волос. У него першило в горле. Он закашлялся. Карандаш выпал у него изо рта. Он стер с него слюну носовым платком и сел в кресло. Он вырвал исписанный листок из блокнота, прикрепил его к стопке исписанных бумаг. Он начал на новом листе: «Решение Верховного суда штата Нью-Йорк...» Внезапно он выпрямился и опять закусил кончик карандаша. С улицы донесся долгий, мрачный свист поезда.

— Ах, это поезд,— сказал он вслух.

Он опять начал писать размашистым, ровным почерком: «Иск Паттерсона к штату Нью-Йорк... Решение Верховного...»

Бэд сидел у окна в Союзе моряков. Он читал газету медленно и внимательно. Около него два человека со свежевыбритыми, красными, как сырое мясо, лицами, скованные крахмальными воротничками и синими костюмами, шумно играли в шахматы. Один из них курил трубку. Когда он затягивался, она всхлипывала. За окном нескончаемый дождь сек широкий, мерцающий сквер.

«Банзай!» — кричали маленькие серые солдаты четвертого японского саперного батальона, наводя мост через р. Ялу...* (Спец. корреспондент «Нью-Йорк геральд».)

— Шах и мат,— сказал человек с трубкой.

— К черту! Пойдем выпьем. В такую ночь невозможно быть трезвым.

— Я обещал моей старухе...

— Знаю я твои обещания! — Огромная, багровая, густо поросшая желтым волосом лапа сгребла шахматы в ящик.— Скажешь старухе, что ты выпил, чтобы не простудиться.

— И я не совру.

Бэд видел, как их тени мелькнули под дождем мимо окна.

— Как вас зовут?

Бэд быстро отвернулся от окна, спугнутый пронзительным, квакающим голосом. Он глядел в яркие, синие глаза маленького желтого человечка: лицо жабы, широкий рот, выпученные глаза и жесткие, курчавые, черные волосы.

Бэд стиснул зубы.

— Мое имя Смис. А в чем дело?

Маленький человек неуклюже протянул ему квадратную, мозолистую ладонь.

— Очень приятно. А я Мэтти.

Бэд невольно протянул ему руку. Тот пожал ее так сильно, что Бэд поморщился.

— А дальше как?

— Просто Мэтти. Лапландец Мэтти... Пойдем, выпьем.

— Я пуст,— сказал Бэд.— Гроша медного нет.

— Ничего. У меня много денег, берите!

Мэтти сунул обе руки в карманы толстой полосатой куртки и показал Бэду две пригоршни ассигнаций.

— Спрячьте ваши деньги... А выпить я с вами выпью.

Пока они дошли до бара на углу Пэрл-стрит, локти и колени Бэда промокли насквозь. Холодная струйка дождя сбегала по его спине. Они подошли к стойке, и Лапландец Мэтти выложил пятидолларовую бумажку.

— Я угощаю всех! Я счастлив сегодня.

Бэд набросился на даровую закуску.

— Сто лет не жрал,— пояснил он, возвращаясь к стойке за выпивкой.

Виски жгло ему горло, сушило мокрое платье. Он чувствовал себя маленьким мальчиком, идущим играть в бейсбол в субботу вечером.

— Молодец, Лапландец! — крикнул он, похлопывая маленького человечка по широкой спине.— Теперь мы с тобой друзья.

— Завтра мы с тобой садимся на пароход и уезжаем вместе. Что ты на это скажешь?

— Конечно, поедем.

— А теперь идем на Баури-стрит*, поищем девочек. Я плачу́.

— Ни одна девочка с Баури не пойдет с тобой, япошка! — заорал высокий пьяный человек с висячими чер-

ными усами; он встал между ними, когда они шатаясь проходили в дверь.

— Не пойдет, говоришь? — сказал Лапландец, откидываясь всем телом назад.

Его кулак, похожий на молот, внезапно вылетел вперед и въехал в нижнюю челюсть черноусого. Черноусый поднялся с земли и поплелся обратно в бар; дверь захлопнулась за ним. Изнутри донесся рев голосов.

— Ах, будь я проклят, Мэтти, будь я проклят! — заорал Бэд и опять хлопнул его по спине.

Они шли рука об руку по Пэрл-стрит под пронизывающим дождем. Бары ярко светились на углах истекающих дождем улиц. Желтый свет зеркал, медных решеток и золотых рам вокруг картин с розовыми голыми женщинами качался и прыгал в стаканах виски, вливался огнем в запрокинутый рот, вспыхивал в крови, пузырился из ушей и глаз, вытекал струйками из кончиков пальцев. Облитые дождем дома нависали с обеих сторон, уличные фонари колыхались, точно факелы. Бэд очутился в набитой лицами комнате. Женщина сидела у него на коленях. Лапландец Мэтти обнимал за шею двух других женщин, расстегнув рубашку, показывая грудь. На груди были вытатуированы зеленым и красным голые мужчина и женщина. Они обнимались, змея туго обвивала их своими кольцами. Мэтти выпятил грудь, ущемил пальцами кожу на груди — мужчина и женщина задвигались, и кругом захохотали.

Финеас Блэкхэд распахнул широкое окно конторы. Он смотрел на гавань, сланцевую и слюдяную, прислушивался к прерывистому грохоту уличного движения, к голосам, к стуку молотов на новой постройке, вздымавшимся с улиц города и клубившимся, точно дым, в порывах жестокого норд-веста, который дул с Гудзона.

— Эй, Шмидт, принесите мне полевой бинокль! — крикнул он через плечо.— Смотрите!

Он навел бинокль на толстобрюхий белый пароход с закопченной желтой трубой, который стоял у Говернор-Айленда.

— Это, кажется, «Анонда»?

Шмидт был толстый, дряблый человек. Кожа на его лице свисала широкими сухими складками. Он глянул в бинокль.

— Да, это «Анонда».

Он закрыл окно. Шум сразу стал глуше; теперь он напоминал морской прибой.

— Однако они быстро справились. Они будут в доках через полчаса. Бегите и поймайте инспектора Малигана. Он все устроил... Не спускайте с него глаз. Старик Матанзас объявил нам открытую войну. Он добивается судебного приказа. Если к завтрашнему вечеру тут останется хоть одна чайная ложечка марганца, я убавлю вам жалование вдвое. Понялй?

Дряблые щеки Шмидта затряслись от смеха.

— Будьте спокойны, сэр. За это время вы могли бы уже узнать меня.

— Я знаю... Вы хороший малый, Шмидт. Я пошутил.

Финеас Блэкхэд был высокий, худой человек с серебристыми волосами и красным ястребиным лицом. Он опустился в кресло красного дерева перед столом и нажал кнопку звонка. В дверях появился белобрысый мальчик.

— Проведи их сюда, Чарли,— сказал он.

Он тяжело поднялся и протянул руку.

— Как поживаете, мистер Сторроу? Здравствуйте, мистер Голд... Присаживайтесь, пожалуйста. Да, так вот... Эта забастовка... Позиция, занятая железной дорогой и доками, интересы которых я представляю, абсолютно искренна и чистосердечна, вы это знаете... Я убежден — могу сказать твердо убежден — в том, что мы сможем уладить все недоразумения самым дружественным и благоприятным образом. Конечно, вы должны пойти навстречу... Я знаю, в душе мы преследуем одни и те же интересы — интересы нашего великого города, нашего великого океанского порта...

Мистер Голд сдвинул шляпу на затылок и шумно откашлялся.

— Джентльмены, перед нами два пути...

На солнечном подоконнике сидела муха и гладила задними лапками крылышки. Она мылась, двигая передними лапками, точно человек, намыливающий руки, и тщательно терла свою большую голову. Джимми занес руку и опустил ее на муху. Муха жужжала и звенела в его кулаке. Он ухватил ее двумя пальцами и медленно растирал, пока она не превратилась в серое желе. Он вытер пальцы снизу о край подоконника. Ему стало жарко и противно. Бедная муха — она так старательно мылась! Он долго стоял, глядя на двор сквозь пыльное стек-

ло, на котором мерцала солнечная пыль. Время от времени по двору пробегал человек без пиджака с тарелками на подносе. С кухонь доносились крики и звон перемываемой посуды.

Он смотрел на двор сквозь тонкое золотое мерцанье пыли. У мамы был удар, и на той неделе опять в школу.

— Послушай, Херфи, ты научился боксировать?

— Херфи и Кид будут драться за звание чемпиона веса мухи.

— Я не хочу.

— А Кид хочет... Вот он идет. Становитесь в кружок, ребята!

— Я не хочу. Ну пожалуйста...

— Дерись, черт тебя возьми, не то мы изобьем вас обоих!

— Фредди, с тебя пятак — ты опять выругался.

— Ах да, я забыл.

— Начинайте... Бей его почем зря!

— Валяй, Херфи, я на тебя поставил.

— Бей его!

Белое, искривленное лицо Кида качается перед ним, как воздушный шар. Он бьет Джимми кулаком по зубам. На рассеченной губе солоноватый вкус крови. Джимми бросается вперед, опрокидывает его на кровать, упирается коленом в его живот. Его оттаскивают, отбрасывают к стене.

— Валяй, Кид!

— Валяй, Херфи!

В носу и в легких вкус крови; он задыхается. Удар ногой опрокидывает его.

— Довольно, Херфи побежден.

— Девчонка! Девчонка!

— Послушай, Фредди, ведь он же повалил Кида.

— Заткнись, не ори ты так... Сейчас прибежит старик Хоппи.

— Ну что ты, Херфи?.. Ведь это только так — дружеская потасовка.

— Убирайтесь из моей комнаты, все убирайтесь! — взвизгивает Джимми; он ослеп от слез, машет обеими руками.

— Плакса! Плакса!

Он захлопывает дверь, придвигает к ней стол и, дрожа, заползает под одеяло. Он лежит ничком, корчится от стыда, кусает подушку.

Джимми смотрел на двор сквозь тонкое золотое мерцанье пыли.

«Дорогой мальчик! Твоя бедная мама чувствовала себя очень несчастной, когда она усадила тебя в поезд и вернулась в большие, пустые комнаты гостиницы. Милый мой, я очень одинока без тебя. Ты знаешь, что я сделала? Я достала всех твоих игрушечных солдатиков — помнишь, тех, что брали Порт-Артур,— и расставила их на книжной полке. Правда, глупо? Ну, ничего, дорогой мой, скоро Рождество, и мой мальчик вернется ко мне...»

Распухшее лицо уткнуто в подушку; у мамочки был удар, и на той неделе опять в школу. Под глазами у нее набухает темная, дряблая кожа, седина вползает в ее каштановые волосы. Мама никогда не смеется. Удар.

Он внезапно вернулся в комнату и бросился на кровать с тонкой кожаной книжкой в руках. Прибой с грохотом разбивался о риф. Ему не надо было читать. Джек быстро переплыл тихие, синие воды лагуны. Он вышел на желтый берег и стоял в лучах солнца, стряхивая с себя капли, раздувая ноздри, впитывая запах хлебных плодов, которые пеклись на его одиноком костре. Птицы с ярким опереньем щебетали и пели в широкой листве стройных кокосовых пальм. В комнате стояла сонная духота. Джимми заснул. Пахло земляникой и лимоном, на палубе пахло ананасом, и мама стояла там в белом платье, и смуглый человек стоял там в морской фуражке, и солнце зыбилось в молочно-белых парусах. Нежный мамин смех переходит в пронзительное «о-о-ой». Муха, величиной с паром, плывет к ним по воде, протягивая зубчатые, как у краба, щупальца. «Плыгай, Дзимми, плыгай. Двух плызков довольно будет!» — орет ему смуглый прямо в ухо. «Я не хочу... Ну пожалуйста, я не хочу!» — хнычет Джимми. Смуглый бьет его, раз, раз, раз...

— Да, одну минутку. Кто там?

За дверью тетя Эмили.

— Зачем ты запер дверь на ключ, Джимми? Я никогда не позволяю моему Джеймсу запирать дверь.

— Мне так больше нравится, тетя Эмили.

— Разве можно спать днем?

— Я читал «Коралловый остров»* и заснул.— Джимми покраснел.

— Прекрасно. Ну, пойдем. Мисс Биллингс велела не останавливаться у маминой комнаты — мама заснула.

Они спускались в темном лифте, пахнувшем касторкой; негритенок ухмылялся Джимми.

— Что сказал доктор, тетя Эмили?

— Все идет не хуже, чем мы ожидали. Ты не беспокойся. Постарайся сегодня хорошо провести время с твоими кузенами. Ты слишком редко встречаешься с детьми твоего возраста, Джимми.

Они шли по направлению к реке, борясь с жестким ветром, под темным, серебристым небом.

— Я думаю, ты доволен, что возвращаешься в школу, Джимми?

— Да, тетя Эмили.

— Школа для мальчика — лучшая пора в жизни. Обязательно пиши маме, Джеймс, по крайней ме́ре одно письмо в неделю... Кроме тебя, у нее теперь никого нет... Мы с мисс Биллингс будем тебя обо всем извещать.

— Да, тетя Эмили.

— И вот еще что, Джеймс. Я бы хотела, чтобы ты поближе познакомился с моим Джеймсом. Он одного возраста с тобой,— может быть, только чуточку развитее тебя. Но вы подружитесь.

— Да, тетя Эмили.

Внизу, в вестибюле дома тети Эмили, были колонны из розового мрамора. Мальчик у лифта был одет в шоколадную ливрею с медными пуговицами. Лифт был четырехугольный; внутри него висели зеркала. Тетя Эмили остановилась перед широкой, красного дерева дверью на седьмом этаже и достала ключ из сумочки. В конце передней было окно, в которое можно было видеть Гудзон, пароходы и высокие деревья, дома, вздымавшиеся над рекой на фоне желтого заката. Когда тетя Эмили открыла дверь, раздались звуки рояля.

— Это Мэзи упражняется.

Комната, в которой стоял рояль, была устлана толстым, пушистым ковром и оклеена желтыми обоями с серебристыми розами. На стенах между светлыми панелями висели писанные масляными красками картины, изображавшие лес, людей в гондоле и толстого кардинала, пьющего вино. Мэзи взмахнула косичками и спрыгнула с табурета. У нее было круглое, пухлое лицо и вздернутый нос. Метроном продолжал стучать.

— Хелло, Джеймс,— сказала она, подставив матери губы для поцелуя.— Я очень огорчена, что бедная тетя Лили так больна.

— А ты не поцелуешь кузину, Джеймс? — сказала тетя Эмили.

Джимми подошел к Мэзи и ткнулся лицом в ее лицо.

— Вот так поцелуй,— сказала Мэзи.

— Ну, детки, займите друг друга до обеда.— Тетя Эмили прошуршала за синие бархатные портьеры в соседнюю комнату.

— Нам будет очень трудно называть тебя Джеймс.— Мэзи остановила метроном и посмотрела серьезными темными глазами на кузена.— Ведь не может же быть двух Джеймсов.

— Мама зовет меня Джимми.

— Джимми — очень простое имя. Ну что ж, придется называть тебя так, пока мы не придумаем чего-нибудь получше.

— А где Джеймс?

— Он скоро придет. Он на уроке верховой езды.

Сумерки, повисшие между ними, стали свинцово-немыми. Из железнодорожного парка доносились свистки паровозов и лязг сцепляемых вагонов. Джимми побежал к окну.

— Мэзи, ты любишь паровозы? — спросил он.

— По-моему, они противные. Папа сказал, что мы переедем отсюда из-за этого шума и дыма.

Во мраке Джимми мог разглядеть конический обрубок огромного паровоза. Дым вырывался из его трубы громадными бронзово-лиловыми клубами. На пути красный огонь сменился зеленым. Зазвонил колокол — медленно, лениво. Поезд тронулся, громко храпя, грохоча, постепенно набирая скорость, и скользнул в темноту, покачивая красным фонарем заднего вагона.

— Как бы я хотел жить здесь! — сказал Джимми.— У меня есть двести семьдесят две фотографии паровозов. Если хочешь, я тебе их покажу. Я их собираю.

— Какая смешная коллекция! Опусти шторы, Джимми, я зажгу свет.

Когда комната осветилась, они увидели Джеймса Меривейла, стоявшего в дверях. У него были светлые, вьющиеся волосы, веснушчатое лицо и вздернутый, как у Мэзи, нос. Он был в бриджах, темно-коричневых крагах, со стеком в руках,

— Хелло, Джимми! — сказал он.— С приездом.

Из-за синих бархатных портьер показалась тетя Эмили. Он была одета в зеленую шелковую блузу с высоким воротником и кружевами. Ее седые волосы красивыми волнами обрамляли лоб.

— Детки, пора мыть руки,— сказала она,— через пять минут будем обедать. Поторопитесь. Джеймс, иди с кузеном в твою комнату и переоденься.

Все уже сидели за столом, когда Джимми вошел в столовую следом за кузеном. Ножи и вилки сдержанно поблескивали в свете шести свечей в красных и серебряных колпачках. В одном конце стола — тетя Эмили. Рядом с ней — человек с толстой красной шеей без затылка, а на другом конце, в широком кресле — дядя Джефф, с жемчужной булавкой в клетчатом галстуке. За полосой света двигалась горничная-негритянка. Дядя Джефф громко говорил между глотками:

— Говорю вам, Вилкинсон: Нью-Йорк уже не тот, каким он был, когда мы с Эмми приехали сюда. Город переполнен евреями и ирландцами, вот в чем несчастье. Через несколько лет христианину тут негде будет жить... Вот увидите — католики и евреи выгонят нас из нашей собственной страны.

— Обетованная земля! — рассмеялась тетя Эмили.

— В этом нет ничего смешного. Когда человек всю жизнь работает, как вол, и создает свое дело, то ему, естественно, не хочется, чтобы его вытесняла банда проклятых инородцев. Правда, Вилкинсон?

— Джефф, не волнуйся,— сказала тетя Эмили.— Ты ведь знаешь, у тебя от этого бывает несварение.

— Я не буду волноваться, мамочка.

— Дело вот в чем, мистер Меривейл.— Мистер Вилкинсон сосредоточенно нахмурился.— Мы слишком терпимы. Ни одна страна в мире не допустила бы этого. И что же получается? Мы создали эту страну, а теперь позволяем кучке иностранцев, подонкам Европы, отбросам польских гетто вытеснять нас.

— Все дело в том, что честный человек не будет пачкать себе руки политикой — у него нет желания заниматься общественными делами.

— Это верно. В наше время человеку нужно побольше денег. А на общественной работе их честным путем не заработаешь. Естественно, что лучшие люди обращаются к другим источникам.

— Прибавьте еще невежество этих грязных иммигрантов, которым мы даем право голоса, прежде чем они научатся говорить по-английски...— начал дядя Джефф.

Горничная поставила перед тетей Эмили блюдо с жареными цыплятами. Разговор затих, пока обносили гостей.

— Я совсем забыла сказать, Джефф! — воскликнула тетя Эмили.— Мы поедем в воскресенье в Скарсдэйл*.

— Мамочка, я терпеть не могу ездить за город по воскресеньям.

— Вот любит сидеть дома!

— Но воскресенье — единственный день, когда я могу отдохнуть дома.

— Так вышло... Я пила чай с барышнями Арленд у Маярда и, представь себе, за соседним столом сидела миссис Беркхард...

— Не супруга ли Джона Беркхарда, вице-президента Национального городского банка?

— Джон — прекрасный малый. Он далеко пойдет...

— Так вот, миссис Беркхард пригласила нас к себе на воскресенье, и я не могла отказать.

— Мой отец,— вставил мистер Вилкинсон,— был домашним врачом у старого Джонаса Беркхарда. Старик был продувная бестия. Он нажил себе состояние на мехах. У него была подагра, и он вечно чертыхался самым невероятным образом. Я помню его — краснощекий старик с длинными белыми волосами и шелковой ермолкой на лысине. У него был попугай, по имени Тобиас, и люди, проходившие мимо его дома, никогда не знали, Тобиас ли это ругается или старик Беркхард.

— Да, времена переменились,— сказала тетя Эмили.

Джимми сидел на своем стуле; по ногам у него бегали мурашки. У мамы был удар, и на той неделе опять в школу. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник...

Он и Скинни шли с пруда — они там играли с лягушками; на них — синие костюмы, потому что сегодня воскресенье. За сараем цвели кусты. Мальчишки мучили малыша Гарриса — кто-то сказал, что он еврей. Он громко и певуче хныкал:

— Оставьте меня, братцы, не трогайте! На мне новый костюм.

— Ай вай! Мистер Соломон Леви надел новый костюмчик! — визжали радостные голоса.— Где вы его купили, Ицка? У старьевщика?

— Должно быть, на распродаже после пожара.

— Тогда надо полить его из кишки.

— Польем Соломона Леви из кишки!

— Заткнитесь! Не орите так громко.

— Они просто шутят. Они ему не сделают больно,— шепнул Скинни.

Гарриса потащили к пруду. Он брыкался и вырывался; его опрокинутое лицо было бледно и мокро от слез.

— Он вовсе не еврей,— сказал Скинни.— А вот Жирный Свенсон — еврей.

— Откуда ты знаешь?

— Мне сказал его товарищ по спальне.

— Смотри, что они делают.

Мальчишки разбегались во все стороны. Маленький Гаррис карабкался на берег; волосы его были полны ила, из рукавов текла вода.

Подали горячий шоколад с мороженым.

— Ирландец и шотландец шли по улице. Ирландец говорит шотландцу: «Сэнди, пойдем выпьем...»

Продолжительный звонок у входной двери отвлек внимание от рассказа дяди Джеффа. Горничная-негритянка поспешно вошла в столовую и что-то зашептала на ухо тете Эмили.

— А шотландец отвечает: «Майк...» Что случилось?

— Мистер Джо, сэр.

— Ах, черт!

— Надеюсь, он ведет себя прилично? — тревожно спросила тетя Эмили.

— Немножко навеселе, сударыня.

— Сарра, на кой черт вы его впустили?

— Я не впускала его, он сам вошел.

Дядя Джефф оттолкнул тарелку и хлопнул салфеткой по столу.

— Черт! Я пойду поговорю с ним.

— Заставь его уйти...— начала тетя Эмили и вдруг остановилась с открытым ртом.

Между портьерами, висевшими в широком проходе, который вел в смежную комнату, просунулась голова с тонким, крючковатым носом и массой прямых черных, точно у индейца, волос. Один глаз с красными веками подмигивал.

— Хелло!.. Как поживаете? Можно войти? — раздался хриплый голос, и высокая, костлявая фигура высунулась из-за портьер вслед за головой.

Губы тети Эмили сложились в ледяную улыбку.

— Эмили, вы должны... гм... э... извинить меня... Я чувствую, что вечер... гм... проведенный за семейным столом... гм... будет... э-э... гм... вы понимаете... иметь... э-э... благотворное влияние... Понимаете — благотворное влияние семьи...— Он стоял, качая головой, за стулом дяди

Джеффа.— Ну, Джефферсон, старина, как делишки? — Он хлопнул дядю Джеффа по плечу.

— Ничего. Садитесь,— проворчал он.

— Говорят... если хотите послушаться старого ветерана... э... бывшего маклера... ха-ха... говорят, стоит присмотреться к «Интербороу Рапид Транзит»... Не смотрите на меня так косо, Эмили... Я сейчас уйду... Как поживаете, мистер Вилкинсон?.. Дети выглядят хорошо. А это кто? Я не я, если это не мальчишка Лили Херф!.. Джимми, ты не помнишь твоего... гм... кузена Джо Харленда? Помнишь?.. Никто не помнит Джо Харленда... кроме вас, Эмили... Но и вы хотите забыть его... ха-ха... Как поживает твоя мать, Джимми?

— Ей немного лучше, спасибо.— Джимми с трудом выговорил эти слова.

— Ну, когда ты пойдешь домой, засвидетельствуй ей мое почтение. Она поймет... Мы с Лили всегда были друзьями, несмотря на то, что я пугало всего семейства... Они не любят меня, они хотят, чтобы я ушел... Вот что я тебе скажу, мальчик: Лили лучше их всех. Верно, Эмили? Она лучше нас всех.

Тетя Эмили кашлянула.

— Конечно, она самая красивая, самая умная, самая настоящая... Джимми, твоя мать — царица. Она была всегда слишком хороша для всего этого... Честное слово, я бы с удовольствием выпил за ее здоровье.

— Джо, умерьте немножко ваш голос.— Тетя Эмили выстучала эту фразу, точно пишущая машинка.

— Вы думаете, что я пьян?.. Запомни, Джимми,— он потянулся через стол, обдавая Джимми запахом винного перегара,— не всегда бываешь в этом виноват... Обстоятельства... э-э... гм... обстоятельства...— Вставая, он опрокинул стакан.— Эмили косо смотрит на меня... Я ухожу... Не забудь передать Лили Херф привет от Джо Харленда. Скажи, что он ее будет любить до могилы.

Он нырнул за портьеры.

— Джефф, я боюсь, что он уронит севрские вазы. Последи, чтобы он благополучно вышел, и возьми для него кэб.

Джеймс и Мази хихикали, прикрываясь салфетками. Дядя Джефф побагровел.

— Будь я проклят, если я посажу его в кэб! Он мне не кузен. В тюрьму его следовало бы посадить! Когда ты увидишь его, Эмили, передай ему от моего имени, что

если он еще раз придет к нам в таком виде, то я вышвырну его вон.

— Джефферсон, дорогой, не стоит огорчаться, ничего ведь не случилось, он ушел...

— Ничего? Подумай о детях. Предположи, что вместо мистера Вилкинсона здесь был бы чужой человек. Что бы он подумал про наш дом?

— Не беспокойтесь,— проскрипел мистер Вилкинсон,— это случается в приличных домах.

— Бедный Джо... Он такой славный малый, когда он в нормальном состоянии,— сказала тетя Эмили.— И подумать только, что несколько лет тому назад Харленд держал всю фондовую биржу в кулаке. Газеты называли его королем биржи. Помните?

— Это было до истории с Лотти Смизерс...

— Ну, дети, идите к себе, поиграйте, а мы будем пить кофе,— прощебетала тетя Эмили.— Им давно пора уйти.

— Ты умеешь играть в «пятьсот», Джимми? — спросила Мэзи.

— Нет.

— Как тебе нравится, Джеймс? Он не умеет играть в «пятьсот».

— Это игра для девочек,— надменно сказал Джеймс.— Я только ради тебя играю в «пятьсот».

— Подумаешь, какой важный!

— Давайте играть в зверей.

— Но нас всего трое. Втроем скучно.

— А в последний раз ты сам смеялся так, что мама велела нам прекратить игру...

— Мама велела прекратить игру, потому что ты ударила маленького Билла Шмутца и он заплакал.

— А что если мы сойдем вниз и посмотрим на поезда? — предложил Джимми.

— Нам вечером не разрешают сходить вниз,— строго сказала Мэзи.

— Давайте играть в биржу. У меня на миллион долларов бумаг для продажи, Мэзи будет играть на повышение, а Джимми — на понижение.

— Хорошо. А что мы должны делать?

— Бегайте, громче кричите... Ну, я начинаю продавать.

— Прекрасно, господин маклер, я покупаю всю партию по пяти центов за штуку.

— Нет, ты неправильно говоришь... Говори: девяносто шесть с половиной или что-нибудь в этом роде.

— Я даю пять миллионов! — закричала Мэзи, размахивая пресс-папье с письменного стола.

— Сумасшедшая, они стоят только один миллион! — заорал Джимми.

Мэзи остановилась как вкопанная.

— Что ты сказал, Джимми?

Джимми почувствовал, как жгучий стыд пронизал его; он опустил глаза.

— Я сказал, что ты сумасшедшая.

— Разве ты никогда не был в воскресной школе? Разве ты не знаешь, что в Библии сказано: «Если ты назовешь своего ближнего сумасшедшим, то попадешь в геенну огненную»?

Джимми не смел поднять глаза.

— Я больше не буду играть,— сказала Мэзи, выпрямившись.

Джимми каким-то образом очутился в передней. Он схватил шляпу, сбежал вниз по белой мраморной лестнице, мимо шоколадной ливреи и медных пуговиц лифтера, в вестибюль с розовыми колоннами и выскочил на улицу. Было темно и ветрено. Во мраке маячили зыбкие тени и гулко раздавались шаги. Наконец он добежал до гостиницы, взобрался по знакомой красной лестнице. Он шмыгнул мимо маминой двери. Пожалуй, еще спросит, почему он так рано пришел домой. Он вбежал в свою комнату, запер дверь на ключ и прислонился к ней, задыхаясь.

— Ну, ты все еще не женат? — спросил Конго, как только Эмиль отворил ему дверь. Эмиль был в нижнем белье. В комнате, похожей на обувную коробку, было душно, она освещалась и отоплялась газовым рожком под жестяным абажуром.

— Где ты был все это время?

— В Бизерте*, в Трондье...* Я хороший моряк.

— Гнусное это дело — быть матросом... А я вот скопил двести долларов. Служу у Дельмонико.

Они сели рядом на неубранную кровать. Конго вынул пачку египетских папирос с золотыми мундштуками.

— Четырехмесячное жалованье! — Он хлопнул себя по ляжке.— Видел Мэй Свейтцер? — Эмиль покачал головой.— Надо мне разыскать этого пострелёнка... Знаешь, в этих проклятых скандинавских портах бабы подъезжают к пароходам в лодках — здоровые, жирные, все блондинки...

Оба молчали. Газ шипел. Конго вздохнул со свистом.

— C'est chic ça, Delmonico![1] Почему ты не женился на ней?

— Ей хотелось, чтобы я околачивался около нее просто так... Я повел бы дело гораздо лучше, чем она.

— Ты слишком мягок. Надо быть грубым с женщинами, чтобы добиться от них чего-нибудь. Заставь ее ревновать.

— А ей это безразлично.

— Хочешь посмотреть открытки? — Конго достал из кармана пакет, завернутый в газетную бумагу.— Вот это Неаполь; там все мечтают попасть в Нью-Йорк... А это арабская танцовщица. Nom d'une vache[2], как они танцуют танец живота!

— Стой, я знаю, что мне делать! — вдруг крикнул Эмиль, бросая открытки на кровать.— Я заставлю ее ревновать.

— Кого?

— Эрнестину... Мадам Риго...

— Конечно, пройдись несколько раз по Восьмой авеню с девочкой, и я ручаюсь, что она сдастся.

На стуле подле кровати зазвонил будильник. Эмиль вскочил, остановил его и начал плескаться под рукомойником.

— Merde, надо идти на работу.

— Я пойду поищу Мэй.

— Не будь дураком, не трать все деньги,— сказал Эмиль; он стоял перед осколком зеркала и, скривив лицо, застегивал пуговицы на чистой рубашке.

— Абсолютно верное дело, я вам повторяю,— сказал человек, приблизив свое лицо к лицу Эда Тэтчера и похлопывая по столу ладонью.

— Может быть, это и так, Вилер, но я уже видел столько банкротств, что, честное слово, не хочу рисковать.

— Слушайте, я заложил женин серебряный чайный сервиз, мое бриллиантовое кольцо и все детские вещи. Это верное дело. Я не взял бы вас в долю, если бы мы не были друзьями и если бы я не был должен вам деньги. Вы получите двадцать пять процентов на вложенный капитал завтра к двенадцати часам. Потом, если захотите все придержать,— придерживайте, а нет — так прода-

[1] Дельмонико, это так шикарно! (*фр.*)

[2] Ну и телки (*фр.-амер. сленг*).

вайте три четверти, держите остальное два или три дня и вы будете крепки, как... как Гибралтар.

— Я знаю, Вилер, это заманчиво.

— Черт возьми, дружище! Неужели вам охота коптеть всю жизнь в этой проклятой конторе? Подумайте о вашей дочке.

— О ней-то я и думаю.

— Но Эд, Гиббонс и Свендэйк начали уже покупать сегодня вечером перед закрытием биржи по три цента. Клейн теперь поумнел и явится завтра на биржу к первому звонку... Увидите — вся биржа набросится на них...

— До тех пор, пока раздувающая это грязное дело шайка не переменит курса... Я знаю эти дела насквозь, Вилер. Что и говорить, искушение большое... Но я проверял слишком много книг обанкротившихся фирм...

Вилер поднялся и бросил сигару в плевательницу.

— Ну, поступайте как знаете, черт с вами! Вам, стало быть, нравится быть рабом Хаккензака и работать по двенадцати часов в день...

— Я верю, что пробьюсь, если буду работать.

— Что за польза от нескольких тысяч, когда вы стары и ни от чего уже не получаете удовольствия? А я дойду до цели!

— Идите, идите, Вилер,— пробормотал Тэтчер.

Тот вышел, хлопнув дверью.

Большая контора с рядами желтых столов и пишущих машин в чехлах была погружена во мрак. Только на том столе, где сидел над счетами Тэтчер, горела лампа. Три окна в глубине конторы не были завешены. В них Тэтчер видел отвесные громады домов, горевшие огнями, и плоский кусок чернильного неба. Он писал меморандумы на длинном листе бумаги:

Акц. О-во Фан-Тан. Импорт и экспорт.
Отделения: Нью-Йорк, Шанхай, Ханькоу...

Баланс перенос 345 789 84
Недвижимость 500 087 12
Прибыли и убытки 399 765 90

— Шайка бандитов! — проворчал вслух Тэтчер.— Ни одного слова правды. Никаких у них нет отделений. Ни в Ханькоу, нигде...

Он откинулся на спинку стула и уставился на улицу. Дома темнели. Он уже мог видеть звезду на кусочке неба. «Однако надо пойти поесть. Для желудка это очень вредно — так нерегулярно есть, как я ем. А что, если ри-

скнуть и послушаться Вилера?.. Эллин, как тебе нравятся эти розы? У них стебли длиной в восемь футов. Ну-ка, посмотри на мой план заграничной поездки — мы с тобой поедем за границу, надо закончить твое образование. Да, все-таки жалко покидать нашу новую чудную квартиру — она выходит окнами прямо в Центральный Парк... А в городе — Институт присяжных счетоводов. Председатель Эдвард С. Тэтчер...» Облака потянулись по кусочку неба, скрыли звезду. «Рискнуть, рискнуть... В сущности, все — спекулянты и игроки... Рискнуть — и выйти с руками, полными денег, с карманами, полными денег, с толстой чековой книжкой, с подвалами, полными денег. Если бы я только смел рискнуть. Глупо попусту думать об этом, только время терять. Ну-ка, займись Импортным овом «Фан-Тан». Облака, чуть окрашенные пурпурными отсветами улиц, быстро проплывали по кусочку неба, рассыпаясь.

Товары на американских складах 325 666

«Рискнуть — и выиграть триста двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть долларов». Доллары проплывали, как облака, рассыпаясь, уносясь к звездам. Миллионер Тэтчер высунулся из окна сверкающей огнями, надушенной пачулями комнаты, чтобы полюбоваться темным, высоким городом, истекавшим голосами, смехом, звоном и огнями; позади него среди азалий играл оркестр, прямые провода стук-стук-стук-выстукивали доллары из Сингапура, Вальпараисо*, Мукдена, Гонконга, Чикаго. Сузи склонилась к нему в платье из орхидей, дышала ему в ухо.

Эд Тэтчер вскочил, сжимая кулаки, всхлипывая. «Несчастный дурак, к чему все это, раз ее нет? Я лучше пойду поем, а то Эллен рассердится».

V. ПАРОВОЙ КАТОК

Сумерки нежно гладят извилистые улицы. Мрак сковывает дымящийся асфальтовый город, сплавляет решетки окон, и слова вывесок, и дымовые трубы, и водостоки, и вентиляторы, и пожарные лестницы, и лепные карнизы, и орнаменты, и узоры, и глаза, и руки, и галстуки в синие глыбы, в черные огромные массивы. Из-под его катящегося все тяжелее и тяжелее пресса в окнах выступает свет. Ночь выдавливает белесое молоко из дуго-

вых фонарей, стискивает угрюмые глыбы домов до тех пор, пока из них не начинают сочиться красные, желтые, зеленые капли в улицу, полную гулких шагов. Асфальт истекает светом. Свет брызжет из букв на крышах, перебегает под колесами, пятнает катящиеся бочки неба.

Паровой каток, грохоча, ползал взад и вперед по свежепропитанному дегтем щебню у кладбищенских ворот. Запах горелого масла, пара и раскаленной краски исходил от него. Джимми Херф пробирался по краю дороги. Острые камни кололи ноги сквозь истоптанные подметки. Он прошел мимо закопченных рабочих и пересек новое шоссе, унося в ноздрях запах чеснока и пота. Пройдя сто ярдов, он остановился на пригородной дороге, туго стянутой с обеих сторон телеграфными столбами и проволокой. Над серыми домами и серыми лавками гробовщиков небо было такого цвета, как яйцо реполова. Майские червячки копошились в его крови. Он снял черный галстук и сунул его в карман. В голове у него дребезжала песенка:

Я так устала от фиалок,
Возьмите их скорей...

«Ина слава солнцу, ина слава луне, ина слава звездам, звезда бо от звезды разнствует во славе, такожде и воскресение мертвых...» Он быстро шагал, шлепая по лужам, полным неба, стараясь вытряхнуть из ушей гудящие, хорошо смазанные слова, стряхнуть с пальцев ощущение черного крепа, забыть запах лилий.

Я так устала от фиалок,
Возьмите их скорей...

Он пошел быстрее. Дорога поднималась в гору. В канаве, вьющейся в траве среди одуванчиков, ярко журчала вода. Все реже попадались дома; на стенах сараев облезлые буквы выговаривали: «Питательный экстракт Лидии Пинкхэм, Красный Петух, Лающая Собака...» А у мамы был удар, и ее похоронили. Он не помнил, как она выглядела; она умерла, вот и все. С забора донеслось влажное чириканье воробья. Крошечная, ржаво-красная птица полетела дальше, села на телеграфную проволоку и запела, перелетела на край брошенного котла и запела, полетела дальше и запела. Небо стало темно-синим, волокнистые, перламутровые облака клубились на нем. Еще

на одно последнее мгновение он услышал подле себя шуршание шелка, почувствовал нежное прикосновение к своей руке руки в длинном, отороченном кружевами рукаве. Он лежит в колыбели, поджав ноги, похолодев от страха перед мохнатыми, подползающими тенями; и тени разбегаются и прячутся по углам, когда она склоняется над ним — кудри надо лбом, широкие шелковые рукава, маленький черный кружок в углу рта, целующего его рот. Он пошел быстрее. Кровь бурлила, густая и горячая, в его жилах. Волокнистые облака сливались в розовую пену. Он слышал, как шаги его звучат по гулкому асфальту. На перекрестке блики солнца играли на острых, колючих почках молодого бука. Напротив висела доска «Ионкерс»*. Посредине дороги валялась иззубренная консервная банка. Он погнал ее перед собой, сильно поддавая ногой. «Ина слава солнцу, ина слава луне, ина слава звездам...» Он шел дальше.

— Хелло, Эмиль!

Эмиль кивнул не поворачивая головы. Девушка побежала за ним и схватила его за рукав.

— Так-то ты поступаешь со старыми друзьями? Теперь, когда ты водишь компанию с этой королевой деликатесов...

Эмиль отдернул руку.

— Я очень спешу, вот и все.

— А что если я пойду к ней и расскажу, как мы с тобой стояли под ее окнами на Восьмой авеню и обнимались и целовались, чтобы заставить ее сдаться?

— Это была идея Конго.

— А разве она не помогла?

— Конечно.

— А мне разве ничего за это не полагается?

— Мэй, ты хорошая, милая девушка. На той неделе, в среду вечером, я свободен. Я поведу тебя в театр... Ну, как вообще прыгаешь?

— Отвратительно. Пытаюсь устроиться танцовщицей у Кэмпеса. Там бывают парни с деньгой. Довольно с меня матросов и грузчиков... Я хочу стать респектабельной.

— О Конго что-нибудь слышала, Мэй?

— Получила от него открытку из какой-то чертовой дыры — не разобрала откуда... Смешно, право... Просишь денег, а присылают тебе открытки... Это за все-то ночи... И знаешь, Лягушатник, он ведь был у меня единственный.

— Прощай, Мэй.— Он внезапно сдвинул ей соломенную шляпу с незабудками на затылок и поцеловал ее.

— Перестань, Лягушатник! Нашел место целоваться — на Восьмой авеню,— заныла она, пряча желтую прядь под шляпку.— Можешь зайти ко мне, если хочешь.

Эмиль пошел дальше.

Пожарная машина, паровой насос и выдвижная лестница пролетели мимо, сотрясая улицу грохотом. Тремя кварталами дальше из-под какого-то дома клубился дым и вырывались языки пламени. Толпа напирала на цепь полисменов. Из-за спин и шляп Эмиль увидел на крыше соседнего дома пожарных и три блестящих, молчаливых ручейка воды, играющих в верхних окнах. Кажется, это напротив магазина деликатесов. Он начал прокладывать себе дорогу в толпе на тротуаре. Вдруг толпа расступилась. Два полисмена тащили негра, руки которого болтались взад и вперед, точно сломанные палки. Третий шел сзади и бил негра дубинкой по голове, сначала справа, потом слева.

— Кажется, поджигатель.

— Поймали поджигателя.

— Это был поджог.

— Жалкий же у него вид.

Толпа сомкнулась. Эмиль стоял рядом с мадам Риго на пороге лавки.

— Cheri, que ça me fait une emotiong... J'ai horriblemong peur du feu[1].

Эмиль стоял несколько позади нее. Одной рукой он медленно скользил по ее талии, а другой поглаживал ее руку выше локтя.

— Все кончено. Огня больше нет, только дым... Ты застрахована, не правда ли?

— Конечно, на пятнадцать тысяч.

Он сжал ее локоть, потом убрал руки.

— Viens, ma petite, on va rentrer[2].

Как только они вошли в лавку, он схватил ее пухлые руки.

— Эрнестина, когда мы обвенчаемся?

— В следующем месяце.

— Я не могу ждать так долго. Это невозможно. Почему не в ближайшую среду? Тогда я мог бы тебе составить

---

[1] Дорогой, это на меня так действует... Я ужасно боюсь огня. (*фр.*)

[2] Пойдем, малышка, надо возвращаться (*фр.*).

инвентарь лавки... Я думаю, не продать ли нам это место и не переехать ли в город, чтобы побольше зарабатывать.

Она погладила его по щеке.

— P'tit ambitieux[1],— сказала она с глухим смешком, от которого запрыгали плечи и высокий бюст.

На Манхэттене они пересаживались. У Эллен лопнула на большом пальце перчатка, и она нервно поглаживала дырку указательным пальцем. На Джоне был дождевик с поясом и красновато-серая шляпа. Когда он, улыбаясь, поворачивался к ней, она невольно отводила глаза и смотрела на длинные плети дождя, мерцавшие на мокрых рельсах.

— Ну вот, Элайн, дорогая... Теперь, принцесса, мы пересядем в поезд со станции Пенн. Смешное занятие!

Они вошли в вагон. Джон недовольно прищелкнул языком, заметив темные пятна от дождевых капель на светлой шляпе.

— Поехали, малютка... О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. Глаза твои голубиные под кудрями твоими...

Новый дорожный костюм Эллен был узок в локтях. Она старалась быть веселой и прислушиваться к журчанью его речи, но что-то заставляло ее лицо хмуриться; когда она выглядывала в окно, она видела только коричневые болота, миллионы черных фабричных окон, грязные улицы, ржавый пароход в канале, сараи, вывески «Булл Дурхэм» и круглолицых гномов «Спирминт», изрешеченных и исполосованных дождем. Блестящие полосы дождя на вагонных окнах стекали прямо, когда поезд останавливался, и становились все более и более косыми по мере того, как поезд ускорял ход. Колеса стучали в ее голове: «Ман-хэт-тен, Ман-хэт-тен». До Атлантик-Сити* было еще далеко. «Кстати, мы едем в Атлантик-Сити... Дождь лил сорок дней и сорок ночей... Я буду веселой... Опрокинулась в небе лейка... Я должна быть веселой».

— Элайн Тэтчер Огльторп — очень красивое имя, правда, дорогая? Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви...

Было так уютно сидеть в пустом вагоне на зеленом бархатном диване, слушать глупую болтовню склонившегося к ней Джона, смотреть на коричневые топи, мелькавшие за исхлестанными дождем окнами, вдыхать све-

[1] Маленький честолюбец (*фр.*).

жий воздух, пахнувший устрицами. Она посмотрела ему в лицо и рассмеялась. Он покраснел до корней рыжевато-белокурых волос. Он положил руку в желтой перчатке на ее руку в белой перчатке.

— Теперь ты моя жена, Элайн.

— Теперь ты мой муж, Джон.

Они смеясь смотрели друг на друга в уютном уголке пустого вагона. Белые буквы «Атлантик-Сити» изрекали приговор над рябым от дождя морем.

Дождь заливал тротуар и налетал порывами на окно, точно его выплескивали из ведра. Сквозь шум дождя она слышала монотонный ропот прибоя на берегу у освещенного мола. Она лежала на спине, глядя в потолок. Рядом с ней на широкой кровати спал Джон, ровно, по-детски дыша, подложив под голову сложенную вдвое подушку. Он чувствовал ледяной холод. Она осторожно соскользнула с кровати, чтобы не разбудить его, встала у окна и глядела на длинные римские «V» огней на тротуаре. Она распахнула окно. Враждебный дождь хлестнул ей в лицо, исколол щеки, смочил ночную рубашку. Она прижала лоб к раме. «О, я хочу умереть! О, я хочу умереть!» Весь тугой холод ее тела сосредоточился в желудке. «Меня сейчас стошнит!» Она пошла в ванную комнату и закрыла дверь. Когда ее вырвало, она почувствовала себя лучше. Она опять забралась в постель, осторожно, чтобы не задеть Джона. Если она заденет его, то умрет. Она лежала на спине, крепко прижав руки к бокам, сдвинув ноги. Колеса поезда мягко рокотали в ее голове. Она заснула.

Ветер, трясший оконные рамы, разбудил ее. Джон лежал далеко, на другом краю кровати. От ветра и дождя, струившегося по окну, было так, словно комната и широкая кровать и все предметы двигались, неслись вперед, точно воздушный корабль над морем. «Шел дождь сорок дней и сорок ночей...» В какую-то щель холодной окаменелости мотив песенки просачивался, как струя теплой крови... Опрокинулась в небе лейка. Она осторожно провела рукой по волосам мужа. Он поморщился во сне и захныкал: «Не надо!» — голосом маленького мальчика; этот голос заставил ее рассмеяться. Она лежала, смеясь, на другом краю кровати, смеясь безнадежно, как она когда-то смеялась с подругами в школе. И дождь хлестал в окно, и песня звучала все громче, пока не загремела в ее ушах духовым оркестром.

Шел дождь сорок дней и сорок ночей,
Опрокинулась в небе лейка,
Лишь один человек пережил потоп —
Длинноногий Джек с Перешейка.

Джимми Херф сидел напротив дяди Джеффа. Перед ним на синей тарелке — баранья котлета, жареная картошка, небольшая горка горошка, украшенная петрушкой.

— Так вот, подумай об этом,— говорит дядя Джефф.

Яркая люстра освещает отделанную ореховым деревом столовую, сверкает в серебряных ножах и вилках, в золотых зубах, в часовых цепочках, в галстучных булавках, утопает в темноте тонких сукон, играет круглыми бликами на полированных блюдах, лысых головах, судках.

— Ну, что скажешь? — спрашивает дядя Джефф, заложив большие пальцы в проймы пестрого жилета.

— Шикарный клуб,— говорит Джимми.

— Богатейшие, лучшие люди страны завтракают здесь. Посмотри на тот круглый стол в углу. Это стол Гозенхеймера, налево...— Дядя Джефф нагибается и понижает голос.— А вот тот, с выдающейся челюстью,— Уайдлер Лапорт.

Джимми не отвечая разрезает баранью котлету.

— Ну-с,, Джимми, ты, наверное, знаешь, почему я привел тебя сюда... Я хочу поговорить с тобой. Теперь, когда твоя бедная мать... ушла от нас, Эмили и я являемся твоими опекунами в глазах закона и исполнителями воли бедной Лили... Я хочу рассказать тебе, как обстоят дела.

Джимми кладет вилку и ножик и сидит, уставившись на дядю, сжимая холодными руками ручки кресла, следя, как двигается тяжелая синяя челюсть над рубиновой булавкой в широком шелковом галстуке.

— Тебе шестнадцать лет. Так, Джимми?

— Да, дядя.

— Ну так вот... Когда имущество твоей матери будет продано, ты будешь обладать состоянием приблизительно в пять тысяч пятьсот долларов. К счастью, ты умный малый и скоро поступишь в университет. Этой суммы при умелом обращении должно хватить тебе на жизнь и учение в Колумбийском университете, если ты настаиваешь на нем... Что до меня, то я, а также, наверное, и тетя Эмили, предпочли бы видеть тебя в Йэльском или Принстонском университете. По-моему, ты счастливый малый. В твои годы я подметал в Фредериксбурге контору и зарабатывал пятнадцать долларов в месяц. И вот что я еще

хотел сказать: я не замечаю в тебе склонности к коммерческим делам... гм... не замечаю энтузиазма, желания зарабатывать и добиться материального благополучия. Посмотри кругом. Жажда денег и энтузиазм сделали этих людей такими, каковы они теперь. Эти же чувства дали мне возможность создать себе комфортабельный очаг, культурную обстановку, в которых ты сейчас живешь... Я понимаю, тебя несколько странно воспитывали; бедная Лили не сходилась с нами во многих взглядах. Но в настоящий момент оформление твоей жизни только начинается. Теперь как раз время для закладки фундамента твоей будущей карьеры. Я советую тебе, мой друг, последовать примеру Джеймса и пробивать себе дорогу при содействии нашей фирмы... Отныне вы оба мои сыновья... Тебя ожидает тяжелый труд, но это хорошее начало; он открывает тебе широкие перспективы. И помни: если человеку повезет в Нью-Йорке, то ему повезет всюду и везде.

Джимми следит, как широкий серьезный рот дяди Джеффа произносит слова, и не дотрагивается до сочной бараньей котлеты.

— Ну, чем же ты намерен быть? — Дядя Джефф нагибается к нему через стол и глядит на него выпуклыми серыми глазами.

Джимми поперхнулся кусочками хлеба, краснеет и наконец говорит, заикаясь:

— Чем хотите, дядя Джефф.

— Значит, ты этим же летом будешь работать в течение месяца у меня в конторе? Войдешь во вкус работы и заработка, как подобает мужчине? Приглядишься, как делаются дела?

Джимми кивает.

— Ну-с, ты пришел к чрезвычайно разумному решению,— басит дядя Джефф, откидываясь на спинку кресла; полоса света пробегает по его серо-стальным волосам.— Между прочим, что ты хочешь на десерт? Когда-нибудь, Джимми, когда ты будешь крупным дельцом, через много лет, ты вспомнишь этот разговор. Это начало твоей карьеры.

Девица у вешалки улыбается из-под презрительной башни белокурых волос, подавая Джимми его шляпу; среди великолепных котелков, канотье и величественных панам, висящих на крючках, она выглядит помятой, грязной и поношенной. В его желудке что-то кувыркается, когда лифт начинает спускаться. Он выходит в переполненный народом мраморный вестибюль. Не зная, ку-

да идти, он некоторое время стоит, прислонившись к стене, засунув руки в карманы, наблюдая толпу, которая локтями прокладывает себе дорогу к вращающейся двери. Розовощекие девицы жуют резинку, востроглазые девицы с челками, желтолицые мальчики его возраста, юные франты в шляпах набекрень, потнолицые посыльные, перекрестные взгляды, подрагивающие бедра, тяжелые челюсти, жующие сигары, худые, вогнутые лица, плоские тела молодых мужчин и женщин, брюхатые старики — все течет, толкаясь, шаркая, через вращающиеся двери на Бродвей, с Бродвея, двумя бесконечными потоками. Поток засосал Джимми, он выносит его из дверей и опять в двери, днем и ночью и утром, вращающиеся двери выдавливают из него годы, как фарш из сосиски. Внезапно все его мускулы каменеют. «Дядя Джефф может провалиться к черту вместе со своей конторой!» Эти слова звучат внутри него так громко, что он оглядывается по сторонам, не услышал ли их кто-нибудь.

Пусть все они идут к черту! Он расправляет плечи и прокладывает себе дорогу к вращающейся двери. Он наступает кому-то на ногу.

— Смотрите, куда идете, черт бы вас взял!

Он на улице. Резкий ветер набивает ему рот и глаза пылью. Он идет вниз к Бэттери, ветер дует ему в спину. На кладбище Святой Троицы стенографистки и конторские мальчики едят сандвичи среди могил. Чужеземцы толпятся у пароходных пристаней. Светловолосые норвежцы, широколицые шведы, поляки, чумазые, низкорослые, пахнущие чесноком, жители Средиземного побережья, огромные славяне, три китайца, несколько человек ласкарийцев. В маленьком треугольнике перед таможней Джимми поворачивается и долго смотрит в глубокую воронку Бродвея, лицом к ветру. «Дядя Джефф может провалиться к черту вместе со своей конторой!»

Бэд сел на край койки, потянулся и зевнул. В комнате пахло потом, кислым дыханьем и мокрой одеждой. Храп, стоны и бормотанье спящих, скрип кроватей. Где-то далеко горела тусклая, одинокая электрическая лампочка. Бэд закрыл глаза и уронил голову на грудь. «Господи, как хорошо было бы заснуть. Боже мой, как хорошо было бы заснуть!» Он крепко обхватил колени руками, чтобы сдержать их дрожь. «Отче наш, иже еси на небеси, как хорошо бы заснуть!»

— В чем дело, дружище? Не можете уснуть? — послышался спокойный шепот с соседней койки.

— Никак не могу.

— Я тоже.

Бэд посмотрел на большую голову с курчавыми волосами. Сосед облокотился на кровать.

— Гнусная, вонючая, вшивая дыра,— продолжал он так же ровно.— А стоит сорок центов. Чтоб они провалились вместе со своими ночлежками...

— Давно вы в этом городе?

— В августе будет десять лет.

— Господи!

С другого конца комнаты кто-то зашипел:

— А ну-ка, вы, заткнитесь. Тут вам не пикник!

Бэд понизил голос:

— Как подумаешь, что я столько лет мечтал попасть в этот город... Я родился и вырос на ферме.

— Почему же вы не едете обратно?

— Не могу.

Бэду было холодно; он пытался осилить дрожь. Он натянул одеяло до самого подбородка и, завернувшись в него, смотрел на говорившего.

— Каждую весну говорю себе: я уйду, поселюсь там, где трава, лужайки, где коровы идут с пастбища,— и все никак не могу уехать. Привязался!

— Что вы все это время делали в городе?

— Не знаю... Большей частью сидел на Юнион-плейс, потом в Мэдисон-сквер. Был в Хобокене и в Джерси, и в Флэтбуше*, а теперь я — бродяга с Баури.

— Клянусь, я сбегу отсюда завтра же! Страшно тут... Больно много фараонов и сыщиков...

— Вы могли бы просить милостыню. Но послушайтесь моего совета: возвращайтесь на ферму к старикам, и все пойдет на лад.

Бэд соскочил с кровати и грубо схватил собеседника за плечо.

— Идемте-ка к свету, я вам кое-что покажу.— Голос Бэда звенел как-то странно в его собственных ушах.

Он прошел вдоль ряда храпящих коек. Бродяга — расхлябанный человек с курчавыми, выцветшими волосами, такой же бородой и глазами, как бы вколоченными в лицо,— вылез из-под одеяла, совершенно одетый, и последовал за ним. Под лампочкой Бэд расстегнул рубашку и спустил ее с тощих плеч.

— Посмотрите на мою спину.

— Господи Исусе! — прошептал тот, проводя рукой с длинными желтыми ногтями по спине, исполосованной глубокими красными и белыми шрамами.— В жизни не видал ничего подобного.

— Вот что сделал со мной мой старик. Двенадцать лет он истязал меня, когда ему хотелось. Он полосовал меня плетью и прижигал спину каленым железом. Говорили, что он мой отец, но я знаю, что это вранье. Когда мне было тринадцать лет, я сбежал. Вот тогда-то он поймал меня и начал истязать. Теперь мне двадцать пять.

Они молча вернулись к своим койкам и улеглись. Бэд лежал, глядя в потолок, натянув одеяло до глаз. Он посмотрел на дверь в конце комнаты и увидел там человека в коричневом котелке, с сигарой во рту. Он закусил нижнюю губу зубами, чтобы не закричать. Когда он снова посмотрел туда, человека не было.

— Послушайте, вы еще не спите? — прошептал он.

Бродяга промычал что-то.

— Я хочу рассказать вам... Я размозжил ему голову мотыгой. Размозжил ее так, как вы раздавили бы гнойный нарыв. Я говорил ему, чтобы он оставил меня в покое, но он не хотел... Он был жестокий, богобоязненный человек и хотел, чтобы все его боялись. Мы копали землю за старым пастбищем... сажали картошку. Я оставил его там до ночи; голова у него была раздавлена, как гнойный нарыв. Из-за забора с дороги его не было видно. Потом я зарыл его, пошел домой и сварил себе кофе. Он никогда не давал мне кофе. Я встал до рассвета и вышел на дорогу. Я думал, что в большом городе я буду как иголка в стоге сена. Я знал, где он хранит свои деньги. У него была пачка денег, величиной с вашу голову. Но я боялся и взял только десять долларов... Вы еще не спите?

Бродяга замычал.

— Когда я был мальчишкой, то дружил с девочкой старика Саккета. Мы часто сидели вместе на старом леднике в лесу Саккета и говорили о том, как мы поедем в Нью-Йорк и разбогатеем. И вот я здесь, и не могу найти работы, и все время боюсь. Сыщики преследуют меня повсюду — люди в коричневых котелках, со значками под пальто. Прошлой ночью я хотел пойти с одной девкой, но она увидела в моих глазах этот страх и выгнала меня... Она видела его в моих глазах.

Он сидел на краю койки, нагнувшись к самому лицу бродяги, говоря свистящим шепотом. Бродяга внезапно схватил его за руку.

— Слушайте, сынок, вы совсем спятите с ума, если так будет продолжаться. Есть у вас деньги?

Бэд кивнул.

— Отдайте-ка их лучше мне на хранение. Я человек бывалый. Я вытащу вас. Одевайтесь и идите, погуляйте. Заверните в закусочную за углом. Вам надо как следует поесть. Сколько у вас денег?

— Сдача с доллара.

— Дайте мне четвертак и хорошенько поешьте на все остальные деньги.

Бэд натянул штаны и дал бродяге четвертак.

— Возвращайтесь скорее, выспитесь хорошенько, а завтра мы сами отправимся на вашу ферму и заберем тот сверток с деньгами. Как вы сказали — величиной с мою голову?.. Мы спрячем его так, что никто не найдет. Поделим пополам. Идет?

Бэд стиснул его руку деревянными пальцами. Потом, не завязав шнурков на башмаках, поплелся к двери и вниз по заплеванной лестнице.

Дождь перестал, прохладный ветер, пахнущий лесом и травой, рябил лужи на чисто вымытых улицах. В закусочной на Чэтем-стрит три человека спали сидя, нахлобучив шапки на глаза. Бармен читал за стойкой спортивный листок. Бэд долго ждал, пока ему подадут. Он чувствовал себя спокойным, беззаботным, счастливым. Ему подали коричневатую молотую солонину, и он ел ее с наслаждением, растирая языком о зубы поджаренную картошку, запивая ее очень сладким кофе. Начисто вытерев тарелку хлебной коркой, он взял зубочистку и вышел.

Ковыряя в зубах, он вышел грязным, темным переулком к Бруклинскому мосту. Человек в коричневом котелке курил сигару, стоя на середине широкого туннеля. Бэд прошел мимо него бодро и непринужденно. «Плевать мне на него! Пусть идет за мной». Под арками моста было совершенно пусто. Только один полисмен стоял, зевая и глядя на небо. Казалось, что идешь среди звезд. Внизу улицы разбегались во все стороны, унизанные огнями фонарей между чернооконными глыбами домов. Река мерцала внизу, как Млечный Путь наверху. Пучок огня на буксире безмолвно, мягко скользнул во влажную темноту. Автомобиль пронесся по мосту, сотрясая звоном разбитого банджо стальные стропила и паутину кабелей.

Дойдя до решетки воздушной дороги на той стороне моста, он повернул обратно. Все равно куда идти, теперь все равно некуда идти. Краешек синей ночи за его спи-

ной побагровел, как багровеет железо на наковальне. За черными трубами и линией крыш засияли бледно-розовые контуры загородных строений. Мрак становился жемчужным, теплым. «Все они сыщики и охотятся за мной, все эти люди в котелках, бродяги с Баури, старухи в кухнях, трактирщики, трамвайные кондукторы, фараоны, девки, матросы, грузчики, швейцары... Так я и скажу ему, вшивому бродяге, где у старика лежат деньги!.. Один против всех. Один против всех этих проклятых сыщиков». Река была гладкая, ровная, как сине-стальной ствол ружья. Все равно куда идти, теперь все равно некуда идти. Тени между верфями и зданиями были рассыпчаты, как синька. Мачты окаймляли реку; дым, пурпурный, шоколадный, мясисто-розовый, карабкался к свету. Теперь все равно некуда идти.

Во фраке с золотой цепочкой, с красной печаткой на пальце, он едет венчаться, сидя в карете рядом с Мэри Саккет, он едет в карете, запряженной четверкой белых лошадей, в ратушу, где мэр назначит его олдерменом; и свет сияет все ярче и ярче, он едет в шелку и бархате венчаться, он едет на розовом плюше в белой карете с Мэри Саккет, между шпалерами людей, которые машут сигарами, кланяются, бросают в воздух коричневые котелки, олдермен Бэд едет в карете, полной бриллиантов, со своей невестой-миллионершей... Бэд сидит на перилах моста. Солнце взошло за Бруклином. Окна Манхэттена охвачены пламенем. Он дергается вперед, скользит, висит на одной руке, солнце — в глаза. Вопль застревает у него в гортани, когда он падает.

Капитан буксира «Пруденс» Мак-Эвой стоял на капитанском мостике, положив руку на штурвал. В другой руке он держал кусочек бисквита, который он только что окунул в кофе; кофейная чашка стояла на полке подле нактоуза. Он был хорошо сложенный мужчина с густыми бровями и пушистыми, черными, нафабренными усами. Он собирался было положить в рот кусок пропитанного кофе бисквита, как вдруг что-то черное с гулким всплеском упало в воду в нескольких ярдах от парохода. Тотчас же человек, высунувшийся из машинного отделения, закричал: «Кто-то спрыгнул с моста!»

— Будь он проклят! — сказал капитан Мак-Эвой, роняя бисквит и хватаясь за штурвал.

Течение швыряло пароход, как соломинку. В машинном отделении трижды прозвонил колокол. Негр побежал на нос с багром в руках.

— Помоги ему, Рыжий! — крикнул капитан Мак-Эвой.

После долгой возни они вытащили на палубу что-то длинное, черное, неподвижное. Колокол. Капитан Мак-Эвой, хмурясь и волнуясь, выровнял нос и вновь повел буксир по течению.

— Жив, Рыжий? — спросил он хрипло.

Лицо у негра было зеленое, его зубы стучали.

— Нет, сэр, он себе начисто свернул шею,— медленно ответил рыжий.

Капитан Мак-Эвой забрал усы в рот.

— Будь он проклят! — пробурчал он.— Нечего сказать, приятный сюрприз — как раз в день моей свадьбы.

Часть вторая

I. ВЕЛИКАЯ ДЕВА НА БЕЛОМ КОНЕ

Утро грохочет вместе с первым поездом на Аллен-стрит. Дневной свет гулко пробивается в окна, встряхивая старые кирпичные дома, осыпая стропила воздушной дороги ярким конфетти.

Кошки убегают с помойных ям, клопы прячутся в стенные щели, покидая потные тела, покидая грязные, нежные шейки спящих детей. Мужчины и женщины копошатся под одеялами и простынями на матрацах в углах комнат, клубки малышей начинают расползаться, крича и брыкаясь.

На углу Ривертона старик с бородой из пакли, спящий неизвестно где, выставляет свой ларек. Кадки с огурцами, индейский перец, дынные корки, пикули пахнут влажной, острой и пряной зеленью — кажется, что из постельной прели и мерзкого гуда просыпающейся булыжной улицы возникает болотистый сад.

Старик с бородой из пакли, спящий неизвестно где, сидит среди всего этого, как Иона в своей куще*.

Джимми Херф поднялся по четырем скрипучим ступенькам и постучал в белую дверь. Дверь была испятнана пальцами вокруг ручки, над которой висела карточка, аккуратно прикрепленная медными кнопками: «Сондерленд».

Он долго ждал около бутылки с молоком, двух бутылок со сливками и номера воскресной газеты. За дверью послышались шаги и шорох, затем все стихло. Он нажал белую кнопку на дверном косяке.

— А он говорит: «Марджи, у меня было ужасное столкновение из-за вас». А она говорит: «Войдите же, что вы стоите на дожде, вы совсем мокрый...»

С верху лестницы неслись голоса, показались мужские ноги в ботинках на пуговках, женские ноги в ло-

дочках, розовые шелковые икры. Девица — в пышном платье и светлой шляпе, молодой человек — в жилете с белой каймой и пестром сине-зелено-лиловом галстуке.

— Ну, вы-то не из таких!

— Откуда вы знаете, из каких я?

Голоса замерли в низу лестницы. Джимми Херф позвонил еще раз.

— Кто там? — раздался в щелку шепелявый женский голос.

— Я хочу видеть мисс Принн.

Мелькнуло синее кимоно и пухленькое личико.

— Я не знаю, встала ли она.

— Она сказала, что будет готова.

— Подождите, пожалуйста, минутку, пока я убегу,— прощебетали за дверью,— а потом входите. Миссис Сондерленд думала, что это пришли за квартирной платой. Иногда за квартирной платой приходят в воскресенье, чтобы поймать врасплох.

Жеманная улыбка перекинулась мостиком в щелке.

— Взять с собой молоко?

— Спасибо. Присядьте, пожалуйста, в передней, я сейчас позову Рут.

Передняя была очень темная, пахла сном, зубной пастой и вазелином. В углу стояла складная кровать, еще носившая отпечаток лежавшего на ее смятых простынях тела. Соломенные шляпы, шелковые манто и несколько мужских пальто болтались в беспорядке на оленьих рогах вешалки. Джимми снял с качалки лифчик и сел. Из соседних комнат просачивались женские голоса, тихий шорох одевающихся людей и шелест воскресной газеты.

Дверь ванной открылась. Луч солнечного света, отраженного зеркалом, разрезал пополам темную переднюю; на фоне его возникли волосы, похожие на медную проволоку, темно-синие глаза, хрупкий, белый овал лица. В глубине передней волосы стали каштановыми; под ними — гибкая спина в желтом халате, розовые пятки, вылезающие при каждом шаге из ночных туфель.

— Ау, ау, Джимми! — запищала за дверью Рут.— Только не смотрите ни на меня, ни на мою комнату.

Голова в папильотках высунулась, как голова черепахи.

— Хелло, Рут.

— Можете войти, если обещаете не смотреть. Мы обе ужасно выглядим — и я и комната. Я сейчас причешусь. Тогда я буду совсем готова.

Маленькая серая комнатка была набита платьями и фотографиями артистов. Джимми стоял спиной к двери. Что-то шелковое, висевшее на гвозде, щекотало ему уши.

— Ну, как поживаете, господин репортер?

— Так себе... А вы уже нашли работу, Рут?

— М-м... Кое-что, может быть, выйдет на этой неделе. Но вероятнее всего — ничего. Я начинаю отчаиваться, Джимми.

Она тряхнула каштановой головой — папильотки вылетели; она стала причесываться. У нее было бледное, удивленное лицо с большим ртом и синими веками.

— Я помнила, что мне сегодня утром надо пораньше встать и быть готовой, но я никак не могла себя заставить. Так не хочется вставать, когда нет работы... Иногда мне кажется, что я лягу в кровать и буду лежать в ней до конца мира.

— Бедная старушка Рут!

Она бросила в него пуховку, осыпавшую его галстук и отвороты синего пиджака пудрой.

— Какая я вам старушка, крыса вы этакая!

— Ну вот, вы все погубили. А я так трудился, чтобы быть респектабельным... Ах вы чертенок!

Рут откинула голову и визгливо расхохоталась.

— Какой вы смешной, Джимми! Смахните пудру метелочкой.

Покраснев, он сдувал пудру с подбородка и галстука.

— Что это за забавная девушка открыла мне дверь?

— Тс, за перегородкой все слышно. Это Касси,— шепнула она, хихикая,— Кассандра Вилкинс... танцует в труппе Моргана. Не надо смеяться над ней, она очень славная. Я ее очень люблю.— Она рассмеялась.— Вы душка, Джимми.— Она вскочила и ущипнула его за руку.— Я с вами всегда веду себя как сумасшедшая.

— Это от Бога... А знаете что? Я ужасно голоден. Я шел к вам пешком.

— Который час?

— Второй.

— О Джимми, я не знаю, куда девать время... Нравится вам эта шляпа?.. Да, совсем забыла сказать: я вчера была у Харрисона. Это прямо ужасно... Хорошо еще, что я успела подскочить к телефону и пригрозить, что вызову полицию.

— Посмотрите-ка на ту женщину напротив. У нее лицо совсем как у ламы.

— Я из-за нее должна весь день держать ставни закрытыми.

— Почему?

— О, вы еще слишком молоды для таких вещей. Вы будете шокированы, Джимми.

Рут наклонилась к зеркалу и намазала губы.

— Меня столь многое шокирует, что это уже не имеет значения. Однако идем на улицу. Светит солнышко, люди идут из церкви домой, чтобы нажраться и почитать в воскресной газете про каучуковые плантации.

— Ах, Джимми, вы такой непоседа... Подождите минутку. Смотрите, вы зацепились за мой лучший шарф.

Девица с короткими черными кудряшками, в желтом джемпере, убирала в передней складную кровать. Под слоем розоватой пудры и румян Джимми не сразу узнал лицо, которое он видел в щелку двери.

— Хелло, Касси... Извините, мисс Вилкинс, разрешите представить вам мистера Херфа... Расскажи ему про женщину — знаешь, ту, что напротив... Сафо...

Кассандра Вилкинс надулась и зашепелявила:

— Разве она не увасна, мистер Херф? Она говорит увасней шие вещи.

— Она просто дразнит вас.

— О, Херф, я так вада, что наконец-то познакомилась с вами. Вут столько гововила мне о вас... Может быть, несквомно с моей стороны гововить это... Я увасно несквомная.

В конце передней приоткрылась дверь, и Джимми увидел белолицего человека с крючковатым носом; рыжие волосы вошедшего торчали двумя неровными пучками по обе стороны прямого пробора. На нем были красные сафьяновые туфли и зеленый шелковый халат.

— Ну как, Кассандра? — спросил он.— Какие предсказания сегодня?

— Ничего, квоме телегваммы от миссис Фитцсимонс Грин. Она хочет, чтобы я завтва пвиехала к ней в Скавсдейл погововить о ваботе в новом театве. Ах да, пвостите — мистев Хевф, мистев Оглтовп.

Рыжеволосый человек поднял одну бровь, опустил другую и протянул Джимми вялую руку.

— Херф, Херф... Дайте-ка вспомнить... Вы не из штата ли Джорджия? В Атланте есть старинная семья Херф...

— Нет, я думаю, что я не из тех.

— Очень жаль. Когда-то мы с Джозией Херфом были добрыми друзьями. Теперь он председатель Первого национального банка и один из самых уважаемых граждан Скрентона в Пенсильвании, а я... я только лицедей, скоморох, раскрашенная кукла.— Он пожал плечами, и его

халат распахнулся, обнажив плоскую, гладкую, безволосую грудь.

— Знаете, мы с мистером Оглторпом исполняем «Песнь Песней»*. Он читает текст, а я интерпретирую его танцами. Вы должны обязательно прийти к нам на репетицию.

— «Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями...»

— Ой, только теперь не начинайте! — Она хихикнула и сжала колени.

— Джоджо, закрой дверь,— раздался из соседней комнаты спокойный, глубокий женский голос.

— О, бедная, дорогая Элайн, она хочет спать... Очень приятно было с вами познакомиться, мистер Херф.

— Джоджо!

— Да, моя дорогая!

Несмотря на одолевавший его свинцовый сон, Джимми вздрогнул, услышав этот голос. Он молча стоял против Касси в темной передней. Откуда-то доносился запах кофе и жженых сухарей. Рут появилась позади них.

— Ну, Джимми, я готова. Не забыла ли я чего?

— Это безразлично, я умираю от голода.— Джимми взял ее за плечи и мягко подтолкнул к выходу.— Уже два часа.

— Ну, до свиданья, Касси, дорогая. Я позвоню тебе около шести.

— Очень ховошо, Вут... Так вада, что познакомилась с вами, мистер Хевф...

Дверь заглушила шепелявый смех Касси.

— Ох, и неспокойная же у вас квартира, Рут!

— Джимми, вы брюзжите оттого, что вы голодны.

— Скажите-ка, Рут, что это за тип — этот мистер Огльторп? Ничего подобного я в жизни не видал.

— Разве Огл тоже выполз из своей норы? — Рут рассмеялась.

Они вошли в полосу солнечного света.

— А он рассказывал вам, что он, знаете ли, прямой потомок Огльторпов из Джорджии?

— А та прелестная женщина с медными волосами — его жена?

— У Элайн Огльторп рыжие волосы. И вовсе она не прелестная. Она еще ребенок, а держится как царица. Это потому, что она имела успех в «Персиковом бутоне». А в сущности она плохая актриса.

— Какой позор иметь такого мужа!

— Огл делает для нее все на свете. Если бы не он, она все еще была бы хористкой.

— Красотка и чудовище...

— Вы лучше поберегитесь, чтобы он не воспылал к вам нежными чувствами.

— Почему?

— Он «такой», Джимми, он «такой».

Воздушный поезд пронесся над ними, заслонив солнечный свет. Джимми смотрел на беззвучно шевелившиеся губы Рут.

— Пойдем позавтракаем у Кэмпеса, а потом погуляем в парке! — прокричал он сквозь стихающий грохот.

— Чудесно!

Она, хохоча, взяла его под руку. Ее серебряная сумочка билась об его локоть.

— Ну а Касси, таинственная Кассандра?

— Не надо смеяться над ней, она душка. Если бы только она не возилась со своим ужасным белым пуделем! Она держит его в своей комнате. Его никто не выводит, и он ужасно воняет. Ее комната рядом с моей... И потом, у нее есть друг сердца...— Рут хихикнула.— Он еще хуже, чем пудель. Они помолвлены, и он забирает у нее все деньги. Только, ради Бога, никому не говорите.

— Мне некому говорить.

— Потом, у нас есть еще миссис Сондерленд...

— Я мельком видел ее, когда она шла в ванную,— такая старая дама в розовой накидке и в ватном капоте...

— Джимми, вы шокируете меня! У нее все зубы вставные и...— начала Рут.

Промчавшийся над ними поезд не дал ей кончить фразу. Захлопнувшаяся дверь ресторана обрезала грохот колес.

Оркестр играл «Когда в Нормандии цветут яблони». Ресторан был полон дымных солнечных лучей, бумажных фестонов и плакатов, возвещавших: «Ежедневно свежие омары», «Отведайте наших изумительных французских устриц (одобр. департаментом земледелия)». Они сели под красным плакатом «Бифштексы — наверху».

— Джимми, как вы думаете, это безнравственно — позавтракать устрицами? Но прежде всего я хочу кофе, кофе, кофе.

— А я не прочь съесть бифштекс с луком.

— Нет уж, пожалуйста, если вы намерены провести со мной день, мистер Херф!

— Подчиняюсь, Рут, и кладу лук к вашим ногам.

— Это отнюдь не значит, что я разрешу вам поцеловать меня.— Рут прыснула.

Джимми побагровел.

— Я вас об этом и не прошу, мадам.

Солнечный свет капал на ее лицо сквозь маленькие дырочки в полях соломенной шляпы. Она шла быстрыми, слишком частыми из-за узкой юбки шагами. Сквозь тонкий шелк солнечные лучи щекотали ее спину, точно человеческая рука. В тяжелом зное улицы, магазины, люди в воскресных костюмах, соломенные шляпы, зонтики, трамваи, таксомоторы мчались на нее, ослепляя ее острым режущим блеском, точно она проходила мимо кучи металлических отбросов. Она шла на ощупь в путанице пыльного, иззубренного, ломкого шума.

По Линкольн-сквер в уличной толчее медленно ехала девушка верхом на белой лошади. Ее каштановые волосы ниспадали ровными, поддельными волнами на белый конский круп и на золоченое седло, на котором зелеными и красными буквами было написано «Антиперхотин». На ней была зеленая шляпа с ярко-красным пером; одна рука в белой перчатке небрежно держала повод, другая играла хлыстом с золотым набалдашником.

Эллен посмотрела ей вслед, потом пошла по направлению к парку. Мальчики, игравшие в бейсбол, пахли сожженной солнцем, истоптанной травой. Все скамейки в тени были заняты. Когда она переходила автомобильную дорогу, ее острые французские каблуки вязли в асфальте. На скамейке на солнце развалились два матроса; один из них щелкнул языком, когда она проходила, она чувствовала, как их голодные глаза колют ей шею, бедра, лодыжки. Она постаралась не качать на ходу бедрами. Листва на молодых деревьях по обе стороны аллеи съежилась. С юга и востока облитые солнцем дома наступали на парк, на западе они были лиловыми от тени. Все было душно, пыльно, потно, стиснуто полисменами и воскресными платьями. Почему она не поехала по воздушной дороге? Она посмотрела в черные глаза молодого человека в соломенной шляпе, который медленно ехал вдоль тротуара в открытом автомобиле. Его глаза мигнули, он откинул голову, улыбнулся опрокинутой улыбкой и вытянул губы так, что они, казалось, достали до ее лица. Он дернул рукоятку тормоза и открыл свободной рукой дверцу. Она отвела глаза, вздернула подбородок и пошла дальше. Два голубя с металлически-зелеными

шейками и коралловыми лапками вспорхнули у нее из-под ног. Старик учил белку выуживать орехи из бумажного картуза.

«Вся в зеленом, на белом коне скачет дивная дева ко мне... Дзин-дзин антиперхотин... Годива* в пышной мантии волос...»

Памятник генералу Шерману* перебил ее. Она остановилась на секунду, чтобы посмотреть на площадь, сверкавшую перламутром... Да, это квартира Элайн Огторп... Она села в автобус, который шел на площадь Вашингтона. Воскресная, полуденная Пятая авеню пролетала, розовая, пыльная, стремительная. По теневой стороне шел человек в цилиндре и сюртуке. Зонтики, летние платья, соломенные шляпы сверкали на солнце, которое ложилось пламенными квадратами на нижние окна домов, играло яркими бликами на лаке лимузинов и такси. Пахло бензином и асфальтом, мятой, тальком и духами от парочек, которые прижимались друг к другу все теснее и теснее на скамьях автобуса. В пролетевшей витрине — картины, карминовые портьеры, лакированные старинные стулья за цельным стеклом. Магазин Шерри. Ее сосед был в гетрах и лимонных перчатках — наверно, приказчик. Когда они проезжали мимо церкви Святого Патрика, на нее пахнуло ладаном из высоких, открытых в темноту дверей. Дельмонико. Рука молодого человека, сидевшего напротив нее, блуждала по узкой, серой фланелевой спине сидевшей рядом с ним девицы.

— Да, бедняге Джо не повезло — пришлось ему жениться на ней. А ему только девятнадцать лет.

— А по-твоему, это большое несчастье?

— Миртл, я ведь не нас имел в виду.

— Держу пари, что именно нас. Ну ладно, а ты видел девочку?

— Я уверен, что это не от него.

— Что?

— Ребенок.

— Билли, какие гадости ты говоришь.

Сорок вторая улица. Клуб союзной лиги*.

— Очень интересное было собрание... очень интересное... Был весь город... Говорили прекрасные речи, я даже вспомнил прежние времена,— проскрипел интеллигентный голос над ее ухом.

«Уолдорф Астория»*.

— Хорошенькие флаги, Билли, правда? Вон тот, смешной,— это сиамский, потому что в гостинице живет сиамский посланник. Я прочел сегодня утром в газете*.

«Когда, любовь моя, с тобою — час расставания пробьет — прильну последним поцелуем — к твоим губам... поцелуем волнуем почуем... с тобою голубою прибою... Когда, любовь моя, с тобою...»

Восьмая улица. Она сошла с автобуса и вошла в кафе «Бревурт». Джордж сидел спиной ко входу, щелкая замком портфеля.

— Ну и поздно же вы, Элайн! Немного нашлось бы охотников сидеть и ждать вас три четверти часа.

— Джордж, вы не должны бранить меня. Я получила большое удовольствие. Мне много лет уже не было так хорошо. Я весь день принадлежала самой себе. Я шла пешком от Сто пятой улицы до Пятьдесят девятой через парк. Я встретила массу забавных людей.

— Вы, наверно, устали? — Его худое лицо с блестящими глазами в паутине тонких морщин надвинулось на нее, точно бушприт корабля.

— Вы, вероятно, весь день были в конторе, Джордж?

— Да, рылся в делах. Я ни на кого не могу положиться, даже в мелочах. Все приходится делать самому.

— Знаете, я заранее знала, что вы это скажете.

— Что?

— Что вы ждали три четверти часа.

— Вы слишком много знаете, Элайн... Хотите пирожного к чаю?

— О, в том-то и несчастье, что я ничего не знаю... Я хочу лимонаду.

Вокруг них звенели стаканы. Лица, шляпы, бороды колыхались в синем папиросном дыму, отражались в зеленоватых зеркалах.

— Но, дорогой мой, это та же старая история. В отношении мужчины это, может быть, и правильно, но в женщине это ничего не определяет,— гудела женщина за соседним столиком.

— Ваш феминизм вырастает в преграду, которую невозможно перешагнуть,— отвечал тусклый, робкий мужской голос.— А что, если я эгоист? Видит Бог, сколько я выстрадал...

— Это очистительный огонь, Чарли...

Джордж говорил, стараясь поймать ее взгляд:

— Как поживает очаровательный Джоджо?

— Не будем говорить о нем.

— Чем меньше разговору о нем, тем лучше, а?

— Джордж, я не хочу, чтобы вы издевались над Джоджо. Худой ли, хороший ли, но он мой муж до тех пор, пока мы не разойдемся. Нет-нет, я не хочу, чтобы

вы смеялись! Как хотите, но вы слишком грубый и простой человек, чтобы понимать его. Джоджо — очень сложная, пожалуй, даже трагическая натура.

— Ради Бога, не будем говорить о мужьях и женах! Важно только то, маленькая Элайн, что мы сидим вместе и что никто нам не мешает. Пожалуйста, когда мы увидимся снова, по-настоящему, реально?

— Не будемте такими реальными, Джордж.— Она тихо рассмеялась в свою чашку.

— Но мне так много надо сказать вам. Я хочу спросить вас о многом, многом.

Она глядела на него, смеясь, держа надкусанный кусочек вишневого торта розовыми пальцами — указательным и большим.

— Вы так же разговариваете с каким-нибудь несчастным грешником, дающим свидетельские показания? По-моему, скорее надо так: где вы были ночью тридцать первого февраля?

— Я говорю серьезно. Вы не понимаете этого или не хотите понять.

Молодой человек остановился у их стола, слегка покачиваясь, упорно глядя на них.

— Хелло, Стэн! Откуда вы взялись? — Болдуин смотрел на него не улыбаясь.

— Я знаю, мистер Болдуин, это очень нескромно, но разрешите мне присесть на минутку к вашему столу. Меня тут ищет один человек, с которым мне не хочется встречаться. О Господи, тут зеркало... Впрочем, меня не заметят, если увидят вас.

— Мисс Огльторп, позвольте вам представить Стэнвуда Эмери, сына старшего компаньона нашей фирмы.

— Как это чудесно, что я познакомился с вами, мисс Огльторп. Я видел вас вечером, но вы меня не видели.

— Вы были в театре?

— Я чуть не перепрыгнул через рампу. Вы были так очаровательны!

У него была красновато-коричневая кожа; робкие глаза, посаженные слишком близко к острому, слегка выгнутому носу, большой, беспокойный рот, волнистые каштановые взъерошенные волосы. Эллен смотрела то на него, то на другого, внутренне посмеиваясь. Все трое застыли на своих местах.

— Я видела сегодня девицу с «Антиперхотином»,— сказала она.— Она произвела на меня большое впечатление. Именно так я представляла себе «Великую Деву на белом коне».

— «На пальцах перстни, на ногах бубенцы, и несет она гибель во все концы»,— отчеканил Стэн одним духом.

— Кажется, музыка заиграла! — рассмеялась Эллен.— Действительно, гибель пришла.

— Ну, что слышно в университете? — спросил Болдуин сухим, неприязненным тоном.

— Вероятно, он стоит на месте,— сказал Стэн, вспыхнув.— Я желаю ему сгореть до моего возвращения.— Он встал.— Простите мое нескромное вторжение, мистер Болдуин.

Когда он, повернувшись, наклонился к Эллен, на нее пахнуло запахом виски.

— Пожалуйста, простите меня, мисс Огльторп.

Она инстинктивно протянула ему руку; сухие, тонкие пальцы крепко сжали ее. Он отошел, пошатываясь, налетев по дороге на лакея.

— Я не могу понять этого дьявольского молодого щенка! — разразился Болдуин.— У бедного старика Эмери разрывается сердце. Он чертовски умен, у него сильная индивидуальность и все такое прочее, но он ничего не делает — только пьет и скандалит... Мне кажется, что ему нужно было бы начать работать и постичь значение ценностей. Слишком много денег — вот несчастье всех этих студентиков... Ну, слава Богу, Элайн, мы опять одни. Я работал беспрерывно всю мою жизнь с четырнадцати лет. Теперь пришло время отдохнуть. Я хочу жить, путешествовать, думать и быть счастливым. Я больше не в силах переносить такой темп жизни. Я хочу научиться играть, ослабить напряжение... Вот в какой момент вы вошли в мою жизнь.

— Но я не хочу быть сторожем при вашем предохранительном клапане.— Она рассмеялась и уронила ресницы.

— Поедем вечером куда-нибудь за город. Я весь день задыхался в конторе. Терпеть не могу воскресенья.

— А моя репетиция?

— Вы можете захворать. Я вызову по телефону автомобиль.

— Смотрите — Джоджо! Хелло, Джоджо! — Она помахала перчатками.

Джон Огльторп, с напудренным лицом, со ртом, аккуратно сложенным в улыбку над стоячим воротником, лавировал между столиками, протягивая руку, облитую желтой перчаткой с черными полосками.

— Здравствуй, дорогая. Какой приятный сюрприз!

— Вы не знакомы? Мистер Болдуин...

— Простите, если я помешал... э... вашему tete-à-tete.

— Ничего подобного! Садись, выпьем чего-нибудь. Я как раз до смерти хотела тебя видеть, Джоджо... Кстати, если тебе сегодня вечером не предстоит ничего более интересного, забеги на несколько минут в театр. Я бы хотела узнать твое мнение о моей новой роли.

— Разумеется, дорогая. Что может быть приятнее для меня?

Напрягаясь всем телом, Джордж Болдуин откинулся назад и сплел руки за спинкой стула.

— Человек...— Он отрывал слова, точно куски металла.— Три рюмки шотландского, пожалуйста.

Оглторп уперся подбородком в серебряный набалдашник трости.

— Доверие, Болдуин,— заговорил он,— доверие между мужем и женой — чудесная вещь. Пространство и время бессильны против него. Если бы кто-нибудь из нас уехал в Китай на тысячу лет, то это ни чуточки не отразилось бы на нашей взаимной привязанности.

— Понимаете, Джордж, все дело в том, что Джоджо в юности слишком много читал Шекспира... Ну, мне пора идти, а то Мертон опять будет ругаться... Поговорите об индустриальном рабстве... Джоджо, расскажи ему о равенстве.

Болдуин поднялся. Легкий румянец окрасил его скулы.

— Разрешите проводить вас до театра,— сказал он сквозь стиснутые зубы.

— Я никому не разрешаю провожать меня куда бы то ни было. А ты, Джоджо, пожалуйста, не напивайся, а то ты не сможешь смотреть, как я играю.

Пятая авеню была розовой и белой под розовыми и белыми облаками. Легкий ветер приятно холодил лицо после нудных разговоров, табачного дыма и коктейлей. Она весело махнула рукой шоферу такси и улыбнулась ему. Вдруг она увидела пару робких глаз, серьезно смотревших на нее из-под высоких бровей на коричневом лице.

— Я давно поджидаю вас. Можно мне отвезти вас куда-нибудь? Мой «форд» стоит за углом. Пожалуйста.

— Но я иду в театр. У меня репетиция.

— Тогда разрешите мне довезти вас до театра.

Она задумчиво натягивала перчатку.

— Хорошо, если это вас не затруднит.

— Чудесно. Автомобиль тут же, за углом... Не правда ли, это ужасная наглость с моей стороны? Но это другой разговор — так или иначе, я еду с вами. Мой «форд» называется «Динго», но это опять-таки особый разговор.

— Приятно все-таки встретить по-настоящему молодого человека.

Его лицо побагровело, когда он нагнулся, чтобы открыть дверцу автомобиля.

— О да, я чертовски молод.

Автомобиль зарычал и снялся с места.

— Нас, наверно, арестуют: у меня глушитель не в порядке.

На Тридцать четвертой улице они промчались мимо девушки, медленно ехавшей в уличной толчее верхом на белой лошади. Ее каштановые волосы ниспадали ровными поддельными волнами на белый конский круп и на золоченое седло, на котором зелеными и красными буквами было написано «Антиперхотин».

— «Перстни на пальцах,— запел Стэн, нажимая клаксон,— на ногах звонки, и гибнет перхоть от ее руки!»

II. ДЛИННОНОГИЙ ДЖЕК С ПЕРЕШЕЙКА

Полдень на Юнион-плейс. Распродажа. Надо закрывать торговлю. МЫ СОВЕРШИЛИ УЖАСНУЮ ОШИБКУ. Стоя на коленях на пыльном асфальте, мальчишки чистят шнурованные башмаки, полуботинки, туфли, штиблеты на пуговках. Солнце сияет, как одуванчик, на носках вычищенной обуви. «Прямо в конец, мистер, мисс, мадам, в конец магазина, получена большая партия материй фантази, высшего качества, цены вне конкуренции... Джентльмены, миссис, леди, цены понижены!» МЫ СОВЕРШИЛИ УЖАСНУЮ ОШИБКУ. Надо закрывать торговлю.

Полуденное солнце мутно спиралит в окно ресторана. Засурдиненный оркестр спиралит «Индостан». Он ест пирожки, она ест сладости. Они танцуют с набитым ртом, мягкий синий джемпер льнет к гладкому черному пиджаку, обесцвеченные перекисью завитки — к гладкому черному пробору.

По Четырнадцатой улице — «трам-там-там, трам-там-там!» — идет Армия, шагают девицы — «трам-там-там, трам-там-там!» — по четыре в ряд, гром, лазурь, блеск, оркестр Армии Спасения*.

«Высшего качества, цены вне конкуренции!» Надо закрывать торговлю. МЫ СОВЕРШИЛИ УЖАСНУЮ ОШИБКУ. Надо закрывать торговлю.

«Британский пароход «Рейли» из Ливерпуля, капитан Кетлуэл; 933 кипы, 881 ящик, 10 тюков, 8 мест готовых изделий; 57 ящиков, 89 кип, 18 тюков бумажных ниток; 156 кип войлока; 4 кипы асбеста, 100 ящиков катушек...»

Джо Харленд перестал стучать на пишущей машинке и посмотрел на потолок. Кончики пальцев болели. В конторе кисло пахло клеем, бумагой и мужчиной, снявшим пиджак. Он видел в открытое окно темный кусок стены, выходившей во двор, и какого-то человека с зеленым щитком над глазами, глядевшего бесцельно из окна. Светловолосый конторский мальчик положил записку на край его стола: «М-р Поллок хочет видеть вас в 5.10». Твердый комок застрял у него в горле: «он меня уволит». Его пальцы снова начали выстукивать.

«Голландский пароход «Делфт» из Глазго, капитан Тромп; 200 кип, 123 ящика, 14 тюков...»

Джо Харленд долго бродил по Беттери, пока не нашел свободной скамейки. Он сел на нее. Солнце тонуло в шафрановом тумане за Джерси. Ну ладно, с этим мы покончили. Он долго сидел, глядя на солнечный закат — как на картину в приемной зубного врача. Большие облака валили из труб проходившего буксира и стояли над ними, черные и пурпурные. Он смотрел на закат и ждал. У меня было восемнадцать долларов пятьдесят центов, минус шесть долларов за комнату, один доллар и восемьдесят четыре цента за стирку белья и четыре доллара пятьдесят центов — долг Чарли; стало быть, семь долларов восемьдесят четыре цента, одиннадцать долларов восемьдесят четыре цента, двенадцать долларов тридцать четыре цента вычесть из восемнадцати долларов пятидесяти центов, остается у меня шесть долларов и шестнадцать центов. Хватит на три дня до новой работы, если я обойдусь без выпивки. Господи, неужели счастье никогда мне не улыбнется? Ведь раньше везло же мне. Его колени тряслись, в желудке жгло и ныло.

Славную вы себе устроили жизнь, Джозеф Харленд. Сорок пять лет — и ни одного друга, ни одного цента.

Паруса бота казались ярко-красным треугольником в нескольких шагах от асфальтовой набережной. Молодой человек и девушка крепко прижались друг к другу, когда стройный бот проплыл мимо. Они были бронзовыми от солнца, с выгоревшими желтыми волосами. Джо Харленд закусил губы, чтобы удержать слезы, когда бот скрылся в красноватом тумане залива. Ей-богу, надо выпить.

— Разве это не преступление? Разве это не преступление? — Человек, сидевший налево от него, без конца твердил эту фразу.

Джо Харленд повернул голову — у человека было красное рябое лицо и седые волосы. Он крепко держал пальцами театральное приложение к газете.

— Молодые актрисы выступают совсем нагишом... Неужели они не могут оставить человека в покое?

— А вы не любите рассматривать портреты актрис в газетах?

— Я вам говорю: неужели они не могут оставить человека в покое? Если у вас нет работы и нет денег — какой с них толк?

— Что вы! Очень многие любят рассматривать их изображения в газетах. Да я сам в былые дни...

— В былые дни у вас, наверно, была работа. А теперь нет, так ведь? — проворчал он свирепо.

Джо Харленд отрицательно покачал головой.

— Так на какой они черт? Пусть они оставят нас в покое. Теперь не будет работы до снегопада.

— А что вы будете делать до тех пор?

Старик не ответил. Он снова наклонился над газетой, прищурился и забормотал:

— Они совсем голые. Это преступление, говорю я вам!

Джо Харленд поднялся и пошел. Было почти темно; его колени одеревенели от долгого сидения. Он плелся и чувствовал, как тугой кушак стягивает его живот. Жалкий старый одр, тебе нужно пропустить две-три стопки, чтобы ты мог как следует поразмышлять. Кислый запах пива ударил ему в нос из-за двери. Лицо буфетчика было похоже на шафрановое яблоко на уютной полке красного дерева.

— Стопку горяченькой!

Теплое душистое виски обожгло ему горло. Вот от этого становишься человеком! Не допив стопки, он подошел к даровому буфету и съел бутерброд с ветчиной и маслину.

— Еще стопку, Чарли! От виски становишься человеком. А я слишком на него налегал — в этом-то и все дело. Вы теперь и смотреть на меня не хотите, друзья мои, а когда-то меня называли Чародеем Уолл-стрит. Вот вам живая иллюстрация — какую роль играет удача в делах... С удовольствием, сэр, с удовольствием... Уф, от этого становишься человеком... За ваше здоровье и процветание... Я думаю, среди вас, джентльмены, нет никого, кто в свое время не потерпел бы краха. А кто из вас стал от этого умнее? Еще одна иллюстрация — какую роль игра-

ет удача в делах... Но не так было со мной, джентльмены. В течение десяти лет я вертел биржей как хотел, в течение десяти лет я не выпускал из рук телеграфной ленты. И за все десять лет я только три раза промазал, не считая последнего раза. Джентльмены, я хочу открыть вам секрет... Я открою вам очень важный секрет... Чарли, дайте моим друзьям еще по стопке — я угощаю! И сами тоже выпейте... Джентльмены, вот вам опять иллюстрация — какую роль играет в делах удача. Джентльмены, секрет моей удачи... абсолютная истина, уверяю вас... можете проверить по газетам, журналам, речам, лекциям того времени. Один человек — он оказался гнусным шантажистом — даже написал обо мне детективный рассказ под названием «Тайна успеха». Вы можете найти его в нью-йоркской публичной библиотеке, если вам интересно. Секрет моего успеха был... Когда вы услышите, вы будете смеяться, вы скажете, что Джо Харленд пьян, что Джо Харленд — старый дурак... Да, вы это скажете... В течение десяти лет, говорю вам, я играл на разнице, покупал направо и налево предприятия, названия которых я никогда не слыхал, и всякий раз зарабатывал. Я загребал деньги кучами. Четыре банка были у меня в кармане. Потом я занялся сахаром и гуттаперчей, но это оказалось преждевременным. Вы начинаете нервничать, вам хочется узнать мой секрет, вы думаете, что сможете использовать его... Нет, не сможете... Секрет моего успеха был в синем шелковом вязаном галстуке — моя мать связала его для меня, когда я был маленьким мальчиком... Не смейтесь, будьте вы прокляты!.. Нет-нет, я ничего... Еще одна иллюстрация — какую роль играет удача... В тот день, когда я вместе с одним молодчиком впервые решил сыграть на разнице и сунул тысячу долларов в луизвильские и нэшвильские бумаги, на мне был тот галстук. Двадцать пять пунктов в двадцать пять минут! Это было начало. Потом я начал постепенно замечать, что всякий раз, когда я не надеваю этого галстука, я теряю деньги. Когда он обносился и истрепался, я попробовал носить его в кармане. Но это не помогло. Мне приходилось надевать его, вы понимаете?.. Дальше — старая-престарая история, джентльмены... Была одна девушка — пусть Бог ее накажет — и я любил ее... Я хотел доказать ей, что нет ничего на свете, чего я не сделал бы для нее, и я подарил ей галстук. Я думал, что это шутка, и смеялся: «Ха-ха-ха!» Она сказала: «Он же дрянной, он совсем обтре-

панный» — и швырнула его в огонь... Только еще одна иллюстрация... Друзья, не угостите ли вы меня стопочкой? Я сегодня случайно не при деньгах... Благодарю вас, сэр... От этого опять становишься человеком.

В переполненном вагоне подземной дороги рассыльного мальчика притиснули к спине высокой блондинки, от которой сильно пахло духами. Локти, пакеты, плечи сдвигались все теснее при каждом толчке скрежетавшего вагона. Его пропотелая форменная фуражка сбилась на ухо. «Если бы у меня была такая дамочка! Ради такой дамочки стоит остановить поезд, потушить огни, устроить крушение... Я бы мог иметь ее, если бы у меня были деньги». Когда поезд замедлил ход, она повалилась на него, он закрыл глаза, перестал дышать, его нос расплющился об ее шею. Поезд остановился. Стремительная толпа вынесла его из вагона.

Спотыкаясь, он вышел на свежий воздух, в мерцающие глыбы света. Бродвей был полон народа. Матросы по двое и по трое стояли на углу Девяносто шестой улицы. Он съел два сандвича с ветчиной и ливерной колбасой в гастрономической лавке. У женщины за прилавком были желтые волосы, как у той блондинки в вагоне, но она была толще и старше. Дожевывая корку сандвича, он поднялся в лифте в Японский сад. Там посидел минутку перед мигающим экраном. «Пожалуй, у меня, в моем костюме рассыльного, смешной вид. Лучше убраться отсюда. Пойду разносить телеграммы».

Он затянул кушак, спускаясь по лестнице. Прошел по Бродвею до Сто пятой улицы и свернул на восток по направлению к Авеню Колумба, внимательно рассматривая подъезды, пожарные лестницы, окна, карнизы. Вот! Только во втором этаже горел свет. Он позвонил во второй этаж. Дверная задвижка щелкнула. Он взбежал по лестнице. Женщина с бесцветными волосами и красным от кухонного жара лицом высунула голову.

— Телеграмма для Сантионо!

— Нет тут такого.

— Извините, мадам, я ошибся звонком.

Дверь захлопнулась перед его носом. Его желтое, дряблое лицо сразу напряглось. Он легко, на цыпочках взбежал на самый верх, потом вскарабкался по маленькой лестнице к чердачному окошку. Болт загремел, когда он отодвигал его. Он затаил дыханье. Взобравшись на

засыпанную золой крышу, он осторожно поставил ставень на место. Трубы возвышались стройными рядами вокруг него, черные на сияющем фоне улиц. Он ползком пробрался к заднему фасаду дома и спустился по желобу на пожарную лестницу. Его нога задела цветочный горшок, когда он дополз до цели. Кругом было темно. Он пролез через окно в душную, пахнущую женщиной комнату, просунул руку под подушку неубранной кровати, обшарил письменный стол, рассыпал пудру, выдвинул ящик, нащупал часы, накололся пальцем на булавку. Брошь... А вот что-то есть в углу. Кредитки, пачка кредиток. Надо уходить. По пожарной лестнице в нижний этаж. Света нет. Опять открытое окно. Плевое дело! Такая же комната, пахнет собакой и ладаном. Он увидел свое смутное отражение в стекле бюро, попал рукой в банку с кольдкремом, вытер ее о брюки. Черт! Что-то мягкое и пушистое с визгом выскочило у него из-под ног. Он стоял, дрожа, посредине тесной комнаты. Маленькая собачка громко скулила в углу.

Свет качнулся в комнату. Женщина стояла на пороге, направив на него револьвер. За ней виден был силуэт мужчины.

— Что вы тут делаете? Да ведь это рассыльный...

Свет сплел медную паутину вокруг ее головы, очертил тело под красным шелковым кимоно. Мужчина был молод, строен, темен. Его рубашка была расстегнута.

— Ну, что же ты тут делаешь?

— О, мадам... Это я от голода. У меня старуха-мать умирает.

— Ну разве это не удивительно, Стэн? Хорош громила! — Она подняла револьвер.— Иди за мной в переднюю.

— Хорошо, мисс, все, что вы велите, мисс, только не выдавайте меня фараонам. Подумайте о моей старушке матери!

— Хорошо, но если ты взял что-нибудь, отдай обратно.

— Честное слово, я ничего не успел взять!

Стэн упал в кресло, заливаясь смехом.

— Ловкая же ты, Элли! Никогда не думал, что ты на это способна.

— Да ведь я играла эту роль все прошлое лето... Отдай твой револьвер.

— У меня нет никакого револьвера, мисс.

— Ну ладно, хоть я и не верю тебе, но, так и быть, отпущу.

— Да благословит вас Бог!

— Но ведь ты зарабатываешь что-нибудь, раз ты рассыльный?

— Меня прогнали на прошлой неделе, мисс. Только голод заставил меня...

Стэн поднялся.

— Дадим ему доллар, и пусть он убирается к черту.

Когда он уже стоял на пороге, она протянула ему доллар.

— Вы — ангел,— сказал он, задыхаясь.

Он схватил руку, державшую доллар, и поцеловал ее; склонившись над рукой, целуя ее мокрым поцелуем, он уловил кусочек тела под мышкой в прорези широкого шелкового рукава. Когда он, все еще дрожа, спускался по лестнице, то оглянулся и увидел, что девушка и мужчина стоят, обнявшись, и смотрят ему вслед. Глаза его были полны слез. Он сунул доллар в карман.

«Паренек, если ты и дальше будешь так падок на женщин, то ты очутишься в той славной гостинице на реке...» А все-таки она душка!» Тихо посвистывая, он дошел до станции и сел в поезд воздушной дороги. Время от времени он ощупывал задний карман, где лежала пачка кредиток.

Он взбежал на третий этаж. Пахло жареной рыбой и газом. Он позвонил три раза у грязной стеклянной двери. Подождав несколько секунд, тихо постучал.

— Это ты, Майк? — послышался женский голос.

— Нет, это Ники Шатц.

Женщина с острым лицом и крашеными волосами открыла дверь. На ней было меховое пальто поверх гофрированного нижнего белья.

— Как дела, мальчик?

— Представь себе, шикарная дама поймала меня за работой. И как ты думаешь, что она сделала?

Возбужденно говоря, он последовал за женщиной в столовую с облупленными стенами. На столе стояли стаканы и бутылка виски.

— Она дала мне доллар и посоветовала стать пай-мальчиком.

— Черт ее побери!

— Вот часы.

— Это «Ингерсол». Какие это к черту часы!

— Хорошо, тогда посмотри-ка на это.— Он вытащил пачку кредиток.— Это не добыча, а? Да тут тысячи!

— Дай посмотреть.— Она выхватила у него кредитки; глаза ее засверкали.— Ты осел! — Она бросила кредитки на пол и заломила руки.— Ведь это же бутафорские деньги! Это бутафорские деньги, театральные деньги, телячья голова, дурак проклятый...

Они сидели рядышком на краю кровати и хохотали. Душная комната была пропитана вялым благоуханием чайных роз, стоявших в вазе на бюро. Повсюду была разбросана одежда и шелковое белье. Их объятия становились все теснее. Внезапно он высвободился и нагнулся, чтоб поцеловать ее в губы.

— Громила,— сказал он беззвучно.

— Стэн...

— Элли...

— Я думала, что это Джоджо,— шепнула она хрипло.— Это похоже на него — подкрасться тайком.

— Элли, я не понимаю, как ты можешь жить с ним и со всеми этими людьми? Ты, такая очаровательная... Я не представляю себе тебя в этой среде.

— Было довольно легко до тех пор, пока я не встретила тебя... В сущности, Джоджо хороший. Он только не совсем обыкновенный и очень несчастный человек.

— Но ты совсем из другого мира, детка. Ты должна жить на крыше дома Вулворт* в хоромах из хрусталя и вишневых цветов.

— Стэн, какая у тебя коричневая спина.

— Это от купания.

— Так рано?

— Вероятно, осталось от прошлого лета.

— Ты счастливец! Я никак не могу научиться прилично плавать.

— Я научу тебя. Слушай, в ближайшее ясное воскресенье мы встанем рано и поедем в моем «Динго» на Лонг-Бич. Там в конце пляжа никого не бывает. Не надо даже надевать купальный костюм.

— Мне нравится, что ты такой худой и твердый, Стэн. Джоджо — белый и мягкий, почти как женщина...

— Ради Христа, не говори ты про него теперь! — Стэн стоял, расставив ноги, застегивая рубашку.— Элли, пойдем куда-нибудь, выпьем... знаешь, я теперь ни с кем не могу встречаться и врать... Клянусь Богом, я кого-нибудь отколочу стулом.

— У нас есть время. Никто не придет домой раньше двенадцати... Я сама дома, потому что у меня головная боль.

— Элли, ты любишь свою головную боль?

— До безумия, Стэн.

— Наверно, тот несчастный громила это знал... Черт побери!.. Налет, адюльтер, пожарные лестницы, водосточные трубы. Роскошная жизнь!

Когда они, шагая в такт, спускались с лестницы, Эллен крепко сжала его руку. У почтового ящика в грязном вестибюле он внезапно схватил ее за плечи, откинул назад ее голову и поцеловал в губы. Тяжело дыша, они шли по направлению к Бродвею. Он держал ее под руку; локтем она крепко прижимала его руку к своим бедрам. Как бы сквозь толстые стекла аквариума она смотрела на лица, на фрукты в витринах, на консервные банки, на кадки с маслинами, на цветы, на пробегающие электрические рекламы. Когда они пересекали улицы, в лицо ей дышал свежий воздух с реки. Беглые, яркие взгляды из-под соломенных шляп, подбородки, тонкие губы, толстые губы, губы бантиком, голодные тени под скулами, лица девушек и молодых людей бились об нее, как мотыльки, пока она шла рядом с ним одинаковым шагом в звенящую желтую ночь.

Они сели где-то за стол. Гремел оркестр.

— Нет, Стэн, я ничего не буду пить. Пей ты.

— Элли, разве ты не чувствуешь себя так же хорошо, как я?

— Еще лучше... Но если мне будет еще лучше, я не выдержу... Я не могу сосредоточиться на стакане настолько, чтобы выпить его.— Она вздрогнула — так ярок был блеск его глаз.

Стэн был пьян.

— Я хотел бы, чтобы земные плоды были твоим телом и чтобы я мог есть их,— повторял он все время.

Эллен ковыряла вилкой тощего холодного зайца. Она начинала падать — толчками, как вагонетка на американских горах,— в холодные пропасти отчаяния. Посредине комнаты четыре пары танцевали танго. Она встала.

— Стэн, я иду домой. Я должна рано встать и репетировать весь день. Позвони мне в театр в двенадцать.

Он кивнул головой и налил себе еще одну рюмку. Секунду она стояла около его стула, глядя вниз на его длинную голову с густыми курчавыми волосами. Он тихо бормотал про себя стихи.

— «Я видел белую неумолимую Афродиту», черт побери... «Я видел ее распущенные волосы и стопы без сандалий», будь ты проклят!.. «Она сверкала, как пламя заката на морских водах...»

Выйдя на Бродвей, Эллен вновь почувствовала прилив веселья. Стоя посредине улицы, она ждала трамвая. Мимо нее пролетело такси. Теплый ветер с реки донес вой пароходной сирены. На дне пропасти, что была внутри нее, тысячи гномов строили высокие, хрупкие, сверкающие башни. Вагон, звеня, остановился. Влезая, она бессознательно вспомнила запах тела Стэна, когда он, потный, лежал в ее объятиях. Она опустилась на скамью, кусая губы, чтобы не расплакаться. Господи, как это ужасно — любить. Напротив нее два человека с синими рыбьими лицами без подбородков весело разговаривали, похлопывая себя по жирным коленям.

— Я вам скажу, Джим, Ирена Кэсл сводит меня с ума. Когда я вижу, как она танцует уанстеп, мне кажется, что я слышу, как ангелы поют.

— Но она слишком тощая.

— Она имеет сумасшедший успех.

Эллен вышла из вагона и пошла по пустынному узкому тротуару Сто пятой улицы. Из узких окон домов сочилось зловоние, пахло матрацами и сном. Из сточных канав воняло кислым. В глубине подъезда мужчина и девушка покачивались, тесно сцепившись. Спокойной ночи. Эллен радостно улыбнулась. Сумасшедший успех. Эти слова возносили ее, как на лифте, на головокружительную, торжественную высоту, где электрические рекламы жужжали, пурпуровые, золотые и зеленые, где на крышах были яркие сады, пахнущие орхидеями, где трепетал замедленный ритм танго, которое она танцевала со Стэном в золотисто-зеленом платье, где рукоплесканья миллионов налетали на них порывами, как шквал. Сумасшедший успех.

Она поднялась по крутой белой лестнице. Перед дверью с надписью «Сондерленд» ее внезапно охватило болезненное отвращение. Она долго стояла с бьющимся сердцем, держа ключ в руках. Потом резким движением сунула ключ в замок и открыла дверь.

— Он такой, Джимми, он такой!

Херф и Рут Принн сидели в дальнем углу шумного ресторана с низким потолком и смеялись.

— Кажется, здесь столуется актерская накипь всего света.

— Какие новости с Балкан?

— На Балканах благополучно.

Поверх шляпы Рут — черной, соломенной, с красными маками вокруг тульи — Джимми смотрел на переполненные столы; лица сливались в одно серо-зеленое пятно. Два лакея с худыми ястребиными лицами проталкивались в гущу болтовни, жужжавшей, как пчела. Рут смотрела на него расширенными, смеющимися глазами, покусывая стебель петрушки.

— Я совсем пьяна,— бормотала она.— Вино ударило мне в голову... Ужасно!

— Ну так какой же скандал случился на Сто пятой улице?

— Как жаль, что вы не видели. Красота!.. Все стоят в передней — миссис Сондерленд в папильотках, Касси плачет, а Тони Хентер стоит на пороге своей комнаты в розовой пижаме.

— Кто это?

— Такой юноша... Ах, Джимми, следовало бы рассказать вам про Тони Хентера. Он тоже «такой».

Джимми почувствовал, что краснеет. Он нагнулся над тарелкой.

— Ах вот в чем дело! — сказал он резко.

— Вы шокированы, Джимми, признайтесь, что вы шокированы.

— Нет, продолжайте, выкладывайте всю грязь.

— Ах, какой вы, Джимми... Ну ладно: Касси плачет, собака лает, невидимая мисс Костелло зовет полицию и падает в обморок на руки неизвестного человека во фраке. Джоджо потрясает маленьким никелевым револьвером, вероятно, игрушечным... Единственный человек, который был в здравом уме, это — Элайн Огдторп. Знаете, та тициановская красавица, которая произвела на вашу детскую душу такое впечатление...

— Честное слово, Рут, она не произвела никакого впечатления на мою детскую душу.

— Словом, Оглу в конце концов надоела эта сцена, и он заорал диким голосом: «Обезоружьте меня, иначе я убью эту женщину!» Тони Хентер отнял у него револьвер и унес к себе в комнату. Тогда Элайн Огдторп слегка поклонилась, как бы под занавес, сказала: «Ну, спокойной ночи, господа» — и шмыгнула к себе в комнату как

ни в чем не бывало... Можете себе представить? — Рут внезапно понизила голос.— Однако весь ресторан слушает нас... Нет, право, все это было омерзительно! Но самое худшее я вам еще не рассказала. Огл еще раза два стукнул к ней в дверь и не получил ответа. Тогда он подошел к Тони и, вращая глазами, как Форос Робертсон в «Гамлете», обнял его и сказал: «Тони, можете ли вы приютить человека с разбитым сердцем у себя в комнате?» Честное слово, я была шокирована!

— Разве Огльторп тоже «такой»?

Рут несколько раз кивнула головой

— Так почему же она вышла за него замуж?

— Ну, эта девица вышла бы замуж за ломовую телегу, если бы она знала, что ей это выгодно.

— Право, Рут, вы превратно истолковали всю эту историю.

— Джимми, вы совсем несмышленыш! Подождите, дайте мне докончить трагическую повесть. Когда те двое исчезли и заперли за собою дверь, в передней поднялся дикий тарарам. Конечно, Касси для полноты картины закатила истерику. Когда я вернулась из ванной — я ходила туда за нашатырным спиртом для нее,— суд уже заседал. Красота! Мисс Костелло требовала, чтобы Огльторпы завтра же были выброшены вон; если это не будет сделано, она-де выедет. Миссис Сондерленд хныкала, что за тридцать лет театральной работы она ни разу не видела подобной сцены, а человек во фраке, Бенджамен Арден — вы знаете, он играет характерные роли,— заявил, что люди, подобные Тони Хентеру, должны сидеть в тюрьме. Когда я пошла спать, заседание еще продолжалось. Теперь вы, надеюсь, понимаете, почему я так долго спала и заставила вас ждать меня битый час, бедный мой мальчик.

Джо Харленд стоял посредине спальни, засунув руки в карманы, уставясь на картину, которая висела криво на зеленой стене, подступавшей к железной кровати. Его холодные пальцы беспокойно двигались в карманах брюк. Он говорил громко, низким, ровным голосом:

— Все зависит от удачи, знаете ли, но я все-таки в последний раз попробую обратиться к Меривейлам. Эмили помогла бы мне, если бы не этот проклятый старый дурак. У Эмили все-таки есть теплый уголок в сердце. Никто из них не понимает, что не всегда можно обвинять

самого человека. Все, в сущности, зависит от удачи, и, видит Бог, они все когда-то кормились моими объедками.

Резкий голос утомил его слух. Он сжал губы. «Становишься болтливым, старина». Он ходил взад и вперед по узкому пространству между кроватью и стеной. Три шага. Три шага. Он подошел к умывальнику и выпил воды из кувшина. Вода отдавала гнилым деревом и помойным ведром. Он выплюнул последний глоток. «Мне нужен хороший сочный бифштекс, а не вода». Он сложил стиснутые кулаки. «Надо что-нибудь сделать. Надо что-нибудь сделать!»

Он надел пальто, чтобы скрыть дыру на брюках. Бахрома на рукавах щекотала кисти рук. Темные ступени скрипели. Он был так слаб, что держался за перила, чтобы не упасть. Старуха высунулась из двери в нижней передней. Тощая косичка торчала сбоку на ее голове, словно пытаясь удрать из-под серой наколки.

— Мистер Харленд, а как насчет платы за три недели?

— Я как раз иду получать по чеку, миссис Будковитц. Вы были очень любезны... и, может быть, вам будет интересно узнать, что мне обещали, то есть гарантировали, очень хорошее место с понедельника.

— Я жду три недели... Я больше не хочу ждать.

— Но, дорогая леди, уверяю вас словом джентльмена...

Миссис Будковитц начала дергать плечами. Ее голос, тонкий и пронзительный, скрипел, как вагонетка на рельсах:

— Вы мне уплатите эти пятнадцать долларов, или я сдам комнату кому-нибудь другому.

— Я вам заплачу сегодня же вечером.

— В котором часу?

— В шесть часов.

— Очень хорошо. Пожалуйста, отдайте мне ключ.

— Я не могу отдать вам ключ. Вдруг я приду поздно.

— Потому-то я и хочу получить ключ. Мне надоело ждать.

— Очень хорошо, возьмите ключ. Вы, я надеюсь, понимаете, что в результате вашего оскорбительного поведения я не считаю для себя возможным оставаться долее в вашем доме.

Миссис Будковитц хрипло рассмеялась:

— Очень хорошо! Как только вы мне заплатите пятнадцать долларов, можете забирать ваше барахло.

Он положил два связанных веревочкой ключа в ее серую ладонь и, хлопнув дверью, поплелся по улице.

На углу Третьей авеню он остановился и стоял, дрожа под горячими, полуденными солнечными лучами; пот стекал ему за уши. Он был слишком слаб, чтобы ругаться. Зубчатые квадраты грохота обрушились на его голову — над ним промчался воздушный поезд. Грузовики скрежетали по мостовой, вздымая пыль, пахнувшую бензином и раздавленным конским навозом. В мертвом воздухе воняло лавкой и рестораном. Он медленно зашагал по направлению к Четырнадцатой улице. На углу теплая волна сигарного дыма остановила его, точно рука, опустившаяся на его плечо. Он стоял несколько секунд, заглядывая в маленькую лавку, где тонкие, желтые пальцы завертывали хрупкие листья табака. Вспоминая марки сигар, он потянул носом. Развернуть мягкую фольгу, осторожно снять колечко, нежно, точно кусок мяса, отрезать ножичком с черенком из слоновой кости кончик... запах восковой спички... глубоко вдохнуть горьковатый, извилистый, глубокий, сладкий дым. «Ну-с, итак, сэр, как же насчет того дельца с бумагами Северной Тихоокеанской?..» Он сжал кулаки в липких карманах непромокаемого пальто. «Взяла ключ, старая ведьма. Я еще покажу ей, будь она проклята! Джо Харленд может опуститься на самое дно, но у него все же есть гордость».

Он пошел по Четырнадцатой улице, не переставая думать. Он спустился в маленькую писчебумажную лавочку в подвальном этаже и неуверенным шагом направился в глубь ее. Он, пошатываясь, остановился в дверях маленькой конторы, где за американским столом сидел синеглазый, лысый, толстый человек.

— Хелло, Фельзиус! — крикнул Харленд.

Толстый человек испуганно поднялся.

— Боже мой, неужели это вы, мистер Харленд?

— Джо Харленд, он самый, Фельзиус... гм.... несколько плох, а?..— Хихиканье замерло у него в горле.

— Я... Ну, садитесь, мистер Харленд.

— Благодарю вас, Фельзиус... Фельзиус, я конченый человек.

— Лет пять прошло с тех пор, как я видел вас в последний раз, мистер Харленд.

— Проклятые пять лет... Все зависит от удачи... У меня ее больше никогда не будет. Помните, как я тогда подрался с биржевиками и какой ад поднял в конторе? А какие были наградные служащим на Рождество..

— Да, мистер Харленд.

— Должно быть, скучная это штука — сидеть в лавке?

— Мне это по вкусу, мистер Харленд; тут я сам себе хозяин.

— А как поживают жена и ребята?

— Прекрасно, прекрасно. Старший мальчик только что окончил школу.

— Тот, которого вы назвали в честь меня?

Фельзиус кивнул. Его пальцы, толстые, как сосиски, беспокойно барабанили по краю стола.

— Помню, я еще думал, что когда-нибудь помогу этому мальчику. Смешно, ей-богу! — Харленд слабо засмеялся; он чувствовал, как страшная темнота подкрадывается к нему сзади.

Он обхватил руками колени и напряг все мускулы.

— Видите ли, Фельзиус, дело в том... В данный момент я нахожусь в довольно-таки затруднительном финансовом положении... Вы знаете, это бывает.

Фельзиус смотрел прямо перед собой на стол.

— У всех нас бывают полосы неудачи, верно? Я хочу занять у вас очень маленькую сумму на несколько дней, всего несколько долларов — ну, скажем, двадцать пять — для некоторых комбинаций...

— Мистер Харленд, я не могу.— Фельзиус встал.— Я очень огорчен, но принцип остается принципом. Я всю жизнь не брал и не давал в долг ни одного цента. Я уверен, что вы поймете.

— Хорошо, не говорите больше ни слова.— Харленд с трудом встал на ноги.— Дайте мне четвертак... Я не так уже молод и не ел два дня,— пробормотал он, глядя на свои рваные башмаки; он уперся рукой в стол, чтобы не упасть.

Фельзиус откинулся на спинку кресла, словно защищаясь от удара. Он протянул толстыми, дрожащими пальцами пятидесятицентовую монету. Харленд взял ее, повернулся, не говоря ни слова, и, пошатываясь, прошел лавкой на улицу. Фельзиус вынул из кармана платок с лиловой каймой, отер лоб и опять углубился в свои письма:

«Мы позволяем себе обратить ваше внимание на наш новый фабрикат Mullen superfine[1], который мы самым горячим образом можем рекомендовать нашим клиентам как новое, несравненное достижение писчебумажной промышленности...»

[1] Высококачественный Муллен (*англ.*).

Они вышли из кино, щурясь от ярких лучей электрического света. Касси смотрела, как он, расставив ноги, скосив глаза, закуривал сигару. Мак-Эвой был коренастый человек с бычьей шеей, в пиджаке на одну пуговицу и клетчатом жилете; в галстуке у него торчала булавка с собачьей головой.

— Гнусная картина,— проворчал он.

— А мне нвавятся кавтины, изобвавающие путешествия, Мовис. Эти танцующие швейцавские квестьяне... Мне казалось, что я в Швейцавии.

— Жара чертовская! Хорошо бы выпить.

— Мовис, ты обещал...— заныла она.

— Я говорю — выпить содовой воды. Пожалуйста, не нервничай.

— Ах, это замечательно! Я тоже очень люблю содовую.

— А потом пойдем в парк.

Она опустила ресницы.

— Ховошо, Мовис,— прошептала она, не глядя на него; слегка вздрагивая, она взяла его под руку.

— Если бы я не был нищим...

— Мне все вавно, Мовис.

— А мне нет.

На площади Колумба они зашли в аптекарский магазин; девушки в зеленых, лиловых, розовых летних платьях и молодые люди в соломенных шляпах стояли в три ряда у стойки с содовой водой. Она остановилась поодаль, с восхищением следя, как он пробивал себе дорогу. Позади нее, склонившись над столиком, разговаривали мужчина и женщина; их лица были скрыты полями шляп.

— Так я ему и сказал и тут же ушел.

— То есть он тебя выгнал?

— Нет, честное слово! Я сам ушел прежде, чем он успел меня выгнать. Он прохвост. Не желаю я больше терпеть его издевательства. Когда я выходил из его кабинета, он окликнул меня... «Молодой, говорит, человек, позвольте вам кое-что сказать. Из вас ничего не выйдет, пока вы не поймете, что не вы хозяин в этом городе».

Моррис протягивал ей содовую с малиновым мороженым.

— Опять замечталась, Касси.

Улыбаясь, играя глазами, она взяла мороженое; он пил кока-колу.

— Спасибо,— сказала она; пухлыми губами она обсасывала ложку с мороженым.— О, Мовис, это восхитительно!

Аллея между круглыми пятнами дуговых фонарей была погружена во мрак. Из-за косых полос света и притаившихся теней пахло пыльными листьями, истоптанной травой, изредка — прохладным благоуханием сырой земли под земляникой.

— Я люблю гулять в павке! — пропела Касси; она подавила отрыжку.— Знаешь, Мовис, я не должна была есть мовоженое. У меня от него постоянно отвыжка.

Моррис ничего не сказал. Он обнял ее и так крепко прижал к себе, что его бедро терлось о ее бедро во время ходьбы.

— Вот Пирпонт Морган умер...* Ну что бы ему было оставить мне два-три миллиона!

— Ах, Мовис, это было бы замечательно! Где бы мы тогда жили? У Центвального павка?

Они остановились и оглянулись на сверкание электрических реклам на площади Колумба. Налево в окнах белого дома сквозь занавески пробивался свет. Он украдкой оглянулся налево и направо, потом поцеловал ее. Она отвела губы.

— Не надо... Кто-нибудь может увидеть,— шепнула она, задыхаясь; внутри нее что-то жужжало, жужжало, как динамо.— Мовис, я до сих пор сквывала от тебя... Я думаю, что Голдвейзев даст мне самостоятельный номев в следующей постановке. Он вежиссев и имеет большое влияние. Он видел вчева, как я танцую.

— Что он сказал?

— Он сказал, что уствоит мне в понедельник свидание с хозяином... Но, Мовис, это не то, что мне хочется делать. Это так вульгавно, так увасно!.. А я мечтаю о квасоте. Я чувствую, что во мне что-то есть, что во мне что-то повхает и поет, как квасивая птичка в увасной велезной клетке.

— Вот в этом все твое несчастье. Ты никогда не будешь хорошо работать — ты слишком театральна.

Она взглянула на него влажными глазами, блестевшими в белом, мучнистом свете дугового фонаря.

— Только не плачь, ради Бога! Я ничего такого не хотел сказать.

— Я с тобой не театвальничаю, Мовис.— Она потянула носом и вытерла глаза.

— Ты славная девочка, вот что обидно. Я хочу, чтоб моя девочка любила меня, чуточку приласкала бы. Эх, Касси, жизнь — это не одни только удовольствия.

Они пошли дальше, тесно прижавшись друг к другу; они почувствовали под ногами камень. Они стояли на невысоком гранитном холме, обросшем кустами. Огни зданий, возвышавшихся в конце парка, горели им прямо в лицо. Они отстранились друг от друга, держась за руки.

— Возьми ту рыжеволосую со Сто пятой улицы... держу пари, что она не будет театральничать, когда останется одна с парнем.

— Она увасная женщина, ей все равно, с кем путаться! О, ты увасный человек...— Она опять начала плакать.

Он грубо дернул ее к себе, крепко прижал к себе, положив ей твердую руку на спину. Она почувствовала, как у нее дрожат и слабеют ноги. Она падала в цветные бездны обморока. Его рот не давал ей вздохнуть.

— Подожди,— шепнул он, отстраняясь от нее.

Они неверной походкой пошли дальше по тропинке между кустами.

— Нет, кажется, ничего...

— А что такое, Мовис?

— Фараон... Вот черт, негде приткнуться! Нельзя ли пойти к тебе?

— Мовис, нас там все увидят.

— Что ж с того? Там все этим занимаются.

— О, я ненавижу тебя, когда ты так говоришь!.. Настоящая любовь должна быть чистой... Мовис, ты меня не любишь...

— Оставь меня хоть на одну минуту в покое, Касси... Какая мерзость — не иметь денег!

Они сели на скамейку под фонарем. За их спиной двумя беспрерывными потоками по гладкой дороге, жужжа, проносились автомобили. Она положила руку на его колено, и он покрыл ее своей большой, жесткой ладонью.

— Мовис, я чувствую, что мы будем счастливы, я чувствую! Ты получишь ховошее место. Я увевена, что ты его получишь.

— А я не уверен... Я не так уже молод, Касси. Мне нельзя терять время.

— Почему? Ты еще очень молод, тебе только твидцать пять лет, Мовис. И я думаю, что случится чудо... Мне дадут возможность танцевать.

— Тебе надо переплюнуть рыжеволосую.

— Элайн Оглтовп? Она не так уж ховоша. Я не похова на нее. Меня не интевесуют деньги. Я живу вади танцев.

— А я — ради денег. Когда у тебя есть деньги, ты можешь жить так, как тебе нравится.

— Мовис, вазве ты не вевишь, что мовно добиться всего, если очень сильно захотеть? Я вевю.

Он обвил свободной рукой ее талию. Она постепенно склонила голову на его плечо.

— Все вавно,— прошептала она пересохшими губами.

За ними лимузины и гоночные машины неслись по дороге, сверкая огнями, двумя ровными, беспрерывными потоками.

Коричневое саржевое платье, которое она складывала, пахло нафталином. Она нагнулась, чтобы положить платье в чемодан; она стала разглаживать рукой шелковую бумагу на дне — бумага зашуршала. Первые фиолетовые лучи рассвета проникали в окно, электрическая груша багровела, как бессонный глаз. Эллен внезапно выпрямилась и стояла, окаменев, опустив руки; лицо ее покрылось румянцем.

— Это подло,— сказала она.

Она покрыла уложенные платья полотенцем и начала бросать в чемодан щетки, ручное зеркало, туфли, рубашки, коробки пудры. Потом захлопнула крышку чемодана, заперла его и положила ключ в плоскую сумочку из крокодиловой кожи. Она стояла, растерянно глядя вокруг себя, покусывая сломанный ноготь. Косые желтые лучи солнца заливали трубы и карнизы дома напротив. Она пристально смотрела на белые буквы «Э. Т. О.» на крышке чемодана.

— Отвратительно, гнусно, подло,— повторила она.

Потом схватила с письменного стола пилочку для ногтей и соскоблила «О» с крышки чемодана.

— Фу,— прошептала она и щелкнула пальцами.

Надев маленькую черную шляпку с вуалью, чтобы скрыть следы слез, она сложила стопку книг — «Так говорил Заратустра»*, «Золотой осел»*, «Воображаемые беседы»*, «Песни Билитис»*, «Афродиту»*, «Избранную французскую лирику» — в шелковую шаль и туго завязала ее.

В дверь слегка постучали.

— Кто там? — прошептала она.

— Это я! — раздался плачущий голос.

Эллен открыла дверь.

— Что случилось, Касси?

Касси уткнулась мокрым лицом в плечо Эллен.

— Касси, вы мнете мне вуаль. Что с вами случилось?

— Я всю ночь думала, как вы долвны быть несчастны.

— Но, Касси, я никогда в жизни не была так счастлива!

— Как увасны мувчины!

— Нет... Они все же гораздо лучше женщин.

— Элайн, мне надо кое-что сказать вам. Я знаю, что я вам совевшенно безвазлична, но я все-таки скажу.

— Вы мне вовсе не безразличны; не будьте дурочкой... Но я теперь занята. Идите, ложитесь обратно в постель, потом вы мне все расскажете.

— Я долвна вам рассказать сейчас ве!

Эллен покорно села на чемодан.

— Элайн, я разошлась с Мовисом... Не правда ли, это увасно? — Касси вытерла глаза рукавом светло-зеленой ночной рубашки и села рядом с Эллен на чемодан.

— Послушайте, дорогая,— мягко сказала Эллен,— подождите одну секунду, пока я вызову такси. Я хочу уехать, прежде чем встанет Джоджо. Меня тошнит от сцен.

В передней удушливо пахло сном и кольдкремом. Эллен очень тихо заговорила в трубку. Грубый мужской голос из гаража звучал в ее ушах, как музыка.

— Очень хорошо, мисс, сейчас пошлем.

Она на цыпочках вернулась в комнату и закрыла дверь.

— Я думала, что он любит меня... Пваво, я думала это, Элайн. О, мувчины — это такой увас! Мовис вассевдился, почему я не хочу жить с ним, а я думала, что это будет неховошо. Вади него я готова ваботать квуглые сутки, он это знает. И вазве я не делала этого в течение двух лет? А он сказал, что должен иметь по-настоящему; вы понимаете, что ѳн под этим подвазумевает? А я сказала: наша любовь так квасива, что мовет длиться годы. Я могу любить его всю визнь, даже не целуя его. Любовь долвна быть чистой, не пвавда ли? А он смеялся над моими танцами и гововил, что я была любовницей Чэлифа и что я его дувачу, и мы увасно поссовились, и он осыпал меня увасной бванью и ушел, сказав, что больше не вевнется.

— Не беспокойтесь, Касси, вернется.

— Элайн, вы такая матевиалистка! Я считаю, что в смысле духовном наш союз повван навсегда. Неувели вы не понимаете? Между нами была такая квасивая, небесная, духовная связь и вот... она поввалась...— Она опять начала всхлипывать, прижимаясь лицом к плечу Эллен.

— Касси, я не понимаю, какой же выход из всего этого?

— Ах, вы не понимаете! Вы слишком молоды. Я раньше была такая же, как вы, с той только разницей, что не была замужем и не путалась с мужчинами. Но теперь я хочу духовной красоты... Я хочу, чтобы красота была в моих танцах и в моей жизни. Я всюду ищу красоту. Я думала, что Мовису она тоже нужна.

— Как видно, Моррис ее и искал.

— О, Элайн, вы увасны, но я так люблю вас!

Элайн встала.

— Я пойду вниз, чтобы шофер такси не звонил.

— Но вы не можете так уйти!

— Подождите меня.— Эллен взяла связку книг в одну руку, черный кожаный чемодан — в другую.— Касси, дорогая, будьте так добры, отдайте ему сундук, когда он придет за ним. И еще: если позвонит Стэн Эмери, скажите ему, чтобы он пришел в «Бревурт»* или «Лафайет». Хорошо, что я не положила денег в банк на прошлой неделе. Касси, если вы найдете какие-нибудь вещи или мелочи, принадлежащие мне, то спрячьте их... До свиданья.— Она подняла вуаль и быстро поцеловала Касси в щеку.

— О, какая вы хвабвая!.. Вы уезжаете совсем одна. Можно будет мне и Вут пвийти к вам? Мы так любили вас... Элайн, вам предстоит блестящая кавьева, я в этом увевена.

— Обещайте не говорить Джоджо, где я. Он и так скоро узнает. Я позвоню через неделю.

Она столкнулась в вестибюле с шофером, читавшим доску с фамилиями. Он пошел за ее сундуком. Счастливая, она уселась на пыльное сиденье такси, жадно вдыхая утренний, пахнущий рекой воздух. Шофер широко улыбнулся ей, спуская сундук со спины на подножку автомобиля.

— Тяжеловат, мисс.

— Мне стыдно, что вам пришлось тащить его одному.

— Ну, я таскаю вещи потяжелее, чем этот сундук.

— Мне надо в «Бревурт-отель», Пятая авеню, не доезжая Восьмой улицы.

Он нагнулся, чтобы завести машину; он отодвинул шапку на затылок, и рыжеватые кудри упали ему на глаза.

— Пожалуйста, куда вам будет угодно,— сказал он, садясь на свое место в гудящий автомобиль.

Когда они свернули на пустой, солнечный Бродвей, радостное чувство начало шипеть и лопаться ракетами в ее груди. Свежий, трепетный воздух ударял ей в лицо. Шофер, обернувшись, сказал в открытое окно:

— Я думал, вы хотите поспеть на поезд, чтобы уехать куда-нибудь, мисс.

— Да, я уезжаю... куда-нибудь.

— Удачный день для отъезда.

— Я ушла от мужа.— Слова вырвались у нее, прежде чем она успела удержать их.

— Он выгнал вас?

— Вот уж нет! — смеясь, сказала она.

— А меня три недели тому назад прогнала жена.

— Как это случилось?

— Заперла дверь, когда я однажды ночью пришел домой, и не хотела меня впустить. Она переменила замок, пока я был на работе.

— Вот смешно.

— Она говорит, что я слишком часто напиваюсь. Я больше не вернусь к ней и не буду давать ей денег. Она доведет меня до каторги, если захочет. Хватит с меня! Я снял квартиру на Двадцать второй авеню вместе с одним парнем. Мы заведем пианино и будем жить припеваючи.

— Неважная штука брак, правда?

— Верно! Пока идешь к нему, все замечательно, а как женишься — на следующее же утро отплевываешься.

Ветер подметал Пятую авеню, пустую и белую. Деревья на Мэдисон-сквер были неожиданно ярки и зелены, как папоротник в тусклой комнате. В «Бревурт-отеле» заспанный ночной портье взял ее багаж. В низкой белой комнате солнечный свет дремал на выцветшем красном кресле. Эллен, как маленький ребенок, бегала по комнате, хлопая в ладоши и брыкаясь. Надув губы и закинув голову, она расставляла свои туалетные принадлежности на бюро. Потом повесила желтую ночную рубашку на стул и начала раздеваться. Случайно увидев себя в зеркале, она подошла к нему нагая и стала разглядывать себя, положив руки на твердые, маленькие, как два яблока, груди.

Она надела ночную рубашку и подошла к телефону.

— Пошлите, пожалуйста, чашку шоколада и булочки в номер сто восемь... как можно скорее...

Потом она легла в кровать. Она лежала, смеясь, вытянув ноги на холодных, скользких простынях. Шпильки кололи ей голову. Она села, вытащила их и распустила тяжелые кольца волос по плечам. Прижав подбородок к коленям, она сидела в раздумье. С улицы по временам слышался грохот грузовиков. В кухне под ее комнатой

начали стучать посудой. Со всех сторон доносился шум пробуждавшейся жизни. Ей захотелось есть, и она почувствовала себя одинокой. Кровать казалась ей плотом, на котором она, покинутая, одинокая, навсегда одинокая, плыла по бурному океану. По ее спине пробежала дрожь. Она крепче прижала колени к подбородку.

III. ЧУДО ДЕВЯТИ ДНЕЙ

Солнце движется к Джерси, солнце — за Хобокеном.

Стучат крышки пишущих машинок, опускаются шторы американских столов, подъемные машины поднимаются пустыми, спускаются набитыми. Отлив в нижней части города, прилив на Флэтбуш, Вудлаун, Дикмэн-стрит, Нью-Лотс-авеню и Кэнерси*.

Розовые листки, зеленые листки, серые листки. ПОДРОБНЫЙ БИРЖЕВОЙ ОТЧЕТ. Строчки прыгают перед лицами, изношенными в лавках, изношенными в конторах, пальцы болят, ноги ноют, плечистые мужчины втискиваются в вагоны подземной железной дороги. 8 СЕНАТОРОВ, 2 ВЕЛИКАНА, ЗНАМЕНИТАЯ ДИВА НАШЛА ПОТЕРЯННОЕ ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ. ОГРАБЛЕНИЕ НА 600 000 ДОЛЛАРОВ.

Отлив на Уолл-стрит, прилив в Бронксе.

Солнце падает за Джерси.

— Черт побери! — закричал Фил Сэндборн, ударив кулаком по столу.— Я не согласен. Нравственная физиономия человека никого не касается. Нужно считаться только с его работой.

— Ну и...

— Ну и вот, я думаю, что Стэнфорд Уайт* сделал для Нью-Йорка больше, чем кто бы то ни было. До него никто понятия не имел об архитектуре... А этот мерзавец Тау хладнокровно застрелил его и ушел восвояси. Ей-богу, если бы у здешних жителей была хоть капля рассудка, они бы...

— Фил, вы волнуетесь по пустякам.— Его собеседник вынул изо рта сигару, откинулся на спинку вращающегося стула и зевнул.— Черт, скорее бы получить отпуск! Как было бы хорошо снова побывать в лесу.

— А адвокаты-евреи, а судьи-ирландцы...— закипятился Фил.

— Ох, заткнись, старик!

— Вы, можно сказать, идеальный образец гражданина и общественника, Хартли.

Хартли рассмеялся и потер ладонью лысую голову.

— Все эти разговоры хороши зимой, но летом я их слышать не могу. Черт побери, ведь я же только и живу ради трехнедельного отпуска. Пусть все архитекторы Нью-Йорка провалятся в преисподнюю — лишь бы от этого не вздорожал билет до Нью-Рочел...* Пойдем-ка лучше позавтракаем.

Стоя в лифте, Фил снова заговорил:

— Я знал только еще одного человека, который был настоящим, прирожденным архитектором. Это был старик Спеккер, у которого я работал, когда впервые приехал на север. Чудесный старый датчанин! Бедняга умер от рака два года тому назад. Вот это был архитектор! У меня есть целая папка его планов и чертежей здания, которое он называл Коммунальным домом. Семьдесят пять этажей, расположенных террасами, с висячими садами в каждом этаже, с отелями, театрами, турецкими банями, бассейнами для плавания, конторами, оранжереями, холодильниками, рыночной площадью — все в одном здании.

— Он нюхал кокаин?

— Ничего подобного.

Они шли по Тридцать четвертой улице. Был душный полдень, и народу на улице было мало.

— Черт возьми! — разразился вдруг Фил Сэндборн.— Девушки в этом городе становятся красивее с каждым годом.

— Вам нравится новая мода?

— Да. Было бы неплохо, если бы мы становились с каждым годом моложе, вместо того чтобы стариться.

— Да, единственное, что нам, старикам, остается,— это смотреть на них.

— И в этом наше спасение. Иначе наши жены бегали бы за нами с собаками-ищейками... Эх, если подумать о всех упущенных возможностях...

Когда они переходили Пятую авеню, Фил увидел девушку в такси. Из-под черных полей маленькой шляпки с красной кокардой два серых глаза, встретясь с его глазами, блеснули черно-зеленым блеском. Он затаил дыхание. Уличный гул умирал где-то вдали. Она не отводит глаз. Сделать два шага, открыть дверцу и сесть рядом с ней,— рядом с ней, стройной, как птичка. Шофер гонит, как осатанелый. Ее губы тянутся к нему, ее глаза, как плененные серые птички.

— Эй, берегись!..

Тяжелый железный грохот обрушивается на него сзади. Пятая авеню кружится красными, синими, лиловыми спиралями. «О Господи!»

— Ничего, ничего, оставьте меня, я через минуту сам встану.

— Сюда, сюда! Несите его сюда. Посторонитесь!

Крикливые голоса, синие колонны полисменов. Его спина, ноги — теплые, резиновые от крови. Пятая авеню содрогается от растущей боли. Маленький колокольчик звенит все ближе, ближе. Когда его поднимают в автомобиль скорой помощи, Пятая авеню хрипит в агонии и лопается. Он выгибает шею, чтобы увидеть ее, слабый, как черепаха, опрокидывается на спину. «Мои глаза приковали ее...» Он слышит свой стон. «Она могла бы остановиться, посмотреть, убит ли я». Маленький колокольчик звенит все тише, тише — в ночь.

Тревожные звонки на улице не переставали трещать. Сон Джимми нанизывался на них, как бусины на тесемку. Стук разбудил его. Он сел на кровати и увидел Стэна Эмери. Лицо Стэна было серо от пыли, руки засунуты в карманы красной кожаной куртки. Он стоял в ногах кровати, смеясь, раскачиваясь взад и вперед, с каблуков на носки.

— Который теперь час?

Джимми сидел на кровати и тер глаза кулаками. Он зевнул и недовольно посмотрел на мертвые, бутылочного цвета обои, на щель зеленого ставня, пропускавшую длинный луч солнечного света, на мраморную каминную доску, на которой стояла эмалированная, разрисованная пышными розами тарелка, на потрепанный синий халат в ногах кровати, на раздавленные окурки папирос в лиловой стеклянной пепельнице.

Лицо Стэна было красным и коричневым. Оно смеялось под меловой маской пыли.

— Половина двенадцатого,— сказал он.

— Предположим, что сейчас половина седьмого. Так будет хорошо... Стэн, какого черта ты тут делаешь?

— Нет ли у тебя чего-нибудь выпить, Херф? Нам с «Динго» ужасно хочется пить. Мы за всю дорогу из Бостона сделали только одну остановку — пили воду и бензин. Я два дня не ложился. Интересно, могу ли я продержаться так неделю?

— Черт возьми, я хотел бы провести неделю в кровати!

— Тебе нужно работать в газете, Херф. Тогда ты будешь чувствовать себя занятым человеком.

— Что с тобой только будет, Стэн? — Джимми извернулся и спустил ноги с кровати.— В одно прекрасное утро ты проснешься на мраморном столе в морге.

Ванная комната пахла зубной пастой и карболкой. Половик был мокрый, и Джимми сложил его вчетверо, прежде чем скинуть ночные туфли. Холодная вода взбудоражила его кровь. Он подставил голову под душ, выскочил и стал отряхиваться, как собака. Вода стекала ему в глаза и уши. Он надел халат и намылил лицо.

Теки, река, теки,
Вливайся в море,—

пел он фальшиво, скребя подбородок безопасной бритвой. «Мистер Гровер, боюсь, что на той неделе мне придется отказаться от работы у вас. Да, я уезжаю за границу. Заграничным корреспондентом. В Мексику. Нет, скорее всего в Иерихон*, корреспондентом «Болотной черепахи».

Было празднество в гареме,
И все евнухи плясали...

Он смазал лицо глицерином, завязал туалетные принадлежности в мокрое полотенце, проворно побежал по покрытой зеленым ковром, пахнущей капустой лестнице вниз и через переднюю в свою спальню. По дороге он встретил толстую квартирную хозяйку в чепце, чистившую ковер. Хозяйка подняла голову и бросила ледяной взгляд на его худые голые ноги, выглядывавшие из-под синего халата,

— Доброе утро, миссис Меджинис.

— Сегодня будет жарко, мистер Херф.

— Да, кажется.

Стэн лежал на кровати и читал «Восстание ангелов»*.

— Черт возьми, я бы хотел знать несколько языков, как ты, Херфи.

— Французский я уже забыл. Я забываю языки еще скорее, чем выучиваю их.

— Кстати, меня выгнали из колледжа.

— Как так?

— Декан сказал, что лучше не возвращаться на будущий год. Он полагает, что есть другие поприща, где мои

способности могут быть использованы гораздо лучше. Ты ведь его знаешь.

— Стыд и срам!

— Ничего подобного! Я страшно рад. Я только спросил его, почему же он не выгнал меня раньше, если он был обо мне такого мнения. Отец будет адски злиться. Но у меня хватит денег еще на неделю, чтобы не возвращаться домой. Ну, так как же, есть у тебя выпивка?

— Эх, Стэн, может ли такой жалкий раб, как я, получающий тридцать долларов в неделю, иметь собственный винный погреб?

— Паршивая у тебя, в общем, комната... Ты должен был бы родиться капиталистом, как я.

— Не так уж она плоха... А вот что меня действительно раздражает, так это сумасшедшие тревожные звонки на той стороне улицы... Всю ночь...

— Грабителей ловят, должно быть.

— Какие грабители! Там никто не живет. Провода соединились, или что-нибудь в этом роде. Не помню, когда они перестали звонить, но когда я ложился спать, я злился ужасно.

— Джеймс Херф, уж не хотите ли вы уверить меня, что вы ежедневно возвращаетесь домой трезвым?

— Надо быть глухим, чтобы не слышать этого проклятого звона, независимо от того, пьян ты или трезв.

— Ладно. В качестве паука-капиталиста приглашаю тебя позавтракать со мной. Известно ли тебе, что ты возился со своим туалетом ровным счетом час?

Они спустились по лестнице, пахнувшей сначала мыльным порошком, потом порошком для чистки меди, потом свиным салом, потом паленными волосами, потом помоями и светильным газом.

— Ты чертовски счастлив, Херфи, что никогда не был в колледже.

— Да ведь я окончил Колумбию, дурак ты эдакий! Ты бы не мог.

Колючий солнечный свет ударил Джимми в лицо, когда он открыл дверь.

— Это не считается.

— Боже, как я люблю солнце! — воскликнул Джимми.— Я бы хотел жить в Колумбии.

— В университете?

— Нет, в настоящей, в той, где Богота, и Ориноко, и прочие штуки.

— Я знал одного чудесного парня, который уехал в Боготу. Он допился до смерти, чтобы избежать смерти от слоновой болезни.

— Все что хочешь... Пускай слоновая болезнь, пускай бубонная чума, желтая лихорадка — лишь бы вырваться из этой дыры!

— Город оргий, радости и наслаждений.

— Какие к черту оргии!.. Понимаешь ли ты, я прожил всю свою жизнь в этом проклятом городе, за исключением четырех лет, когда был маленьким. Я родился здесь и, наверно, здесь умру. Мне бы хотелось поступить во флот и повидать свет.

— Как тебе нравится «Динго»? Он заново выкрашен.

— Он шикарен. Когда запылится, будет похож на настоящий «мерседес».

— Я хотел выкрасить его в красный цвет, как пожарную машину, но шофер настоял на синем, полицейском... Как ты насчет того, чтобы пойти к Мукену выпить абсента?

— Абсент на завтрак? Господи!

Они поехали по Тридцать третьей улице, сверкавшей отраженным блеском окон, световыми квадратами грузовых фургонов, вспыхивающими восьмерками никелевых автомобильных частей.

— Как поживает Рут, Джимми?

— Хорошо, но она еще не получила места.

— Посмотри — «даймлер»!

Джимми буркнул что-то неопределенное. Когда они завернули на Шестую авеню, их остановил полисмен.

— Что у вас с глушителем? — заорал он.

— Я еду в гараж, чтобы подправить его. Он сломан.

— Надо следить... В следующий раз заплатите штраф.

— Ты всегда выходишь победителем, Стэн,— сказал Джимми.— А я никогда, хоть и на три года старше тебя.

— Это особый дар.

В ресторане весело пахло жареным картофелем, сигарами и коктейлем. Душная комната была полна говорящих, потных лиц.

— Стэн, почему ты так романтически вращаешь глазами, когда спрашиваешь про Рут? Мы с ней только друзья.

— Право, я ничего плохого не думал... И все же мне очень больно слышать это. По-моему, это ужасно.

— Рут не интересуется ничем, кроме сцены. Она прямо помешана на том, чтобы добиться успеха. Ей плевать на все остальное.

— Почему это, черт возьми, все жаждут успеха? Я хотел бы встретить кого-нибудь, кто мечтал бы о провале. Провал — единственная прекрасная вещь.

— Да, если у тебя есть средства.

— Все это чепуха... Ах, хорош коктейль! Херфи, я думаю, ты — единственный умный человек в этом городе. У тебя нет честолюбия.

— Почему ты знаешь, что нет?

— Ну, что ты будешь делать с успехом, когда достигнешь его? Ты не можешь ни съесть его, ни выпить. Конечно, я понимаю, что люди, у которых нет средств к существованию, должны выкручиваться, карабкаться. Но успех...

— Мое несчастье в том, что я никак не могу решить, чего я больше всего хочу. Поэтому я все время беспомощно топчусь на месте.

— Но Бог все решил за тебя. Ты это знаешь, но не хочешь себе признаться.

— Я знаю одно: больше всего я хочу выбраться из этого города, предварительно подложив бомбу под какой-нибудь небоскреб.

— Почему же ты этого не сделаешь? Это только следующий шаг.

— Но ведь надо знать, в каком направлении идти.

— Это уже не важно и не имеет значения.

— А потом — деньги...

— Ну, добыть деньги — это легче всего.

— Для старшего сына фирмы «Эмери и Эмери».

— Херф, нехорошо упрекать меня за грехи отца. Ты знаешь, что я не меньше тебя ненавижу всю эту банду.

— Я не обвиняю тебя, Стэн: Ты только чертовски счастливый малый, вот и все. Конечно, я тоже счастлив, счастливей многих. Оставленные моей матерью деньги поддерживали меня до двадцати двух лет. И у меня еще есть несколько сот долларов, отложенных на пресловутый черный день. А мой дядя — будь он проклят! — выискивает мне новую службу каждый раз, когда меня выгоняют.

— Бэ-бэ, черный барашек!

— Я положительно боюсь своих дядей и теток. Ты бы поглядел на моего кузена Джеймса Меривейла! Всю свою жизнь он делает только то, что ему приказывают. И процветает, как зеленое деревцо... Идеальный образец библейской мудрой девы.

— А как ты думаешь — хорошо жить с неразумной девой?

— Стэн, ты уже пьян. Ты начинаешь молоть чушь.

— Бэ-бэ! — Стэн положил салфетку и откинулся назад, смеясь горловым смехом.

Тошный, колючий запах абсента рос из стакана Джимми, как магический розовый куст. Он вдохнул его и поморщился.

— В качестве моралиста я протестую,— сказал он.— Удивительно все это...

— Мне бы сейчас виски с содовой — залить коктейль!

— Я буду следить за тобой. Ведь я — рабочий человек. Я должен уметь отличать неинтересные новости от интересных новостей... Черт! Не желаю я заводить об этом разговор... Как все это преступно глупо... Этот коктейль прямо-таки валит с ног.

— Пожалуйста, пей... И не думай, что я позволю тебе сегодня заниматься чем-нибудь другим. Я хочу тебя кое с кем познакомить.

— А я собирался честно сесть за стол и написать статью.

— О чем?

— Так, чепуха... «Исповедь репортера».

— Слушай, сегодня четверг?

— Да.

— Ага, тогда я знаю, где она.

— Скоро я все брошу,— мрачно сказал Джимми.— Поеду в Мексику и разбогатею. Я теряю лучшую часть моей жизни, прозябая в Нью-Йорке.

— Каким образом ты разбогатеешь?

— Нефть, золото, разбой, все что угодно — только не газета.

— Бэ-бэ, черная овечка, бэ-бэ!

— Перестань, пожалуйста, блеять.

— Ну, к черту отсюда. Завезем «Динго» в гараж и починим ему глушитель.

Джимми стоял в воротах грязного гаража. Пыльное полуденное солнце копошилось яркими червями зноя на его лице и руках. Коричневые камни, красные кирпичи, асфальт, испещренный красными и зелеными буквами реклам, обрывки бумаги в водосточной канаве — все кружилось перед ним в медленном тумане. Два шофера разговаривали за его спиной:

— Понимаешь, я хорошо зарабатывал, пока не связался с этой паршивой бабой.

— А по-моему, она ничего, Чарли... И вообще после первой недели это уже безразлично.

Стэн вышел из гаража и повел его по улице, обняв за плечи.

— Будет готово не раньше пяти часов. Возьмем такси... Отель «Лафайет!» — крикнул он шоферу и хлопнул Джимми по колену.— Ну-с, Херфи, старое ископаемое, знаешь, что сказал губернатор Северной Каролины губернатору Южной Каролины?

— Нет.

— «Как долго длятся промежутки между выпивками!»

— Бэ-бэ,— блеял Стэн, когда они ворвались в кафе.— Элли, я привел барашка! — крикнул он смеясь.

Внезапно его лицо окаменело. За столом напротив Эллен сидел ее муж, очень высоко подняв бровь и опустив другую на самые ресницы. Между ними бесстыдно стоял чайник.

— Хелло, Стэн, присаживайтесь,— спокойно сказала она; затем продолжала, улыбаясь Оглторпу: — Не правда ли, это чудесно, Джоджо?

— Элли, разрешите вас познакомить с мистером Херфом.— сказал Стэн утрюмо.

— Очень приятно. Я часто слышала о вас у миссис Сондерленд.

Все сидели молча. Оглторп постукивал по столу ложечкой.

— Как вы поживаете, мистер Херф? — спросил он с внезапной любезностью.— Разве вы не помните — мы с вами встречались.

— Кстати, как обстоят дела дома, Джоджо?

— Ничего, понемножку. Кассандру покинул ее друг сердца, и по этому поводу произошел невероятный скандал. На следующий вечер она вернулась домой пьяная в стельку и пыталась зазвать к себе шофера. Бедный парень всячески протестовал и заявлял, что ему нужна только плата за проезд. Это было что-то потрясающее!

Стэн медленно поднялся и вышел. Трое остальных сидели молча. Джимми старался не ерзать на стуле. Он собирался встать, но что-то бархатисто-мягкое в ее глазах удержало его.

— Рут нашла работу, мистер Херф?

— Нет, не нашла.

— Вот уж не везет ей!

— Это прямо безобразие. Я знаю, что она умеет играть. Но несчастье в том, что у нее слишком сильное

чувство юмора, чтобы подыгрываться к антрепренерам и к публике.

— Сцена — гнуснейшее ремесло. Правда, Джоджо?

— Наигнуснейшее, дорогая.

Джимми не мог оторвать глаз от нее, от ее маленьких прекрасных рук, от ее словно изваянной шеи, от золотистого пушка на затылке, между рыжеватыми кольцами волос и воротником ярко-синего платья.

— Ну, дорогая...— Огторп поднялся.

— Джоджо, я посижу здесь еще немного.

Джимми смотрел на маленькие треугольники лака, выглядывавшие из-за розовых гетр Огторпа. Неужели в них могут поместиться ноги? Он стремительно встал.

— Мистер Херф, посидите со мной еще четверть часа. Я останусь здесь до шести часов. Я забыла взять с собой книгу и не могу ходить в этих туфлях.

Джимми вспыхнул, опустился на стул и пробормотал:

— О, конечно... я с восторгом... Может быть, выпьем чего-нибудь?

— Я допью чай. А почему вы не возьмете себе джина с содовой? Я люблю смотреть, как пьют джин с содовой. Мне тогда кажется, что я сижу в какой-то тропической роще и жду челнока, который повезет меня по какой-нибудь смешной, мелодраматической реке мимо малярийных деревьев.

— Человек, дайте джину с содовой.

Джо Харленд клонился со стула до тех пор, пока его голова не упала на руки. Его глаза тупо смотрели сквозь грязные, окостенелые пальцы на узоры мраморного стола. Грязная закусочная безмолвствовала в скудном свете двух лампочек, висевших над стойкой, где под стеклянными колпаками лежало несколько пирожков и человек в белой куртке клевал носом, сидя на высоком табурете. Время от времени его глаза на сером, одутловатом лице широко раскрывались; он сопел и осматривался. За дальним столом горбились плечи спящих; лица, скомканные, как старая газета, покоились на локтях. Джо Харленд зевнул и потянулся. Толстая женщина в дождевике, с красными и лиловыми полосами на лице, похожем на кусок тухлого мяса, спрашивала кофе у стойки. Осторожно придерживая двумя руками кружку, она донесла ее до стола и села напротив Харленда. Он снова уронил голову на руки.

— А подавать вы не хотите? — Голос женщины царапал уши Харленду, как скрип мела по доске.

— Что вам надо? — проворчал человек за стойкой.

Женщина начала всхлипывать:

— Он спрашивает меня, что мне надо!.. Я не привыкла, чтобы со мной так грубо разговаривали.

— Если вам что-нибудь нужно, подходите и берите сами. Никто не станет подавать вам ночью.

Харленд почувствовал запах виски, когда женщина заплакала. Он поднял голову и уставился на нее. Она скривила вялый рот в улыбку и мотнула головой.

— Мистер, я не привыкла, чтобы со мной обращались грубо. Если бы мой муж был жив, он не потерпел бы этого. Не его это дело решать, нужно ли подавать ночью даме или нет.— Она откинула голову и расхохоталась так, что ее шляпа сползла на затылок.— Сморчок такой, невежа! А вот оскорблять ночью даму он умеет...— Несколько прядей седых волос со следами краски упали ей на лицо.

Человек в белой куртке подошел к столу.

— Послушайте, матушка Мак-Кри, я вас выброшу отсюда, если вы будете безобразничать... Чего вы хотите?

— Орехов на пять центов! — взвизгнула она, искоса глядя на Харленда.

Джо Харленд зарыл голову в сгиб локтя и старался уснуть. Он слышал, как поставили тарелку, слышал беззубое чавканье и всасывающий звук, когда она пила кофе. Вошел новый посетитель и заговорил низким, ворчливым голосом через стойку.

— Мистер, мистер, ведь это ужасно, когда хочется выпить! — Он снова поднял голову и увидел ее глаза цвета мутного, водянистого молока, устремленные на него.— Что вы намерены делать, голубчик?

— Не знаю.

— Дева и пресвятые мученики, хорошо бы иметь мягкую кровать, нарядную ночную кофту и такого славного молодца, как вы, мистер.

— И это все?

— О мистер, если бы мой муж был жив, он не позволил бы так обращаться со мной. Мой муж утонул вчера на «Генерале Слокуме». Мне кажется, что это произошло вчера.

— Ему повезло.

— Но он умер нераскаянным, без священника, голубчик. Это ужасно — умереть нераскаянным.

— К черту! Я хочу спать.

Ее голос доносился к нему слабым, монотонным скрипом, от которого у него ныли зубы.

— Все пресвятые угодники против меня с тех пор, как я потеряла мужа на «Генерале Слокуме». Я не сумела остаться честной женщиной...— Она снова начала всхлипывать.— Дева и пресвятые угодники — все против меня, все, все против меня... Неужели меня никто не приголубит?

— Я хочу спать, заткнитесь!

Она наклонилась и подняла свою шляпу с пола. Она сидела, всхлипывая, растирая глаза распухшими, грязными кулаками.

— О мистер, неужели вы не хотите приголубить меня?

Джо Харленд вскочил, тяжело дыша.

— Будьте вы прокляты! Замолчите! — Его голос перешел в визг.— Неужели нигде нельзя найти хоть капельку покоя? Нигде нет покоя!

Он надвинул кепку на глаза, сунул руки в карманы и поплелся из забегаловки. Над Чатэм-сквер красно-фиолетовое небо просвечивало сквозь стропила воздушной железной дороги. Огни на пустом Баури казались двумя рядами медных пуговиц.

Прошел полисмен, помахивая дубинкой. Джо Харленд почувствовал на себе его взгляд. Он постарался идти быстро, как человек, идущий по делу.

— Итак, мисс Оглторп, как вам это нравится?

— Что именно?

— Вы же знаете... Быть чудом девяти дней.

— Ничего не понимаю, мистер Голдвейзер.

— Женщины все понимают, но никогда в этом не признаются.

На Эллен — шелковое зеленовато-стальное платье. Она сидит в кресле в углу длинной комнаты, гудящей голосами, мерцающей свечами и драгоценностями, пестрящей пятнами черных фраков и серебристыми красками женских платьев. Кривой нос Гарри Голдвейзера переходит прямо в покатый лысый лоб, его большое туловище громоздится на треугольном золоченом табурете, маленькие карие глазки впиваются в ее лицо, точно щупальца, когда он говорит с ней. Женщина, сидящая неподалеку, пахнет сандаловым деревом. Женщина с оранжевыми губами и меловым лицом, в оранжевом тюрбане, ходит, разговаривая с мужчиной с остроконечной бородой.

Женщина с ястребиным носом и красными волосами кладет сзади руку на плечо мужчине.

— Как поживаете, мисс Крюикшенк? Прямо удивительно, как все встречаются в одном и том же месте, в одно и то же время.

Эллен сидит в кресле и сонно слушает, холодок пудры на ее лице и руках, жир краски на ее губах, ее свежевымытое тело — фиалка под шелковым платьем, под шелковым бельем. Она сидит, мечтательно, сонно слушая. Мужские голоса обвивают ее. Она сидит холодная, белая, недосягаемая, как маяк. Мужские руки ползут, точно жуки по твердому стеклу. Мужские взгляды порхают и бьются об него беспомощно, как мотыльки. Но в глубокой, бездонной черноте внутри нее что-то гремит, как пожарная машина.

Джордж Болдуин стоял у накрытого стола с газетой в руках.

— Помни, Сесили,— говорил он,— что мы должны быть благоразумны.

— Разве ты не видишь, что я стараюсь быть благоразумной? — сказала она резким, простуженным голосом.

Он стоял, глядя на нее, не садясь, скатывая уголок газеты большим и указательным пальцами. Миссис Болдуин была высокая женщина с густыми, старательно завитыми каштановыми волосами, собранными в высокую прическу. Она сидела перед серебряным кофейным сервизом, постукивая по сахарнице белыми, как грибки, пальцами с острыми розовыми ногтями.

— Джордж, я не могу больше переносить это! — Она крепко сжала вздрагивающие губы.

— Дорогая, ты преувеличиваешь...

— Преувеличиваю?.. Наша жизнь была сплошным обманом.

— Но, Сесили, мы любили друг друга.

— Ты женился на мне из-за моего общественного положения, ты это сам знаешь... Я была так глупа, что влюбилась в тебя... Очень хорошо! Теперь все кончено.

— Это неправда. Я действительно любил тебя. Разве ты не помнишь, какой ужасной тебе казалась мысль, что ты не сможешь полюбить меня?

— Ты изверг... Ты еще вспоминаешь об этом... Ужас!

Вошла горничная с яичницей и ветчиной на подносе. Они сидели молча, глядя друг на друга. Горничная вы-

шла, прикрыв за собой дверь. Миссис Болдуин положила голову на край стола и заплакала. Болдуин сидел, уставившись на заголовки газеты: «Убийство эрцгерцога чревато тяжелыми последствиями. Мобилизация австрийской армии»*. Он поднялся, подошел к ней и положил руку на ее завитые волосы.

— Бедная Сесили,— сказал он.

— Не трогай меня!

Она выбежала из комнаты, прижав платок к лицу. Он сел за стол и принялся за яичницу с ветчиной; все казалось ему безвкусным как бумага. Он прервал еду, чтобы записать кое-что на листке блокнота (блокнот лежал у него в грудном кармане вместе с платочком): «См. иск Коллинэа к Арбэтноту; Касс. деп.». Шаги и щелканье ключа в прихожей привлекли его внимание. Лифт только что начал опускаться. Он сбежал по лестнице. В стеклянную с чугунной решеткой дверь вестибюля он увидел ее высокий застывший силуэт — она натягивала перчатки. Он выбежал на улицу и взял ее за руку как раз в тот момент, когда подъезжало такси. Пот выступил у него на лбу и потек за воротник. Он представил себе, как он стоит в смешной позе, с салфеткой в руке, а негр-швейцар говорит, ухмыляясь: «Доброе утро, мистер Болдуин, кажется, сегодня будет хорошая погода». Стиснув ее руку, он проговорил тихим голосом сквозь зубы:

— Сесили, я хочу кое о чем поговорить с тобой. Подожди минутку, мы поедем вместе.

— Подождите, пожалуйста, пять минут,— сказал он шоферу,— мы сейчас спустимся.

Крепко сжимая ее руку, он вместе с ней вернулся к лифту. Когда они очутились в прихожей, она внезапно посмотрела ему прямо в лицо сухими, сверкающими глазами.

— Иди сюда, Сесили,— сказал он мягко.

Он запер дверь спальни на ключ.

— Теперь давай поговорим спокойно. Присядь, дорогая.

Он подставил ей стул. Она села машинально, не сгибаясь, как марионетка.

— Слушай, Сесили, ты не должна так говорить о моих друзьях. Миссис Огторп — мой друг. Мы иногда совершенно случайно вместе пили чай в общественных местах, и это все. Я пригласил бы ее сюда, но я боюсь, что ты будешь с ней резка... Ты не должна давать волю своей безрассудной ревности. Я предоставляю тебе полную

свободу и безусловно доверяю тебе. Я думаю, что я имею право на такое же доверие с твоей стороны. Сесили, будь же снова моей разумной, милой девочкой. Ты поверила тому, что куча старых баб нарочно наплела для того, чтобы сделать тебя несчастной.

— Она не единственная.

— Сесили, я сознаюсь откровенно, что были случаи вскоре после нашей свадьбы... Но все это было много лет тому назад... И чья это вина? Сесили, женщина, подобная тебе, не может понять физических потребностей такого мужчины, как я.

— Разве я не делала все, что могла?

— Моя дорогая, в таких вещах никто не виноват... Я не обвиняю тебя. Если бы ты действительно любила меня тогда...

— Ради чего же я остаюсь в этом аду, если не ради тебя? О, какое ты животное! — Она сидела, глядя сухими глазами на свои ноги в серых замшевых туфлях и комкая мокрый платок.

— Послушай, Сесили, развод отразится на моем положении в городе, особенно в данный момент. Но если ты действительно не хочешь больше оставаться со мной, то я подумаю, как это устроить... Во всяком случае, ты должна доверять мне. Ты знаешь, что я люблю тебя. И, ради Бога, не говори об этом ни с кем, не посоветовавшись предварительно со мной. Ты не хочешь скандала и жирных заголовков в газетах, не правда ли?

— Хорошо... Оставь меня сейчас... Мне все это безразлично.

— Ну и прекрасно! Я очень опаздываю. Я поеду в город на такси. Не хочешь ли поехать за покупками?

Она покачала головой. Он поцеловал ее в лоб, взял соломенную шляпу, тросточку в прихожей и шмыгнул за дверь.

— О, как я несчастна! — простонала она и поднялась.

Ее голова горела, как будто ее стянули раскаленной проволокой. Она подошла к окну и выглянула на улицу. Пламенно-голубое небо было загромождено лесами строящегося дома. Паровые заклепки шумели беспрерывно; время от времени свистела паровая машина, лязгали цепи, и стальная балка повисала наискось в воздухе. Рабочие в синих блузах копошились на лесах. Позади, на северо-западе, компактная, светящаяся масса облаков плыла по небу, точно кочан капусты. «Хоть бы дождь

пошел!» Когда эта мысль пришла ей в голову, раздался раскат грома, заглушивший грохот стройки и уличного движения. «Хоть бы дождь пошел!»

Эллен повесила ситцевую занавеску на окно, чтобы замаскировать ее пестрым узором из красных и лиловых цветов вид на запущенные задние дворы и кирпичные стены домов. Посреди пустой комнаты стояла кушетка; на ней стояли чайные чашки и керосинка. Желтый деревянный пол был усеян обрезками ситца и обойными гвоздиками; книги, постельное белье, платья выпирали из сундука в углу. От новой швабры около камина пахло кедровым маслом. Эллен, прислонясь к стенке, в кимоно цвета нарцисса, весело осматривала большую комнату, похожую на сапожную коробку. Ее внимание отвлек звонок на парадной. Она отбросила прядь волос со лба и нажала на кнопку, открывающую дверной замок. В дверь слабо постучали. В темной передней стояла женщина.

— Это вы, Касси? Я никак не могла понять, кто это пришел? Войдите... В чем дело?

— Я вам не помефаю?

— Конечно, нет.— Эллен наклонилась, чтобы поцеловать ее.

Кассандра Вилкинс была очень бледна, ее веки нервно подергивались.

— Может быть, вы мне посоветуете... Я сейчас подниму занавески... Как вы думаете, подходит красный цвет к серым обоям? По-моему, так хорошо.

— По-моему, чудесно. Какая квасивая комната! Как вы будете счастΛивы тут!

— Поставьтс керосинку на пол и садитесь. Я приготовлю чай. Тут есть кухонька в ванной комнате.

— А вас это не затвуднит?

— Нисколько... Но, Касси, в чем дело?

— Я пришла, чтобы рассказать вам все, но не могу начать.

— Я в восторге от этого помещения. Подумайте, Касси, первый раз в жизни у меня собственная квартирка. Папа хотел, чтобы я жила с ним, но я чувствую, что не смогу.

— А как мистер Оглторп? Впрочем, это несквомно с моей стовоны... Пвостите меня, Элайн, я совсем сумафедфая. Я не знаю, что я гововю.

— О, Джоджо такой милый. Он даже согласен дать мне развод, если я захочу. Что бы вы сделали на моем месте?

Не ожидая ответа, она исчезла за дверью. Касси осталась сидеть на краю кушетки.

Эллен вернулась с синим чайником в одной руке и с кастрюлькой кипящей воды в другой.

— Вы не сердитесь, нет ни лимона, ни сливок. Там на камине есть сахар. Эти чашки чистые, я их только что мыла. Правда, они хорошенькие? Вы не можете себе представить, как уютно чувствуешь себя в собственной квартире! Я терпеть не могу жить в отеле. Честное слово, эта комната делает меня домоседкой... Конечно, самое курьезное — это то, что я должна буду отказаться от нее или сдать, как только приведу ее в порядок. Через три недели наша труппа уезжает в турне. Я хотела уйти из труппы, но Гарри Голдвейзер не пускает меня.

Касси пила чай маленькими глотками с ложечки. Она начала тихо плакать.

— Что такое, Касси, возьмите себя в руки! В чем дело?

— О, вы такая счастливая, Элайн, а я такая несчастная!

— Что вы! Я всегда думала, что мне надо выдать первый приз за невезение. В чем дело?

Касси поставила чашку и повисла у нее на шее.

— Дело в том...— сказала она сдавленным голосом.— Я думаю, что у меня скоро будет вебенок.— Она уронила голову на колени и заплакала.

— А вы в этом уверены?

— Я хотела, чтобы наша любовь всегда была чистой и квасивой, но он сказал, что никогда больше не придет, если я... Я ненавижу его! — Она произносила слова отрывисто, между рыданиями.

— Почему же вы не поженитесь?

— Не могу. Не хочу. Это помефает мне.

— Как давно вы об этом узнали?

— Дней десять тому назад. Я знаю, я бевеменна... А мне ничего не нужно, квоме танцев.— Она перестала плакать и опять начала пить чай маленькими глотками.

Эллен ходила взад и вперед перед камином.

— Послушайте, Касси, совершенно бесполезно так расстраиваться. Я знаю одну женщину — она вам поможет. Возьмите себя, пожалуйста, в руки.

— Не могу, не могу...— Блюдце соскользнуло с ее колен на пол и разбилось.— Скажите, Элайн, вы когда-нибудь были в таком положении?.. Ах, какая жалость!

Я куплю вам другое блюдце, Элайн.— Она поднялась, шатаясь, и поставила чашку с ложечкой на камин.

— Конечно, бывала. Когда я только что вышла замуж, мне было очень тяжело...

— Ах, Элайн, как все это отвратительно! Жизнь могла бы быть такой пвеквасной, свободной, естественной без этого... Я чувствую, как этот увас вползает в меня, убивает меня...

— Да, такова жизнь,— угрюмо промолвила Эллен.

Касси снова заплакала:

— Мувчины так гвубы и эгоистичны!

— Выпейте еще чашку чая, Касси.

— Не могу, довогая. Я чувствую смевтельную тофноту. Кажется, меня сейчас стофнит.

— Ванная комната направо в дверь, потом налево.

Эллен ходила взад и вперед по комнате, стиснув зубы. «Я ненавижу женщин. Я ненавижу женщин».

Через некоторое время Касси вернулась с зеленовато-белым лицом и полотенцем на лбу.

— Ложитесь сюда, бедняжка моя,— сказала Эллен, очищая место на кушетке.— Теперь вам будет гораздо лучше.

— Пвостите меня, я пвичиняю вам столько волнений.

— Полежите минутку спокойно и забудьте все.

— Если бы я только могла успокоиться.

Руки Эллен были холодны. Она подошла к окошку и выглянула в него. Мальчик в ковбойском костюме бегал по двору, размахивая веревкой. Он споткнулся и упал. Эллен увидела его лицо — оно было все в слезах, когда он встал. В конце двора низенькая черноволосая женщина развешивала белье. Воробушки чирикали и дрались на заборе.

— Элайн, довогая, дайте мне немножко пудвы, я потеряла свою пудвеницу.

Эллен отошла от окна.

— Кажется... Да, на камине... Вы теперь чувствуете себя лучше, Касси?

— О да,— сказала Касси дрожащим голосом.— А губная помада у вас есть?

— К сожалению, нет... Я не крашу губ. Достаточно с меня грима на сцене.

Она ушла в альков, сняла кимоно, надела простенькое зеленое платье, собрала волосы и надвинула на лоб черную шляпу.

— Пойдемте скорее, Касси, я хочу поесть до шести. Терпеть не могу обедать за пять минут до спектакля.

— Я так боюсь, Элайн... Обещайте, что вы не оставите меня одну.

— Но она ничего не будет делать сегодня... Она только осмотрит вас и, может быть, даст вам что-нибудь принять внутрь... Подождите-ка, взяла ли я ключ...

— Нам придется взять такси. А у меня только шесть долларов, довогая.

— Я попрошу папу дать мне сто долларов на покупку мебели. Это будет замечательно!

— Элайн, вы ангел. Вы заслужили ваш успех.

На углу Шестой авеню они сели в такси. У Касси стучали зубы.

— Повалуйста, пойдем в двугой ваз, я увасно волнуюсь.

— Дорогая, это единственное, что осталось делать.

Джо Харленд, попыхивая трубкой, запер широкие, шаткие ворота и заложил их болтом. Последний отблеск гранатового солнечного света таял на высокой стене дома по ту сторону рва. Синие руки кранов казались на фоне ее черными. Трубка Харленда погасла, и он стоял, посасывая ее, спиною к воротам, глядя на ряд пустых тележек, на кучи ломов и лопат, на небольшой навес для паровой машины и на паровые сверла, угнездившиеся на каменной глыбе, как хижины горцев на скале. Эта картина казалась ему мирной, несмотря на грохот уличного движения, просачивавшийся сквозь забор. Он вышел во двор через калитку, уселся на стул под телефоном, вытряхнул, снова набил и зажег трубку, развернул на коленях газету.

Предприниматели отвечают на забастовку строительных рабочих локаутом.

Он зевнул и откинул голову. Свет был слишком синим — нельзя было читать. Он долго сидел, глядя на свои рваные ботинки. В голове у него была приятная, легкая пустота. Вдруг он увидел себя во фраке, в цилиндре, с орхидеей в петлице. Чародей Уолл-стрит посмотрел на морщинистое красное лицо и седые волосы под грязной кепкой, на большие руки с грязными, опухшими суставами и, усмехнувшись, растаял. Он смутно вспомнил запах «корона-корона», когда полез в карман куртки за дешевым трубочным табаком.

— Какая разница, хотел бы я знать? — сказал он вслух.

Когда он зажег спичку, ночь вокруг него стала чернильной. Он задул спичку. Его трубка была веселым маленьким красным вулканом, тихо булькавшим каждый раз, когда он затягивался. Он курил очень медленно, глубоко вдыхая дым. Высокие здания кругом были окружены красноватым ореолом от уличного освещения и электрических реклам. Глядя вверх, сквозь мерцающую пелену отраженного света, он увидел сине-черное небо и звезды. Табак был приятен на вкус. Он был очень счастлив.

Светящийся уголек сигары проплыл мимо калитки. Харленд поднял фонарь и вышел. Фонарь осветил белокурого молодого человека с толстым носом и толстыми губами, с сигарой в углу рта.

— Как вы сюда попали?

— Боковая калитка была открыта.

— Вранье! Кого вам надо?

— Вы тут ночной сторож?

Харленд кивнул.

— Очень приятно. Берите сигару. С вами-то я как раз и хотел поговорить. Я организатор сорок седьмого района. Покажите вашу карточку.

— Я не член союза.

— Ну так будете. Мы, строительные рабочие, должны держаться вместе. Мы вербуем в члены союза всех работников района от ночного сторожа до инспектора — мы должны создать единый фронт против предпринимателей, грозящих нам локаутом.

Харленд зажег сигару.

— Вот что, паренек. Со мной вы понапрасну тратите слова. Ночной сторож всегда нужен, есть забастовка или нет. Я старый человек, у меня нет больше сил для борьбы. Это первое приличное место, которое я получил за пять лет. Прежде, чем отнять его у меня, вам придется меня застрелить. Вся эта ерунда — для таких ребят, как вы. Я уже вышел из этого возраста. Уверяю вас, вы зря потратите время, если будете ходить и агитировать ночных сторожей.

— Скажите, пожалуйста... По вашему разговору видно, что вы раньше не занимались этим делом.

— Может, и не занимался.

Молодой человек снял шляпу и провел рукой по лбу и курчавым стриженым волосам.

— Черт возьми, трудная это работа — уговаривать... Чудесная ночь, правда?

— Да, ночь хороша,— сказал Харленд.

— Меня зовут О'Киф, Джо О'Киф... Бьюсь об заклад, что вы могли бы рассказать много интересного.— Он протянул руку.

— Меня тоже зовут Джо... Джо Харленд. Двадцать лет тому назад это имя кое-что говорило многим.

— Двадцать лет тому назад?

— Знаете, вы мало подходите к роли бродячего агитатора... Послушайте совета старого человека — бросьте это дело. Для молодого парнишки, который хочет проложить себе дорогу в жизни, оно не годится.

— Времена меняются... В забастовке заинтересованы большие тузы. Не далее, как сегодня вечером, я говорил о создавшемся положении с членом торговой палаты Мак-Нийлом в его собственной конторе.

— Я вам повторяю: если вы на чем-нибудь можете свернуть себе шею в этом городе, так это на рабочем движении... Когда-нибудь вспомните слова старого пьяницы, но будет поздно.

— Стало быть, всему виной пьянство? Ну, этого я не боюсь. Я в рот не беру спиртного — разве что пива выпью за компанию.

— Будьте осторожны, сейчас наш сыщик будет делать обход. Лучше убирайтесь восвояси.

— Не боюсь я никаких сыщиков... Ну ладно, зайду к вам на днях.

— Прикройте дверь за собой.

Джо Харленд выпил воды из жестянки, уселся поудобнее на стуле, потянулся и зевнул. Одиннадцать часов. Сейчас начинается театральный разъезд: мужчины во фраках, женщины в открытых платьях; мужчины едут домой к своим женам и любовницам; город ложится спать. Такси гудели и хрипели по ту сторону забора, небо мерцало золотой пылью электрических реклам. Он бросил окурок и раздавил его каблуком. Он поежился и медленно побрел по строительному участку, освещая себе путь фонарем.

Уличный свет слабо золотил громадную вывеску, на которой был изображен небоскреб, белый с черными окнами, на фоне голубого неба и белых облаков. «Сегал и Хайнз воздвигнут на этом участке современное двадцатичетырехэтажное здание, предназначенное специально для контор и магазинов. Помещения сдаются с января 1915 года. Цены еще не повышены. Справки...»

Джимми Херф читал, сидя на зеленой кушетке под лампочкой в углу большой пустой комнаты. Он дошел до смерти Оливье в «Жане-Кристофе»* и читал со все возрастающим интересом. В его памяти воскресал шум Рейна, ревущего и бьющегося о подножье сада того дома, где родился Жан-Кристоф. Европа казалась ему зеленым садом, полным музыки, красных флагов и движущихся толп. Порой снежно-мягкий, задыхающийся вой пароходной сирены врывался с реки в комнату. С улицы доносились гудки такси и ноющий визг трамваев.

В двери постучали. Джимми встал, его глаза горели и слезились от чтения.

— Хелло, Стэн. Откуда тебя черт несет?

— Херфи, я пьян в стельку.

— Это не новость.

— Я просто сообщаю тебе бюллетень погоды.

— Скажи мне лучше, почему в этой стране никто ничего не делает. Никто не пишет музыки, никто не устраивает революций, никто не влюбляется. Тут только и делают, что напиваются и рассказывают сальные истории. По-моему, это отвратительно...

— Ну-ну... говори за себя. Я бросаю пить... Нехорошо пить, надоедает это дело... слушай, есть ванна?

— Конечно, есть. Чья это, по-твоему, квартира? Моя?

— А чья?

— Лестера. Я только сторожу ее, пока он болтается за границей, счастливец этакий!

Стэн начал раздеваться, роняя одежду к ногам.

— Я бы хотел поплавать... На кой черт люди живут в городах?

— Почему я влачу жалкое существование в этом сумасшедшем, эпилептическом городе?.. Вот что я хотел бы знать.

— Зови, Гораций, банщика-раба! — заорал Стэн, попирая ногами свою одежду и слегка покачиваясь, темнокожий, с тугими, закругленными мускулами.

— Прямо в дверь.— Джимми вытащил из сундучка, стоявшего в углу, полотенце, бросил его вслед Стэну и опять взялся за книгу.

Стэн, спотыкаясь, вернулся в комнату, отряхиваясь, бормоча из-под полотенца.

— Как тебе нравится? Я забыл снять шляпу. Херфи, ты должен сделать мне одно одолжение. Ты ничего не имеешь против?

— Конечно, нет. В чем дело?

— Можно мне воспользоваться твоей комнатой на сегодняшнюю ночь?

— Конечно, можно.

— Я буду не один.

— Распоряжайся комнатой, как хочешь. Можешь привести сюда хоть всех хористок из «Зимнего сада». Никто ничего не узнает. Здесь есть пожарная лестница, она спускается прямо в аллею. Я пойду спать и запру свою дверь, так что в твоем распоряжении будет эта комната с ванной.

— Это наглость с моей стороны, но муж одной особы начинает кое-что подозревать, и нам приходится быть чрезвычайно осторожными.

— Утром можешь тоже не беспокоиться. Я уйду рано, так что вся квартира будет в вашем распоряжении.

— Чудесно!

— Ну, я пойду.

Джимми собрал свои книги, пошел в спальню и разделся. Часы показывали четверть первого. Ночь была лунная. Он погасил свет и долго сидел на краю кровати. От далекого воя сирены с реки у него пробежали мурашки по спине. С улицы доносились звуки шагов, мужские и женские голоса, тихий молодой смех идущих домой парочек. Где-то играл граммофон. Джимми лежал на спине поверх одеяла. В окно проникал запах бензина, кислой требухи, пыльных мостовых. Пахло прелью неубранных каморок, в которых извивались одинокие мужские и женские тела, мучимые ночью и юной весной. Он лежал, уставившись сухими глазами в потолок, его тело горело и трепетало в лихорадке, как раскаленный докрасна металл.

Возбужденный женский шепот разбудил его; кто-то толчком открыл дверь:

— Я не хочу видеть его. Я не хочу видеть его. Ради Бога, Джимми, поговорите с ним. Я не хочу видеть его!

Элайн Оглторп, закутанная в простыню, вошла в комнату. Джимми вскочил с кровати.

— В чем дело?

— Спрячьте меня куда-нибудь. Я не хочу говорить с Джоджо, когда он в таком состоянии.

Джимми оправил свою пижаму.

— За спинкой кровати стоит шкаф.

— Хорошо... Джимми, будьте ангелом, поговорите с ним и заставьте его уйти.

Джимми угрюмо вышел в соседнюю комнату.

— Шлюха, шлюха! — кричал кто-то из окна.

Горел свет. Стэн, задрапированный, как индеец, в серое одеяло с розовыми полосами, сидел, скрючившись, между двумя кушетками, составленными вместе. Он бесстрастно глядел на Джона Огльторпа; тот, перегнувшись снаружи через подоконник, выл, размахивал руками и ругался, точно балаганный паяц. Его спутанные волосы падали на глаза. Он размахивал тросточкой, а в другой руке держал светло-палевую фетровую шляпу.

— Иди сюда, шлюха! Я тебя поймал на месте преступления... На месте преступления! Недаром предчувствие привело меня по пожарной лестнице в квартиру Лестера Джонса.— Он замолчал и уставился на Джимми широко открытыми, пьяными глазами.— А, вот он, младенец-репортер, желтый журналист! Посмотрите, какой у него невинный вид! Хотите знать, что я о вас думаю? Хотите знать, какого я о вас мнения? Я достаточно слышал о вас от Рут и других. Я знаю, вы считаете себя динамитчиком и человеком, чуждым всем нам... Вы — проститутка, газетная проститутка, оплачиваемая построчно! Вам нравится ваш желтый билет? Вы думаете, что я актер, артист, что я ничего не смыслю в этих вещах? Я слышал от Рут ваше мнение об актерах.

— Послушайте, мистер Огльторп, вы ошибаетесь, уверяю вас.

— Я себе читаю и молчу. Я из числа молчаливых наблюдателей. Я знаю, что каждая фраза, каждое слово, каждая запятая, которая появляется в газете, обдумана, обработана, отшлифована в интересах лиц, дающих объявления, и держателей акций. Река национальной жизни отравлена у самого источника!

— Валяйте, выкладывайте все! — закричал вдруг Стэн; он вскочил с кушетки и захлопал в ладоши.

— Я предпочитаю быть ничтожнейшим актеришкой на выходах... Я предпочитаю быть старушкой-уборщицей, подметающей сцену... Это лучше, чем сидеть в бархатном редакторском кресле самой большой газеты города. Быть актером — достойная, почетная, скромная, джентльменская профессия.— Речь внезапно оборвалась.

— Ну ладно, что же вы, в сущности, хотите от меня? — спросил Джимми, скрестив руки на груди.

— Ну вот, дождь пошел,— заговорил Огльторп дрожащим, хнычущим голосом.

— Вы бы лучше шли домой,— сказал Джимми.

— И пойду... Уйду туда, где нет шлюх — ни женщин-шлюх, ни мужчин-шлюх... Я уйду в великую ночь...

— Как ты думаешь, может он один дойти до дому, Стэн?

Стэн сидел на краю кушетки и трясся от смеха. Он пожал плечами.

— Моя кровь падет на твою голову, Элайн!.. Во веки веков... Ты слышишь? Во веки веков!.. В ночь, где никто не сидит и не издевается надо мной... Не думай, что я не вижу тебя... Если случится катастрофа, то не по моей вине.

— Спокойной но-очи! — заорал Стэн; в последнем спазме смеха он упал с кушетки и покатился по полу.

Джимми подошел к окну и посмотрел вниз на пожарную лестницу и на аллею. Огглторп исчез. Шел сильный дождь. Стены дома пахли мокрым кирпичом.

— Ну разве это не сумасшествие?

Он пошел к себе в комнату, не глядя на Стэна. В дверях мимо него шелково прошелестела Эллен.

— Я ужасно огорчена, Джимми...— начала она.

Он захлопнул дверь перед ее носом и повернул ключ.

— Проклятые дураки! Ведут себя как сумасшедшие! — проговорил он сквозь зубы.— Что они думают, черт бы их побрал?

Его руки были холодны и дрожали. Он натянул на себя одеяло. Он лежал и прислушивался к монотонному стуку дождя и журчанью льющейся по желобу воды. Время от времени холодный ветер ударял ему в лицо. В комнате все еще плавал мягкий запах кедрового дерева, исходивший от ее волос, от шелкового тела, только что лежавшего на его простынях.

Эд Тэтчер сидел на подоконнике, обложившись воскресными газетами. Его волосы поседели, а щеки были изборождены морщинами. Верхняя пуговица на широких брюках была расстегнута, чтобы дать простор круглому брюшку. Он сидел у открытого окна, глядя на сверкающий асфальт, на бесконечный поток автомобилей, сновавших во всех направлениях мимо желто-кирпичных рядов магазинов и краснокирпичной станции, на фронтоне которой висела черная доска с мерцающими золотыми буквами: «Пассаик». Из смежных квартир доносился жалобный воскресный скрежет граммофонов. На ко-

ленях у него лежало театральное приложение «Нью-Йорк таймс». Он смотрел слезящимися глазами в дрожащий зной и чувствовал, как его ребра напрягаются от неотступной боли. Он только что прочел заметку в отделе «В городе и свете».

Злым языкам дает обильную пищу то обстоятельство, что автомобиль молодого Стэнвуда Эмери ежевечерне дежурит у театра «Никербокер». Говорят, что он постоянно отвозит домой некую очаровательную юную актрису, которая вскоре обещает стать звездой первой величины. Стэнвуд Эмери — тот самый молодой джентльмен, отец которого является главой одной из наиболее уважаемых в городе юридических контор. Он недавно покинул Гарвардский университет при довольно неблагоприятных обстоятельствах и долгое время удивлял горожан выходками, которые, как мы уверены, являются лишь следствием избытка юношеского темперамента. Sapienti sat[1].

Три раза позвонили. Эд Тэтчер уронил газеты и поплелся к двери.

— Элли, как ты поздно! Я боялся, что ты совсем не придешь.

— Папа, разве я хоть раз тебя обманула?

— Нет-нет, дорогая.

— Как ты поживаешь? Как дела в конторе?

— Мистер Элберт в отпуску... Когда он вернется, я, должно быть, тоже получу отпуск. Я бы хотел, чтобы ты поехала со мной на озеро Спринг на несколько дней. Тебе это будет полезно.

— Не могу, папочка...— Она сняла шляпу и бросила ее на диван.— Смотри, папа, я принесла тебе розы.

— Спасибо. Твоя мать любила красные розы. Ты очень внимательна... Но мне так неприятно ехать в отпуск одному.

— О, ты, наверно, встретишь там множество старых друзей.

— Почему ты не можешь поехать со мной, хотя бы на неделю?

— Во-первых, мне нужно искать работу... Труппа едет в турне, и я с ними не еду. Гарри Голдвейзер ужасно об этом горюет.

Тэтчер снова сел на подоконник и положил газеты на стул.

— Папочка, зачем тебе отдел «В городе и свете»?

---

[1] Для понимающего достаточно (*лат.*).

— О, я никогда не читаю его. Я просто хотел посмотреть, что это за штука.— Он покраснел и сжал губы, засовывая листок между газетами.

— Шантажный листок!

Эллен расхаживала по комнате. Она поставила розы в вазу. Острая прохлада разлилась от них в тяжелом, пыльном воздухе.

— Папа, я кое-что должна тебе сказать. Мы с Джоджо собираемся развестись.

Эд Тэтчер сидел, положив руки на колени, сжав губы. Он кивал головой, не произнося ни слова. Лицо у него было серое и темное, почти такого же цвета, как его серый костюм.

— Тут ничего не поделаешь. Мы решили, что мы не можем больше жить вместе. Все будет сделано тихомирно, как полагается... Мой друг Джордж Болдуин взял это дело на себя.

— Он работает в фирме «Эмери и Эмери»?

— Да.

— Гм...

Они молчали. Эллен наклонилась над розами, глубоко вдыхая их запах. Она следила, как маленький зеленый червячок ползает по бронзовому листику.

— Честное слово, я очень люблю Джоджо, но я схожу с ума от жизни с ним... Я обязана ему очень многим, я это знаю.

— Лучше бы ты никогда не встречалась с ним.

Тэтчер кашлянул и отвернулся. Он смотрел в окно на два бесконечных ряда автомобилей, тянувшихся мимо станции. Они вздымали пыль, сверкали стеклом, эмалью и никелем. Эллен опустилась на диван и бродила глазами по выцветшим красным розам ковра.

Раздался звонок.

— Я открою, папа... Здравствуйте, миссис Колветир!

Толстая краснощекая женщина в черном с белыми полосами шифоновом платье, отдуваясь, вошла в комнату.

— Простите, пожалуйста, что я так ворвалась. Я только на минутку... Как поживаете, мистер Тэтчер?.. Знаете, дорогая, ваш бедный отец чувствует себя очень плохо.

— Ерунда! У меня только немножко болела спина.

— Прострел, дорогая моя.

— Почему ты мне ничего не сказал, папочка?

— Проповедь сегодня была очень хорошая, мистер Тэтчер... Мистер Луртон был в ударе.

— Я думаю, мне бы следовало изредка ходить в церковь, но я, знаете ли, ужасно люблю сидеть дома по воскресеньям.

— Конечно, мистер Тэтчер, это ваш единственный день отдыха. Мой муж тоже любил сидеть дома по воскресеньям... Но мистер Луртон совсем не похож на других проповедников. У него такие современные взгляды! Право же, кажется, что вы не в церкви, а на какой-то интереснейшей лекции... Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Знаете что, миссис Колветир? В следующее воскресенье, если будет не слишком жарко, я, пожалуй, пойду. А то я совсем заплесневею.

— О, маленькая перемена всем приносит пользу!.. Миссис Огдорп, вы даже представить себе не можете, как мы внимательно следим за вашими успехами по воскресным газетам и... вообще... Это прямо удивительно! Я только вчера говорила мистеру Тэтчеру, что надо иметь большую силу воли и много глубокой христианской веры, чтобы противостоять всем искушениям артистической жизни... Душа радуется, когда подумаешь, какой чистой и неиспорченной вы остались!

Эллен упорно смотрела в пол, чтобы не встретиться глазами с отцом. Он барабанил пальцами по ручке кресла. Миссис Колветир сияла, сидя на диване. Наконец она встала.

— Ну, мне пора бежать. У меня ужасно неопытная кухарка, и я уверена, что обед испорчен... Не заглянете ли вы ко мне после обеда?.. Совсем запросто... Я испекла пирожки и у нас есть имбирное пиво на случай, если кто-нибудь зайдет.

— С величайшим удовольствием, миссис Колветир,— сказал Тэтчер, с трудом поднимаясь.

Миссис Колветир выпорхнула, шурша пышным платьем.

— Ну, Элли, пойдем кушать... Очень славная и добрая женщина... Постоянно носит мне варенье и мармелад! Она живет наверху у своей сестры. Она вдова коммивояжера.

— Она съязвила насчет актерской жизни,— усмехнулась Эллен.— Пойдем скорее, а то все будет полно. Избегать толпы — мой девиз.

— Ну что ж, не будем копаться,— ворчливым скрипучим голосом сказав Тэтчер.

Эллен раскрыла зонтик, когда они вышли на улицу из двери, увешанной с обеих сторон ящиками для писем и

звонками. Стена серого зноя ударила им в лицо. Они прошли мимо станции, мимо аптекарского магазина на углу; оттуда из-под зеленой парусины капала тухлая прохлада холодильников для содовой и мороженого.

Они перешли через улицу, увязая в дымящемся расплавленном асфальте, и остановились у ресторана. Часы в окне, с надписью на циферблате «Пора есть», показывали ровно двенадцать. Под часами красовался запыленный папоротник; на карточке было написано: «Обеды — 1.25». Эллен задержалась на пороге и посмотрела на дрожащую улицу.

— Наверно, будет гроза, папа.

Невероятно белые облака громоздились на аспидном небе.

— Какое красивое облако! Вот было бы хорошо, если бы разразилась гроза.

Эд Тэтчер взглянул, покачал головой и прошел в матовую стеклянную дверь. Эллен последовала за ним. В ресторане пахло лаком и кельнершами. Они сели за стол подле двери под жужжащий электрический вентилятор.

— Здравствуйте, мистер Тэтчер. Как ваше здоровье, сэр? Здравствуйте, мисс.— Скуластая кельнерша с обесцвеченными перекисью волосами дружески нагнулась над ними.— Что прикажете, сэр, жареную уточку или жареного молочного каплуна?

IV. ПОЖАРНАЯ МАШИНА

В такие дни автобусы выстраиваются вереницей, как слоны в цирке. Фаты и щеголихи шатаются, обнявшись, из улицы в улицу, обнимаются, шатаясь из серого сквера в серый сквер, пока не увидят молодого месяца, пляшущего над Вихаукеном*, пока тяжкий ветер мертвого воскресенья не швырнет им пыль в лицо — пыль пьяных сумерек.

Они идут по алее Центрального парка.

— Выглядит так, словно у него нарыв на шее,— говорит Эллен перед статуей Бёрнса*.

— Да,— шепчет Гарри Голдвейзер с жирным вздохом,— но он был великим поэтом.

Она идет в большой шляпе, в светлом, свободном платье, которое время от времени под ударами ветра облипает ей ноги и руки; она шелково, плавно идет среди больших розоватых, пурпуровых и фисташково-зеленых

сумеречных пятен, возникающих от травы и деревьев и прудов, льнущих к высоким серым домам, которые окружают, точно гнилые зубы, южную часть парка, тающую в индиговом зените. Когда Голдвейзер заговаривает, роняя круглые сентенции с толстых губ, не сводя с ее лица коричневых глаз, она чувствует, как его слова давят ее тело, тыкаются в складки ее платья. Она едва дышит от страха, слушая его.

— «Zinnia Girls»* будут иметь большой успех, Элайн, я вам говорю, и эта роль написана специально для вас. Я с наслаждением проработаю ее с вами, честное слово... Вы какая-то особенная... Все девушки в Нью-Йорке одинаковые, монотонные... Вы будете прекрасно петь, если захотите. Я одурел в первый же миг, как увидел вас, а с тех пор прошло уже добрых шесть месяцев. Сажусь есть — еда не лезет мне в горло... Вы никогда не поймете, каким одиноким становится человек, когда он из года в год должен убивать в себе всякое чувство! Когда я был молодым парнем, я был совсем другой. Но что поделаешь? Надо было зарабатывать деньги и пробиваться. И так шло из года в год. Теперь я впервые радуюсь, что делал это, что продвигался и зарабатывал большие деньги, потому что теперь могу предложить все это вам. Понимаете, что я хочу сказать?.. Все идеалы, все красивое, что было придушено во мне, пока я пробивал себе дорогу, все это было как семя в душе, а теперь из семени вырос цветок, и этот цветок — вы.

Он то и дело дотрагивается до ее руки; она стискивает руку в кулак, угрюмо отдергивает ее от его горячих, жирных пальцев.

В парке бродят парочки и семейства в ожидании музыки. Пахнет детьми, подмышниками и рисовой пудрой. Продавец воздушных шаров проходит мимо них; он тащит за собой красные, желтые и розовые шары, точно ветку винограда.

— Купите мне шар.— Слова сорвались с ее губ прежде, чем она успела остановить их.

— Эй, дайте мне по одному шарику всех цветов! Вот-вот, и золотой тоже... Сдачи не надо.

Эллен вкладывает веревочки шаров в грязные руки трех обезьяноподобных девочек в красных шапочках. В каждом шаре трепещет фиолетовый свет дугового фонаря.

— Ах, вы любите детей, Элайн, да? Мне нравится, когда женщина любит детей.

Эллен неподвижно сидит за столиком на террасе казино. Горячий запах кушаний и ритм музыки удушливо кружатся вокруг нее; время от времени она намазывает маслом кусочек булки и кладет его в рот. Она чувствует себя очень беспомощной, как муха, пойманная его клейкими, тягучими словами.

— Никто во всем Нью-Йорке, кроме вас, не заставил бы меня идти так далеко... Я слишком много ходил в былые дни. А потом был рассыльным в игрушечном магазине Шварца... Я бегал весь день — только вечером отдыхал в вечерней школе. Я думал, что стану юристом. Все мальчишки с Истсайд мечтают быть юристами. Потом я одно лето служил капельдинером в театре на площади Ирвинга* и увлекся сценой... Оказалось, что это довольно выгодное дело, только хочу наверстать потерянное. Только об этом я и беспокоюсь. Мне тридцать пять лет, и мне на все наплевать. Десять лет тому назад я был клерком в конторе старого Эрлангера, а теперь многие люди, которым я когда-то чистил сапоги, будут рады и счастливы, если я позволю им подметать полы в моей квартире на Сорок восьмой улице... Я могу вас сейчас повезти, куда вы захотите, как бы дорого, как бы шикарно это ни было... А в былое время мы, ребята, думали, что мы в раю, когда у нас было пять долларов в кармане и мы могли повести наших девушек на Кони-Айленд... Держу пари, что вы жили совсем иначе, Элайн... Я хочу вернуть это старое чувство, понимаете? Куда мы поедем?

— А почему бы нам не поехать на Кони-Айленд? Я никогда там не была.

— Там много простонародья... Но все-таки поехать можно. Поедем! Я вызову мой автомобиль.

Эллен сидит одна и смотрит в свою чашку. Она кладет кусочек сахара на ложку, обмакивает его в кофе, кладет в рот и медленно растирает кристаллики сахара языком о нёбо. Оркестр играет танго.

Луч солнца, пробившись в контору из-под закрытых ставен, прорезал яркой полосой сигарный дым.

— Все очень просто,— цедил Джордж Болдуин.— Гэс, мы легко справимся с этим делом.

Гэс Мак-Нийл, с воловьей шеей, с багровым лицом и тяжелой часовой цепочкой, ползущей по жилету, сидел в кресле, молча кивая головой и посасывая сигару.

— При таком положении вещей никакой суд не поддержит подобного иска. Этот иск, по-моему,— чистейшая

политика со стороны судьи Коннора. Но есть тут некоторые обстоятельства...

— Вы уже говорили... Послушайте, Джордж, я предоставляю все это темное дело вам. Вы вытянули меня из истсайдского болота, и мне кажется, что вы вытянете меня и теперь.

— Но, Гэс, в том деле вы все время действовали в пределах закона. Если бы это было не так, то я, конечно, не взялся бы за него, даже ради такого старого друга, как вы.

— Вы знаете меня, Джордж... Я никогда никого не оставлял в беде и не хочу, чтобы меня покидали друзья.— Гэс тяжело поднялся на ноги и стал ходить по кабинету, прихрамывая и опираясь на палку с золотым набалдашником.— Коннор — сукин сын! Вы не поверите, но он был порядочный малый до тех пор, пока не попал в Олбени*.

— Я построю мою защиту на том, что ваше поведение в этом деле все время намеренно извращалось. Коннор использовал свое званье судьи ради политических целей.

— Господи, как бы мне хотелось подцепить его наконец! А я-то думал, что он порядочный человек; да он и был порядочным человеком, пока не выдвинулся и не спутался с этими вшивыми республиканцами. Много приличных людей погибло в Олбени.

Болдуин отошел от плоского стола красного дерева и положил руку на плечо Гэса.

— Не теряйте сна из-за этого.

— Я чувствовал бы себя прекрасно, если бы не интербороуские бумаги.

— Какие бумаги? Кто их видел?.. Ну-ка, позовем того парня, Джо... И вот еще что, Гэс. Ради Бога, держите язык за зубами... Если какой-нибудь репортер или вообще кто-нибудь сунется к вам, скажите, что вы ездили на Бермуды... У нас будет достаточно гласности, когда нам понадобится. А теперь мы как раз должны держать газеты в полном неведении, а то за вами будут стаями бегать реформисты.

— А разве вы сами не связаны с реформистами? Вы можете сговориться с ними.

— Гэс, я адвокат, а не политический деятель... Я вообще не впутываюсь в эти дела. Они меня не интересуют.

Болдуин нажал ладонью стоячий звонок. Черноволосая молодая женщина со смуглым лицом и тяжелыми мрачными глазами вошла в комнату.

— Здравствуйте, мистер Мак-Нийл.

— Как вы чудно выглядите, мисс Левицкая!

— Эмили, пришлите того молодого парня, что ждет мистера Мак-Нийла.

Джо О'Киф вошел, слегка волоча ноги, держа в руках соломенную шляпу.

— Здравствуйте, сэр.

— Джо, что сказал Мак-Карзи?

— Союз домовладельцев и подрядчиков решил в понедельник объявить локаут.

— А как ваш союз?

— У нас полная касса денег. Мы будем бороться.

Болдуин сел на край стола.

— Я бы хотел знать, как относится ко всему этому мэр Митчел?

— Шайка реформистов, как всегда, толчет воду в ступе,— сказал Гэс, озлобленно покусывая сигару.— Когда же будет оглашено решение?

— В субботу.

— Прекрасно. Продолжайте держать с нами связь, Джо.

— Хорошо, сэр.

— Да, пожалуйста, не вызывайте меня по телефону. Это неудобно. Видите ли, это не моя контора. Могут подключиться к телефону. Эти молодцы ни перед чем не остановятся. Ну, мы еще увидимся, Джо.

Джо поклонился и вышел. Болдуин нахмурился и повернулся к Гэсу.

— Гэс, я не знаю, что я буду делать, если вы не бросите возиться с рабочим движением. Прирожденный политик, как вы, должен иметь больше здравого смысла. Так вы далеко не уйдете.

— Но весь город ополчился на нас.

— Я знаю множество людей в городе, которые и не подумали ополчаться. Но, слава Богу, это меня не касается. Дело с акциями в порядке, но если вы ввяжетесь еще и в забастовку, то я откажусь от вашего дела. Фирма не может отвечать за такие дела! — прошептал он яростно; потом сказал громко, обычным голосом: — Как поживает ваша жена, Гэс?

Снаружи в сияющем мраморном вестибюле Джо О'Киф в ожидании лифта насвистывал веселую песенку. «Славненькую он завел себе секретаршу, однако!» Он перестал свистеть и медленно выпустил изо рта набранный воздух. В лифте он поздоровался с лупоглазым человеком в клетчатом костюме.

— Хелло, Бэк!

— Ну как, были в отпуску?

Джо стоял, расставив ноги и заложив руки в карманы брюк. Он покачивал головой.

— Нет, еду в субботу.

— А я намерен провести несколько дней в Атлантик-Сити.

— Как это вы устраиваетесь?

— Будьте спокойны — у меня башка работает.

Когда О'Киф вышел на улицу, ему пришлось прокладывать себе дорогу в толпе, собравшейся под навесом подъезда. Аспидное небо, проглядывая между высокими домами, заплевывало улицу серебряными монетами. Мужчины спасались бегством, пряча соломенные шляпы под пиджаки. Две девицы соорудили колпаки из газет и надели их на свои летние шляпки. Проходя мимо них, он поймал взглядом синеву их глаз, румянец губ и блеск зубов. Он быстро добежал до угла и вскочил на ходу в трамвай. Дождь продвигался по улице плотной завесой, блестя, кружась, прибивая к мостовой обрывки газет, танцуя серебряными нитями по асфальту, хлеща по окнам, играя бликами на лаке такси и трамваев. На Четырнадцатой улице не было дождя, воздух был душный.

— Странная штука — погода,— сказал старик, стоявший рядом с О'Кифом.

О'Киф что-то промычал.

— Когда я был мальчиком, я раз видел, как на одной стороне улицы молния ударила в дом, а на противоположный тротуар не упало ни одной капли дождя... А один старик выставил в окно томаты и все ждал дождя.

Пересекая Двадцать третью улицу, О'Киф увидел башню на Мэдисон-сквер. Он спрыгнул с трамвая и по инерции пробежал за ним еще несколько шагов. Потом он отвернул воротник и перешел площадь. На скамейке под деревом дремал Джо Харленд. О'Киф шлепнулся рядом с ним.

— Хелло, Джо, возьмите сигару.

— Хелло, Джо, рад видеть вас, мой мальчик. Благодарю. Давно я не курил таких сигар... Ну, что поделываете?

— Мне что-то скучно последнее время. Возьму в субботу билет на бокс.

— А что с вами?

— Черт его знает... Все как-то не ладится. Я с головой влез в политическую игру, но ничего хорошего в ней не вижу. У нее нет будущего. Эх, если б я был таким образованным, как вы!

— Подумаешь, помогло мне мое образование!

— Не скажите... Если бы я мог выбраться на ту дорогу, на которой вы стояли, я бы уже с нее не сошел, будьте уверены.

— Никто ничего не знает, Джо. Странные вещи случаются с человеком.

— Наверное, женщины и прочее такое?

— Нет, я не это имею в виду... Просто все становится противным.

— Черт возьми, я не понимаю, как это человеку с мошной вдруг все может опротиветь?

С минуту они сидели молча. Солнечный закат сверкал. Синий сигарный дым вился над их головами.

— Посмотрите-ка, какая шикарная баба!.. Посмотрите, как она идет! Ну не прелесть ли? Вот таких я люблю: стройная, гибкая, с накрашенными губами... Много, должно быть, денег стоит гулять с такими бабами.

— Они такие же, как все, Джо.

— Черта с два!

— Нет ли у вас, Джо, лишнего доллара?

— Может, и есть.

— У меня желудок что-то не в порядке... Мне бы надо принять чего-нибудь такого, а я до субботней получки пуст... Вы, надеюсь, не сердитесь? Дайте мне ваш адрес, и я пришлю вам в понедельник утром.

— Черт с ним, не беспокойтесь, встретимся еще.

— Спасибо, Джо. И, ради Бога, не покупайте больше угольных акций, не спросив меня предварительно. Может, я и бывший человек, но прибыльную сделку я могу учуять с закрытыми глазами.

— Я ведь вернул свои деньги.

— Исключительная удача!

— Да, забавно, в общем, что я одалживаю доллар человеку, которому принадлежала половина Уолл-стрит.

— Ну, в сущности у меня вовсе не было так много денег, как обо мне говорили.

— Странно...

— Что именно?

— Вообще странно... Ну, Джо, я, пожалуй, пойду, возьму билет... Говорят, интересный будет бой.

Джо Харленд смотрел на частые, подпрыгивающие шаги О'Кифа, который удалялся по дорожке, сдвинув соломенную шляпу набекрень. Потом поднялся и зашагал по Двадцать третьей улице. Тротуары и стены домов ды-

шали зноем, хотя солнце уже село. Он остановился у кабачка на углу и стал внимательно разглядывать серые от пыли чучела, красовавшиеся в центре витрины. Сквозь хлопающие двери на улицу просачивались спокойные звуки голосов и солодовая прохлада. Он вдруг покраснел, прикусил верхнюю губу, бросил беглый взгляд вверх и вниз по улице, шагнул через порог и неуклюжей походкой подошел к медной, сверкающей бутылками стойке.

После свежего воздуха затхлый запах кулис ударил им в нос. Эллен повесила мокрый дождевик на дверь и поставила в угол уборной зонтик. Под ним сразу же образовалась небольшая лужица.

— Единственное, что я помню,— тихо говорила она Стэну, который следовал за нею спотыкаясь,— это смешная песенка, которую кто-то пел мне, когда я была маленькой девочкой:

Лишь один человек пережил потоп —
Длинноногий Джек с Перешейка.

— Я не понимаю, почему люди имеют детей. Это признание своей слабости. Деторождение — это признание в несовершенстве своего организма. Деторождение — признание своей слабости.

— Стэн, ради Бога, не кричи так — рабочие услышат... Не следовало приводить тебя сюда. Ты знаешь, сколько сплетен вокруг театра...

— Я буду тихий, как мышь... Только позволь мне остаться до тех пор, пока Милли придет одевать тебя. Видеть, как ты одеваешься,— это единственное мое удовольствие... Я сознаю, что мой организм несовершенен.

— У тебя вообще не останется никакого организма, если ты не перестанешь пить.

— Я буду пить... Я буду пить до тех пор, пока из любого пореза на моем теле не потечет виски. На что человеку кровь, когда есть виски?

— Ах, Стэн!

— Единственное, что остается делать несовершенному человеку,— это пить... Твой организм совершенен, прекрасен, он не нуждается в алкоголе... Я пойду, лягу бай-бай.

— Ради Бога, не надо, Стэн. Если ты сейчас выйдешь из моей уборной, я никогда не прощу тебя.

В дверь тихо постучали два раза.

— Войдите, Милли.

Милли была маленькой женщиной с черными глазами и морщинистым лицом. Примесь негритянской крови сказывалась в иссера-красных, толстых губах на очень бледном лице.

— Уже четверть девятого, дорогая,— сказала она, быстро окинув взглядом Стэна.

Она повернулась к Эллен, слегка нахмурившись.

— Стэн, тебе придется уйти. Я встречусь с тобой после в «Beaux Arts» или где-нибудь в другом месте.

— Я хочу бай-бай.

Сидя перед туалетным зеркалом, Эллен полотенцем стирала с лица кольдкрем. От гримировального ящика исходил запах жирных красок и кокосового масла.

— Я не знаю, что с ним делать,— шепнула она Милли, снимая платье.— О, как бы я хотела, чтобы он перестал пить.

— Я поставила бы его под душ и пустила бы на него струю холодной воды.

— Какой сбор сегодня, Милли?

— Очень небольшой, мисс Элайн.

— Это из-за погоды... Я буду ужасна сегодня...

— Не позволяйте ему утомлять вас, дорогая. Мужчины этого не стоят.

— Я хочу бай-бай.— Стэн раскачивался и морщился, стоя посередине комнаты.

— Мисс Элайн, я поведу его в ванную, никто его там не заметит.

— Хорошо, пусть спит в ванне.

— Элли, я пойду бай-бай в ванну.

Женщины втолкнули его в ванную комнату. Он шлепнулся в ванну и заснул в ней ногами кверху, головой на кранах. Милли укоризненно щелкнула языком.

— Он похож на спящего ребенка,— нежно шепнула Эллен.

Она подложила ему под голову сложенный мат и разгладила потные волосы на лбу. Он дышал тяжело. Она нагнулась и нежно поцеловала его глаза.

— Мисс Элайн, поторопитесь... Занавес поднимается.

— Посмотрите скорее, все ли на мне в порядке.

— Вы хороши, как картинка... Да благословит вас Бог!

Эллен сбежала вниз по лестнице, обогнула кулисы и остановилась, тяжело дыша, словно только что избежала опасности попасть под автомобиль. Она выхватила из рук помощника режиссера ноты, поймала реплику и вышла на яркую сцену.

— Как вы это делаете, Элайн? — говорил Гарри Голдвейзер, качая телячьей головой.

Он сидел на стуле позади нее. Она видела его в зеркале, перед которым снимала грим. Высокий человек с седыми усами и бровями стоял около него.

— Помните, когда вас впервые пригласили на эту роль, я говорил мистеру Фаллику: «Сол, она не справится». Правда, я это говорил, Сол?

— Говорили, Гарри.

— Я думал, что молодая и красивая девушка никогда не сумеет изобразить... знаете ли... страсть и ужас... понимаете?.. Сол и я — мы были поражены этой сценой в последнем акте.

— Чудесно, чудесно! — простонал мистер Фаллик.— Скажите, как вам это удалось, Элайн?

Грим сходил, черный и розовый, на тряпку. Милли тихо двигалась в глубине комнаты с места на место, развешивая платья.

— Знаете, кто помог мне справиться с этой сценой? Джон Огльторп. Прямо удивительно, как он знает сцену.

— Да, это позор, что он так ленив... Он был бы очень ценным актером.

— Тут дело не только в лени.

Эллен распустила волосы и сплела их в косу обеими руками. Она видела, как Гарри Голдвейзер подтолкнул мистера Фаллика.

— Хороша, а?

— Как идет «Красная роза»?

— О, не спрашивайте, Элайн! Всю прошлую неделю играли перед пустым залом. Не понимаю, почему эта вещь не идет... Она очень эффектна... У Мей Меррил прелестная фигура... Театральное дело теперь гроша не стоит.

Эллен воткнула последнюю шпильку в бронзовые кольца волос. Она вздернула подбородок.

— Я бы хотела попробовать что-нибудь в этом роде.

— Нельзя же делать две вещи зараз, моя милая юная леди. Мы только что начали выдвигать вас как эмоциональную актрису.

— Я ненавижу эти роли; они насквозь фальшивые. Иногда мне хочется подбежать к рампе и крикнуть публике: «Идите домой, проклятые дураки! Идиотская пьеса и фальшивая игра — как вы этого не понимаете?» В музыкальной комедии невозможно быть искренней.

— Не говорил я вам, что она душка, Сол? Не говорил я вам, что она душка?

— Я использую кое-что из вашей декларации для рецензии на будущей неделе. Я это как следует обработаю.

— Вы не позволите ей сорвать пьесу!

— Нет, но я могу использовать это для статьи о претензиях знаменитостей... Например, председатель компании «Зозодонт» обязательно хочет быть пожарным. А другой, банкир, мечтает быть сторожем в зоологическом саду... Чрезвычайно любопытные человеческие документы...

— Можете написать, мистер Фаллик, что, по-моему, всем женщинам место в сумасшедшем доме.

— Ха-ха-ха! — засмеялся Гарри Голдвейзер, обнажая золотые зубы в углу рта.— Вы танцуете и поете лучше всех, Элайн.

— Да ведь я два года служила в хоре, прежде чем вышла замуж за Огпторпа.

— Вы должны были стать актрисой еще в колыбели,— сказал мистер Фаллик, насмешливо глядя на нее из-под седых бровей.

— Ну, господа, я должна просить вас удалиться на минуту, пока я переоденусь. Я вся мокрая после последнего акта.

— Придется покориться... Можно мне зайти на секунду в ванную?

Милли стояла перед дверью в ванную. Эллен поймала злой взгляд ее черных глаз на бледном лице.

— Боюсь, что нельзя, Гарри, она не в порядке.

— Тогда я пойду к Чарли... Я велю Томсону прислать водопроводчика. Ну-с, спокойной ночи, дитя. Будьте паинькой.

— Спокойной ночи, мисс Огпторп,— сказал мистер Фаллик своим скрипучим голосом.— И если вы не можете быть паинькой, то будьте по крайней мере осторожны.

Милли закрыла за ними дверь.

— Фу, слава Богу! — воскликнула Эллен, потягиваясь.

— Дорогая, я ужасно испугалась... Никогда не приводите с собой в театр таких молодчиков. Я видела много прекрасных актеров, погибших из-за подобных вещей. Я говорю вам это потому, что я люблю вас, мисс Элайн, и потому, что я стара и хорошо знаю актерские дела.

— Вы совершенно правы, Милли... Посмотрим, нельзя ли разбудить его... Боже мой, Милли, поглядите-ка сюда!

Стэн лежал в той же позе, в какой они его оставили, но ванна была полна воды. Полы его пиджака и одна рука плавали на поверхности воды.

— Вылезай, Стэн, идиот!.. Ты насмерть простудишься. Сумасшедший, сумасшедший!

Эллен схватила его за волосы и изо всех сил трясла его голову.

— Ой, больно! — захныкал он сонным, детским голосом.

— Вставай, Стэн, ты весь промок.

Он откинул голову и открыл глаза.

— Вот так-так!

Он поднялся, держась руками за края ванны, и стоял, покачиваясь; вода, пожелтевшая от его платья и ботинок, капала с него. Он громко гоготал. Эллен прислонилась к двери ванной и тоже смеялась сквозь слезы.

— На него нельзя сердиться, Милли,— вот что ужасно. Ну, что мы будем делать?

— Счастье, что он не утонул... Дайте мне ваши бумаги и записную книжку, сэр. Я попробую высушить их полотенцем,— сказала Милли.

— Но как ты пройдешь мимо швейцара в таком виде... если даже мы тебя выжмем? Стэн, тебе придется снять твое платье и надеть мое. Потом ты наденешь мой дождевик, мы доберемся до такси и отвезем тебя домой. Как вы думаете, Милли?

Милли вращала глазами и качала головой, выжимая пиджак Стэна. Она разложила в умывальнике размокшие остатки блокнота, карандаш, складной карманный ножик, две катушки пленки, фляжку.

— Я все равно хотел принять ванну,— сказал Стэн.

— Я, кажется, побью тебя... Хорошо, что ты по крайней мере трезв.

— Трезв, как пингвин.

— Прекрасно, тогда надевай мое платье.

— Я не стану надевать женское платье.

— Придется... У тебя ведь даже нет дождевика. Если ты не переоденешься, я запру тебя в ванной.

— Ну хорошо, Элли... Честное слово, я ужасно огорчен.

Милли заворачивала платье в газету, предварительно выжав его над ванной. Стэн смотрел на себя в зеркало.

— У меня прямо неприличный вид в этом платье... Какая мерзость!

— В жизни не видала ничего более отвратительного... Нет-нет, ты выглядишь очень мило... Только платье немного узковато. Ради Бога, повернись ко мне лицом, когда мы будем проходить мимо швейцара.

— Мои ботинки совсем размокли.

— Ничего не поделаешь... Благодари Бога, что у меня есть дождевик... Милли, вы прямо ангел.

— Спокойной ночи, дорогая, и помните, что я вам сказала... Я вам говорю, все это...

— Стэн, делай мелкие шаги. Если кого-нибудь встретишь, продолжай идти прямо и прыгай в первое попавшееся такси... Ты проскользнешь незаметно, если пройдешь быстро.

Руки Эллен дрожали, когда они спускались по лестнице. Она взяла Стэна под руку и оживленно защебетала:

— Знаешь, дорогая, папочка пришел к нам в театр посмотреть пьесу два или три дня тому назад. Он был шокирован до смерти. Он сказал, что девушка унижает себя, обнажая свои сокровенные чувства перед толпой... Не правда ли, ужасно?.. Все же отзывы обо мне в воскресных номерах произвели на него большое впечатление... Спокойной ночи, Барней, какая скверная погода... А вот и такси. Куда ты поедешь?

В темном чреве такси его глаза под голубым капором казались такими черными и яркими, что она испугалась, словно она заглянула в глубокий колодец.

— Поедем ко мне... Шофер, поезжайте, пожалуйста, на Банк-стрит.

Такси тронулось. Они мчались по Бродвею сквозь зигзаги красного света, желтого света, зеленого света, унизанного бусами реклам. Вдруг Стэн наклонился и быстро, крепко поцеловал ее в губы.

— Стэн, ты должен перестать пить. Это уже выходит за пределы шутки.

— А почему нельзя выйти за пределы шутки? Вот ты, например выходишь за пределы шутки, и я очень доволен этим.

— Но, дорогой, ты убьешь себя.

— Ну и что же?

— Я не понимаю тебя, Стэн.

— А я не понимаю тебя, Элли, но я очень, очень люблю тебя.

В его тихом голосе послышалась дрожь, которая наполнила ее счастьем.

Эллен расплатилась с такси. Сирена завыла, забралась наверх и оборвалась глухим стоном. Промчалась пожарная машина, красная и сверкающая, за ней — выдвижная лестница с звенящим колокольчиком.

— Пойдем на пожар, Эллен.

— В таком костюме?.. Нет-нет.

Он молча вошел вслед за нею в дом и поднялся по лестнице. В длинной комнате было прохладно и пахло свежестью.

— Элли, ты не сердишься на меня?

Она развязала мокрый узел с платьем и унесла его в кухню, чтобы высушить на газовой плите. Звуки граммофона заставили ее вернуться. Стэн снял с себя платье. Он танцевал по комнате со стулом, ее голубой купальный халатик развевался вокруг его тонких волосатых ног.

— О, Стэн, дорогой глупыш...

Он поставил стул и направился к ней, коричневый, мужественный, стройный, в дурацком халатике. Граммофон доиграл песенку до конца, а пластинка все еще крутилась и крутилась, хрипя.

V. ПОШЛИ НА БАЗАР К ЗВЕРЯМ*

Красный свет. Колокол.

Сбитая в четыре ряда масса автомобилей застыла на скрещенье дорог, фонари сияют, жарко мурлычут моторы, тянет бензином, автомобили из Вавилона и с Ямайки, автомобили из Монтока, Порт Джеффрсона, Патчога, лимузины с Лонг-Бич, Фар-Рокэвей, дорожные машин с Грейт-Нек...* автомобили, полные астр и влажных купальных костюмов, спаленных солнцем шей, ртов, пересохших от содовой и пирожков... автомобили, осыпанные пыльцой золотарника и бессмертника.

Зеленый свет. Моторы рвутся вперед, рычаги скрежещут, переходя на первую скорость. Автомобили расползаются, текут длинной лентой по призрачной асфальтовой дороге, между темнооконными глыбами фабричных зданий, между грязными, яркими красками рекламных щитов, к зареву над городом, вздымающемуся неправдоподобно в ночное небо, точно зарево огромного шатра, точно желтый, высокий купол цирка.

«Сараево»... Слово застревало у нее в горле, когда она пыталась произнести его.

— Это ужасно, ужасно,— стонал Джордж Болдуин.— Биржа полетит ко всем чертям... Ее надо закрыть — это единственный исход.

— А я никогда не была в Европе... Должно быть, война — страшно интересная штука. Вот бы посмотреть! — Эллен, в синем бархатном платье и манто, откинулась на подушки плавно катившегося такси.— Я всегда представляла себе историю, как на литографиях в учебниках. Генералы произносят зажигательные речи, маленькие фигурки, растопырив руки, перебегают по полям, факсимиле подписей...

Конусы света врезаются в конусы света вдоль горячего, жужжащего шоссе, фонари окатывают деревья, дома,

рекламные щиты, телеграфные столбы широкими мазками белил. Такси завернуло и остановилось перед гостиницей, источавшей розовый свет и звуки рэгтайма из всех щелей.

— Большой съезд сегодня,— сказал шофер Болдуину, когда тот платил.

— Почему это? — спросила Эллен.

— Наверно, из-за убийства в Кэнэрси.

— Что за убийство?

— Я видел... Ужасная штука!

— Вы видели убийство?

— Нет, как убивали, я не видел. Я видел только труп перед тем, как его унесли в морг. Мы называли старика Санта-Клаусом, потому что у него была седая борода... Я помню его еще, когда был мальчишкой.— Позади них гудели и хрипели автомобильные клаксоны.— Ну, надо двигаться... Будьте здоровы, леди.

В красном вестибюле пахло омарами, креветками и коктейлем.

— Хелло, Гэс!.. Элайн, позвольте представить вам мистера и миссис Мак-Нийл... Мисс Огльторп...

Эллен пожала широкую руку курносого человека с красной шеей и маленькую, туго обтянутую перчаткой руку его жены.

— Гэс, мы еще увидимся перед уходом.

Эллен последовала за фрачными фалдами метрдотеля в конец танцевального зала. Они сели за столик у стены. Оркестр играл «Все это делают». Болдуин подпевал. Он на секунду склонился над ней, укладывая манто на спинку ее стула.

— Элайн, вы очаровательная женщина...— начал он, усевшись напротив нее.— Ужас! Я не могу понять, как это возможно.

— Что именно?

— Война. Я ни о чем другом не могу думать.

— А я могу...— Она внимательно просматривала меню.

— Вы обратили внимание на ту пару, с которой я вас познакомил?

— Да. Это тот Мак-Нийл, о котором все время пишут в газетах? Какой-то шум по поводу забастовки строительных рабочих, интербороуских бумаг...

— Это все политика. Держу пари, что он рад войне, бедный старый Гэс. Она ему поможет. Благодаря войне газеты перестанут трепать его имя. Я вам потом расскажу о нем... Кажется, вы не любите креветок? Они тут очень хороши.

— Джордж, я обожаю креветки.

— Тогда мы закажем настоящий курортный обед. Как вы на это смотрите?

Откладывая в сторону перчатки, она задела вазу с увядшими красными и желтыми розами. Дождь светлых сухих лепестков посыпался на ее руку, на перчатки, на стол. Она отряхнула лепестки.

— Велите убрать эти отвратительные розы, Джордж... Я ненавижу увядшие цветы.

Пар поднимался над мельхиоровым блюдом креветок и плавал в розовом свете абажура. Болдуин следил, как ее пальцы, розовые и тонкие, вытаскивали длинные шейки, погружали их в топленое масло и клали в рот. Она была поглощена едой. Он вздохнул.

— Элайн, я очень несчастный человек... Вот я встретил жену Мак-Нийла... В первый раз за много лет... Подумайте, когда-то я был безумно влюблен в нее, а теперь не могу даже вспомнить, как ее зовут... Смешно, не правда ли? Мои дела были ужасно плохи, когда я занялся самостоятельной практикой. Надо было торопиться, так как прошло всего два года с тех пор, как я окончил университет, а денег у меня не было ни гроша. Но я в те дни умел работать. Я решил, что если я не достану клиента, то я немедленно брошу все и опять стану клерком. Однажды я пошел прогуляться, чтобы освежить голову, и вот на Одиннадцатой авеню я увидел, как поезд налетел на молочную тележку. Это было ужасно! Я помог поднять пострадавшего и сказал себе: либо я добьюсь, чтобы ему выплатили справедливое вознаграждение, либо разорюсь окончательно. Я выиграл дело, и это привлекло ко мне внимание многих деловых людей. Так началась его и моя карьера.

— Так он был молочником? По-моему, все молочники — милейшие люди. Мой молочник — прямо душка.

— Элайн, не говорите никому то, что я вам рассказал... Я доверяю вам безусловно.

— Это очень мило с вашей стороны, Джордж... Прямо удивительно, как нынче все женщины стараются быть похожими на миссис Кэсл. Посмотрите кругом.

— Она была как дикая роза, Элайн,— свежая, розовая, чистокровная ирландка. А теперь она скучная, деловая, усталая женщина.

— А он все такой же изящный и ловкий... Так всегда бывает.

— Удивительно... Вы не знаете, каким пустым и безотрадным казался мне мир до тех пор, пока я не встретил вас. Мы с Сесили только делаем друг друга несчастными.

— Где она теперь?

— В Бар-Харбор...* Мне везло, я имел успех, когда был молодым человеком... Мне еще нет сорока.

— Вы, наверно, любите свое дело, иначе вы не имели бы успеха.

— Ах, успех, успех... Что значит успех?

— Я бы хотела иметь хоть капельку успеха.

— Но, дорогая девочка, вы его имеете.

— О нет! Это не то, что я хочу.

— А меня мой успех не радует и не интересует. Я только и делаю, что сижу в конторе и заставляю моих молодых помощников работать. Мое будущее совершенно ясно для меня. Мне кажется, я стану торжественным, помпезным и буду предаваться разным маленьким порокам... А ведь я чувствую, что во мне есть нечто большее.

— Почему вы не займетесь политикой?

— К чему мне лезть в Вашингтон, в эту сточную канаву, когда я сижу в том месте, откуда фактически управляется страна? Как ни тошнит от Нью-Йорка, а уйти из него некуда. И это самое ужасное... Нью-Йорк — вершина мира. Нам остается только крутиться и крутиться, как белка в колесе.

Эллен смотрела на танцующих; на них были светлые летние платья, и они кружились на вощеном паркете в центре залы. В дальнем конце у стойки она увидела овальное, розовато-белое лицо Тони Хентера. Огльторпа с ним не было. Друг Стэна Херф сидел к ней спиной. Она следила за тем, как он смеялся, за его всклокоченной черной головой, посаженной несколько криво на тонкой шее. Двое мужчин, сидевших с ним, были ей незнакомы.

— На кого вы смотрите?

— Здесь несколько друзей Джоджо... Удивляюсь, как они могли попасть сюда. Здесь неподходящее для них место.

— Так всегда бывает, как только я захочу уединиться с кем-нибудь,— сказал Болдуин, криво усмехаясь.

— Мне кажется, что вы всю жизнь делаете только то, что вам хочется.

— Ах, Элайн, если бы вы только позволили мне сделать то, что мне сейчас хочется. Я хочу, чтобы вы позволили мне сделать вас счастливой. Вы, маленькая девочка, так храбро пробиваете себе дорогу в жизни. Вы полны любви, тайны и блеска...— Он запнулся, отпил большой

глоток вина и продолжал, багровея: — Я чувствую себя школьником... Я начинаю терять рассудок. Элайн, я готов сделать для вас все на свете.

— Хорошо. Пока я попрошу убрать омары. По-моему, они невкусные.

— Черт!.. Может быть... Человек!.. Я был так взволнован... не замечал, что я ем...

— Закажите мне вместо них цыпленка.

— Бедное дитя, вы, наверно, умираете от голода?

— И немного зелени... Я понимаю теперь, почему вы такой хороший юрист, Джордж. Любой присяжный разрыдался бы, услышав такую страстную речь.

— А вы, Элайн?

— Джордж, пожалуйста, не спрашивайте меня.

За столом, где сидел Джимми Херф, пили виски и содовую. Желтолицый человек со светлыми волосами, тонким кривым носом и детскими синими глазами говорил конфиденциальным певучим голосом:

— Честное слово, полиция чудовищно заблуждается, утверждая, что тут имели место изнасилование и самоубийство. Старик и его очаровательная дочка были убиты, зверски убиты! И вы знаете, кем? — Он ткнул толстым, желтым от табака пальцем в Тони Хентера.

— Не приговаривайте меня к высшей мере, господин судья, я ни в чем не повинен,— сказал тот, опуская длинные ресницы.

— «Черной рукой»!

— Чепуха, Беллок! — рассмеялся Джимми Херф.

Беллок ударил кулаком по столу так, что зазвенели тарелки и стаканы.

— Кэнэрси полон «черных рук», полон анархистов, похитителей детей и нежелательного элемента. Наша обязанность — вывести их на чистую воду и отомстить за бедного старика и его дочь. Мы отомстим за бедную старую обезьяну!.. Кстати, как его звали?

— Макинтош,— сказал Джимми.— Его называли тут Санта-Клаусом. Все признают, что он уже много лет был сумасшедшим.

— Мы не признаем ничего, кроме великой американской нации... Но, черт возьми, что за польза от всех этих дел, когда проклятая война занимает всю первую полосу в любой газете? Я хотел написать статью на целую полосу — ее урезали до половины столбца. Разве это жизнь?

— Вы должны написать, что он был тайным наследником австрийского престола и что его убили по политическим причинам.

— Неплохая идея, Джимми!

— Но это так ужасно...— сказал Тони Хентер.

— Вы думаете, что мы бессердечные звери, Тони?

— Нет, но только я не вижу удовольствия в чтении подобных вещей.

— Это наша повседневная работа,— сказал Джимми.— А вот что действительно приводит меня в ужас, так это мобилизация армий, бомбардировка Белграда, вторженье в Бельгию и прочее. Я просто не могу себе этого представить... Убили Жореса...*

— А кто он такой?

— Французский социалист.

— Эти проклятые французы — выродки, они только и умеют драться на дуэлях да спать с чужими женами. Я держу пари, что немцы будут в Париже через две недели.

— Это не может долго продолжаться,— сказал Фремингхэм, высокий, церемонный человек с пушистыми белокурыми усами, сидевший подле Хентера.

— Я не прочь поехать военным корреспондентом.

— Скажите, Джимми, вы знаете здешнего хозяина? Он, кажется, француз?

— Конго Джека? Знаю, конечно.

— Он хороший малый?

— Ничего себе.

— Пойдем, поговорим с ним. Может быть, он расскажет нам детали убийства. Вот было бы хорошо, если бы можно было пристегнуть это дело к мировой войне!

— Я уверен,— начал Фремингхэм,— что англичане как-нибудь уладят это дело.

Беллок направился к стойке. Джимми последовал за ним. По дороге он увидел Эллен. Ее волосы казались очень красными в свете лампы, стоявшей около нее. Болдуин склонился к ней над столом; губы его были влажны, глаза блестели. Джимми почувствовал, что в его груди развернулась какая-то пружина. Он отвернулся; ему вдруг стало страшно, что она его увидит.

Беллок обернулся и толкнул его в бок.

— Скажите-ка, Джимми, кто эти два молодчика, что сидели с нами?

— Друзья Рут. Я не особенно хорошо их знаю. Кажется, Фремингхэм работает по декоративной части.

За стойкой, под изображением «Лузитании», стоял смуглый человек в белой куртке, плотно облегавшей его широкую грудь гориллы. Он встряхивал волосатыми руками миксер с коктейлем. У стойки стоял лакей с подно-

сом, уставленным стаканами. В стаканах пенился зеленовато-белый коктейль.

— Хелло, Конго,— сказал Джимми.

— Ah, bonsoir, monsieur d'Erf, ça biche?[1]

— Недурно, Конго. Я хочу познакомить вас с моим другом. Это — Грант Беллок, корреспондент «Америки».

— Очень приятно. Угодно вам выпить?

Лакей поднял звенящий поднос со стаканами на уровень плеча и поднес его, держа на ладони.

— Я думаю, что джин испортит мне вкус виски, но я, пожалуй, все-таки выпью. А вы выпьете с нами, Конго?

Беллок поставил ногу на медную решетку и отхлебнул из стакана.

— Интересно,— начал он медленно,— что у вас тут говорят про это убийство?

— У всякого своя версия.

Джимми заметил, что Конго подмигивает ему глубоко сидящим черным глазом.

— Вы здесь живете? — спросил он, стараясь не рассмеяться.

— Я ночью услышал шум автомобиля, мчавшегося очень быстро с открытым глушителем. Я решил, что он наскочил на что-нибудь, потому что он остановился очень резко и помчался назад еще быстрее.

— А выстрел вы слышали?

Конго с таинственным видом покачал головой.

— Я слышал голоса, раздраженные голоса.

— Черт возьми, я этим делом займусь,— сказал Беллок, допивая коктейль.— Вернемся к девочкам.

Эллен глядела на сморщенное, как грецкий орех, лицо и мертвые, рыбьи глаза лакея, разливавшего кофе, Болдуин сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел на нее из-под опущенных ресниц. Он говорил тихим, монотонным голосом:

— Неужели вы не видите, что я сойду с ума, если вы не будете моей? Вы единственное существо на свете, которым я жажду обладать.

— Джордж, я не хочу, чтобы мною обладал кто бы то ни было. Как вы не понимаете, что женщине нужна свобода. Будьте благоразумны! Мне придется уехать домой, если вы не перестанете.

---

[1] Добрый вечер, месье д'Эрф, как дела? (*фр.*)

— Почему же вы позволяли мне ухаживать за вами? Я не из той породы мужчин, с которыми можно играть. Вы это отлично знаете.

Она посмотрела на него большими серыми глазами; свет играл золотыми искорками в коричневых точках ее ириса.

— Ужасно тяжело, когда ни с кем нельзя быть просто другом.

Она посмотрела на свои пальцы, лежавшие на краю стола. Его глаза были устремлены на медное мерцанье ее ресниц. Вдруг он разрезал натянувшееся молчание:

— Ну что ж, давайте танцевать.

J'ai fait trois fois le tour du monde
Dans mes voyages[1],—

напевал Конго Джек, встряхивая волосатыми руками миксер. Узкий, оклеенный зелеными обоями бар взбухал и пузырился журчащими голосами, спиральными испарениями напитков, резким звоном льда и стаканов и изредка — волной музыки из соседней комнаты. Джимми Херф одиноко стоял в углу, потягивая джин с содовой. Невдалеке Мак-Нийл хлопал Беллока по плечу и орал ему в ухо:

— Если биржу не закроют... Боже праведный!.. Перед общим крахом можно будет здорово нажиться... Только не зевать! Паника — самый подходящий случай сделать деньги для человека с головой на плечах.

— Было уже несколько крупных банкротств, а это еще только первый удар грома.

— Случай стучится в дверь к молодому человеку только один раз... Слушайте меня: когда банкротится крупный маклер, честные люди могут благословлять судьбу... Но вы, я надеюсь, не тиснете того, что я вам говорю, в газете? Нет?.. Будьте другом, а то ваш брат газетчик такое напишет, что человек никогда и не говорил. Никому из вас нельзя верить. Тем не менее я скажу вам, что локаут — замечательная штука для подрядчиков. Во время войны все равно никто не будет строиться.

— Да ведь война продлится не более двух недель, и я не вижу, какое она имеет к нам касательство.

— Она имеет касательство ко всему миру... Хелло, Джо, какого черта вы здесь?

---

[1] Я путешествовал три раза вокруг света (*фр.*).

— Мне надо поговорить с вами наедине, сэр. Есть важные новости.

Бар постепенно пустел. Джимми Херф все еще стоял в углу, прислонившись к стене.

— Вас никогда не увидишь пьяным, мистер Эрф.— Конго Джек сел в глубине бара выпить чашку кофе.

— Я предпочитаю наблюдать.

— И хорошо делаете. Нет никакого смысла выбрасывать уйму денег, чтобы на следующий день встать с головной болью.

— Неподходящие речи для владельца бара.

— Я говорю, что думаю.

— Послушайте, я давно собираюсь спросить вас... Если вы не имеете ничего против, скажите мне, откуда у вас это имя — Конго Джек?

Конго рассмеялся грудным смехом.

— Сам не знаю... Когда я был мальчишкой и впервые вышел в море, меня называли Конго, потому что у меня были курчавые черные волосы, как у негра. Потом, когда я приехал в Америку и служил на американском пароходе, меня как-то спросили: «Как ты себя чувствуешь, Конго?» А я ответил: «Джек». С тех пор так и прозвали меня — Конго Джек.

— Стало быть, прозвище... А я думал, что вы навсегда останетесь моряком.

— Нет, у моряка несладкая жизнь. Знаете, мистер Эрф, меня всю жизнь преследуют несчастья. Самые ранние мои воспоминания — о том, как меня ежедневно избивает какой-то человек, не мой отец. Потом я удрал и работал на парусниках в Бордо. Знаете Бордо?

— Кажется, я в детстве бывал в Бордо...

— Наверно, бывали... Вы эти вещи понимаете, мистер Эрф. Впрочем, такой человек, как вы,— образованный, воспитанный и прочее такое — не знает, что такое жизнь. Когда мне стукнуло семнадцать лет, я приехал в Нью-Йорк. Ничего хорошего... Я думал только об удовольствиях и веселой жизни. Потом я опять попал на корабль и побывал всюду, в самом аду. В Шанхае я научился говорить по-американски и принюхался к трактирному делу. Возвратился в Фриско и женился. Теперь я хочу быть американцем. И все-таки я несчастный человек... До женитьбы я жил с моей девочкой целый год вместе, и жил замечательно, а когда мы поженились — все пошло прахом. Она издевалась надо мной, называла меня французиком, потому что я плохо говорил по-американски,

гнала из дому... Ну, я и сказал ей, чтобы она убиралась к черту. Забавная штука — человеческая жизнь.

J'ai fait trois fois le tour du monde
Dans mes voyages,—

пропел он низким баритоном.

Кто-то положил руку на плечо Джимми. Он повернулся.

— Элли, что случилось?

— Со мной тут один сумасшедший. Вы должны мне помочь избавиться от него.

— Позвольте вам представить Конго Джека. Вы должны познакомиться с ним. Он хороший человек. А это — une tres grande artiste[1], Конго.

— Не угодно ли анисовой, сударыня?

— Выпейте с нами... Теперь, когда все ушли, тут очень уютно.

— Нет, благодарю, я пойду домой.

— В разгар вечера?

— Хорошо, я останусь. Только вам тогда придется заняться моим сумасшедшим спутником. Слушайте, Херф, вы видели сегодня Стэна?

— Нет, не видел.

— Он не пришел, а я ждала его.

— Я бы хотел, чтобы вы отучили его пить, Элли. Меня это начинает беспокоить.

— Я не нянька.

— Я знаю, но вы ведь понимаете, что я хочу сказать.

— Ну а что же думает наш друг о войне?

— Я не пойду воевать... У рабочего нет родины. Я приму американское гражданство... Я служил когда-то во флоте, но...— Он хлопнул себя по колену и рассмеялся.— Moi je suis anarchiste, vous comprenes, monsieur?[2]

— Но тогда вы не можете быть американским гражданином.

Конго пожал плечами.

— Он мне очень нравится, он интересный,— шепнула Эллен на ухо Джимми.

— А вы знаете, почему они воюют?.. Чтобы рабочие не сделали революции... Война отвлечет их. Вот потому-то Вильгельм, и Вивиани*, и L'Empereur d'Autriche[3], и Крупп*, и Ротшильд*, и Морган, все кричат: «Давайте вой-

[1] Великая артистка (*фр.*).
[2] Я анархист, вы понимаете, месье? (*фр.*)
[3] Австрийский император (*фр.*).

ну!» И что же они делают прежде всего? Они убивают Жореса, потому что он социалист. Правда, социалисты изменили Интернационалу, но все же...

— Но как же они могут заставить людей воевать, если те не хотят?

— В Европе люди были рабами тысячи лет. Не то, что здесь... Я уже раз был на войне. Очень забавно! Я держал бар в Порт-Артуре, совсем еще мальчишкой. Это было очень забавно.

— Я бы хотел быть военным корреспондентом.

— А я могла бы быть сестрой милосердия.

— Быть корреспондентом — хорошая штука... Сидишь себе, пьяный в лоск, где-нибудь в Америке в баре за тысячи миль от сражения.

Они рассмеялись.

— А мы разве не за тысячи миль от сражения, Херф?

— Правильно! Давайте лучше потанцуем. Вы уж меня простите в случае чего — я очень плохо танцую.

— Я толкну вас ногой, если вы собьетесь.

Когда он обнял ее, его руки были как из гипса. Высокие серые стены с грохотом рушились внутри него. Он парил, как воздушный шар, над благоуханием ее волос.

— Следите за вашими ногами и двигайтесь в такт музыке. Двигайтесь по прямой линии, в этом весь секрет.

Ее голос резал воздух, как тонкая, острая, гибкая стальная пила. Локти, лица, выпученные глаза, жирные мужчины и тонкие женщины, тонкие женщины и жирные мужчины вертелись вокруг них. Он был крошащимся гипсом, что-то болезненно грохотало в его груди, она была сложная стальная зубчатая машина, ярко-белая, ярко-синяя, ярко-бронзовая в его руках. Когда они остановились, он почувствовал, как ее грудь и бедро плотно прижались к нему. Он, как скаковая лошадь, вдруг наполнился кровью, дымящейся потом. Ветерок, подувший из открытой двери, вымел табачный дым и спертый розовый воздух из ресторана.

— Херф, я хочу взглянуть на коттедж, где произошло убийство. Поведите меня туда, пожалуйста.

— Я видел достаточно мест, где совершались преступления.

В вестибюле перед ними вырос Джордж Болдуин. Он был бледен как мел, его черный галстук сполз набок, ноздри его тонкого носа, испещренные маленькими красными венами, раздувались.

— Хелло, Джордж!

Его голос хрипел прерывисто, как клаксон.

— Элайн, я искал вас. Я должен поговорить с вами... Может быть, вы думаете, что я шучу?.. Я никогда не шучу.

— Херф, простите, пожалуйста, на одну минуту... Ну, что случилось, Джордж? Вернемтесь к столу... Джордж, я тоже не шутила... Херф, будьте добры, наймите мне такси.

Болдуин схватил ее за кисть руки.

— Довольно вы играли мной, слышите? Когда-нибудь вас пристрелят. Вы думаете, что мной можно играть, как любым сопливым щенком?.. Вы не лучше любой панельной проститутки.

— Херф, я просила вас пойти за такси.

Джимми закусил губы и вышел.

— Элайн, что вы намерены делать?

— Джордж, не приставайте ко мне.

Что-то никелевое блеснуло в руке Болдуина. Гэс Мак-Нийл ринулся вперед и схватил его за кисть своей огромной красной рукой.

— Отдайте, Джордж... Ради Бога, возьмите себя в руки! — Он сунул револьвер в карман.

Болдуин, шатаясь, припал к стене. Большой палец его правой руки сочился кровью.

— Такси подано,— сказал Херф, глядя на их напряженные, бледные лица.

— Ладно, отвезите дамочку домой... Ничего страшного не случилось, просто небольшой нервный припадок. Только не устраивайте паники! — Мак-Нийл орал таким голосом, словно он произносил речь, стоя на ящике из-под мыла.

Метрдотель и девица при вешалке смущенно переглянулись.

— Ничего не случилось... Джентльмен просто немножко нервничает... переработался, утомлен, понимаете? — Мак-Нийл понизил голос до ласкового мурлыканья.— Забудьте об этом.

Когда они садились в такси, Эллен внезапно сказала детским голосом:

— Я забыла... Мы ведь хотели посмотреть место убийства... Пусть он подождет. Я бы хотела немножко пройтись по свежему воздуху.

Пахло солончаком. Ночь была мраморная от облаков и луны. Лягушки в канавах звенели, точно колокольчики.

— Это далеко? — спросила она.

— Нет, сразу за углом.

Их шаги поскрипывали на песке, потом застучали по асфальту. Фонарь осветил их, они остановились, чтобы пропустить автомобиль; запах бензина захлестнул их, потом растаял в запахе солончака.

Серый дом с остроконечной крышей и маленьким крыльцом прямо на дорогу; кругом — сломанный забор. Сзади росла акация. Полисмен расхаживал перед домом взад и вперед, тихо насвистывая. Молочный краешек луны высунулся на минутку из-за облаков, превратил обломок стекла в зияющем окне в фольгу, выхватил из мрака маленькие круглые листья акации и вновь закатился в щель между облаками, как потерянная монета.

Никто не произнес ни слова. Они пошли обратно к гостинице.

— Это правда, Херф, что вы не видели Стэна?

— Не видел. Я даже не представляю себе, где он скрывается.

— Если вы увидите его, скажите ему, чтобы он немедленно позвонил мне... Херф, как назывались те женщины, которые следовали за армией во время французской революции?

— Дайте-ка вспомнить... Кажется, cantonnières.

— Да, что-то в этом роде... Так вот, я хотела бы быть cantonnières.

Электрический поезд свистнул где-то вдалеке, прогрохотал вблизи и исчез в гудящем пространстве.

Истекая звуками танго, ресторан таял розово, как мороженое. Джимми полез вслед за Эллен в такси.

— Нет, я хочу быть одна, Херф.

— Позвольте мне отвезти вас домой... Мне не хочется оставлять вас одну.

— Будьте другом, оставьте меня.

Они не подали друг другу руки. Машина метнула облако пыли и волну бензина ему в лицо. Он стоял на ступеньках; ему не хотелось возвращаться в шум и дым.

Нелли Мак-Нийл сидела одна за столом. Напротив нее боком стоял стул, на котором только что сидел ее муж; на спинке стула висела салфетка. Она пристально смотрела прямо перед собой — танцоры проплывали перед ней, как тени. В конце зала она увидела Джорджа Болдуина, бледного и осунувшегося; он медленно, точно больной, пробирался к своему столу. Он постоял у стола, внимательно проверил счет, заплатил, опять постоял, растерянно поглядывая кругом. Он не мог не видеть ее. Лакей принес на подносе сдачу и низко поклонился. Болдуин обвел мрачным взглядом лица танцующих, круто повернулся и вышел. Вспоминая невыносимую сладость лилий, она почувствовала, что глаза ее наполняются слезами. Она достала из серебряной сумочки карне* и быстро

пробежала его, ставя крестики серебряным карандашом. Потом подняла голову — усталая кожа ее лица была стянута отвращением — и кивнула лакею.

— Будьте добры, скажите мистеру Мак-Нийлу, что миссис Мак-Нийл хочет поговорить с ним. Он в баре.

— Сараево, Сараево... Телеграфные провода сходят с ума! — орал Беллок у стойки в лица и стаканы.

— Слушайте-ка,— конфиденциально говорил Джо О'Киф, ни к кому в частности не обращаясь,— один парень, работающий на телеграфе, рассказывал мне, что недалеко от Сент-Джона, Ньюфаундленд, было большое морское сражение. Говорят, британцы потопили там сорок немецких военных судов.

— Война сейчас же прекратится.

— Да ведь она еще не объявлена.

— Откуда вы знаете? Кабели так забиты, что невозможно узнать ни одной новости.

— А вы слыхали — на Уолл-стрит еще четверо обанкротились?

— Чикагский хлебный рынок взбесился...

— Надо закрыть все биржи, пока не уляжется буря.

— А вот когда немцы снимут штаны с Англии, они дадут Ирландии свободу.

— Биржа будет завтра закрыта.

— У кого есть капитал и голова на плечах, тому теперь самое время заработать.

— Ну, Беллок, старина, я иду домой! — сказал Джимми.— Сегодня у меня день отдыха, и я хочу использовать его.

Беллок подмигнул и пьяно помахал рукой. Голоса дрожали в ушах Джимми резиновым гулом, близко, далеко, близко, далеко. «Умереть как собака, марш вперед!» — сказал он. Он истратил все деньги. У него оставался один четвертак. «Расстрелян на рассвете. Объявление войны. Начало военных действий. И они оставили его наедине с его славой. Лейпциг, Пустыня, Ватерлоо — там построенные в боевом порядке парни стояли и стреляли...* Не могу взять такси, все равно, я хотел пройтись пешком. Ультиматум. Воинские поезда поют, несутся на бойню, засунув цветок за ухо. И позор тому, кто сидит дома, в то время как...»

Когда он шел по песчаной тропинке к шоссе, кто-то взял его под руку.

— Вы ничего не будете иметь против, если я пойду с вами? Я больше не хочу оставаться здесь.

— Конечно, идем, Тони, я собираюсь прогуляться.

Херф шел большими шагами, глядя прямо перед собой. Небо затянулось тучами и чуть заметно светилось молочным лунным светом. Справа и слева, за лиловато-серыми конусами случайных дуговых фонарей, мрак был испещрен редкими огоньками. Впереди смутными уступами вставало зарево улиц, желтое и красное.

— Вы не любите меня, правда? — задыхаясь, спросил Тони Хентер, помолчав несколько минут.

Херф замедлил шаги.

— Я вас мало знаю, но мне кажется, что вы очень славный человек....

— Не лгите! У вас нет никаких оснований лгать... Я покончу жизнь самоубийством сегодня же ночью.

— Не делайте этого... К чему?

— Вы не имеете права говорить, чтобы я не убивал себя! Вы ничего не знаете обо мне. Если бы я был женщиной, вы не были бы так равнодушны.

— Что же вас мучает?

— Я схожу с ума... Все так ужасно! Когда я впервые встретил вас у Рут, то подумал, что мы будем друзьями, Херф. Вы казались таким симпатичным, таким чутким... Я думал, что вы такой же, как я, но теперь вы стали таким бесчувственным...

— Я думаю, это из-за газеты. Но меня скоро выставят оттуда, не беспокойтесь.

— Я устал от вечной нищеты. Я хочу удачи.

— Ну, вы еще молоды... Вы, наверно, моложе меня.

Тони ничего не ответил.

Они шли по широкой улице, между двумя рядами почерневших домов. Трамвай, желтый и длинный, со свистом и шипением промчался мимо них.

— Мы, должно быть, в Флэтбуше?

— Херф, я думал, что вы такой же, как я, но теперь я все время встречаю вас с женщинами.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я никогда никому не говорил об этом... Боже мой, если вы только кому-нибудь скажете!.. В детстве, когда мне было одиннадцать-двенадцать лет... Я ужасно рано созрел.— Он рыдал.

Проходя под фонарем, Джимми увидел блеск слез на его щеках.

— Я и вам бы ничего не рассказал, если бы не был пьян...

— Ну, в детстве это бывает почти со всеми... Не стоит из-за этого огорчаться.

— Но я и теперь такой, вот в чем ужас! Я не могу любить женщин. Я пробовал, пробовал... Вы понимаете, меня поймали. Мне было так стыдно, что я несколько недель не ходил в школу. Моя мать плакала. Мне так стыдно! Я так боюсь, что все узнают... Я борюсь, борюсь, скрываю свои чувства...

— Но, может быть, все это фантазия? Это может пройти. Пойдите к психоаналитику...

— Я никому не могу рассказать. Сейчас я пьян и потому говорю об этом. Я искал в энциклопедии... Этого нет даже в словаре! — Он остановился и, прислонясь к фонарному столбу, закрыл лицо руками.— Этого нет даже в словаре!

Джимми Херф погладил его по спине.

— Не убивайтесь, ради Бога. Таких, как вы, очень много. Сцена кишит ими.

— Я ненавижу их... В таких я не влюбляюсь... Я ненавижу себя. Я уверен, что теперь вы тоже будете ненавидеть меня.

— Что за глупости. Какое мне дело!

— Теперь вы знаете, почему я решил покончить с собой... Это несправедливо, Херф, несправедливо!.. Мне не повезло в жизни. Мне пришлось зарабатывать кусок хлеба, как только я окончил школу. Я служил лакеем в летних отелях. Моя мать жила в Леквуде, и я посылал ей все, что зарабатывал. Я много работал, чтобы стать тем, что я есть. Но если кто-нибудь узнает — будет страшный скандал, все откроется и я окажусь на улице.

— Этот грех приписывают всем юношам, и никто особенно не возмущается.

— Когда мне не дают какой-нибудь роли, я всегда думаю, что это из-за того. Я ненавижу и презираю этих людей... Я не хочу быть «мальчиком»! Я хочу играть на сцене. Какой это ад, какой это ад!

— Но вы же сейчас репетируете что-то?

— Дурацкую пьесу, которая никогда не выйдет за пределы нашего театра. Ну вот, если вы теперь услышите, что я это сделал, то вы не будете удивлены.

— Что именно сделали?

— Покончил с собой.

Они шли молча. Начал накрапывать дождик. В конце улицы, за низкими, зелено-черными коробками домов изредка мелькала розовато-серая молния. От асфальта поднимался запах мокрой пыли, прибитой крупными каплями дождя.

— Тут должна быть поблизости станция подземной дороги... Кажется, там, вдали, синий фонарь... Пойдемте-ка скорее, а то мы промокнем.

— К черту. Тони, мне наплевать, промокну я или нет.

Джимми снял шляпу и махал ею. Дождевые капли холодили ему лоб, запах дождя, крыш, грязи и асфальта ослаблял едкий вкус виски и сигар во рту.

— Ужас! — вскричал он внезапно.

— Что?

— Все эти половые истории. Я никогда до сего дня не представлял себе всего ужаса этих переживаний. Господи, вы, должно быть, безумно страдаете... Мы все страдаем. Просто вам безумно не повезло. Мартин обычно говорил: «Все было бы много лучше, если бы вдруг зазвонили колокола и каждый рассказал каждому, как он жил, что делал, как любил...» Когда пытаешься скрыть некоторые вещи, они начинают гнить. Как все это ужасно! Как будто и без того жизнь недостаточно сложна и трудна.

— Я пойду на станцию.

— Вам придется целый час ждать поезда.

— Что же делать... Я устал и не хочу больше мокнуть.

— Ну, спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Херф.

Раздался долгий раскат грома. Дождь пошел сильней. Джимми нахлобучил шляпу и поднял воротник. Ему хотелось бежать, и выть, и ругаться, надрывая легкие. Молния сверкала в стылых, мертвых окнах. Дождь барабанил по мостовой, по окнам магазинов, по бурым каменным ступеням. Его колени были мокры, дождевые капли щекотали спину, холодные струйки стекали из рукавов по рукам, все его тело зудело и чесалось. Он шел по Бруклину. Полчища кроватей в спальнях-каморках, спящих людей, переплетенных и скрюченных, как корни растений в цветочном горшке. Полчища ног, скрипящих по ступеням меблированных домов, рук, нащупывающих дверные ручки. Полчища пульсирующих висков и одиноких тел, распростертых неподвижно на кроватях.

J'ai fait trois fois le tour du monde...
Vive le sang, vive le sang![1]

«Moi monsieur, je suis anarchiste...» И трижды приплывал прелестный наш корабль, и трижды приплывал... К черту! И погрузился на дно морское... Мы в мясорубке...

[1] Да здравствует кровь! (*фр.*)

J'ai fait trois fois le tour du monde...
Dans mes voy... ages.

Объявление войны... рокот барабанов... едоки мяса маршируют в красных мундирах за стремительной палочкой тамбурмажора в мохнатой шапке, похожей на муфту, серебряные палочки выбивают стремительную дробь, дробь, дробь... перед лицом мировой революции... Начало военных действий — бесконечным шествием по залитым дождем, пустым улицам. Экстренный выпуск, экстренный выпуск, экстренный выпуск! Санта-Клаус убил свою дочь, которую пытался изнасиловать. И сам застрелился из ружья... упер ружье в подбородок и нажал курок большим пальцем ноги. Звезды смотрят вниз на Фредериктаун. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Vive le sang, vive le sang!»

— Черт побери, я весь промок! — громко сказал Джимми Херф.

Куда он ни глядел, перед ним в пелене дождя простиралась пустынная улица между двумя рядами мертвых окон, кое-где унизанных лиловыми бляхами дуговых фонарей. Он безнадежно пошел дальше.

VI. ПЯТЬ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ

Пара поспешно садится. СТОЯТЬ В ВАГОНЕТКАХ СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ. Цепь скрежещет, цепляется за зубцы; вагонетка толчками всползает наверх, покидая жужжащие огни, покидая запах толпы и солонины и земляных орехов, карабкаясь и скрежеща в высокой ночи сентябрьских метеоров.

Море, болотные испарения, огни парохода, покидающего док. За широкой полосой лилового индиго мерцает маяк. Вниз. Море всхлипывает, огни взлетают. Ее волосы у его губ, его рука на ее ребрах, их бедра трутся.

Вихрь падения захлестнул их вопль, они с грохотом взлетают вверх мимо кружевных стропил. Вниз. Вверх. Пузырчатые огни в сандвиче из мрака и моря. Вниз. СОХРАНЯЙТЕ ВАШИ МЕСТА ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ПОЕЗДКИ.

— Войдите, Джо, я посмотрю — может быть, старуха даст вам что-нибудь поесть.

— Очень любезно с вашей стороны... э... я не... э-э... одет... все-таки дама...

— Ей все равно. Она же мне мать. Садитесь, я ее сейчас позову.

Харленд сел в темной кухне в кресло возле двери и положил руки на колени. Он смотрел на них. Они были красные, грязные, шершавые и дрожали. От дешевого виски, которое он пил всю последнюю неделю, его язык стал похожим на терку, во всем теле чувствовались оцепенение и тупая боль. Он смотрел на свои руки.

Джо О'Киф вернулся в кухню.

— Она внизу. Говорит, что на плите есть суп... Вот вам пока. Это вас подкрепит... Эх, Джо, вот бы вам туда, где я был вчера! Я был в ресторане за городом — возил хозяину известие о том, что на днях закрывается биржа... Ну и насмотрелся я там! Вы ничего подобного в жизни не видали. Один парень — кажется, он известный адвокат — стоял в прихожей и орал, как помешанный. Какой у него был вид! А потом он вытащил револьвер или что-то в этом роде, а мой хозяин спокойненько подходит — знаете, как он ходит, прихрамывая и опираясь на палочку,— отнимает у того револьвер и прячет его к себе в карман, прежде чем кто-нибудь успел рот раскрыть... Этот самый адвокат, Болдуин,— его приятель, понимаете? Ничего подобного я в жизни не видал! А Болдуин, представьте себе, весь скрючился...

— Я вам говорю, паренек,— сказал Джо Харленд,— всем рано или поздно придет конец...

— А как они едят! Отчего вы, кстати, не едите?

— У меня нет аппетита.

— Ничего, ничего, поешьте... А скажите-ка, Джо, что это за история с войной?

— Кажется, на этот раз дело серьезное... Я знал, что война неминуема, еще во время Агадирского инцидента*.

— Черт побери, мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь снял штаны с Англии за то, что она не хочет дать автономию Ирландии.

— Нам придется помогать Англии... Но все-таки я не представляю себе, чтобы это затянулось надолго. Те люди, что держат в руках международные финансы, не допустят затяжной войны. В конце концов, кошелечек-то в руках у банкира.

— Мы не станем помогать Англии после всего, что она проделала с Ирландией и во время американской революции, и во время гражданской войны...

— Джо, вы напичкались историческими книгами из публичной библиотеки... Вы лучше читайте биржевые отчеты и не позволяйте дурачить себя газетной болтов-

ней о забастовках, восстаниях и социализме... Я бы хотел, чтобы вам было хорошо, Джо... Ну ладно, я пойду.

— Куда вы? Подождите минутку, мы разопьем бутылочку.

Они услышали, как кто-то тяжело споткнулся и затопал по коридору.

— Кто там?

— Это ты, Джо?

Огромный парень с льняными волосами, широкими плечами, четырехугольным красным лицом и толстой короткой шеей, пошатываясь, ввалился в комнату.

— Кто это, по-вашему?.. Это мой брат Майк.

Майк стоял, покачиваясь, упирая подбородок в грудь. Его плечи уходили под низкий потолок кухни.

— Видали кита? Майк, сколько раз тебе говорил, чтобы ты не приходил домой, когда ты пьян!.. Этот верзила способен разнести весь дом в щепы.

— Что? Уж и домой приходить нельзя? С тех пор, как ты стал моим опекуном, Джо, ты придираешься ко мне еще больше, чем покойный отец. Слава Богу, что я скоро уезжаю из этого проклятого города. Тут с ума спятить можно! Если бы я мог попасть на какую-нибудь посудину, уходящую в море раньше «Золотых Ворот», клянусь Богом, меня бы уже тут не было.

— Да я вовсе не гоню тебя. Но я не хочу, чтобы у меня в доме вечно был кавардак.

— Я делаю, что хочу, понял?

— Уходи, Майк! Ты вернешься, когда протрезвишься.

— Хочу посмотреть, как ты меня отсюда выкинешь.

Харленд поднялся.

— Ну, я пойду,— сказал он.— Надо поглядеть — может быть, достану работу.

Майк со сжатыми кулаками лез на Джо. Тот выдвинул челюсть и схватил стул.

— Я тебе череп прошибу!

— Пресвятая Богородица, неужели старой женщине нет покою в собственном доме? — Маленькая седоволосая старуха, визжа, бросилась между ними.

У нее были блестящие черные глаза, широко расставленные на сморщенном, как печеное яблоко, лице. Она махала заскорузлыми кулаками.

— Замолчите вы! Вы только и умеете ругаться и драться, безбожники проклятые!.. Майк, иди наверх, ложись в кровать и протрезвись.

— Это самое и я ему говорю,— сказал Джо.

Она повернулась к Харленду и скрипучим голосом крикнула:

— И вы тоже убирайтесь! Не желаю, чтобы ко мне в дом шлялись пьяные бродяги. Убирайтесь вон отсюда! Мне плевать, кто вас привел.

Харленд посмотрел на Джо со слабой, горькой улыбкой, пожал плечами и вышел.

— Поденщица,— пробормотал он, бредя по пыльной улице мимо темнолицых кирпичных домов.

Ноги у него окостенели и ныли. Знойное полуденное солнце било в спину, как кулаком. В ушах — голоса прислуг, поденщиц, кухарок, стенографисток, секретарш: «Да, мистер Харленд; благодарю вас, мистер Харленд; о сэр, благодарю вас; сэр, благодарю от всей души, мистер Харленд...»

Щекоча веки красными иглами, солнце будит ее; она вновь погружается в лиловые войлочные коридоры сна, вновь просыпается, переворачивается, зевая, на другой бок, подгибает колени к подбородку, чтобы потуже натянуть вокруг себя сладкодремотный кокон. Тележка дребезжит на улице, солнце ложится жаркими полосами ей на спину. Она отчаянно зевает, опять поворачивается и лежит, уже совсем проснувшись, подложив руки под голову, глядя в потолок. Откуда-то издалека сквозь улицы и стены домов к ней проникает вопль пароходной сирены — так хилая водоросль пробивается сквозь прибрежный песок. Эллен садится на кровати, трясет головой, чтобы согнать севшую ей на лицо муху. Муха улетает и растворяется в солнечных лучах, но где-то внутри нее остается глухое, безотчетное гудение, какой-то остаток горьких ночных мыслей. Но она счастлива, она проснулась, и еще рано. Она встает и бродит в ночной сорочке по комнате.

Паркетный пол нагрелся от солнца и жжет подошвы ног. Воробьи чирикают на подоконнике. Из верхнего окна доносится стук швейной машины. Когда она выходит из ванны, ее тело становится упругим и гладким; вытираясь полотенцем, она считает часы предстоящего долгого дня. Прогулка по шумным пестрым городским улицам, к той пристани на Ист-ривер, где громоздятся большие брусья красного дерева, потом утренний завтрак в одиночестве у «Лафайета», хрустящие булочки и сливочное масло, покупки у Лорда и Тэйлора* прежде, чем магазин будет полон и продавщицы устанут; второй завтрак с...

И тут мука, терзавшая ее всю ночь, взбухает и прорывается.

— Стэн, Стэн, ради Бога! — говорит она громко.

Она сидит перед зеркалом и тупо смотрит в черноту своих расширенных зрачков.

Она поспешно одевается и выходит, идет вниз по Пятой авеню и потом по Восьмой улице ни на кого не глядя. Солнце уже стало жарким и закипает аспидно на тротуарах, на стеклах витрин, на мраморно-пыльных эмалированных вывесках. Лица проходящих мужчин и женщин смяты и серы, как подушки, на которых слишком долго спали. Когда она переходит Лафайет-стрит, ревущую грузовиками и фургонами, во рту у нее — вкус пыли; пыль хрустит на зубах. Она проходит мимо разносчиков с тележками; продавцы вытирают мраморные доски киосков с прохладительными напитками, шарманка заполняет всю улицу яркими, крикливыми завитушками «Дунайских волн», от ларька с пряностями веет острым и едким. На Томпкинс-сквер дети, визжа, копошатся на влажном асфальте. У ее ног вьется рой мальчишек в грязных рваных рубашонках, со слюнявыми ртами; они толкаются, дерутся, царапаются, от них пахнет заплесневелым хлебом. Вдруг Эллен чувствует, что у нее слабеют колени. Она поворачивается и идет обратно той же дорогой.

Солнце — такое тяжелое, как его рука на ее спине, оно ласкает ее голые руки, как его пальцы ласкали ее; оно — его дыхание на ее щеке.

— Все пять законных оснований,— сказала Эллен в крахмальную грудь худощавого человека с выпуклыми, похожими на устрицы глазами.

— Стало быть, развод — дело решенное? — спросил он торжественно.

— Да, развод решен обоюдно.

— Мне, как старому другу обеих сторон, чрезвычайно прискорбно слышать это.

— Поверьте, Дик, я очень люблю Джоджо. Я ему многим обязана... Он — чудесный человек во многих отношениях, но мы должны развестись.

— Есть кто-нибудь третий?

Она посмотрела на него блестящими глазами и полуутвердительно кивнула.

— Но ведь развод — очень серьезный шаг, моя дорогая юная леди.

— Не такой серьезный, как все остальное.

Они увидели Гарри Голдвейзера. Он шел к ним через большой, с ореховыми панелями зал. Она повысила голос:

— Говорят, что битва на Марне решит исход войны.

Гарри Голдвейзер сжал ее руку двумя пухлыми ладонями и склонился над ней.

— Как это чудесно, Элайн, что вы приходите к старым холостякам, проводящим лето в городе, и не даете им надоесть друг другу до смерти! Хелло, Сноу! Как дела, старик?

— Почему вы еще в городе?

— Разные дела... И, кроме того, я ненавижу летние курорты... На Лонг-Бич* еще ничего. А в Бар-Харбор я не поеду и за миллион.

Мистер Сноу фыркнул.

— Как будто бы я слышал, что вы приобрели себе около какого-то курорта кусочек земли, Голдвейзер.

— Я купил себе дачу, вот и все. Прямо удивительно! Человек не может купить себе дачу, чтобы об этом завтра же не знал каждый газетчик с Таймс-сквер*. Идемте обедать, сейчас сюда придет моя сестра.

Рыхлая женщина в усеянном блестками платье вошла, как только они уселись за стол в просторном, увешанном оленьими рогами обеденном зале; у нее был высокий бюст и желтоватый цвет лица.

— О, мисс Огльторп, я так рада видеть вас,— прощебетала она тихим голоском попугая.— Я часто видела вас на сцене. Вы душка... Я умоляла Гарри познакомить меня с вами.

— Это моя сестра Рэчел,— сказал Голдвейзер, обращаясь к Эллен и не вставая.— Она ведет мое хозяйство.

— Сноу, я хочу, чтобы вы помогли мне уговорить мисс Огльторп участвовать в «Zinnia Girls». Честное слово, эта роль прямо для нее написана.

— Но она такая маленькая...

— Конечно, это не главная роль, но с точки зрения вашей репутации как актрисы капризной и изысканной она — гвоздь пьесы.

— Хотите еще рыбы, мисс Огльторп? — пискнула мисс Голдвейзер.

Мистер Сноу фыркнул.

— Теперь нет больше великих актеров. Бутс*, Джефферсон*, Мэнсфилд* — все умерли. В наше время самое важное — реклама. Актеры и актрисы рекламируются на рынке, как патентованные лекарства. Ведь так, Элайн?.. Реклама, реклама!

— Нет, рекламой не создать успеха. Если бы вы могли посредством рекламы добиться всего, то любой режиссер в Нью-Йорке был бы уже миллионером,— вмешался Голдвейзер.— Нет, тут дело в какой-то таинственной, оккультной силе, которая заставляет уличную толпу идти именно в этот, а не в какой-нибудь другой театр и создает этому театру успех. Понимаете? Ни реклама, ни хвалебные статьи не помогут. Быть может, это гений, быть может, это удача, но если вы сумеете дать публике именно то, чего она хочет, в нужный момент и в нужном месте, то вы создадите гвоздь сезона. И именно это Элайн дала нам в последнем спектакле... У нее был контакт со зрительным залом. Вы можете взять лучшую пьесу в мире, раздать роли величайшим актерам — и пьеса провалится с треском... Я не знаю, в чем тут дело, да и никто этого не знает... Вечером вы ложитесь спать с головой, набитой трухой, а наутро просыпаетесь с блестящей идеей, которой обеспечен оглушительный успех. Режиссер так же мало в этом повинен, как метеоролог в хорошей погоде. Так ведь?

— Но вкусы нью-йоркского зрителя ужасно извратились со времен покойного Уоллока*.

— Ах нет, я видела несколько прелестных пьес,— чирикнула мисс Голдвейзер.

Весь долгий день любовь вилась в завитках волос... в темных завитках... вспыхивала в темной стали... билась... высоко... о Господи... высоко... ярко... Она вонзала вилку в извилистое, белое сердце салата. Она произносила слова, в то время как совсем другие слова рассыпались внутри нее, точно разорванная нитка бус. Она сидела, разглядывая картину: две женщины и двое мужчин обедали за столом в комнате с высокими панелями под дрожащим хрустальным канделябром. Она подняла голову и увидела маленькие, грустные, птичьи глаза мисс Голдвейзер, устремленные на ее лицо.

— О да, летом Нью-Йорк гораздо приятнее, чем зимой. Летом меньше шума, суеты...

— О да, вы совершенно правы, мисс Голдвейзер.— Эллен вдруг обвела стол улыбкой.

Весь долгий день любовь вилась в завитках над высоким лбом, вспыхивала в темной стали глаз...

В такси толстые колени Голдвейзера прижимались к ее коленям, в его глазах трепетала тонкая паутина, его глаза ткали сладкую, душную сеть вокруг ее шеи и лица. Мисс Голдвейзер сидела, расползаясь рядом с ней. Дик

Сноу сосал незажженную сигару, катая ее языком. Эллен старалась точно вспомнить, как выглядит Стэн, вспомнить его гибкое тело канатного плясуна. Она не могла вспомнить все его лицо полностью, она видела глаза, губы, ухо.

Таймс-сквер была полна разноцветных огней, световых зигзагов, извилин. Они поднялись на лифте в отель «Астор». Эллен шла вслед за мисс Голдвейзер между столиками сада на крыше. Мужчины во фраках и женщины в легких муслиновых платьях оглядывались и провожали ее взглядами, которые прилипали к ней, как клейкие усики виноградных побегов. Оркестр играл «В моем гареме». Они сели за столик.

— Будем танцевать? — спросил Голдвейзер.

Она улыбнулась ему в лицо кривой, надломленной улыбкой и позволила обнять себя за талию. Его большое, поросшее торжественными, одинокими волосами ухо было на уровне ее глаз.

— Элайн,— дышал он ей в ухо,— честное слово, я думал, что я благоразумный человек.— Он перевел дух.— Но это не так. Вы волнуете меня, дорогая девочка, и я с ужасом признаюсь в этом. Почему вы не можете полюбить меня хоть немножко? Я бы хотел... чтобы мы обвенчались, как только вы официально получите развод... Неужели же вы не можете быть хоть немножко поласковее со мной? Я бы мог сделать для вас очень много... В Нью-Йорке я мог бы быть вам очень полезен...

Музыка замолкла. Они стояли в стороне под пальмой.

— Элайн, поедем в мою контору, подпишите контракт... Я хотел пригласить Феррари... Мы вернемся через пятнадцать минут.

— Я должна подумать... Я никогда ничего не делаю, не продумав ночь.

— Вы сводите меня с ума!

Внезапно она вспомнила все лицо Стэна. Он стоял перед ней в мягкой рубашке, с криво повязанным бантом, со встрепанными волосами, пьяный.

— Элли, я так рад видеть вас...

— Познакомьтесь с мистером Эмери, мистер Голдвейзер.

— Я только что вернулся из замечательно интересного путешествия. Жалко, что вас не было с нами... Мы ездили в Монреаль, Квебек* и вернулись через Ниагару. И с того момента, как только мы покинули милый, старый Нью-Йорк, мы ни одной минуты не были трезвы, пока

нас не арестовали на Бостонском шоссе за то, что мы ехали с недозволенной скоростью. Так ведь, Перлайн?

Эллен пристально глядела на покачивавшуюся рядом со Стэном девушку в маленькой соломенной шляпке с цветами, надвинутой на водянистые голубые глаза.

— Элли, познакомьтесь с Перлайн... Красивое имя, правда? Я чуть не лопнул, когда она сказала мне, что произошло... Ах да, вы ничего не знаете!.. Мы так далеко забрались на Ниагаре, что, когда спохватились, оказалось, что мы женаты... У нас есть даже брачное свидетельство с анютиными глазками.

Эллен не могла смотреть на него. Оркестр, гул голосов, стук тарелок вздымались спирально вокруг нее все громче и громче.

— Спокойной ночи, Стэн.— Ее голос царапал ей язык; произнося слова, она отчетливо слышала их.

— Элли, пожалуйста, побудьте с нами...

— Нет... Спасибо...

Она снова начала танцевать с Гарри Голдвейзером. Сад закружился сначала очень быстро, потом медленнее. Колыхание шума вызывало тошноту.

— Простите, Гарри, я на минутку,— сказала она,— я вернусь к столу.

В дамской комнате она осторожно опустилась на плюшевый диван. Достала из сумочки круглое зеркальце и поглядела в него. Из черных отверстий ее зрачков темнота изливалась до тех пор, пока все кругом не стало черным.

Джимми Херф устал: он гулял весь день. Он сел на скамейку неподалеку от Аквариума и стал смотреть на воду. Свежий сентябрьский ветер подернул сталью мелкую зыбь гавани и аспидно-голубое, пятнистое небо. Большой белый пароход с желтой трубой проходил мимо статуи Свободы. Дым тащившего его буксира был вырезан резкими зубцами, точно из бумаги. Несмотря на скученные постройки верфей, конец Манхэттэна казался ему носом баржи, медленно и ровно плывшей по водам гавани. С криком кружились чайки. Он внезапно вскочил. «Черт, надо что-нибудь начать делать!»

Он стоял в течение секунды, напрягая мускулы, балансируя на пятках. У оборванца, разглядывавшего иллюстрации в воскресной газете, было знакомое лицо.

— Хелло,— сказал он нерешительно.

— Я знаю, кто вы такой,— сказал оборванец не подавая ему руки.— Вы — сын Лили Херф... Я думал, что вы

не заговорите со мной... И действительно, зачем вам со мной разговаривать?

— Ну да, конечно, вы кузен Джо Харленд!.. Я ужасно рад вас видеть... Я часто думал о вас.

— Что думали?

— Не знаю... Знаете, это смешно... Родственники всегда кажутся совсем другими людьми, чем ты сам.— Херф опять сел на скамью.— Хотите папиросу?.. Плохую, правда...

— Мне все равно... Чем вы занимаетесь, Джимми? Вы не сердитесь, что я вас так называю? — Джимми Херф зажег спичку; она потухла, он зажег другую и поднес ее Харленду.— Я неделю не курил... Спасибо.

Джимми посмотрел на сидевшего рядом с ним человека. Глубокая впадина его серой щеки и резкая складка, тянувшаяся от угла рта, образовали острый угол.

— Должно быть, думаете, какой я подонок? — сказал Харленд, брызгая слюной.— Вы жалеете, что сели рядом со мной? Вам жалко, что ваша мать воспитала вас джентльменом, а не ханжой, как все прочие?

— Я работаю репортером в «Таймс»... Мерзкое занятие, меня тошнит от него,— сказал Джимми, с трудом выдавливая из себя слова.

— Не говорите так, Джимми, вы еще слишком молоды... С такими взглядами на жизнь вы недалеко уйдете.

— Предположите, что я и не хочу пойти далеко.

— Бедняжка Лили так гордилась вами. Она хотела, чтобы вы были великим человеком... Вы были предметом ее честолюбия... Вы не должны забывать вашу мать, Джимми. Она была мне единственным другом во всем этом проклятом семействе.

Джимми рассмеялся:

— А разве я говорю, что я не честолюбив?

— Ради Бога, ради вашей покойной матери, будьте осмотрительны. Вы только начинаете жить... Вся наша жизнь зависит от ближайших двух-трех лет. Взгляните на меня.

— Да, неважную, можно сказать, жизнь устроил себе Чародей Уолл-стрит... Нет, дело в том, что я не хочу больше подчиняться всему тому, чему нужно подчиняться в этом проклятом городе. Мне надоело подхалимствовать перед кучкой тупиц, которых я не уважаю... А вы что делаете, кузен Джо?

— Не спрашивайте...

— Смотрите... Вы видите тот пароход с красными трубами? Это французский крейсер. Смотрите — с кор-

мового орудия снимают брезент... Я хочу пойти на войну... Одна беда — я плохой вояка.

Харленд кусал губы. Помолчав, он вдруг заговорил хриплым, надтреснутым голосом.

— Джимми, я хочу вас кое о чем попросить... ради Лили... Э-э... у вас есть... э-э... какая-нибудь мелочь? Обстоятельства... так сложились, что я не ел как следует уже два-три дня... Я, знаете ли, немножко ослаб...

— Конечно! Я как раз хотел предложить вам выпить со мной чашечку кофе или чаю... На Вашингтон-стрит есть замечательный восточный ресторан.

— Пойдемте,— сказал Харленд, с трудом поднимаясь.— А вам не стыдно показаться с таким чучелом?

Харленд уронил газету. Джимми наклонился, чтобы поднять ее. Из бесформенных коричневых пятен клише всплыло лицо; что-то задергалось внутри Джимми, как нерв больного зуба. Нет, это не она, она так не выглядит, да... Талантливая молодая актриса, имевшая оглушительный успех в «Zinnia Girls».

— Спасибо, не беспокойтесь, я ее тут нашел,— сказал Харленд.

Джимми уронил газету. Она упала лицом вниз.

— Какие у них отвратительные фотографии, правда?

— А я люблю их разглядывать... Я люблю быть в курсе всего, что делается в Нью-Йорке... Нищим, знаете ли, тоже не возбраняется смотреть на королей.

— Да нет, я только хотел сказать, что они отвратительно снимают.

VII. АМЕРИКАНСКИЕ ГОРЫ

Свинцовый сумрак тяжело ложится на худые плечи пожилого человека, идущего по направлению к Бродвею. На углу у киоска что-то щелкает в его глазах. Сломанная кукла среди раскрашенных говорящих кукол, он бредет дальше, уронив голову в кипение и гуд, в жерло унизанного бусами букв зарева.

— Я помню, когда тут были луга,— ворчит он, обращаясь к маленькому мальчику.

«Ассоциация Луис Экспрессе» — красные буквы плаката пляшут джигу в глазах Стэна. Традиционные юбилейные танцы. Молодые люди и девушки входят. «Парами звери вошли — кенгуру слонов вели». Гром и

звон оркестра вырывается из дверей зала. На улице дождь. «Еще река. Еще мне осталась одна река». Он отворачивает воротник пиджака, собирает губы в трезвую улыбку, платит два доллара и входит в большой, гулкий зал, увешанный красными, белыми и синими тряпками. Вдруг — такое головокружение, что на минуту прислоняется к стене. «Еще мне осталась река...» Пол, на котором танцуют бесчисленные парочки, колышется, как палуба корабля. «У стойки вернее».

— Гэс Мак-Нийл здесь,— шепчут кругом.— Добрый старый Гэс.

Тяжелые руки хлопают по широким спинам, черные на красных лицах орут рты. Стаканы поднимаются и звенят, сверкая, поднимаются и звенят, танцуя. Рыхлый краснолицый человек с глубоко сидящими глазами и курчавыми волосами проходит по залу, хромая, опираясь на палку.

— Каков парень, а?

— Да, Гэс — это человек.

— Хозяйская голова!

— Молодчина старик Мак-Нийл!.. Наконец-то заглянул к нам.

— Здравствуйте, мистер Мак-Нийл.

В зале стихает. Гэс Мак-Нийл машет палкой.

— Спасибо, ребята... Ну-ну, веселитесь... Бэрк, старина, налейте всем за мой счет.

— И патер Молвени с ним... Молодец патер Молвени!

— Прямо король этот Мак-Нийл!

Он такой веселый, славный малый,
Кто посмеет это отрицать?..

Широкие, почтительно согнутые спины провожают медленно шагающую среди танцоров группу. «Павиан большой, озарен луной, расчесывал длинные волосы».

— Хотите танцевать?

Девушка поворачивается к нему белой спиной и уходит.

Я холостяк и живу одиноко,
Я ткацким живу ремеслом...

Стэн видит себя; он поет во все горло перед своим отражением в зеркале. Одна бровь у него вздернута кверху до самых волос, другая опустилась на ресницы.

— Нет, я не распутник, я женатый человек... Бейте всякого, кто скажет, что я не женат и не гражданин города Нью-Йорка, графство Нью-Йорк, штат Нью-Йорк...— Он стоит на стуле и говорит речь, ударяя кулаком правой руки по ладони левой.— Ри-имляне, сограждане, друзья, одолжите мне пять долларов!.. Я Цезаря пришел похоронить, а не хвалить... Согласно конституции города Нью-Йорка, графство Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, надлежащим образом засвидетельствованной и подписанной генеральным прокурором, согласно акта от тринадцатого июля тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года... К черту римского папу!

— Брось трепаться!

— Ребята, выкиньте этого молодца за дверь... Он не из наших!

— Черт его знает, как он сюда попал... Он мертвецки пьян.

Стэн, закрыв глаза, прыгает в гущу кулаков. Его хватили в глаз, в челюсть, и, точно пуля, он вылетает на моросящую дождем, прохладную, тихую улицу. «Ха-ха-ха!»

Ибо я холостяк и живу одиноко,
И еще мне осталась одна река,
Еще река до Иордана,
Еще мне осталась одна река...

Когда он опомнился, в лицо ему дул холодный ветер, и он сидел на скамье парома. Зубы его стучали, он трясся.

«У меня белая горячка. Кто я? Где я? Город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк... Стэнвуд Эмери, двадцати двух лет, род занятий — студент... Перлайн Андерсон, двадцати одного года, род занятий — актриса... Ну ее к черту! У меня было сорок девять долларов и восемьдесят центов. Где я был, черт возьми? И никто меня не колотил. И никакой белой горячки у меня нет. Я чувствую себя прекрасно, только немножко хрупко. Мне ничего не нужно, кроме небольшой выпивки, а вам? Фу ты, черт, я думал — тут кто-то есть. Лучше помолчать».

Сорок девять долларов висели на стене,
Сорок девять долларов висели на стене.

За оловянной водой — высокие стены, над березовой рощей загородных домов мерцало розовое утро, точно

призыв рога в шоколадно-буром тумане. Когда паром подошел ближе, дома сомкнулись в гранитную гору, изрезанную узкими, как лезвие ножа, каньонами. Паром прошел вплотную мимо бочкообразного парохода, стоявшего на якоре и накрененного в сторону Стэна так сильно, что он мог видеть всю палубу. Рядом с пароходом стоял буксир. С палубы, загроможденной, точно дынями, повернутыми кверху лицами, тянуло затхлым. Три дикие чайки с жалобными стонами кружились над ней. Одна из чаек взвилась спиралью, белые крылья поймали луч солнца, чайка неподвижно повисла в бело-золотом сиянии. Край солнца поднялся над лиловой грядой облаков за Нью-Йорком. Миллионы окон загорелись пламенем. Глухой шум и рокот доносились из города.

И парами звери вошли —
Кенгуру слонов вели,
Еще мне осталась одна река,
Еще река до Иордана.

В белесом рассвете фольговые чайки кружились над разбитыми ящиками, над гнилыми кочанами капусты, над апельсинными корками, выглядывавшими из-за расщепленных свай, зеленые волны пенились под круглым носом, паром тормозил течение, глотал взволнованную воду, громыхал, скользил, медленно вошел в гнездо. Зажужжали лебедки, загрохотали цепи, распахнулись ворота. Стэн вместе с толпой вошел в деревянный, пропахший навозом туннель и вышел к солнечному стеклу и скамьям Бэттери. Он сел на скамью и обхватил колени руками, чтобы они не тряслись. Его голова звенела и бренчала, как механическое пианино.

Великая дева на белом коне...
Перстни на пальцах, на ногах бубенцы,
И несет она гибель во все концы...

«Были Вавилон и Ниневия, они были построены из кирпича. Афины — златомраморные колонны. Рим — широкие гранитные арки. В Константинополе минареты горят вокруг Золотого Рога, как огромные канделябры... О, мне осталась одна река... Сталь, стекло, черепица, цемент — из них будут строиться небоскребы. Скученные на узком острове, миллионнооконные здания будут,

сверкая, вздыматься — пирамида над пирамидой — подобно белым грядам облаков на грозовом небе...»

Шел дождь сорок дней и сорок ночей,
Опрокинулась в небе лейка,
Лишь один человек пережил потоп —
Длинноногий Джек с Перешейка.

«Господи, я бы хотел быть небоскребом!»

Замок крутился, выталкивая ключ. Стэн искусно выждал момент и поймал замок. Он проскочил стремглав в открытую дверь, пробежал длинную переднюю и, зовя Перлайн, помчался в спальню. Пахло как-то странно, пахло запахом Перлайн. «К черту!» Он схватил стул — стул хотел убежать, он взлетел над головой Стэна и грохнулся в окно, стекло задрожало и зазвенело. Он выглянул на улицу. Улица встала на дыбы. Выдвижная лестница и пожарная машина карабкались по ней, кувыркаясь, волоча за собой пронзительный вой сирены. Пожар, пожар, воды, воды! Убытков на тысячу долларов, убытков на сто тысяч долларов, убытков на миллион долларов. Небоскребы вздымаются пламенем, в пламени, в пламени. Он отскочил в комнату. Стол перекувырнулся. Горка с фарфором вскочила на стол. Дубовые стулья взобрались на горку, потянулись к газовому рожку. «Воды, воды! Не люблю я этого запаха — в городе Нью-Йорке, графство Нью-Йорк, штат Нью-Йорк». Он лежит на спине на полу вертящейся кухни и смеется, и смеется. «Один человек пережил потоп — он едет верхом на великой деве на белом коне. Вверх, в пламя, вверх, вверх!»

— Керосин,— прошептал потнорожий бидон в углу кухни.

«Воды, воды!»

Он стоял, шатаясь, на скрипучих, перевернутых стульях, на перевернутом столе. Керосин лизал его белым холодным языком. Он качнулся, вцепился в газовый рожок.. газовый рожок поддался; он лежит на спине в луже, зажигает спички — влажные, не загораются. Спичка вспыхнула, зажглась; он осторожно прикрыл огонек ладонями.

— Да, но мой муж ужасно честолюбив,— говорила Перлайн синей шерстяной женщине в бакалейной лав-

ке.— Он любит хорошо пожить и тому подобное, но я в жизни не встречала более честолюбивого человека. Он хочет уговорить своего отца, чтобы тот послал нас за границу,— он будет изучать архитектуру. Он намерен стать архитектором.

— Ах, для вас это будет сплошным удовольствием. Такая поездка... Еще что прикажете, мисс?

— Нет, кажется, я ничего не забыла... Если бы это был кто-нибудь другой, я бы волновалась. Я его уже два дня не видела. Наверно, поехал к отцу.

— А вы только что обвенчались?

— Я бы вам не рассказывала, если бы что-нибудь было не в порядке. Нет, он ведет себя честно, хорошо... Ну, прощайте, миссис Робинзон.

Она взяла свертки под мышку и, размахивая бисерной сумочкой, вышла на улицу. Солнце еще пригревало, хотя в ветерке уже чувствовалось дыхание осени. Она подала монету слепцу, крутившему на шарманке вальс из «Веселой вдовы». Надо будет все-таки слегка побранить его, когда он вернется домой, а то он будет часто пропадать. Она свернула в Двухсотую улицу. Люди смотрели из окон, собиралась толпа. Где-то горело. Она вдохнула запах гари. У нее побежали мурашки по спине; она любила пожары. Она заторопилась. «Ого, как раз перед нашим домом!» Дым, плотный, как джутовый мешок, валил из окна пятого этажа. Она вдруг начала дрожать. Мальчишка-негр, прислуживавший у лифта, бежал к ней навстречу. У него было зеленое лицо.

— В нашей квартире! — взвизгнула она.— Только неделю тому назад привезли мебель... Пустите меня!

Она уронила свертки, бутылка со сливками разбилась о плиты тротуара. Перед ней вырос полисмен, она бросилась на него и начала колотить его по широкой синей груди. Она не могла удержать свой визг.

— Все в порядке, дамочка, все в порядке,— бурчал он низким басом.

Она билась головой об его грудь и чувствовала, как в груди гудит его голос.

— Его снесли вниз, он только угорел, только угорел.

— Стэнвуд, мой муж! — завизжала она.

Все кругом почернело. Она ухватилась за две блестящие пуговицы на мундире полисмена и упала в обморок.

VIII. ЕЩЕ РЕКА ДО ИОРДАНА

Человек кричит, стоя на ящике из-под мыла на углу Второй авеню и Хаустона* напротив кафе «Космополитен»:

— Друзья... рабы заработной платы, каким когда-то был и я... Эти люди сидят у вас на шее... они вырывают у вас пищу изо рта. Где все те красивые девушки, которых я раньше видел на бульваре? Поищите их в загородных кабаках... Ребята, они выжимают нас, как губку... рабочие, нет, не рабочие, а рабы — так будет вернее... они отнимают у нас нашу работу, наши идеи, наших женщин... Они строят отели, клубы миллионеров, театры, стоящие много миллионов, военные корабли, а что они оставляют нам?.. Они оставляют нам недоедание, рахит и грязные улицы, залитые помоями... Вы бледны, друзья? Вам не хватает крови?.. Почему у вас нет крови в жилах?.. В России бедняки... немногим беднее, чем мы... верят в вампиров, высасывающих по ночам кровь из людей... Вот это и есть капитализм... вампир, высасывающий вашу кровь... днем... и... ночью...

Падает снег. Хлопья его золотятся, падая мимо уличных фонарей. Сквозь зеркальные стекла кафе «Космополитен», полное голубых, зеленых и опаловых расселин дыма, кажется мутным аквариумом; белые лица плавают вокруг столов, похожие на странных рыб. Зонтики пузырятся гроздьями над заснеженной улицей. Оратор поднимает воротник и быстро идет по Хаустону, неся грязный ящик из-под мыла на отлете, чтобы не замарать брюки.

Лица, шляпы, руки, газеты плясали в потном, ревущем вагоне подземной дороги, как зерна в жаровне.

— Джордж,— сказал Сэндборн Джорджу Болдуину, который висел на ремне возле него,— видите новый дом Фитцджеральда?

— Я скоро увижу кладбище, если не выберусь отсюда сию же минуту.

— Вам, плутократам, иногда бывает полезно посмотреть, как путешествует простая публика... Может быть, вы приглядитесь и уговорите ваших приятелей из Таммани-холла* прекратить болтовню и хоть сколько-нибудь облегчить нам, рабам заработной платы, существование... Черт побери, я бы мог им кое-что посоветовать... У меня есть план бесконечных движущихся платформ под Пятой авеню.

— Это вы придумали лежа в больнице, Фил?

— Я много чего придумал, лежа в больнице.

— Сойдем здесь и пойдем пешком. Я больше не могу... Я не привык.

— Хорошо... Я позвоню Эльзи, что опоздал к обеду... Нынче не часто с вами можно встретиться, Джордж... Совсем как в былые дни.

Клубок мужчин и женщин, рук, ног, сдвинутых на потные затылки шляп вынес их на платформу. Они пошли по Лексингтон-авеню, недвижной в винном закатном зареве.

— В самом деле, Фил, как это вас угораздило попасть под колеса?

— Честное слово, не знаю, Джордж... Последнее, что я помню,— я повернул голову, чтобы посмотреть на какую-то чертовски красивую женщину, проезжавшую в такси, а потом я сразу очнулся в больнице и пил воду со льдом из чайника.

— Стыдно, Фил, в ваши годы!..

— Знаю, знаю... Только не я один грешен.

— Да, удивительно, как такие вещи врываются в жизнь... Позвольте, а что вы обо мне слышали?

— Ничего, Джордж, не волнуйтесь — ничего особенного... Я видел ее в «Zinnia Girls»... Она имеет успех. Премьерша у них гораздо слабее.

— Послушайте, Фил, если вы услышите какие-нибудь сплетни про мисс Огльторп, ради Бога, пресекайте их. Это чертовски глупо! Стоит вам пойти выпить чашку чая с женщиной, как уже всякий и каждый считает себя вправе трепать языком по всему городу. Я не хочу скандала, хотя мне вообще наплевать.

— Придержите коней, Джордж.

— Я в настоящий момент нахожусь в очень щекотливом положении — этим все сказано. А затем мы с Сесили наконец как-то договорились, создали какой-то модус... Я не хочу опять нарушать его.

Они молча пошли дальше.

Сэндборн шел, держа шляпу в руке. Он был почти совсем сед, но брови у него были еще черные и густые. Через каждые несколько шагов он менял походку, точно ему было больно ступать. Он откашлялся.

— Джордж, вы спрашивали меня, не придумал ли я чего-нибудь, лежа в больнице... Помните, много лет тому назад старик Спекер говорил о стекловидной и суперэмалированной черепице. Так вот, в больнице я работал над его формулой... У одного из моих приятелей на заводе есть печь на две тысячи градусов каления; он обжига-

ет в ней глиняную посуду. По-моему, это дело можно поставить по-коммерчески... Можно произвести революцию в промышленности. В соединении с цементом такая черепица невероятно увеличила бы податливость материалов, имеющихся в распоряжении архитекторов. Мы могли бы изготовлять черепицу любого цвета, размера и отделки... Вообразите себе этот город, когда все эти дома, вместо серо-грязного цвета, засверкают яркими красками. Представьте себе красные карнизы на небоскребах. Цветная черепица произведет переворот во всей городской жизни! Вместо того чтобы подражать готическому и романскому стилю, мы могли бы создать новые рисунки, новые краски, новые формы. Если бы город был хоть чуточку красочным, кончилась бы вся эта жестокая, бессодержательная, скованная жизнь... Было бы больше любви и меньше разводов...

Болдуин расхохотался:

— Вот еще выдумал!.. Мы еще как-нибудь поговорим об этом, Фил. Приходите к нам обедать, когда Сесили будет дома,— расскажите нам все подробно... А почему Паркхерст вам не поможет?

— Я не хочу посвящать его в это дело. Он будет тянуть переговоры до бесконечности, а когда формула будет у него в руках, он меня оставит с носом. Я не доверю ему и пяти центов.

— Почему он не возьмет вас в компаньоны, Фил?

— Он крутит мной как хочет. Он знает, что на мне лежит вся работа в его проклятой конторе. Но он знает и то, что я почти ни с кем не умею ладить. Ловкая штучка!

— Все-таки, я думаю, вы могли бы предложить ему ваш проект.

— Он крутит мной как хочет и знает это... Я делаю всю работу, а он загребает деньги... Я думаю, что, в сущности, так и должно быть. Если бы у меня были деньги, я все равно бы их истратил. Я — непутевый человек.

— Но послушайте, Фил, вы же немногим старше меня... У вас еще вся карьера впереди.

— Да-да, десять часов в день за чертежным столом... Знаете,. мне бы очень хотелось, чтобы вы заинтересовались моим проектом.

Болдуин остановился на углу и похлопал ладонью по своему портфелю.

— Вы знаете, Фил, что я рад оказать вам любую помощь... Но как раз в данный момент мои финансовые дела ужасно запутаны. Я впутался в кое-какие довольно

рискованные предприятия, и Бог знает, как я из них выкручусь... Вот почему я сейчас не хочу ни развода, ни скандала, ничего вообще... Я не буду браться ни за какие новые дела по крайней мере в течение года. Из-за войны в Европе все наши дела стали ужасно неустойчивы. Бог знает, что может случиться.

— Ну ладно. Спокойной ночи, Джордж.

Сэндборн резко повернулся на каблуках и пошел обратно по авеню. Он устал. Ноги у него болели. Уже почти стемнело. По дороге к станции грязные кирпичные и каменные стены монотонно тянулись мимо него, как дни его жизни.

Железные тиски сдавливают виски под кожей; кажется, что голова вот-вот лопнет, как яйцо. Она начинает ходить большими шагами по комнате, духота колет ее иглами, цветные пятна картин, ковры, кресла окутывают ее душным, жарким одеялом. Задний двор за окном исполосован синими, фиолетовыми и топазовыми лентами дождливых сумерек. Она открывает окно. Не поспеть за сумерками, как говорил Стэн. Телефон протянул к ней трепещущие, бисерные щупальца звона. Она с силой захлопывает окно. «Черт бы их побрал, не могут оставить человека в покое!»

— А, Гарри, я не знала, что вы вернулись... Не знаю, смогу ли я... Да, думаю, что смогу. Приходите после спектакля... Что вы говорите! Вы мне потом все расскажете...— Не успела она повесить трубку, как телефон опять зазвенел.— Хелло... Нет, не могу... Да, может быть, смогу... Когда вы приехали? — Она засмеялась звонким телефонным смехом.— Говард, я ужасно занята... Честное слово... Вы были на спектакле?.. Ужасно интересно, как вы съездили... Вы мне расскажете... Прощайте, Говард.

«Надо пойти погулять — лучше станет».

Она сидит за туалетным столиком и распускает волосы. «Сколько возни с ними. Надо будет вовсе остричься... Быстро отрастут... Тень белой смерти... Нельзя так поздно вставать, круги под глазами... И у дверей Невидимая Гибель... Если бы я могла плакать. Есть люди, которые могут выплакать себе глаза, по-настоящему ослепнуть от слез... Все равно, развод надо довести до конца... Черт, уже шесть часов!» Она снова начинает ходить взад и вперед по комнате. «Я родилась ужасно далеко, невероятно далеко...»

Звонит телефон.

— Хелло... Да, это мисс Огльторп... А, Рут! Мы с вами целую вечность не виделись... со времен миссис Сондерленд... С радостью повидаю вас. Приходите, мы перекусим по дороге в театр... Третий этаж.

Она дает отбой и вынимает из шкафа дождевик. Запах меха, нафталина и платьев щекочет ей ноздри. Она снова распахивает окно и глубоко вдыхает холодный, влажный, гниловатый осенний воздух. С реки доносится пыхтенье большого парохода. «Ужасно далеко от этой бессмысленной жизни, от этой идиотской, тупой толчеи. Мужчина может обручиться с морем вместо женщины; а женщина?»

Телефон снова сыплет бисерный звон. Одновременно звонят на парадной.

— Хелло... Нет, к сожалению, не узнаю... Кто говорит?.. Ларри Хопкинс? А я думала, что вы в Токио... Вас еще не отправили?.. Конечно, мы должны повидаться... Дорогой мой, это просто ужасно, но я эти две недели нарасхват. Сегодня вечером прямо сумасшедший дом. Позвоните завтра в двенадцать, может быть, я как-нибудь устроюсь... Обязательно встретимся, друг мой...

Рут Прин и Кассандра Вилкинс входят, отряхивая зонтики.

— Ну, будьте здоровы, Ларри... Как это мило с вашей стороны... Раздевайтесь. Касси, хотите с нами обедать?

— Я чувствовала, что должна повидать вас. Вы имели такой успех, такой удивительный успех,— проговорила Касси надорванным голосом.— Ах, милочка, я была в таком ужасе, когда узнала про мистева Эмеви. Я плакава, плакава... Пвавда, Вут?

— Какая у вас прелестная комната! — одновременно с ней восклицает Рут.

В ушах Эллен — болезненный звон.

— Мы все когда-нибудь умрем,— вырывается у нее неожиданно грубо.

Рут постукивает ногой в калоше по полу; она перехватывает взгляд Касси — та мямлит что-то и замолкает.

— Не пойти ли нам? Уже поздно,— говорит Рут.

— Простите меня на минутку, Рут.

Эллен бежит в ванную и захлопывает дверь. Она сидит на краю ванны и колотит себя сжатыми кулаками по коленям. «Эти женщины сведут меня с ума!» Потом напряжение ослабевает, она чувствует, как что-то вытекает из нее, точно вода из умывальника. Она спокойно подкрашивает губы.

Возвратившись в комнату, она говорит своим обычным голосом:

— Ну, пойдемте... Получили роль, Рут?

— Мне представлялась возможность поехать в Детройт с одной труппой. Я отказалась... Я не уеду из Нью-Йорка, что бы ни случилось.

— А я не знаю, что бы дала — лишь бы уехать из Нью-Йорка... Честное слово, если бы мне предложили петь в кино в самой глухой провинции, я бы сразу же согласилась.

Эллен берет зонтик, и три женщины спускаются гуськом по лестнице и выходят на улицу.

— Такси! — зовет Эллен.

Проезжающий автомобиль скрежещет и останавливается. Красное ястребиное лицо шофера вплывает в свет уличного фонаря.

— На Четырнадцатую улицу,— говорит Эллен, пока Рут и Касси влезают в автомобиль.

Зеленоватые огни и куски мрака мелькают мимо унизанных бусинками света окон.

Она стояла под руку с Гарри Голдвейзером, глядя поверх перил сада на крыше. Гарри Голдвейзер был в смокинге. Под ними, мерцая огнями, испещренный туманными пятнами, лежал, как упавшее небо, парк. Сзади на них шквалами налетали звуки танго, щум голосов, шарканье танцующих ног.

— Бернар, Рашель*, Дузе*, Сиддонс...* Понимаете, Элайн, нет выше искусства, чем театр. Никакое искусство не может так передать человеческие переживания... Если бы я только мог сделать то, что мне хочется, мы были бы величайшим в мире народом, а вы — величайшей актрисой... Я был бы великим режиссером, гениальным творцом — понимаете? Но публике не нужно искусство, наш народ не позволяет о себе заботиться. Ему нужна мелодрама с сыщиками или мерзкий французский фарс с дрыганьем ножками, смазливыми хористками и музыкой... Ну что ж, обязанность режиссера — давать публике то, что она требует.

— По-моему, в этом городе живут легионы людей, жаждущих непостижимых вещей... Посмотрите на него.

— Ночью, когда ничего не разобрать, он хорош. Но в нем нет художественности, нет красивых зданий, нет духа старины — вот в чем ужас.

Минуту они стояли молча. Оркестр заиграл вальс из «Лилового домино».

Вдруг Эллен повернулась к Голдвейзеру и проговорила необычно резко:

— Вы можете понять женщину, которой порой хочется быть проституткой, простой девкой?

— Моя дорогая юная леди, как странно слышать такие слова от прелестной молодой женщины!

— Вы, наверно, шокированы?

Она не слыхала его ответа. Она чувствовала, что вот-вот расплачется. Он вонзила острые ногти в ладони рук; она задерживала дыхание до тех пор, пока не сосчитала до двадцати. Потом сказала дрожащим голосом маленькой девочки:

— Гарри, пойдем, потанцуем немножко.

Небо над картонными домами — свинцовый свод. Если бы шел снег, было бы не так мрачно. Эллен нанимает такси на углу Седьмой авеню, падает на сиденье и трет онемевшими в перчатке пальцами правой руки ладонь левой.

— На Пятьдесят седьмую улицу, пожалуйста.

Из-под болезненной маски усталости она сквозь трясущееся окно провожает глазами фруктовые лавки, вывески, строящиеся дома, тележки, девушек, посыльных, полисменов. «Если у меня будет ребенок, ребенок Стэна, он вырастет, чтобы трястись по Седьмой авеню под свинцовым бесснежным небом и провожать глазами фруктовые лавки, вывески, строящиеся дома, тележки, девушек, посыльных, полисменов...» Она сдвигает колени, выпрямляется на краю сиденья, стискивает руками живот. «Господи, со мной сыграли гнусную шутку, у меня отняли Стэна, сожгли его, мне ничего не оставили — только то, что шевелится во мне и убьет меня!» Она всхлипывает в онемевшие ладони. «Господи, хоть бы снег пошел!»

Она стоит на серой мостовой и роется в кошельке. Порыв ветра, крутящий в сточной канаве клочки бумаги, набивает ее рот пылью. Лицо у лифтера круглое, из черного дерева с инкрустацией из слоновой кости.

— Миссис Стоунтон Уэллс.

— Да, мадам, восьмой этаж.

Лифт жужжит, поднимаясь. Она стоит, глядя на себя в узкое зеркало. Внезапно что-то неудержимо веселое прохватывает ее. Он смахивает пыль с лица скомканным носовым платком, отвечает улыбкой на улыбку лифтера, открывающего рот, как клавиатуру рояля, и бодро стучит в дверь. Дверь открывает плоеная горничная*. В квартире

пахнет чаем, мехом и цветами, женские голоса щебечут под звон чайных чашек, точно куры на птичьем дворе. Взгляды порхают вокруг ее лица, когда она входит в комнату.

Скатерть была залита вином и томатным соусом. В ресторане было дымно; на стенах висели голубые и зеленые акварели с видами Неаполитанского залива. Эллен откинулась на спинку стула. Она сидела за столом в компании молодых людей и следила, как дым ее папиросы обвивается спиралью вокруг пузатой бутылки кьянти, стоявшей перед ней. На ее тарелке одиноко таял кусочек трехцветного мороженого.

— Но ведь есть же у человека хоть какие-нибудь права... Нет, промышленная цивилизация заставит нас, в конце концов, добиваться перемены правительства и всего социального строя...

— Какие длинные слова он употребляет,— шепнула Эллен Херфу, сидевшему рядом с ней.

— И все-таки он совершенно прав,— проворчал тот в ответ.

— Результатом явилось сосредоточение в руках немногих лиц такой власти, какой мы не знаем на протяжении всей мировой истории, начиная от рабовладельческих времен Египта и Месопотамии...

— Слушайте, слушайте!

— Я говорю совершенно серьезно... Единственный путь борьбы — это объединение рабочих, пролетариата, производителей, потребителей — называйте их как хотите — путем организации союзов. Эти союзы должны окрепнуть настолько, чтобы в один прекрасный день захватить власть.

— Вы не правы, Мартин, именно «ужасные капиталисты» , как вы их называете, создали эту цветущую страну.

— Хороша страна!.. Я бы не поселил здесь и собаки.

— Я не согласен. Я восхищаюсь этой страной. Другой родины у меня нет... И, по-моему, все эти угнетенные массы сами хотят, чтобы их угнетали. Они ни на что другое не годны... если бы это было не так, все они были бы преуспевающими дельцами... Люди, способные хоть на что-нибудь, всегда выдвигаются.

— Но я не думаю, чтобы преуспевающий делец был высшим идеалом человеческих стремлений.

— Во всяком случае, он больше приближается к идеалу, чем какой-нибудь сумасшедший агитатор-анархист. Все они либо доктринеры, либо сумасшедшие.

— Слушайте, Мид, вы ругаете то, чего вы не понимаете, о чем вы не имеете ни малейшего представления... Я не могу этого допустить... Вы должны постичь суть вещей, прежде чем ругать их сплеча.

— Вся эта социалистическая чепуха оскорбительна для интеллигентного человека.

Элли потянула Херфа за рукав.

— Джимми, я хочу домой. Вы меня проводите?

— Мартин, рассчитайтесь, пожалуйста, за нас. Нам надо идти... Элли, вы страшно бледны.

— Здесь немножко жарко... Уф, легче стало!.. Терпеть не могу споров. Я никогда не знаю, что мне говорить.

— Эти люди из вечера в вечер жуют одну и ту же жвачку.

Восьмая авеню была окутана густым, не дававшим дышать туманом. Сквозь туман тускло мерцали фонари, лица всплывали и таяли, как рыбы в мутном аквариуме.

— Вы чувствуете себя лучше, Элли?

— Гораздо лучше.

— Я ужасно рад.

— Знаете, вы здесь единственный человек, который называет меня Элли. Мне это нравится... Все стараются дать мне почувствовать, что я взрослая, с тех пор как я на сцене.

— Стэн также называл вас Элли.

— Может быть, поэтому я так люблю это имя,— сказала она тихим протяжным голосом (так кричат ночью, стоя на берегу моря).

Джимми чувствовал, как что-то сжимает ему горло.

— О Господи, как все гнусно! — сказал он.— Если бы я мог все свалить на капитализм, как Мартин.

— Как приятно гулять... Я люблю туман.

Они шли молча. Колеса громыхали сквозь удушающий туман. Их сопровождал далекий вой сирен и пароходные свистки.

— У вас по крайней мере карьера... Вы любите вашу работу, вы имеете огромный успех,— сказал Херф на углу Четырнадцатой улицы и взял ее под руку, чтобы помочь перейти на ту сторону.

— Не говорите так... Ведь вы сами в это не верите. Я не такой самовлюбленный ребенок, как вы думаете.

— Но ведь это же так!

— Это было так до моей встречи со Стэном, до того, как я полюбила его... Понимаете, я была глупой, обожающей сцену девочкой и окунулась в совершенно не-

понятный мне мир прежде, чем узнала, что такое жизнь. В восемнадцать лет я вышла замуж, в двадцать два развелась — славный рекорд... Но Стэн был так изумителен...

— Я знаю.

— Ничего не говоря, он заставлял меня чувствовать, что есть иные вещи... вещи необычайные...

— И все-таки я ненавижу его за его безумие... Все впустую...

— Я не могу говорить об этом.

— Не будем.

— Джимми, вы — единственный человек, с которым я могу говорить.

— Не доверяйте мне слишком. Я когда-нибудь тоже могу наброситься на вас...

Они рассмеялись.

— Господи, как я рад, что не мертв! А вы, Элли?

— Не знаю... Ну, вот мы и пришли. Не поднимайтесь ко мне... Я сейчас же лягу. Я чувствую себя отвратительно...

Джимми стоял, держа шляпу в руках, и глядел на нее. Она рылась в сумочке, искала ключ.

— Джимми... Все равно, я вам скажу...

Она подошла к нему и быстро заговорила, отвернув голову и тыча в него ключом, в котором мерцали отсветы уличного фонаря. Густой туман был вокруг них, как шатер.

— У меня скоро будет ребенок... ребенок Стэна. Я откажусь от всей этой пустой жизни и буду воспитывать его. Все равно... Будь что будет.

— О, это самое честное и прекрасное, что может сделать женщина... Элли, вы — чудесная! Если бы я только мог сказать вам, как я...

— Нет, нет.— Ее голос оборвался, глаза наполнились слезами.— Я дурочка, вот и все.— Ее лицо сморщилось, как у маленького ребенка, и она побежала вверх по лестнице. Слезы струились по ее лицу.

— Элли, я хотел вам сказать...

Дверь захлопнулась.

Джимми Херф стоял внизу как вкопанный. В висках у него стучало. Ему хотелось взломать дверь. Он упал на колени и поцеловал ступеньку, на которой она только что стояла. Туман обволакивал его, пестрел вокруг него красным конфетти. Потом трубное чувство восторга отхлынуло, и он начал падать в черный трюм. Он стоял как вкопанный. Полисмен, проходя, испытующе посмотрел

на него — стройная синяя колонна, помахивающая дубинкой. Вдруг он сжал кулаки и пошел.

— Господи, как все гнусно,— сказал он вслух и вытер рукавом пальто пыль с губ.

Она берет его за руку, чтобы выйти из автомобиля, так как паром готов к отплытию — «спасибо, Ларри!» — и идет вслед за его высокой, подтанцовывающей фигурой на нос парома. Слабый ветерок с реки выдувает пыль и запах бензина из ее ноздрей. Среди жемчужной ночи квадратные остовы домов на том берегу мерцают, как догорающий фейерверк. Волны слабо бьются о борта парома. Горбун пилит на скрипке «Марионеллу».

— Ничто так не помогает, как успех,— говорит Ларри низким гудящим голосом.

— Ах, если бы вы знали, как мне все на свете безразлично, вы не стали бы терзать меня пустыми словами... Брак, успех, любовь — слова, слова...

— Но для меня они — все. Я думаю, вам понравится в Лиме, Элайн... Я ждал, пока вы будете свободны. И вот я здесь.

— Все мы — не те, что были... А я совсем окаменела.

Речной ветер пропитан солью. По виадуку над Сто двадцать пятой улицей трамваи ползут, как жуки. Паром входит в гнездо, и они слышат гул колес по асфальту.

— Поедем обратно в автомобиле, Элайн, чудесная.

— Правда, Ларри, забавно после такого дня опять окунуться в гущу города?

На грязной белой двери две кнопки с надписями «Дневной звонок» и «Ночной звонок». Она нажимает одну из них дрожащим пальцем. Низкий, полный человек с крысиным лицом и лоснящимися, черными, зачесанными на затылок волосами открывает дверь. Короткие, как у куклы, ручки цвета шампиньона болтаются вдоль его бедер. Он опускает плечи в поклоне.

— Вы и есть та дама?.. Войдите.

— Доктор Абрамс?

— Да... Мой друг мне звонил по телефону относительно вас... Садитесь, пожалуйста.

В комнате пахнет арникой. Ее сердце отчаянно колотится о ребра.

— Вы понимаете...— Ей противна дрожь ее голоса; она вот-вот потеряет сознание.— Вы понимаете, доктор Абрамс, это необходимо. Я развожусь с мужем и должна жить на собственные средства.

— Такая молодая... Несчастное замужество... Как жалко! — Доктор мягко мурлычет, как бы про себя; он испускает свистящий вздох и неожиданно вглядывается в ее глаза черными, жесткими, как буравчики, глазами.— Не бойтесь, милая леди, это пустяковая операция... Вы в данный момент готовы?

— Да. Это, наверное, продлится недолго? Я к пяти часам приглашена на чай.

— Да вы совсем молодец! Через час вы обо всем забудете... Какая жалость... Очень грустно, что подобные вещи являются необходимостью... Дорогая леди, у вас еще будут и дети, и домашний очаг, и любящий муж... Не откажите пройти в операционную и приготовиться... Я работаю без ассистента.

Яркий пучок света падает с середины потолка на острый, как бритва, никель, на эмаль, на ослепительный футляр с острыми инструментами. Она снимает шляпу и опускается, содрогаясь от подступающей тошноты, на невысокий эмалированный стул. Потом, как одеревенелая, подымается и развязывает тесемки на юбке.

Уличный грохот разбивается, как прибой, о раковину вибрирующей агонии. Она смотрит в зеркало: кожаная шляпа, пудра, подрумяненные щеки, подведенные губки — маска на ее лице. Все пуговки на перчатках застегнуты. Она поднимает руку.

— Такси!

Мимо нее с грохотом проносится пожарная машина, автонасос с потнолицыми людьми, натягивающими резиновые куртки, гремящая выдвижная лестница. Все ее ощущения тают в тающем диком вопле сирены. Раскрашенный деревянный индеец поднимает руку на углу.

— Такси!

— Да, мадам.

— К «Ритцу».

Часть третья

I. ВЕСЕЛЫЙ ГОРОДОК

На всех флагштоках Пятой авеню — флаги Яростный ветер истории рвет и мечет огромные полотнища на скрипучих, золотоверхих флагштоках Пятой авеню. Звезды на флагах медленно перекатываются из стороны в сторону по аспидному небу, красные и белые полосы корчатся, всползая к облакам.

В шквале духовых оркестров, конского топота, рокочущего грохота орудий — тени, подобные теням когтей, цепляются за тугие флаги, флаги — голодные языки, лижущие, вьющиеся, трепещущие.

«Долог путь до Типперери... Вперед! Вперед!»

Гавань набита полосатыми, как зебры, полосатыми, как скунсы, пароходами, канал Нэрроуз забит золотом, золотые соверены громоздятся до потолка в Казначействе. Доллары хнычут по радио, провода всех кабелей выстукивают доллары.

«Долог путь туда ведет... Вперед! Вперед!»

В вагоне подземки глаза вылезают из орбит, когда люди говорят про АПОКАЛИПСИС, тиф, холеру, шрапнель, восстание, смерть в огне, смерть в воде, смерть от голода, смерть в навозе.

«О, долог путь до мадмазелек за морями!
Янки идут, янки идут!»

На Пятой авеню гремят оркестры — День Займа Свободы*, День Красного Креста. Госпитальные суда вползают в гавань и тихонько выгружаются ночью в старых доках Джерси. На Пятой авеню флаги семнадцати держав сияют, вьются в яростном, голодном ветре.

«И ясень, и дуб, и плакучие ивы,
И в зелени яркой Господние нивы».

Огромные полотнища рвутся и мечутся на скрипучих золотоверхих флагштоках Пятой авеню.

Капитан Джеймс Меривейл лежал, закрыв глаза, пока мягкие пальцы нежно гладили его подбородок. Мыльная пена щекотала ему ноздри. Он вдыхал запах вежеталя, слышал гудение электрического вентилятора, стрекотание ножниц.

— Прикажете массаж лица, сэр, на предмет удаления угрей? — прожурчал парикмахер ему в ухо.

Парикмахер был лыс, у него был круглый синий подбородок.

— Хорошо,— сказал Меривейл,— делайте, что хотите. С момента объявления войны я в первый раз бреюсь как следует.

— Вы оттуда, капитан?

— Да... Боролся за идеалы демократии.

Парикмахер задушил его слова горячим полотенцем.

— Прикажете спрыснуть сиреневой водой, капитан?

— Нет, пожалуйста, никаких эссенций! Спрысните простым одеколоном или чем-нибудь антисептическим.

У белокурой маникюрши были слегка подведены ресницы; она смотрела на него зазывающе, раскрыв розовый бутон рта.

— Вы, вероятно, только что прибыли, капитан? Как вы загорели! — Он положил руку на маленький белый столик.— Давно вы не делали маникюр, капитан.

— Откуда вы знаете?

— Посмотрите, как отросла кожица.

— Мы были слишком заняты, чтобы заниматься маникюром. Я только с восьми часов утра свободный человек.

— О, должно быть, это было ужасно!

— Да, война была нешуточная.

— Представляю себе... А теперь вас совсем освободили?

— Да, но я остаюсь в запасе.

Кончив, она игриво ударила его по руке. Он поднялся, сунул чаевые в мягкую ладонь парикмахера и в жесткую ладонь негритенка, подавшего ему фуражку, и медленно спустился по белым мраморным ступеням. На площадке висело зеркало. Капитан Джеймс Меривейл остановился взглянуть на капитана Джеймса Меривейла. Он был высоким молодым человеком с прямыми чертами лица и легкой полнотой под подбородком; на нем был элегантный мундир с портупеей и петличками, украшенный немалым количеством орденских ленточек и нашивок. Серебро зеркала вспыхнуло на его ботфортах. Он кашлянул и оглядел себя с ног до головы. Молодой человек в штатском подошел к нему сзади.

— Хелло, Джеймс, уже почистились?

— Конечно... Не правда ли, глупо, что нам запрещают носить кобуру? Портит весь вид...

— Можете взять все кобуры и повесить их главнокомандующему на шею! Мне наплевать... Я — штатский.

— Не забудьте, что вы офицер запаса.

— Можете взять ваш запас и утопить его в море. Пойдем выпьем!

— Мне надо повидать родных.

Они вышли на Сорок вторую улицу.

— Ну, Джеймс, я пойду напьюсь на радостях. Подумайте только — наконец-то свобода!

— Прощайте, Джерри. Не делайте глупостей.

Меривейл пошел по Сорок второй улице. Флаги еще не были убраны; они свисали из окон, лениво колыхались на флагштоках в сентябрьском ветре. Он заглядывал в магазины, проходя: цветы, дамские чулки, конфеты, рубашки, галстуки, платья, цветные материи за сверкающими зеркальными стеклами, поток лиц, мужских, выскобленных бритвой лиц, женских лиц с накрашенными губами и напудренными носами. Кровь бросилась ему в голову. Он чувствовал возбуждение. Он нервничал, садясь в подземку.

— Смотри, сколько у этого нашивок. Все ордена...— услышал он, как перешептывались две девицы.

Он вышел на Семьдесят второй и, выпятив грудь, зашагал по знакомой бурой улице к реке.

— Здравствуйте, капитан Меривейл,— сказал лифтер.

— Ты свободен, Джеймс? — крикнула мать, падая в его объятия.

Он кивнул и поцеловал ее. В черном платье она выглядела бледной и увядшей. Мэзи, тоже в черном, высокая, румяная, появилась позади матери.

— Прямо удивительно, как вы обе хорошо выглядите!

— Конечно, мы здоровы... насколько это возможно. Мы перенесли ужасное горе... Теперь ты глава семьи, Джеймс.

— Бедный папа!.. Так умереть...

— При тебе этой болезни не было... Тысячи людей умерли от нее в одном только Нью-Йорке.

Он обнял одной рукой Мэзи, другой — мать. Все молчали.

— Да,— сказал Меривейл, проходя в гостиную,— война была нешуточная.

Мать и сестра шли за ним по пятам. Он опустился в кожаное кресло и вытянул лакированные ноги.

— Вы себе представить не можете, как это замечательно — вернуться домой.

Миссис Меривейл придвинула к нему свой стул.

— Теперь, милый, расскажи нам обо всем.

На темной площадке перед дверью он прижимает ее к себе.

— Не надо, не надо, не будь грубым!

Его руки, точно узловатые веревки, обвивают ее спину; ее колени трясутся. Его губы скользят к ее рту по скуле, вдоль носа. Она не может дышать, его губы закупорили ей губы.

— Я больше не могу!

Он отстраняется. Спотыкаясь, задыхаясь, она прислоняется к стене, поддерживаемая его сильными руками.

— Не надо огорчаться,— шепчет он нежно.

— Мне надо идти, уже поздно... В шесть надо вставать.

— А как ты думаешь, когда я встаю?

— Мама может поймать меня.

— Пошли ее к черту.

— Когда-нибудь я еще не то сделаю, если она не перестанет грызть меня.— Она берет его колючие щеки ладонями и целует его в губы.

Она оторвалась от него и бежит на четвертый этаж по грязной лестнице. Дверь еще заперта. Она снимает бальные туфельки и бесшумно проходит через кухню; у нее болят ноги. Из соседней комнаты доносится двойное храпение ее дяди и тети. «Кто-то любит меня, я не знаю кто...» Мотив проник в ее тело — он в трепете ее ног, в горячей спине, в том месте, где лежала его рука во время танцев. «Анна, ты должна забыть, иначе ты не заснешь. Анна, ты должна забыть». Тарелки на столе громко дребезжат — она задела стол.

— Это ты, Анна? — слышится сонный, сварливый голос матери.

— Я пью воду, мама.

Старуха, стиснув зубы, со стоном вздыхает, кровать скрипит, когда она поворачивается. Все во сне.

«Кто-то любит меня, я не знаю кто...» Она снимает бальное платье, надевает ночную сорочку. На цыпочках подходит к шкафу, чтобы повесить платье, потом скользит под одеяло, тихо, тихо, чтобы кровать не скрипнула. «Я не знаю кто...» Шаркают, шаркают ноги, яркие огни, розовые круглые лица, цепкие руки, тесные объятия, сплетающиеся ноги. «Я не знаю кто...» Шарканье, плач саксофона, шарканье в такт барабана, тромбон, кларнет. Ноги, объятия, щека к щеке. «Кто-то любит меня...» Шаркают, шаркают ноги. «Я не знаю кто...»

Младенец с маленькими сморщенными кулачками и темно-красным личиком спал на койке парохода. Эллен

нагнулась над черным кожаным несессером. Джимми Херф без пиджака глядел в иллюминатор.

— Уже видна статуя Свободы... Элли, надо подняться на палубу.

— Еще сто лет пройдет, пока мы доберемся... Иди наверх. Я через минуту поднимусь с Мартином.

— Идем, идем! Мы успеем уложить вещи, пока нас будут брать на буксир.

Они вышли на палубу в ослепительный сентябрьский зной. Вода была индигово-зеленая. Крепкий ветер выметал кольца коричневого дыма и хлопья белого, как вата, пара из-под огромной, высокой арки индигово-синего неба. На фоне туманного горизонта, изломанного баржами, пароходами, заводскими трубами, верфями, мостами, Нью-Йорк казался розовой и белой конусообразной пирамидой, вырезанной из картона.

— Элли, надо вынести Мартина — пусть он посмотрит.

— Он начнет реветь, как пароходная сирена... Пусть уж остается на месте.

Они нырнули под какие-то натянутые канаты и прошли мимо громыхающей лебедки на нос.

— Знаешь, Элли,— это лучшее зрелище в мире... Я не думал, что когда-нибудь вернусь обратно. А ты?

— Я всегда рассчитывала вернуться.

— Но не так.

— Да, пожалуй.

— S'il vous plait, madame...[1]

Матрос махал им рукой, чтобы они ушли. Эллен повернула лицо к ветру — ветер откинул ей со лба медные пряди волос.

— C'est beau, n'est-ce pas?[2] — Она улыбнулась ветру, красному лицу матроса.

— J'aime mieux le Havre...[3] S'il vous plait, madame.

— Ну, я пойду вниз, заверну Мартина.

Громкое пыхтение буксира, шедшего борт о борт с их паромом, заглушило ответ Джимми. Она отошла от него и спустилась в каюту.

У сходен они попали в самую давку.

— Подождем лучше носильщика,— сказала Эллен.

— Нет, дорогая, я все взял с собой.

---

[1] Прошу вас, мадам... (*фр.*)

[2] Красиво, не правда ли? (*фр.*)

[3] Мне больше нравится Гавр... (*фр.*)

Джимми потел и спотыкался с чемоданом в руках и свертками под мышкой. Ребенок ворковал на руках у Эллен, протягивая маленькие ручки к окружавшим его лицам.

— Знаешь,— сказал Джимми, спускаясь по сходням,— я бы хотел опять сесть на пароход... Не люблю приезжать домой.

— А я наоборот... Подожди, надо поискать Фрэнсис и Боба... Хелло...

— Будь я проклят, если...

— Елена, как вы похорошели, вы великолепно выглядите! Где Джимпс?

Джимми потирал руки, одеревеневшие от тяжелых чемоданов.

— Хелло, Херф!

— Хелло, Фрэнсис!

— Правда, замечательно?..

— Как я рада видеть вас!

— Знаешь что, Джимпс, я поеду с бэби прямо в «Бревурт-отель».

— Правда, он душка?

— Есть у тебя пять долларов?

— Только один доллар мелочью. И сотня чеком.

— У меня уйма денег, я поеду с Еленой в отель, а вы выкупайте багаж.

— Господин инспектор, можно мне пройти с ребенком? Мой муж займется багажом.

— Конечно, мадам, пожалуйста.

— Какой он славный! О Фрэнсис, как замечательно...

— Идите, Боб. Я один скорее справлюсь... Везите дам в «Бревурт».

— Неудобно вас оставлять одного.

— Идите, идите, ничего со мной не случится.

— Мистер Джеймс Херф с супругой и сыном — так?

— Да, так.

— Сию минуту, мистер Херф. Весь багаж тут?

— Какой он милый! — проговорила Фрэнсис, усаживаясь с Гилдебрандом и Эллен в автомобиль.

— Кто?

— Бэби, конечно.

— О, вы бы посмотрели!.. Ему ужасно нравится путешествовать...

Когда они выезжали из ворот, полицейский агент в штатском открыл дверцу такси и заглянул внутрь.

— Прикажете подышать на вас? — спросил Гилдебранд.

У заглянувшего было лицо, как кусок дерева. Он прикрыл дверцу.

— Елена еще не знает, что у нас запрещены спиртные напитки?*

— Он напугал меня... Посмотрите-ка сюда.

— Боже милосердный!

Из-под одеяла, в которое был завернут бэби, она вытащила коричневый сверток.

— Две кварты коньяку... Gout famille d'Erf...[1] И еще кварта в грелке под корсажем... Потому у меня и вид такой, словно у меня скоро будет еще один бэби.

Гилдебранды покатились со смеху.

— У Джимпса тоже грелка на животе и фляжка шартреза на бедре... Нам, верно, придется вытаскивать его из тюрьмы.

Подъезжая к отелю, они смеялись до слез. В лифте бэби начал хныкать.

Как только она закрыла дверь большой, залитой солнцем комнаты, она вытащила из-под платья грелку.

— Боб, позвоните, чтобы принесли льду и сельтерской... Будем пить коньяк с сельтерской!

— Не подождать ли Джимпса?

— Он скоро будет здесь... У нас нет ничего, подлежащего оплате таможенным сбором... Мы люди бедные... Фрэнсис, где тут покупают молоко?

— Откуда мне знать, Елена? — Фрэнсис Гилдебранд покраснела и отошла к окну.

— Ну, надо его покормить... На пароходе он вел себя молодцом.

Эллен положила бэби на кровать. Он лежал, дрыгая ногами, и глядел кругом темными, круглыми, золотистыми глазами.

— Какой он толстый!

— Он такой здоровый, что, по-моему, будет идиотом... Ай-ай-ай, я забыла позвонить папе!.. Семейная жизнь — ужасно сложная вещь.

Эллен поставила спиртовку на край умывальника. Мальчик принес стаканы, лед и сельтерскую на подносе.

— Ну, Боб, состряпайте нам коктейль. Надо выпить все, а то спирт разъест резину... А потом пойдем в кафе «Д'Аркур».

---

[1] Вкус семьи д'Эрф... (*фр.*)

— Вот вы не понимаете, девочки,— сказал Гилдебранд,— самое трудное при наличии сухого закона — это оставаться трезвым.

Эллен рассмеялась. Она склонилась над маленькой спиртовкой, от которой исходил уютный, домашний запах нагретого никеля и горящего спирта.

Джордж Болдуин шел по Мэдисон-авеню, перекинув легкое пальто через руку. Его утомленные мозги оживились в искрящемся осеннем сумраке улиц. Из квартала в квартал, под рокот автомобилей, в облаках бензина, два адвоката в черных сюртуках и крахмальных стоячих воротничках спорили в его мозгу. «Если ты пойдешь домой, в библиотеке будет уютно. В тихой сумеречной комнате ты будешь сидеть в туфлях в кожаном кресле под бюстом Сципиона Африканского, читать и есть поданный туда обед... Невада будет веселой и грубой, она расскажет тебе массу смешных историй... все городские сплетни... их полезно знать... Нет, ты больше не пойдешь к Неваде... опасно, она может серьезно увлечь тебя... А Сесили сидит, поблекшая, элегантная, стройная, кусает губы и ненавидит меня, ненавидит жизнь... Господи, как мне выпрямить мое существование?»

Он остановился перед цветочным магазином. Влажный, теплый, медовый, дорогой аромат густой волной лился из дверей в живую, голубовато-стальную улицу. «Если бы мне хоть удалось раз навсегда укрепить мое финансовое положение...» В окне был выставлен миниатюрный японский садик с гнутыми мостиками и прудами, в которых золотые рыбки казались китами. «Все дело в пропорции. Начертить себе план жизни, как делает благоразумный садовник, прежде чем пахать и сеять... Нет, я сегодня не пойду к Неваде. Пожалуй, послать ей цветы... Желтые розы — те, с медным отливом... Их бы следовало носить Элайн... Представляю себе ее замужем и с ребенком».

Он вошел в магазин.

— Что это за розы?

— «Золото Офира», сэр.

— Мне нужно сейчас же послать две дюжины в «Бревурт-отель». Мисс Элайн... то есть мистеру и миссис Джеймс Херф. Я напишу карточку.

Он сел за конторку и взял перо. «Благоухание роз, благоухание темного пламени ее волос... Ради Бога, не болтай вздора...»

«Дорогая Элайн!

Надеюсь, что вы разрешите старому другу навестить вас и вашего мужа на этой неделе. Помните, что я искренне желаю (вы меня слишком хорошо знаете, чтобы принять эти слова за пустую вежливость) служить и вам и ему всем, что в моих силах и что может способствовать вашему счастью. Простите меня за то, что я подписываюсь в качестве вашего раба и поклонника.

Джордж Болдуин».

Письмо заняло целых три карточки с маркой цветочного магазина. Он перечел их с начала до конца, надув губы, заботливо подправляя букву «t» и ставя точки над «i». Потом вынул из заднего кармана пачку кредиток, расплатился и вышел на улицу. Было уже совсем темно, около семи часов. Все еще колеблясь, он стоял на углу и смотрел на проезжавшие такси — желтые, красные, зеленые, оранжевые.

Тупоносый транспорт медленно вползает под дождем в Нэрроуз. Старший сержант О'Киф и рядовой Дэтч Робертсон стоят на подветренной стороне палубы и смотрят на длинный ряд судов, стоящих в карантине, и на низкий берег, застроенный верфями.

— Смотри-ка, на некоторых еще осталась боевая окраска... Это фонды морского ведомства. Они не стоят пороха, чтобы взорвать их.

— Будь они прокляты! — мрачно говорит Джо О'Киф.— Да, приветливо принимает нас Нью-Йорк...

— Мне наплевать, сержант,— что дождь, что вёдро.

Они проходят вплотную мимо стоящих на якоре пароходов, кренящихся то в одну, то в другую сторону, длинных с низкими трубами, широких с высокими трубами, краснух от ржавчины, раскрашенных защитными серо-голубыми полосами и пятнами. Человек в моторной лодке машет руками. Люди в хаки, столпившиеся на серой, залитой дождем палубе парохода, начинают петь:

Пехота, пехота,
С грязью за ушами...

В жемчужном тумане, за низкими строениями Говернор-Айленда маячат высокие пилоны, провода, воздушное кружево Бруклинского моста. Робертсон вытаскивает из кармана сверток и бросает его за борт.

— Что это такое?

— Мазь против насекомых... Мне она больше не нужна.

— Почему это?

— Буду жить в чистоте, найду работу и, пожалуй, женюсь.

— Неплохо придумано! Мне тоже надоело жить бобылем.

— Должно быть, на этих старых калошах люди здорово набивают карманы.

— Да, вот тут-то и наживают деньги.

— Будьте уверены, так оно и есть.

На палубе продолжают петь.

— Мы поднимаемся по Ист-ривер, сержант. Где эти дьяволы намерены высадить нас?

— Я прямо готов вплавь добраться до берега. И подумать только, сколько народу наживалось тут за наш счет... Десять долларов в день платили тут за работу в порту!

— Ничего, сержант, мы тоже кое-чему научились...

— Научились...

Aprés la guerre finie[1]
Обратно в Штаты едем...

— Держу пари, что шкипер нахлестался и принял Бруклин за Хобокен.

— Смотрите-ка — Уолл-стрит!

Они проходят под Бруклинским мостом. Над их головой жужжат и ноют трамваи, на мокрых рельсах вспыхивают фиолетовые искры. Позади них, за баржами, буксирами, паромами, высокие серые здания, в белых полосах пара и тумана, громоздятся в пухлые облака.

Пока ели суп, никто не разговаривал. Миссис Меривейл, в черном, сидела во главе овального стола, глядя в окно. Столб белого дыма клубился на солнце над паровозным парком, напоминая ей о муже и о том дне, когда, много лет тому назад, они пришли сюда смотреть квартиру в еще недостроенном доме, пахнувшем штукатуркой и краской. После супа она поднялась и сказала:

— Итак, Джимми, ты вернешься к журналистике?

[1] После того, как кончилась война (*фр.*).

— Вероятно.

— А Джеймс получил сразу три предложения. По-моему, это замечательно.

— А я думаю, что лучше всего будет работать с майором,— сказал Джеймс Меривейл, обращаясь к Эллен, сидевшей рядом с ним.— Вы знаете майора Гудьира, кузина Елена?

— Гудьира из Буффало? Он заведует иностранным отделом банковского треста.

— Он говорит, что очень скоро выдвинет меня. На фронте мы с ним были друзьями.

— Это будет чудесно,— проговорила Мэзи воркующим голосом.— Правда, Джимми? — Она сидела напротив него, стройная, розовая, в черном платье.

— Он зовет меня поехать в Пайпинг-Рок.

— Это что такое?

— Неужели ты не знаешь, Джимми? Кузина Елена наверняка пила там чай десятки раз.

— Знаешь, Джимпс,— проговорила Эллен, не поднимая глаз,— туда каждое воскресенье ездил отец Стэна Эмери.

— О, вы знали этого несчастного молодого человека? Ужасная история! — сказала миссис Меривейл.— Столько ужаса было в эти годы... А я уже совсем про него забыла.

— Да, я его знала,— сказала Эллен.

Подали жаркое с зеленью и молодой картошкой.

— По-моему, это ужасно нехорошо,— сказала миссис Меривейл, раздав жаркое,— что никто из вас не хочет рассказать нам о фронте... Ведь, должно быть, вы пережили много интересного. Джимми, отчего бы вам не написать об этом книгу?

— Я написал несколько статей.

— Когда же они выйдут в свет?

— Никто не хочет печатать их... Я со многими людьми радикально расхожусь во взглядах...

— Миссис Меривейл, я сто лет не ела такой замечательной молодой картошки.

— Да, картошка вкусная... Я умею варить ее.

— Да, то была великая война,— сказал Меривейл.— Где ты был в день перемирия, Джимми?

— В Иерусалиме с Красным Крестом. Нелепо, правда?

— А я в Париже.

— И я тоже,— сказала Эллен.

— Значит, вы тоже были за океаном, Елена?.. Я когда-нибудь все равно буду называть вас просто Еленой, так что уж разрешите начать теперь... Вот замечательно! Вы там познакомились с Джимми?

— О нет, мы старые друзья... Но мы и там часто сталкивались. Мы работали в одном и том же отделе Красного Креста — в отделе печати.

— Настоящий военный роман,— пропела миссис Меривейл.— Как это интересно!

— Так вот, друзья, дело обстоит так! — орал Джо О'Киф; пот градом катился по его красному лицу.— Будем добиваться военной премии или нет?.. Мы дрались за них, мы поколотили немцев — так или не так? А теперь, когда мы вернулись, нам преподносят кукиш. Работы нет, наши девушки повыходили тем временем замуж за других парней... Когда же мы требуем честного, справедливого, законного вознаграждения, с нами обращаются как с бандой бродяг и бездельников... Можем мы это потерпеть?.. Нет!.. Можем мы потерпеть, чтобы шайка политиканов обращалась с нами так, словно мы пришли с черного хода просить у них милостыню?.. Я вас спрашиваю...

Затопали ноги.

— Нет! К черту! Долой! — заорала толпа.

— А я добавлю: к черту политиканов! Мы начнем кампанию во всей стране... Мы обратимся к великому, славному, великодушному американскому народу, за который мы сражались, проливали кровь, жертвовали жизнью.

Длинный зал арсенала загремел аплодисментами. Калеки в первом ряду стучали по полу своими костылями.

— Джо — молодчина,— сказал безрукий одноглазому соседу с искусственной ногой.

— Это верно, Бэдди.

Когда собравшиеся стали выходить, предлагая друг другу папиросы, в дверях появился человек. Он закричал:

— Заседание комитета! Заседание комитета!

Четверо уселись вокруг стола в комнате, которую им уступил начальник арсенала.

— Давайте закурим, товарищи.— Джо подошел к конторке начальника и достал из нее четыре сигары.— Он не заметит.

— В сущности, это невинное жульничество,— произнес Сид Гарнетт, вытягивая длинные ноги.

— А горяченькой ты там случайно не нашел, Джо? — спросил Билл Дуган.

— Нет. Да я и не пью теперь.

— Я знаю место, где можно достать настоящее довоенное виски по шесть долларов за кварту,— вставил Сегал.

— А где достать шесть долларов?

— Слушайте, товарищи,— сказал Джо, садясь на край стола,— займемся делом. Мы должны во что бы то ни стало создать денежный фонд. Согласны вы с этим?

— Все согласны, конечно,— сказал Дуган.

— Я знаю многих буржуев, которые тоже находят, что с нами поступили по-свински... Мы назовемся «Бруклинским агитационным комитетом по проведению военной премии»... Бесполезно делать что-либо, не подготовившись... Так как же, ребята, со мной вы или против меня?

— Конечно, с тобой, Джо. Поговори с ними, а мы назначим срок.

— Хорошо, пусть тогда Дуган будет председателем — он с виду получше других.

Дуган вышел, весь красный, и начал, заикаясь, говорить что-то невнятное.

— Ах ты красавец! — взвизгнул Гарнетт.

— ...И я думаю, что мне лучше быть казначеем, потому что у меня есть опыт в этом деле.

— Потому что ты жуликоватее других,— тихо проговорил Сегал.

Джо выдвинул нижнюю челюсть:

— Слушай, Сегал, ты с нами или против нас? Лучше скажи откровенно, если ты не наш.

— Верно, перестань дурачиться,— сказал Дуган.— Джо доведет дело до конца, ты это знаешь, так что лучше перестань дурачиться... А если тебе не нравится, можешь убираться.

Сегал потер тонкий крючковатый нос.

— Да ведь я пошутил, парни. Я не думал ничего дурного.

— Слушай,— продолжал Джо сердито,— как ты думаешь, на что я трачу время?.. Вчера я отказался от пятидесяти долларов в неделю — вот Сид свидетель. Ты видал, Сид?

— Конечно, видал, Джо.

— Ладно, не кипятитесь, братцы,— сказал Сегал,— я ведь только хотел подразнить Джо.

— Ну конечно... Сегал, ты должен быть секретарем — ты знаком с конторской работой...

— Конторская работа?

— Ну да,— сказал Джо, выпятив грудь.— У нас будет свой стол в конторе одного моего знакомого... Мы уже договорились. Он нам даст место до тех пор, пока мы не сорганизуемся, а потом подыщем себе подходящее помещение. В наше время без внешнего блеска далеко не уедешь.

— А я кем буду? — спросил Сид Гарнетт.

— Членом комитета, тупая голова!

После заседания Джо О'Киф пошел, посвистывая, вниз по Атлантик-авеню*. Было уже поздно, и он торопился. В кабинете доктора Гордона горел свет. Джо позвонил. Бледный мужчина в белом халате открыл дверь.

— Хелло, доктор.

— Это вы, О'Киф? Входите, сынок.

Что-то в голосе доктора стиснуло ему хребет, точно холодная рука.

— Ну, что слышно с реакцией, доктор?

— Положительная.

— Господи!

— Не волнуйтесь, сынок, мы вас вылечим в несколько месяцев.

— «Месяцев»?

— Что вы хотите?.. По самым сдержанным статистическим данным, пятьдесят пять процентов людей, которых вы встречаете на улице, больны сифилисом.

— Я ведь всегда соблюдал осторожность.

— На войне это неизбежно.

— Избавиться бы!..

Доктор рассмеялся.

— Вы, вероятно, хотите избавиться от симптомов. Это зависит от вливаний. Вы у меня скоро будете здоровы, как новенький доллар. Хотите сейчас сделать вливание? У меня все готово.

Руки О'Кифа похолодели.

— Хорошо, можно.— Он заставил себя рассмеяться.— Воображаю... Я под конец превращусь в ртутный термометр.

Доктор сипло захохотал.

— Будете напичканы мышьяком и ртутью, а?.. То-то и есть.

Ветер дул холоднее. Его зубы стучали. Он шел домой сквозь скрежет чугунной ночи. «С ума сойти можно, когда он втыкает иглу!» Он до сих пор чувствовал боль от укола. Он заскрипел зубами. «Но зато потом мне будет везти... Мне будет везти...»

Один худощавый и два полных господина сидят за столом у окна. Свет, льющийся с цинкового неба, играет в гранях хрусталя, в столовом серебре, в устричных раковинах, в глазах. Джордж Болдуин сидит спиной к окну, Гэс Мак-Нийл по правую руку от него, Денш — по левую. Когда лакей тянется через их плечи за пустыми раковинами, он видит в окна за каменным парапетом крыши домов, немногочисленных, как деревья на краю обрыва, и фольговые воды гавани, усеянные пароходами.

— Теперь я вас буду учить, Джордж... Видит Бог, вы меня достаточно учили в былые времена. Откровенно говоря, это глупо до последней степени,— говорит Гэс Мак-Нийл.— Очень глупо в ваши годы упускать случай сделать политическую карьеру... Во всем Нью-Йорке на эту должность нет более подходящего человека, чем вы.

— Мне думается, это ваша обязанность, Болдуин,— говорит Денш басом, вынимая черепаховые очки из футляра и торопливо надевая их на нос.

Лакей принес объемистый бифштекс, окруженный баррикадой из грибов, моркови, горошка и жареного, мелко нарезанного картофеля. Денш укрепляет очки на носу и внимательно смотрит на бифштекс.

— Славное блюдо, Бен, славное блюдо, скажу прямо... Дело вот в чем, Болдуин... С моей точки зрения... страна находится в опаснейшей стадии реконструкции... назревают конфликты... банкротство континента... большевизм... революционные доктрины... Америка...— говорит он, вонзая острый стальной нож в пухлый наперченный бифштекс; он медленно прожевывает кусок и продолжает: — Америка ныне является кредитором всего мира. Великие демократические принципы, принципы коммерческой свободы, от которых зависит вся наша цивилизация, более чем когда-либо поставлены на карту. Никогда еще мы так не нуждались в трудоспособных и идеально честных людях для замещения общественных должностей — в особенности в учреждениях, требующих специальных юридических познаний.

— Вот это самое я и пытался разъяснить вам вчера, Джордж.

— Все это очень хорошо, Гэс, но откуда вы знаете, что я буду избран?.. В конце концов, это значило бы отказаться на много лет от юридической практики и...

— Предоставьте это мне... Джордж, вы уже избраны.

— Чрезвычайно вкусный бифштекс, должен признаться,— говорит Денш.— Вот что: мне довелось узнать из безусловно заслуживающего доверия источника, что нежелательные элементы замышляют заговор против правительства... О Господи, про бомбу на Уолл-стрит помните?.. Надо, однако, сказать, что позиция, занятая прессой, сыграла в некотором отношении благотворную роль... Мы вскоре увидим национальное единодушие, не снившееся нам до войны...

— Джордж,— перебивает его Гэс,— вы представляете себе, что политическая деятельность может увеличить вашу адвокатскую практику?

— Может быть, да, Гэс, а может быть, и нет.

Денш снимает фольгу с сигары.

— Во всяком случае перед вами открываются широкие перспективы.— Он снимает очки и вытягивает толстую шею, чтобы посмотреть на сверкающие воды гавани, полные до затуманенных берегов Стэйтен-Айленда мачт, дыма, пара и темных силуэтов башен.

Яркие волокна облаков вздымались на ультрамариновом небе над Бэттери, где темные кучки грязно и бедно одетых людей толпились у пристани Эллис-Айленд, молча выжидая чего-то. Клубящийся дым буксиров и пароходов волочился по опаловой, стеклянно-зеленой воде. Трехмачтовая шхуна шла на буксире вниз по Норз-ривер. Ее кливер неуклюже плескался. Вдали, за гаванью, из тумана вырастал все выше и выше пароход; четыре красные трубы были слиты в одну, кремовые надстройки мерцали.

— «Мавритания» идет с опозданием на двадцать четыре часа! — заорал какой-то человек с подзорной трубой и биноклем.— Смотрите — «Мавритания», самый быстроходный океанский пароход, идет с опозданием на двадцать четыре часа!

«Мавритания», похожая на небоскреб, проталкивалась в гавань. Солнечный луч углубил тень под ее широким мостиком, пробежал по белым настилам верхних палуб, вспыхнул в стеклах иллюминаторов. Трубы отделились друг от друга, корпус удлинился. Черная, мрачная глыба

«Мавритании» подгоняла перед собой пыхтевшие буксиры, врезаясь, как длинный нож, в Норз-ривер.

Паром отвалил от эмигрантской пристани; шепот пробежал по толпе, сгрудившейся на краю верфи.

— Ссыльные... коммунисты... департамент юстиции высылает их... ссыльные... красные... ссылают красных...*

Паром отвалил. Несколько мужчин стояли на корме, неподвижные, маленькие, как оловянные солдатики.

— Высылают красных обратно в Россию...

Носовой платок взметнулся над паромом, красный носовой платок. Толпа осторожно, на цыпочках подошла к краю пристани — на цыпочках, как в комнате тяжелобольного.

За спинами мужчин и женщин, столпившихся у самого края воды, гориллолицые, квадратноплечие полисмены ходили взад и вперед, нервно помахивая дубинками.

— Высылают красных обратно в Россию... ссыльные... агитаторы... нежелательный элемент...

Дикие чайки кружились с жалобным криком. Пустая бутылка важно покачивалась на маленьких стеклянных волнах. Звуки песни донеслись с парома, становившегося все меньше и меньше, понеслись над водой.

Это будет последний и решительный бой,
С Интернационалом воспрянет род людской!

— Посмотрите на ссыльных! Посмотрите на гнусных чужеземцев! — заорал человек с подзорной трубой и биноклем.

Вдруг девичий голос запел:

Вставай, проклятьем заклейменный...

— Тс... посадят...

Пение неслось над водой. Оставляя мраморный след, паром уходил в туман.

С Интернационалом воспрянет род людской!

Пение замерло. С реки донесся стук машины. Какой-то пароход покидал доки. Дикие чайки кружились над толпой бедно и грязно одетых людей, которые все еще стояли, молча глядя на залив.

II. ПЯТИЦЕНТОВЫЙ РАЙ

За пять центов можно до двенадцати ночи купить себе завтра... нападение бандитов в жирном шрифте газет, чашку кофе в автомате, билет в Вудлаун, Форт-Ли*, Флэтбуш... За пять центов можно купить в автомате жевательную резинку, «Кто-то любит меня, дивную крошку», «Ты в Кентукки», «Погляди», «Когда ты родилась»... Расхлябанные звуки фокстротов, хромая, выползают из дверей, блюзы, вальсы («Мы танцевали всю ночь напролет»), кружась, волочат фольгу воспоминаний... На Шестой авеню, на Четырнадцатой улице еще стоят засиженные мухами стереоскопы, в которых вы за пять центов можете взглянуть на пожелтевшее вчера. Рядом с душным тиром вы можете заглянуть в мигающие картинки: «ЖАРКИЙ ДЕНЬ. СЮРПРИЗ ХОЛОСТЯКА. УКРАДЕННАЯ ПОДВЯЗКА» — в сорную корзину изодранных грез... За пять центов можно до двенадцати ночи купить наше вчера.

Рут Принн вышла от врача и укутала шею мехом. Она чувствовала себя слабой. Такси. Садясь в такси, она вспомнила запах косметики и кухни и загроможденный коридор в квартире миссис Сондерленд. «Нет, я не могу сейчас ехать домой».

— Шофер, поезжайте в «Английское кафе» на Сороковую улицу.

Она открыла свою длинную сумку зеленой кожи и заглянула в нее. «Боже мой, всего один доллар тридцать два цента!» Она посмотрела на цифры, выскакивавшие в таксометре. Ей хотелось упасть и заплакать... «Вот так уходят деньги!» Холодный резкий ветер хлестнул ее по лицу, когда она вышла из такси.

— Восемьдесят центов, мисс... У меня нет сдачи, мисс.

— Ладно, оставьте себе.

«Боже мой, только тридцать два цента!..»

В кафе было тепло и приятно пахло чаем и печеньем.

— Рут! Неужели это Рут? Дорогая, придите в мои объятия! Сколько лет не видались!

Это был Билли Уолдрон. Он стал еще толще и еще больше поседел. Он обнял Рут театральным жестом и поцеловал ее в лоб.

— Как поживаете? Расскажите... Эта шляпа вам очень к лицу!

— Я только что лечила горло икс-лучами,— сказала она.— Чувствую себя ужасно.

— А что вы поделываете, Рут? Я сто лет не слыхал о вас.

— Списали меня в расход, а? — ядовито подхватила она.

— После того, как вы так блестяще играли в «Саду королевы»...

— Откровенно говоря, Билли, у меня потом началась полоса ужаснейших неудач.

— Знаю, знаю. Всем плохо.

— На той неделе мне назначено прийти к Беласко. Может, что-нибудь выйдет.

— Что ж, может быть... Вы кого-нибудь ждете?

— Нет... А вы все такой же. Билли... Не дразните меня сегодня. Я не расположена...

— Бедняжка, садитесь, выпьем чашку чая. Ужасный год!.. Самые лучшие актеры закладывают последнюю цепочку от часов. А почему вы не едете в провинцию?

— Не говорите об этом... Только бы мне вылечить горло... Оно меня вконец измучило.

— А помните сезон в Соммервиле?

— Еще бы не помнить, Билли... Чудесно было!

— В последний раз я видел вас в «Бабочке». Тогда я был в опале.

— Почему вы тогда не вернулись?

— Я все еще сердился на вас... Состояние было отвратительное, меланхолия... неврастения... в кармане ни гроша. В тот вечер я не владел собой. Я не хотел, чтобы вы увидели во мне зверя.

Рут налила себе чашку крепкого чая. Она вдруг почувствовала прилив лихорадочного веселья.

— Ах, Билли, как вы все это помните? Я была тогда глупой девчонкой... Я боялась, что любовь, замужество, все эти вещи помешают моей работе в театре, понимаете?.. Я бредила успехом.

— А теперь вы бы сделали то же самое?

— Не знаю... А что, Билли? — Она откинула голову и засмеялась.— Вы опять хотите сделать мне предложение?.. Ой, горло...

— Рут, лучше бы вы не лечились икс-лучами. Я слышал, что это очень опасно. Не пугайтесь, дорогая... но мне рассказывали, что от этого иногда бывает рак.

— Чепуха, Билли... Это возможно только в том случае, если икс-лучи применяются неправильно и если лечение продолжается несколько лет... Нет, по-моему, доктор Уорнер — замечательный человек.

Позднее, сидя в вагоне подземной дороги, она еще чувствовала, как его мягкая рука гладит ее перчатку. «Прощайте, девочка, да хранит вас Бог»,— сказал он сухо. «Стал прохвостом, настоящим актером,— все время злорадствовало что-то внутри нее». «Слава Богу, вы никогда не узнаете...» — Он взмахнул широкополой шляпой, тряхнул шелковистыми белыми волосами, как в роли месье Бокэра, повернулся и исчез в толпе на Бродвее. «Мне может быть очень скверно, но я никогда не буду такой дрянью, как он... Он говорит — рак...» Она обвела взглядом вагон и плясавшие напротив нее лица. «Кто-нибудь из этих людей наверно болен раком. На каждых пятерых человек приходится четверо... глупости, конечно, это не рак... потребителей Нужоля». Она схватилась рукой за горло. Ее горло страшно распухло, ее горло лихорадочно вибрировало. «Может быть, еще что-нибудь похуже. Что-то живое вырастает на твоем мясе, пожирает всю твою жизнь, превращает тебя в отвратительную гниль...» Люди, сидевшие напротив нее, смотрели прямо перед собой, молодые мужчины и молодые женщины, люди средних лет, зеленые лица в мутном свете под пестрыми объявлениями. «На каждых пятерых человек приходится четверо...» Туловища плясали, головы кивали и мотались из стороны в сторону, поезд с пронзительным ревом летел по направлению к Девяносто шестой улице. На Девяносто шестой улице ей надо было пересаживаться.

Дэтч Робертсон сидел на скамье на Бруклинском мосту, подняв воротник военной шинели, и читал газетные объявления. Был сырой, туманный день; мост блестел, залитый дождем, и казался одиноким, как дерево, в густом саду пароходных свистков. Прошли два матроса.

— Замечательный кабак — давно я в таком не был...

Компаньон в кинематограф... на бойком месте... верное помещение денег... 3000 долларов...

«Да, но у меня нет трех тысяч...»

Табачный киоск на бойком месте... по семейным обстоятельствам... Магазин музыкальных и радиопринадлежностей на полном ходу... Вполне оборудованная типография и переплетная с акцидентными кассами и линотипами... Кошерная столовая...* Кегельбан... На бойком месте танцевальный зал и др. аттракционы... Покупаю вставные зубы, золото, платину, старинные драгоценности...

«Черта с два!.. «Спрос труда»... Вот это больше по нашей части...»

Первоклассные каллиграфы для надписывания адресов...

«Ну, это не для меня...»

Рабочий в авторемонтную мастерскую...

Он достал из кармана старый конверт и записал адрес.

Чистильщики сапог...

«Нет еще пока».

Рассыльный мальчик...

«Нет, я уже не мальчик...»

В гастрономический магазин... Судомойка... Уборщики в гараж... Заработок на дому. Зуботехническое дело — вернейший путь к успеху... Нет больше безработицы...

— Хелло, Дэтч... А я уже думала, что никогда не доберусь.— Девушка с серым лицом, в красной шляпке и серой кроликовой шубке, подсела к нему.

— Меня тошнит от этих объявлений.— Он потянулся и зевнул; газета соскользнула с его колен.

— Тебе не холодно тут сидеть?

— Да, немного... Пойдем, поедим.

Он вскочил на ноги, повернул к ней свое красное лицо с тонким перебитым носом и заглянул бледно-серыми глазами в ее черные глаза. Он крепко стиснул ее руку.

— Хелло, Фрэнси... Как живешь, девочка?

Они пошли обратно по направлению к Манхэттену той дорогой, которой она пришла. Река мерцала под ними сквозь туман. Большой пароход медленно плыл по течению. Уже зажигались фонари. Они поглядели через перила на черные трубы парохода.

— Ты ехал в Европу на таком же большом пароходе?

— Еще больше.

— Мне бы тоже хотелось...

— Я возьму тебя когда-нибудь с собой и покажу все, что есть на свете... Мне пришлось кое-где побывать, когда я был в Американском легионе*.

У станции они нерешительно остановились.

— Фрэнси, у тебя есть деньги?

— Да, доллар... Но он мне нужен завтра.

— А у меня осталось двадцать пять центов. Давай съедим два обеда по пятьдесят пять центов в китайском ресторане... Будет стоить доллар и десять центов.

— Мне нужно пять центов, чтобы поехать завтра на работу.

— Ах, черт побери, когда же у нас будут деньги!..

— А ты еще не нашел работу?

— Разве бы я тебе не сказал?

— Ну идем, у меня есть дома в копилке полдоллара, возьму из них завтра на трамвай.

Она разменяла доллар и опустила два пятака в автомат. Они сели в поезд, шедший на Третью авеню.

— Как ты думаешь, Фрэнси, меня пустят танцевать в хаки?

— Почему же нет, Дэтч,— это очень прилично выглядит.

— А я боюсь, что не пустят.

Джаз-банд в ресторане играл «Индостан». Пахло китайскими блюдами. Они сели в отдельную кабинку. Молодые люди с прилизанными волосами и стриженые девушки танцевали, тесно прижимаясь. Они сели и улыбнулись друг другу.

— Я ужасно голоден.

— Неужели, Дэтч?

Он выдвигал колени, пока они не прикоснулись к ее коленям.

— Ты — славная девочка,— сказал он, съев суп.— Честное слово, я на этой неделе достану работу. И тогда мы снимем хорошую комнату и поженимся — все как следует.

Когда они пошли танцевать, то были так взволнованы, что никак не могли попасть в такт музыке.

— Мистер, нельзя танцевать в таком костюме,— сказал маленький китаец, кладя руку на плечо Дэтча.

— Что ему нужно? — проворчал тот, продолжая танцевать.

— Кажется, он насчет твоего хаки, Дэтч.

— Черт бы его побрал!

— Я устала. Лучше посидим, поболтаем...

Они вернулись в свою кабинку и съели десерт. Потом они пошли по Четырнадцатой улице.

— Дэтч, нельзя ли пойти в твою комнату?

— У меня нет комнаты. Старая карга выгнала меня и забрала все мое барахло. Честное слово, если я на этой неделе не достану работы, я опять пойду в солдаты.

— Не надо, Дэтч! Тогда мы с тобой никогда не поженимся... Но почему ты мне ничего не говорил?

— Я не хотел огорчать тебя, Фрэнси... Шесть месяцев без работы... С ума можно сойти!

— Но куда же мы пойдем, Дэтч?

— Можно бы отправиться на верфи... Я знаю одну верфь...

— Холодно.

— Мне не холодно, когда ты со мной, козочка.

— Не говори так... Я этого не люблю.

Они шли в темноте, прижавшись друг к другу, по грязным, шумным набережным, между огромными, раздутыми цистернами, мимо поломанных заборов и длинных многооконных складов. На углу, под уличным фонарем, какой-то мальчишка замяукал кошкой, когда они проходили.

— Вот я тебе сейчас набью морду, пащенок! — цыкнул на него Дэтч.

— Не задевай его,— зашептала Фрэнси,— а то за нами увяжется вся шайка.

Они скользнули в маленькую калитку; за высоким забором были сложены штабеля дров. Пахло рекой, кедровым деревом и опилками. Они слышали, как река лизала сваи у их ног. Дэтч притянул ее к себе и прижался губами к ее губам.

— Эй, вы, здесь нельзя шляться ночью! — рявкнул чей-то голос.

Сторож направил луч фонаря прямо им в глаза.

— Ладно, не орите. Мы просто гуляем.

— Как бы не так!

Они снова поплелись по улице. Черный ветер с реки дул им в лицо.

— Осторожно!

Полисмен, тихо насвистывая, прошел мимо них. Они отодвинулись друг от друга.

— Знаешь, Фрэнси, нас заберут, если мы будем так ходить. Пойдем к тебе.

— Хозяйка выкинет меня.

— Я не буду шуметь... Ключ при тебе? Я уйду до рассвета. Черт побери, прямо как вор...

— Хорошо, Дэтч, идем ко мне... Мне все равно — будь что будет.

По запакощенной лестнице они поднялись в верхний этаж.

— Сними сапоги,— шепнула она ему на ухо, осторожно вкладывая ключ в замочную скважину.

— У меня носки рваные.

— Пустяки, глупый! Я посмотрю, все ли благополучно. Моя комната — за кухней, так что, если все спят, нас никто не услышит.

Она оставила его. Он слышал, как колотится его сердце. Через секунду она вернулась. Он на цыпочках пошел следом за ней по скрипучему полу передней. За дверью раздавался чей-то храп. В передней пахло капустой и сном. Попав к себе в комнату, она заперла дверь и приставила к ней стул. Треугольник пепельного света лежал на подоконнике.

— Только, ради Бога, Дэтч, потише.

Все еще держа сапоги в руках, он добрался до нее и обхватил ее.

Он лежал рядом с ней и шептал, приложив губы к ее уху:

— И я буду хорошим, Фрэнси честное слово буду на фронте я был представлен к производству в сержанты это доказывает что во мне что-то есть как только мне посчастливится я накоплю денег и мы с тобой поедем туда и ты увидишь Шато-Тьерри и Париж и всякую всячину честное слово тебе понравится Фрэнси города там старые и смешные спокойные удобные и трактирчики чудесные сидишь прямо на улице за маленьким столиком и смотришь как люди гуляют и еда вкусная тебе понравится и можно переночевать и никто тебя там не спросит женат ли ты или нет у них там большие кровати удобные деревянные и завтрак тебе подают в постель Фрэнси тебе понравится.

Они шли по снежной улице обедать. Тяжелые снежные хлопья порхали и кружились вокруг них, расцвечивая улицу синим, розовым и желтым, смазывая перспективу.

— Элли, мне не хочется, чтобы ты бралась за это дело... Оставайся в театре.

— Но, Джимпс, нам ведь надо жить.

— Знаю, знаю... Ты, наверно, была не в своем уме, когда выходила за меня замуж.

— Не будем больше говорить об этом.

— Давай повеселимся сегодня... Первый снег...

— Нам сюда.— Они стояли перед темной дверью, прикрытой решеткой.— Попробуем.

— Звонок звонит?

— Кажется.

Внутренняя дверь открылась; выглянула девушка в розовом переднике.

— Bonsoir, mademoiselle![1]

— Ah... bonsoir, monsieur 'dame![2]

Она ввела их в освещенную газом, пахнувшую жареным переднюю, полную пальто, шляпок и шалей. Из-за занавешенной двери ресторан дохнул на них горячим дыханием хлеба, коктейлей, горелого масла, духов, губной помады, стука и жужжащей болтовни.

— Пахнет абсентом,— сказала Эллен.— Кутнем вовсю!

— Смотри-ка — тут Конго... Помнишь Конго Джека из загородного ресторана?

Конго возвышался глыбой в конце коридора, кивая им. Его лицо сильно загорело; у него были пышные черные усы.

— Хелло, мистер Эрф... Как поживаете?

— Замечательно! Конго, познакомьтесь с моей женой.

— Если вы ничего не имеете против кухни, то мы там выпьем по рюмочке.

— С удовольствием... Кухня — лучшее место в доме. Почему вы хромаете?.. Что с вашей ногой?

— Foutu...[3] Я ее оставил в Италии... Не мог привезти ее с собой — мне ее отрезали.

— Как это случилось?

— Дурацкая история на Монте-Томба... Мой шурин преподнес мне замечательный протез... Садитесь сюда. Теперь, мадам, отгадайте, которая нога настоящая?

— Не знаю! — проговорила Эллен, смеясь.

Они сидели за маленьким мраморным столиком в углу битком набитой кухни. Девушка накладывала кушанья на блюда за большим столом. Два повара хлопотали у плиты. Конго подковылял к ним с тремя стаканами на маленьком подносе. Он стоял подле них, пока они пили.

— Salut![4] — сказал он, поднимая свой стакан.— Коктейль из абсента — вроде того, что делают в Новом Орлеане. Прямо с ног валит.

Конго вынул карточку из жилетного кармана:

---

[1] Добрый вечер, мадемуазель! (*фр.*)

[2] Ах... добрый вечер, дамы и господа! (*фр.*)

[3] Крышка... (*фр.*)

[4] Салют! (*фр.*).

МАРКИЗ ДЕ КУЛОМЬЕ
Импорт
Риверсайд, 1121.

— Может быть, вам понадобится когда-нибудь... Я торгую исключительно довоенным привозным товаром. Я первый бутлегер* в Нью-Йорке.

— Если у меня когда-нибудь будут деньги, я обязательно истрачу их у вас, Конго... Как идет торговля?

— Очень хорошо. При случае я вам расскажу, сейчас слишком занят... Я вам найду столик в ресторане.

— Это тоже ваше предприятие?

— Нет, моего шурина.

— Я и не знал, что у вас есть сестра.

— Я тоже.

Когда Конго, прихрамывая, отошел от их столика, между ними, как огнеупорный занавес в театре, опустилось молчание.

— Смешной парень,— произнес наконец Джимми, принужденно засмеявшись.

— Да.

— Слушай, Эллен, выпьем еще коктейль.

— Хорошо.

— Надо будет вытянуть из него какие-нибудь истории про бутлегеров.

Когда Джимми вытянул ноги под столом и дотронулся до ее ног, она отдернула их. Джимми чувствовал, как жуют его челюсти; они стучали под кожей так громко, что он боялся, как бы Элли не услышала. Она сидела напротив него в сером костюме, ее шея победительно выступала из выреза мягкого кружевного воротника, ее голова в тугой серой шляпке качалась, ее губы были накрашены. Она резала мясо на маленькие кусочки, не дотрагиваясь до них, и не говорила ни слова.

— Выпьем еще коктейль.

Он чувствовал себя парализованным, как в кошмаре; она была фарфоровой фигуркой под стеклянным колпаком. Струя свежего, очищенного снегом воздуха, залетевшая откуда-то, внезапно закрутилась в мглистом, тяжелом, неровном свете ресторана, вымела запах пищи, алкоголя и табака. Он на секунду уловил запах ее волос. Коктейль жег его внутренности. «Господи, только бы меня не стошнило!»

Они сидят в буфете Лионского вокзала рядышком на черной кожаной скамье. Его щека касается ее щеки, когда он тянется, чтобы положить ей на тарелку селедку, масло, сардинки, анчоусы, сосиски. Они торопятся, жадно глотают, хохочут, прихлебывают вино, вскакивают при каждом паровозном гудке... Поезд покидает Авиньон, они проснулись, глядят друг другу в глаза в купе, переполненном спящими, храпящими людьми. Он пробирается по переплетенным ногам в тусклый, качающийся коридор. «Тра-та-та, тра-та-та, едем на юг, тра-та-та, тра-та-та, едем на юг!» — поют колеса, пробегая долину Роны. Высунувшись из окна, он пробует раскурить сломанную папиросу, придерживая пальцем разорванное место. Глюк-глюк-глюк-глюк — из кустов, из сребротоочащих тополей вдоль полотна.

— Элли, Элли, тут соловьи поют!

— Милый, я спала.

Она ощупью идет к нему, спотыкаясь о ноги спящих. Бок о бок у окна, в пляшущем скрипучем коридоре. «Тра-та-та, тра-та-та, едем на юг!» Всхлипы соловьев в сребротоочащих тополях вдоль полотна. Сумасшедшая, облачная, лунная ночь пахнет садами, чесноком, рекой и свежеунавоженными полевыми розами. Всхлипы соловьев.

Кукла Элли напротив него вдруг заговорила:

— Он сказал, что омаров больше нет... Как это досадно.

Внезапно к нему возвращается дар слова.

— Если бы только это...

— Что ты хочешь сказать?

— Зачем мы вернулись в этот гнусный, гнилой город?

— Ты был в восторге, ты все находил тут чудесным, когда мы вернулись.

— Знаю. Зелен виноград... Я выпью еще коктейль... Элли, ради Бога, что с нами случилось?

— Нас стошнит, если мы столько будем пить.

— Пускай... Пусть нам будет хорошо и тошно.

Когда они сидят на широкой кровати, им виден противоположный берег гавани, видны реи парусника, и белая яхта, и красный и зеленый игрушечный буксир, и гладкие фасады домов за полосой воды цвета павлиньего хвоста. Когда они ложатся, им видно небо и дикие чайки на нем. В сумерки они быстро одеваются, путаются и блуждают по заплесневелым коридорам гостиницы, выходят на шумные, как духовой оркестр, улицы, полные тамбуринного треска, медного блеска, хрустального сияния, гуда и воя автомобилей. В сумерки, одинокие вдво-

ем, они пьют шерри под широколиственной пальмой, одинокие вдвоем — точно невидимки в пестрой, шумной толпе. И страшная весенняя ночь надвигается из-за моря, из Африки, и падает на них.

Они допили кофе. Джимми пил очень медленно, словно его ожидала агония, когда он сделает последний глоток.

— Я боялась, что мы встретим здесь Барнеев,— сказала Эллен.

— Разве они знают о существовании этого кабака?

— Ты ведь их сам сюда приводил, Джимпс... Эта ужасная женщина весь вечер болтала со мной о детях. Я ненавижу эти разговоры.

— Хорошо бы пойти в театр.

— Поздно уже.

— Да и как можно тратить деньги, которых у меня нет?.. Выпьем напоследок коньяку. Все равно — давай разоримся.

— Все равно разоримся — не тем, так иным путем.

— Ну, Элли, выпьем за здоровье главы семейства, добывающего деньги.

— А знаешь, Джимми, это будет даже смешно, если я начну работать в редакции.

— По-моему, работать вообще смешно... Ну что ж, я буду сидеть дома и нянчить ребенка.

— Не огорчайся, Джимми, это ведь временное явление.

— Жизнь тоже временное явление.

Такси довезло их домой. Джимми заплатил последний доллар. Элли открыла своим ключом наружную дверь. Улица металась в вихрях алкогольно-пятнистого снега. Дверь квартиры захлопнулась за ними. Кресла, столы, книги, оконные занавеси толпились вокруг них, покрытые горькой, вчерашней, позавчерашней, третьегодняшней пылью. Запах камчатного полотна*, кофейной посуды, масла для пишущей машинки подействовал на них угнетающе.

Эллен выставила за дверь пустую бутылку из-под молока и легла в кровать.

Джимми продолжал нервно шагать по комнате, выходившей окнами на улицу. Его опьянение прошло — он был льдисто-трезв. В опустелой комнате его мозга, точно монета, звенело двуликое слово: «Успех-Провал», «Успех-Провал».

Я схожу с ума по Гарри,
Гарри мною увлечен,—

тихонько напевает она, танцуя. Длинная зала; в конце залы помещается оркестр. Она освещена зеленоватым светом двух электрических люстр, свисающих с середины потолка среди бумажных фестонов. В самом конце, там, где дверь, лакированные перила удерживают толпу. Анна танцует с высоким квадратным шведом; его огромные ноги неуклюже волочатся вслед за ее маленькими, проворно переступающими ножками. Музыка замолкает. Теперь ее партнер — маленький, черноволосый, ловкий еврей. Он пробует обнять ее покрепче.

— Бросьте! — Она отстраняется.

— У вас нет сердца.

Она не отвечает — она танцует с холодной точностью. Она смертельно устала.

Я и мой дружочек,
Мой дружок и я...

Итальянец дышит ей чесноком в лицо, потом моряк-сержант, грек, белокурый молодой мальчишка с розовыми щеками — она улыбается ему,— пьяный пожилой человек, пытающийся поцеловать ее...

Чарли, мой мальчик,
О Чарли, мой мальчик...

Гладковолосые, веснушчатые, курчавые, угреватые, курносые, прямоносые, хорошие танцоры, плохие танцоры...

Ты на Ют уйдешь...
И как сахар мне в рот попадешь...

На ее талии — тяжелые руки, горячие руки, потные руки, холодные руки, записок с приглашением на танцы все больше и больше в ее кулачке. Теперешний ее партнер прекрасно вальсирует и очень мило выглядит в своем черном костюме.

— Ох, как я устала,— шепчет она.

— А меня танцы никогда не утомляют.

— Да, но танцевать со всяким...

— Не хотите ли пойти куда-нибудь потанцевать только со мной?

— Мой друг поджидает меня.

И только фотография
Расскажет мне о нем...

— Который час? — спрашивает она широкогрудого молодца.

— Час нашего знакомства, милочка.

Она качает головой. Музыка переходит на другой мотив. Она бросает партнера и бежит в толпу девиц, сдающих свои приглашения на танцы.

— Слушай, Анна,— говорит толстая белокурая девица,— ты заметила парня, который танцевал со мной? Так вот, он говорит, этот парень: «Как бы нам, говорит, потом повидаться?» А я ему, этому парню, говорю: «В аду мы с тобой повидаемся»,— а он говорит...

III. ВРАЩАЮЩАЯСЯ ДВЕРЬ

Поезда, как светляки, ползут во мраке по туманным, сотканным из паутины мостам, лифты взвиваются и падают в своих шахтах, огни в гавани мерцают.

В пять часов мужчины и женщины, как растительный сок при первых заморозках, начинают каплями вытекать из высоких зданий нижней части города: серолицый поток затопляет улицы, исчезает под землей.

Всю ночь огромные дома стоят, тихие и пустые, миллионы их окон темны. Истекая светом, паромы оставляют изжеванный след на лакированных водах гавани. В полночь четырехтрубные пароходы скользят в темноту из своих ярко освещенных гнезд. Банкиры с усталыми от секретных совещаний глазами слышат совиные крики буксиров, когда сторожа, при свете потайных фонарей, выпускают их боковыми дверями. Ворча, они падают на подушки лимузинов и уносятся в верхнюю часть города, на звонкие Сороковые улицы, к белым, как джин, к желтым, как виски, к шипучим, как сидр, огням.

Она сидела за туалетным столом и причесывалась. Он стоял, склонившись над ней; отстегнутые лиловые подтяжки свисали с его фрачных брюк. Толстыми пальцами он просовывал брильянтовую запонку в рубашку.

— Джек, я бы хотела, чтобы ты бросил это дело! — захныкала она, не выпуская шпилек изо рта.

— Какое дело, Рози?

— Компанию «Пруденс»... Право, я очень беспокоюсь.

— Почему же? Все идет прекрасно Нам надо только обставить Николса, вот и все.

— А что, если он потом будет преследовать нас?

— Не будет. Он потеряет на этом уйму денег. Ему гораздо выгоднее войти с нами в соглашение... Кроме того, я могу через неделю заплатить ему наличными. Если нам только удастся убедить его, что у нас есть деньги, то он станет совсем ручным. Он сказал, что будет сегодня в Эль-Фей.

Рози только что вставила черепаховую гребенку в свои черные волосы. Она кивнула и встала. Она была пухлая женщина с широкими бедрами, большими черными глазами и высокими бровями дугой. Она была в корсете, отделанном желтыми кружевами, и розовой шелковой рубашке.

— Надень на себя все, что у тебя есть, Рози. Я хочу, чтобы ты была разукрашена, как рождественская елка. Мы поедем в Эль-Фей и уложим Николса на обе лопатки. А завтра я поеду к нему и предложу ему то, о чем мы говорили... А пока давай выпьем.

Он подошел к телефону.

— Пришлите колотого льду и две бутылки минеральной воды в сорок четвертый... Да, Силвермен... И поживее!

— Джек, бросим это дело! — вдруг крикнула Рози; она стояла у дверей шкафа, держала платье на руке.— Я не вынесу этого волнения... Оно убивает меня. Поедем в Париж, в Гавану, куда хочешь, и начнем все заново.

— И тогда-то уж мы наверняка попадемся. Нам пристегнут обвинение в мошенничестве. Неужели ты хочешь, чтобы я всю жизнь ходил в синих очках и накладной бороде?

Рози рассмеялась.

— Нет, я думаю, ты в гриме будешь выглядеть не очень хорошо... Хоть бы мы по крайней мере были по-настоящему обвенчаны!

— А какая разница, Рози? Тогда меня будут преследовать еще и за двоеженство. Вот было бы хорошо!

Рози вздрогнула, когда в дверь постучали. Джек Силвермен поставил ведерко со льдом на бюро и вынул из шкафа четырехугольную бутылку виски.

— Не наливай мне. Я не хочу пить.

— Дитя, ты должна подтянуться. Одевайся скорее и идем в театр. Черт возьми, я бывал в худших передел-ках.— Он подошел к телефону со стаканом в руках.— Дайте мне газетный киоск... Здравствуйте, барышня... Мы с вами старые друзья... Конечно, вы знаете меня... Послушайте, вы можете достать два места в «Фолли»?..*

Я так и думал... Нет, я не могу сидеть дальше восьмого ряда... Вы — славная барышня... Вызовите меня через десять минут, хорошо?

— Послушай, Джек, в этом озере действительно есть бура?

— Конечно, есть! Разве ты не видела заключения четырех экспертов?

— Видела. Я все время удивлялась... Послушай, Джек, если это пройдет, ты обещаешь мне больше не принимать участия в таких сумасшедших делах?

— Конечно. Да мне больше и не нужно будет... Ох, какая ты знойная в этом платье!

— Нравится тебе?

— Ты выглядишь бразильянкой... Что-то тропическое...

— В этом — тайна моего очарования.

Пронзительно задребезжал телефон. Они вскочили. Она прижала руку к губам.

— Два в четвертом ряду? Отлично... Мы сейчас сойдем вниз и возьмем их... Рози, нельзя быть такой нервной! Ты и меня этим заражаешь. Подтянись!

— Пойдем покушаем, Джек. У меня с утра, кроме сливок, ничего во рту не было. Я больше не хочу худеть; от этих волнений я и так достаточно сдала.

— Брось, Рози... Ты действуешь мне на нервы.

Они остановились у стойки с цветами в вестибюле.

— Дайте мне гардению,— сказал он.

Он выпятил грудь и скривил губы в улыбку, когда цветочница укрепляла цветок в петличке его фрака.

— А тебе какой, дорогая? — величественно повернулся он к Рози.

Она надула губы.

— Я не знаю, что подойдет к моему платью...

— Покуда ты будешь выбирать, я пойду за билетами.

Он распахнул пальто, чтобы был виден накрахмаленный пластрон его рубашки, вытянул из рукавов манжеты и торжественно направился к газетному киоску. Пока заворачивали в серебряную бумагу красные розы, Рози видела уголком глаза, как он, наклонившись над журналами, болтал со светловолосой девушкой. Когда он вернулся с пачкой денег в руке, глаза его блестели.

Она приколола розы к своему меховому манто, взяла его под руку, и они вместе вышли через вращающуюся дверь в холодную, сверкающую, электрическую ночь.

— Такси! — крикнул он.

В столовой пахло гренками, кофе и газетой. Меривейлы завтракали при электрическом освещении. Мокрый снег бил в окна.

— Бумаги «Парамаунт» упали еще на пять пунктов,— сказал Джеймс из-за газеты.

— Джеймс, ну зачем ты меня дразнишь? — захныкала Мэзи, тянувшая кофе маленькими, куриными глотками.

— Джек ведь больше не работает в «Парамаунт»,— сказала миссис Меривейл.— Он заведует рекламой у «Фэймос плэйерз».

— Он приедет через две недели. Он писал, что надеется быть здесь к Новому году.

— Ты получила еще телеграмму, Мэзи?

Мэзи кивнула головой.

— Ты знаешь, Джеймс, Джек никогда не пишет писем. Он всегда телеграфирует,— сказала миссис Меривейл.

— Он, вероятно, забрасывает весь дом цветами,— буркнул Джеймс из-за газеты.

— Все по телеграфу,— хвастливо сказала миссис Меривейл.

Джеймс отложил газету.

— Ну что ж, будем надеяться, что он приличный человек.

— Джеймс, ты отвратительно относишься к Джеку... Это гадость! — Мэзи встала и исчезла за портьерами гостиной.

— Поскольку он собирается стать мужем моей сестры, я полагаю, что могу высказывать мое мнение о нем,— проворчал Джеймс.

Миссис Меривейл пошла за дочерью.

— Иди сюда, Мэзи, кончай завтрак, он просто дразнит тебя.

— Я не хочу, чтобы он говорил так о Джеке!

— Но, Мэзи, я считаю, что Джек — прекрасный мальчик.— Она обняла дочь и подвела ее к столу.— Он такой простой и, я знаю, у него бывают хорошие порывы... Я уверена, что ты будешь счастлива.

Мэзи села; ее лицо под розовым чепчиком надулось.

— Мама, можно еще чашку кофе?

— Дорогая, ты знаешь, что ты не должна пить так много кофе. Доктор Ферналд говорит, что это тебе расстраивает нервы.

— Мне, мама, очень слабого. Я хочу доесть булочку, я не могу съесть ее сухой. А ты ведь не хочешь, чтобы я теряла в весе?

Джеймс отодвинул стул и вышел с газетой под мышкой.

— Уже половина девятого, Джеймс,— сказала миссис Меривейл.— Он способен целый час читать так газету.

— Ну вот,— раздраженно сказала Мэзи,— я сейчас лягу обратно в кровать. Это глупо — вставать в семь часов к завтраку. В этом есть что-то вульгарное, мама. Никто этого больше не делает. У Перкинсов завтрак подают на подносе в кровать.

— Джеймс должен быть в девять часов в банке.

— Это еще не причина, чтобы мы все вставали с петухами. От этого только цвет лица портится.

— Но тогда мы не будем видеть Джеймса до обеда. И вообще я люблю рано вставать. Утро — лучшая часть дня.

Мэзи отчаянно зевнула.

Джеймс появился в дверях передней, чистя щеткой шляпу.

— Где же газета, Джеймс?

— Я оставил ее там.

— Ничего, я возьму ее... Дорогой, ты криво вставил булавку в галстук. Дай я поправлю... Так.

Миссис Меривейл положила руки на плечи сыну и заглянула ему в лицо. На нем был серый костюм со светло-зеленой полоской, оливково-зеленый вязаный галстук, заколотый маленькой золотой булавкой, оливково-зеленые шерстяные носки с черными крапинками и темно-красные полуботинки; шнурки на них были аккуратно завязаны двойным узлом, который никогда не развязывался.

— Джеймс, ты не возьмешь тросточку?

Он обмотал шею оливково-зеленым шерстяным шарфом и надел темно-коричневое зимнее пальто.

— Нет, я заметил, что тут молодые люди не носят тросточек, мама. Могут подумать, что я немножко... сам не знаю что.

— Но мистер Перкинс носит тросточку с золотым набалдашником.

— Да, но он один из вице-президентов... Он может делать все, что хочет... Ну, мне пора.

Джеймс Меривейл наскоро поцеловал мать и сестру. Спускаясь в лифте, он надел перчатки. Наклонив голову против сырого ветра, он быстро пошел по Семьдесят второй улице. У спуска в подземную железную дорогу он

купил «Трибуну» и сбежал по ступеням на переполненную, кисло пахнущую платформу.

«Чикаго! Чикаго!» — орал патефон. Тони Хентер, стройный, в черном глухом костюме, танцевал с девушкой, склонившей кудрявую пепельную головку на его плечо. Они были одни в гостиной отеля.

— Душка, ты чудесный танцор,— ворковала она, прижимаясь к нему.

— Ты так думаешь, Невада?

— Угу... Душка, ты ничего не заметил во мне?

— Что именно, Невада?

— Ты ничего не заметил в моих глазах?

— У тебя самые очаровательные глазки в мире.

— Да, но в них есть еще что-то.

— Ах, да! Один — зеленый, а другой — карий.

— Значит, ты заметил, малыш!

Она протянула ему губы. Он поцеловал ее. Пластинка кончилась. Они оба подбежали и остановили патефон.

— Ну какой же это поцелуй, Тони? — сказала Невада Джонс, откидывая волосы со лба.

Они поставили новую пластинку.

— Послушай, Тони,— сказала она, когда они снова начали танцевать,— что тебе вчера сказал психоаналитик?

— Ничего особенного. Мы просто разговаривали,— сказал Тони, вздыхая.— Он считает, что все это только воображение. Он советует мне поближе сойтись с какой-нибудь девушкой. Он — порядочный человек, но он не знает, о чем он говорит. Он ничего не может сделать.

— Держу пари, что я смогла бы!

Они перестали танцевать и посмотрели друг на друга. Их лица пылали.

— Невада,— сказал он жалобно,— встреча с тобой имела для меня большое значение... Ты такая милая! Все другие были мне противны.

Она задумчиво отошла и остановила патефон.

— Интересно, что сказал бы Джордж?

— Мне ужасно тяжело об этом думать. Он был так любезен... Не будь его, я никогда не попал бы к доктору Баумгардту.

— Он сам виноват. Дурак!.. Он думает, что меня можно купить за номер в гостинице и два-три билета в театр. Ну вот, я ему покажу!.. Нет, право, Тони, ты должен лечиться у этого доктора. Он сделал чудеса с Гленом Гас-

тоном... Гастон был до тридцати пяти лет уверен, что он «такой», а недавно я слышала, что он женился и у него двое детей... Ну, теперь поцелуй меня по-настоящему, дорогой мой... Вот так! Давай потанцуем еще. Ты чудно танцуешь. «Такие» всегда хорошо танцуют. Я не знаю, почему это...

Внезапно раздался резкий звонок телефона — точно завизжала пила.

— Хелло... Да, это мисс Джонс... Конечно, Джордж, я вас жду...— Она повесила трубку.— Ну, Тони, удирай. Я позвоню тебе потом. Не спускайся в лифте, ты встретишь его.

Тони исчез за дверью. Невада поставила «Дивную крошку» и начала нервно ходить по комнате, переставляя стулья, поправляя растрепанную прическу.

— А, Джордж!.. Я думала, вы никогда не приедете... Здравствуйте, мистер Мак-Нийл! Не знаю почему, но я сегодня ужасно нервничаю. Мне казалось, что вы никогда не приедете. Давайте завтракать. Я очень голодна.

Джордж Болдуин положил котелок и тросточку на стол в углу.

— Что вы хотите, Гэс? — спросил он.

— Я всегда заказываю баранью котлету с жареной картошкой.

— А я буду есть бисквит с молоком — у меня желудок немножко не в порядке... Невада, соорудите мистеру Мак-Нийлу чего-нибудь выпить.

— А мне, Джордж, закажите жареного цыпленка и салат из омаров! — крикнула Невада из ванной комнаты, где колола лед.

— Она большая любительница омаров,— усмехнулся Болдуин, идя к телефону.

Невада вернулась из ванной комнаты с двумя стаканами на подносе; она накинула на плечи пурпурный с зелеными разводами шарф.

— Только мы с вами и будем пить, мистер Мак-Нийл... Джордж сидит на водичке. Ему доктор велел.

— Невада, пойдем потом в оперетку. Я хочу встряхнуться после всех моих дел.

— Я очень люблю утренние представления. А вы ничего не будете иметь против, если мы возьмем с собой Тони Хентера? Он звонил мне. Он очень одинок и хотел зайти сегодня после полудня. Он эту неделю не работает.

— Хорошо... Невада, вы извините нас, если мы немного поговорим о деле. Мы на минутку отойдем к окну. Как только завтрак будет готов, мы забудем о делах.

— Хорошо, я пока переоденусь.

— Садитесь сюда, Гэс.

Минуту они сидели молча, глядя в окно на леса строящегося напротив здания.

— Ну, Гэс,— неожиданно резко сказал Болдуин,— я решил принять участие в выборах!

— Великолепно, Джордж! Мы нуждаемся в таких людях, как вы.

— Я иду по списку реформистов.

— Вы с ума сошли!

— Я предпочитаю сказать вам об этом раньше, чем вы услышите стороной, Гэс.

— Кто же будет голосовать за вас?

— Ну, у меня крепкая поддержка... И пресса будет у меня хорошая.

— Пресса — чушь!.. У нас — избиратели... Черт возьми, если бы не я, ваша кандидатура на пост окружного прокурора вообще никогда бы не обсуждалась.

— Я знаю, вы всегда были мне другом, и надеюсь, что вы будете им и впредь.

— Я еще никого не предавал, Джордж. Но вы знаете, теперь ведь один лозунг: «давай — бери».

— Ну? — перебила их Невада, подходя к ним танцующими шажками; на ней было розовое шелковое платье.— Наговорились?

— Мы кончили,— проворчал Гэс.— Скажите, мисс Невада, откуда у вас это имя?

— Я родилась в Рено, штат Невада. Моя мать ездила туда, чтобы развестись,— там это легко. А я как раз тогда и родилась.

Анна Коген стоит за прилавком под вывеской «Лучшие сандвичи в Нью-Йорке». Ее ноги болят в остроносых туфлях на высоких каблуках.

— Ну, я думаю, скоро начнется, иначе у нас будет скверная торговля,— говорит продавец содовой воды рядом с ней; у него топорное лицо и выпирающий кадык.— Всегда так — публика налетает сразу.

— Можно подумать, что у всех появляются в одно и то же время одни и те же мысли.

Они глядят сквозь стеклянную перегородку на бесконечную вереницу людей, входящих и выходящих из туннеля подземной дороги. Вдруг она выскальзывает из-за прилавка и пробирается в душную кухню, где толстая пожилая женщина чистит плиту. В углу на гвозде висит зеркало. Анна достает из кармана пальто, висящего на вешалке, пудреницу и пудрит нос. На секунду она замирает с пуховкой в руке и смотрит на свое широкое лицо с челкой на лбу, с прямыми подстриженными волосами.

— Паршивая еврейка! — горько говорит она.

Она возвращается на свое место за прилавком и натыкается на управляющего — маленького жирного итальянца с лоснящейся лысиной.

— Вы только и делаете, что смотритесь целый день в зеркало. Очень хорошо... Вы уволены.

Она смотрит на его маслянистое лицо.

— Можно мне еще дослужить сегодня? — лепечет она.

Он кивает.

— Ну-ну, пошевеливайтесь, тут не институт красоты!

Она бежит на свое место за прилавок. Все стулья уже заняты. Девицы, конторские мальчики, серолицые бухгалтеры.

— Сандвич с цыпленком и чашку кофе.

— Сандвич с сыром и стакан сливок.

— Сандвич с яйцом и кофе.

— Чашку бульона.

Едят торопливо, не глядя друг на друга, уставив глаза в тарелки, в чашки. Позади сидящих ожидающие очереди проталкиваются ближе. Одни едят стоя, другие — повернувшись спиной к прилавку, глядя через стеклянную перегородку с надписью «яанчосукаЗ» на стремительный поток, льющийся из серо-зеленого мрака подземки.

— Ну, Джо, расскажите мне все подробно,— сказал Гэс Мак-Нийл, выпустив большой клуб дыма и откинувшись на спинку вертящегося стула.— Что это вы, ребята, затеваете в Флэтбуше?

О'Киф откашлялся и переступил с ноги на ногу.

— Видите ли, сэр, у нас там агитационный комитет.

— Я знаю... Но это не причина делать налет на вечеринку швейников, а?

— Я к нему не имел никакого касательства... Очень уж наши ребята злятся на пацифистов и на красных.

— Все эти шутки были хороши год тому назад... Общественные настроения меняются. Я вам скажу, Джо: здешняя публика сыта по горло героями войны.

— У нас сильная и гибкая организация.

— Знаю, знаю, Джо. Верю... Хотя я лично решил больше не нажимать на военную премию... Штат Нью-Йорк исполнил свой долг в отношении бывших солдат.

— Это верно.

— Эта премия означает новый налог на средних деловых людей и ничего больше. Довольно налогов!

— А наши ребята думают, что они кое-что получат.

— Всем нам казалось, что мы многое получим, и ничего мы не получили... Ради Бога, не говорите мне об этом... Джо, возьмите себе сигару из того ящика. Мне их прислал из Гаваны приятель с одним морским офицером.

— Спасибо, сэр.

— Берите, не стесняйтесь. Возьмите четыре, пять штук.

— Благодарю вас.

— Скажите, Джо, какой линии будут держаться ваши ребята на выборах мэра?

— Это зависит от того, как кто отнесется к нуждам бывших солдат.

— Слушайте, Джо. Вы — парень толковый...

— Будьте спокойны, сэр, все будет в порядке. Я с ними поговорю.

— Сколько их у вас там?

— Да около трехсот членов, и каждый день записываются новые... Мы вербуем их повсюду. Мы хотим устроить на Рождество танцы и кулачный бой в Арсенале, если достанем боксера.

Гэс Мак-Нийл откинул голову на воловьей шее и расхохотался:

— Вот это да!

— Но, честное слово, военная премия — это единственное, что может удержать наших парней.

— А что, если я приду как-нибудь вечером и потолкую с ними?

— Это было бы хорошо, но они слушать не хотят тех, кто не был на войне.

Мак-Нийл вспыхнул:

— Смотрите-ка, какими вы бойкими вернулись с фронта! — Он рассмеялся.— Это будет продолжаться год или два, не дольше. Я видел, как возвращались солдаты с испано-американской войны...* Запомните это, Джо.

Конторский мальчик вошел и положил на стол карточку.

— Вас хочет видеть дама, мистер Мак-Нийл.

— Простите... Это старая дура из школьного совета... Ну, до свиданья, Джо. Загляните на той неделе... Я буду держать вас в курсе дел — вас и вашу армию.

Дуган ждал в конторе. Он подошел с таинственным видом.

— Ну, Джо, как дела?

— Очень хорошо,— сказал Джо, выпячивая грудь.— Гэс сказал мне, что Таммани-холл будет поддерживать нас в деле с премией... Мы составляем план широкой национальной кампании. Он дал мне несколько сигар — ему их привезли из Гаваны на аэроплане... Закуривайте.

С торчащими в углу рта сигарами они гордо зашагали через площадь Ратуши*. Против старого здания ратуши возвышались строительные леса. Джо ткнул в них сигарой.

— Тут мэр ставит новую статую Гражданской Добродетели*.

Запах жареного мяса терзал его пустой желудок, когда он проходил мимо ресторана «Чайлд». Рассвет сеял мелкую, серую пыль на черный, чугунный город. Дэтч Робертсон уныло переходил Юнион-плейс, вспоминая теплую постель Фрэнси, острый запах ее волос. Он глубоко засунул руки в пустые карманы. Ни гроша, и Фрэнси ничего не могла ему дать. Он прошел по Пятнадцатой улице мимо отеля. Негр подметал ступени. Дэтч посмотрел на него с завистью: у него есть работа. Грузовики с молоком дребезжали по мостовой. На площади Стайвезент мимо него прошел молочник, держа в каждой руке по бутылке молока. Дэтч выдвинул нижнюю челюсть и грубо сказал:

— Дай глотнуть молока. Ну!

Молочник был худой розоволицый юнец. Его голубые глаза расширились.

— Пожалуйста... Зайдите за фургон, там под сиденьем есть открытая бутылка. Только чтобы никто не видел...

Он пил большими глотками сладкое молоко, ласкавшее его пересохшее горло. Не стоило говорить с ним так грубо. Он подождал, пока мальчик вернулся.

— Спасибо, малый, знатное молоко.

Он прошел в тенистый парк и сел на скамью. На асфальте сверкал иней. Он поднял обрывок вечерней газеты.

Похищено пятьсот тысяч долларов. Средь бела дня на Уолл-стрит ограблен банковский артельщик.

В самый разгар делового дня два человека напали на Адольфуса Ст. Джона, артельщика компании «Гаранта-трест», и выхватили у него из рук портфель, в котором находилось полмиллиона долларов ассигнациями...

Дэтч чувствовал, как колотится его сердце, когда он читал заметку. Он весь похолодел. Он встал и начал размахивать руками.

Конго миновал турникет воздушной дороги. Джимми Херф шел за ним, глядя по сторонам. На улице было темно, холодный ветер свистел в ушах. Одинокий «форд» стоял у входа.

— Как вам тут нравится, мистер Эрф?

— Очень славно, Конго. Что это? Вода?

— Залив Шипсхед*.

Они шли по дороге, обходя сине-стальные лужи. Дуговые фонари, точно увядшие гроздья, качались на ветру. Вдали, направо и налево маячили светящиеся кучки домов. Они остановились у длинного здания, построенного на сваях над водой. «ПРУДОК». Джимми с трудом различал буквы над темным окном. Дверь открылась, когда они подошли к ней.

— Хелло, Майк,— сказал Конго.— Это мистер Эрф, мой друг.

Дверь закрылась за ними. Внутри было темно, как в печи. Мозолистая рука схватила в темноте руку Джимми.

— Рад познакомиться,— послышался голос.

— Скажите, как вы нашли мою руку?

— О, я вижу в темноте.— Кто-то хрипло рассмеялся.

Конго открыл внутреннюю дверь. Оттуда хлынул свет, осветив бильярдные столы, ряды киев и длинную стойку в конце.

— Это Майк Кардинал,— сказал Конго.

Джимми увидел перед собой высокого, бледного, застенчивого человека с курчавыми черными волосами, сползающими на лоб. В соседней комнате были полки с посудой и круглый стол, покрытый желтой клеенкой.

— Eh, la patronne![1] — крикнул Конго.

Толстая француженка с красными, как яблоки, щеками показалась на пороге. Вместе с ней в комнату ворвалось шипенье кипящего масла и чеснока.

---

[1] Эй, хозяйка! (*ит.*)

— Это мой друг... Ну что ж, будем есть? — крикнул Конго.

— Это моя жена,— гордо сказал Кардинал.— Она глухая, с ней надо говорить громко.— Он повернулся и старательно закрыл на засов дверь в переднюю.— Чтобы с дороги не видно было огня,— сказал он.

— Летом мы иногда отпускаем в день по сто и по полтораста обедов,— сказала жена Кардинала.

— А выпивки у вас не найдется? — спросил Конго; он крякнул и опустился на стул.

Кардинал поставил на стол толстую бутылку и несколько стаканов. Они выпили вина и облизнулись.

— Куда лучше красного. Правда, мистер Эрф?

— Да. Похоже на настоящее кьянти.

Жена Кардинала поставила на стол шесть тарелок, положила в них по ржавой ложке, вилке и ножу и внесла дымящуюся миску с супом.

— Pronto pasta![1] — крикнула она пронзительно.

— А это Аннет,— сказал Кардинал.

Краснощекая черноволосая девушка с длинными изогнутыми ресницами и яркими черными глазами вбежала в комнату. За ней вошел очень загорелый молодой человек в хаки с кудрявыми, выгоревшими от солнца волосами. Все сразу уселись и начали есть наперченную жирную похлебку, низко нагибаясь над тарелками.

Кончив есть, Конго поднял голову.

— Майк, видишь огни?

Кардинал кивнул.

— Да... Сейчас он будет здесь.

В то время, как они ели яичницу с чесноком и телячьи котлеты с жареной картошкой и брюквой, Херф услышал отдаленное пыхтенье моторной лодки. Конго встал из-за стола, махнул рукой, чтобы в комнате не шумели, и выглянул из окна, осторожно приподняв край занавески.

— Это он,— сказал он и вернулся к столу.— Правда, мы здесь хорошо едим, а, мистер Эрф?

Молодой человек встал, вытирая рукой пот.

— Есть у тебя пятак, Конго? — спросил он, шаркая ногами.

— На, Джонни.

Девушка последовала за ним в соседнюю комнату. Через минуту механическое пианино заиграло вальс.

[1] Суп готов! (*ит.*)

Джимми видел в дверь, как они танцевали в полосе света. Стук моторной лодки приближался. Конго вышел, за ним последовали Кардинал и его жена. Джимми остался один. Он потягивал вино, один среди остатков ужина. Он чувствовал себя возбужденным и немного пьяным; он уже начал сочинять в уме рассказ. С дороги донесся грохот грузовика, потом другого. Стук моторной лодки резко оборвался. Толчок лодки о сваи, всплеск волны и тишина. Механическое пианино тоже замолкло. Джимми сидел, потягивая вино. Он чувствовал болотистый запах, проникавший в комнату. Под ним слышался легкий плеск воды о сваи. Еще одна моторная лодка застучала вдалеке.

— Есть у вас пятак? — спросил Конго, внезапно входя в комнату.— Заведем опять музыку... Забавная сегодня ночь! Пойдите к Аннет, последите за пианино... Я не видел, как Мак-Джи высаживался... Может, сюда зайдет один человек... Он должен быть здесь очень скоро.

Джимми встал и пошарил в карманах. У пианино он столкнулся с Аннет.

— Хотите танцевать?

Она кивнула. Пианино играло «Невинные глазки». Они рассеянно танцевали. Снаружи послышались голоса и шаги.

— Простите,— сказала она внезапно и перестала танцевать.

Вторая лодка была совсем уже близко; ее мотор еще кашлял и стучал.

— Пожалуйста, останьтесь здесь,— сказала она и выскользнула за дверь.

Джимми Херф ходил взад и вперед, взволнованно попыхивая папиросой. Он опять принялся сочинять рассказ. «В заброшенном танцевальном зале у залива Шипсхед... очаровательная юная итальянка... вдруг резкий свисток из мрака... Надо было пойти посмотреть, что там делается». Он нащупал ручку двери. Дверь была заперта. Он подошел к пианино и опустил в него еще одну монету. Потом закурил свежую папиросу и стал ходить взад и вперед. «Всегда так... паразит в драме жизни, репортер, на все смотрит в замочную скважину. Никогда ни в чем не принимает участия. Пианино играло «У нас нет бананов».

— А, черт! — бормотал он, скрежеща зубами и расхаживая взад и вперед.

Топот за окном становился все слышнее, слышались рычащие голоса, толчки, удары. Раздался треск дерева и

звон разбиваемых бутылок. Джимми выглянул в окно столовой. Он увидал на пристани силуэты дерущихся людей. Он бросился на кухню и наткнулся на Конго. Весь потный, Конго ковылял внутрь дома, опираясь на толстую палку.

— Будь они прокляты... Они сломали мне ногу! — простонал он.

— Боже милостивый! — Джимми помог ему пройти в столовую.

Конго стонал.

— Мне стоило пятьдесят долларов починить ее, когда я в последний раз ее сломал.

— Ах, у вас протез сломан?

— Конечно. А вы что думали?

— Сухие агенты?

— Какие там сухие агенты... Бандиты, будь они прокляты!.. Пойдите, опустите монету в пианино...

«Царица грез моих» — весело ответило пианино. Когда Джимми вернулся, Конго сидел на стуле, поглаживая свою культяпку обеими руками. На столе лежал сломанный протез из пробки и алюминия.

— Regardez moi ça... c'est foutu... completement foutu[1].

Вошел Кардинал. Его лоб был рассечен. Струйка крови сочилась из раны вниз по щеке и капала на пиджак и рубашку. Его жена шла за ним, закатив глаза; она несла лоханку и губку, которую прикладывала ко лбу мужа. Он оттолкнул ее.

— Я хорошо хватил одного из них куском трубы. Кажется, он упал в воду. Надеюсь, утонул.

Высоко держа голову, вошел Джонни. Аннет обнимала его за талию. Один глаз был у него подбит, рукав рубашки изорван в клочья.

— Совсем как в кино! — сказала Аннет, истерически смеясь.— Правда, он молодец, мама?

— Прямо счастье, что они не стреляли. У одного из них был револьвер.

— Боялись, я думаю.

— Грузовики уехали?

— Да, только один ящик разбился... Их было пять человек.

— Джонни дрался один со всеми! — взвизгнула Аннет.

— Заткнись,— проворчал Кардинал.

---

[1] Посмотрите-ка на это... пропащее дело... совсем пропащее (*фр.*).

Он опустился на стул. Жена снова начала обтирать ему лицо губкой.

— Ты хорошо разглядел лодку? — спросил Конго.

— Было чертовски темно,— сказал Джонни.— Кажется, они приехали из Джерси... Сначала один из них подходит ко мне и говорит, что он сборщик налогов, а я бью его по башке, прежде чем он успевает вытащить револьвер, и он летит за борт... Вот тут-то они и заорали... А Джордж с лодки хватил одного из них по лбу веслом. Ну, тут они и убрались в своей лоханке.

— Но откуда они узнали, где наша пристань? — прорычал Конго, багровея.

— Кто-нибудь выболтал,— сказал Кардинал.— Если я узнаю, кто это сделал, клянусь Богом, я его...— Он издал отрывистый звук губами.

— Знаете, мистер Эрф,— сказал Конго прежним слащавым тоном,— там было шампанское на праздники. Ценный груз, а?

У Аннет пылали щеки, и она все время глядела на Джонни; губы у нее были полуоткрыты, а глаза сияли слишком ярко. Херф чувствовал, что краснеет, когда смотрит на нее.

Он встал.

— Ну ладно, мне пора в город. Спасибо за ужин и за мелодраму, Конго.

— Найдете дорогу к станции?

— Найду.

— Спокойной ночи, мистер Эрф. Может быть, купите к Рождеству ящик шампанского? Настоящий «Мумм»...

— Я совершенно обнищал, Конго.

— Ну тогда предложите вашим друзьям, а я вам заплачу комиссионные.

— Хорошо, я посмотрю.

— Я позвоню вам завтра, скажу цену.

— Отлично. Спокойной ночи.

По пути домой, трясясь в пустом поезде через пустые окраины Бруклина, Джимми старался думать про рассказ о бутлегерах, который он напишет для воскресного номера. Румяные щеки девушки и ее слишком блестящие глаза мешали ему, прерывали правильное течение мыслей. Он постепенно все глубже и глубже погружался в грезы. У Элли тоже иногда бывали такие, слишком блестящие, глаза — до того, как родился ребенок. Тот день

на горе, когда она вдруг упала ему на руки, и ее стошнило, и он оставил ее среди мирно жевавших коров на поросшем травой склоне, и побежал в хижину пастуха, и принес ей оттуда молока в деревянном ковше... И потом, когда горы истаяли в вечерней мгле, краска вновь появилась на ее щеках, и она взглянула на него такими блестящими глазами и сказала с сухим отрывистым смешком: «Это во мне шевелится маленький Херф!» «Господи, почему я постоянно думаю о том, что давно прошло?» А потом родился ребенок, и Элли лежала в американском госпитале в Нейи, а он бродил по ярмарке в каком-то сумасшедшем тумане, забрел в цирк, катался на карусели и на качелях, покупал игрушки, сладости, играл в лотерею, пытаясь выиграть куклу, шел, пошатываясь, в больницу с большой гипсовой свиньей под мышкой. Смешные попытки укрыться в прошлом. «А что, если бы она умерла? Я думал, что она умрет. Прошлое было бы полным, оно было бы совершенно круглое, вставленное в рамку, его можно было бы носить, как камею, на шее, его можно было бы переписать на пишущей машинке, отлить в стереотип и отпечатать в воскресном номере, как первый рассказ Джеймса Херфа о бутлегерах». Расплавленные цепочки мыслей падали, каждая в свое гнездо, извергаемое звонким линотипом.

В полночь он бродил по Четырнадцатой улице. Ему не хотелось идти домой спать, хотя резкий, холодный ветер рвал острыми ледяными когтями его шею и подбородок. Он пошел по Шестой и седьмой авеню, нашел имя «Рой Шефилд» на дощечке рядом со звонком в слабо освещенном вестибюле, позвонил и взбежал по лестнице. Рой высунул из двери большую кудрявую голову со стеклянно-серыми выпученными глазами.

— Хелло, Джимми, входите. Мы все пьяны в дым!

— Я только что видел драку бутлегеров с бандитами.

— Где?

— У залива Шипсхед.

— Джимми Херф пришел! Он только что дрался с сухими агентами! — крикнул Рой своей жене.

У Алисы были темно-каштановые кукольные волосы и розовато-желтое кукольное лицо. Она подбежала к Джимми и поцеловала его в подбородок.

— Джимми, расскажите нам... Нам ужасно скучно.

— Хелло! — крикнул Джимми.

Он только что заметил Фрэнсис и Боба Гилдебранд на диване в темном углу комнаты. Они подняли свои стаканы, приветствуя его. Джимми усадили в кресло и сунули ему в руку стакан с джином пополам с имбирным пивом.

— Ну, так что же было? Драка? Расскажите все подробно — не станем же мы покупать «Трибуну»,— сказал Боб Гилдебранд низким басом.

Джимми отпил большой глоток.

— Я был там с одним человеком — главой всех французских и итальянских бутлегеров. Он чудесный парень, и у него пробковая нога. Он угостил меня прекрасным ужином и настоящим итальянским вином на заброшенном поплавке на берегу залива Шипсхед...

— Кстати,— спросил Рой,— где Елена?

— Не перебивай, Рой,— сказала Алиса.— И вообще никогда не следует спрашивать человека, где его жена.

— Потом там начали вспыхивать разные световые сигналы и прочее подобное, к поплавку причалила моторная лодка, нагруженная шампанским «Мумм» extra dry[1] для рождественских праздников. А потом в другой лодке примчались бандиты... Не иначе, как у них был гидроплан, так быстро они прилетели...

— Как это интересно! — проворковала Алиса.— Рой, почему ты не бутлегер?

— Это была драка, какой мне не приходилось видеть и в кино. Шесть-семь человек с каждой стороны лупили друг друга на узенькой пристани, шириной с эту комнату, веслами и свинцовыми трубами.

— Кого-нибудь ранили?

— Всех... Я думаю, два бандита утонули. Во всяком случае, они отступили, предоставив нам подлизывать разлитое шампанское.

— Должно быть, это было ужасно! — воскликнул Гилдебранд.

— А вы что делали? — спросила Алиса, затаив дыхание.

— О, я прыгал кругом, стараясь избежать ударов. Я не знал, кто на чьей стороне. Было темно, мокро, непонятно... В конце концов я вытащил моего друга бутлегера из драки. Ему сломали ногу... деревянную ногу.

Все закричали. Рой снова наполнил стакан Джимми.

— Ах, Джимми,— ворковала Алиса,— вы живете потрясающе интересной жизнью.

---

[1] Сухое (*англ.*).

Джеймс Меривейл читал только что расшифрованную каблограмму, отчеркивая отдельные слова карандашом. «Тасманское марганцевое о-во» просит открыть кредит...»

Зажужжал настольный телефон.

— Джеймс, говорит твоя мать. Приходи скорее, случилось нечто ужасное.

— Но я не знаю, смогу ли я уйти...

Она уже дала отбой. Меривейл почувствовал, что бледнеет.

— Соедините меня, пожалуйста, с мистером Эспинуоллом... Мистер Эспинуолл, говорит Меривейл... Моя мать внезапно заболела... Боюсь, что у нее удар. Можно мне сбегать домой на часок? Я вернусь и составлю телеграмму по поводу «Марганцевого общества»...

— Ладно... Соболезную вам, Меривейл.

Он схватил шляпу, пальто, позабыв шарф, выбежал из банка и побежал к станции подземки.

Он влетел в квартиру, едва переводя дух, щелкая пальцами от волнения. Миссис Меривейл с серым лицом встретила его в передней.

— Дорогая, я думал, ты заболела!

— Нет, несчастье случилось с Мэзи...

— Несчастный случай?

— Идем,— сказала миссис Меривейл.

В гостиной сидела маленькая круглолицая женщина в круглой меховой шапочке и длинной ильковой шубе*.

— Дорогой мой, эта женщина говорит, что она — жена Джека Канингхэма и у нее есть брачное свидетельство.

— Не может быть.

Посетительница кивнула с меланхолическим видом.

— А мы уже разослали приглашения! После его последней телеграммы Мэзи заказала приданое.

Женщина развернула длиннейшую бумагу, изукрашенную цветами и купидонами, и передала ее Джеймсу.

— Может быть, оно подложное?

— Оно не подложное,— сладко сказала женщина.

— «Джон К. Канингхэм, 21 года... Джесси Линкольн, 18-ти лет...» — читал он громко.— Я ему череп размозжу, шантажисту! Это действительно его подпись. Я видел ее в банке... Шантажист!

— Джеймс, не волнуйся.

— Я подумала, что лучше сделать это теперь, чем после бракосочетания,— вставила женщина сладким голосом.— Я не хотела допустить Джека до двоеженства, ни за что на свете не хотела.

— Где Мэзи?

— Бедняжка в своей комнате.

Лицо Меривейла побагровело. Пот стекал ему за воротничок.

— Дорогой мой,— сказала миссис Меривейл,— обещай мне, что ты не сделаешь ничего неосмотрительного.

— Да, репутация Мэзи должна быть сохранена любой ценой.

— Дорогой мой, я думаю, самое лучшее, что можно сделать,— это вызвать его сюда и дать ему очную ставку с этой... с этой... дамой... Вы согласны, миссис Канингхэм?

— О да, конечно.

— Подождите минуту! — крикнул Меривейл и побежал в переднюю к телефону.— Ректор двенадцать — триста пять. Алло, попросите, пожалуйста, мистера Джека Канингхэма... Алло... Это контора мистера Канингхэма? Говорит Джеймс Меривейл... Уехал из города?.. А когда он вернется?.. Хм...— Он вернулся в гостиную.— Проклятый негодяй уехал из города.

— Все время, что я его знала,— заметила дама в круглой шапочке,— он вечно в разъездах.

За широкими окнами конторы — серая, туманная ночь. Там и сям мерцают редкие черточки и звездочки огней. Финеас Блэкхед сидит за письменным столом, откинувшись на спинку кожаного кресла. Он держит в руке обернутый шелковым носовым платком стакан с горячей водой и двууглекислой содой. Денш, лысый и круглый, как бильярдный шар, сидит в глубоком кресле, играя очками в черепаховой оправе. Глубокая тишина; лишь изредка что-то щелкает и стучит в трубах отопления.

— Денш, заранее прошу прощения... Вы знаете, я редко позволяю себе делать замечания касательно чужих дел,— медленно говорит Блэкхед, отпивая из стакана; потом неожиданно выпрямляется в кресле.— Это безумное предложение, Денш, клянусь Богом, безумное! Прямо даже смешно...

— Мне так же мало хочется пачкать руки, как и вам... Болдуин — прекрасный парень. Я думаю, мы ничем не рискуем, если окажем ему поддержку.

— Что общего имеет с политикой экспортно-импортная фирма? Если какому-нибудь чертову политикану нужна милостыня, то пусть приходит сюда. Наше дело — это цена на бобы. А она чертовски упала... Если

бы кто-нибудь из ваших болтунов-адвокатов мог восстановить баланс денежного рынка, то я сделал бы для него все на свете... Все они жулики... Клянусь Богом, все до одного жулики!

Его лицо побагровело. Он сидит выпрямившись, стуча кулаком по столу.

— Вы разволновали меня... Это вредно для моего желудка и для сердца.

Финеас Блэкхед громко рыгает и отхлебывает из стакана с двууглекислой содой. Потом снова отваливается на спинку кресла и опускает тяжелые веки.

— Ну ладно, старина,— устало говорит мистер Денш.— Может быть, это глупо, но я обещал поддержать реформистского кандидата. В конце концов, это мое частное дело, оно ни с какой стороны не касается фирмы.

— Черта с два не касается!.. А Мак-Нийл и его банда?.. Они всегда вели себя прилично по отношению к нам, а мы только и преподнесли им, что два ящика виски да несколько штук сигар... А теперь эти реформисты перевернули вверх дном все городское самоуправление... Клянусь Богом...

Денш поднялся.

— Мой дорогой Блэкхед, я считаю своим гражданским долгом способствовать искоренению взяточничества, коррупции и интриг, распустившихся махровым цветом в городском самоуправлении... Я считаю это своим гражданским долгом.— Он направляется к двери, гордо выпятив круглый живот.

— И все-таки позвольте мне сказать вам, Денш, что это идиотство! — кричит Блэкхед ему вслед.

Когда его компаньон уходит, он сидит минуту с закрытыми глазами. Его лицо сереет, огромное мясистое тело оседает, точно лопнувший воздушный шар. Наконец он, кряхтя, поднимается, берет шляпу, пальто и выходит из конторы медленным, тяжелым шагом.

Еле освещенная прихожая пуста. Он долго ждет лифта. При мысли о том, что в пустом здании где-нибудь прячутся бандиты, у него перехватывает дыхание. Он боится оглянуться, как ребенок в темной комнате. Наконец появляется лифт.

— Вилмер,— говорит он ночному сторожу, стоящему в лифте,— нужно лучше освещать прихожую... Теперь развелось столько преступников. Надо освещать все здание.

— Да, сэр, вы правы, сэр. Только сюда никто не может войти без моего ведома.

— Но если их будет много, они вас одолеют, Вилмер.

— Хотел бы я посмотреть! Пусть попробуют.

— Пожалуй, вы правы... У меня просто нервы шалят.

Синтия сидит в «паккарде» и читает газету.

— Ну что, дорогая, ты, наверно, думала, что я никогда не приду?

— Я почти дочитала книгу, папочка.

— Ну, хорошо... Бутлер, в центр, как можно быстрее... Мы опоздали к обеду.

Лимузин несется по улице Лафайета. Блэкхед поворачивается к дочери.

— Если ты когда-нибудь услышишь, как человек говорит о своем гражданском долге,— ради Бога, не верь ему... В девяти случаях из десяти это значит, что он собирается подложить тебе свинью. Ты не представляешь себе, как я доволен, что ты и Джо устроены.

— В чем дело, папочка? У тебя деловые неприятности?

— Рынков нет!.. На всей проклятой земле нет ни одного рынка, который не был бы набит до отказа... Темное дело, Синти! Никто не знает, что случится... Да, чтобы не забыть,— ты можешь быть в банке завтра в двенадцать часов?.. Я посылаю Худкинса с некоторыми ценностями — личными, как ты сама понимаешь,— в банк. Я хочу положить их в твой сейф.

— Но он уже переполнен, папочка.

— Сейф в «Астор-тресте» на твое имя, да?

— На мое и Джо вместе.

— Прекрасно! Ты возьмешь новый сейф в банке на Пятой авеню на свое собственное имя... Я отправлю туда вещи ровно в полдень. И помни, что я говорю тебе, Синти: если ты когда-нибудь услышишь, что деловой человек говорит о гражданских добродетелях, то смотри в оба.

Они едут по Четырнадцатой улице. Отец и дочь смотрят сквозь стекло на исхлестанные ветром лица пешеходов, ждущих на перекрестке возможности перейти улицу.

Джимми Херф зевнул и отодвинул стул. Никелевый блеск пишущей машинки утомлял глаза. Кончики пальцев ныли. Он приоткрыл дверь и заглянул в холодную спальню. Он едва мог разглядеть Элли, спавшую на кровати в алькове. В дальнем конце комнаты стояла колы-

бель ребенка. Чувствовался легкий молочно-кислый запах детского белья. Он прикрыл дверь и начал раздеваться. «Если бы хоть немного простору,— бормотал он.— Мы живем, как в клетке». Он стянул пыльное покрывало с дивана и вытащил из-под подушки пижаму. «Простор, простор, чистота, спокойствие...» Слова жестикулировали в его голове, словно он обращался к обширной аудитории.

Он погасил свет, приоткрыл окно и, одеревенев от жажды сна, бросился на кровать. И тотчас же начал писать письмо на линотипе. «Вот я ложусь спать... Мать великих белых сумерек...» Рука линотипа была женской рукой в длинной белой перчатке. Сквозь стук машины голос Элли: «Не надо, не надо, не надо, ты делаешь мне больно!» — «Мистер Херф,— говорит человек в халате,— вы портите машину, мы не сможем выпустить книгу, черт бы вас побрал!» Линотип — глотающий рот со сверкающими никелевыми зубами, глотает, крошит. Он проснулся, сел на кровати. Ему было холодно, зубы стучали. Он натянул одеяло и снова заснул. Когда он проснулся во второй раз, был день. Ему было тепло. Он был счастлив. Хлопья снега танцевали, медлили, кружились за высоким окном.

— Хелло, Джимпс,— сказала Элли, подходя к нему с подносом.

— Что случилось? Я умер, попал на небо?

— Нет, сегодня воскресенье... Я решила побаловать тебя... Я испекла булочки.

— Ты прелесть, Элли... Подожди немного, я встану и почищу зубы.

Он вернулся с вымытым лицом, в купальном халате. Ее рот дрогнул под его поцелуем.

— Еще только одиннадцать часов. Я выиграл целый час. А ты будешь пить кофе?

— Сейчас... Слушай, Джимпс, я хотела поговорить с тобой кое о чем. По-моему, нам нужно другое помещение. Ты теперь опять работаешь по ночам...

— Ты думаешь, нам нужно переехать?

— Нет. Я думала, может быть, ты найдешь где-нибудь поблизости еще одну комнату и будешь там ночевать. Тогда никто не будет беспокоить тебя по утрам.

— Но, Элли, мы никогда не будем видеться... Мы и теперь редко видимся.

— Правда, это ужасно... Но что же делать, если часы наших занятий не совпадают?

Из соседней комнаты послышался плач Мартина. Джимми сидел на краю кровати, с пустой кофейной чашкой на коленях, и смотрел на свои голые ноги.

— Как хочешь,— сказал он грустно.

Желание схватить ее за руки, прижать ее к себе так, чтобы ей стало больно, пронзило его, как ракета, и умерло. Она собрала кофейный прибор и вышла. Его губы знали ее губы, его руки знали, как умеют обвиваться ее руки, он знал рощу ее волос, он любил ее. Он долго сидел, глядя на свои ноги — тонкие, красноватые ноги со взбухшими синими жилами, с пальцами, искривленными обувью, лестницами, тротуарами. На маленьких пальцах обеих ног были мозоли. Его глаза наполнились слезами жалости к себе. Ребенок перестал плакать. Джимми пошел в ванную комнату и повернул кран.

— Виноват тот парень, Анна. Он приучил вас думать, что вы ни на что не способны... Он сделал вас фаталисткой.

— А что это такое?

— Это такой человек, который думает, что не стоит бороться; человек, который не верит в человеческий прогресс.

— Вы думаете, он такой человек?

— Во всяком случае, он скэб*. У этих южан нет никакого классового самосознания... Ведь он заставил вас прекратить взносы в союз.

— Мне надоело работать на швейной машине.

— Но вы могли бы заняться рукоделием и хорошо зарабатывать. Вы — наша... Я создам вам сносную жизнь. У вас будет приличная работа. Я никогда не позволил бы вам, как он, работать в танцевальном зале... Анна, мне ужасно больно видеть, как еврейская девушка гуляет с таким парнем.

— Ну ладно. Он ушел, и у меня нет работы.

— Такие парни, как он,— злейшие враги рабочих... Они думают только о себе.

Они медленно идут по Второй авеню. Туманный вечер. Он — рыжеволосый, худощавый, молодой еврей с бледными, впалыми щеками. У него кривые ноги швейника. Анне жмут туфли. У нее синие круги под глазами. В тумане бродят кучки людей, говорящих по-еврейски, по-русски, по-английски с неправильным акцентом*. Теплые потоки света из гастрономических магазинов и киос-

ков с прохладительными напитками отсвечивают на тротуарах.

— Если бы я не чувствовала себя все время такой усталой,— бормочет Анна.

— Зайдем сюда, выпьем что-нибудь. Выпейте стакан сливок, Анна. Это вам будет полезно.

— Мне не хочется сливок, Элмер. Я лучше возьму содовой воды с шоколадом.

— Будет еще хуже... Впрочем, берите, если вам хочется.

Она садится на высокий никелированный стул. Он стоит рядом с ней. Она слегка откидывается назад и прислоняется к нему.

— Все горе рабочих в том...— Он говорит тихим, чужим голосом.— Все горе рабочих в том, что мы ничего не знаем... Мы не знаем, как нужно есть, не знаем, как нужно жить, не знаем, как защищать наши права... Да, Анна, я хочу заставить вас думать обо всем этом так же, как думаю я. Вы понимаете — мы в самой гуще сражения, совсем как на войне.

Длинной ложечкой Анна вылавливает кусочки мороженого из густой пенистой жидкости в стакане.

Джордж Болдуин смотрел на себя в зеркало, моя руки в маленькой комнате за кабинетом. Его все еще густые волосы были почти совсем седы. От углов рта к подбородку тянулись глубокие складки. Под яркими, острыми глазами кожа висела мешками. Он медленно и тщательно вытер руки, достал из жилетного кармана коробочку с пилюлями стрихнина, проглотил одну из них и, почувствовав желанное возбуждение, вернулся в контору. Мальчик-рассыльный вертелся около его стола с карточкой в руке.

— Вас хочет видеть дама, сэр.

— Ей назначено прийти? Спросите мисс Рэнк... Нет, подождите минутку. Проведите даму прямо ко мне.

На карточке было написано «Нелли Линихэм МакНийл». Нелли была одета очень богато: на ней была масса кружев и широкое меховое манто, на шее висела лорнетка на аметистовой цепочке.

— Гэс просил меня зайти к вам,— сказала она, садясь на предложенный ей стул.

— Чем могу быть полезным? — Его сердце почему-то сильно билось.

Она посмотрела на него в лорнет.

— Джордж, вы переносите это лучше, чем Гэс.

— Что именно?

— Да все это... Я стараюсь уговорить Гэса поехать со мной за границу... Мариенбад или что-нибудь в этом роде... Но он, говорит, так влез, что теперь уже не может просто вылезти.

— Я думаю, что это относится ко всем нам,— сказал Болдуин, холодно улыбаясь.

Они на минуту замолкли; потом Нелли Мак-Нийл встала.

— Слушайте, Джордж... Гэс ужасно волнуется. Вы знаете, что он всегда готов постоять за своих друзей и требует от них того же.

— Никто не может сказать, что я не постоял за него... Все дело просто в том, что я не политический деятель и сделал, по-видимому, большую глупость, приняв предложенную мне должность. А теперь я уже должен действовать на основании закона, вне партийных симпатий.

— Джордж, это еще не все, вы сами знаете.

— Скажите ему, что я всегда был и буду ему преданным другом... Он это отлично знает. Во всей этой истории я дал себе слово бороться с тем элементом, с которым Гэс имел неосторожность спутаться.

— Вы прекрасный оратор, Джордж Болдуин. Вы всегда им были.

Болдуин побагровел. Они стояли неподвижно друг против друга у двери кабинета. Его рука лежала на дверной ручке, как парализованная. За окном, на лесах строящегося здания, оглушительно стучали молотки клепальщиков.

— Надеюсь, ваша семья в добром здравии? — сказал он наконец с усилием.

— Да, все чувствуют себя прекрасно, благодарю вас... До свиданья.— Она вышла.

Болдуин минуту стоял у окна, глядя на серое здание с черными окнами напротив. «Глупо так возбуждаться по пустякам. Надо развлечься». Он снял с гвоздя шляпу, пальто и вышел.

— Джонас,— сказал он сидевшему в библиотеке человеку с круглой, лысой, похожей на тыкву головой,— принесите мне на дом все бумаги, что лежат у меня на столе... Я просмотрю их сегодня вечером.

— Слушаюсь, сэр.

Когда он вышел на Бродвей, то почувствовал себя мальчиком, играющим в хоккей. День был зимний, свер-

кающий, с быстрыми сменами солнца и туч. Он вскочил в такси, откинулся на сиденье и задремал. На Сорок второй улице он проснулся. Все сплелось в хаос ярких, пересекающихся плоскостей, цветов, лиц, ног, витрин, трамваев, автомобилей. Он выпрямился, положил руки в перчатках на колени, дрожа от возбуждения. Перед домом, где жила Невада, он расплатился с такси. Шофер был негр и, получив на чай пятидесятицентовую монету, оскалил белоснежные зубы. Лифта не было. Болдуин, сам себе удивляясь, легко взбежал по ступеням. Он постучал в дверь Невады. Ответа не было. Он снова постучал — Невада осторожно приоткрыла дверь. Он увидел ее кудрявую пепельную головку. Он вбежал в комнату прежде, чем она успела остановить его. На ней было только кимоно поверх розовой рубашки.

— Господи,— сказала она,— я думала, что это прислуга.

Он сгреб ее и поцеловал.

— Не знаю почему, но я чувствую себя сегодня трехлетним младенцем.

— У вас такой вид, будто вас хватил солнечный удар. Вы же знаете — я не люблю, когда вы приходите, не предупредив по телефону.

— Не сердись, это в первый раз.— Вдруг Болдуин увидел на кушетке пару аккуратно сложенных темно-синих брюк.— Я ужасно чувствовал себя в конторе, Невада. Я думал, что приду к тебе, поболтаю, отдохну немного.

— А я как раз репетировала танцы под патефон.

— А, это очень интересно...— Он зашагал по комнате вприпрыжку.— Слушай, Невада... Нам надо поговорить. Мне все равно, кто у тебя сидит в спальне.

Она посмотрела ему в лицо и села на кушетку рядом с брюками.

— В сущности, я уже давно знаю, что ты путаешься с Тони Хентером.

Она сжала губы и скрестила ноги.

— По правде сказать, эта история с его хождением к психоаналитику и двадцатью пятью долларами за часовой сеанс меня только забавляла... Но теперь я решил, что с меня достаточно... Вполне достаточно!

— Джордж, вы сумасшедший,— заикаясь, произнесла она и вдруг начала смеяться.

— Вот что я намерен сделать,— продолжал Болдуин ясным, официальным голосом.— Я пришлю вам чек на

пятьсот долларов, потому что вы славная девочка и я люблю вас. За квартиру заплачено до первого числа. Это вас устраивает? И покорнейше прошу вас не пытаться возобновлять со мной какие бы то ни было отношения.

Она каталась по кушетке в припадке смеха и мяла аккуратно сложенные синие брюки. Болдуин махнул шляпой и перчатками и вышел, очень мягко прикрыв за собой дверь. «Благополучно отделался»,— сказал он себе, осторожно прикрывая за собой дверь.

Очутившись на улице, он направился в центр города. Он чувствовал себя возбужденным и разговорчивым. Он не знал, к кому пойти. Перебирая в памяти имена друзей, он пришел в отчаяние. Он почувствовал себя одиноким и покинутым. Ему захотелось поговорить с женщиной, чтобы ей стало жалко его, его опустошенной жизни. Он зашел в табачный магазин и стал просматривать телефонную книжку. Легкий трепет пробежал по его телу, когда он дошел до буквы «Х». Наконец он нашел фамилию — Херф, Елена Огльторп.

Невада Джонс долго сидела на кушетке, истерически смеясь. Наконец из спальни вышел Тони Хентер в рубашке и кальсонах, с галстуком, тщательно завязанным бабочкой.

— Ушел?

— Ушел, ушел навсегда! — взвизгнула она.— Он увидел твои проклятые брюки.

Он опустился на стул.

— Господи, я самый несчастный человек на свете!

— Почему? — Она захлебывалась смехом, слезы текли по ее лицу.

— Все пропало... Пропала служба в театре.

— И мне, стало быть, опять надо жить на три доллара в день... Плевать! Мне всегда была противна роль содержанки.

— Но ты не думаешь о моей карьере... Женщины так эгоистичны! Если бы ты не соблазнила меня...

— Замолчи, дурачок! Ты думаешь, я не знаю про тебя все? — Она встала и запахнула кимоно.

— Я так долго ждал случая показать себя. А теперь все пропало! — стонал Тони.

— Ничего не пропало, если ты будешь делать то, что я тебе скажу. Я решила сделать из тебя человека, глупыш, и сделаю. Мы придумаем сценку и будем играть. Старик Хиршбейн устроит нас. Он, кажется, чуточку влюблен в

меня... Иди сюда, а то я тебя побью. Давай подумаем... Мы начнем с танцевального антре... Потом ты сделаешь вид, что пристаешь ко мне, понимаешь?.. А я жду трамвая... а ты подходишь и говоришь: «Здравствуйте, деточка»... А я зову полисмена...

— В длину достаточно, сэр? — спросил закройщик, делая мелком отметки на брюках.

Джеймс Меривейл посмотрел вниз на маленькую лысую голову закройщика и на широкие коричневые брюки, свободно спадавшие на ботинки.

— Немного покороче... По-моему, длинные брюки старят.

— Хелло, Меривейл! Я не знал, что вы тоже шьете у Брука. Рад видеть вас.

Кровь застыла в жилах Меривейла. Он смотрел прямо в голубые глаза Джека Канингхэма — глаза алкоголика. Он закусил губы и, не говоря ни слова, пытался придать себе строгий и холодный вид.

— Ай-ай-ай! Знаете, что случилось? — воскликнул Канингхэм.— Мы шьем себе одинаковые костюмы... абсолютно одинаковые.

Меривейл удивленно смотрел то на коричневые брюки Канингхэма, то на свои собственные: тот же самый цвет, та же тонкая красная полоска, те же едва заметные зеленые крапинки.

— Слушайте, два будущих шурина не могут носить одинаковые костюмы. Люди подумают, что это форма... Это смешно!

— Но что же нам теперь делать? — ворчливо спросил Меривейл.

— Бросим жребий, посмотрим, кому достанется костюм — вот и все. Дайте-ка мне четвертак,— повернулся Канингхэм к закройщику.— Так... Ну, говорите.

— Решка,— машинально произнес Меривейл.

— Костюм ваш... Придется мне выбирать другой... Как я рад, что мы встретились... Слушайте,— кричал он из занавешенной кабинки,— отчего бы вам сегодня не пообедать со мной в «Салмагунди-клубе»? Я буду обедать с единственным человеком на свете, который еще больше помешан на гидропланах, чем я... со стариком Перкинсом! Вы его знаете, он один из вице-президентов нашего банка... И вот еще что — когда вы увидите Мэзи, скажите ей, что я завтра буду у нее. Ряд непредвиденных со-

бытий помешал мне написать ей... У меня буквально не было ни минуты свободной. Я вам потом расскажу.

Меривейл откашлялся.

— Хорошо,— сказал он сухо.

— Все в порядке, сэр,— сказал закройщик, легонько хлопнув Меривейла по спине.

Меривейл ушел в кабинку и стал переодеваться.

— Ну, дружище,— заорал Канингхэм,— я буду выбирать другой костюм!.. Жду вас в семь.

Руки Меривейла дрожали, когда он застегивал ремень. «Перкинс, Джек Канингхэм, проклятый шантажист, гидропланы, Джек Канингхэм, Салмагунди, Перкинс». Он пошел в телефонную будку в углу магазина и вызвал мать.

— Хелло, мама... Я сегодня не буду обедать дома... Я обедаю с Рандольфом Перкинсом в «Салмагунди-клубе»... Да, это очень приятно... О, мы с ним всегда были в прекрасных отношениях... Да, да, это очень важно... Надо дружить с людьми, стоящими выше тебя... Я видел Джека Канингхэма. Я выложил ему все напрямик, он был страшно смущен. Он обещал все объяснить в течение двадцати четырех часов... Нет, я был очень сдержан. Я помнил, что надо сдерживаться ради Мэзи. Я уверен, что он шантажист, но пока нет доказательств... Ну, спокойной ночи, дорогая. Я, должно быть, приеду поздно... Нет, нет, пожалуйста не жди. Скажи Мэзи, чтоб она не беспокоилась, я расскажу ей все подробно. Спокойной ночи, мама.

Они сидели за маленьким столиком в глубине слабо освещенного кафе. Абажур на лампе срезал верхнюю часть их лиц. Эллен была в ярко-синем платье и маленькой синей шляпке с зеленой отделкой. У Рут Принн было под уличным гримом грустное, утомленное лицо.

— Элайн, вы должны пойти,— говорила она хнычущим голосом.— Там будет Касси, будет Оглторп, вся старая компания... Если вы и имеете успех в журнальном деле, то это еще не резон пренебрегать старыми друзьями. Вы не знаете, как много мы говорим о вас, как мы вами восхищаемся.

— Видите ли, Рут, я просто терпеть не могу большие сборища. Вероятно, это признак старости. Впрочем, я заеду на минутку.

Рут отложила сандвич, который она грызла, и нежно погладила руку Эллен.

— Я была уверена, что вы пойдете.

— Но, Рут, вы мне ничего не рассказали о летнем турне.

— Господи! — разразилась Рут.— Это было ужасно. Содом, сущий содом! Во-первых, муж Изабель Клайд, Ральф Нелтон, наш режиссер, оказался алкоголиком... А потом, прелестная Изабель не позволяла ни одной мало-мальски приличной актрисе выходить на сцену — она боялась, что публика не разберет, кто премьерша. Просто не хочется рассказывать... Это вовсе не смешно, это трагично... Ах, Элайн, я падаю духом. Я старею, моя дорогая.— Она вдруг расплакалась.

— Не надо, Рут,— тихо и твердо сказала Эллен; она рассмеялась: — В конце концов, никто из нас не молодеет.

— Вы не понимаете, дорогая... Вы никогда не поймете...

Они долго сидели молча, обрывки тихих разговоров доносились к ним из других углов сумрачного зала. Светловолосая кельнерша подала им две порции фруктового компота.

— Уже поздно, должно быть,— нерешительно сказала Рут.

— Еще только половина девятого... Не стоит приходить слишком рано.

— Кстати... как поживает Джимми Херф? Я целую вечность не видала его.

— Джимпс чувствует себя очень хорошо... Но ему ужасно надоело работать в газете. Я бы хотела, чтобы он занялся чем-нибудь, что ему действительно по душе.

— Он никогда не успокоится. Ах, Элайн, я была так счастлива, когда узнала, что вы поженились. Я вела себя как дура. Плакала, плакала... Вы, должно быть, ужасно счастливы, особенно после рождения Мартина.

— Да, ничего... Мартин растет... Нью-Йорк, видимо, действует на него хорошо. Он все время был такой спокойный и толстый, мы просто боялись, что у нас родился идиот. Знаете, Рут, я думаю, что у меня больше не будет детей... Я так боялась, что ребенок будет урод или что-нибудь в этом роде... Я прихожу в ужас при одной мысли...

— А все-таки это, должно быть, замечательно.

Они позвонили в звонок под маленькой медной дощечкой, на которой было написано «Пластические танцы». Они поднялись на третий этаж по скрипучим, свежеокрашенным ступеням. На пороге переполненной комнаты они встретили Кассандру Вилкинс в греческой

тунике, в венке из поддельных роз и с золоченой деревянной свирелью в руках.

— Ах, довогие мои! — воскликнула она и сразу обняла обеих.— Эстер сказала, что вы не пиедете, но я знала, что вы будете... Входите, ваздевайтесь, мы начинаем вечев с витмических танцев.

Они вошли вслед за ней в длинную, освещенную свечами, пахнущую ладаном комнату, набитую мужчинами и женщинами в туниках.

— Дорогая моя, вы не сказали нам, что у вас будет костюмированный бал.

— Ах, да. Вы видите — тут все гвеческое, абсолютно гвеческое... А вот и Эстев... Эстев, вы знакомы с Вут. А это — Элайн Оглтовп.

— Моя фамилия теперь Херф, Касси.

— Ах, пвостите, так твудно уследить... Вы как ваз воввемя. Эстев будет танцевать восточный танец — «Витмы тысячи и одной ночи»... Это ужасно квасиво!

Когда Эллен вышла из спальни, где она оставила свое манто, к ней подошел высокий мужчина в египетской прическе, с рыжими бровями дугой.

— Позвольте приветствовать Елену Херф, знаменитую редакторшу «Мэннерс», журнала изысканной жизни.

— Джоджо, ты вечно меня дразнишь!.. Я страшно рада тебя видеть.

— Пройдем в укромный уголок и поговорим, о единственная женщина, которую я когда-либо любил...

— Пойдем... Мне тут не очень нравится.

— Ты слыхала, дорогая моя, что Тони Хентер выправлял свою половую жизнь у психоаналитика, сублимировался и теперь разыгрывает водевили с некой женщиной, по имени Калифорния Джонс?

— Лучше смотри, что тут делается, Джоджо.

Они сели на кушетку в оконной нише. Краем глаза она видела, как танцевала девушка в зеленых шелковых покрывалах. Граммофон играл симфонию Цезаря Франка.

— Смотри, не пропусти танцев Касси. Бедняжка будет ужасно обижена.

— Джоджо, расскажи мне про себя. Как ты жил?

Он покачал головой и махнул рукой.

— «Поговорим о горестных вещах, о смерти королей...»

— Ах, Джоджо, меня от всего этого тошнит... Глупо и безвкусно... Зачем меня заставили снять шляпу?

— Это, вероятно, для того, чтобы я мог любоваться запретной рощей твоих волос.

— Джоджо, перестань болтать глупости.

— Как поживает твой муж, Элайн, или, вернее, Елена?

— Очень хорошо.

— Ты это говоришь без особого энтузиазма.

— Мартин — прелесть! У него черные волосы, карие глаза и розовые щеки. И он очень умный.

— Дорогая, избавь меня от демонстрации материнских чувств. Ты мне еще в следующий раз будешь рассказывать, как ты его возила на выставку.

Она рассмеялась:

— Джоджо, ужасно забавно видеть тебя опять!

— Я еще не закончил допроса, дорогая... Я недавно видел тебя в ресторане с неким чрезвычайно шикарным мужчиной с резкими чертами лица и седыми волосами.

— Должно быть, Джордж Болдуин... Да ведь ты был с ним когда-то знаком.

— Конечно, конечно. Как он изменился! Он выглядит гораздо интереснее, чем раньше... Должен признаться — довольно странно видеть жену большевика, пацифиста и рабочего агитатора в таком ресторане.

— Джимпс совсем не то, что ты предполагаешь. Я хотела бы, чтобы он был...— Она наморщила нос.— А знаешь, я порядком пресытилась всем этим...

— Я это подозревал, моя дорогая.

Мимо них с сосредоточенным видом проскользнула Касси.

— Пожалуйста, помогите мне. Джоджо все время дразнит меня.

— Ховошо, я посижу с вами минутку. Я танцую следующим номевом... Мистев Оглтовп будет читать свой певевод «Песен Билитис», а я буду танцевать под них.

Эллен посмотрела на нее, потом на Джоджо. Тот поднял брови и кивнул.

Потом Эллен долго сидела одна, глядя на танцы и на журчащую, переполненную комнату. Пелена усталости застилала ей глаза.

Граммофон заиграл что-то турецкое. Эстер Вурис — костлявая женщина с копной крашеных, остриженных на уровне ушей волос — вышла, держа в руках сосуд с ладаном, предшествуемая двумя молодыми людьми, которые разворачивали перед ней ковер по мере того, как она приближалась. На ней были шелковые трусики, зве-

нящий металлический пояс и масса браслетов. Все аплодировали и кричали:

— Замечательно! Восхитительно!

Вдруг из соседней комнаты послышались раздирающие женские вопли. Все вскочили. Толстый мужчина в котелке появился на пороге.

— Так-с... Девочки, пожалуйте в заднюю комнату. Мужчины, оставайтесь здесь.

— Кто вы такой?

— Это неважно, кто я. Делайте то, что вам говорят.— Лицо у человека в котелке было красное, как морковь.

— Это сыщик!

— Возмутительное насилие... Пусть покажет значок!

— Налетчик!

— Обыск!

Внезапно комната наполнилась сыскными агентами. Они выстроились перед окнами. Человек в клетчатой кепке с лицом, как тыква, встал у камина. Женщин грубо выталкивали в соседнюю комнату. Мужчины сбились в кучу у дверей. Агенты записывали их имена. Эллен все еще сидела на кушетке.

— ...жаловаться по телефону в штаб-квартиру...— услышала она чьи-то слова.

Она заметила, что на маленьком столике около кушетки стоит телефон. Она схватила трубку и тихо прошептала номер.

— Хелло, это канцелярия окружного прокурора?.. Попросите, пожалуйста, мистера Болдуина... Джордж?.. Какое счастье, что я нашла вас. Окружной прокурор там?.. Хорошо... Нет, нет, вы ему сами расскажите... Произошла ужасная ошибка. Я у Эстер Вурис... Знаете, у нее балетная студия. Она демонстрировала новые танцы нескольким друзьям, а полиция по какому-то недоразумению явилась с обыском...

Человек в котелке подскочил к ней.

— Никакие телефоны вам не помогут... Марш в заднюю комнату!

— Я говорю с окружным прокурором. Поговорите с ним... Хелло, это мистер Уинтроп?.. Да... Здравствуйте. Пожалуйста, поговорите с этим человеком.

Она протянула сыщику трубку и вышла на середину комнаты. «Как жаль, что я сняла шляпу»,— подумала она.

Из соседней комнаты доносились рыдания и актерский, крикливый голос Эстер Вурис:

— Это ужасная ошибка, это недоразумение... Не смейте меня оскорблять!

Сыщик повесил трубку. Он подошел к Эллен.

— Я должен извиниться перед вами, мисс... Нас ввели в заблуждение. Я немедленно уведу моих людей.

— Вы лучше извинитесь перед миссис Вурис... Это ее студия.

— Леди и джентльмены,— заговорил сыщик громким, веселым голосом,— мы совершили небольшую ошибку... Мы очень огорчены... Но это всегда может случиться...

Эллен прошла в соседнюю комнату, чтобы взять шляпу и пальто. Она немного задержалась перед зеркалом, пудря нос. Когда она снова вернулась в студию, все говорили, перебивая друг друга. Мужчины и женщины стояли в простынях и халатах поверх легких театральных костюмов. Агенты исчезли так же внезапно, как появились. Оглторп шумно разглагольствовал, стоя в группе молодых людей.

— Мерзавцы... Нападать на женщин! — кричал он, весь красный, размахивая париком.— К счастью, я сдержал себя, иначе я наделал бы таких дел, что потом раскаивался бы до конца своих дней... Только величайшее самообладание помогло мне...

Эллен удалось незаметно выскользнуть, сбежать по ступенькам и выйти на грязную улицу. Она остановила такси и поехала домой. Сбросив манто, она тотчас же позвонила Джорджу Болдуину на дом.

— Хелло, Джордж, мне ужасно неприятно, что я обеспокоила вас и мистера Уинтропа. Но если бы вы за завтраком не сказали мне, что будете весь вечер в канцелярии, нас бы теперь, наверно, уже везли в «черной Марии» в тюрьму... Конечно, это было смешно. Я как-нибудь расскажу вам, но теперь меня от всего этого тошнит... Ну да, от всего — от эстетики, от пластических танцев, от литературы, от радикализма, от психоанализа... Объелась, наверно... Да, вы правы, Джордж... Я, кажется, действительно становлюсь взрослой.

Ночь была сплошной глыбой черного, скрежещущего холода. Все еще ощущая запах типографской краски, все еще слыша стрекотание пишущих машинок, Джимми Херф стоял на площади перед ратушей, засунув руки в карманы, и смотрел, как оборванные люди в кепках, в шапках с наушниками сгребали снег. У молодых и ста-

рых были одинакового цвета лица, одинакового цвета одежда. Острый, как бритва, ветер резал ему уши и больно обжигал лоб и переносье.

— Хелло, Херф, хотите поработать? — спросил незаметно подошедший к нему бледный молодой человек.

Он указал на снежный сугроб.

— А почему бы и нет, Дэн? По-моему, это все-таки лучше, чем всю свою жизнь совать нос в чужие дела и в конце концов превратиться в ходячий диктограф.

— Летом это будет очень приятно... Куда направляетесь?

— Просто прогуливаюсь... Скверное настроение...

— Да вы замерзнете, дружище.

— Наплевать... Как это гнусно, когда у тебя нет никакой личной жизни, когда ты просто-напросто автоматическая пишущая машинка.

— Ну вот, а я не прочь избавиться хотя бы от частицы моей личной жизни... Спокойной ночи. Надеюсь, вы в конце концов найдете себе личную жизнь, Джимми.

Джимми Херф повернулся спиной к работавшим и пошел по Бродвею, наклонившись против ветра, запрятав подбородок в воротник пальто. На Хаустон-стрит он взглянул на часы: пять часов. Черт возьми, как поздно! Пожалуй, теперь негде достать выпивку. Он съежился при мысли о ледяных кварталах, которые ему еще оставалось пройти, прежде чем он доберется до своей комнаты. Время от времени он останавливался, чтобы растереть окоченевшие уши. Наконец он добрался до своей комнаты, зажег газовую печь и начал греться. У него была маленькая, четырехугольная, мрачная комната на южной стороне площади Вашингтона. Все ее убранство состояло из кровати, стула, стола, заваленного книгами, и газовой печки. Немного согревшись, он достал из-под кровати бутылку рома в плетенке. Он налил воды в жестяную кружку, согрел ее на газовой печке и начал пить горячий ром пополам с водой. Внутри него бушевали безымянные агонии. Он чувствовал себя героем волшебной сказки, сердце которого было скована железным обручем. Теперь этот обруч лопался.

Он допил ром. Временами комната начинала вертеться вокруг него торжественно и плавно. Вдруг он сказал вслух:

— Мне надо поговорить с ней... Мне надо поговорить с ней.

Он нахлобучил шляпу и надел пальто. На улице было приятно холодно. Шесть молочных фургонов продребезжали мимо один за другим.

На Двенадцатой улице две черные кошки охотились друг на друга. Вся улица была полна сумасшедшего воя. Он чувствовал, что в его голове сейчас что-то лопнет, что он вдруг упадет на четвереньки на застывшую мостовую и завоет диким кошачьим воем.

Он стоял, дрожа, в темном коридоре и не переставая звонил в звонок с надписью «Херф». Потом начал изо всех сил стучать. Эллен, закутанная в зеленый халат, открыла дверь.

— Что случилось, Джимпс? Разве у тебя нет ключа?

Ее лицо было размягчено сном; счастливый, сладкий, уютный запах сна исходил от нее. Он заговорил, задыхаясь, сквозь стиснутые зубы:

— Элли, мне надо поговорить с тобой.

— Ты пьян, Джимпс?

— Да, но я все соображаю.

— Я ужасно хочу спать.

Он пошел за ней в ее спальню. Она сбросила туфли, скользнула в кровать и сидела, глядя на него заспанными глазами.

— Не говори слишком громко, разбудишь Мартина.

— Элли, я не знаю, почему мне всегда так трудно говорить с тобой... Я всегда должен выпить прежде, чем говорить... Скажи, ты больше не любишь меня?

— Ты знаешь, что я очень люблю тебя и всегда буду любить.

— Я говорю о настоящей любви. Ты знаешь, что я хочу сказать! — прервал он ее резко.

— Кажется, я вообще не способна долго любить кого-нибудь, пока он не умрет... Я скверный человек. Бесполезно об этом говорить.

— Я знал это. И ты знала, что я знаю. Господи, как все паршиво, Элли!

Она сидела, поджав ноги, обхватив руками колени, и смотрела на него широко раскрытыми глазами.

— Ты действительно так безумно любишь меня, Джимпс?

— Знаешь что, Элли,— разведемся, и дело с концом.

— Зачем торопиться, Джимпс?.. И, кроме всего прочего, есть еще Мартин. Как быть с ним?

— Я как-нибудь наскребу для него денег. Бедный малыш...

— Я зарабатываю больше тебя, Джимпс... Тебе это не придется делать.

— Знаю. Знаю. Разве я не знаю?

Они сидели молча и смотрели друг на друга. Их глаза загорелись от того, что они смотрели друг на друга. Джимми вдруг страшно захотелось заснуть, чтобы ничего не помнить, зарыться головой в темноту, как в колени матери, когда он был ребенком.

— Ну, я пойду домой.— Он сухо рассмеялся.— Кто мог думать, что все так кончится, а?

— Спокойной ночи, Джи-импс,— протянула она, зевая.— Ничего еще не кончилось... Если бы мне только не хотелось так дико спать... Ты потушишь свет?

Он пробрался в темноте к двери. На улице уже начинало сереть арктическое утро. Он побежал домой. Ему хотелось лечь в кровать и уснуть до того, как станет светло.

Длинная низкая комната с длинными столами посредине. Столы завалены шелковыми и креповыми тканями, коричневыми, розовыми, изумрудно-зелеными. Запах перекушенных ниток и материй. Над столами — склоненные головы, каштановые, белокурые, черные — головы шьющих девушек. Рассыльные мальчики передвигают по комнате вешалки с готовыми платьями. Раздается звонок, и комната, точно птичник, наполняется шумом, разговорами и визгом.

Анна встает и потягивается.

— Ах, голова болит,— говорит она соседке.

— Опять не спала ночью?

Она кивает.

— Ты это брось, моя милая, а то испортишь себе цвет лица. Девушка не должна жечь свечу с обоих концов, как мужчина,— говорит соседка, тощая блондинка с кривым носом; она обнимает Анну.— Эх, мне бы хоть часть твоего веса!

— Я сама не прочь уступить тебе его,— говорит Анна.— Что я ни ем — все время полнею.

— И все-таки ты не толстая. Ты просто пухленькая. Тебя, должно быть, приятно потискать. Попробуй-ка носить мужской покрой платья — ты будешь чудно выглядеть.

— Мой дружок говорит, что ему нравится, когда девочка полненькая.

На лестнице они протискиваются сквозь кучку работниц, внимательно слушающих рыжеволосую девушку; та быстро рассказывает что-то, широко раскрывая рот и вращая глазами:

— Она жила как раз в соседнем квартале на Камерон-авеню, двадцать два тридцать. Она была в «Ипподроме» с подругами, и когда они возвращались, было уже поздно, а она пошла домой одна по Камерон-авеню, понимаете? На следующее утро родные хватились, начали искать — а она лежит на пустыре за рекламным щитом.

— Уже мертвая?

— Ну да... Какой-то негр изнасиловал ее, а потом задушил... Я ужасно боюсь. Я ходила вместе с ней в школу. Теперь, как только стемнеет, у нас ни одна девушка не выходит на улицу — все боятся.

— Да-да, я все это читала вчера вечером в газете. Подумайте только — жить рядом, в соседнем квартале...

— Ты видел, я тронула локтем горбуна! — воскликнула Рози, когда они уселись в такси.— В вестибюле театра...

Он подтянул брюки, натянувшиеся на коленях.

— Это принесет нам счастье, Джек. Горбуны всегда помогают... Надо только притронуться к горбу... Ой, мне дурно! Как быстро едет такси.

Их подбросило вперед, автомобиль внезапно остановился.

— Боже мой, мы чуть не переехали мальчика.

Джек Силвермен погладил ее по колену.

— Бедная девочка, ты выглядишь совсем усталой.

Когда они подъехали к отелю, она дрожала и прятала лицо в воротник шубы. Они подошли к конторке, чтобы взять ключ, и клерк сказал Силвермену:

— Тут вас дожидается один джентльмен, сэр.

Плотный мужчина подошел к нему, вынимая сигару изо рта.

— Пройдите, пожалуйста, сюда на одну минутку, мистер Силвермен.

Рози показалось, что она теряет сознание. Она стояла совершенно неподвижно, точно окаменев, глубоко запрятав лицо в меховой воротник.

Они сели в кресла и начали разговаривать, сблизив головы. Шаг за шагом она подошла ближе и стала прислушиваться.

— Ордер... департамент юстиции... мошенничество...

Она не слышала, что отвечал Джек. Он все время кивал головой, как бы соглашаясь. Потом вдруг заговорил, мягко, улыбаясь:

— Я выслушал вас, мистер Роджерс... Теперь выслушайте вы меня. Если вы арестуете меня теперь, то я буду разорен. Множество людей, вложивших деньги в это предприятие, тоже разорятся... А через недельку я смогу ликвидировать дело с прибылью... Мистер Роджерс, я сильно пострадал из-за моей глупой доверчивости.

— Я ничего не могу сделать... Я обязан исполнить данное мне предписание... Боюсь, что мне придется произвести у вас обыск... У нас, видите ли, есть кое-какие детальки...— Он стряхнул пепел с сигары и начал читать монотонным голосом: — «Джэкоб Силвермен, он же Эдуард Февершэм, он же Симеон Арбэтнот, он же Джек Хинклей, он же Дж.-Дж. Голд...» Славный списочек... Мы основательно потрудились над вашим делом, если уж говорить откровенно.

Оба встали. Человек с сигарой кивнул головой тощему человеку в кепи, читавшему газету в противоположном углу вестибюля.

Силвермен подошел к конторке.

— Меня вызывают по делу,— сказал он клерку.— Будьте добры, приготовьте счет. Миссис Силвермен пробудет у вас еще несколько дней.

Рози не могла говорить. Она последовала за тремя мужчинами в лифт.

— Искренне сожалею, мадам,— сказал тощий сыщик, прикоснувшись к козырьку кепи.

Силвермен открыл им дверь комнаты и старательно запер ее.

— Благодарю вас за вашу деликатность, джентльмены... от имени жены...

Рози сидела на стуле в углу комнаты. Она крепко прикусила язык, чтобы не тряслись губы.

— Мы понимаем, мистер Силвермен, что это не обычное уголовное дело.

— Не хотите ли выпить, джентльмены?

Оба покачали головой. Толстый закурил новую сигару.

— Ну, Майк,— сказал он тощему,— начните с шкафа и ящиков.

— Вы действуете согласно предписанию?

— Если бы мы действовали согласно предписанию, то мы должны были бы надеть на вас наручники и арестовать вашу жену как соучастницу.

Рози сидела, крепко зажав ледяные руки между коленями, покачиваясь из стороны в сторону. Ее глаза были закрыты. Пока сыщики рылись в шкафу, Силвермен успел подойти к ней и положил ей руку на плечо. Она открыла глаза.

— Как только эти дьяволы уведут меня, телефонируй Шатцу и расскажи ему все. Поймай его во что бы то ни стало, если даже тебе придется разбудить весь Нью-Йорк.— Он говорил тихо и быстро, его губы едва двигались.

Почти тотчас же его увели. Агенты унесли полный портфель писем. Ее губы были еще влажны от его поцелуя. Она обводила мутным взглядом пустую, мертвенно тихую комнату. На лиловой промокательной бумаге, которой был покрыт стол, она заметила какую-то надпись. Это был его почерк, очень неразборчивый: «Продай все и держись. Ты славная девочка». Слезы потекли по ее щекам. Она долго сидела, уронив голову на стол, целуя надпись, нацарапанную карандашом на промокательной бумаге.

IV. НЕБОСКРЕБ

Безногий юноша остановился посередине тротуара на Четырнадцатой улице. На нем синий свитер и синяя вязаная шапка. Его устремленные вверх глаза все расширяются, пока кроме них ничего не остается на бумажно-белом лице. Плывет по небу дирижабль, блестящая фольговая сигара, затуманенная высотой, осторожно прокалывая вымытое дождем небо и мягкие облака. Безногий юноша застыл, опираясь на руки, посредине тротуара на Четырнадцатой улице. Среди шагающих ног, тощих ног, дрыгающих ног, ног в юбках, в брюках, в штанах по колено, он совершенно неподвижен, опираясь на руки, глядя вверх на дирижабль.

Безработный Джимми Херф вышел из Пулитцер-билдинг. Он стоял на углу подле кипы розовых газет, переводя дух и глядя на сверкающую иглу Вулворт-билдинг.

Был солнечный день, небо было голубое, как яйцо реполова. Он повернул на север. По мере того как он удалялся, Вулворт-билдинг вытягивался, точно телескоп. Он шел на север, через город сверкающих окон, через город спутанных алфавитов, через город золоченых вывесок.

«Цветет клейкая весна... Золотое изобилие, восторг в каждом глотке. Всеобщая Любимица, цветет клейкая весна».

«Лучшее печенье в мире — «Принц Альберт». «Прессованная сталь, медь, никель, чугун». «Весь мир любит естественную красоту. Распродажа у Гумпеля по самым низким ценам». «Сохраняйте девичью фигуру»... «ДЖО КИСС, стартеры, генераторы, осветительные принадлежности».

Все заставляло его смеяться подавленным смешком. Было одиннадцать часов. Он не спал сегодня. Жизнь была перевернута вверх ногами, он был мухой, бродившей по потолку перевернутого города. У него нет работы, ему нечего делать — сегодня, завтра, послезавтра. Все, что не поднимается,— все падает, и не на недели, на месяцы. «Цветет клейкая весна»...

Он зашел в закусочную, заказал ветчину, яйца, кофе, гренки и ел со счастливым чувством, наслаждаясь каждым куском. Его мысли мчались, точно табун годовалых жеребят, обалдевших от солнца. За соседним столом монотонный голос дудел:

— А я говорю вам, что мы должны произвести чистку. Они были нашими прихожанами. Нам известна вся эта история. Ему советовали бросить ее. А он говорил: нет, я хочу посмотреть, что из этого выйдет.

Херф встал. Надо еще походить. Он вышел, чувствуя во рту вкус ветчины.

Приняты экстренные меры для удовлетворения весеннего спроса.

«Господи, удовлетворить весенний спрос!..»

В простой упаковке, сэр, но аромат у этого табака необычайный... СОКОНИ. Вкус во рту говорит больше, чем миллион слов.

Желтый карандаш с красным ободком. «Чем миллион слов», «чем миллион слов»...

— Ну-ка, давайте сюда ваш миллион... Держи его! Бен! — Бандиты, думая, что он мертв, оставили его на скамье в парке. Они напали на него, но нашли при нем только миллион слов...

— Послушай, Джимпс, я устала от книжных разговоров, от пролетариата, неужели ты этого не понимаешь?

Золотое изобилие, весна.

У матери Дика Сноу была фабрика сапожных коробок. Фабрика лопнула. Дик перестал ходить в школу и гранил тротуары. Человек из киоска минеральных вод надоумил его. Он сделал два взноса за жемчужные сережки для черноволосой еврейской девушки с фигурой, как у мандолины. Они подстерегли банковского артель-

щика у станции воздушной дороги. Он застрял в турникете и повис на нем. Они скрылись с портфелем на «форде». Дик Сноу остался и выпускал заряд за зарядом в труп. В камере смертника он удовлетворил весенний спрос, написав поэму, посвященную матери; ее напечатали в «Ивнинг грэфик»*.

С каждым глубоким вздохом Херф вдыхал грохот и скрип и размалеванные фразы, пока он не начал пухнуть, пока он не почувствовал себя громадным и зыбким, колышущимся, как столб дыма, над апрельскими улицами, заглядывающим в окна магазинов, пуговичных фабрик, меблированных домов, пока не почуял прели постельного белья, пока не услышал мягкого шипа стаканов, пока не вписал ругательных слов на пишущей машинке между пальцами машинистки, пока не перепутал всех прейскурантов в складах. Он шипел и пузырился, как содовая вода в сладком апрельском сиропе; земляника, сарсапарель*, шоколад, вишни, ваниль, пенились в мягком бензиново-синем воздухе. «А что, если я куплю револьвер и убью Элли? Удовлетворю ли я апрельский спрос, если, сидя в камере смертника, напишу поэму о моей матери для «Ивнинг грэфик»?»

Он съеживался, пока не стал маленьким, как пылинка, пока не пробрался через скалы и валуны в гудящих водосточных трубах, пока не вскарабкался на соломинки, утопая в озерах бензина, выплеснутого автомобилями.

Он сидел на Вашингтон-сквер, полуденно-розовом, и смотрел из-под арки на Пятую авеню. Лихорадка перестала трясти его. Он чувствовал прохладу и усталость. Другая весна. Бог знает сколько весен тому назад,— тогда он шел с кладбища по голубой асфальтовой дороге, где чирикали воробьи, а на вывеске было написано «Ионкерс». «В Ионкерсе я похоронил мое детство, в Марселе, где ветер дул мне в лицо, я похоронил в гавани мою юность. Где, в каком месте Нью-Йорка я похороню мои двадцать лет? Может быть, они приговорены к высылке и уходят в море на пароме с пением «Интернационала»... Звуки «Интернационала» тают над водой, вздыхают в морском тумане».

ВЫСЫЛКА

...В том числе Джеймс Херф, молодой журналист, 190 Вест, Двенадцатая улица, двадцати с лишним лет от роду. Приговором судьи Меривейла все они переведены на Эллис-Айленд на предмет высылки в качестве нежелательных иностранцев. Чет-

веро младших — Саша, Михаил, Николай и Владимир — в свое время уже обвинялись в ряде уголовных преступлений и принадлежности к анархистам. Двое других — зарегистрированные бродяги. И наконец, еще трое — Билл, Тони и Джо — привлекались по различным обвинениям, в том числе за избиение жены, поджоги, налеты и проституцию. Все арестованные, кроме того, признаны виновными в различных злоупотреблениях.

«Я признаю ваши показания сомнительными»,— сказал судья, наливая себе стаканчик. Секретарь суда, готовивший старомодный коктейль, вдруг покрылся виноградными листьями, зал суда наполнился запахом цветущих гроздьев. Пресветлый Бутлеггер взял быков за рога и осторожно повел их вниз по лестнице суда.

— Заседание суда откладывается по случаю икоты! — заорал судья, найдя джин в своей грелке.

Репортеры обнаружили мэра — задрапированный в леопардовую шкуру, он стоял в позе Гражданской Добродетели, попирая ногой Принцессу Фифи, исполнительницу восточных танцев. Ваш корреспондент глядел в окно Клуба Банкиров в обществе своего дяди, Джефферсона Т. Меривейла, известного клубмена, и двух обильно наперченных бараньих котлет. Тем временем лакеи спешно организовали оркестр, использовав брюха Гозенхеймеров в качестве барабанов. Метрдотель блестяще исполнил «Мой старый дом в Кентукки», впервые заменив ксилофон гулкими лысыми головами директоров «Делаварской бензиновой компании». А между тем Пресветлый Бутлегер, в пурпурных кальсонах-трико и цилиндре с голубой ленточкой, вел быков по Бродвею в количестве двух миллионов трехсот сорока двух тысяч пятьсот одного. Добравшись до Спойтен-Дюйвил*, они потонули, ряд за рядом, пытаясь доплыть до Ионкерса.

«А я сижу здесь,— думал Джимми Херф,— и жажда печати горит во мне, как горчичник. Я сижу здесь, в оспинах печати». Он встал. Маленькая желтая собачка спала, свернувшись клубком под скамейкой. Маленькая желтая собачка выглядела очень счастливой.

— Мне нужно хорошенько выспаться,— сказал Джимми вслух.

— Что ты будешь делать с этой штукой, Дэтч? Ты ее продашь?

— Фрэнси, я не продам этого револьвера и за миллион долларов.

— Ради Бога, не говори о деньгах!.. Вот ты увидишь, какой-нибудь фараон заметит револьвер и арестует тебя.

— Еще не родился тот фараон, который арестует меня... Пожалуйста, забудь об этом.

Фрэнси захныкала:

— Дэтч, что мы делаем, что мы делаем...

Дэтч вдруг засунул револьвер в карман и вскочил. Он шагал вприпрыжку взад и вперед по асфальтовой дорожке. Был туманный серый вечер; летевшие по грязной дороге автомобили образовали бесконечную, переплетающуюся, мигающую паутину огней между скелетами кустов.

— Послушай, ты раздражаешь меня своим хныканьем... Перестань, пожалуйста! — Он снова сел рядом с ней и надулся.— Мне показалось, что в кустах кто-то есть... Этот проклятый парк полон сыщиков... В этом городе никуда нельзя пойти, чтобы за тобой не следили.

— Мне было бы все равно, если бы я не чувствовала себя так погано. Я ничего не могу есть — меня сейчас же тошнит. И я все время боюсь, что другие девушки заметят...

— Я же говорил тебе, что я все улажу. Я тебе обещаю — я все улажу через несколько дней... Мы уедем и обвенчаемся. Мы поедем на Юг... Я уверен, что в других городах есть сколько угодно работы... Мне холодно, пойдем отсюда.

— Ах, Дэтч,— устало сказала Фрэнси, идя рядом с ним по мокрой, блестящей асфальтовой дорожке.— Ты действительно думаешь, что для нас опять настанут хорошие дни?

— Сейчас нам паршиво, но это не значит, что нам всегда будет плохо. Мало ли что! Я, например, побывал на фронте в газовой атаке... Я за эти последние дни кое-что придумал.

— Дэтч, если тебя арестуют, мне останется только броситься в реку.

— Я же сказал тебе, что меня не арестуют.

Миссис Коген, горбатая старуха с коричневым и пятнистым, как печеное яблоко, лицом стоит у кухонного стола, сложив узловатые руки на животе. Она раскачивается всем туловищем и монотонно ругает по-еврейски Анну, сидящую с осовелыми, заспанными глазами над чашкой кофе.

— Хоть бы ты умерла маленькой! Хоть бы ты родилась мертвой... Ой, для чего я родила четырех детей? Для того, чтобы они все были негодяями, агитаторами, лодырями и бродягами?.. Бенни уже два раза сидел в тюрьме, Сол — Бог знает где и что делает, Сарра, проклятая дев-

чонка, дрыгает ногами в театре, а ты, чтоб тебе с места не сойти, бесстыдница этакая, пикетируешь с бастующими швейниками, шляешься по улицам с плакатами на спине!

Анна обмакнула кусок хлеба в кофе и сунула его в рот.

— Ах, мама, ты не понимаешь,— говорит она с полным ртом.

— Что понимать? Распутство понимать?.. Ой, почему ты не занимаешься своим делом, почему ты не держишь язык за зубами, почему ты не зарабатываешь, как все люди? Ты раньше зарабатывала хорошие деньги и могла бы выйти замуж за приличного человека... А теперь ты начала бегать по танцулькам с гоем... Ой, ой, вот для чего я растила на старости лет дочерей — чтобы ни один порядочный человек не хотел на них жениться...

Анна встала.

— Это не твое дело! — взвизгнула она.— Я аккуратно плачу свою долю за квартиру. Ты думаешь, девушка ни на что больше не годна, как только быть рабой и всю жизнь сохнуть над работой?.. А я думаю иначе — поняла? Не смей больше ругаться...

— Ты дерзишь старухе матери? Если бы Соломон был жив, он бы отколотил тебя. Лучше бы ты родилась мертвой, чем ругать свою мать, как гойка!* Убирайся вон отсюда, не то я тебя прокляну!

— И уйду! — Анна пробежала узким, заставленным сундуками коридором в свою спальню и бросилась на кровать.

Ее щеки горели. Она лежала неподвижно, стараясь думать. Из кухни доносились монотонные рыдания старухи.

Анна села на кровать. Она увидела в зеркале напротив напряженное, заплаканное лицо и сбившиеся волосы.

— Боже мой, ну и вид,— вздохнула она.

Когда она встала, то задела каблуком за оборку платья. Платье с треском разорвалось. Анна сидела на кровати и плакала, плакала. Потом стала зашивать платье маленькими, аккуратными стежками. Шитье успокоило ее. Она надела шляпу, сильно напудрила нос, слегка подкрасила губы, накинула пальто и вышла. Апрель расцветил улицы неожиданными красками. Сладкая, сладострастная свежесть исходила от тележки, полной ананасов. На углу она увидела Розу Сегал и Лилиан Даймонд; они пили кока-колу у киоска.

— Анна, выпей с нами,— позвали они.

— Если вы заплатите... У меня нет ни гроша.

— Почему? Разве ты не получила вспомоществования за забастовку?

— Я все отдала старухе... Все равно ничего не помогает. Все так же ругается целый день. Она слишком старая.

— А ты слыхала — вооруженные люди ворвались в лавку к Айку Голдстейну и разнесли ее вдребезги. Расколотили все молотками, а сам Айк остался лежать без чувств на куче готового платья.

— Ужас!

— Поделом ему.

— Нельзя так портить чужую собственность. Мы этим зарабатываем себе кусок хлеба, так же, как и он.

— Хорошенькое житье!.. Я от него помирать собираюсь,— сказала Анна, со звоном ставя пустой стакан на прилавок.

— Легче, легче,— сказал человек в киоске.— Осторожнее с посудой.

— Но хуже всего то,— продолжала Роза Сегал,— что пока они орудовали у Голдстейна, из окна вылетел болт, летел вниз девять этажей и убил на месте проезжавшего на машине пожарного.

— Чего ради они это сделали?

— Наверно, кто-нибудь бросил в кого-нибудь болтом, а болт вылетел из окна.

— И убил пожарного.

Анна увидела Элмера. Он подходил к ней. Его тонкое лицо было вытянуто вперед. Руки засунуты в карманы потертого пальто. Она оставила подруг и пошла к нему навстречу.

— Ты шел к нам? Не надо, старуха так ругается, что прямо ужас... Хорошо бы поместить ее в богадельню. Мне больше невтерпеж.

— Ну пойдем, посидим в парке,— сказал Элмер.— Чувствуешь весну?

Анна искоса взглянула на него.

— Чувствую ли я весну? Ах, Элмер, я бы хотела, чтобы скорее кончилась эта забастовка... Я схожу с ума от безделья.

— Анна, забастовка имеет огромное значение для рабочих. Она — университет рабочих. Она дает нам возможность учиться, читать, ходить в публичную библиотеку.

— Но ведь ты сам говоришь, что она вот-вот кончится. И какая вообще польза от чтения?

— Чем лучше человек образован, тем больше пользы приносит он своему классу.

Они сели на скамейку спиной к детской площадке. Небо над их головами сверкало перламутровыми отблесками заката. Грязные дети вопили и дрались на асфальтовых дорожках.

— Ах,— сказала Анна, глядя на небо,— мне бы хотелось, чтобы у меня было вечернее платье, а у тебя — фрак, и чтобы мы пошли в шикарный ресторан, в театр и вообще...

— Если бы мы жили при другом строе, у нас бы все это было. После революции рабочим будет житься хорошо.

— Но, Элмер, к чему все это, если мы тогда будем старые и нудные, как моя мать?

— У наших детей будет все.

Анна выпрямилась.

— У меня никогда не будет детей,— сказала она сквозь зубы,— никогда, никогда, никогда.

Алиса тронула его руку, когда они остановились перед витриной итальянской кондитерской. На каждом торте, украшенном яркими бумажными цветами и свирелями, стоял сахарный пасхальный барашек.

— Джимми,— сказала она, поворачивая к нему свое маленькое овальное лицо с губами слишком красными, похожими на розы на тортах,— вы должны сделать что-нибудь с Роем... Он должен начать работать. Я сойду с ума, если он и дальше будет сидеть дома и читать газеты... У него такое ужасное выражение лица... Вы знаете, что я хочу сказать... Он вас уважает.

— Но ведь он ищет работу.

— Он не так ищет, как надо, вы сами знаете.

— Он думает, что ищет как следует. Вероятно, у него ложное представление о себе... Но я самый неподходящий человек, чтобы говорить о работе.

— Да, я знаю. Говорят, вы бросили журналистику и начали писать книги.

Джимми поймал себя на том, что он глядел в ее большие карие глаза, в глубине которых был блеск, подобный блеску воды в колодце. Он отвел глаза; спазм сдавил ему горло. Он закашлялся. Они пошли дальше по веселым, ярким улицам.

У двери ресторана они встретили Роя и Мартина Шифа; те их поджидали. Они прошли в длинный зал, заставленный столами, между двумя зелено-синими видами Неаполитанского залива. Воздух был пропитан запахом пармезана, табачного дыма и томатного соуса. Алиса села и скривила лицо.

— Я хочу коктейль. И поскорее.

— Я, должно быть, простак,— сказал Херф,— но эти лодки, прыгающие на волнах перед Везувием, всегда вызывают во мне желание куда-нибудь поехать... Я думаю, что через несколько недель я уеду отсюда.

— Куда вы поедете, Джимми? — спросил Рой.— Опять что-нибудь новое?

— А что скажет Елена? — вставила Алиса.

Херф покраснел.

— А почему она должна сказать что-нибудь? — спросил он резко.— И что тут особенного? — сказал он чуть погодя.

— Никто из нас не знает, чего он хочет! — выпалил Мартин.— Поэтому наше поколение такое ничтожное.

— Я понемногу начинаю понимать, чего мне не хочется,— спокойно сказал Херф.— По крайней мере у меня теперь хватает смелости признаться себе, до какой степени мне противно то, чего я не хочу.

— Это удивительно! — воскликнула Алиса.— Отказаться от карьеры ради какого-то идеала.

— Извините меня,— сказал Херф, отодвигая стул.

В уборной он посмотрел на себя в зыбкое зеркало.

— Не болтай,— прошептал он.— То, о чем ты будешь болтать, ты никогда не исполнишь.

У него было пьяное лицо. Он набрал в ладони воды и сполоснул лицо. За столом рассмеялись, когда он сел на место.

— За здоровье странника! — воскликнул Рой.

Алиса ела сыр с ломтиками груши.

— Это, вероятно, захватывающе интересно,— сказала она.

— Рою скучно,— нарушил Мартин Шиф воцарившееся молчание; в табачном дыме ресторана его лицо с большими глазами в роговых очках плавало, точно рыба в мутном аквариуме.

— Я все думаю, куда бы мне завтра пойти поискать работу.

— Вы хотите работать? — мелодраматическим тоном произнес Мартин.— Вы хотите продать душу тому, кто больше заплатит?

— Если это все, что вы можете предложить...— усмехнулся Рой.

— Меня главным образом беспокоит, что я не буду высыпаться... Все-таки это гнусно — продавать свою личность. В работу вкладываешь не свои способности, а свою личность.

— Проститутки — единственные честные люди...

— Помилуйте... Проститутка продает свою личность.

— Она только отдает ее внаем.

— Рою скучно... Всем скучно... Я нагоняю на вас тоску.

— Нет, нам очень весело, Мартин,— сказала Алиса.— Мы бы не сидели здесь, если бы нам было скучно, так ведь?.. Пусть Джимми расскажет нам, в какие таинственные путешествия он намерен отправиться.

— Нет, вы, наверно, говорите себе: какой он скучный человек, кому он нужен в обществе? У него нет денег, нет красивой жены, он не умеет красиво говорить, не играет на бирже. Ничтожество и обуза общества... Всякий артист — обуза.

— Это не так, Мартин... Вы болтаете вздор.

Мартин махнул рукой над столом. Два бокала опрокинулись. Лакей с испуганным лицом положил салфетку на красные пятна. Ничего не замечая, Мартин продолжал:

— Это все неискренне. Все, что вы говорите,— ложь. Вы не смеете обнажить вашу душу... Но вы должны выслушать меня в последний раз... В последний раз, говорю я вам... Эй, лакей! Подойдите и вы тоже, наклонитесь и загляните в черную пропасть человеческой души. И Херфу скучно. Всем вам скучно. Вы — скучающие мухи, вы жужжите между оконными рамами. Вам кажется, что оконная рама, это — комната. Вы не знаете, что такое бездонная чернота внутри... Я очень пьян. Человек, еще бутылку!

— Попридержите коней, Мартин... Еще неизвестно, сможете ли вы оплатить счет... Нам больше ничего не нужно.

— Человек, еще бутылку вина!

— Можно подумать, что мы собираемся кутить всю ночь,— закряхтел Рой.

— Если понадобится, то я могу заплатить моим телом... Алиса, снимите маску... Вы под маской — прелест-

ное, милое дитя... Подойдите со мной к краю пропасти... Ах, я слишком пьян, я не могу вам высказать все, что я чувствую.

Он снял свои очки в черепаховой оправе и сдавил их в кулаке. Стекла, сверкая, покатились по полу. Зевавший лакей нырнул за ними под стол.

Несколько секунд Мартин сидел, мигая. Остальные смотрели друг на друга. Потом он вскочил на ноги.

— Я вижу ваши надменные, чванные усмешки! Не удивительно, что у нас больше не может быть ни приличных обедов, ни приличных разговоров... Я должен доказать вам мою атавистическую искренность...— Он начал развязывать галстук.

— Послушайте, Мартин, дружище, успокойтесь,— твердил Рой.

— Не смейте останавливать меня. Я должен ринуться в бездну искренности... Я побегу на черную пристань Ист-ривер и брошусь в воду.

Херф выбежал за ним на улицу. На пороге Мартин сбросил с себя пиджак, а на углу — жилет.

— Черт возьми, он бежит, как олень! — задыхаясь и стукаясь плечами о плечо Херфа, говорил Рой.

Херф подобрал пиджак и жилет, взял их подмышку и вернулся в ресторан. Оба были бледны, когда сели на свои места рядом с Алисой.

— Неужели он действительно утопится? — все время спрашивала она.

— Нет, конечно, нет,— сказал Рой.— Он пойдет домой. Он решил разыграть нас, потому что мы все время высмеивали его.

— А что, если он действительно утопится?

— Это будет ужасно... Я очень люблю его. Мы назвали нашего ребенка в его честь,— сказал Джимми угрюмо.— Но если он действительно чувствует себя таким несчастным, то какое право мы имеем останавливать его?

— Ах, Джимми,— вздохнула Алиса,— закажите кофе.

На улице прогудела, прогремела, проревела пожарная машина. Их руки были холодны. Они молча потягивали кофе.

Фрэнси вышла из двери вместе с шестичасовой толпой, стремившейся домой. Дэтч Робертсон поджидал ее Он улыбался: на лице его играл румянец.

— Что такое, Дэтч, что это? — слова застряли у нее в горле.

— А разве тебе не нравится?

Они пошли по Четырнадцатой улице, поток лиц струился мимо них.

— Все в порядке, Фрэнси,— спокойно сказал он.

На нем было светло-серое весеннее пальто, светлая фетровая шляпа. Новые, остроносые, красные полуботинки сверкали.

— Как тебе нравится мой наряд? Я себе сказал: ни за что не стоит браться, пока ты не будешь прилично выглядеть.

— Но, Дэтч, откуда все это?

— Пощупал табачную лавку... Да, было дельце...

— Тсс, не говори так громко, кто-нибудь услышит.

— Никто не поймет, о чем я говорю.

Мистер Денш сидел в углу будуара Louis XIV у миссис Денш. Он сидел, скорчившись, на маленьком золоченом стуле с розовой спинкой. Его огромный живот покоился на коленях. Толстый нос и складки, тянувшиеся от носа к углам широкого рта, образовали два треугольника на его зеленом, помятом лице. Он держал в руках пачку телеграмм; сверху синяя расшифрованная бумажка: «Дефицит гамбургского отделения приблизительно 500 000 долларов. Подп. Гейнц». Куда он ни глядел, он всюду видел в маленькой комнате, наполненной блестящими безделушками, багровые буквы «приблизительно», плясавшие в воздухе. Потом он заметил, что горничная-мулатка в плоеном чепчике вошла в комнату и смотрит на него. Его взгляд упал на большую плоскую картонку, которую она держала в руках.

— Что это такое?

— Это для миссис, сэр.

— Дайте сюда. От Хиксона? И чего ради она покупает все новые и новые платья, вы можете мне сказать? От Хиксона!.. Откройте... Если платье будет дорогое, я отошлю его обратно.

Горничная осторожно сняла папиросную бумагу. В картонке лежало бальное платье персикового и горохового цветов.

Мистер Денш с грохотом вскочил на ноги.

— Она, наверно, думает, что война еще продолжается... Скажите, что мы этого не примем. Скажите, что Денши тут не живут!

Горничная подхватила коробку, покачала головой и ушла, задрав нос. Мистер Денш уселся на маленький стул и опять углубился в телеграммы.

— Анни, Ан-ни-и-и! — раздался пронзительный голос из соседней комнаты.

Затем появилась голова в кружевном чепце в виде фригийского колпака, а за головой — крупное тело, кое-как покрытое халатом.

— Что такое, Денш? Что ты тут делаешь утром? Сейчас сюда придет парикмахер.

— Очень важное дело... Я только что получил телеграмму от Гейнца. Серена, дорогая моя, дела фирмы «Блэкхед и Денш» очень плохи в Америке и в Европе...

— Да, мадам,— раздался за его спиной голос горничной.

Он пожал плечами и подошел к окну. Он чувствовал себя усталым, больным и отяжелевшим. На велосипеде проехал мальчик рассыльный. Он смеялся, щеки у него были румяные. Денш увидел себя, почувствовал себя на мгновенье молодым и стройным, бегущим без шапки по Пайн-стрит* много лет тому назад, глядящим искоса на женские ножки. Он отошел от окна. Горничная ушла.

— Серена,— начал он,— неужели ты не можешь понять весь ужас положения?.. Цены на бобы упали... Полный крах... Разорение... Понимаешь, разорение!

— Ну хорошо, мой дорогой, но причем же тут я?

— Надо экономить. Понимаешь, цены на каучук тоже упали... Это платье от Хиксона...

— Вот это мило! Ты хочешь, чтобы я выглядела на балу у Блэкхеда как сельская учительница, да?

Мистер Денш закряхтел и покачал головой.

— Ах, ты не хочешь понять... Наверно и бала-то никакого не будет... Слушай, Серена, что я тебе скажу... Я хочу, чтобы ты приготовила один чемодан,— так, чтобы мы каждую минуту были готовы к отъезду. Мне нужен отдых. Я думаю поехать в Мариенбад полечиться... Тебе это тоже будет полезно.

Их взгляды вдруг встретились. Все маленькие морщинки на ее лице углубились; мешки под ее глазами были похожи на сморщенные воздушные шары. Он подошел к ней, положил руку ей на плечо и вытянул губы, чтобы поцеловать ее, но она внезапно вспыхнула.

— Я не хочу, чтобы ты совался в мои дела с портнихами... Не хочу, не хочу!

— Ну, поступай как знаешь...

Он вышел из комнаты, вобрав голову в широкие, обвислые плечи.

— Ан-ни-и-и!

— Да, мадам.

Горничная вернулась в комнату. Миссис Денш опустилась на маленькую софу. Ее лицо позеленело.

— Анни, пожалуйста, дайте мне нашатырный спирт и немного воды... И потом, Анни, позвоните к Хиксону и скажите, что платье отослано по ошибке... по ошибке дворецкого... и чтобы его немедленно прислали обратно — я его сегодня надену.

Погоня за счастьем, неотъемлемое право на жизнь, на свободу и... Черная безлунная ночь. Джимми Херф идет один по Сауз-стрит*. За пакгаузами корабли вздымают в темную ночь свои зыбкие остовы.

— Честное слово, я отупел! — говорит он громко.

Все эти апрельские ночи, бродя в одиночестве по улицам, он чувствовал, что им завладел какой-то небоскреб — огромное здание, падающее на него с сумрачного неба всеми своими бесчисленными яркими окнами. Пишущие машинки сеют дождь никелевого конфетти в его уши. Кафешантанные певички улыбаются, кивают ему из окон. Элли в золотом платье, Элли из тонких золотых листочков, совсем как живая, кивает ему из каждого окна. И он бродит из квартала в квартал и ищет дверь жужжащего золотооконного небоскреба, из квартала в квартал — и двери все нет. Всякий раз, как он закрывает глаза, его бред завладевает им, всякий раз, как он останавливается и громко спорит с самим собой, произнося цветистые, глубокомысленные фразы, его бред завладевает им. «Молодые люди, чтобы сохранить ваше здоровье, вы должны сделать следующее... Скажите, пожалуйста, мистер, где тут вход? За углом? Сразу же за углом... Одна из двух неизбежных альтернатив: либо уходите, если вы в грязной мягкой рубашке, либо оставайтесь, если вы в чистом крахмальном воротничке. Но какой смысл проводить всю свою жизнь, бегая по Городу Разрушения? Что слышно о ваших неотъемлемых правах, тринадцать провинций?»* Его мозг разматывает фразы, он упрямо идет вперед. Ему никуда не хочется идти. «Если бы я еще мог верить в слова...»

— Здравствуйте, мистер Голдстейн,— весело пропел репортер, пожимая толстую руку, протянутую ему через

прилавок табачного магазина.— Моя фамилия Брустер. Я даю хронику происшествий в «Новости».

Мистер Голдстейн был похож на гусеницу; у него был крючковатый нос на сером лице, по обеим сторонам которого совершенно неожиданно торчали розовые, настороженные уши. Он подозрительно щурился на репортера.

— Может быть, вы будете так добры рассказать мне о... о происшествии, имевшем место прошлой ночью?

— Ничего я вам не расскажу, молодой человек. Вы напечатаете мой рассказ в газете, а потом у других мальчиков тоже появится желание ограбить меня.

— Напрасно вы так думаете, мистер Голдстейн. Будьте добры, дайте мне, пожалуйста, одну сигару... Гласность, мистер Голдстейн, по-моему, так же необходима, как вентиляция. Она освежает воздух.

Репортер отрезал кончик сигары, зажег ее и задумчиво посмотрел на мистера Голдстейна сквозь колечко голубого дыма.

— Видите ли, мистер Голдстейн, дело обстоит так,— начал он внушительно.— Нас это дело интересует с общественной точки зрения — вы понимаете? Сюда собирался заехать фотограф, чтобы снять вас. Держу пари, это увеличило бы на ближайшие несколько недель ваши доходы. Но, кажется, мне придется позвонить ему, чтобы он не приезжал.

— Так вот, видите ли,— начал мистер Голдстейн отрывисто,— этот негодяй был еще молодой парень... Хорошо одет, новое весеннее пальто и все такое... Входит и просит коробку папирос... Славный, говорит, вечер, открывает коробку, достает папиросу, закуривает. Тогда я замечаю, что у девушки, которая вошла вместе с ним, лицо закрыто вуалью.

— Значит, волосы у нее были не стриженые?

— Я видел только траурную вуаль. А потом она сразу зашла за прилавок, ткнула мне в бок револьвер и начала говорить... Знаете, такой детский лепет... И прежде, чем я опомнился, мужчина очистил кассу и при этом еще сказал: «В карманах у вас ничего нет, папаша?» Я прямо вспотел.

— И это все?

— Конечно. Пока я нашел полисмена, они уже как в воду канули.

— Сколько они забрали?

— Долларов пятьсот из кассы и шесть у меня лично.

— Девушка была красивая?

— Не знаю, может и красивая. Я бы с удовольствием разбил ей морду. Таких девиц надо сажать на электрический стул... Прямо невозможно стало жить! Кто же станет работать, когда можно просто взять револьвер и ограбить своего соседа?

— Вы говорите, они были хорошо одеты?.. Как люди из общества?

— Да.

— Я это дело представляю так: он, дескать, студент, а она светская барышня, и они занялись этим делом из любви к спорту.

— У парня был вид каторжника.

— Ну что же, это и у студентов бывает... Ну-с, мистер Голдстейн, приготовьтесь прочесть в ближайшем воскресном номере статью под заглавием «Великосветские бандиты». Вы читаете «Новости», не правда ли?

Мистер Голдстейн отрицательно покачал головой.

— Во всяком случае, я пришлю вам этот номер.

— Я бы хотел, чтобы этих молодчиков засудили, понимаете? Если я могу что-нибудь сделать для этого, то я сделаю.. Невозможно жить стало... А на воскресные номера мне наплевать.

— Ладно, фотограф скоро будет здесь. Надеюсь, вы согласитесь позировать, мистер Голдстейн?.. Ну, спасибо... До свиданья, мистер Голдстейн.

Мистер Голдстейн внезапно достал из конторки блестящий новый револьвер и направил его на репортера.

— Эй, вы, осторожнее!

Мистер Голдстейн рассмеялся сардоническим смехом.

— Я приготовился к их следующему визиту! — крикнул он вслед репортеру, который уже бежал к станции подземной дороги.

— Дорогая миссис Херф,— декламировал мистер Харпсикур, нежно заглядывая ей в глаза и улыбаясь своей кошачьей улыбкой,— мы катимся на гребне модной волны за секунду до ее падения. Наша работа — это водяные горы.

Эллен деликатно отламывала ложечкой кусочки груши; глаза ее были опущены в тарелку, губы слегка приоткрыты. Она чувствовала себя свежей и стройной в узком темно-синем платье; она была застенчиво оживлена в паутине косых взглядов и звонких ресторанных разговоров.

— Я вам предсказываю величайший успех... Вы очаровательнее всех женщин, каких я знаю.

— Предсказываете? — усмехнулась Эллен, поднимая на него глаза.

— Не придирайтесь к словам старика... Я не умею красиво выражаться. Это плохой признак... Нет-нет, вы все прекрасно понимаете, хоть и презираете чуточку — признайтесь... Я думаю, вы гораздо лучше меня можете объяснить, что нужно для такого рода периодического издания.

— Я вас понимаю. Вы хотите, чтобы каждая читательница думала, что она стоит в самом центре шикарной жизни.

— Как будто она сама завтракает в «Алгонкине»!*

— Если не сегодня, то по крайней мере завтра будет завтракать,— подхватила Эллен.

Мистер Харпсикур рассмеялся своим хриплым смешком и попытался поглубже заглянуть в улыбчивые золотые блики, плясавшие в ее серых глазах. Она вспыхнула и вновь опустила глаза в тарелку, где лежала половинка груши. Как в зеркале, позади себя она чувствовала пронизывающие, оценивающие взгляды мужчин и женщин, сидевших кругом нее за столиками.

Блинчики приятно ласкали его иссушенный джином язык. Джимми Херф сидел у Чайлда в шумной, пьяной компании. Глаза, губы, фраки, запах ветчины и кофе сливались и вертелись вокруг него. Он с трудом глотал блинчики. Он заказал еще кофе. Он почувствовал себя лучше, но боялся, что его будет тошнить. Он начал читать газету. Буквы расплывались и набухали, как китайские цветы. Потом внезапно опять очертились и потянулись гладкой черно-белой вереницей в его прояснившемся черно-белом мозгу:

Сбившаяся с пути юность вновь заплатила свой трагический долг среди мишуры и веселья Кони-Айленда (заново отремонтированного к началу сезона). Полицейские агенты в штатском арестовали Дэтча Робертсона и его подругу — пресловутых «великосветских бандитов». Эта парочка обвиняется в совершении свыше двадцати налетов в Бруклине и Квинсе. Полиция уже несколько дней следила за ними. С некоторого времени они занимали маленькую квартиру с отдельной кухней на Сикрофт-авеню. Подозрение возникло впервые, когда подруга Дэтча, готовившаяся стать матерью, была перевезена им в Пресви-

терианскую больницу. Служащие больницы были поражены большими денежными средствами Робертсона. Его подруге была отведена отдельная палата. Ей ежедневно посылались дорогие цветы и фрукты. По требованию Робертсона на консилиум был приглашен известный доктор. Когда пришло время регистрировать новорожденную девочку, Робертсон признался доктору, что он и его любовница не венчаны. Один из служащих больницы обратил внимание на сходство роженицы с описанием, приведенным в вечернем номере «Таймс», и телефонировал в полицию. Парочку выследили через несколько дней после ее возвращения домой. Сегодня днем они были арестованы. Арест «великосветских бандитов»...*

На газету Херфа упал горячий бисквит. Он удивленно поднял голову — смуглая девица за соседним столиком делала ему глазки. Он кивнул и приподнял воображаемую шляпу.

— Благодарю тебя, прекрасная нимфа,— сказал он хрипло и начал есть бисквит.

— Перестань сию минуту, слышишь? — рявкнул ей в ухо молодой человек с наружностью кулачного бойца, сидевший подле нее.

За столом Херфа засмеялись, разевая рты. Он заплатил по счету, попрощался и вышел.

Часы над кассой показывали три. На площади Колумба все еще толпился народ. Запах мокрой мостовой сливался с запахом бензина, и изредка из парка доносилось благоухание влажной земли и прорастающей травы. Он долго стоял на углу, не зная куда пойти. В такие ночи он неохотно шел домой. На душе у него было смутное чувство огорчения по поводу ареста «великосветских бандитов». Он надеялся, что им удастся удрать. Он уже мечтал, как он будет ежедневно читать в газете об их дальнейших похождениях. «Бедняги,— подумал он.— Да еще с новорожденной».

За его спиной у Чайлда послышался шум. Он вернулся и посмотрел в окно, где томились три одиноких пирожных. Лакеи пытались вывести высокого человека во фраке. Человека с тяжелой челюстью, приятеля девицы, бросившей в Херфа бисквит, держали за руки его друзья. Швейцар локтями прокладывал себе дорогу в толпе. Это был невысокий, широкоплечий малый с глубоко сидящими, усталыми глазами обезьяны. Спокойно и без энтузиазма он схватил высокого человека за шиворот и в мгновение ока вышвырнул его за дверь. Очутившись на улице, вы-

сокий человек растерянно оглянулся и оправил свой воротник. С грохотом подъехал полицейский автомобиль. Двое полисменов выскочили из него и быстро арестовали трех итальянцев, спокойно разговаривавших на углу. Херф и высокий человек во фраке посмотрели друг на друга, чуть было не заговорили и разошлись в разные стороны, сразу протрезвев.

V. БРЕМЯ НИНЕВИИ

Сочится багровый сумрак из гольфстримских туманов: ревут, вибрируя, медные глотки на окоченелых улицах, стынут остекленелые глаза небоскребов, плещет красный свинец на скованные сталью бедра пяти мостов*, воют кошачьим воем буксиры в раскаленной гавани под зыбкими стволами дыма.

Весна, стягивая оскоминой наши рты, весна, пробегая гусиной кожей по нашему телу, исполински возникает из гуда сирен, с чудовищным грохотом прорывает плотину уличного движения между настороженными, ставшими на цыпочки кварталами.

Подняв воротник мохнатого ульстера*, надвинув на глаза английское кепи, мистер Денш нервно ходил взад и вперед по сырой палубе парохода «Волендам». Он смотрел сквозь сетку дождя на серые пакгаузы и набережные здания, выгравированные на невыразимо горьком небе.

— Банкрот, банкрот,— шептал он про себя.

Наконец, раздался третий свисток. Заткнув уши пальцами, мистер Денш стоял за спасательной лодкой и смотрел, как ширится и ширится полоса грязной воды между бортом парохода и пристанью. Палуба затряслась у него под ногами, когда винт врезался в воду. Серые, как на фотографии, здания Манхэттена начали скользить мимо. На нижней палубе оркестр играл «Титину». Красные пассажирские и грузовые паромы, буксиры, барки, пароходы шныряли между ним и дымившимся каменным городом, который сжимался в пирамиду и постепенно погружался в туманную коричнево-серую воду залива.

Мистер Денш спустился в свою каюту. Миссис Денш, в шляпке колоколом и желтой вуали, спокойно плакала, положив голову на корзину с фруктами.

— Не надо, Серена,— сказал он хрипло.— Не надо... Тебе нравится Мариенбад... Нам нужен отдых. Наше по-

ложение не так уж безнадежно. Я пойду, пошлю Блэкхеду радиотелеграмму... В конце концов, именно его тупость довела фирму до... до этого. Этот человек думает, что он повелитель мира... Он... он положительно сойдет с ума. Если проклятья могут убить, то я завтра буду трупом.— К своему удивлению, он почувствовал, что серые морщины на его лице раздвигаются в улыбку.

Миссис Денш подняла голову и открыла рот, чтобы заговорить, но слезы опять хлынули из ее глаз. Он посмотрел на себя в зеркало, выпрямил плечи и поправил кепи.

— Итак, Серена,— сказал он довольно бодро,— это конец моей деловой карьеры... Пойду, пошлю радиотелеграмму.

Лицо матери склоняется и целует его. Его ручки цепляются за ее платье, она уходит, оставляя его в темноте, оставляя ему в темноте легкое, хрупкое благоухание, от которого ему хочется плакать. Маленький Мартин мечется между железными прутьями кроватки. На улице темно, за стенами и на улице опять огромная, страшная темнота взрослых, грохочущая, звенящая, вползающая глыбами в окна, просовывающая пальцы в щели двери. С улицы, покрывая грохот колес, доносится придушенный вой, хватающий его за горло. Пирамиды тьмы громоздятся над ним, обрушиваются на него. Он кричит, захлебывается и кричит. Няня подходит к кроватке, ступая по спасительной полосе света.

— Не бойся... Ничего не случилось.— Ее черное лицо улыбается ему, ее черные руки поправляют одеяло.— Просто пожарная машина проехала... Неужели ты боишься пожарной машины?

Эллен откинулась в такси на спинку сиденья и на секунду закрыла глаза. Ни ванна, ни получасовой сон не смыли нудного воспоминания о редакции, ее запаха, трескотни пишущих машинок, монотонных фраз, лиц, исписанных листов бумаги. Она чувствовала себя очень усталой; наверно, у нее круги под глазами. Такси остановилось, впереди на сигнальной башне зажегся красный свет. Пятая авеню была переполнена до краев лимузинами, такси, автобусами. Она опаздывала; она оставила часы дома. Минуты повисали на ее шее, свинцовые, как часы. Она сидела, выпрямившись на краю сиденья, ее

кулаки были так крепко сжаты, что она чувствовала сквозь перчатки, как острые ногти впиваются в ладони. Наконец, такси дернулось, опять запахло бензином, зажужжали моторы, сгусток движения пополз дальше. На углу она взглянула на часы: четверть восьмого. Движение снова остановилось, тормоза такси визгнули, ее подбросило на сиденье. Она откинулась назад с закрытыми глазами, кровь билась в ее виски. Все ее нервы были острыми, стальными звонкими проволоками, врезавшимися в тело. «Ну так что же? — спрашивала она себя.— Он подождет. А я не тороплюсь увидеть его. Посмотрим, сколько домов... Меньше двадцати, восемнадцать... Цифры, вероятно, выдуманы для того, чтобы люди не сошли с ума. Таблица умножения — лучшее лекарство для больных нервов. Должно быть, это именно и имел в виду старик Питер Стайвезент*, или кто там завел в городе номера». Она улыбнулась сама себе. Такси снова тронулось.

Джордж Болдуин шагал взад и вперед по вестибюлю отеля, затягиваясь папироской. Время от времени он поглядывал на часы. Все его тело было напряжено, как струна скрипки. Он был голоден и полон мыслей, которыми он хотел с кем-нибудь поделиться. Он терпеть не мог ждать. Когда она вошла, холодная, шелковая, улыбающаяся, у него появилось желание подойти и ударить ее по лицу.

— Джордж, вы знаете — только потому, что числа так холодны и бесстрастны, мы еще не сошли с ума,— сказала она, слегка хлопнув его по руке.

— Сорока пяти минут ожидания вполне достаточно, чтобы сойти с ума,— это я знаю наверное.

— Я вам сейчас объясню. Это целая система. Я обдумывала ее в такси, пока ехала сюда... Идемте, заказывайте все, что вам нравится. Я пойду на минуту в дамскую комнату... Пожалуйста, велите подать мне «мартини». Я сегодня труп, совсем труп!

— Бедняжка, сейчас же закажу... Только, пожалуйста, не задерживайтесь.

Его колени подгибались, он чувствовал себя кусочком тающего льда, когда входил в пышный, раззолоченный зал. Болдуин, как тебе не стыдно, ты ведешь себя, как семнадцатилетний мальчишка!.. В твоем возрасте... Так ты ничего не добьешься.

— Ну-с, Жозеф, чем вы нас сегодня покормите? Я голоден... Но прежде всего скажите Фреду, чтобы он при-

готовил лучший «мартини», какой он когда-либо готовил в жизни.

— Ttès bien, monsieur[1],— сказал длинноносый лакей-румын и, поклонившись, подал ему меню.

Эллен долго стояла перед зеркалом, стирая лишнюю пудру с лица, стараясь принять решение. Она завела в себе куклу и ставила ее в разные позы. Сделала несколько сдержанных жестов, выработанных на подмостках. Вдруг она отвернулась от зеркала, пожала слишком белыми плечами и вернулась в столовую.

— Джордж, я помираю с голода, положительно помираю!

— И я тоже,— сказал он надтреснутым голосом.— У меня есть для вас новость, Элайн,— продолжал он поспешно, словно боялся, что она прервет его.— Сесили согласилась дать развод. Мы тихо и спокойно разведемся летом в Париже. Теперь я хочу знать, желаете ли вы...

Она нагнулась к нему и погладила его руку, вцепившуюся в край стола.

— Джордж, пообедаем сперва... Будем благоразумны! Видит Бог, мы наделали достаточно глупостей в прошлом — и вы и я... Будем пить за волну преступности.

Невесомая, неосязаемая пена коктейля ласкала ей язык и гортань, медленно согревала ее внутренности. Она смотрела на него, смеясь искрящимися глазами. Он выпил свой коктейль залпом.

— Клянусь Богом, Элайн,— сказал он, беспомощно вспыхивая,— вы самая чудесная женщина в мире.

Во время обеда она чувствовала, как ледяной холод расползается по ее телу, точно новокаин. Она приняла решение. Казалось, она поместила на свое место фотографию, застывшую навеки в одной позе. Невидимый шелковый шнурок горечи стягивал ей горло, душил ее. Над тарелками, над розовой лампой, над хлебными корками, над блестящей грудью сорочки его лицо колыхалось и кивало; румянец расползался на его щеках; свет играл то на одной, то на другой стороне его носа; его прямые губы красноречиво двигались над желтыми зубами. Эллен сидела, скрестив ноги, и чувствовала себя под платьем фарфоровой фигуркой, вещи вокруг нее твердели и покрывались эмалью, воздух, изрезанный серыми полосами папиросного дыма, превращался в стекло.

[1] Очень хорошо, месье (*фр.*).

Его деревянное лицо марионетки бессмысленно колыхалось перед ней. Она вздрогнула и передернула плечами.

— В чем дело, Элайн? — поспешно спросил он.

Она солгала:

— Ничего, Джордж... Наверно, кто-нибудь прошел по моей могиле.

— Принести вам манто?

Она покачала головой.

— Ну, так как же? — сказал он, когда они встали из-за стола.

— Вы о чем? — спросила она улыбаясь.

— Что будет после Парижа?

— Я думаю, что выдержу, если только вы выдержите, Джордж,— сказала она спокойно.

Он ожидал ее, стоя у открытой дверцы такси. Она увидела в темноте его изящную фигуру в песочной фетровой шляпе и легком песочном пальто. Он улыбался, точно какая-нибудь знаменитость в воскресном иллюстрированном приложении к газете. Машинально она сжала руку, помогавшую ей войти в автомобиль.

— Элайн,— сказал он неуверенно,— теперь жизнь приобретает для меня значение... Господи, если бы вы знали, как пуста она была все эти годы! Я был, точно оловянная механическая игрушка, полая внутри.

— Не будем говорить о механических игрушках,— сказала она сдавленным голосом.

— Да, лучше поговорим о нашем счастье! — крикнул он.

Его губы неотвратимо льнули к ее губам. В прыгающих окнах такси она, словно утопающий, краем глаза видела летящие лица, уличные огни и жужжащие, сверкающие никелем колеса.

Старик в клетчатом кепи сидит на каменных ступеньках, закрыв лицо руками. Мимо него мелькают люди; они спешат в театр, и зарево Бродвея светит им в спину. Старик всхлипывает, не отнимая рук от лица, дыша перегаром джина. Время от времени он поднимает голову и хрипло кричит:

— Я не могу! Неужели вы не видите, что я не могу?

Голос у него нечеловеческий, словно доску раскалывают. Прохожие ускоряют шаги. Пожилые господа отворачиваются. Две девицы пронзительно хихикают, глядя на него. Уличные мальчишки, толкая друг друга, то выскакивают, то исчезают в темной толпе.

— Ничего, ничего, пусть только подойдет фараон.

— Вот вам и запрещение спиртных напитков.

Старик поднимает мокрое лицо, смотрит вокруг себя невидящими, налитыми кровью глазами. Зрители отходят, наступая на ноги тем, что стоят позади. Словно раскалывается полено, старик кричит:

— Неужели вы не видите, что я не могу... не могу... не могу!..

Когда Алиса Шефилд вместе с толпой женщин вошла в двери «Лорда и Тэйлора» и вдохнула душный запах тканей, у нее что-то звякнуло в голове. Она прошла сначала в перчаточный отдел. Продавщица была очень молоденькая, с длинными, черными, изогнутыми ресницами и приятной улыбкой; они непринужденно болтали, пока Алиса примеряла перчатки — серые лайковые, белые лайковые, лайковые с бахромой. Прежде, чем она натягивала перчатки, продавщица ловко посыпала их изнанку пудрой из деревянной с длинной шейкой пудреницы. Алиса отобрала шесть пар.

— Да, миссис Рой Шефилд... Да, у меня открытый счет, вот моя карточка... Придется прислать мне очень много вещей.— Про себя она твердила не переставая: «Смешно! Как это я всю зиму проходила в лохмотьях? Когда пришлют счет, Рою придется выдумать способ расплатиться, вот и все. Довольно он отнекивался. Видит Бог, я достаточно платила по его счетам в свое время».

Она подошла к другому прилавку и стала выбирать шелковые, телесного цвета чулки. Когда она вышла из магазина, в ее голове еще проносились длинные ряды прилавков, залитых лиловым электрическим светом, кружевные вышивки, ленты, цветные шелка. Она заказала два летних платья и вечернее манто.

У «Маярда» она встретила высокого, белокурого англичанина с конусообразной головой, закрученными льняными усами и длинным носом.

— Ах, Бэк, я так устала от всего... Я не знаю, как долго еще смогу выносить...

— Меня вы не можете упрекнуть... Вы знаете, я предлагал вам...

— Ну хорошо, предположим, что я бы согласилась...

— Это было бы великолепно! Мы бы уехали немедленно... Но вы должны закусить или выпить чего-нибудь. Вам надо подкрепиться.

Она хихикнула:

— Дорогой друг, как раз в этом я и нуждаюсь.

— Так как же насчет поездки в Калгари? Там один человек обещал дать мне работу.

— Уедем, уедем отсюда! Мне не нужны платья, ничего... Пусть Рой все отсылает обратно к «Лорду и Тэйлору»... У вас есть деньги, Бэк?

Румянец вспыхнул на его скулах и разлился по вискам до плоских неправильных ушей.

— Должен сознаться, дорогая, что у меня нет ни гроша. Я могу заплатить только за завтрак.

— Ну ладно, я разменяю чек. У нас общий счет в банке.

— Мне его разменяют в Балтиморе, там меня знают. Когда мы приедем в Канаду, все будет в порядке, уверяю вас. Во владениях его величества имя Бэкминстер, пожалуй, имеет больше веса, чем в Соединенных Штатах.

— Знаю, знаю, дорогой, в Нью-Йорке ничего не имеет значения, кроме денег.

Когда они шли по Пятой авеню, она вдруг взяла его под руку.

— Бэк, я должна рассказать вам одну ужасную вещь. Я чуть не умерла... Помните, я вам рассказывала об ужасном запахе в нашей квартире; мы думали, что это крысы. Сегодня утром я встретила женщину, живущую в нижнем этаже. Ох, мне худо при одной мысли... Лицо у нее было зеленое, как этот автобус... Оказывается, инспектор осматривал водопровод и уборную... Арестовали женщину с верхнего этажа... Ах, как это отвратительно!.. Я даже рассказать не могу... Я в жизни не вернусь туда. Лучше умру... Вчера весь день не было ни капли воды во всем доме...

— В чем же дело?

— Ужас!

— Ну, говорите же.

— Бэк, ваши родные, наверно, откажутся от вас, когда вы вернетесь в Орпен-Мэнор.

— Но что же там было?

— Женщина наверху производила запрещенные законом операции... аборты... Оттого и водопровод засорился.

— Господи Боже мой!

— Это последняя капля... А Рой сидит, как чурбан, со своей проклятой газетой посреди этой вони, с ужасным, бессмысленным выражением лица...

— Бедная крошка!

— Слушайте, Бэк, я получу по чеку только двести долларов... Нам этого хватит, чтобы доехать до Калгари?

— Без особого комфорта — да... В Монреале есть человек, он даст мне работу в газете — писать светскую хронику... Отвратительное занятие, но я буду писать под псевдонимом. Потом, когда мы немного заработаем, мы уедем оттуда... Ну, я пойду разменять чек.

Она поджидала его у справочного окошка, пока он ходил за билетами. Она чувствовала себя маленькой и одинокой в огромном, белом сводчатом зале вокзала. Вся ее жизнь с Роем проходила перед ней, точно кинолента, пущенная от конца к началу и мчавшаяся все быстрей и быстрей. Бэк вернулся, у него был довольный и уверенный вид. В руке он держал пачку кредиток и железнодорожные билеты.

— До десяти нет поезда, Аль,— сказал он.— Надо сделать так: вы идите в «Палас» и оставьте в кассе билет для меня... А я тем временем сбегаю за чемоданом. Это одна секунда... Вот вам пять долларов.

Он ушел, и она пошла одна по Четырнадцатой улице в жаркий, майский полдень. Почему-то она начала плакать. Прохожие смотрели на нее; она не могла удержать слезы. Она шла, пошатываясь, и слезы текли ручьями по ее лицу.

— Страхование от землетрясения... Вот как они это называют! Много ли это им поможет, когда гнев Господень сметет этот город с лица земли, как осиное гнездо. Он возьмет его, поднимет и начнет трясти, как кошка трясет крысу... Страхование!

Джо и Скинни нетерпеливо ждали, чтобы человек с бородой, как метелка, стоявший у их костра, бормотавший и кричавший, ушел прочь. Они не понимали, к ним ли он обращается или к самому себе. Они сделали вид, как будто его тут вовсе нет, и начали поджаривать кусок ветчины на вертеле, сооруженном из спицы старого зонтика. Внизу, под ними, за серо-зелеными кружевами цветущих деревьев, в вечернем свете серебрился Гудзон и белели палисадники домов верхнего Манхэттена.

— Не говори ничего,— прошептал Джо, крутя пальцем у лба.— Он сумасшедший.

У Скинни забегали по спине мурашки, его губы похолодели, ему захотелось бежать.

— Это ветчина? — спросил вдруг незнакомец мурлыкающим, благосклонным голосом.

— Да,— сказал Джо после паузы дрожащим голосом.

— Разве вы не знаете, что Господь Бог запрещает своим чадам есть мясо свиньи?

Голос его перешел в певучее бормотание и крик.

— Гавриил, брат Гавриил!.. Можно ли этим детям есть ветчину?.. Можно... Архангел Гавриил — он, знаете ли, мой близкий друг — говорит, что один раз можно, если это больше не повторится... Осторожнее, братья, она у вас подгорит.

Скинни встал.

— Садись, брат, я тебя не трону. Я понимаю детей. Мы любим детей — я и Господь Бог... Небось боитесь меня, потому что я похож на бродягу?.. Ладно, сейчас я вам кое-что объясню: никогда не бойтесь бродяг. Бродяги не тронут вас, они — добрые. Господь Бог тоже был бродягой, когда он жил на земле. Мой друг, архангел Гавриил, говорит, что он был бродягой много раз... Посмотрите-ка, у меня есть жареная курица, мне ее дала старая негритянка... Ох, Господи! — Он кряхтя опустился на камень рядом с мальчиками.

— Мы хотели играть в индейцев, а мне теперь захотелось играть в бродяг,— осмелел Джо.

Бродяга вынул пакет из кармана своей позеленевшей от непогоды куртки и начал осторожно разворачивать его. Поджариваемая ветчина издавала приятный запах. Скинни снова сел, стараясь все же держаться как можно дальше от бродяги и не спускать с него глаз. Бродяга разрезал курицу, и они начали есть все вместе.

— Гавриил, дружище, взгляни-ка сюда! — Бродяга орал так громко, что мальчики опять испугались.

Становилось темно. Бродяга кричал с полным ртом, тыча барабанной палочкой в мерцающие шахматные доски света на Риверсайд-драйв.

— Присядь-ка на минуточку и погляди, Гавриил... Погляди на старую суку, прости за выражение. Страхование от землетрясения, черта с два оно им поможет, а?.. Вы знаете, ребята, сколько времени понадобилось Богу, чтобы разрушить Вавилонскую башню? Семь минут... А вы знаете, сколько времени понадобилось Господу Богу, чтобы разрушить Вавилон и Ниневию? Семь минут... В любом нью-йоркском квартале больше грешников, чем было на одной квадратной миле в Ниневии, а сколько времени, думаете вы, понадобится Господу Богу Саваофу, чтобы разрушить Нью-Йорк, Бруклин и Бронкс?

Семь секунд... Скажите-ка, ребята, как вас зовут? — Он снова замурлыкал и ткнул в Джо своей палочкой.

— Джозеф Камерон Паркер.

— А тебя как?

— Антонино Камероне... А называют меня Скинни. Джо — мой двоюродный брат. Его родители переменили фамилию на Паркер.

— Перемена фамилии не приносит счастья... Скрывающие свое имя занесены в книгу Страшного суда... Истинно говорю вам — близок день суда Господня... Не далее как вчера Гавриил сказал мне: «Ну что, Иона, начнем, пожалуй?» А я ему говорю: «Гавриил, старина, подумай о женщинах, детях, грудных младенцах — они же ни в чем не повинны. Если ты нашлешь на город землетрясение, серный огонь и каменный дождь с неба, то они все помрут вместе с богачами и грешниками». А он мне в ответ: «Ну ладно, Иона, старый коняга, пусть будет потвоему. Мы подождем еще неделю, две...» А все-таки, ребята, страшно представить себе это: серный огонь, каменный дождь, землетрясение, потоп, падающие дома...

Джо вдруг хлопнул Скинни по спине.

— Пятнашка! — крикнул он и побежал.

Скинни помчался за ним по узкой тропинке между кустами, спотыкаясь. Он догнал его на асфальтовой дорожке.

— Ей-богу, он сумасшедший! — крикнул он.

— Тише ты,— зашептал Джо.

Он посмотрел сквозь кусты. Еще виден был дым, поднимавшийся над их маленьким костром. Бродяги не было видно. Они только слышали его голос:

— Гавриил, Гавриил...

Они бежали, задыхаясь, по направлению к спасительным, аккуратно расставленным уличным фонарям.

Джимми Херф обошел грузовик. Крыло автомобиля чуть задело подол его дождевика. Он постоял несколько секунд у станции воздушной дороги, пока не растаяли льдинки в его хребте. Вдруг рядом с ним распахнулась дверца лимузина, и он услышал знакомый голос.

— Садитесь, мистер Эрф... Куда прикажете подвести вас?

Машинально садясь, он заметил, что автомобиль — «роллс-ройс».

Полный мужчина с красным лицом, в котелке, был Конго.

— Садитесь, мистер Эрф... Очень рад вас видеть. Куда вы направляетесь?

— По правде сказать, никуда.

— Заедемте ко мне, я вам кое-что покажу. Как поживаете?

— Прекрасно... То есть нет, я хотел сказать, что я живу отвратительно, но это все равно.

— А я завтра, наверное, сяду в тюрьму... на шесть месяцев... А может быть, и нет.

Конго рассмеялся горловым смехом и осторожно выпрямил свою искусственную ногу.

— Стало быть, вас в конце концов таки пристукнули, Конго?

— Тут был целый заговор... Только не зовите меня больше Конго Джек, мистер Эрф. Зовите меня Арманом. Я женат... Арман Дюваль, Парк-авеню.

— Значит, вы больше не маркиз де Куломье?

— Это только для дел.

— А дела у вас, как видно, хороши?

Конго кивнул.

— Если я попаду в тюрьму — чего, я надеюсь, не будет,— то я через полгода выйду миллионером... Мистер Эрф, если вам нужны деньги, скажите мне только одно слово... Я могу вам одолжить тысячу долларов. Можете вернуть их хоть через пять лет. Я вас знаю.

— Спасибо, мне не нужны деньги. Не в них дело... Ну их к черту!

— Как поживает ваша жена?.. Она удивительно красивая женщина.

— Мы разводимся... Она подала заявление сегодня утром... Только развод и задерживает меня в этом проклятом городе.

Конго закусил губы. Потом он нежно погладил Джимми указательным пальцем по колену.

— Мы сейчас приедем ко мне... Я угощу вас замечательным вином... Да, подождите,— сказал Конго шоферу.

Опираясь на палку с золотым набалдашником и важно хромая, он вошел в разноцветный мраморный вестибюль. В лифте он сказал:

— Может быть, останетесь к обеду?

— К сожалению, сегодня не могу. Кон... Арман.

— У меня прекрасный повар... Когда я впервые приехал в Нью-Йорк около двадцати лет тому назад, на пароходе был один парнишка... Вот моя дверь. Видите —

А. Д., Арман Дюваль... Мы с ним вместе сбежали с парохода, и он всегда говорил мне: «Арман, ты никогда ничего не добьешься, ты слишком ленив и слишком много бегаешь за девочками». Теперь он у меня поваром... Первоклассный повар, cordon bleu, eh?..[1] Жизнь — смешная штука, мистер Эрф.

— Ей-богу, это замечательно,— сказал Джимми Херф, откидываясь на высокую спинку испанского кресла в библиотеке из темного ореха; он держал в руке стакан старого бургундского.— Конго... то есть Арман, если бы я был Богом и мне предстояло бы решить, кто в этом городе достоин заработать миллион долларов,— клянусь, я выбрал бы вас.

— Сейчас сюда, наверно, зайдет моя жена... Она очень хороша собой. Я вам ее покажу,— Он покрутил пальцами над головой.— Масса светлых волос.

Вдруг он нахмурился.

— Мистер Эрф, если когда-нибудь я смогу вам помочь — деньгами или еще чем-нибудь — вы только шепните мне. Мы с вами уже десять лет друзья... Еще стаканчик?

После третьего стаканчика бургундского Херф начал говорить. Конго сидел и слушал, слегка приоткрыв толстые губы и время от времени кивая.

— Вся разница между вами и мной в том, Арман, что вы поднимаетесь по общественной лестнице, а я спускаюсь... Когда вы были кухонным мальчиком на пароходе, я был балованным, хилым, бледным ребенком и жил в отеле «Ритц». Моя мать и мой отец уже имели дело со всеми этими мраморами, ореховыми панелями, гобеленами... Мне с ними уже больше нечего делать... Знаете, женщины, как крысы, первые бегут с тонущего корабля. Она выходит замуж за Болдуина, того самого, что недавно назначен окружным прокурором. Говорят, что его выставляют кандидатом на пост мэра по реформистскому списку... Мираж власти — вот что подстегивает его... А женщины чертовски падки на эти штуки... Если бы я думал, что это принесет мне пользу, то, клянусь Богом, я нашел бы в себе достаточно энергии, чтобы засесть за стол и заработать миллион долларов. Но все эти вещи не дают мне больше никаких органических переживаний... Мне нужно что-то иное, что-то новое... Ваши сыновья

[1] Искусный повар (*фр.*).

будут такими же, Конго... Если бы я был достаточно образован и начал бы с малых лет, то из меня, может быть, получился бы большой ученый. Если бы у меня было побольше полового темперамента, я стал бы актером или священником... А теперь мне почти тридцать лет и мне очень хочется жить... Если бы я был романтиком, я бы, наверно, убил себя давным-давно — только для того, чтобы люди говорили обо мне. У меня не хватает внутренней убежденности даже на то, чтобы стать приличным пьяницей.

— Мне кажется, мистер Эрф,— улыбнулся Конго, снова наполняя стаканы,— что вы слишком много думаете.

— Конечно, Конго, конечно, вы правы! Но с этим ничего не поделаешь, черт возьми!

— Ну ладно, если вам когда-нибудь понадобятся деньги, вспомните про Армана Дюваля... Хотите, может быть, коктейль?

Херф покачал головой.

— Нет, не хочу... Ну, прощайте, Арман.

В мраморном, многоколонном вестибюле он столкнулся с Невадой Джонс. В руках у нее были орхидеи.

— Хелло, Невада... Что вы делаете в этом храме греха?

— Я живу здесь, представьте себе... Я замужем за вашим бывшим другом Арманом Дювалем... Хотите подняться, повидать его?

— Только что был у него... Он хороший парень.

— Определенно!

— А куда вы дели малютку Тони Хентера?

Она подошла к нему вплотную и заговорила тихо:

— Забудьте об этом, пожалуйста... Ох, как от вас несет... Тони — ошибка мироздания, и я покончила с ним раз и навсегда... Однажды прихожу домой и вижу — он катается по полу и грызет угол ковра, потому что боится изменить мне с одним акробатом... Ну, я сказала ему: «Иди и изменяй!» — и на этом мы покончили... Честное слово, я теперь счастливейшая супруга, так что вы, ради Бога, ничего не говорите Арману ни про Тони, ни про Болдуина... Хотя он, конечно, знает, что я до него не была девушкой. Почему бы вам не подняться и не пообедать с нами?

— Не могу. Будьте счастливы, Невада.

Вино приятно грело желудок и щекотало кончики пальцев. Джимми Херф вышел на вечереющую Парк-авеню, гудящую такси, пахнущую бензином, ресторанами и сумерками.

Это был первый вечер, проведенный Джеймсом Меривейлом в «Метрополитен-клубе» с тех пор, как его избрали членом. Он все боялся, что это будет старить его, как и тросточка. Он сидел в глубоком кожаном кресле у окна, куря сигару в тридцать пять центов, с «Биржевой газетой» на коленях и номером «Космополитен» под боком. Устремив глаза в ночь, сияющую огнями, точно кристалл, он предавался мечтам.

Экономическая депрессия... Десять миллионов долларов... Послевоенная разруха... Блэкхед и Денш обанкротились на десять миллионов... Денш бежал из Америки несколько дней тому назад... Блэкхед сидит под домашним арестом у себя на Грейт-Нэк. Одна из старейших и наиболее уважаемых импортно-экспортных фирм в Нью-Йорке, 10 000 000 долларов...

«Вот вам банковские дела. Всякое коммерческое предприятие заключает в себе долю риска... Мы должны заставить их прийти, иначе они уйдут — а, Меривейл? Так сказал старик Перкинс, когда Канингхэм приготовил ему коктейль... У этого Канингхэма хорошие связи. В конце концов, Мэзи знала, что она делает... Человека с его положением всегда будут шантажировать. Он дурак, что не преследует ее... Эта женщина сошла с ума, сказал Канингхэм, она, вероятно, замужем за моим однофамильцем... Ей место в сумасшедшем доме. Черт возьми, я помогал ему замести следы. Он полностью реабилитировался, даже мать признает его. Синуад был в бане в Токио и в Риме... Джерри всегда это пел... Бедный, старый Джерри, не придется ему испытать это чувство — быть членом «Метрополитен-клуба»... Он из бедной семьи... Или, например, Джимми... У него нет даже этого оправдания... Типичный неудачник... Дурная наследственность... Старик Херф был, кажется, большим чудаком, любителем яхт... Мама рассказывала, что тете Лили пришлось много вытерпеть от него. И все-таки с его способностями он мог бы добиться многого... Мечтатель, бродяга... А мой отец сделал для него столько же, сколько для меня... И теперь еще этот развод... Адюльтер... с форменной проституткой... Наверно, поймал сифилис или что-нибудь в этом роде... Десятимиллионный крах.

Крах. Успех.

Десятимиллионный доход... Десять лет успешной банковской работы... Вчера, на банкете в Ассоциации американских банкиров Джеймс Меривейл, президент «Бэнк энд трест компани» отвечал на тост «десять лет блестя-

щей банковской работы»... «Это напоминает мне, джентльмены, историю при старого негра, который очень любил цыплят... Но если вы разрешите мне сказать несколько серьезных слов по поводу сегодняшнего празднества (*вспышка магния, съемка*), то я позволю себе сделать одно небольшое предостережение... Считаю своим долгом, в качестве американского гражданина, в качестве представителя крупного учреждения, имеющего национальные, я бы даже сказал интернациональные в лучшем смысле этого слова, или даже, вернее, мировые обязательства...» (*Вспышка магния, съемка.*) Под громовые рукоплескания Джеймс Меривейл, тряся от волнения своей прекрасной головой, продолжал говорить... «Джентльмены, вы оказываете мне слишком много чести... Позвольте мне только добавить, что во время тревог и волнений, в мутных водах зависти и злобы, в водопадах общественного уважения, во время немногих часов ночного отдыха и миллионов часов работы моим девизом, моим насущным хлебом, моим вдохновением была триединая преданность — жене, матери, национальному флагу».

Пепел сигары упал ему на колени. Джеймс Меривейл встал и старательно стряхнул легкий пепел с брюк. Потом снова сел и, нахмурившись, начал читать статью об иностранной валюте в «Биржевой газете».

Они сидят на высоких стульях в фургоне-ресторане.

— Как же это ты, паренек, дошел до того, что нанялся на эту старую калошу?

— Да ни одно судно, кроме него, не шло на восток.

— Ну что ж, ты сам себе вырыл могилу, голубчик! Капитан — идиот, старший офицер — беглый каторжник, экипаж — сборище бандитов, и вся старая кастрюля не стоит страховой премии... Где ты работал в последнее время?

— Ночным клерком в отеле.

— Вот чудак!.. Отказаться от должности клерка в шикарном нью-йоркском отеле и пойти кухонным мальчиком в плавучий ад... Хороший из тебя получится повар!

Тот, что помоложе, краснеет.

— Что, готов бифштекс? — кричит он буфетчику.

Когда они поели и допили кофе, он поворачивается и спрашивает тихим голосом:

— Скажи-ка, Руни, ты когда-нибудь был в Европе... во время войны?

— Был в Сен-Назере* несколько раз. А что?

— Не знаю... У меня все время что-то зудит внутри... Я два года был на войне. Тогда все было по-другому. Мне тогда казалось: все, что мне нужно,— это достать хорошую работу, жениться и осесть. А теперь я за все это гроша ломаного не дам... Полгода работаю, а потом начинается зуд — понимаешь? Вот я и решил, что мне надо прокатиться на восток, поглядеть...

— Ну-ну,— говорит Руни, качая головой.— Увидишь, многое увидишь, будь спокоен.

— Каковы убытки? — спрашивает тот, что помоложе, буфетчика.

— Тебя, наверно, забрали молодым?

— Мне было шестнадцать лет.

Он собирает сдачу и идет вслед за Руни на улицу. В конце улицы, за грузовиками, крышами пакгаузов он видит мачты, и дым пароходов, и белый пар, вздымающийся к солнцу.

— Опусти штору,— слышится с кровати мужской голос.

— Я не могу, она зацепилась... О черт, теперь вся штука полетела вниз!

Анна чуть не расплакалась, когда штора ударила ее по лицу.

— Пойди укрепи ее,— говорит она, подходя к кровати.

— Какая разница? Все равно с улицы не видно,— говорит мужчина, обнимая ее и смеясь.

— Свет с улицы...— стонет она, устало падая в его объятия.

Маленькая комната, с железной кроватью в углу напротив окна, похожа на сапожную коробку. Уличный грохот врывается в нее, пробираясь между домами. Она видит на потолке зыбкое зарево электрических реклам, белое, красное, зеленое... потом пеструю путаницу, точно лопнул мыльный пузырь... потом опять белое, красное, зеленое.

— Дик, пожалуйста, укрепи штору, свет сводит меня с ума.

— Он очень приятный, Анна. Можно подумать, что мы в театре.

— Это вам, мужчинам, приятно, а меня это сводит с ума.

— Так, стало быть, ты теперь работаешь у мадам Субрин, Анна?

— Ты хочешь сказать, что я скэб? Я это знаю. Но мать выкинула меня на улицу, и мне пришлось взять работу, я не то лезть в петлю.

— Такая красивая девушка, как ты, Анна, всегда может найти себе дружка.

— Все мужчины — дрянь... Ты думаешь, если я с тобой путаюсь, то я, значит, могу путаться со всяким?.. Не буду я ни с кем путаться, понял?

— Да я вовсе не то хотел сказать, Анна... Фу, какая ты сегодня раздражительная!

— Нервы... Эта забастовка, история с матерью, да еще работа у Субрин... хоть кого с ума сведет. К черту, к черту всех! Неужели меня не могут оставить в покое? Я никогда никому не сделала ничего дурного. Я одного хочу — чтобы меня оставили в покое и дали бы мне зарабатывать кусок хлеба и иногда немножко повеселиться... Дик, это ужасно... Я не смею выйти на улицу, боюсь встретить кого-нибудь из союза.

— Полно, Анна, вовсе не так уж все плохо. Честное слово, я взял бы тебя с собой на Запад, если бы не моя жена.

Анна продолжает говорить ровным, хнычущим голосом:

— А теперь... за то, что я к тебе привязалась и захотела доставить тебе удовольствие, ты называешь меня шлюхой.

— Я ничего подобного не говорил! Я даже этого не думал. Я только думал, что ты молодец, а не рохля, как все эти... Постой, я попробую поднять штору — это тебя успокоит.

Лежа на боку, она смотрит, как его грузное тело движется в молочном свете окна. Наконец он возвращается к ней, стуча зубами.

— Я не могу укрепить эту проклятую штуку... Господи, как холодно!

— Ну все равно, Дик, ложись... Наверно, уже поздно. Мне к восьми нужно на работу.

Он достает часы из-под подушки.

— Половина третьего... Ну что ты, детка?

На потолке она видит зыбкое зарево электрических реклам: белое, красное, зеленое... потом пеструю путаницу, точно лопнул мыльный пузырь... потом опять — белое, красное, зеленое.

— Он даже не пригласил меня на венчание. Честное слово, Флоренс, я бы все простила ему, если бы он при-

пасил меня на венчание,— сказала она горничной негритянке, которая принесла кофе.

Было воскресное утро. Она сидела в кровати, разостлав газету на коленях. Она смотрела на иллюстрацию в газете с подписью «Мистер и миссис Джек Канингхэм улетают в свадебную поездку на своем знаменитом гидроплане «Альбатрос VII».

— Какой он красивый, правда?

— Да, мисс. Неужели никак нельзя было остановить их, мисс?

— Нет... Он сказал, что посадит меня в сумасшедший дом, если я сунусь... Он великолепно знает, что развод был незаконный.

Флоренс вздохнула.

— Мужчины такие подлецы!

— Ну, это долго не протянется. По ее лицу видно, что она скверная, эгоистичная, испорченная девчонка, а я — его настоящая жена перед Богом и людьми. Видит Бог, я пыталась предостеречь ее. «Кого Бог соединил, того человек да не разлучает»... так, кажется, сказано в Библии... Флоренс, кофе сегодня отвратительный. Я не могу его пить. Пойдите сварите другой.

Пожав плечами и нахмурясь, Флоренс ушла с подносом.

Миссис Канингхэм глубоко вздохнула и уселась поудобнее, между подушками. На улице звонили церковные колокола.

— Джек, дорогой, я все-таки люблю тебя,— сказала она, обращаясь к фотографии, и поцеловала ее.— Слышишь, дорогой,— колокола звонят, как в тот день, когда мы убежали из школы и обвенчались в Милуоки... Было чудесное воскресное утро...— Потом она посмотрела на лицо второй миссис Канингхэм.— Ах ты, такая...— сказала она и проткнула лицо пальцем.

Когда она встала, ей показалось, что зал суда медленно, плавно закружился. Бледный судья с рыбьим лицом в очках, лица, полисмены, приставы в мундирах, серые окна, желтые столы — все вращалось в болезненном удушье, ее защитник с белым, ястребиным носом вытирал лысую голову, хмурился и кружился, пока она не почувствовала, что вот-вот упадет. Она не слышала ни одного слова; она все время мигала, чтобы вытряхнуть из ушей жужжание. Она чувствовала, что позади нее сидит Дэтч, сгорбившись, уронив голову на руки. Она не смела огля-

нуться. Потом, когда прошло много часов, все кругом стало острым, ясным и очень далеким. Судья кричал на нее откуда-то из узкого конца воронки, его бесцветные губы шевелились, как пасть рыбы.

— ...А теперь, как человек и гражданин великого города, я хочу сказать несколько слов подсудимым. Пора положить конец подобным явлениям. Нерушимая неприкосновенность человеческой личности и собственности, которую великие люди, основавшие нашу республику, положили в основу конституции, должна быть восстановлена. Долг каждого человека, будь то служитель государства или рядовой гражданин,— бороться с этой волной беззакония всеми средствами, имеющимися в его распоряжении. Поэтому, невзирая на сентиментальные выкрики газетных писак, развращающих общественную мысль и вбивающих в головы слабых духом людей и подобных вам выродков, что вы можете преступать закон божеский и человеческий, святой закон частной собственности, что вы можете отнимать у мирных граждан то, что те заработали тяжелым трудом, несмотря на наличие того, что эти борзописцы будут называть «смягчающими обстоятельствами», я намерен применить к вам высшую меру наказания. Давно пора дать пример...

Судья отпил глоток воды. Фрэнси видела бусинки пота, выступившие на его носу.

— Давно пора дать пример! — выкрикнул судья.— Разумеется, я, как любящий и нежный отец, понимаю все ваше несчастье — недостаточное воспитание, отсутствие идеалов, отсутствие домашнего очага и нежных материнских забот — все то, что привело эту молодую женщину на стезю безнравственной жизни и падения и заставило поддаться искушениям жестоких и порочных людей, поддаться нездоровым возбуждениям, порочным развлечениям, всему тому, что так удачно названо «веком джаза»*. И все же в тот момент, когда эти мысли готовы пролить елей милосердия на суровые веления закона, передо мной встают образы других молодых девушек, живущих в этом огромном городе,— образы сотен девушек, которые в этот самый час могут попасть в лапы жестоких, бессовестных соблазнителей из породы подсудимого Робертсона... Для него и ему подобных нет наказания достаточно сурового... И я вспоминаю, что неудачно примененное милосердие может впоследствии превратиться в жестокость. Все, что мы можем сделать,— это пролить

слезу над жизнью заблудшей женщины и вознести Господу молитвы за душу несчастного младенца, которого эта злополучная женщина породила на свет, как плод своего позора...

Фрэнси почувствовала холодное щекотание, которое началось в кончиках ее пальцев и побежало по рукам, по телу, содрогавшемуся в спазмах тошноты.

— Двадцать лет,— услышала она кругом себя шепот.

Казалось, все облизывали губы, мягко пришепетывая:

— Двадцать лет.

— Кажется, я падаю в обморок,— сказала она себе, как постороннему человеку.

Все кругом нее с грохотом почернело.

Обложенный пятью подушками, посредине широкой кровати красного дерева с резными столбиками сидел Финеас Блэкхэд. Лицо у него было красное, как его шелковая пижама. Он сыпал проклятиями. Большая красного дерева спальня, обитая яванскими цветными тканями вместо обоев, была пуста. Только слуга-индус в белой куртке и тюрбане стоял в ногах кровати, руки по швам, и при каждом новом взрыве ругательств склонял голову и говорил:

— Да, саиб, да, саиб.

— Если ты, желтая обезьяна, чтобы тебя черт побрал, не принесешь мне сию секунду виски, то я встану и переломаю тебе все кости! Ты слышишь? Будьте вы все прокляты, меня уже не слушаются в моем собственном доме! Когда я говорю «виски», то это значит виски, а не апельсиновый сок, будь ты проклят! Получай, собака!

Он схватил граненый кувшин с ночного столика и швырнул им в индуса. Потом откинулся на подушки с пеной на губах, ловя ртом воздух. Индус молча вытер белуджистанский ковер и выскользнул из комнаты, унося груду разбитого стекла. Блэкхед начал дышать легче. Его глаза глубоко запали в орбиты и потерялись в складках отяжелевших зеленых век,

Он казался спящим, когда вошла Синтия, в макинтоше, с мокрым зонтиком в руке. Она на цыпочках подошла к окну и стояла там, глядя на серую мокрую улицу и на старые, гробоподобные дома из коричневого кирпича, стоявшие напротив. На одну долю секунды она снова превратилась в маленькую девочку, которая пришла в ночном халатике, чтобы позавтракать вместе с папочкой в его широкой постели.

Он проснулся внезапно, посмотрел кругом налитыми кровью глазами. Мускулы его тяжелых челюстей напряглись под болезненно-багровой кожей.

— Ну, что, Синтия, где виски, которое я приказал подать?

— Папа, ты же знаешь, что сказал доктор.

— Он сказал, что если я выпью еще глоток, то это убьет меня... Да ведь я же и так мертв. Проклятый осел!

— Ты должен беречь себя и не волноваться.

Она поцеловала его и положила прохладную, тонкую руку на его лоб.

— А у меня мало причин волноваться? Если бы я мог схватить своими руками этого грязного, мерзкого прохвоста... Мы бы вылезли благополучно, если бы у него не распустились нервы. Поделом мне за то, что я взял себе в компаньоны такую мокрую курицу... Двадцать пять, тридцать лет работы — все полетело к черту в десять минут!.. Двадцать лет подряд мое слово было так же верно, как банкнота! Лучше всего было бы убраться вместе с фирмой в преисподнюю. А ты, плоть от плоти моей, говоришь мне, чтобы я не пил... Господи!.. Эй, Боб... Боб!.. Куда он провалился, проклятый мальчишка? Эй вы, сукины дети, идите сюда! За что я плачу вам деньги, мерзавцы?

Сестра милосердия просунула голову в дверь.

— Вон отсюда! — заорал Блэкхед.— Чтобы тут духу не было этих крахмальных дур!

Он швырнул в сестру подушкой. Сестра скрылась. Подушка ударилась о столбик и упала обратно на кровать. Синтия заплакала.

— Ах, папочка, я не могу вынести этого... Все вас так уважали... Возьмите себя в руки, папочка, дорогой!

— Чего ради?.. Представление кончилось. Почему ты не смеешься? Занавес опущен. Все это только шутка, гнусная шутка!

Он начал смеяться, как в бреду, потом задохнулся, стиснул кулаки, опять стал ловить ртом воздух. Наконец он сказал прерывающимся голосом:

— Разве ты не видишь, что только виски поддерживает меня? Уходи, Синтия, оставь меня и пошли ко мне этого проклятого индуса. Я всегда любил тебя больше всего на свете... Ты это знаешь... Скорее скажи ему, чтобы он принес то, что я приказал.

Синтия вышла, плача. Ее муж ходил по передней.

— Эти проклятые репортеры... Я не знаю, что им говорить. Они говорят, что кредиторы собираются затеять процесс.

— Миссис Гастон,— вмешалась сестра милосердия,— я думаю, вам придется нанять мужчину для ухода за ним... Право, я ничего не могу с ним поделать.

В нижнем этаже телефон звонил, звонил. Индус принес виски. Блэкхед наполнил стакан и отхлебнул большой глоток.

— Вот от этого я себя чувствую лучше, клянусь Богом. Ахмет, ты — прекрасный малый... Ну что ж, я думаю, придется смотреть опасности прямо в лицо. Придется все распродать... Слава Богу, Синтия уже устроена. Я продам все эти проклятые вещи. Жалко, что мой драгоценный зятек так прост. Это уж такое мне счастье, что я всегда окружен простофилями... Клянусь Богом, я охотно пошел бы в тюрьму, если бы это принесло им какую-нибудь пользу... Почему нет? Все надо испытать в жизни. А потом вышел бы из тюрьмы и нанялся бы лодочником или сторожем на верфи. Мне это нравится. Надо относиться спокойно к тому, что произошло. Я и так всю жизнь разрывался на части. А, Ахмет?

— Да, саиб,— сказал индус, кланяясь.

Блэкхед передразнил его.

— «Да, саиб»... Ты всегда говоришь «да», Ахмет. Это смешно! — Он начал смеяться прерывистым, клокочущим смехом.— Кажется, это самый простой исход.

Он смеялся и смеялся; вдруг он перестал смеяться. Страшная судорога пробежала по его телу. Он скривил рот, пытаясь говорить. В течение секунды его глаза обводили комнату — глаза маленького ребенка, которому сделали больно и который собирается заплакать. Вдруг он повалился на подушки с застывшим, разинутым ртом. Ахмет долго и холодно смотрел на него, потом подошел и плюнул ему в лицо. Тотчас же он достал носовой платок из кармана полотняной куртки и вытер плевок с желтого, застывшего лица. Он закрыл рот, уложил тело между подушками и мягко вышел из комнаты. В передней Синтия сидела в глубоком кресле и читала журнал.

— Саибу много лучше. Он, кажется, заснул.

— Ах, Ахмет, я так рада,— сказала она и снова углубилась в журнал.

Эллен вышла из автобуса на углу Пятой авеню и Пятьдесят третьей улицы. Розовые сумерки надвигались

с блистающего запада, отсвечивая в меди, никеле, пуговицах и глазах. Все окна на восточной стороне авеню были объяты пламенем. Она стояла, стиснув зубы, на углу, ожидая возможности перейти на другую сторону. Хрупкий аромат ударил ей в лицо. Тощий парень с космами льняных волос под кепи протягивал ей корзину с толокнянкой. Она купила пучок и прижала его к лицу. Майские рощи таяли, как сахар, на ее нёбе.

Раздался свисток, заскрежетали рычаги, автомобили растеклись в боковые переулки, улицу затопили люди. Эллен почувствовала, что парень с цветами трется около нее. Она отшатнулась. Сквозь аромат толокнянки она уловила на мгновение запах его немытого тела, запах иммигрантов, Эллис-Айленда, перенаселенных домов-казарм. Под никелем и позолотой улиц, эмалированных маем, она чуяла тошнотворный запах, расползавшийся липкой массой, как жижа из лопнувшей ассенизационной трубы, как толпа. Она быстро свернула в боковую улицу. Она вошла в дверь, подле которой была прибита маленькая, безукоризненно начищенная дощечка:

MADAME SOUBRINE ROBES

Она забыла все, утопила все в кошачьей улыбке мадам Субрин, полной черноволосой женщины, может быть, русской. Мадам Субрин вышла из-за портьеры, простирая к ней руки. Заказчицы, сидевшие в гостиной стиля ампир, смотрели на Эллен с завистью.

— Дорогая миссис Херф, где же вы пропадали? Ваше платье уже неделю как готово! — воскликнула она; она говорила по-английски чересчур правильно.— Ах, дорогая, вы увидите — оно великолепно... А как поживает мистер Харпсикур?

— Я была очень занята... Я ушла из журнала.

Мадам Субрин кивнула; многозначительно подмигнув, она откинула портьеру и повела ее в заднюю комнату.

— Ah, ça se voit... Il ne faut pas travailler, on peut voir dejá de toutes petites rides. Mais ils disparaitront[1]. Извините меня, дорогая...

Толстая рука, обвившая ее талию, крепко стиснула ее. Эллен слегка отстранилась.

[1] Ах, это так заметно... Вам не следует работать, уже видны совсем маленькие морщинки. Но они исчезнут (*фр.*).

— Вы — самая красивая женщина в Нью-Йорке!.. Анжелика, вечернее платье миссис Херф! — закричала она.

Выцветшая светловолосая девушка со впалыми щеками вошла, неся на вешалке платье. Эллен сняла свой серый жакет. Мадам Субрин кружилась вокруг нее, мурлыча:

— Анжелика, посмотрите на эти плечи, на этот цвет волос... Ah, c'est le rêve![1]

Она подходила к Эллен слишком близко, точно кошка, которая хочет, чтобы ее погладили. Бледно-зеленое платье было отделано ярко-красным и темно-синим.

— В последний раз заказываю такое платье. Мне надоело постоянно носить синее и зеленое...

Мадам Субрин ползала у ее ног и возилась с подолом; ее рот был набит булавками.

— Совершеннейшая греческая простота, бедра, как у Дианы... Эллинская весна... Светоч свободы... Мудрая дева...— бормотала она, не выпуская булавок изо рта.

«Она права,— думала Эллен,— я скверно выгляжу». Она смотрела на себя в высокое трюмо. «Фигура расползается, начнется беготня по институтам красоты, корсеты, косметика...»

— Regardez-moi ça, chèri[2],— сказала портниха, поднимаясь и вынимая булавки изо рта.

Эллен вдруг стало жарко. Ей показалось, что она попала в какую-то щекочущую паутину; от ужасного удушья шелка, крепа и муслина у нее заболела голова. Ей захотелось скорее выйти на улицу.

— Пахнет дымом, что-то неладно! — неожиданно вскрикнула белокурая девица.

— Тсс...— зашипела мадам Субрин.

Обе исчезли за зеркальной дверью.

В задней комнате мастерской Субрин под лампой сидит Анна Коген. Быстрыми, мелкими стежками она пришивает отделку к платью. На столе перед ней горою взбитых яичных белков возвышается ворох прозрачного тюля.

Чарли, мой мальчик!
О Чарли, мой мальчик! —

мурлычет она тихо и быстрыми, мелкими стежками шьет будущее.

---

[1] Ах, это мечта! (*фр.*)

[2] Посмотрите на это, дорогая (*фр.*).

«Если Элмер захочет, то мы поженимся. Бедный Элмер, он хороший, но такой мечтатель. Странно, что он влюбился в такую, как я. Но он перерастет все это; если произойдет революция, он будет большим человеком... Придется бросить танцульки, если я выйду за Элмера. Может быть, мы накопим денег и откроем маленький магазин на хорошем месте, где-нибудь на больших авеню. Мы там больше заработаем, чем в центре. «La Parisienne. Modes»[1].

У меня дело пошло бы нисколько не хуже, чем у этой старой суки. Была бы сама себе хозяйкой, не было бы никаких разговоров о забастовщиках и скэбах... Равные шансы для всех... Элмер говорит, что это болтовня. Вся надежда рабочих только на революцию.

Я с ума схожу по Гарри,
Гарри мною увлечен...

Элмер на центральной телефонной станции, в смокинге, со слуховыми трубками в ушах, высокий, как Валентино*, сильный, как Дуг. Революция объявлена. Красная гвардия марширует по Пятой авеню. Анна в золотых кудрях, с котенком на руках, высунулась из самого верхнего окна. Под ней, над улицами порхают белые голуби. Пятая авеню кровоточит красными знаменами, сверкает духовыми оркестрами, вдали хриплые голоса поют «Красное знамя», на куполе Вулворт-Билдинг полощется по ветру флаг. Смотри, Элмер! Элмер Дэскин избран мэром. Во всех учреждениях танцуют чарльстон... Трам-там, чарльстон дивный танец, трам-там... Может быть, я люблю его. Элмер, возьми меня! Элмер, умеющий любить, как Валентино, стискивающий меня руками, сильными, как руки Дуга, горячими, как пламя, руками, Элмер...»

Сквозь грезы она продолжает шить, мелькают белые пальцы. Белый тюль сияет слишком ярко. Вдруг красные руки протягиваются из него, она не может вырваться из объятий красного тюля, он кусает ее, обвивается кольцом вокруг головы... Окно в потолке тускнеет от клубящегося дыма. Комната полна дыма и визга. Анна уже на ногах, кружится по комнате, отбивается руками от горящего вокруг нее тюля.

Эллен стоит в комнате для примерки и смотрит на себя в трюмо. Все явственнее пахнет горящей материей.

[1] «Парижанка. Моды» (*фр.*).

Она нервно ходит взад и вперед, потом выходит стеклянной дверью в коридор, увешанный платьями, ныряет в облако дыма и видит сквозь пелену слез, застилающую глаза, большую мастерскую, визжащих девушек, которые мечутся вокруг мадам Субрин. Мадам Субрин направила огнетушитель на обугливший ворох материи на полу у стола. Кто-то стонет в этом ворохе; из него вытаскивают тело. Краем глаза Эллен видит руку в лохмотьях, сожженное черно-красное лицо.

— Ах, миссис Херф, скажите, пожалуйста, дамам в приемной, что ничего не случилось... Абсолютно ничего... Я сейчас приду сама! — пронзительно кричит ей мадам Субрин.

Закрыв глаза, Эллен бежит по наполненному дымом коридору в комнату для примерки. Когда ее глаза перестают слезиться, она приподымает портьеру и выходит к встревоженным дамам в приемную.

— Мадам Субрин просила меня передать, что ничего, абсолютно ничего не случилось. Загорелась кучка мусора... Она сама потушила ее огнетушителем.

— Ничего, абсолютно ничего не случилось,— говорят друг другу дамы, опускаясь на диваны стиля ампир.

Эллен выходит на улицу. Прибыли пожарные машины. Полисмены оттесняют толпу. Ей хочется уйти, но она не может, она ждет чего-то. Наконец, она слышит в конце улицы звон. Пожарные машины с грохотом отъезжают, подъезжает автомобиль скорой помощи. Санитары выносят сложенные носилки. Эллен еле дышит. Она стоит рядом с автомобилем, позади плотного синего полисмена. Она пытается разгадать, почему она взволнована. Ей кажется, будто частицу ее самой запеленали бинтами и сейчас вынесут на носилках. Носилки появляются, колыхаясь между будничными лицами и темными куртками санитаров.

— Она сильно обгорела? — удается ей спросить из-за спины полисмена.

— Не умрет... Но для девушки это ужасно.

Эллен протискивается сквозь толпу и бежит на Пятую авеню. Уже почти темно.

— Из-за чего я так волнуюсь? — спрашивает она себя.

В сущности, обыкновеннейший несчастный случай, какие бывают ежедневно. Ноющая тревога и грохот пожарных машин не хотят покинуть ее. Она нерешительно стоит на углу, экипажи и лица мелькают мимо нее. Мо-

лодой человек в новой соломенной шляпе смотрит на нее искоса, собираясь пристать. Она тупо глядит ему в лицо. На нем галстук в красную, зеленую и синюю полоску. Она быстро проходит мимо него, переходит на другую сторону авеню и сворачивает к центру города. Половина восьмого. Ей нужно с кем-то где-то встретиться — она не помнит где. Внутри нее страшная, тупая усталость.

— Господи, что же мне делать? — жалобно шепчет она.

На углу она окликает такси:

— Пожалуйста, в «Алгонкин»!

Теперь она вспомнила: к восьми часам она приглашена на обед судьей Шаммейером и его супругой. Надо заехать домой переодеться. Джордж сойдет с ума, если увидит ее в таком виде. «Он любит выставлять меня напоказ, разукрашенной, как рождественская елка, точно заводную говорящую куклу, будь он проклят!»

Закрыв глаза, она сидит в углу такси. «Надо развязать себя, обязательно развязать себя. Смешно быть вечно замкнутой на ключ — так, что всякая мелочь терзает душу, как скрип мела по доске. Предположим, что это я обгорела, а не та девушка, что я обезображена на всю жизнь. По всей вероятности, она получит от старухи Субрин кучу денег — начало карьеры. Или, предположим, я пошла бы с тем молодым человеком в безобразном галстуке, который пытался пристать ко мне... Любезничание над ломтиками банана и содовой водой, катание по городу в автобусе, его колено, льнущее к моему колену, его рука на моей талии, тисканье в темном подъезде... Есть жизни, которые можно прожить, если только на все наплевать и ни о чем не заботиться. О чем заботиться, о чем? О мнении людей, о деньгах, успехе, шикарных отелях, здоровье, зонтиках, бисквитах?.. Мой мозг все время трещит, точно испорченная механическая игрушка. Надеюсь, они еще не заказали обеда. Тогда я заставлю их пойти куда-нибудь в другое место». Она открывает сумочку и пудрит нос.

Когда такси останавливается и высокий швейцар открывает дверцу, она выходит легким, танцующим, девичьим шагом, расплачивается и с легким румянцем на щеках, с глазами, в которых отражается темно-синяя мерцающая ночь глубоких улиц, входит во вращающуюся дверь.

И когда сверкающая, беззвучно вращающаяся дверь начинает кружиться под давлением ее руки в перчатке,

ее внезапно пронзает мысль: она что-то забыла. Перчатки, кошелек, сумочка, носовой платок — все при мне. Зонтика с собой не было. Что же я забыла в такси? Но она уже идет, улыбаясь двум седым мужчинам в черном, с белыми пластронами рубашек, которые поднимаются, улыбаются, протягивают к ней руки.

Боб Гилдебранд ходил в халате и пижаме вдоль длинных окон, покуривая трубку. Из-за тонкой двери доносился звон стаканов, шаркали ноги, кто-то смеялся и тупая игла патефона выскребывала из пластинки фокстрот.

— Почему ты не хочешь переночевать у меня? — говорил Гилдебранд своим низким, серьезным голосом.— Народ мало-помалу разойдется... Мы тебя положим на кушетку.

— Нет, спасибо,— сказал Джимми.— Сейчас начнутся разговоры о психоанализе, и они проторчат здесь до зари.

— Но ведь тебе гораздо лучше ехать с утренним поездом.

— Я вообще не поеду ни с каким поездом.

— Слушай, Херф, ты читал про человека, которого убили в Филадельфии за то, что он четырнадцатого мая вышел на улицу в соломенной шляпе?

— Честное слово, если бы я создавал новую религию, то я зачислил бы его в святые.

— Стало быть, ты читал?.. Забавно... Этот человек еще имел дерзость защищать свою соломенную шляпу. Кто-то сломал ее, а он затеял драку, и тут к нему сзади подскочил один из тех уличных героев, что стоят на всех перекрестках, и проломил ему голову куском свинцовой трубы. Его подобрали с расколотым черепом, и он умер в больнице.

— Как его звали, Боб?

— Не помню.

— Вот... А вы все болтаете о Неизвестном солдате... Вот вам настоящий герой! Золотая легенда о человеке, который пожелал носить шляпу не по сезону...

Чья-то голова просунулась в дверь. Краснолицый человек с волосами, свисающими на глаза, заглянул в комнату.

— Хотите джину, ребята? Кого вы хороните?

— Я ложусь спать, мне не надо джину! — резко сказал Гилдебранд.

— Мы хороним Святого Алоизия Филадельфийского, девственника и мученика, человека, который носил шля-

пу не по сезону,— сказал Херф.— Я бы глотнул джину. Мне надо через минуту уходить. Будь здоров, Боб.

— Будь здоров, таинственный странник... Сообщи твой адрес — слышишь?

Соседняя комната была полна бутылок из-под джина и имбирного пива; горы недокуренных папирос громоздились в пепельницах, парочки танцевали, кое-кто лежал растянувшись на диване. Патефон бесконечно играл «Леди, леди, будь добра». Херфу сунули стакан джина. Какая-то девушка подошла к нему.

— Мы говорили о вас... Знаете, вы таинственный человек.

— Джимми,— раздался крикливый, пьяный голос,— говорят, что вы бандит!

— Почему вы не стали преступником, Джимми? — сказала девушка, кладя ему руку на талию.— Я пришла бы на ваш процесс, ей-богу, пришла бы.

— Откуда вы знаете, что я не преступник?

— Тут происходит что-то таинственное,— сказала Фрэнсис Гилдебранд, входя в комнату; она принесла из кухни ведро с колотым льдом.

Херф обнял девушку и начал танцевать с ней. Она танцевала, спотыкаясь о его ноги. Танцуя, он довел ее до двери передней, открыл дверь и, не переставая танцевать, вывел девушку в переднюю. Она машинально подняла губы, чтобы ее поцеловали. Он быстро поцеловал ее и взял шляпу.

— Спокойной ночи,— сказал он.

Девушка заплакала.

На улице он глубоко вздохнул. Он чувствовал себя счастливым. Он полез в карман за часами, но вспомнил, что заложил их.

Золотая легенда о человеке, который носил шляпу не по сезону. Джимми Херф идет по Двадцать третьей улице, смеясь про себя. «Дайте мне свободу или убейте меня!» — сказал Патрик Генри*, надевая четырнадцатого мая соломенную шляпу. И его убили. Тут нет уличного движения, разве что прогрохочет молочный фургон. Мрачно темнеют горестные кирпичные дома... Проносится такси, за ним лентой тянется смутное пенье. На углу Девятой авеню он замечает, что пара глаз, точно две дыры в белом треугольнике бумаги, смотрит на него,— женщина в дождевике манит его, стоя на пороге. Дальше два английских матроса пьяно ругаются на лондонском

жаргоне. Он приближается к реке, воздух становится молочно-туманным. Ему слышен отдаленный, мягкий, величественный рев пароходов.

Он долго сидит в ожидании парома в убогом, освещенном красноватым светом станционном зале. Он сидит и блаженно курит. Он ничего не может вспомнить, все его будущее — туманная река и паром, широко скалящий два ряда огней, точно улыбающийся негр. Он стоит у перил, сняв шляпу, и чувствует, как речной ветер шевелит его волосы. Может быть, он сошел с ума; может быть, это потеря памяти, какая-нибудь болезнь с длинным греческим названием; может быть, его найдут в Хобокене собирающим ежевику. Он смеется так громко, что старик, подошедший открыть калитку, испуганно косится на него. «Котелок не в порядке, думает, вероятно, старик. Может быть, он и прав. Честное слово, если бы я был художником, мне бы, может быть, разрешили рисовать в сумасшедшем доме и я нарисовал бы Святого Алоизия Филадельфийского в соломенной шляпе вместо нимба вокруг головы и со свинцовой трубой, орудием его пытки, в руках, а самого себя, в миниатюре, поместил бы молящимся у его ног». Единственный пассажир, он бродит по парому, словно тот принадлежит ему. «Моя временная яхта».

— Клянусь Богом, ночной штиль,— бормочет он.

Он пытается объяснить себе свое веселое настроение:

— Я не пьян. Может быть, я сошел с ума? Но я этого не думаю.

За минуту до отхода парома на него поднимают лошадь и разбитую рессорную повозку, нагруженную цветами; лошадь погоняет маленький, смуглый, скуластый человек. Джимми Херф бродит вокруг повозки; позади тощей лошади с торчащими, как вешалки, ребрами, маленькая жалкая повозка выглядит неожиданно веселой от наваленных на нее горшков с пунцовой и розовой геранью, гвоздикой, ольховником, тепличными розами и синей лобелией. Сочно пахнет весенней землей, влажными цветочными горшками и оранжереей. Возница сидит сгорбившись, нахлобучив шляпу на глаза. Джимми Херф хочет спросить его, куда он везет столько цветов, но сдерживается и идет на нос парома.

Выбравшись из пустого, темного речного тумана, паром неожиданно разевает черную пасть с ярко освещенной глоткой. Херф бежит сквозь пещерный мрак на уку-

танную туманом улицу. Потом он поднимается вверх по склону. Внизу, под ним,— железнодорожное полотно, медленный стук товарных вагонов, пыхтенье паровоза. Он останавливается на вершине холма и оглядывается. Ему ничего не видно, кроме пелены тумана, в которой плавает вереница мутных дуговых фонарей. Потом он идет дальше, радуясь своему дыханию, биению своей крови, гулу своих шагов по мостовой, между шпалерами призрачных домов. Постепенно туман рассеивается, откуда-то просачивается жемчужное утро.

Заря застает его на цементированном шоссе. Он шагает мимо грязных пустырей, на которых дымятся кучи мусора. Солнце бросает красноватые лучи на ржавые котлы, скелеты грузовиков, куриные косточки фордов, бесформенные массы изъеденного ржой металла. Джимми ускоряет шаг, чтобы поскорей выбраться из облака вони. Он голоден; на больших пальцах ног вздуваются волдыри. На перекрестке, где все еще мигает и мигает сигнальный фонарь, напротив бензоколонки стоит фургон-ресторан. Он расчетливо тратит на завтрак последний четвертак. Теперь у него остается — на счастье, на горе — три цента. Огромный мебельный грузовик, блестящий и желтый, остановился у фургона-ресторана.

— Не подвезете ли вы меня? — спрашивает он рыжеволосого шофера.

— А вам далеко?

— Не знаю... Довольно далеко.

КОММЕНТАРИИ

ТРИ СОЛДАТА

Роман «Три солдата», написанный в 1921 г., был первым произведением Джона Дос Пассоса, с которым познакомился советский читатель. Роман вышел отдельным изданием в 1924 г. в Ленинграде, в издательстве Гослитиздат, в переводе В. Азова.

С. 24. Манерка (*польск.* manierka) — походная металлическая фляжка, а также крышка этой фляжки, употреблявшаяся вместо стакана (*уст.*); здесь: походный армейский котелок.

Фриско — так в просторечии американцы называют город Сан-Франциско.

С. 25. Зо́ря — утренний или вечерний военный сигнал, исполняемый оркестром или горнистом, трубачом, барабанщиком.

С. 26. Золотые Ворота — пролив, соединяющий бухту Сан-Франциско с Тихим океаном.

С. 37. Христианский юноша — член Христианской ассоциации молодых людей (ХАМЛ).

С. 40. Маис (*исп.* maiz) — кукуруза.

С. 41. Кубелик Ян (1880—1940) — чешский скрипач и композитор.

С. 50. Регтайм (*англ.* ragtime) — форма городской танцевально-бытовой музыки американских негров, сложившаяся в конце XIX в. и являвшаяся одним из предшественников джаза; основана на «биении» двух несовпадающих ритмических линий: как бы разорванной (остро синкопированной) мелодии и четкого аккомпанемента, выдержанного в стиле стремительного шага.

С. 62. Четвертак (*англ.* quarter) — американская монета достоинством 25 центов.

С. 64. «Мокрый» кабачок — заведение, в котором подают спиртные напитки.

«Томми» — прозвище солдат английской армии.

С. 71. «Двадцатый век» — скоростной поезд-экспресс между Нью-Йорком и Чикаго.

С. 74. Орегонские леса.— Имеются в виду Аргонны — горная гряда на северо-востоке Франции между р. Мёз (Маас) на востоке и р. Эна на западе.

С. 98. «Quo vadis» — имеется в виду фильм по одноименному произведению Г. Сенкевича (в русских переводах «Камо грядеши»).

С. 145. ...Во времена Марны.— Имеется в виду сражение на р. Марне между англо-французскими и германскими войсками в ходе первой мировой войны (5—12 сентября 1914 г.). Поражение германских войск на Марне привело к провалу германского стратегического плана войны, рассчитанного на быстрый разгром противника на западном фронте.

С. 184. Царица Савская — легендарная царица Саведского царства (Савы) в Южной Аравии. Согласно ветхозаветному преданию, царица Савская, услышав о славе царя Соломона, прибыла в Иерусалим, чтобы испытать его загадками, и изумилась его мудрости. В эфиопских преданиях царь Соломон и царица Савская — родоначальники трехтысячелетней династии императоров Абиссинии.

С. 198. Пароксизм (*греч.* paroxysmos) — припадок, приступ болезни; обострение болезненного процесса, проявляющееся внезапно.

С. 205. Инфлюэнца (*ит.* influenza) — устаревшее название гриппа.

С. 207. Ронсар Пьер де (1525—1585) — французский поэт, глава «Плеяды».

С. 225. Дебюсси Клод-Ашиль (1862—1918) — французский композитор, основоположник музыкального импрессионизма.

С. 226. Парижский университет (с XVII в. Сорбонна).— Богословский коллеж и общежитие для преподавателей и студентов в 1257—1554 гг. в Латинском (университетском) квартале Парижа (по имени основателя Роберта де Сорбонна, духовника короля Людовика IX). В 1554—1792 гг. теологический факультет Парижского университета в том же квартале. В 1806 г. статус университета восстановлен на новой основе как высшая школа, включающая литературный и научный факультеты. В этом виде он существует и в настоящее время. Между 1885 и 1901 гг. старое здание постройки архитектора Жана Лемерсье было снесено и заменено новыми корпусами, построенными по плану архитектора Нено.

С. 231. Пюви де Шаванн Пьер (1824—1898) — французский художник, мастер монументально-декоративной живописи; представитель символизма.

С. 247. Ахейцы (ахеяне) — одно из основных древнегреческих племен, обитавших в Фессалии с начала 2-го тысячелетия до н. э. и на Пелопоннесе. Государства ахейцев: Микены, Пилос и

др. Участвовали в троянской войне. Здесь использованы в значении «много повидавшие», «умудренные опытом».

С. 252. Шантан (кафешантан) — ресторан или кафе, где выступают артисты (преимущественно женщины), исполняющие песенки и танцы развлекательного, часто фривольного характера.

С. 253. Площадь побед.— Эта круглая по форме площадь была создана в 1685 г. архитектором Ж.-А. Мансаром для оформления аллегорической статуи Людовика XIV, выполненной по заказу герцога де ла Фояда скульптором Дэжарденом. Статуя была разрушена во времена революции в 1792 г., а в 1822 г. была заменена на новую, выполненную скульптором Бозио.

Король-Солнце — Людовик XIV (1638—1715), французский король (с 1643 г.) из династии Бурбонов. Его правление — апогей французского абсолютизма (легенда приписывает ему изречение «Государство — это я»). Многочисленные войны, большие расходы королевского двора, высокие налоги и религиозная нетерпимость вызывали народные восстания.

Опера — в настоящее время официально называется Государственной академией музыки и танца. Расположена в самом центре города, где в бульвар Капуцинов вливается широкая авеню де л'Опера. Здание Оперы было построено архитектором Шарлем Гарнье в 1863—1875 гг.

С. 256. Латинский квартал — район высших учебных заведений, место традиционного обитания и поселения студентов и преподавателей парижских университетов. Расположен в центре Парижа на горе Сент-Женевьев. Центром его являются площадь Сорбонны и бульвар Сен-Мишель. Из достопримечательностей: Пантеон, музей Клюни, дворец Юлиана Отступника, церковь Сен-Жермен.

С. 257. Сады Тюильри — сады в английском стиле; разбиты в 1664 г. архитектором Андре Ленотром; простираются приблизительно на один километр от площади Карусель до площади Согласия.

Люксембург — имеется в виду Люксембургский сад — огромный национальный парк в самом центре Парижа; соседствует с Латинским кварталом (их разделяет бульвар Сен-Мишель).

Площадь Медичи — место с восточной стороны Люксембургского дворца, где расположен знаменитый Фонтан Медичи, приписываемый Соломону де Бросу. В центральной нише фонтана изображен Полифем, который застигает Галатею с пастухом Ацисом (произведение Оттэна, 1863), а с обратной стороны находится барельеф де Ванца (1806), представляющий Леду с лебедем.

Пантеон — усыпальница великих людей Франции и один из самых знаменитых архитектурных памятников Парижа. Расположен на возвышенности левого берега Сены, недалеко от университета. На этом месте некогда находилось древнее аб-

батство Святой Женевьевы, считавшейся покровительницей Парижа. В 1744 г. тяжело заболевший Людовик XV дал обет построить в честь Святой Женевьевы новый храм. Строительные работы по проекту архитектора Ж. Суффло начались в 1758 г. и были закончены только в 1789 г. его учеником Ж. Ронделе.

Лукулл (ок. 117 — ок. 56 г. до н. э.) — римский полководец, сторонник диктатора Суллы. В борьбе против Митридата VI, командуя римскими войсками, в 74—66 гг. добился значительных успехов. Славился богатством, роскошью и пирами («лукуллов пир»).

С. 260. Пале-Рояль — королевский дворец, построенный архитектором Лемерсье в 1624—1645 гг. Первоначально был резиденцией кардинала Ришелье, а затем, по завещанию, после его смерти перешел к Людовику XIII. В настоящее время место заседаний Государственного совета Франции.

«Берта» («Большая Берта») — немецкое дальнобойное орудие очень крупного калибра.

С. 270. Отель «Ритц» — один из самых престижных отелей Парижа; расположен на Вандомской площади.

С. 287. Мак-Доуэлл Эдуард (1860—1908) — композитор, пианист; по происхождению шотландец; один из основоположников американской композиторской школы; профессор и руководитель кафедры музыки Колумбийского университета в Нью-Йорке (1896—1904).

Фош Фердинанд (1831—1929) — маршал Франции (1918), британский фельдмаршал (1919), член Французской академии (1918). В первую мировую войну командовал армией, затем группой армий; в 1918—1919 гг.— начальник генштаба, а с апреля 1918 г.— Верховный главнокомандующий союзными войсками. Один из организаторов интервенции против советской России.

С. 288. Бернар Сара (1842—1923) — знаменитая французская актриса. В 1878—1880 гг.— в Комеди Франсез; в 1898—1922 гг. возглавляла Театр Сары Бернар.

С. 291. Бриошь (*фр.* brioche) — сдобная булочка особой формы.

С. 299. Новый мост — соединяет остров Сите с берегами Сены. Несмотря на название, этот мост, сооруженный архитекторами Дюсерсо и Дезилем, является одним из старейших мостов Парижа: строительство его началось в 1578 г. при Генрихе III и закончилось в 1606 г. при Генрихе IV. «Новым», по сравнению с предшествовавшими мостами, он является лишь с точки зрения конструкции.

С. 302. Монпарнас — исторический квартал в Париже в районе двух больших бульваров — Распай и Монпарнас, пересекающихся в форме буквы «Х».

С. 303. Фаге Эмиль — один из столпов охранительного буржуазного литературоведения; защитник идей философского идеализма и католицизма.

С. 310. Аретино Пьетро (1498—1556) — итальянский писатель Возрождения. Романтические памфлеты и сатирические комедии создали ему европейскую славу; историко-культурную ценность представляют его письма.

С. 311. «Пелеас» — речь идет об опере К. Дебюсси «Пелеас и Мелисанда», созданной по мотивам одноименной драмы М. Метерлинка и задуманной сперва как одноактная пьеса для театра марионеток.

С. 365. Аффектация (*лат.* affectus) — неестественность в жестах, манерах, чрезмерная приподнятость речи.

Б. Акимов

МАНХЭТТЕН

Роман «Манхэттен», появившийся вслед за «Тремя солдатами», публиковался на русском языке трижды в переводе В. О. Стенича: в 1927 г. в Ленинграде в издательстве «Мысль» (где переводчик подписался своей настоящей фамилией — Сметанич) с предисловием Л. М. Вайсенберга; в 1930 г. там же, в издательстве «Прибой», и в 1992 г. в Москве, в издательстве имени Сабашниковых, со вступительной статьей А. М. Зверева.

С. 389. Паром у пристани.— Очевидно, Бэд Корпнинг приезжает в Нью-Йорк на «Чэмберс-стрит Ферри» — пароме, курсировавшем через Гудзон между г. Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) и Манхэттеном. Пройдя один квартал на восток, он попадает на Уэст Бродвей (Западный Бродвей). В настоящее время большинство манхэттенских паромов, в том числе и «Чэмберс-стрит Ферри», заменены тоннелями и мостами.

С. 390. Бродвей — улица, имя которой стало нарицательным; получила свое название из-за ширины («Бродвей» — «широкий путь»). Долгое время оставалась главной улицей Нью-Йорка, где располагалось множество деловых контор и шикарных магазинов; здесь же по праздникам проводились городские парады.

С. 391. Фибровая дорожка — ковровое покрытие из спрессованной гибкой и прочной бумажной массы.

С. 394. ...Обзаведусь домиком на Гудзоне...— Гудзон — река, омывающая западную часть Манхэттена, по ней частично проходит граница между штатом Нью-Йорк и штатом Нью-Джерси; названа по имени ее исследователя Генри Хадсона, английского мореплавателя XVII в. Очевидно, м-р Тэтчер имеет в виду место, относительно удаленное от центра, где можно было приобрести дом с садом.

С. 395. Я назову его Вильгельмом, в честь нашего великого кайзера.— Речь идет о кайзере Вильгельме II (1859—1941), императоре Германии и короле Пруссии (1888—1918). Вильгельм II

старался утверждать и поддерживать статус Германии как крупнейшей морской, колониальной и торговой державы. Был известен своей верой в божественную природу монархии, любовью к военным парадам и импульсивностью. Официальное отречение Вильгельма II от престола было объявлено 9 ноября 1918 г., после того как американский президент Вудро Вильсон (1856—1924) провозгласил отставку кайзера одним из условий начала мирных переговоров.

Аллен-стрит — улица в районе Нижнего Ист-сайда (Восточной части Манхэттена), в начале XX в. приютившая в своих перенаселенных трущобах множество иммигрантов. Шестиэтажные каменные блоки почти не пропускали солнца и свежего воздуха; улица была известна не утихающим круглые сутки шумом и множеством находящихся там публичных домов. До 1932 г. ширина Аллен-стрит была лишь около 17 метров.

...Грохота воздушных поездов...— Большая часть линии нью-йоркской подземной железной дороги в то время проходила по поверхности или была поднята над землей.

...На углу Канала...— Имеется в виду угол Аллен-стрит и Канал-стрит, названной так из-за находившегося здесь ранее канала, впоследствии засыпанного и превращенного в улицу.

С. 396. Кинг С. Жиллет.— Кинг Кэмп Жиллет (1855—1932) — американский изобретатель и промышленник, в конце XIX в. разработавший безопасную бритву и в 1901 г. основавший компанию «Safety Razor Gillette» (В. Стеничем неверно переведена первая буква среднего имени Жиллета).

Были Вавилон и Ниневия — они были построены из кирпича.— Вавилон — столица Вавилонии в XIX—XVI вв. до н. э. По библейскому преданию, основатели города строили его из кирпича: «И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести» (Бытие, гл. 11, стихи 1—9). Господь «смешал наречия» строителей Вавилона (говоривших до этого на одном языке) и, после того как те перестали понимать друг друга, рассеял их по свету. Легенда далее гласит, что Вавилон, ставший впоследствии прекраснейшим и богатейшим городом мира, был разрушен Господом за гордыню и беззакония, творимые его жителями. Ниневия — столица Ассирии (конец VIII—VII вв. до н. э.). Согласно библейской легенде, Ниневия была также разрушена Богом за распутство ниневитян, за грабежи и убийства, которыми прославился город.

Золотой Рог — излучина Мраморного моря на северной стороне Стамбула (б. Константинополь).

С. 397. Принят билль, ставящий Нью-Йорк на второе место среди мировых столиц.— Такой билль был подписан губернатором города Леви П. Мортоном 11 мая 1896 г.

Москательный склад — склад различных химических веществ (красок, клея, масел и т. д.), предназначенных для продажи.

С. 398. Римская свеча — род фейерверка.

С. 399. ...Когда мосты один за другим скуют Ист-ривер, соединив Лонг-Айленд и Манхэттен в одно целое; когда Квинс будет таким же центром... каким теперь является Астор-сквер.— Ко времени начала действия романа существовал лишь один мост, соединявший Лонг-Айленд и Манхэттен — Бруклин-бридж, построенный в 1883 г. Ко времени публикации романа (1925) были уже возведены остальные три моста через Ист-ривер, которые сейчас соединяют Манхэттен с расположенными на Лонг-Айленде районами Бруклин и Квинс,— Уильямсбург-бридж (1903), Манхэттен-бридж и Квинсборо-бридж (1909). Бруклин и Квинс, бывшие ранее самостоятельными областями, присоединились к Нью-Йорку в 1898 г. Площадь Астора (Астор-плейс) — небольшой район Манхэттена, являвшийся в середине XIX в. самым фешенебельным кварталом Нью-Йорка. Здесь, в частности, находились дома, построенные сыном известного миллионера Джона Джейкоба Астора, Уильямом, для себя и своих сестер.

Вежеталь — жидкость на спирту с примесью парфюмерных веществ для смачивания волос.

С. 400. Паркер Элтон Брукс (1852—1926) — американский юрист, в 1904 г. — кандидат на пост президента США, соперник Т. Рузвельта на выборах. Сторонник демократических реформ.

Сиббетс Натан — реальное лицо. Дос Пассос дословно повторяет признание Сиббетса на суде, напечатанное в газете «Уорлд» 4 июня 1904 г.

С. 401. Помощь Порт-Артуру на глазах у неприятеля...— Газета рассказывает об одном из сражений за Порт-Артур (февраль 1904 г. — январь 1905 г.) в русско-японской войне 1904—1905 гг.

С. 402. Пятая авеню — всемирно известная центральная улица Манхэттена. В конце XIX в. одна из нью-йоркских газет писала: «Пятая авеню в настоящее время состоит из 45 блоков; на ней расположены около 340 частных резиденций, все из которых принадлежат высшему классу». Здесь же находились и находятся по сей день наиболее дорогие и фешенебельные магазины и рестораны.

...Мы охотились на бекасов в Бруклине...— В конце XIX в. городская застройка Бруклина все еще соседствовала с пригородным ландшафтом. По свидетельству современников, в 1900 г. дорогу транспорту на улицах еще порой преграждали гурты пасущихся овец.

С. 405. «Веселая вдова» (1905) — оперетта Франца Легара (1870—1948).

С. 406. Адамс Мод (1872—1953) — известная американская актриса. Прославилась исполнением ролей самого широкого репертуара.

С. 408. Южная улица — улица, протянувшаяся по берегу Ист-ривер в юго-восточной части Манхэттена. В начале XX в.— крупный порт, центр морской торговли.

С. 409. Пластрон — туго накрахмаленная грудь мужской верхней сорочки под открытым жилетом при фраке или смокинге.

Пачули — сильно пахнущие духи из эфирного масла, добываемого из веток и листьев одноименного индокитайского растения.

С. 411. ...Двадцать третья улица в качестве объекта для операций с недвижимыми имуществами лопнула.— Скорее всего, Дос Пассос имеет в виду, что к моменту разговора застройка Двадцать третьей улицы (Средний Манхэттен) была завершена, и городское строительство продвинулось дальше на север острова в район будущих Сороковых улиц.

Астор Джон Джейкоб (1763—1848) — американский миллионер, коммерсант, начавший с покупки маленького магазина музыкальных инструментов и мехов в Нью-Йорке; стоял во главе городских финансовых кругов; известен своими вкладами в недвижимость Нью-Йорка и пригородов, но более всего как монополист в области меховой торговли.

Вандербильд Корнелиус (1794—1877) — американский железнодорожный магнат; мальчишкой работавший на одном из нью-йоркских паромов; впоследствии — владелец пароходной компании; после гражданской войны целиком контролировал Нью-йоркскую центральную железную дорогу.

Фиш Стайвесент (1851—1923) — с 1877 г. директор и президент Иллинойской центральной железной дороги, которая под его руководством стала одной из самых крупных и разветвленных.

С. 413. Ингерсолл Роберт Грин (1833—1899) — американский адвокат и оратор, известный как «великий агностик», в своих лекциях подвергавший критике догматы христианской религии.

С. 419. Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — итальянский патриот, один из лидеров революционно-демократического крыла Рисорджименто; известен как борец за независимость южноамериканских республик; участник Итальянской революции 1848—1849 гг. С 1849 по 1854 г. скрывался от преследований в Соединенных Штатах; в Нью-Йорке работал на мыловаренном заводе, затем получил место капитана корабля, совершавшего рейсы по Тихому океану. Позднее возглавлял освободительное движение против австрийского господства в Италии.

С. 420. Шестая авеню, или Авеню всех Америк (имеются в виду Северная, Южная и Центральная Америки), славилась своей оживленной линией воздушной железной дороги, станции которой были декорированы художником Джаспером Кропси. Изначальная стоимость проезда 10 центов была затем снижена до пяти в утренние и вечерние часы, когда множество людей ехало на работу или возвращалось домой.

С. 421. Риверсайд-драйв — улица, протянувшаяся по северному берегу Гудзона, живописный, зеленый район. Часть Ри-

версайд-драйв была специально отведена под жилые постройки. Дома, спроектированные архитектором Кларенсом Тру, отличались элегантностью и индивидуальностью стиля.

С. 422. Отель «Астор», или «Астория» — знаменитый шестнадцатиэтажный отель, принадлежавший семье Асторов и на протяжении нескольких лет являвшийся центром великосветской жизни Нью-Йорка; был открыт в 1897 г.

Бронкс — северный район Нью-Йорка, где в начале XX в. проживало множество еврейских семей.

С. 424. Он пошел... мимо Линкольн-сквер через Колумб-сквер...— Линкольн-сквер — небольшая площадь в западной части Манхэттена, до 1940-х гг. — район трущоб и дешевых наемных квартир; Колумб-сквер — площадь, названная так из-за установленного там в 1892 г. памятника; обычно многолюдное место южнее Линкольн-сквер.

С. 428. Мэйден-лейн — улица в престижном Нижнем Манхэттене, занятая преимущественно деловыми учреждениями и конторами.

Японцы отброшены от Мукдена.— Газета рассказывает об одном из эпизодов русско-японской войны 1904—1905 гг.— сражении при Мукдене, где японцы во главе с генералом Окаямой, сломив упорное сопротивление русских, одержали победу в марте 1905 г.

С. 429. Вашингтон-сквер — небольшая площадь-парк в Гринич Виллидж (известном районе артистической богемы Нью-Йорка) у начала Пятой авеню. С момента основания здесь находились дома крупнейших торговцев и банкиров; впоследствии здесь жили многие известные писатели и художники, среди которых были Генри Джеймс и Рокуэлл Кент. В 1922 г. на Вашингтон-сквер, дом 3, снимал комнату Джон Дос Пассос.

С. 432. Небо над парком...— Имеется в виду Центральный парк, большой парк в Среднем Манхэттене, замечательный своей живописностью и скульптурными сооружениями; считается одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка.

С. 433. Элайн из Ламмермура шла к венцу.— Эллен воображает себя героиней романа Вальтера Скотта (1771—1832) «Ламмермурская невеста» (1819), этот роман лег в основу либретто оперы Доницетти (1797—1848) «Лючия ди Ламмермур» (1835). Поверив клевете на своего жениха, Лючия выходит замуж за нелюбимого человека. Узнав правду, она убивает своего мужа и погибает сама.

С. 439. Эллен сидела рядом с отцом на Бэттери.— Бэттери-парк — небольшой парк на южном окончании Манхэттена. Название восходит к артиллерийской батарее, установленной здесь в 1693 г., чтобы защищать город от атак французов (город так и не был атакован). Отсюда открывается вид на Аппер-бэй (Верхний залив); Говернер-Айленд — остров к югу от Манхэттена, с 1698 г. — определенное законом место жительства гу-

бернатора Нью-Йорка, получивший отсюда свое название; Стейтен-Айленд — остров, один из районов Нью-Йорка, в начале XX в. известный своими теннисными кортами и охотой; Эллис-Айленд — остров, на рубеже веков служивший пунктом приема европейских иммигрантов.

С. 440. Статуя Свободы («Свобода, светящая миру»; скульптор Бартольди, 1886) — всемирно известный монумент, возвышающийся на 120 м над уровнем моря. М-р Тэтчер любуется также проливом Нэрроуз, разделяющим Стейтен-Айленд и Лонг-Айленд.

С. 442. Куперстоун — городок севернее Нью-Йорка, основанный Уильямом Купером, отцом писателя Джеймса Фенимора Купера (1789—1851), описавшего эти места в романах о Кожаном Чулке.

Буффало — город на западе штата Нью-Йорк, расположенный на берегу озера Эри.

С. 445. Шпиль Троицы — имеется в виду церковь Святой Троицы в Нижнем Манхэттене.

Пулитцер-билдинг — первое светское здание Нью-Йорка, возвысившееся над церковным. Выстроенное в 1892 г., оно превзошло по высоте церковь Св. Троицы (высота Пулитцер-Билдинг — 94 м). Названо по имени известного журналиста Иозефа Пулитцера (1847—1911).

С. 447. Утюг — двадцатиэтажное здание, имеющее форму утюга, построенное в 1902 г. на месте, где под углом пересекаются Пятая авеню и Бродвей. Являлось символом новой эры небоскребов в Америке.

...В отель на Пятой авеню.— Знаменитый мраморный отель был открыт в 1859 г. В 1860 г. там останавливался принц Уэльский.

Римские колеса — род фейерверка.

С. 452. Баулинг-Грин — небольшой район к северу от Бэттери-парка, известный своими постройками XVII—XVIII вв.

Уолл-стрит — узкая улица в Нижнем Манхэттене, центр финансовой жизни Нью-Йорка. Здесь находились и находятся крупнейшие биржи, конторы основных банковских фирм, здания страховых, железнодорожных и промышленных компаний. Название Уолл-стрит («Улица-стена») восходит к постройке на этом месте стены датскими колонистами в 1653 г. для защиты города от англичан и индейцев.

С. 454. Дельмонико (1813—1891) — швейцарский бакалейщик, эмигрировавший в США и открывший сеть шикарных ресторанов.

...Слепого богемского короля и принца Генриха Мореплавателя...— В первом случае, очевидно, имеется в виду Иоганн Люксембургский (1296—1346), король Богемии с 1310 по 1346 г., который был известен своей воинственностью. Продолжал воевать даже после того, как ослеп, и был убит в одном из

сражений. Принц Генрих Мореплаватель (1394—1460) — сын Жуана I, короля Португалии. Известен созданием морской исследовательской базы, обсерватории и школы по изучению географии и навигации. Внес значительный вклад в развитие навигационного искусства, а также в экспедиционные исследования Африки, заложившие основу для развития португальского колониализма.

Леди Джейн Грэй (1537—1554) — дочь Генри Грэя, маркиза Дорсетского, и Франсуазы Брандон, племянницы Генриха VIII. В результате интриг в возрасте 15 лет заняла английский престол после смерти короля Эдварда VI. Пробыла у власти с 10 по 19 июля 1553 г. Была казнена.

С. 457. Отель «Ансония» — расположен на Бродвее, признанная архитектурная достопримечательность Нью-Йорка; в разное время здесь останавливались Артуро Тосканини, Теодор Драйзер, Игорь Стравинский.

С. 461. ...Сожжением Магдалы англичанами.— Магдала — селение и крепость в центральной Эфиопии, в 1867 г. провозглашенная императором Теодором II столицей. Здесь подверглись тюремному заключению несколько британских дипломатов, которые были освобождены в результате английской военной экспедиции 1868 г., когда Магдала была сожжена, а Теодор II покончил самоубийством.

С. 463. Кони-Айленд — полуостров на юге Лонг-Айленда, в Бруклине. Хорошо известный увеселительный парк Кони-Айленда служил одним из недорогих удовольствий для семей со средним достатком.

С. 465. «Банзай!» — кричали маленькие серые солдаты четвертого японского саперного батальона, наводя мост через р. Ялу...— Газета рассказывает о событиях русско-японской войны 1904—1905 гг., когда японские войска высадились в Северной Корее и атаковали Маньчжурию, наведя мост через р. Ялу, по которой частично проходила граница Северной Кореи с Россией.

С. 466. ...Идем на Баури-стрит...— Баури — бывший район нищих и бродяг в Нижнем Манхэттене.

С. 470. «Коралловый остров: сказка Тихого океана» — произведение для детей Роберта Баллантайна (1825—1894).

С. 474. Скарсдэйл — богатый пригород к северу от Нью-Йорка в графстве Вестчестер.

С. 478. Бизерт (Бизерта) — тунисский порт на Средиземном море.

Трондье — второй по величине город и порт в Норвегии.

С. 481. Вальпараисо — главнейший порт и второй по величине город в Чили.

С. 483. Ионкерс — небольшой город на левом берегу Гудзона, граничащий на севере с г. Нью-Йорком.

С. 485. Атлантик-Сити — курортный город в штате Нью-Джерси на берегу Атлантического океана; известен своими пляжами и увеселительными заведениями.

С. 490. Большей частью сидел на Юнион-плейс, потом в Мэдисон-сквер. Был в Хобокене, и в Джерси, и в Флэтбуше...— Юнион-плейс — небольшой парк в Среднем Манхэттене, служивший местом отдыха жителей окрестных дорогих особняков. Позднее здесь проводили свои митинги нью-йоркские социалисты. Мэдисон-сквер — небольшая площадь-парк к северу по Бродвею от Юнион-плейс, место прогулок нью-йоркской аристократии. Хобокен — город на правом берегу Гудзона (штат Нью-Джерси), напротив Манхэттена. Крупный железнодорожный узел и порт. Джерси (Джерси-Сити) — город, граничащий с Хобокеном. Флэтбуш — на рубеже веков модный пригород в Центральном Бруклине.

С. 495. На углу Ривертона старик... сидит... как Иона в своей куще.— Ривертон (Ривингтон) — улица в восточной части Нижнего Манхэттена (Лоуэр Ист Сайд), известной на рубеже веков как еврейский квартал, район синагог и магазинов, принадлежавших еврейским семьям. Позднее — район иммигрантов из Восточной Европы. Иона — один из двенадцати пророков.

С. 499. «Песнь Песней» — собрание еврейских лирических песен, одна из глав Ветхого Завета Библии. Основная тема «Песни Песней» — пылкая, чувственная любовь.

С. 502. Леди Годива — жена Леофрика, графа Мерсийского. Была известна своими пожертвованиями монастырям, особенно монастырю в Ковентри, который она и ее муж основали в 1043 г. Легенда гласит, что в 1040 г. граф Леофрик согласился освободить от высоких налогов жителей Ковентри, если его жена обнаженной проедет через город на белом коне. Леди Годива выполнила условие мужа, проскакав по улицам и закрываясь своими длинными волосами.

Памятник генералу Шерману...— Генерал Уильям Шерман (1820—1891) — герой гражданской войны, известный своими победами в Джорджии и взятием Атланты. Памятник ему установлен в 1903 г. на Шерман-сквер, рядом с которой находился его дом.

Клуб союзной лиги — один из элитарных клубов Нью-Йорка. Здание клуба, находившееся на Мэдисон-авеню в начале века, архитектурная достопримечательность города, в настоящее время снесено.

«Уолдорф-Астория» — фешенебельный одиннадцатиэтажный отель в Среднем Манхэттене, принадлежавший миллионеру Уильяму Уолдорфу Астору. Был открыт в 1893 г.

...В гостинице живет сиамский посланник. Я прочел сегодня утром в газете.— Дос Пассос имеет в виду сообщение, напечатанное 28 ноября 1913 г. в «Нью-Йорк таймс», о прибытии в Нью-Йорк вновь назначенного сиамского министра.

С. 507. Армия Спасения — международная христианская организация, открытая лицам любого вероисповедания. Основана методистским священником Уильямом Бутом в Англии в 1861 г.

Цель организации — служить духовным и физическим нуждам человека. Американская ветвь Армии Спасения была образована в 1880 г.; штаб ее разместился в Нью-Йорке. Военная форма, принятая в организации, служила постоянным напоминанием о «войне со злом», которую вели ее члены, так же как традиционные пение и марши по улицам под оркестр.

С. 513. ...Очутишься в той славной гостинице на реке...— Имеется в виду городская тюрьма, расположенная на Райкерз Айленд — одном из островов Ист-ривер.

С. 514. Ты должна жить на крыше дома Вулворт...— Путеводитель по Нью-Йорку так описывает это здание: «Часто осуждаемый за голубые готические детали и одновременно черно-угольную готическую корону, этот совершенный, вытянутый в струну дом — один из самых внушительных небоскребов Нью-Йорка. Поднявшийся на высоту 800 футов, он — парит...»

С. 523. Морган Джон Пирпонт (1837—1913) — американский миллионер, богатейший человек своего времени. Финансировал промышленность, шахты, контролировал банки, страховые компании, пароходные линии и железные дороги. Ему принадлежала первая в США биллиондолларовая корпорация — «Ю. С. Стил корпорейшн».

С. 525. «Так говорил Заратустра» — произведение Фридриха Ницше (1844—1900).

«Золотой осел» — сочинение Апулея (ок. 125—ок. 180), известное также под названием «Метаморфозы». Герой Апулея, увлекшись черной магией, случайно обращается в осла.

«Воображаемые беседы» — речь идет о сочинении Уолтера Сэведжа Ландора (1775—1864), представляющем собой собрание диалогов из античной жизни в пяти томах. Включает «классические римские и греческие диалоги», «диалоги слуг и господ», «литературные диалоги», «диалоги знаменитых женщин» и «разные диалоги».

«Песни Билитис» — речь идет о сборнике стихотворений в прозе Пьера Луиса (1870—1925) «Les Chansons de Bilitis» (1894), положенном на музыку Клодом Дебюсси. На английском языке «Песни» вышли только в 1926 г., т. е. уже после публикации «Манхэттена».

«Афродита» — роман из истории античных нравов Пьера Луиса.

С. 527. ...Чтобы он пришел в «Бревурт»...— Отель «Бревурт» находился в центре Гринич Виллиджа.

С. 529. ...Прилив на... Вудлаун, Дикмэн-стрит, Нью-Лотс-авеню и Кэнерси.— Вудлаун — небольшой район в северном Бронксе; Дикмэн-стрит — улица на северном окончании Манхэттена; Нью-Лотс-авеню — улица в восточном Бруклине; Кэнерси — район в юго-восточном Бруклине.

Уайт Стэнфорд (1853—1906) — американский архитектор. Проектировал эклектичные по стилю, богато украшенные зда-

ния. Был застрелен Гарри Тау, мужем актрисы Эвелин Несбит, в прошлом любовницы Уайта, 25 июня 1906 г. на крыше башни на Мэдисон-сквер, в свое время спроектированной Уайтом. (Башня является копией знаменитой Жиронды в Севилье.)

С. 530. Нью-Рочел — город в графстве Вестчестер, так называемый спальный район, откуда многие жители каждый день ездили в Нью-Йорк на работу.

С. 532. Иерихон — не существующий в настоящее время древний город в Палестине, в долине р. Иордан.

«Восстание ангелов» — роман Анатоля Франса (1844—1924).

С. 542. Убийство эрцгерцога чревато тяжелыми последствиями. Мобилизация австрийской армии.— Речь идет об убийстве в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 г., которое послужило поводом для начала первой мировой войны.

С. 550. «Жан-Кристоф» — известный роман Ромена Роллана (1866—1944).

С. 557. Вихаукен — улица в Гринич Виллидж, недалеко от Гудзона.

...Перед статуей Бёрнса.— Роберт Бёрнс (1759—1796) — известный шотландский поэт. Памятник, выполненный скульптором Джоном Стиллом в романтической (по мнению критики — несколько слащавой) манере, был открыт в Центральном парке в 1880 г.

С. 558. «Zinnia Girls» — «Девочки-циннии» (*англ.*).

С. 559. ...Служил капельдинером в театре на площади Ирвинга...— Здание театра на площади Ирвинга (Средний Манхэттен), где в разные времена помещались драматический театр, театр бурлеска и немецкий театр, было снесено в 1985 г.

С. 560. Олбени — столица штата Нью-Йорк, где располагалась его администрация, состоявшая в то время из представителей республиканской партии.

С. 570. Пошли на базар к зверям — строка из популярной песенки.

...Автомобили из Вавилона и с Ямайки, автомобили из Монтока, Порт Джефферсона, Патчога, лимузины с Лонг-Бич, Фар-Рокэвей, дорожные машины с Грейт-Нек...— Вавилон, Ямайка, Монток, Порт Джефферсон, Патчог, Лонг-Бич, Фар-Рокэвей, Грейт-Нек — небольшие курортные городки на восточном побережье Лонг-Айленда.

С. 573. Бар-Харбор — прибрежный городок в штате Мэн на севере страны; один из самых известных и дорогих курортов Новой Англии в конце XIX — начале XX в.

С. 575. Убили Жореса...— Жан Жорес (1859—1914) — французский социалистический лидер и историк, один из основателей французской социалистической партии, яростный противник войны. Был убит патриотом-фанатиком в июле 1914 г.

С. 579. Вивиани Рене (1863—1925) — французский политический деятель, соратник Жореса, с 1914 г. — премьер-

министр Франции. После начала первой мировой войны призывал все партии к объединению в оборонительный «священный союз».

Крупп — очевидно, имеется в виду Густав Крупп фон Болен (1870—1950), владелец крупнейших оружейных заводов в Германии.

Ротшильд — очевидно, имеется в виду Лайонел Ротшильд (1868—1937), один из членов знаменитой французской семьи потомственных финансистов, миллионеров Ротшильдов.

С. 582. Карне — книжка для записи танцев на балу.

С. 583. Лейпциг, Пустыня, Ватерлоо — там построенные в боевом порядке парни стояли и стреляли...— Имеются в виду битва при Лейпциге (16—19 октября 1813 г.), известная также как Битва Народов, где австрийские, русские и прусские войска одержали победу над Наполеоном I; битва в Пустыне (май-июнь 1864 г.) — серия кровавых сражений в штате Виргиния во время гражданской войны в США; битва при Ватерлоо (18 июня 1815 г.), ознаменовавшая поражение Наполеона I в борьбе против европейской коалиции.

С. 588. ...Еще во время Агадирского инцидента.— Агадир — город в Марокко на берегу Атлантического океана. В июле 1911 г., в целях защиты интересов Германии в Марокко, в агадирский порт вошло немецкое военное судно; после переговоров, в обмен на беспрепятственный протекторат над Марокко, Франция уступила Германии существенную часть Французского Конго.

С. 590. ...Покупки у Лорда и Тэйлора...— Имеются в виду знаменитые магазины тканей и готового платья Лорда и Тэйлора (которые и сейчас существуют на Бродвее).

С. 592. Лонг-Бич — один из островов у южного побережья Лонг-Айленда.

...Каждый газетчик с Таймс-сквер.— Таймс-сквер — площадь в Среднем Манхэттене, получившая свое название в то время, когда здесь размещалась редакция газеты «Нью-Йорк таймс». Район магазинов, театров и ресторанов на пересечении Сорок Второй улицы и Бродвея.

Бутс Эдвин (1833—1893) — американский актер, известный своей сдержанной, изысканной игрой. Брат актера Дж. Бутса, убившего Авраама Линкольна.

Джефферсон Джозеф (1829—1905) — американский актер, прославившийся исполнением роли Рипа ван Винкля в пьесе по рассказу Вашингтона Ирвинга (1783—1859).

Мэнсфилд Ричард (1854—1907) — американский актер, в свое время ведущий актер романтического репертуара.

С. 593. ...Покойного Уоллока.— Здесь перевод В. Стенича неточен: у Дос Пассоса — «со старых уоллоковских времен». Уоллоки — Джеймс Уильям (1795—1864) и Лестер (1820—1888), отец и сын,— известные в XIX в англо-американские актеры и менеджеры. Уоллок-старший прославился исполнением ролей в

комедиях и мелодрамах; его сын — как комический и романтический актер. Лестер Уоллок был известен также как автор ряда пьес и режиссер-постановщик.

С. 594. Монреаль, Квебек — города в Канаде, в провинции Квебек.

С. 603. ...Стоя... на углу Второй авеню и Хаустона...— Хаустон-стрит — улица в Нижнем Манхэттене; пересекается со Второй авеню в районе Баури.

...Приятелей из Таммани-холла...— Таммани — популярное название демократической политической организации в Манхэттене. Таммани-холл — известное место встречи представителей этой организации, ставшее синонимом коррупции и продажности.

С. 608. Рашель (1821—1858) — сценический псевдоним Элизы Феликс, французской актрисы, признанной в свое время величайшей актрисой мира и известной более всего исполнением ролей в пьесах Расина и Корнеля.

Дузе Элеонора (1859—1924) — знаменитая итальянская актриса, пленявшая зрителей простотой и отсутствием театральности в своей игре.

Сиддонс Сара Кэмбел (1755—1831) — английская актриса, пользовавшаяся постоянным успехом у зрителей и прославившаяся исполнением ролей шекспировских героинь.

С. 609. ...Плоеная горничная...— плоеный — крахмальный, со складками или гофрировкой (может быть передник, чепчик и т. д.).

С. 615. Заем Свободы — облигации военного займа.

С. 621. Елена еще не знает, что у нас запрещены спиртные напитки? — В 1920 г. в Америке был принят сухой закон, запрещавший изготовление, продажу, импорт и экспорт спиртных напитков. Закон был отменен в 1933 г.

С. 628. Атлантик-авеню — улица в западном Бруклине.

С. 631. Ссылают красных...— В 1919 г. приверженцы коммунистических и анархистских взглядов высылались из США по решению правительства страны.

С. 632. Форт-Ли — городок в штате Нью-Джерси на берегу Гудзона, напротив Манхэттена.

С. 634. Кошерная столовая — столовая, где продавалась пища, разрешенная к употреблению еврейскими религиозными законами.

С. 635. ...Когда я был в Американском легионе.— Здесь перевод В. Стенича неточен: Дос Пассос имеет в виду не Американский легион — национальную ассоциацию ветеранов войны, а AWOL (absent without leave) — специальное сокращение-термин, которым обозначались военнослужащие, находящиеся в самовольной отлучке.

С. 640. Бутлегеры — подпольные торговцы спиртным в США во время сухого закона.

С. 642. ...Запах камчатного полотна...— Камка — шелковая цветная ткань с узором.

С. 645. «Фолли» — театр Фолли Бержер, открытый в 1911 г. на Бродвее как театр-ресторан. В настоящее время не существует.

С. 653. Испано-американская война (1898) — вооруженный конфликт между Испанией и США, возникший из-за испанской политики на Кубе.

С. 654. ...Зашагали через площадь Ратуши... Тут мэр ставит новую статую Гражданской Добродетели.— Статуя (скульптор Фредерик Мак-Моннис), воздвигнутая в 1922 г. напротив здания Ратуши в Нижнем Манхэттене и изображавшая стоящего мужчину, у ног которого изогнулись две женщины-змеи, позднее, под давлением противников женской дискриминации, была перенесена в Квинс, подальше от центра. Там она находится и сейчас.

С. 655. Залив Шипсхед — залив у южной оконечности Бруклина.

С. 662. Ильковая шуба — шуба из меха американского хорька.

С. 667. Скэб — штрейкбрехер, человек, срывающий забастовку.

Они... идут по Второй авеню... В тумане бродят кучки людей, говорящих по-еврейски, по-русски, по-английски с неправильным акцентом.— Вторая авеню находится в районе Лоуэр Ист-Сайд.

С. 686. ...Поэму ...напечатали в «Ивнинг грэфик» — в этом эпизоде Дос Пассос использует реальный факт, когда стихи, сочиненные в тюрьме осужденным на казнь грабителем и убийцей Джозефом Даймондом, были напечатаны в «Нью-Йорк таймс».

Сарсапарель — лечебное растение, использовавшееся также как вкусовая добавка.

С. 687. Спюйтен-Дюйвил — старинное датское название места, где сливаются реки Гудзон и Гарлем на северной границе Манхэттена и Бронкса.

С. 689. Гой, гойка — в национальном религиозном еврейском быту — бранное название нееврея, преимущественно христианина.

С. 696. Пайн-стрит — улица в деловой части Нижнего Манхэттена, параллельная Уолл-стрит.

С. 697. Сауз-стрит — Южная улица (см. примеч. к с. 404).

Что слышно о ваших неотъемлемых правах, тринадцать провинций? — Речь идет об английских колониях в Северной Америке, которые, объединившись, отстояли свою свободу и приняли Декларацию независимости в 1776 г., образовав Соединенные Штаты. Этими провинциями являлись: Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавер, Мэриленд, Виргиния, Северная Каролина, Южная Каролина и Джорджия.

С. 700. «Алгонкин» — фешенебельный отель-ресторан, известный как место встреч представителей литературной и театральной элиты Нью-Йорка.

С. 701. Арест «великосветских бандитов»...— в основе всего эпизода лежат реальные факты, взятые Дос Пассосом из газетных хроник 1923—1924 гг., когда двое неизвестных налетчиков держали в страхе коммерсантов Бруклина и Квинса.

С. 702. ...На скованные сталью бедра пяти мостов...— Имеются в виду мосты через Ист-ривер.

Ульстер — длинное меховое пальто (*англ.*).

С. 704. Стайвезент Питер (ок.1610—1672) — датский губернатор Нового Амстердама (впоследствии Нью-Йорка), отличался суровостью правления и нетерпимостью к религиозным сектам. Умер и похоронен на Манхэттене.

С. 717. Сен-Назер — город на западе Франции, в дельте Луары.

С. 720. ...Удачно названо «веком джаза»...— 1920-е годы в Америке стали называть «веком джаза» после публикации в 1922 г. сборника рассказов Фрэнсиса С. Фицджеральда (1896—1940) «Сказки века джаза», название которого распространилось на все десятилетие.

С. 726. Рудольф Валентино (1895—1926) — американский киноактер, итальянец по происхождению. Снимался в ролях «первых любовников».

С. 730. Генри Патрик (1736—1799) — политический деятель, один из героев Американской революции, непревзойденный оратор, борец за свободу человеческой личности.

Е. Салманова

СОДЕРЖАНИЕ

Е. Салманова. Романы Джона Дос Пассоса . 5

ТРИ СОЛДАТА

Перевод В. Азова

Часть первая. Отливается форма 23
Часть вторая. Сплав остывает 61
Часть третья. Машины 123
Часть четвертая. Ржавчина 179
Часть пятая. Внешний мир 251
Часть шестая. Под колесами 323

МАНХЭТТЕН

Перевод В. Стенича

Часть первая 389
Часть вторая 495
Часть третья 615

Комментарии *Б. Акимова* и *Е. Салмановой* 733

Всемирная литература

Джон Дос Пассос

Собрание сочинений
в трех томах

Том первый

Редактор *Б. С. Акимов*
Компьютерная верстка *А. А. Кувшинников*
Корректоры *Н. Н. Кузнецова* и *А. И. Сорокина*

ООО Издательство «Литература»
115407, Москва, ул. Судостроительная, д. 40.
Лицензия ЛР № 064527 от 11.04.96.

Издание осуществлено при участии
ООО «Мир книги» и ООО «Тест-Сэмпл»

Гигиеническое заключение на продукцию, товар
№ 77.ФЦ.8.953.П.29.2.99. от 05.02.99.

Подписано в печать 10.10.2000.
Формат 84x108$^{1}/_{32}$. Гарнитура «Балтика».
Бумага газетная. Печать высокая. Усл. печ. л. 39,25.
Тираж 6000 экз. Заказ № 3352.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных оригиналов
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

ISBN 5-7842-0120-4